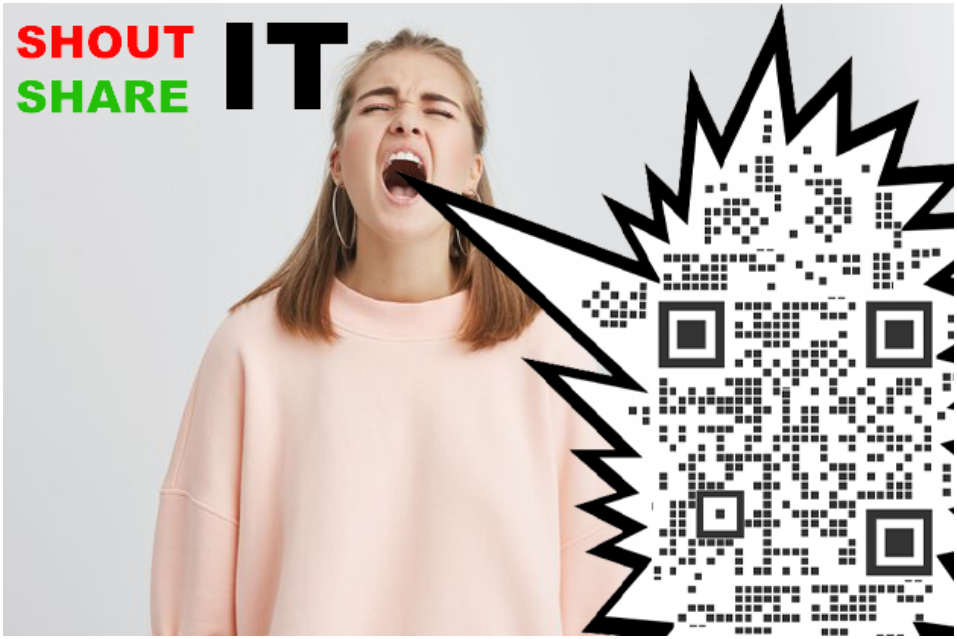
Рашель ХИН

Не ко двору

избранные произведения


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рашель Мироновна Хин (1863–1928) – незаслуженно забытая российская писательница, драматург, мемуаристка. На рубеже веков Рашель Хин держала модный литературный салон в Москве, ставший местом паломничества культурной интеллигенции Серебряного века. Автор двух сборников повестей и рассказов, Хин печаталась в ведущих отечественных периодических изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Вместе с очерком жизни и творчества писательницы в книге представлены ее художественные произведения, эссе и мемуары, ранее не переиздававшиеся.

- Рашель Хин
  - ○
  - ○ “Я люблю слушать шаги времени”
  - ○ Повести
    - ■ Не ко двору
      - ■ I
      - ■ II
      - ■ III
      - ■ IV
      - ■ V
      - ■ VI
      - ■ VII
      - ■ VIII
      - ■ IX
      - ■ X
      - ■ XI
      - ■ XII
      - ■ XIII
      - ■ XIV
      - ■ XV
      - ■ XVI
      - ■ XVII
      - ■ XVIII
      - ■ XIX
      - ■ XX
      - ■ XXI
      - ■ XXII
      - ■ XXIII
      - ■ XXIV
      - ■ XXV

- XXVI
- Одиночество
- Наташа Криницкая
  - I
  - II
  - Ill
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
- Рассказы, очерки, эскизы
  - Мечтатель
  - Устроились
  - Феномен
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII

        - Макарка
        - Последняя страница
        - После праздника
    - Эссе, воспоминания
        - Письма из Москвы
        - Несколько слов о И.С. Тургеневе
        - Глава из неизданных записок
        - Последние годы Н.И. Стороженко
        - Памяти старого друга
    - Примечания
        - Повести
        - Рассказы, очерки, эскизы
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119

- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163

- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207

- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251

- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295

- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339

- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349

Рашель Хин
Не ко двору. Избранные произведения

Вступительная статья, комментарии *Л. И. Бердников*

Составители
М. Б. Авербух, Л. И. Бердников

“Я люблю слушать шаги времени” Жизнь и творчество Рашели Хин

Лев БЕРДНИКОВ

Есть в русской культуре знакомые незнакомцы. Многим памятно стихотворение Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) с посвящением “Р. М. Хин”:

> Я мысленно вхожу в ваш кабинет:
> Здесь те, кто был, и те, кого уж нет,
> Но чья для нас не умерла химера;
> И бьется сердце, взятое в их плен…
> Бодлера лик, нормандский ус Флобера,
> Скептичный Франс, святой сатир – Верлен,
> Кузнец – Бальзак, чеканщики – Гонкуры…
> Их лица терпкие и четкие фигуры
> Глядят со стен, и спят в сафьянах книг.
> Их дух, их мысль, их ритм, их крик…

Едва ли у современного читателя волошинское посвящение вызовет какие-либо ассоциации. Между тем, речь идет здесь об известной в свое время личности, драматурге, мемуаристке Рашели Мироновне Хин (1863–1928). Имя её, к сожалению, долгое время было незаслуженно забытым[1]. Между тем, на рубеже веков она держала модный литературный салон в Москве, ставший местом паломничества передовой интеллигенции Серебряного века. Она была ученицей Ивана Тургенева, печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Авторитет Хин был очень высок. Она общалась с Эмилем Золя, Эдмоном Гонкуром, Ги де Мопассаном, Анатолем Франсом, Октавом Мирбо, Георгом Брандесом, Людвигом Галеви, а позднее переводила произведения некоторых из них и писала статьи об истории французской литературы.

Рашель Хин родилась в уездном городе Горки Могилёвской губернии, где евреи начали селиться с начала XVII века, а к концу XIX века число их составляло уже около 45 % населения. Происходила она из семьи преуспевающего и вполне ассимилированного еврейского фабриканта Мирона Марковича Хина (умер в 1896). Кстати, фамилия Хин “говорящая”: она

восходит к “Kheyne” *(идиш)* и образована от древнееврейского “Неуп”, что означает “очарование, симпатия”. И едва ли случайно литературные критики называли её талант “симпатичным”, а саму Хин “глубоко симпатичной писательницей”.

Отец Рашели не отличался набожностью, не утруждал домочадцев соблюдением иудейских обрядов, зато вознамерился дать детям (у Рашели были брат Марк и сестра Анна) самое широкое образование. Нам ничего не ведомо о её домашнем обучении, однако в одной из ранних повестей она рассказывает о детских и отроческих годах героини, и там угадываются автобиографические черты: о том, как, научившись читать, она “кинулась на книги, как голодный на лакомую пищу”; о наставнице с характерным старомосковским произношением, которая помогла ей в совершенстве овладеть русской речью. (Известно, что за её говор Иван Тургенев потом будет называть её “московкой”). В раннем отрочестве она писала сочинения о путешествиях в утопическую счастливую страну или вариации на тему: “Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать”. Впрочем, она преуспела и в знании иностранных языков, занималась математикой и естественной историей и была подготовлена к VI классу гимназии. Родители приобщали её и к европейской культуре: известно, что какое-то время она гостила в Зальцбурге.

Семья купца II-й гильдии Мирона Хина переехала из черты оседлости в Москву, когда Рашель была ещё подростком. Столичный город, открывал для людей, жаждущих знаний, фантастические возможности. Четырнадцати лет отроду Рашель поступает в III-ю Московскую женскую гимназию (что на Большой Ордынке, д. 21), о счастливых годах в которой (когда “небо было голубым, и птицы вечно пели”) она будет потом вспоминать с неизменным трепетом. В глазах подруг Хин была “красавица Рашель”, “умница”, “талант”. В гимназии были замечательные преподаватели. С особым пиететом отзывалась Рашель об учителе словесности Филадельфе Петровиче Декапольском (1845–1907). Этнический еврей, он стал её первым наставником и привил деятельную любовь к русскому языку и словесности (интересно, что на его надгробии на Ваганьковском кладбище рядом с годом рождения был изображен магендовид, а с годом смерти – крест). Впоследствии он преподавал русский язык в III-м Московском кадетском корпусе, а затем и в Александровском военном училище, дослужившись до чина статского советника. Ну и, конечно, вспоминала она лекции по истории Василия Осиповича Ключевского (1841–1911): “То был такой перл ума, исторической перспективы, богатства языка, что этого нельзя забыть”. Обучалась она в гимназии французскому, немецкому и

латинскому языкам, а также географии, математике, естествознанию, физике, рисованию, гимнастике и пению. После окончания гимназии она получила аттестат с правом быть домашней учительницей.

В 1880 году Рашель едет в Петербург и поступает на Высшие медицинские курсы, учрежденные в 1876 году военным министром Дмитрием Милютиным. Здесь преподавали знаменитый химик Александр Бородин, медики Пётр Сущинский, Вениамин Тарновский, Карл Раухфус и другие профессора Военно-медицинской академии и университета. Особое внимание уделялось специальным “дамским” предметам: акушерству, женским и детским болезням. Обучение было рассчитано на пять лет (хотя в 1882 году, в связи со свёртыванием реформ Александра-Освободителя, курсы были закрыты). Наша героиня, однако, вскоре оставила медицину, поняв, что лекарское дело для неё, и “через три, четыре, пять месяцев – обращается в самую обыкновенную кислятину”.

Зато девушка утвердилась в мысли, что её влекут гуманитарные науки, а историко-филологическое образование она непременно должна поступить в Коллеж де Франс. Это основанное в XVT веке в Париже учебное заведение отличалось полной свободой преподавания, публичностью, общедоступностью и, что немаловажно, бесплатностью обучения. Рашель вспоминает “елейно-торжественный тон” профессора словесных наук Эльма Мари Каро (1826–1887), автора книги “Материализм и наука”, “на лекции которого съезжалось столько элегантных дам, что в его дни аудитория… принимала вид светского салона”. В формировании её личности большую роль сыграли философ Адольф Франк (1809–1893), а также филолог и писатель Эрнст Ренан (1823–1892). Известно также, что курс истории Древнего Рима и раннего христианства преподавал Гастон Буассье (1823–1908); средневекового французского языка и литературы – Гастон Парис (1839–1903); истории религий – пастор Альбер Ревиль (1826–1906); истории морали – Луи Фердинанд Альфред Мори (1817–1892). В Сорбонне она слушала лекции историка литературы Альфреда Жана Мезьера (1826–1915). “Разобраться в запутанной сети курсов по истории, литературе и философии” Хин помог Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), встреча с которым стала для неё чрезвычайно важной. Хин посчастливилось тесно с ним общаться в Париже в 1880–1881 гг. И маститый писатель советовал пытливой курсистке не разбрасываться, но выбирать определённую программу, и сам указал на некоторых, по его мнению, интересных профессоров. А при встречах, даже мимолётных,

всегда осведомлялся о её занятиях, а иной раз, невзначай, как бы в шутку, экзаменовал её. И Рашель постепенно преодолела страх перед признанным мэтром и перестала конфузиться.

Сколько талантов, начинающих и непризнанных, стучалось гостеприимную дверь парижской квартиры Тургенева! И Иван Сергеевич, с его дипломатической тонкостью, не желая никого обижать, старался ободрить даже завзятых графоманов и награждал их добрыми отзывами. А потом сам же над собой иронизировал: “Мои рекомендации, как фальшивый пачпорт (он любил так произносить это слово) всегда имеют обратный эффект”. Зато при встрече с подлинными дарованиями искренне радовался. Тут он уже не говорил любезности, а подвергал критике каждое выражение, каждое слово.

Хин советовалась с Тургеневым не только по вопросам творческим, но и поверяла ему дела личные, зная, что получит добрый и умный совет. Как-то она рассказала ему, что её сестра Анна, служившая гувернанткой у графов Шереметевых, приняла христианство. Отец Рашели настаивал, чтобы она уговорила сестру отречься от православия и вернуться в семью, получив тем самым прощение. Анна, однако, осталась непреклонной, чем разбила сердце Мирона Марковича, который не мог взять в толк, что по законам того времени переход из православия обратно в иудаизм был уголовным преступлением. Иван Сергеевич поступка сестры Хин не одобрил, прозелитизм вообще был ему чужд, как противна была ему и религиозная нетерпимость. Потому, когда Рашель в июне 1881 года написала ему, что её не принимают в России ни на одну учительскую должность, Тургенев дал ей, иудейке, самую лестную рекомендацию.

И в памяти нашей героини всегда звучали слова Тургенева, сказанные при их последней встрече: “Жизнь человеческая – непрерывное прощанье: прощаешься с надеждами, мечтаниями, идеалами, прощаешься с дорогими людьми, прощаешься даже с самыми постоянными нашими спутниками – с врагами и завистью”. Впоследствии она “благоговейно” посвятит сборник своих рассказов и повестей “Под гору” (1900) “незабвенной памяти Ивана Сергеевича Тургенева”.

Судьбоносной для Хин оказалась встреча с юристом Онисимом Борисовичем Гольдовским (1865–1922). К тому времени она уже была замужем за помощником присяжного поверенного Соломоном Григорьевичем Фельдштейном, от которого имела двухлетнего сына Михаила. Рашель сразу же пленила сердце Онисима, да и сама безоглядно влюбилась в этого красавца и умницу.

Гольдовский был уроженцем “Литовского Иерусалима”

Вильно, но ещё в раннем детстве переехал вместе родителями в Москву. Отец, преуспевающий и вполне эмансипированный купец второй гильдии, вознамерился дать сыну самое широкое образование и определил его в III-ю московскую мужскую гимназию. Интересно, что неподалёку, в III-ей женской гимназии, училась тогда и Рашель Хин.

Онисим был от природы человеком разносторонне одарённым (был особо способен к языкам, играл на фортепьяно), потому, наверное, не сразу определился с выбором профессии. В восемнадцать лет он поступает в Московский университет, сначала на физико-математический факультет, но уже через год, разочаровавшись в точных науках, переводится на историко-филологическое отделение, а затем, после сдачи в 1885 году годового экзамена, становится студентом-юристом. Несомненно, что в выборе им профессии был “повинен” дядя, Владимир Осипович Гаркави (1846–1911), сам выпускник юрфака. Известный адвокат, один из основателей Общества распространения просвещения среди евреев России, лидер Московской еврейской общины, Гаркави оказал на юношу огромное духовное влияние. Современники отмечают и присущие семье дяди любовь к России и русской культуре, что передалось и племяннику.

После окончания университета Онисим, как и первый муж Хин, через некоторое время стал помощником присяжного поверенного князя Александра Урусова (1843–1900). Этот замечательный человек, “адвокат по призванию” соединил в себе широчайшую эрудицию, вкус к книге, воспринятый им европеизм и творческий темперамент художника. Онисим вспоминал, что “расовая ненависть до такой степени была чужда его [Урусова – *Л.Б.*] благородной натуре, что антисемиты вызывали в нём чувство брезгливого сожаления, как люди, одержимые непристойной манией. Их жалко, как больных, но болезнь противная”. Урусов оценивал людей исключительно по их способностям, потому, наверное, в числе его ассистентов оказалось немало иудеев, о защите прав которых он не уставал радеть (заметим в скобках, что, несмотря на все законодательные препоны, евреи в конце XIX века составляли 43 % от общего числа российских помощников присяжных поверенных).

Самостоятельно мыслящая и европейски образованная Рашель Хин оказалась *духовно* близка Онисиму. Однако их браку воспрепятствовал категорический отказ мужа дать ей развод. В 1894 году уставшая от попыток развестись полюбовно Рашель Мироновна направляется в Литву и принимает крещение. В этом, казалось бы, нет ничего необычного. В России в XIX веке, по

данным Святейшего Синода, православие приняли более 69 тысяч российских иудеев; еще 12 тысяч стали католиками и более 3-х тысяч протестантами. К 1917 году число крещений евреев возросло до 100 тысяч человек. Но даже это, казалось бы, внушительное число отступников составляло менее *2 %* от общего количества евреев империи. Показательно и то, что наибольшее число крещений (в среднем в год по 2290 евреев) падает на 1851–1855 годы. А это было время недоброй памяти "ловцов" и "пойманников" малолетних кантонистов, когда "святым духом" их осеняли, как правило, по принуждению. Всего же за 1827–1855 годы было крещено более 33-х тысяч евреев, будущих николаевских солдат.

Не всегда, правда, евреи России крестились из-под палки. Часто к этому шагу их толкало желание обрести элементарные гражданские права в обход антисемитского законодательства. Американский историк Майкл Станиславский наметил несколько типологических групп российских иудеев, принявших тогда христианство: одни руководствовались стремлением к образовательному и профессиональному росту; другие принадлежали к высшей буржуазии и не желали законодательных препон в их предпринимательской деятельности; третьи, будучи преступниками, надеялись на амнистию; четвертые были искренними приверженцами новой веры; и, наконец, пятые нуждались материально и перешли в новую веру от безысходности. Историк говорит также о евреях, изменивших веру, дабы сочетаться браком с лицом христианского исповедания, хотя и не выделяет их в отдельную группу. Действительно, в начале XIX века известны случаи, когда сразу же после обращения в лютеранство мужчины-евреи заключали браки с христианками.

Случай крещения Рашель Хин не ординарный он тоже связан с супружеством, только вот не с заключением нового брака, а с… прекращением старого, причем другого пути его расторжения просто не оказалось. (Заметим в скобках, что случай этот не единичный: известно, что позднее Софья Исааковна Дымшиц, намеревавшаяся выйти замуж за Алексея Н. Толстого, крестилась в православную веру, дабы расторгнуть брак с прежним супругом-иудеем.) Вот и Хин приняла католичество, и её брак автоматически распался: браки между католиками и евреями не признавались ни католической церковью, ни русским законом. Почему же она крестится именно по католическому обряду? Если учесть, что католический прозелитизм карался в России лишением собственности, не говоря о заключении в монастырь, покаянии и прочих мерах увещевательного характера, такой её

выбор трудно назвать случайным.

Американский литературовед Кэрол Бэйлин отмечала, что Хин ни разу не обращается к католицизму в своём дневнике. На самом деле, это не так. Писательница восторгается в дневнике католическими обрядами, в которых видит “мягкое, таинственное, надземное”. И вспоминает Рим, “длинные складки и драпирующие фигуру белые, лиловые и пурпурные мантии, шлейфы, закрывающие ноги и дающие иллюзию чего-то скользящего по земле, и возносящиеся туда, ввысь – моления о нас, грешных. Сухие, бритые, точёные черты, тонкие, изящные, благословляющие руки, благочестиво склонённые гордые головы”. Очевидно и то, что европеизм Хин был в значительной степени замешан на Франции, с её католическими духовными ценностями, затверженными ею в Коллеж де Франс и Сорбонне.

Характерно, что вслед за ней крестился и Онисим: чтобы получить право сочетаться браком с католичкой, он должен был перестать считаться евреем и стал протестантом. Обвенчаются же Рашель и Онисим в городке Толочине, “у старого ксёндза”, в 1900 году.

И вот что примечательно: христианин Гольдовский, казалось, сразу должен был бы освободиться от существовавших для евреев-адвокатов ограничений и приобретал возможность разом выйти из помощников в присяжные поверенные. Однако таковым правом он не воспользовался, давая тем самым понять, что в своём “романическом” крещении материальной выгоды не искал. И оставался в рядах помощников до самого конца 1905 года, когда все евреи-юристы, отбывшие пятилетний стаж помощничества, вышли в полноправные члены адвокатского сословия.

Тандем Рашели и Онисима оказался исключительно счастливым. Они идут по жизни рука об руку. Так у них повелось: Хин парит в эмпиреях, а прозой жизни занимается Стась (так она называла Онисима): ну можно разве доверить “небожительнице” Рашели покупку дома?! Да и достаток Гольдовский приносил семье немалый.

Ведь адвокатом он был более чем успешным и наряду с защитой бесправных неимущих, брался за политические и выгодные экономические дела. Современники говорили о нём, как об “утомлённом деньгами и славой Гольдовском”. Он и впрямь защищал интересы крупных магнатов в приобретении прав на доходные концессии, в частности, лоббировал строительство железнодорожных веток Транссибирской Магистрали. Гольдовскому удалось через суд сохранить недвижимость за бывшим Директором Департамента полиции, либералом и юдофилом Алексеем Лопухиным, подвергнутым

обструкции, поскольку он обвинялся в государственной измене: выдал эсерам тайного агента полиции, пресловутого Азефа.

Хин принимала деятельное участие во многих политикокультурных проектах мужа. Интересен сборник “Против смертной казни” (М., 1906) под редакцией Онисима Борисовича. Помимо выступлений на эту тему российских корифеев Владимира Соловьёва, Василия Розанова, Сергея Булгакова, Петра Кропоткина, Василия Немировича-Данченко и др., Гольдовский вознамерился представить в нём общественное мнение всей Европы, выраженное её признанными авторитетами, знаменитыми учёными, писателями и политическими деятелями, Октавом Мирбо, Георгом Брандесом, Анатолем Франсом, Фредериком Пасси, Эмилем Лораном и др. Здесь же опубликован и выразительный рассказ Рашели Хин “Она придёт!”, живописующий навязчивые кошмары и нравственные мучения одного неумолимого судьи, не способного самолично выполнить им же вынесенный смертный приговор.

Интересен и литературно-художественный сборник “Помощь евреям, пострадавшим от неурожая” (М., 1901) под редакцией Гольдовского. Помимо произведений Максима Горького, Владимира Короленко, Николая Гарина-Михайловского, Константина Бальмонта, Семёна Юшкевича, стихотворения Семёна Надсона “Я рос тебе чужим, отверженный народ…”, обращает на себя внимание остропублицистическое письмо Эмиля Золя “В защиту евреев” в переводе Рашели Хин. Супруги собирали материалы и для несостоявшегося, к сожалению, сборника “Рассказы еврейских писателей”, хотя и сагитировали Горького на самую горячую поддержку своего начинания. Они и сами пестовали еврейские таланты: Гольдовский, в частности, материально поддержал писателя Семёна Юшкевича (1868–1927), который, в свою очередь, сделал его прототипом героя одной из своих пьес.

Бедственному положению евреев в империи посвящена книга Гольдовского “Евреи в Москве. Страница из истории современной России” (Берлин, 1904). Речь идёт здесь о высылке из столицы по приказу великого князя Сергея Александровича огромного числа иудеев, в том числе тех, кто жили там по 20–30, а то и по 40 лет. Полиция свирепствовала, устраивая ежедневные и еженощные облавы, выхватывая из толпы на улицах людей, даже только похожих на евреев. А изобличитель иудея-нелегала поощрялся суммой, равной награде за донос на двух грабителе (!). “Измученное и раскрытое беде еврейское сердце не вмещает горя!” – восклицает автор.

Однако, подчёркивает Гольдовский, репрессиям подверглись

даже и не столь многочисленные оставшиеся в Москве иудеи. Он свидетельствует о запрете властей открыть синагогу на Солянке, о закрытии, несмотря на ходатайства еврейской общины, 9 молелен, Александровского еврейского ремесленного училища, школы Талмуд-Торы на Солянке и т. д. А чего стоит принуждение евреев указывать на вывесках города, помимо фамилий, свои уничижительные имена: Шлёмка, Йоська, Срулька, причём крупным жирным шрифтом! Или же в официальноделовых документах непременно писать “Еврей такой-то”, заменяя тем самым пресловутую жёлтую звезду на средневековых плащах. “Что это как не систематическое опозорение целого класса тружеников! – восклицает автор. – Человеческий разум отказывается постигнуть, как можно жить одновременно в конце XIX столетия и в эпоху Испанской инквизиции… почему затмение сердец так продолжительно, и где загадка этой бесконечной злобы, изобретательности и неослабевающей по отношению к изможднному, униженному, поверженному в прах брату, который поклоняется тому же Богу ”.

Гольдовский был убеждённым либералом, и еврейский вопрос служил для него инструментом борьбы с царской реакцией вообще. Он стоял у истоков партии Конституционных демократов и в 1904 году отправился в Петербург, где будущее России обсуждали 118 ведущих политических деятелей под председательством Ивана Петрункевича, Петра Милюкова и Максима Винавера. Вошёл Гольдовский и в возглавляемое Павлом Милюковым Центральное бюро “Совета союзов” – политическую организацию прогрессивной интеллигенции, созданную на съезде 8–9 мая 1905 года в Москве и объединявшую 14 профессионально-политических союзов.

Царский манифест был воспринят Гольдовскими с необыкновенным воодушевлением. “Когда я, задыхаясь от радостных слёз, дочитывала *вслух* эти чудотворные слова, записывает Хин в дневнике 17 октября 1905 года, я себя не узнавала. И не я одна, а все мы. Мы плакали, целовались, смеялись. Мы наскоро оделись… Улицы были неузнаваемы… У всех радостные лица…

У всех в руках манифест. Читали группами”.

Но вскоре Рашель и Онисим стали непосредственными свидетелями кровопролития в Москве, учинённого чёрной сотней, науськанной на избиение интеллигентов и евреев. Дома они укрывали раненного громилами студента, чудом уцелевшего от нападения разъярённых охотнорядцев. В окна их квартиры полетели камни. И только драгуны, вызванные к месту происшествия знакомым околоточным, спасли семью от

неминуемой гибели.

И вот охотнорядцами убит революционер Николай Бауман, и Онисим Борисович в составе делегации от Совета Союзов едет к московскому генерал-губернатору, просит, настаивает, требует, чтобы на его похоронах не было ни полиции, ни драгунов, ни казаков; утверждает, что рабочие будут сами сохранять порядок. Гольдовские наблюдают за процессией с балкона гостиницы "Националь". "Этого никогда нельзя забыть. И описать нельзя! – восклицает Рашель, Невиданное зрелище. Процессия… тянулась целый час. Участвовало в ней, говорят, 100 000 человек…

Флаги, флаги, флаги!".

Однако в том же 1905 году, когда революционные события вызвали небывалый подъём реакции и по империи прокатилась новая волна погромов, Гольдовские решили оставить Россию и уехать за границу. Рашель задержалась там надолго, а вот Онисим вернулся домой уже через год. И причиной тому стало, как потом узнала Хин, новое сердечное увлечение мужа, о чём, однако, она в своём дневнике предпочла не распространяться.

Напротив, в 1914 году, она, оглядываясь назад, так отзовётся об Онисиме: "27 лет тому назад он имел несчастье влюбиться в чужую жену и взвалил на свою спину её, её ребёнка, а затем мало-помалу – выросла целая семья – избалованная, капризная, требовательная, которая поглотила его труд, его вкусы, его желания. Он всех любил, на всех работал… Вот как приходится платиться за любовь к чужой жене". А 5 октября 1914 года Рашель, характеризуя мировую войну, как "подлую бойню", неожиданно выдаёт сокровенное: " Хоть бы дома был мир, хоть бы в *семьях!* Везде и всюду раздор! У *нас*, например".

Намёк писательницы станет понятным, если *учесть,* что по прошествии десятилетий их супружеская пара смотрелась уже не вполне гармонично. Литератор Ариадна Тыркова-Вильямс увидела их на вечере у Лидии Лепёшкиной в мае 1911 года: "Тучная, скучная М-me Гольдовская, уже совсем старуха, а рядом муж, розовощёкий, упитанный сытостью, довольный собой и с каким-то блудливым взглядом". А умалчивала Хин о том, что хотя по "полному и законному праву" она оставалась женой Гольдовского, её благоверный завёл другую семью, которой, равно как и ей, отдавал с лихвой свой труд, вкусы, желания, душевные силы. Было горько и мучительно делить *её* мужа с этой новой семьёй.

А избранницей Гольдовского стала юная скрипачка Лея Любошиц (1885–1965), с которой он сошёлся в 1906 году. Юная подруга Гольдовского воспитывалась в семье профессиональных музыкантов, и музыка, и только музыка, занимала все её труды и

дни. Уроженка Одессы, она в восьмилетием возрасте пленила своей игрой виртуоза Леопольда Ауэра, училась в Санкт-Петербургской консерватории, по окончании которой получила Золотую медаль. Восхищённый миллионер Лазарь Поляков подарил ей скрипку Амати. Лея с блеском выступала на музыкальных вечерах и концертах, не только в России, но и в Восточной Европе, играла даже при Императорском Дворе. Онисим Борисович приобрёл для новой семьи квартиру в Москве. Любошиц родила Гольдовскому сыновей, Юрия и Бориса, и дочь Ирину.

Гольдовский горячо приветствовал Февральскую революцию. Слова “Керенский”, “Милюков” не сходили с его губ. Запись Хин в дневнике от 1 марта 1917 года: “Онисим Борисович приехал из Петрограда. Он *всё это* видел. Страшно возбуждён, радостен, помолодел. Говорит, что одно то, что он *жил в эти дни* — есть уже величайшее счастье. Говорит, что энтузиазм Петербурга неописуем”. Возбуждённо-радостное настроение переживала и Рашель, записавшая в дневнике: “Все ликуют. Оно и понятно. Сколько накопилось в душах обиды, возмущения, ненависти… Теперь и умереть не страшно… Мы видели зарю свободы. Наши дети и внуки будут жить в свободной России… Теперь такие речи слышатся с утра до ночи из самых разнообразных кругов московской интеллигенции… Все увлечены превращением рабской “Пошехонии” в свободнейшую на земном шаре страну… Всё это до того *нереально*… На чём всё это держалось? Где же эти незыблемые *устои*? Почему их никто не защищает? Императорские стрелки, гусары, драгуны, казаки? Неужели это была только балетная декорация вокруг картонного дуба?.. Толкнули ногой – всё рассыпалось, провалилось… Слишком, слишком всё головокружительно, неправдоподобно… и *потому страшно*. Забегал Бальмонт. Он в экстазе. Не человек, а пламень. Говорит: Россия показала миру пример бескровной революции… Подождите! Революции, начинающиеся бескровно, обыкновенно становятся самыми кровавыми”…

О приходе же к власти большевиков Гольдовский сказал: “Эта сумасшедшая вакханалия не может продлиться долго”. Между тем, новые хозяева страны укрепились всерьёз и надолго, и в его, Гольдовского, услугах никак не нуждались. Мало того, он, маститый адвокат, был квалифицирован как эксплуататор и разом лишился права держать прислугу; в доме остановили “буржуйский” лифт, так что Онисиму Борисовичу (а у него было слабое сердце) приходилось карабкаться на пятый этаж пешком; закрыли и парадную лестницу, осталась только черная, “пролетарская”. Да и жировать в просторных апартаментах не

позволили: подселили несколько рабочих семей. Если бы не Лея, которую стали приглашать на музыкальные концерты для “сознательных” рабочих, семья умерла бы с голоду. В декабре 1917 года у Гольдовских произвели обыск (о чём сообщала в письме к мужу Сергею Эфрону Марина Цветаева). А в 1919 году Онисима Борисовича арестовали и допрашивали на Лубянке. Думается, что он привлёк внимание органов как крупная в прошлом политическая фигура, лидер кадетской партии и принципиальный противник большевизма. И хотя его нахождение под стражей было кратким, на семейном совете было принято решение оставить советскую Россию и уехать, сначала в Германию, а затем и в Америку. Не объявляя заранее о планируемой эмиграции, Лея, взяв с собой сына Бориса, в 1921 году отправилась за границу, якобы на гастроли. Вскоре удалось вывезти в Германию и маленькую дочку Ирину, и было договорено, что к ним присоединится и глава семейства. Однако уже в Берлине к ним пришла скорбная весть о скоропостижной кончине Онисима Борисовича от инфаркта. Ходили слухи, что смерть спровоцировало полученное Гольдовским известие о новом аресте, а опасный для сердечника подъём на верхотуру по крутой лестнице довершил дело.

Одновременно с новой семьёй Гольдовского решает эмигрировать из Совдепии и Рашель Хин. В июне 1921 года она подаёт заявление в президиум ВЦИК с просьбой разрешить ей выезд за кордон, мотивируя это плохим состоянием здоровья (прилагая при этом медицинскую справку авторитетного врача-терапевта, профессора МГУ Дмитрия Плетнёва). А 2 августа 1921 года Хин получает мандат за подписью наркома просвещения Анатолия Луначарского на поездку в Германию “для изучения новейшей детской литературы и детского искусства и лечения”.

Согласно сведениям Фонда русского заграничного архива в Праге, Рашель Мироновна умерла в Германии. На самом же деле, в советскую Россию она всё-таки вернулась и до самой своей кончины в 1928 году жила в Москве. Хин была удостоена краткой статьи в “Биобиблиографическом словаре писателей XX века” (М., 1928), но новых художественных произведений она так и не написала. Диктатуру пролетариата она не приняла и в советскую культуру не вписалась, хотя числилась во Всероссийском союзе писателей – профессиональной писательской организации для литераторов “старой” (дореволюционной) формации, организованной в 1920 году и просуществовавшей до 1932 года. Состояла она и членом Общества любителей российской словесности при Московском университете, впрочем, влачившего при Советах жалкое существование. Так талантливая, в прошлом

знаменитая писательница не смогла при большевиках реализовать своего литературного дарования. Она жила и дышала прошлым. И как отголосок минувшего, должно рассматривать последнее произведение, вышедшее из-под её пера. То были воспоминания Хин о знаменитом адвокате и судебном ораторе Анатолии Кони, которые она назвала “Памяти старого друга”. Но увидело оно свет в сборнике “Памяти А.Ф.Кони” (М; Л., 1929) уже после её кончины.

Первые публикации Рашели Хин появились в ежемесячном журнале “Друг женщин”, издаваемом в Москве в 1882–1884 гг. под редакцией Марии Богуславской. Журнал объявил своей задачей “предоставление женщинам высказывать свои суждения обо всём, что их касается, о своих нуждах и потребностях”, и сосредоточился главным образом на их религиозно-нравственном воспитании. Выступление Хин в печати вполне вписывалось в программу издания. Речь идёт о просветительском очерке “Судьбы русской девушки”, посвящённом народным свадебным обрядам (Друг женщин, 1883, № 2). Автор говорит здесь о народных нравах и обычаях, как о живых отголосках стародавних времён. Она раскрывает глубокий смысл свадебного ритуала, даёт картину последовательного развития форм брака в связи с судьбою девушки. При этом использует сборники фольклора, иллюстрируя материал яркими примерами из народных песен. Хин демонстрирует широту взглядов, обращаясь к трудам о первобытной культуре и истории цивилизации Джона Леббока и Эдуарда Беннета Тейлора, а также этнографа Матиаса Александра Кастрена, путешествовавшего по северной России и Сибири, описывает русские, малороссийские, белорусские, самоедские, сербские, лужицкие, мордовские свадебные обряды; особое внимание уделяет таким обрядам, как свадебные плачи, купля-продажа, похищение, уход и увоз невесты, обоюдные договоры, битьё плёткой, смотрины и глядины, и т. д. Её вывод: изучать народный быт– первостепенная необходимость, “хотя бы по отношению к одному из частных вопросов – вопросу о судьбах девушки в различные эпохи общественного развития”.

В том же журнале (1883, № 3–6) была напечатана повесть “Из стороны в сторону”. Уже в ней выявляется стремление Хин к показу характера в его становлении. Американский литературовед Кэрол Бэйлин подчёркивает: “Повесть Хин предостерегает читателя – это мужчины могут положиться на женщину в эмоциональном и материальном планах; женщина же, всецело доверившаяся мужчине, обречена на несчастье”. Интересно, что писательница не обошла вниманием феминистские тенденции в современном ей российском

обществе. Она создаёт пародийный образ воинствующей феминистки, чьи слова и дела доведены до полного абсурда. “Языком горы ворочает, а на деле дрянь выходит”, – говорит об этой кликушествующей особе один из персонажей повести.

Впрочем, эти образы рефлексирующих, мятущихся женщин стоят особняком в творчестве писательницы. Уже три её последующие произведения 1886, 1890 и 1891 годов, впоследствии объединённые в книгу Хин “Силуэты” (1894), могут рассматриваться как единый цикл. Соединяет их сродство главных героинь, с их преданностью делу, твёрдой жизненной позицией. Это женщины сильные, самодостаточные, с крепкой нравственной закваской, которые хотя “иногда и теряют головы перед ударами судьбы, но… опять поднимают голову и продолжают биться до конца. При этом у Хин нет нытья и слащавости, везде бьют ключом бодрая сила и живая энергия”. Заметим, что именно такой образ женщины, независимой и самодостаточной, культивировался адептами российского феминизма конца XIX века. Прозу Хин и рассматривали в этом ключе, отмечая, что она “пишет с чисто женской точки зрения, останавливается на тех мелочах, которыми любят заниматься женщины и трогают женское сердце”.

Очерк “Силуэты” (Русская мысль, 1886, № 8–9) посвящён борьбе за самостояние и место в жизни молодой художницы Нины Высогорской и её жизни во Франции. Русскую колонию эмигрантов в Париже Хин изображает “в однотонном сером колорите”. Эти люди, вечно праздношатающиеся, затянутые в “беличье колесо кружковой жизни”, кажутся “искалеченными”. И не случайно у героини возникает желание непременно вернуться домой, в Россию. Но отрезвление настаёт быстро. “Дикая, алчная, ничем не сдерживаемая погоня за карьерой и беспечальным житием – вот что нашла Нина на родине”. Она в отчаянии: “Меня одолела эта пошлая мещанская яма; я и сама не знаю, чего хочу. Стыдно, стыдно!” Единственно, что её спасает в этой ситуации – творчество, и она с головой уходит в работу. – Её талант выручит, – говорят о Нине окружающие.

Повесть Хин “На старую тему” (Северный вестник, 1890, № 1) отличается “свежестью, душевной теплотой и глубоким нравственным настроением” (Русское богатство, 1890, № 1–2). А в её главной героине Татьяне Обуховой, умной и цельной, критики находили сходство с Татьяной из “Евгения Онегина”, впрочем, Татьяны новой, сознательно убеждённой. Это чуткая, чистая, глубокая натура. Но даже малопривлекательные персонажи под пером Хин обретают известную многомерность: “в самой, казалось бы, загрубелой душе, одичавшей от самодурства,

озверелой от пьянства, она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая ярость к падшим и сочувствие к страдающим".

Обращают на себя внимание образные выражения автора, обладающие афористической меткостью: "Всю жизнь был благородным дворянином, собаку через ять писал… Я кругом запечатана… Она даже не хандрила, а как-то застыла в своей печали……Она из тех, кто умирает с улыбкой на устах, чтобы не огорчить окружающих… Облагонамерились… Перестаёт говорить и речет, как пророк".

В повести "Наташа Криницкая" (Русское обозрение, 1891, Кн. 3, № 6) конфликт поколенческий – легкомысленной и ничтожной матери и чуткой, с твёрдыми нравственными принципами дочери. Наташа чётко формулирует своё жизненное кредо: "Я верю, слышите, несмотря ни на что, верю, что есть люди, для которых слово "любовь" не значит только любовь к женщине, которые имеют мужество громко стоять за то, что они считают правдой и не боятся показать слишком много участия бедняку". Деятельная любовь к людям – вот что держит Наташу Криницкую и ведёт её по жизни.

Как видим, героини писательницы побеждают обстоятельства тем, что угадывают и находят своё главное предназначение. Одних спасает талант ("Силуэты"), других – живое дело, забота о детях ("На старую тему"), третьих – деятельная любовь ("Наташа Криницкая").

Критики оказались единодушны в оценке "хорошего литературного языка нервной до страстности женщины". И как тут не обратиться вновь к афористичности её стиля. И в этих повестях то и дело встречаются колоритные фразы: "Высокомерная порядочность российского индефферента…. Страдающий человек лучше, чем блаженствующая скотина (трезвый практик)… Искренний человек – дикарь, который лезет с дубиной на всякого, кто ему не по нраву… У меня в жилах кровь течёт, а не кислая простокваша" и др.

Рецензенты отмечали, что "у писательницы есть в достаточной мере то, что Тургенев называл "выдумкой"; в повествованиях же нет ничего придуманного, то есть деланного и насильно притянутого эффекта. Зато содержится призыв к взаимной деятельной любви, к доброжелательству, к созданию таких семейных и общественных отношений, при которых в семье и обществе можно было жить "по-человечески".

В следующем её сборнике "Под гору" (1900) художественно-тематический диапазон заметно расширяется. Как об этом писала авторитетная "Галерея русских писателей" (1901), теперь "Хин

сосредотачивает внимание на выяснении пустоты и фальши аристократической салонной культуры, пошлости буржуазной среды – среды модных адвокатов и модных докторов".

Повесть "Одиночество" ("Из дневника незаметной женщины"), опубликованный ранее в "Вестнике Европы" (1899, Т. 5, Вып. 9-10, сент.), интересен не столько самой свыкшейся со своим духовным одиночеством героиней, убеждённой (точнее, давшей себя убедить) в отсутствии у неё какого-либо таланта и целиком растворившейся в семье, сколько её домочадцами – дочерью и мужем, модным адвокатом.

Первая эгоистична и чрезвычайно своекорыстна, деньги для неё – "винт, на котором вертится мир". И она сама, и её молодое окружение – поколение скептиков, они решительно ничему не удивляются, не ведая ни трепета, ни восторга, ни робости, ни сомнений. Такие считают хорошим тоном смотреть на жизнь с презрительной усмешкой.

Под стать дочери и её отец, достигший в юриспруденции степеней известных. При этом Хин, знавшая адвокатскую среду не понаслышке, ориентировалась здесь на вполне реальный прототип. Впрочем, карьера некоторых адвокатов, общественных деятелей – из прогрессистов – в реакционеры – была явлением не редким во все времена.

Жанр произведения Хин "Последняя страница" (Под гору. М., 1900, С. 201–247) определён как "отрывок". И в самом деле, здесь выхвачен день из жизни русской эмигрантки в Париже, сумасбродной графини. Эта бывшая красавица (а ныне толстая маленькая фигурка с жёлтым одутловатым лицом), пребывает в вечно раздражённом настроении и злословит в адрес окружающих. Эгоцентрик и мизантроп, она патологически скаредна, тиранит всех вокруг.

Небольшой эскиз Хин "После праздника" (Под гору. М., 1900, С. 311–323) с описанием шумной разноязыкой толпы изысканно одетых кавалеров и дам на Медицинском конгрессе, навевает скорее меланхолическое настроение, мысль о скоротечности бытия.

"Повести Хин задуманы небанально и читаются с интересом", – отмечали критики. Но особая ценность их в том гуманистическом посыле, который автор доносит до читателя. И современники это понимали и принимали: "Хин верна одной религии – добра и справедливости, что всего выше… писательница с непоколебимою мягкостью, истинно гуманно относится к порочным, испорченным и обездоленным…. Она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая милость к падшим и сочувствие к

страдающим”.

* * *

Отношение Рашели Хин к вопросу крещения евреев представляет тем больший интерес, что сама она приняла католицизм, правда, по причине, далёкой от прагматизма. Известно, что согласно иудаизму, отказ еврея от веры предков считается тяжким грехом. В галахической литературе такой отступник называется *мумар* (буквально ‘сменивший веру’), *мешуммад* (‘выкрест’), *апикорос* (‘еретик’), *кофер* (‘отрицающий Бога’), *пошеа Исраэль* “преступник против Израиля”) и т. п. При переходе иудея в христианство семья ренегата совершала по нему траурный обряд – херем, как по покойнику (такой обряд блистательно описан Шолом-Алейхемом в рассказе “Выигрышный билет”). Выкреста предавал херему раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного сына или дочь.

Однако драматические события еврейской жизни конца XIX века заставляют переосмыслить устоявшиеся догмы и представления. Некоторые радетели еврейства переходили в чужую веру и соблюдали чуждые им обряды, стремясь принести пользу своему народу. И тогда крещение еврея могло восприниматься уже как жертва во имя соплеменников. А ради их блага позволительно было рядиться в любое платье, даже апикороса-отступника.

Известный врач и общественный деятель Рувим Кулишер (1828–1896) утверждал, что знал выкрестов, которые, заняв высокое положение благодаря крещению, по мере возможности старались защищать евреев.

Влиятельных выкрестов, всемерно помогавшим своим соплеменникам, в России было немало. Так, ориенталист Даниил Хвольсон (1819–1911) на вопрос о причинах его крещения ответил: “Я решил, что лучше быть профессором в Петербурге, чем меламедом в Эйшишоке”. И академик Хвольсон, вошедший в историю как ревностный заступник иудеев, доказал необоснованность обвинений их в ритуальных убийствах и глубоко исследовал историю семитских религий. Знаменитый адвокат Лев Куперник (1845–1905), “всех Плевак соперник”, был деятельным защитником евреев, не боясь при этом разоблачать действия властей, и всей своей жизнью заслужил то, что, несмотря на крещение, после его кончины в российских синагогах вели поминальные службы. Или Иван Блиох (1836–1901), ученый

с мировым именем, чей вклад в жизнь российского еврейства еще не вполне оценен. А он, между тем, был активным участником комиссии Константина Палена по пересмотру закона о евреях, автором фундаментальных экономико-статистических трудов о губерниях “черты оседлости”, а также специальной записки “О приобретении и арендовании евреями земли” (1885). Хотя Блиох формально снял с себя “кандалы еврейства”, на смертном одре признался: “Я был всю жизнь евреем и умираю, как еврей”. Между прочим, его опыт мог быть вдохновляющим для Хин, поскольку тот принял католицизм и “превратился из варшавского жидка в заправного европейца”.

Борьбой за права соплеменников проникнуто всё творчество Хин. Что до крещения, то она, будучи, по-видимому, агностиком (“Вы должны прийти к вере”, – увещевал Рашель Владимир Соловьёв) и сторонницей свободы совести, в жизни отличалась веротерпимостью и поступала весьма прагматично. Это отчётливо видно на примере её сына Михаила Фельдштейна (1885–1939), крещением которого она озаботилась очень рано и поделилась этим с близким другом, знаменитым адвокатом Анатолием Кони. Тот писал ей 20 июля 1890 года: “Вы пишете о Мише. Мне не придётся, вероятно, видеть его юношеский расцвет, но если бы я до этого дожил, то – будет ли он, мой милый знакомый незнакомец – еврей или христианин, моё участие, поддержка и сочувствие принадлежит ему заранее, во имя его настрадавшейся матери. С вопросом о нём торопиться незачем – лет до восьми можно оставить вопрос in status quo. А там многое ещё может перемениться. Главное, не падайте духом и не теряйте веры, что ему принадлежит светлое будущее”. Миша всё же будет крещён по православному обряду, что поможет ему в научной карьере (в возрасте 32 лет станет приват-доцентом Московского университета). Но когда спустя годы, в пылу славянофильского угара, он станет проявлять откровенное евреененавистничество, Хин, хотя и попытается разобраться в его психологической мотивации, жестока и бескомпромиссна к сыну: “Миша питает к евреям органическую антипатию (я по себе знаю, что такое чувство может быть у очень нервного еврея, выросшего в далёкой от еврейства среде)… Но Миша – очень образованный человек, настоящий учёный, с философским складом ума – и, наконец, просто порядочный человек. Вся та дикая оргия, которая теперь совершается над евреями и которая приняла чудовищные размеры – не может не возмущать даже ко всему равнодушных людей. Я уверена, что Миша глубоко страдает. Но, вместе с тем, он возмущается, что из-за еврейских погромов он не может сосредоточить исключительно все свои чувства на войне и её

героях. Приходится разбиваться. Тех, которые поставили на пьедесталы Наполеонов, Суворовых – ведут себя, как тупицы, мерзавцы, злодеи… Обидно и противно”…

Закономерен вопрос: а как правда жизненная, историческая соотносится с правдой художественной? Художник не просто отражает действительность, он её активно преображает, намечая такие этические и нравственные рубежи, которых не всегда возможно достичь в реальной жизни. В полной мере это относится и к Рашели Хин, затрагивающей тему крещения во многих своих художественных произведениях. Примечательно, что, в отличие от повествовательницы, в жизни принявшей католицизм, положительные герои ее произведений, поставленные перед подобным выбором, как правило, категорически от крещения отказываются, даже если оно вызвано причинами “романического” свойства (хотя и ревнителями иудаизма, крещение из-за любви подчас даже оправдывалось). И, напротив, обратившиеся в христианство (из прагматических и карьеристских соображений) ею жестко порицаются.

В Саре Павловне Берг, героине повести Хин “Не ко двору” (Восход, 1886, № 8-12), угадываются и индивидуально-авторские, и типические черты ассимилированного русско-еврейского интеллигента конца XIX века, с его неизбывной трагедией. Воспитанная в привилегированном пансионе в духе заскорузлого антисемитизма, девочка читает “Четьи Минеи” и убеждена, что все евреи грязные, что они “с мацой в Пасху пьют человеческую кровь”, и страстно мечтает о крещении.

Однако учитель-швейцарец, месье Обер, объясняет девочке, что ренегатом быть негоже, и если мы родились в какой-нибудь религии, то изменить ей мы можем только в том случае, когда, по основательному изучению, придём к убеждению, что она не может нас удовлетворять. Он говорит о грандиозной и вместе с тем трагической истории евреев, давших миру великих мыслителей, пламенных патриотов, несравненных поэтов и приносит ей “Натана Мудрого” Лессинга и другие просветительские сочинения.

Логика жизни приводит девушку к заключению, что если ненависть к евреям входит в самую структуру христианства, то оно, стало быть, не дотягивает до тех ценностей, которые им провозглашаются. Сара, интеллигентная и образованная, то и дело сталкивается с дискриминацией: ей, как еврейке, отказывают в работе. А в один богатый дом она попадает, поскольку хозяева посчитали, что “даже лучше, что она жидовка; будет, по крайней мере, знать свое место и не важничать”. В такой “серой, точно гороховый кисель”, юдофобской атмосфере

“ей как-то не верится, что можно произнести слово “еврей” без прибавления – плут, мошенник, подлец, когда представляется удобный случай”.

Принципиально невозможным становится для героини и крещение, какими бы резонами оно ни было продиктовано. А к нему склоняет Сару ее возлюбленный Борис Коломин, дабы заключить с ней брак, убеждая, что это простая формальность, обряд. – Для такой женщины, как Вы, существует лишь одна религия, которая совсем не обусловливается той или иной церковью. Не могу же я поверить, что Вы заражены религиозным фанатизмом.

Однако вовсе не в фанатизме тут дело: Сара Павловна считает себя плотью от плоти еврейского народа и желает быть со своим народом – там, где, говоря словами поэта, ее “народ, к несчастью, был”! Для неё креститься – значит отречься от несчастных соплеменников, “перейти во вражеский лагерь самодовольных и ликующих”. Потому она категорически отказывается изменить свой вере и выйти за Коломина. Хин – писательнице важно подчеркнуть демонстративный отказ героини от ренегатства.

В другом произведении, “Мечтатель” (Сборник в пользу начальных еврейских школ / Изд. Общ-ва Распространения Просвещения между евреями России, Спб., 1896), перед нами предстает “скромный и бескорыстный пионер еврейского просвещения”, Борис Моисеевич Зон. Это “неисправимый романтик”, кумиры коего – печальники еврейства Ицхак-Бер Левинзон (по предположению исследователей, Зон – усечённая форма фамилии “Левинзон”) и Илья Оршанский, а любимые литературные корифеи – Жорж Саид, Виктор Гюго и И.В. Гете. Он наделен “умом сердца”, чуткостью и подкупающей всех “духовной простотой”. Этот “энциклопедист-самоучка – любопытный обломок целого типа, который в таком неожиданном изобилии выделило еврейское захолустье в конце 50-х годов”.

В холостяцкой московской квартире Бориса Моисеевича столовались нищие студенты, несостоявшиеся артисты, бомжи, а хозяин-хлебосол и рад был внимать ежечасно “молодому шуму”, привечать всех – и эллина, и иудея. Однако шли годы, эпоха надежд Александра II – Освободителя канула в Лету, на троне прочно обосновался “тучный фельдфебель” – Александр III. “Дух времени был слишком силен, и старый мечтатель растерялся, – пишет Хин. – Пришли степенные молодые люди с пакостной усмешечкой, иронизирующие над “именинами сердца”, пришли журналисты, прославляющие розги, юдофобство на “научной” почве, с передержкой, гаерством, гиканьем”.

“Страдальца” Зона, не пожелавшего пойти на сделку с совестью, высылают из Москвы (предварительно в полицейском участке его аттестовали “натуральным жидовским” именем – Беркой Мордковичем – и не без удовольствия напомнили, что в России “для жида нет закона”! (Надо заметить, что здесь Хин переданы подлинные слова московского обер-полицмейстера Александра Власовского). Последние дни наш “мечтатель” проводит в одном заштатном городке черты оседлости, где и кончает жизнь самоубийством.

В сочинении Хин “Одиночество” привлекают внимание два национальных типа, поразительных по своей полярности. Представитель первого – весьма отталкивающий, “крошечного роста, худенький, черномазый… невежественен баснословно” выкрест Беленький. Противостоит ему выпускница университета Белла Григорьевна Грогсгоф. Тонкая и интеллигентная, она дает частные уроки, готовит учеников к поступлению в гимназию. Но ее семью, как и семьи тысяч иудеев, высылают из Москвы, хотя родители “живут здесь чуть ли не 20 лет, и вдруг оказывается, что они не имеют права тут жить и должны уехать на родину, а они и забыли давно, где их родина”. Белле с ее обостренным чувством национального достоинства стыдно и унизительно просить о том, что должно принадлежать ей по праву.

Влиятельный юрист Юрий Павлович, к заступничеству которого прибегает Белла, предлагает ей отказаться от своих принципов. Диалог этого циничного “законника” и образованной еврейки воссоздан писательницей мастерски, с блеском и присущей только ей тонкой и уничтожающей иронией. Первый вполне оправдывает “виды высшей администрации”, говоря, что “у евреев действительно много несимпатичных черт”; впрочем, он вполне уверен, что просительница “составляет блестящее исключение из этого, увы! – печального правила”. Белла не понимает, как можно допустить такой суровый приговор целому народному. Тут Юрий Павлович дает девушке “добрый совет”: – Берите меня в крестные отцы, и дело с концом!

Белла с негодованием отвергает это предложение.

В драме Хин “из эпохи освободительного движения” – “Ледоход” (М, 1906) выведен тип еврея социал-демократа и интернационалиста – Павла Львовича Брауна. Хин характеризует его как “одного из лучших людей”, который “юношей вступил в армию борцов за российскую свободу”. Знаменательно, что один из персонажей пьесы, сановник Иван Бутюгин, по его словам, к Брауну “в крестные отцы набивался”, а тот на такое “выгодное” предложение только рассмеялся ему в лицо.

Справедливости ради надо указать и на одно исключение из

общего правила. В драме “Наследники” (СПб., 1911) представлен чрезвычайно привлекательный персонаж еврея-выкреста. Это престарелый мультимиллионер Роман Ильич Волькенберг. Существенно, однако, что сам он не только подчёркивает своё еврейство, но и окружающими воспринимается именно как “старый жид” – и по своей психологии и по образу мышления. Хотя обстоятельства крещения Волькенберга – “романического” свойства: он влюбился в дочь русского аристократа из Рюриковичей.

Иудейская вера рассматривалась писательницей как органическая часть еврейской идентичности, а крещение равносильно для нее отщепенству от своего народа. Правда, подобное предательство осознается далекой от иудаизма Хин не столько как религиозное, сколько как социально-правовое и политическое. Отступничество воспринимается как отказ от высокого мученичества дискриминируемого меньшинства, как продажа души за “чечевичную похлебку”. Симпатичны и притягательны у нее, как правило, те евреи, которые тверды в своих убеждениях и не желают быть ренегатами. И хотя в жизни писательница мирилась с таковыми, она настойчиво и целенаправленно развенчивала их в своем творчестве.

* * *

Когда известный критик Аркадий Горнфельд прочитал в русском журнале “Вестник Европы” (1896, сент.) произведение Хин “Устроились”, он посчитал, что “не там этому рассказу место, что там его не поймут, т. е. поймут грубо, в общих чертах, но не в тех тонких частностях, которые мог бы оценить и понять только еврейский читатель”.

Что же специфически еврейского содержал в себе этот текст? Речь идёт здесь о бывших университетских однокашниках, русском и еврее, встретившихся через 12 лет после выпуска на Пироговском съезде врачей, причём первый принимает второго в своём роскошном московском особняке. Их судьбы сложились по-разному: хозяин особняка Игнатий Львович Дымкин стал “столичной знаменитостью”; второй же, Семён (Симха) Михайлович Воробейчик, живет и практикует в захолустном Загнанске, на речке Гнилушке. Но роднит их то, что оба несчастливы и обманулись в браке. Дымкин поведал товарищу, как стал деталью модного интерьера – “базара” жены, а всё потому, что ещё будучи молодым, “свою душу продал” ей за 50 тысяч. “А я свою даром отдал”, – вторит ему Воробейчик.

Оказывается, нечаянно женившись на внушительном приданом, он не только такового не получил, но и вконец исковеркал свою жизнь. Писательница художественно точно рисует еврейские типы, проникая в самую суть характера. Каждый штрих, каждая черточка обретают яркость, значительность и типичность. “Вот– подлинные “плоть от плоти и кость от кости нашей”, – говорит Горнфельд о персонажах Хин. – Такая литература с её объективным художественным наблюдением выгодно отличается от прочей тенденциозной еврейской беллетристики, и пишет не манекенов, но “живого еврея”.

Ещё одно произведение Хин о “живом еврее” напечатано в журнале “Мир Божий” (1903, № l). Это рассказ “Феномен”. Некая Мадам Пинкус привозит из Кишинёва в Москву своего сына, малолетнего Яшу, обладающего феноменальными вокальными способностями (“Бог даёт еврейским детям ум и талант назло их врагам”, – говорит она). Учительница музыки, к которой она обратилась за помощью, разглядела в ребёнке “на тоненьких ножках, тщедушном, бледном, с длинной, как у аиста, шеей, с большой курчавой головой и огромными, недетскими черными глазами”, недюжинный талант. Пользуясь своими связями и знакомствами, она организует концерты мальчика-феномена, имеющих оглушительный успех. Но когда речь зашла о возможности для семьи Яши остаться в Москве, охотников помочь не нашлось. Хин мастерски рисует это воинствующее равнодушие столичного бомонда. Одна из его светских львиц, генеральша Стоцкая, отговаривается: “А что от евреев покою нет… Противный народ. Терпеть не могу вечно несчастных людей. Порядочный человек молчит о своих несчастьях, а евреи кричат на весь мир, что их обижают. Отвратительная манера”.

“Одеревенели сердца у людей; ни талантов, ни души, ничего не нужно”, – сетует учительница. И Мадам Пинкус повезла своего Яшу назад в Кишинев. Критик Григорий Адмони-Красный под впечатлением “Феномена” Хин писал: “Тема, затронутая ею, несомненно, интересна, но она до того полна различных моментов, что в небольшом рассказе очень трудно охватить их все. Г-же Хин под силу и большой роман; жизнь же, затронутая ею, настолько интересна, что доставила бы богатый материал именно для романа или обширной повести”.

Примечательно, что именно в год опубликования рассказа в журнале “Мир Божий” (1903), при полном попустительстве властей и духовенства, случится страшный Кишиневский погром. Причём рассказ был опубликован за три месяца до этого ужасного события. Вот что писала Рашель Хин в своём дневнике от 19 апреля 1903 года: “В Кишинёве произошёл чудовищный погром. В

течение трёх суток – на Пасху – грабили и убивали евреев. По официальным сообщениям, людей выкидывали из верхних этажей на мостовую, насиловали женщин, “наносили удары, как по каменным стенам”. Полиция бездействовала… Газета “Бессарабец” каждый день разжигала ненависть и науськивала чернь на евреев. Во время погрома христиане, “интеллигенты” в праздничных нарядах расхаживали и разъезжали по городу и *смотрели*, как бьют жидов. Никто не заступился. Всем было всё равно. По газетам, убитых 45 человек, по частным (письмам) – больше трёхсот… Какой срам!”. Вот что ждало Яшу и его маму, точнее, их прототипов, на родине, в черте оседлости. Уцелели ли они в этой человеческой бойне?

Однако и положение иудеев, получивших право жительства в Москве, завидным не назовёшь. Ранее в “Недельной Хронике Восхода” (1887, № 2) Хин публиковала “Письма из Москвы”. Голос автора сливался здесь с мыслями и чувствами десятков тысяч её московских соплеменников и как будто звучал от их имени. Наблюдения не только объективны, они глубоко выстраданы.

Речь идёт о том, что русская интеллигенция “так чистосердечно, так искренно игнорирует существование евреев, что даже сами они как бы свыклись с мыслью, что так этому и быть надлежит”. Всякие попытки “слияния” тщетны. Действительность отрезвляет, и евреев равно чураются либералы, консерваторы, народники, квартальные, добровольцы. С горечью констатируется тот факт, что для московских иудеев “личная жизнь в своём узком смысле заслонила все общественные интересы”. Всё свелось к тому, как бы поприятнее пожить; и “сколько муки, сколько пыток причиняет этот упрощённый идеал, какую бездну лжи и притворства он породил!”. Отсюда – совершенное неумение жить; неуверенность в завтрашнем дне; бесцеремонность обращения богатых с бедными, образованных с простыми; подчас до наивности доходящее чванство; жалобы, вздохи, разлетающееся, подобно карточному домику; солидное положение; толки о выгодной партии; буржуазное самодовольство и холопская низость. И безусловно, права комментатор текста, израильский исследователь Нелли Портнова, отметившая, что “Россия за формально-законодательное принятие в свой мир требовала от евреев предательства – массового снижения нравственного уровня”.

Самый известный текст Хин – “Макарка” (Из жизни незаметных людей). Эскиз” (Восход, 1889, № 4), переизданный впоследствии пять раз (в том числе дважды в многотиражном издательстве “Посредник”). Подзаголовок красноречив.

Современником писательницы, Григорием Мачтетом, в его рассказе “Жид” (1887) изучение простого человека было осознано как насущная художественная задача: “Мы вообще редко обращаем внимание в жизни на действительные подвиги простого *незаметного человека*, проходим мимо них спокойно, точно мимо самых обыкновенных, заурядных явлений, и к крайнему своему изумлению убеждаемся, что эти простые явления – настоящие подвиги только тогда, когда нам это подскажут, подчеркнут или обратят на них внимание живым рассказом”. Именно о таком незаметном человеке, мальчике-подростке, вопреки издевательствам и унижениям, ставшим для взрослых высоким нравственным примером, пишет Хин. Как отметил рецензент еврейского журнала “Будущность”(1903, № 5), писательница “со знанием дела, с искоркой” изобразила “душевный мир ребёнка, забитого дурными условиями домашней жизни… От [эскиза] веет чем-то тёплым, искренним, молодым, чувствуется, что автор рассказывает пережитое и передуманное”.

Противопоставление евреев-плебеев и евреев-аристократов занимало Хин. И духовным ориентиром стал для неё голландский философ, потомок марранов Уриэль Акоста (1585–1640). Представление о нём как об идеальном еврее, по-видимому, воспринято Хин от одноименной драмы Карла Гуцкова (1847), чрезвычайно популярной в России в переводе Петра Вейнберга (изд. 1872,1880,1895,1905) и ставшей также сюжетом ряда опер и картин. Широта взглядов, обаяние, культура, интеллектуальная энергия Акосты рассматривались писательницей как неотъемлемые черты передового еврейского интеллигента.

Впрочем, при всей взыскательности Рашели, она и в своём еврейском окружении находила достойных патента на благородство. Таковой была её гимназическая подруга, выпускница Высших женских курсов Екатерина Семёновна Динесман (Катя Киссина), о кончине которой в 1913 году Хин рассказывала в своём дневнике: “Я очень любила Катю за её необыкновенную кротость и милый, безобидный юмор. Она была типическая еврейка – по наружности, уму, душе – в самом привлекательном смысле. Все острые черты – в ней были облагорожены, смягчены и составляли что-то ей одной присущее. А главное – её доброта, изливавшаяся на всё “сущее”… Бедная моя Катя! Она не жаловалась на судьбу, всегда мило шутила, но в её редкопрекрасных, совершенно чёрных бархатных глазах всегда стояла печаль… смирения ли, обманутых мечтаний? Кто знает… Мир твоей незлобивой душе, моя милая Катя”. Круг идеальных евреев Хин на этом не закрыт. “В Кате было что-то общее с нашей бедной Анетой”, – замечает она, по-видимому, имея в виду свою

родную сестру Анну Хин (по мужу Гринер). Сведения об Анне Хин крайне скудны, и ценно, что нам открывается духовная близость сестёр.

Отношение к евреям было для Хин лакмусовой бумажкой благородства и интеллигентности человека. Эталоном в этом отношении был высоко ценимый ею Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), которого она в шутку называла “цадиком”. “Очень интересно отношение Соловьёва к евреям и еврейству, – писала она в дневнике. – Древний Израиль для него священен. Это я ещё могу понять. Его возню с евреями тоже можно понять… Он их любит, – не жалеет, а именно любит. “Ваш порок – это евреи, наша великая раса”, – сказала я ему как-то, и он хохотал, хохотал и всё повторял: “Конечно, *они* великая раса”… Интересно то, что в последний день своей жизни он стал вслух говорить по-древнееврейски. Родные и Серг. Ник. Трубецкой думали, что он бредит. Стали его успокаивать, но он сказал: “Не мешайте мне, я должен помолиться за еврейский народ”.

И о замечательном учёном, профессоре-шекспироведе Николае Ильиче Стороженко (1836–1906) писательница говорила как о светлой личности, внесшей великий вклад в сокровищницу русской науки, и привела характерный пример: “Он умел поднимать свой голос одиноко, среди общего безмолвия. Н.И. доказывал, что недопущение евреев в университет только развращает студентов-христиан, и подал в ректорат специальное “мнение”.

Ректор заметил, что “мнение” последствий иметь не будет.

– Или будет иметь через сто лет. – добавил он.

– Тем хуже для нас! – парировал Стороженко”.

Критик Оскар Грузенберг говорил об отчаявшихся евреях-интеллигентах, выросших “под чисто русским влиянием”, которые в лихолетье погромов обратились к своим национальным корням, прияли венец еврейства. “Нужно было просветить все впечатления, подвести итог всему, что сближает с забытым народом, к которому, не сегодня – завтра, придётся обратиться с мольбою защитить и вдохновить”. В то же время для многих, и для Хин в том числе, антисемитизм и дискриминация евреев были вопросом общим, государственным.

Взгляд писательницы на действительность поражает своей масштабностью. Она настойчиво повторяла фразу своего друга Анатолия Кони, ставшую и её творческим кредо: “Я люблю слушать шаги времени”. И сама эпоха в её драматизме и противоречиях под пером Хин оживает, играет яркими красками. Вот что писала она о царствовании Александра III, которого “общая молва” украшала солидными добродетелями.

“Прекрасный семьянин, прямодушный, добрый и застенчивый человек. От людей, вхожих в столь высокое место, приходилось слышать, что государь– добрый человек, но совершенно необразованный, тупой, чрезвычайно вспыльчивый, упрямый и… пьяница… Для поляков, сектантов и особенно для евреев эпоха царя-миротворца была жестокая, мрачная и при том поразительно нелепая. То же и для вольнолюбивых россиян. Погромы, “разгромы” сверху и снизу, отрывание детей у родителей-духоборов, разоренье, измывательство, армянская резня, религиозные гонения, натравливание инородцев друг на друга… Из фигур, его окружавших – самая крупная и самая зловещая, конечно, К.П.Победоносцев. Русский Торквемада”.

А вот запись в её дневнике от 23 августа 1914 года: “Барон Гинзбург был вчера у Горемыкина и просил его о расширении (об уничтожении нельзя, по-видимому, заикаться) черты оседлости. В ответ на это скромное ходатайство Горемыкин будто бы затопал на барона ногами. И правда! Завтра в Московском университете назначена жеребьёвка. Жаждущих – 800, а вакансий 80! Т. к. я… не считаю, что Русь “святая”, то всё это неприличие, против которого общество протестует лишь чуть-чуть, значительно охлаждает мой национализм”.

Примечательно, что даже на гребне военно-патриотического угара, когда даже близкие Рашели Мироновны, муж Онисим Гольдовский и сын Михаил Фельдштейн, были склонны оправдывать любые деяния власть имущих, её заботит положение её соплеменников. “А вот и сейчас, на что, кажется, “исторический момент”, – пишет она 7 августа 1914 года, – а евреям, спасшимся из Германии, разрешено только неделю пребывать вне черты оседлости. Или умирать за Святую Русь, за царя-батюшку, за торжество славянской идеи – это твой долг, а гетто, процентная норма на протяжении всего жизненного пути, “жеребьёвка” детей и юношей перед *наглухо* закрытыми дверями школ – это твоё право. Миша и даже Стась мне говорят: теперь не время об этом рассуждать. Я не юдофилка и не юдофобка, я понимаю, что теперь не время “рассуждать” ни об этом, да вообще ни о чём, но я не могу запретить своей голове об этом думать”. И ещё позднее – “Что у нас делается с евреями – теперь, во время войны! Травят, измываются и мучат хуже прежнего”.

Хин сближается с поборницей прав евреев в России, лидером партии политической свободы “Союз освобождения” Екатериной Дмитриевной Кусковой (1869–1958). Это по её инициативе Максимом Горьким, Фёдором Сологубом и Леонидом Андреевым было составлено воззвание, чтобы евреи получили в России хоть какие-нибудь права гражданства. Вот что Хин пишет в дневнике о

встрече с Кусковой 5 марта 1915 года: “Просидели часа два. Мне хотелось от неё самой услышать, как Трубецкой и другие наши знаменитости отказывались подписать “воззвание”… “Бумага… написана в высшей мере скромно, даже вяло. Ничего о происходящих в настоящее время вопиющих, постыдных мерзостях, никаких точек над “i”, весь смысл, что так как евреи, мол, неоднократно доказали свою любовь к родине, то пора уже перестать глядеть на них как на чужеродный сброд”. И далее приводилось описание брезгливых отказов Александра Мануйлова, Фёдора Кокошкина, Павла Милюкова, Василия Маклакова, графини Варвары Бобринской и даже Анатолия Кони, сказавшего, что это, дескать, “несвоевременно”.

А ранее Хин присутствовала на заседании “Общества Единения Народов России”, где та же Кускова прочла беспристрастный, основанный на хорошем фактическом материале доклад о современных польско-еврейских отношениях. Хотя она старалась держаться объективного тона, но жестокость, иезуитизм и бездушие поляков – причём всех слоёв общества – к несчастным евреям, из простой статистики “случаев” предстали в такой яркой картине, что бывшим на заседании полякам стало очень не по себе. Слово взял председатель польского благотворительного общества в Москве Александр Ледницкий. “В Польше, – говорил он, – никогда антисемитизма не было, как не было там и погромов. Польская литература в творчестве своих корифеев никогда не была юдофобской. Поляки и евреи жили бок о бок 400 лет, и, Бог даст, проживут и ещё столько же – и за крепость брачного союза Казимира и Эстерки – нечего опасаться… А когда русское правительство уничтожит черту оседлости, то в Польше сам собой исчезнет антисемитизм”. Итог всему подвёл адвокат и политический деятель (при Временном правительстве он станет главным прокурором России) Павел Малянтович: “ Пора перестать смотреть на евреев, как на объект, на котором мы можем упражнять или своё зверство, или своё благородство и великолепие”. И, словно читая сокровенные мысли Хин, добавил: “Еврейского вопроса нет, есть вопрос русский”.

* * *

К искусству театра Рашель Хин обратилась, будучи уже вполне зрелой писательницей, автором книги “Силуэты” (М., 1894) и множества повестей, рассказов, очерков, переводов в русской и русско-еврейской печати. Профессора Николай

Стороженко и Алексей Веселовский, коротко с ней знакомые, пригласили её принять участие в литературном сборнике “Призыв. В пользу престарелых и лишённых способности к труду артистов и их семейств” (М., 1897), издаваемом литератором Дмитрием Гариным-Виндингом под патронажем Российского Театрального общества. Предполагалось сделать сборник “полным и разнообразным”, что в значительной мере удалось. Достаточно сказать, что мы находим здесь рассказы Александра Герцена и Антона Чехова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Ивана Леонтьева-Щеглова, Николая Потапенко и Владимира Немировича-Данченко, стихотворения К.Р., Константина Бальмонта, Татьяны Щепкиной-Куперник, Спиридона Дрожжина, Владимира Гиляровского и др.; переводы Алексея Веселовского и Ольги Чуминой, а также путевые заметки, мемуары, исторические зарисовки и т. д. Немало места уделено и театру, судьбам людей искусства. Воспоминания о Николае Рубинштейне и о выступлении Фёдора Достоевского на вечере в Георгиевской школе фельдшериц соседствуют с текстами “Из записной книжки драматурга” Петра Гнедича, поминальной заметкой об актёре Александринки Павле Сво-бодине; рассуждениями о “сценическом бессмертии”; описанием репетиции пьесы “Ребёнок” Петра Боборыкина, и т. д. Так что Хин оказалась в хорошей компании.

Но вот что примечательно: её пьеса для чтения “Охота смертная (Пословица)” – единственное драматическое произведение сборника. Американский литературовед Кэрол Бейлин поняла заглавие “Охота смертная” в буквальном смысле как “Желание умереть” (“Desire to Die”). Между тем, в нём сокрыта колоритная русская идиома, на что указывает и авторская характеристика текста – “Пословица”. В полном же виде русская пословица звучит, как “Охота смертная, да участь горькая”, и синонимична по смыслу таким фразеологизмам, как “Задор берёт, да мочи нет”, “Хочется, да не можется”. Однако поскольку героиня пьесы, сибаритствующая жена модного адвоката, рефлексирующая и безвольная Нина Павловна, сильного чувства начисто лишена, название приобретает подчёркнуто иронический характер. Она сетует, что у неё нет “даже невинного флирта” на стороне и вспоминает щеголеватого красавца Горского, оказывавшего ей особые знаки внимания. В возможность семейного счастья она не верит.

Подобное отношение к институту семьи коренится в русском нигилизме и ярко выражено в “Отцах и детях” (1862) Ивана Тургенева, а именно в репликах Евгения Базарова, называвшего брак “предрассудком” (“Ты придаешь ещё значение браку; я этого

от тебя не ожидал", – говорит он Аркадию Кирсанову). И хотя в романе Николая Чернышевского "Что делать?" (1867) представлен идеал образцовой семьи, основанной не только на взаимном уважении, но и на глубоком чувстве, достичь этой гармонии можно было только вне рамок традиционного буржуазного брака. А при всех плюсах такового, особенно в сравнении с патриархально-домостроевским семейным укладом (отделение деловой жизни от частной; освобождение женщин от обязательного труда; распределение ролей: мужчина-кормилец, жена – возлюбленная и мать; семья закрыта от посторонних и автономна)… буржуазный брак всегда был мишенью сокрушительной критики. С позиций классового подхода, женщины – угнетённый класс и призваны бороться за своё освобождение. И сегодня, наряду с подобным "социалистическим феминизмом", на Западе влиятелен и радикальный феминизм, с его резким отрицанием института семьи как такового.

Критики отмечали, что в своих произведениях "Хин сосредотачивает внимание на выяснении… пошлости буржуазной среды… Симпатии Хин принадлежат решительно всем протестующим против этой пустоты и пошлости".

Своеобразие драматургического воплощения Рашелью Хин современного женского характера предстанет рельефнее, если обратиться к её ранней прозе. Как мы видели, в повести "Силуэты" конфликт со средой доводится до кульминации, и героиня преодолевает житейские невзгоды с помощью творческой самореализации, что стало для неё смыслом жизни и спасением души. В другой ранней повести Хин героиня нашла забвение в воспитании детей…

В 1904 году Хин завершает работу над пьесой в 5-ти действиях и 2-х картинах "Поросль", а отдельной книгой пьеса выходит в свет в самом начале 1905 года в типографии Ивана Холчева (1874–1909), прогрессивного издателя, редактора газеты "Вечерняя почта", судебного психолога, автора книги "Мечтательная ложь" (1903). Драму взялся поставить Малый театр, и Рашель Хин 18 января 1905 писала в своём дневнике: " Ни к чему у меня душа не лежит. Я как-то забыла, что репетируется моя пьеса ["Поросль" – *Л.Б.*]. Ни разу не была на репетициях".

Премьера состоялась на сцене Малого театра 3 февраля 1905 с декорациями Феодосия Лавдовского и в постановке режиссера Александра Федотова. Всего прошло семь спектаклей, причём в них были заняты лучшие актёры театральной труппы Пров Садовский, Александр Остужев, Александр Ильинский, Елена Лешковская, Гликерия Федотова и др.

В основе драмы – романическая история преуспевающего адвоката, которого уводит из семьи настойчивая и предприимчивая молодая женщина, учительница музыки его дочери. Но, несомненно, наибольший интерес представляет психологическая линия сюжета и, прежде всего, колоритные типы современной русской молодёжи, представленные здесь во всей широте. Эта самая “поросль”, воплощённая в ярких сценических образах, показана Хин отнюдь не однозначно.

Мы видим и обуреваемую жаждой бесплодной деятельности добрейшей души “ветрогонку” и истого мизантропа, недоучившегося студента, считавшего работу на благо общества “рабством”; отгороженного от жизни поэта-декадента с его разглагольствованиями о “невесомых трепетаньях…. светозарных точках в бесконечном, воздушно-целомудренных точках в беспредельности”; и, напротив, твёрдо стоящую на земле “женщину новой эпохи” с её отчаянным феминизмом, приправленным неприкрытым гедонизмом и категорическим отрицанием института брака. Эгоистичная и тщеславная, она ищет развлечений, удовольствий, острых ощущений (“Надо пользоваться каждой минутой. Не оглядываться назад, не забегать вперёд. Что моё – то моё!”). Интересен её диалог с матерью – представительницей народнического поколения, где дочь, сравнивая себя с тургеневскими Еленами, Натальями, Марианнами, говорит о своём праве не следовать общепринятой морали.

– Но тургеневские девушки, – парирует мать, – уклонялись от шаблона во имя высокой идеи и вовсе не были “нравственными ничтожествами”, “искательницами ощущений”. Она клеймит современную молодёжь за то, что они никого не любят и любить не умеют. Всё-то у них внешнее, напускное; это дикари, одетые в модные костюмы и усвоившие культурные жесты. Впрочем, в пьесе выведен и весьма энергичный молодой студент, размышляющий о долге интеллигенции перед народом, о необходимости служить Отечеству.

Между прочим, этот студент-патриот очень точно характеризует представителей поколения отцов: “Чего тут нет! Кликушество, полицейская теософия, чиновный мистицизм – это с одной стороны. А с другой – кустарная риторика, позёрство, мелодраматическое озорство, сдобренное сивушной сентиментальностью, и безграмотство, возведённое в культ!” А самого адвоката, беспринципного и увёртливого, сторонника компромиссов в общественной жизни, автор припечатывает убийственной репликой: “Нынче компромисс, завтра компромисс… глядишь, и вышел подлец”.

Театроведы объявили драму “совсем не нужной… запоздало противопоставлявшей растерянную современную молодёжь старикам народнического поколения”. А историк Малого театра Николай Зограф заключил о пьесе: “Показанная в дни острейших политических событий, в феврале 1905 года, она с особой очевидностью продемонстрировала свою идейную слабость, устарелость суждений, отсутствие перспективы и подлинных и подлинных исторических конфликтов”. Однако драма ценна как раз тем, что в ней показаны характеры русской интеллигенции, которые не устарели и в тот судьбоносный исторический момент. А тенденциозным критикам хочется напомнить, что “Поросль” была написана Хин в середине 1904 года, когда революционная ситуации в стране ещё только зрела.

Зато драма Хин в 5 действиях “Ледоход” была непосредственно посвящена революционным событиям 1905 года. Она была напечатана под псевдонимом Stanislas Le Char в Петербурге в 1906 году, в типографии купца-миллионера Ефима Дмитриевича Мягкова (1868–1930), издателя серии книг и брошюр марксистского содержания, а также литературы эсеровского и социал-демократического направления (в том числе статей В.И. Ленина и других деятелей революции). Квинтэссенция драмы Хин выражена здесь в словах её главного героя: “Мы увидим свободу… Что-то переменилось в русской жизни. Это чувствуют все. Старое умерло. Мороз, как будто, ещё злее. Но это перед ледоходом”.

В пьесе представлен влиятельный генерал Афромеев – сторонник самых жёстких и репрессивных мер. Крючкотвор и формалист, он ярый поборник смертной казни, ненавидит Толстого, а о революционерах говорит, “надо расстреливать эту сволочь, как бешеных собак”. Организатор еврейских погромов, он объясняет это тем, что “иначе мы рискуем… что вместо евреев народное пламя может перекинуться на… ну, словом, на коренных русских людей”. Вторит генералу и присяжный поверенный Майоров, который во всех российских бедах беззастенчиво винит евреев: “Да один только и есть у нас ‘внутренний враг – жид! Социалисты наши, бундисты, анархисты… все жиды!.. От свобод их чесноком пахнет… Если не устроить [евреям] грандиозную чистку – мы пропали. Бунты запасных, возмущение в армии, стачки, всё их штуки”. О том, что подобные взгляды были весьма распространены в среде так называемых “охранителей” свидетельствуют сказанные в том же 1906 году слова известного публициста-почвенника Александра Шмакова: “Русское революционное движение есть движение инородческое, по преимуществу еврейское”. И Максим Горький

отмечал, что “главный враг русских евреев – русское правительство, в глазах которого каждый еврей – революционер”.

А вот как аттестуется в пьесе капиталист-богатей Чумаков, получивший образование в Европе и только что вернувшийся на Родину: “На груди конституция, в груди самодержавие”. Не намёк ли это на конституционных демократов, приверженцев конституционной монархии и развития страны мирным, парламентским путём, без революций, насилий и крови? Или же на партию политических реформ, основатель которой, Максим Ковалевский, декларировал верность “унаследованной от предков монархии” и выступал против “владычества невежественной черни и против её исчадия – народного цезаризма”. Полемизируя с Онисимом Гольдовским, он категорически противился всеобщему избирательному праву, утверждая, что “в безграмотной, дикой, разноплемённой стране может произойти такая поножовщина и пугачёвщина, что [все] взвоют по самодержавию”. Рашель Хин писала о таких: “Либеральствующая “с оглядкой” русская фронда. Что может быть скучней!”. И ещё – “У нас есть либеральные болтуны, тупицы и трусы, вроде наших слюнявых “кадет”. А ведь в 1905 году правительство графа Сергея Витте предлагало кадетам войти в кабинет министров.

Рашель Хин, пожалуй, впервые в русской драматургии даёт обаятельный портрет профессионального революционера-еврея, используя для этого все оригинальные художественновыразительные средства. Браун из тех революционеров-евреев, которые, по словам историка Сергея Сватикова, “стремились, прежде всего, освободить русский народ”. Убеждённый социал-демократ (его политический лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”), он прошёл через мрачные казематы царских тюрем и снежные вьюги Сибирских острогов. О том, насколько распространённым в России был тип такого революционера, свидетельствуют факты: в 1905 году евреи составляли 34 % всех политических арестантов, а среди сосланных в Сибирь – 37 %; на V съезде РСДРП (Лондон, 1907) около трети делегатов были евреи. Трудно сказать, кто был реальным прототипом Брауна, но, несомненно, автором схвачен типический характер в типических обстоятельствах. При этом Хин посчитала необходимым показать становление характера “несгибаемого революционера”.

В самом финале пьесы – текст революционной песни “Вы жертвою пали в борьбе роковой…”. Примечательно, что в том же 1906 году Ефимом Мягковым было предпринято в Москве новое издание “Ледохода”, к которому были приложены и *ноты* этой песни (“Вечная память” (Знаменный напев)”. Впрочем, тиражи

обоих изданий были по решению суда конфискованы, так что до нас дошли лишь считанные экземпляры.

Хин вновь обращается к теме “поросли” – нового поколения молодёжи, но уже в условиях первой русской революции. В 1908 году в Берлине, в издательстве Ивана Ладыжникова (1874–1945), социал-демократа, выпускавшего марксистскую литературу, а также писателей горьковской группы “Знание”, вышла в свет драма Хин в одном действии “Под сенью пенатов”. Надо отметить, что по своим политическим взглядам писательница явно склоняется влево, свидетельством чему является её встреча в Париже с известным деятелем освободительного движения, священником Георгием Гапоном (1870–1906), организатором “Всероссийского союза рабочих”, участником неудавшейся попытки вооружённого восстания в Петербурге.

Действие драмы разворачивается в год первой русской революции, однако она остаётся за кадром и материализуется в виде отдалённого грохота канонады и криков на улице. Всё же сосредотачивается на квартире инспектора гимназии, его супруги, их сына, гимназиста Пети, и восемнадцатилетней племянницы, воспитанницы Наташи. Во главе угла – опять конфликт поколений, причём обретает он уже откровенно непримиримый характер. Проблема “поросли” решается в новом, революционном ключе, и настроение молодых очень точно выразила Наташа: – Там, на улице… люди умирают… а мы… заперлись на все замки, загородили окна, укрылись потеплее… и не шелохнёмся… Стыдно… Там расстреливают смелых, сильных… которые добывают свободу… Самое великое совершается теперь у нас… Создаётся новый мир…

Ей противостоит резонёрствующий дядюшка, который называет революционеров “шайкой негодяев, нетерпимых ни в каком благоустроенном обществе”. Для спасения порядка от хаоса анархии он призывает прибегнуть к самым суровым карам. Завершается действие тем, что юные Наташа и Петя тайно покидают постылый дом и присоединяются к бастующим…

Примечательно, что переиздание этой драмы под новым заглавием “Дурная кровь (На баррикады)” будет осуществлено в 1923 году издательством “Содрабис”, как значилось на титульном листе, “для театра подростков”. Но то была литография с машинописи, отпечатанная самым малым тиражом. К слову, это единственное художественное произведение Хин, изданное при большевиках.

А вот о следующей подготовленной Хин драме руководитель Малого театра Александр Южин писал ей 20 июля 1910 г.: “Я прочёл “Наследники” с настоящим удовольствием. И понятно.

Это чуть ли не первая пьеса из тех, которые я читаю по обязанности, носящая на себе печать вкуса и изящества письма. А кроме того, она интересна по коллизиям, лица живые… и даже новые и оригинальные". В начале 1911 года в Петербурге текст драмы "Наследники" был напечатан. А свет рампы пьеса увидела в Московском Малом театре 12 октября 1911 года, до 2 ноября состоялось 9 спектаклей, после чего в результате шумного скандала драма была снята с репертуара. Но обратимся к самой пьесе.

У прикованного подагрой к креслу престарелого мультимиллионера Романа Ильича Волькенберга, выкреста из евреев, прежде властолюбивого дельца, а ныне – умиротворённого мудреца с лицом и речью Лессинговского Натана, две категории наследников. С одинаковой страстностью, но с разными целями они грезят об этих презренных, но так хорошо пахнущих миллионах. На одной стороне – вся проживающаяся не у дел семья тайного советника Дмитрия Лузгинина, его жена Дарья Михайловна и его дочь от первого брака, княгиня Софья Чемезова, главная мечтательница о еврейских деньгах. На другой – дочь этого Лузгинина, только от его первого брака, Варвара. Она осталась в девушках, хотя ей перевалило за тридцать, и в Лузгининской семье играет роль Золушки, но Золушки, которая себе на уме и проста лишь на вид.

Надо заметить, что описание дворянской семьи, грезившей о миллионах, разрабатывался Хин и ранее. В повести "На старую тему" (1890) показаны родовитые дворяне. Некогда богатые, но совершенно разорившиеся, они не в силах отказаться от прежних вкусов и привычек, от бахвальства своим ветвистым родословным древом. Все грызутся, сваливают вину друг на друга: отец негодует на всех, скрывается от них с томиком Золя; мать пишет бесконечные романы и пьесы в идиллическом вкусе с прологом и эпилогом, которые никто не печатает; а сын, успевший наделать долгов на 40 тысяч рублей, язвит всех своими остротами и с горя, что нет шампанского, напивается сивухой. К несчастью, их мечты о миллионах совершенно утопичны.

Не то Лузгинины. По словам критика Натана Эфроса, "их родовитое обнищание – обнищание и материальное и духовное, и родовитая жадность до миллионов… даже забрызганных грязью еврейского происхождения, – всё это наблюдено и передано верно, и имеет свою бесспорную художественную ценность".

Хин удивительно точно раскрывает презрительно-брезгливое и вместе с тем заискивающее отношение к еврею. Критики отмечали, что "старик Волькенберг отлично удался г-же Хин". Образ его не банален, это чрезвычайно привлекательный

персонаж с богатым, сложным духовным миром, и потому сразу же приковывает к себе внимание. К искусству автора присоединялось и искусство исполнителя. У превосходно игравшего эту роль Александра Южина “и отличный внешний облик, национальный без преувеличенности, живописно старый и отличный тон умиротворённой мудрости и охлаждённых чувств, однако зажигающих и теперь ещё иной раз в глазах яркий блеск… С полною чёткостью проступали выразительность и простота, все элементы души этого старика, с большою волею и большим умом” (Студия, № 3, 1911).

Вообще, финансист Волькенберг становится положительным героем. Если принять во внимание, что прежде ходульная фигура еврея-ростовщика служила в русской литературе, да и в произведениях самой Хин мишенью самой едкой и беспощадной сатиры, в этом её несомненное новаторство.

Драма вызвала отрицательную реакцию литератора Власа Дорошевича, который назвал её “шаблонная стряпня г-жи Хин”. А вот историк театра Виктория Левитина рассматривает “Наследников” в ряду “еврейской драматургии”, внесшей в русскую литературу важную национально-общественную проблематику. Об этом, кстати, свидетельствовал и журнал “Театр и искусство” (1913), утверждая, что “самые модные темы – еврейские темы. Самые хлебные пьесы – пьесы с еврейской начинкой”.

На премьере “Наследников” не обошлось без инцидента. Журнал “Театр” сообщил: “Скандал в Малом театре на представлении пьесы Хин “Наследники”… Тенденция автора пьесы не понравилась братьям Прохоровым [владельцам Прохоровской мануфактуры – *Л.Б.]*. Вооружившись свистками и сиренами и заняв по купонам верхние места, при первом появлении на сцене Александра Южина-Волькенберга, они устроили грандиозную обструкцию со свистом, гиканьем и улюлюканьем”. Полиция вывела дебоширов из зала, и спектакль продолжился при горячем одобрении публики.

Но в правой прессе появились статьи в поддержку хулиганов, изобличающие театр в отсутствии патриотизма. Газета “Земщина” (1911, № 7) поместила хулительную статью под названием “Жидовская пьеса”. Другая газетка “Голос Москвы” (1911, № 250) в заметке под заглавием “Стыдно!” возмущалась тем, что “гнусная пьеса, оскорбительная для русских, ставится на императорской сцене, старательно разыгрывается русскими актерами, а со стороны публики, терроризированной или развращенной инородческой левой печатью, не встречает или почти не встречает протеста”. Им вторили и “Московские

ведомости”, которые возмущались пьесой “русской еврейки Хин, проникнутой фанатической ненавистью к русским аристократам”. “Наследники” сразу же вошли в проскрипционный список “Союза русского народа”. Шовинисты не уставали повторять, что “на сцене вместо православия, самодержавия и русской народности воцарились безбожие, безвластие, космополитизм”, указывая на “вопиющий” пример: вместо “Ильи Муромца” идут “Мирра Эфрос” и “оскорбляющие русское национальное самолюбие “Наследники” Р.Хин”. И сетовали, что театры не желают ставить, а газеты – рецензировать антисемитские пьесы и, несмотря на усердные хлопоты крайне правых организаций, они остаются без сцены.

Всё это возымело действие, так что Московский отдел Всероссийского театрального союза в письме от 5 ноября 1911 года обращал внимание директора Императорских театров Владимира Теляковского на то, что “Наследники” представляют собой “сплошную злостную карикатуру на родовитую русскую семью, с одной стороны, и идеализацию еврейства в лице банкира, с другой стороны”. Это привело к тому, что вскоре пьеса была запрещена. Уже 21 ноября 1911 года Рашель Хин писала во Францию Максимилиану Волошину: “Пьесу “Наследники” сняли в Малом театре по приказу из СПб. (под нажимом Союза русского народа). Нельзя ли устроить её на какой-нибудь парижской сцене? Не возьмётесь ли за хлопоты о переводе и постановке?”. О дальнейшей судьбе “Наследников” – последней драме писательницы – сведений нет. В 1913 году Хин писала: “../ Наследники’ были сняты за оскорбительное изображение дворянства!”.

Впоследствии, уже после Февральской революции, в Москве в 1917 году будет напечатано третье издание пьесы Хин “Ледоход”, на сей раз под именем автора и с подзаголовком: “Драма из эпохи освободительного движения 1905 года”. Она вышла в типографии знаменитого издателя и культуртрегера Анатолия Ивановича Мамонтова (1839–1905), в то время принадлежавшей его сыну, Михаилу Анатольевичу (1865–1920), человеку оппозиционных взглядов, печатавшему газету “Борьба”, орган лекторской группы ЦК РСДРП, а также труды Карла Радека и “Известия Совета Рабочих депутатов”. Впрочем, это издание пьесы Хин выглядело весьма неказисто: блёклый машинописный текст, напечатанный литографским способом.

Драматургическое творчество Рашели Хин – безусловное явление в русской культуре. Она точно чувствовала пульс времени и именно в драме – наиболее конфликтном виде литературы – воплотила борения молодого поколения с

ощетинившейся реакцией, требования угнетённых и обездоленных, настроения и чаянья героев первой русской революции. Созданная ею галерея оригинальных художественных портретов представляет уникальный срез российского общества, схваченный на самом переломе истории.

* * *

С легкой руки писателя Петра Боборыкина, Хин получила прозвище “маркиза де Рамбуйе”. Современники и впрямь находили в ней сходство с Катрин де Вивон де Рамбуйе (1588–1665), хозяйки отеля “Рамбуйе”, “самого приятного уголка Парижа”, где собирался весь литературный бомонд и составлялось мнение, которое “становилось общеобязательным”.

Важно то, что сама Рашель Хин говорила о русской традиции, а именно, о приметных женских салонах XIX века. Вот ее отзыв о княгине Зинаиде Александровне Волконской (1789–1862): “Литературные знаменитости и политические деятели окружали Зинаиду Александровну. Она была покровительницею талантов, а ее дом – храмом искусства”.

Как отмечал литературовед и библиограф Семен Венгеров, некоторые произведения Рашели Хин “посвящены изображению русских интеллигентных кружков в России и за границей”.

Кружковая жизнь русских эмигрантов в Париже вообще видится писательнице в самых мрачных тонах. Об этом свидетельствует ее очерк “Силуэты”, где представлены люди, искалеченные душевно, мятущиеся, – те, которые что-то устраивают, расстраивают, восторгаются, возмущаются, нянчатся с детьми, ходят за больными, приискивают квартиры для знакомых, участвуют в беспрерывно нарождающихся и скоропостижно умирающих обществах. Выведен здесь и виршеплет Грибков, у которого “вся душа полна собой”; о прочих поэтах он говорит, “скосив рот в сторону”, похваляется знакомством с Виктором Гюго и пишет поэму “Самоубийцы”. Пишет, надо думать, бездарно, но тема весьма и весьма злободневна: “Все погибшие. Некуда голову приклонить: ни вперед, ни назад… На всём разлита печать безнадежности!” – восклицает героиня очерка, когда кончает с собой ее воздыхатель, эмигрант Цвилинев…

Рашель Хин многажды присутствовала на всякого рода светских мероприятиях и за границей, и на родине. Но живого интереса они, как правило, у нее не вызывали. Вот как отозвалась она об одном из таковых: “Вчера до 4-х часов сидела у Д. Только в

Москве можно так терять время. Сидят неподвижно за столом, пьют без конца кислое кавказское вино, закусывая сардинками, копченой колбасой и скверным сыром, говорят все зараз, дамы визжат и хохочут. Если б не актер Качалов, отлично рассказывавший очень глупые анекдоты, можно было бы заснуть от скуки. И это считается ‘политическим, литературным и артистическим салоном!’”

А вот ее впечатления о “поэзовечере” Игоря Северянина: “О нем столько говорят (среди претенциозной кучи его порнографических ‘поэз’ есть несколько талантливых стихов) – и мне любопытно было посмотреть и послушать этого нового кумира. Впечатление отвратительное. Это уныло-циническая ‘поэза’ кафешантана – и при этом совершенно русского… Ни искры остроумия и легкого веселья французских cabarets. Простоволосая, тоскливая ‘муза’ собственной ресторации под вывеской ‘на все наплевать’!.. Этот Игорь поет свои стихи каким-то гнусавым цыганским речитативом. Напев для всех ‘поэз’ один, меняется – смотря по размеру стиха – только темп этого гнусавого речитатива… Он несомненно талантлив, но вычурен и нахален бездельно… Гимназисты, гимназистки, студенты, курсистки, почтенные дамы и старики… и все это неистово аплодирует. Вопли: Браво! Бис! Ананасы в шампанском. Просим”.

По счастью, среди многочисленных столичных литературных салонов нашелся, наконец, один, доступный ее сердцу и уму. То были воскресные утренние журфиксы на квартире ее старшего друга, Николая Стороженко (Оружейный пер., впоследствии Арбат, Малый Николо-Песковский пер.), ставшие в 1880-1900-е гг. центром не только для московской, но и всякой заезжей в древнюю столицу русской интеллигенции.

Между прочим, именно у Стороженко состоялась встреча Хин и Онисима Гольдовского с Львом Толстым. Последний “особенно ласков был с Онисимом Борисовичем, которого он, по-видимому, принял за единомышленника”. Хин вспоминает: “Онисим Борисович заиграл мою любимую сонату Шопена. Лев Николаевич прислушался, заметил: ‘Хорошо играет’, – спросил: ‘Артист?’ – и очень удивился, услыхав, что это присяжный поверенный. Посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: ‘То-то я вижу, умники’. Мне стало очень смешно. Толстому так понравилась музыка Онисима Борисовича, что он прошел в залу, сел на стул около рояля и слушал, пока не кончилась пьеса. ‘Мне нравится, что у Вас не консерваторская игра’, – заметил Толстой.

Достали ноты, и Онисим Борисович долго играл разные вещи Бетховена. Толстой, стоя, сам переворачивал листы, то одобрял, то говорил: ‘Это не стоит’. Расстался с нами Толстой очень

ласково, сказал, что непременно хочет нас повидать”.

Многие гости журфиксов Стороженко станут потом завсегдатаями литературно-музыкального салона Хин, мысль о котором овладела Рашелью Мироновной, когда ей еще не было и тридцати лет. В ее дневнике от 1 февраля 1892 года есть запись о беседе с женой литературоведа Алексея Веселовского, Александрой Адольфовной, известной в свое время переводчицей: “Как-то я ей сказала, что хорошо бы устроить в Москве небольшое общество (терпеть не могу слово ‘кружок’), которое бы интересовалось литературой как таковой, без коммерческих соображений”. На что та ее высмеяла, отговорившись, что таковое права на существование не имеет: серьезные писатели в нем не нуждаются, а, следовательно, оно выродится в посиделки дилетантов, вроде Урусова, Танеева и Минцлова. “Что могла я ей возразить? – парировала Хин. – Что Урусов – блестящий оратор и глубокий знаток художественных произведений, что Минцлов – живая литературная энциклопедия, а Танеев, при всех своих чудачествах, – один из самых образованных в России людей”.

И вот салон Рашели Хин открыт. Что же он собой представлял? Известно, что она принимала гостей по вторникам в своей московской квартире по адресу: Староконюшенный пер., д. 28. “Эти литературные вечера, дни и беседы – такое наслаждение!.. Всем приятно, легко и свободно”, – отметила она в своем дневнике. Интеллектуальную атмосферу ее салона и запечатлел Максимилиан Волошин, к которому наша героиня всегда относилась с дружеской нежностью, хотя и не принимала его “аффектацию”, “ненатуральность”, вычурный тон и манеру говорить, читать стихи, – одним словом, “декадентщину”.

Волнует эхо здесь звучавших слов…
К вам приходил Владимир Соловьев,
И голова библейского пророка
(К ней шел бы крест, верблюжий мех у чресл)
Склонялась на обшивку этих кресл…
Творец людей, глашатай книг и вкусов,
Принесший вам Флобера, как Коран,
Сюда входил, садился на диван
И расточал огонь и блеск Урусов.
Как закрепить умолкнувшую речь?
Как дать словам движенье, тембр, оттенки?
Мне памятна больного Стороженки
Седая голова меж низких плеч.
Всё, что теперь забыто иль в загоне, —
Весь тайный цвет Европы иль Москвы —

Вокруг себя объединяли вы:
Брандес и Банг, Танеев, Минцлов, Кони…
Раскройте вновь дневник… гляжу на ваш
Чеканный профиль с бронзовой медали —
Рука невольно ищет карандаш,
А мысль плывет в померкнувшие дали…
И в шелесте листаемых страниц,
В напеве слов, в изгибах интонаций
Мерцают отсветы бесед, событий, лиц…
Угасшие огни былых иллюминаций…

Этот художественный текст интересен, прежде всего, как ценный культурно-исторический документ о салоне Хин. Его гостеприимная хозяйка тонко и умно вела беседу, вовлекая слушателей в живой разговор. Она прекрасно декламировала, более всего стихи Фета, Майкова, Соловьева. Все восторгались ее “простотой при чтении стихов и большой выучкой”. Не исключено, что Владимир Соловьев, которого считают предтечей русского символизма, выступал у Хин и со своими стихами.

Бывал в салоне и князь Александр Урусов (1843–1900) – прославленный адвокат, непревзойденный оратор, зарекомендовавший себя и как первый знаток и популяризатор творчества Гюстава Флобера, причём не только в России, но и в самой Франции.

Знаменитый шекспировед, одно время председатель Общества любителей российской словесности, Николай Стороженко (1836–1906) владел даром вносить в жизнь салона светлую поэтическую атмосферу. Превосходно читал стихи, которых знал великое множество. Для Хин Стороженко – “один их мирских печальников, благодаря которым и жива Россия”.

Влияние Стороженко испытал на себе даже датский литературовед, публицист, теоретик натурализма Георг Брандес (1842–1927), также бывавший в салоне. Хин неоднократно встречалась с ним и в Финляндии, и в Москве, а также перевела его миниатюру “Россия”.

Весьма известен в России был и другой датский писатель, директор театра в Берлине, эссеист Герман Йохим Банг (1857–1912). Банг искал оригинальности и писал “новым смутным образом”, в чем критики видели приметы импрессионистического стиля. Нередкий гость в России, Банг не обошел вниманием и салон Рашели Хин.

Еще один посетитель салона – Владимир Танеев (1840–1921), оригинальный мыслитель, библиофил; он собрал богатейшую

(20 тыс. томов!) библиотеку с бесценными раритетами. Особенно широко были в ней представлены издания детской литературы, что Хин (автору рассказов “Макарка” и “Феномен”) особенно импонировало. Между прочим, Танеев любил показывать подаренный ему Карлом Марксом фотопортрет с надписью “преданному другу освобождения народа”. И хотя в своих речах Владимир Иванович нередко скатывался до самого вульгарного материализма, слушать его всегда было интересно.

Рудольф Минцлов (1845–1904) – полиглот, обладатель уникального книжного собрания, серьезно занимался историей, философией, гражданским правом, политэкономией и даже высшей математикой.

А вот блистательный адвокат, “златоуст”, как его называли, Анатолий Кони (1844–1927) был подлинным фейерверком салона Хин. Кони великолепно читал стихи, особенно Пушкина, перед которым благоговел, называя его величайшим гением России и даже ее оправданием перед миром. Любил читать произведения Тургенева, говоря, что Лукерья в “Живых мощах” – это кристалл народной красоты. Для Хин Кони навсегда остался “Учителем нравственного общежития”.

Алексей Толстой (1883–1945) в своем дневнике 2 марта 1913 года сообщил, что на вечере у Хин собиралось не менее 50 человек и назвал в числе прочих Южина, Лопухина и Володю Л[ебедева]. Кстати о Толстом, непременном участнике ее “вторников”, она отозвалась так: “Он совсем прост, свободен, смеется, острит, горячится, путается в теоретических фиоритурах Макса, желает с 5-ю молодыми драматургами учиться, ‘как надо писать пьесы’, и т. д… Из всех звезд современного Парнаса [он] произвел на меня самое приятное впечатление”. Со знаменитым актером, управляющим труппой Малого театра Александром Южиным (Сумбатовым) (1857–1927) Рашель Мироновну связывали не только творческие, но и дружеские отношения. Весьма колоритной личностью был и другой завсегдатай салона – князь Алексей Лопухин (1864–1928), который в 1909 году был судим царским правительством “за разоблачение перед преступным сообществом” действий агента царской охранки Азефа. Актер Малого театра Владимир Лебедев (1871–1952), рассказчик уморительных сценок и анекдотов, продолжатель традиции знаменитого Ивана Горбунова.

К сожалению, мы не можем назвать всех 50-ти участников “вторников” Рашели Хин. Ограничимся лишь именами некоторых из них.

Прежде всего, это актеры Малого театра. Елена Лешковская (1864–1925). По словам современников, примером своей жизни

она “утвердила свое величие в скромности, яркость в душевном богатстве и силу в громадной любви к искусству”. В пьесе Хин “Поросль” (1905) Лешковская играла Ольгу Линевич, а в пьесе “Наследники” (1911) – роль Варвары.

Ещё одна артистка – Евдокия Турчанинова (1870–1963) была не только мастером художественного слова, но и блистательной исполнительницей народных песен и танцев. Выступали со своими номерами режиссер и драматический актер Александр Федотов (1863–1909), который, кроме прочих пьес, поставил и “Поросль” Хин, и неистощимый остроумец Василий Качалов (1875–1948), ведущий актер Художественного театра.

Частыми гостями салона были “красавица, богачка, музыкантша” Надежда Мазурина (1861–1911), известная пианистка, вместе с Онисимом Гольдовским услаждавшая слух гостей игрой на фортепьяно, а также композитор, дирижер и музыкальный критик Борис Шенк (1870–1915). Но более всего завораживала аудиторию чудесная скрипка виртуоза Леопольда Семеновича Ауэра (1845–1930), к которому Хин относилась, впрочем, весьма критично.

Помимо Максимилиана Волошина, с чтением стихов выступали перед собравшимися Константин Бальмонт (1867–1942), а также поэт, литератор, редактор журнала “Неделя” Василий Гайдебуров (1866–1910), поэт и переводчик Г. Гейне и армянской поэзии Юрий Веселовский (1872–1919) и две поэтессы: переводчица стихотворений Р.-М. Рильке Лидия Лепешкина (Горбунова) и совсем юная Мария Кювилье (1885–1985), в будущем – литературный секретарь и жена Ромена Роллана. А Андрей Белый (1880–1934), помимо стихов, читал рассказы в жанре лирической ритмизированной прозы с характерными мистическими мотивами.

Из литературных критиков – завсегдатаев салона – можно назвать Константина Арсеньева (1837–1919), адвоката, судебного оратора, автора книги “Критические этюды по русской литературе” (1888), председателя Литфонда, почетного академика Императорской Академии наук. Интересна оценка Хин литератора и театроведа Акима Волынского (1863–1929): “Этот enfant terrible российской критики производит наяву лучшее впечатление, чем на столбцах ‘Северного вестника’. Сухое, желтое, аскетическое лицо, с прыгающими умными и совсем не аскетическими глазами. Несомненно, образованный человек, имеющий свои мысли. Если б не его ‘верченый’ стиль, он был бы совсем приемлем”. Критик Виктор Гольцев (1850–1906) был известен как журналист и общественный деятель. Историки литературы, братья Александр (1838–1906) и Алексей (1843–

1918) Веселовские, были почетными академиками Императорской Академии наук. Всемирную славу снискал основатель сравнительно-исторической школы Александр Веселовский, чей труд “Историческая поэтика” и поныне считается классикой литературоведения. Что до Алексея Веселовского, то Хин характеризует его как человека “именинного типа” (внешне весьма представительного), но крайне несамостоятельного в своих суждениях: его “сделала жена”, “у него нет ни одной оригинальной мысли, все банально и скучно”.

Под сенью дружных муз собирались и известные писатели: почитавшийся живым классиком Петр Боборыкин (1836–1921), для которого выразительное чтение было “главной словесной склонностью”; Викентий Вересаев (1867–1945), автор нашумевших тогда “Записок врача”, выдержавших 11 изданий; сколь скептический, столь даровитый и яркий Леонид Андреев (1871–1919), за глаза называвший удивительно точную и беспощаднуют в своих оценках Хин “ядовитейшая баба”.

В черной, тонкого сукна блузе, с полоской белого воротничка у шеи, являлся в Староконюшенный и Максим Горький (1868–1936). Хин вспоминала: “Он держался очень просто и скромно… Вероятно, он очень застенчив в душе, а может быть, застенчив из-за большого самолюбия”.

Непременной участницей “вторников” была популярнейшая в свое время писательница Анастасия Вербицкая (1861–1928). Ее тенденциозный роман “Ключи счастья” (1909) о сексуальной свободе женщин, экранизированный в 1913 году Владимиром Гардиным и Яковом Протазановым, стал самой кассовой лентой дореволюционного кинематографа, а общий тираж изданий романа составил 500 тысяч экземпляров! С Хин Вербицкую сближал интерес к проблемам феминизма и женской эмансипации (они совместно печатались в “Сборнике на помощь учащимся женщинам” (1901).

Салон открыл свои двери и для выдающихся гуманитариев. Здесь выступали антрополог, автор историко-биографических исследований Федор Вешняков (1828-?); знаменитый педагог, дипломат, историк Владимир Потемкин (1874–1946); юрист, яркий общественный деятель Максим Ковалевский (1851–1916); известный правовед, философ, историк, публицист и педагог Борис Чичерин (1828–1904); общественный деятель, кадет, журналист, член I Государственной думы Виктор Обнинский (1867–1916). Особенно дружна Хин была с семейством Ивана Янжула (1846–1914), видного экономиста, статистика, педагога, деятеля народного образования, профессора Московского университета, академика (сохранился его портрет работы

Владимира Маковского). Неоценима роль Янжула в создании общедоступной бесплатной московской Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, для которой Хин пожертвовала экземпляр своей книги “Силуэты” (1894).

Иногда на посиделках у Хин обсуждались разного рода психологические аномалии (подчас то были курьезные случаи из адвокатской практики), разобраться в которых без помощи специалистов было затруднительно. Неудивительно, что в числе завсегдатаев салона мы находим русского психиатра, профессора Московского университета, а затем зав. кафедрой психиатрии Высших женских курсов Николая Николаевича Баженова (1857–1923) и доктора медицины, видного российского невропатолога Лазаря Моисеевича Минора (1855–1942)…

На “вторниках” Хин живо дебатировались жгучие, вечные вопросы искусства и жизни. И хотя до нас дошло лишь “эхо здесь звучащих слов”, они остро современны и сегодня.

* * *

Сын Хин, Михаил Соломонович Фельдштейн (1885–1939), стал видным правоведом, историком философии, политическим деятелем. После окончания юридического факультета он был оставлен при Московском университете и в 1917 году занял должность приват-доцента, а в 1919 – профессора. Человек яркого общественного темперамента, он летом 1917 года был делопроизводителем Комиссии по выборам в Учредительное собрание. К власти большевиков он отнёсся столь же непримиримо враждебно, как мать и отчим. Как вспоминал мемуарист Николай Любимов, Фельдштейн “от боли за то, во что превратилась Россия… часто прибегал к иронии, и насмешка зажигала в его глазах мгновенный почти демонический блеск”. Неудивительно, что вскоре он попал в поле зрение карательных органов. В 1920 году Михаил был дважды арестован ВЧК по обвинению к принадлежности к контрреволюционным организациям и даже к подготовке вооружённого восстания. Был приговорён к расстрелу (по счастью, заменённого условным сроком на 5 лет), но в результате освобождён из-под стражи в зале суда. И, не предаваясь унынию, сразу же включился в работу в столичных вузах. В 1922 году Фельдштейн стал одним из учредителей “Вольной академии духовной культуры”, продолжая тем самым традиции высланного из России философа Николая Бердяева.

В августе 1922 года он вновь был арестован, на сей раз ему

было инкриминировано, что он “с Октябрьского переворота до настоящего времени не примирился с существующей в России рабоче-крестьянской властью, а, наоборот, занимался антисоветской деятельностью”. По постановлению Коллегии ГПУ от 21 августа 1922 года, Фельдштейну надлежало в недельный срок закончить все дела и за собственный счёт выехать за границу. Однако он обратился с просьбой разрешить ему остаться в Москве, и распоряжением заместителя председателя ГПУ Иосифа Уншлихта высылка была отменена. По рассказам самого Фельдштейна, этому посодействовал весьма влиятельный тогда Николай Бухарин.

Человек широчайшей эрудиции, полиглот, Фельдштейн в 1922–1927 годах работает консультантом иностранного отдела ВСНХ, а с 1927 года – помощником редактора журналов “Советская торговля” и “Вопросы торговли”. Перевёл для издательства “Academia” сочинение Никколо Макиавелли “Государь”. Специалист по истории политических учений, он профессорствует в Институте народного хозяйства. Но в ноябре 1927 года – новый арест, на сей раз по обвинению в связи с сотрудниками иностранных миссий, правда, из-под стражи его через две недели освободили под подписку о невыезде. Однако следствие было продолжено и прекратилось лишь в 1932 году.

Страстный библиофил, он собрал уникальную книжную коллекцию по юриспруденции и истории философии, причём художник Людвиг Квятковский выполнил для него специальный экслибрис с изображением средневекового рыцаря в боевых доспехах. Свою карьеру Михаил завершил во Всесоюзной публичной библиотеке им. Ленина (ныне Российская государственная библиотека), где работал с 1932 года научным консультантом и главным библиотекарем. В июле 1938 года состоялся последний его арест. К прочим обвинениям в антисоветской деятельности прибавился шпионаж еврея Фельдштейна в пользу нацистской Германии, которую тот якобы вёл течение многих лет. Военной коллегией Верховного суда СССР от 20 февраля 1939 года он был приговорён к расстрелу, что и было приведено в исполнение в тот же день. В 1957 году за отсутствием состава преступления М.С. Фельдштейн был посмертно реабилитирован.

Он был женат дважды. Первая жена, Ева Адольфовна (урождённая Леви) (1886–1964), художница. В этом браке, распавшимся в 1918 году, родились две дочери, Татьяна и Елена.

Вторая супруга, Вера Яковлевна Эфрон (1888–1945), была родной сестрой Сергея Яковлевича Эфрона (1893–1941), мужа Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). В прошлом актриса

Камерного театра (1915–1917), она в последние годы их совместной жизни также работала в Ленинской библиотеке и не знала о смерти мужа, приговор которому “ю лет без права переписки” поняла в буквальном смысле. Когда грянула Великая Отечественная, была эвакуирована в г. Уржум и преподавала иностранный язык в местной школе, а затем её перевели в деревню Шиншерь Шевнинского сельсовета Уржумского района, где она заведовала библиотекой, а заодно вела театральный кружок. Она мечтала обнять сына-солдата, ушедшего на фронт в 1941 году, но до победы не дожила всего-то месяц.

Их сын, Константин Михайлович Эфрон (1921–2008), вернувшись с войны, получил биологическое образование, стал впоследствии деятелем природоохранного движения в СССР, председателем секции Охраны природы Московского общества испытателей природы.

Составители выражают свою искреннюю благодарность за всестороннюю помощь в создании книги Ушанги Рижинатвили, Марине Дородновой, Валентине Синкевич, Михаилу Гольдбергу, Игорю Михалевичу-Каплану, Льву Харитону, Ирине Погребивской.

Повести

Не ко двору

I

Павел Абрамович Берг сердито расхаживал по своему богатому кабинету, уставленному всевозможными предметами роскоши и почти похожему на галантерейную лавку. Наконец он остановился, заложил руки в карманы брюк и, насупив брови, обратился к жене:

– Что ж, ты и теперь не хочешь отдать ее в пансион?

Жена, бледная и красивая брюнетка, лет тридцати, вздохнула, опустила вниз робкие черные глаза и в замешательстве стала перебирать бахрому на шелковой подушке.

– Это ни на что не похоже, – кипятился Павел Абрамович, – мало того, что я бегаю с утра до ночи, хлопочу, наживаю, выбиваюсь из сил, – мне еще нужно заботиться, чтобы дети мои не выросли торговками. Неужели ты воображаешь, что любовь к детям заключается в том, чтобы их пичкать с утра до ночи?! Так я тебе говорю, что ты не любишь своих детей, ты их ненавидишь, ты их губишь, ты…

Видя, что жена всхлипывает, Павел Абрамович совсем вышел из себя.

– Опять слезы, – закричал он, – это черт знает что такое: я слова не могу сказать, точно я нищий, пришедший с улицы… Вы меня в могилу сведете, я из дому убегу…

– Ведь я тебе ничего не говорю, – промолвила Берта Исааковна, наскоро утирая слезы, – делай, как хочешь.

Поводом к этой семейной сцене послужил очень небольшой человек, а именно – дочка супругов Берг, Сара, прелестная девочка, лет одиннадцати, с черными огненными глазами и смуглым, правильным личиком. Девочка была вспыльчивая, резвая, впечатлительная и причиняла немало неприятностей родителям, т. е. отцу (мать всегда умела побороть ее своей добротой). Но Павел Абрамович!.. Он представлял яркое олицетворение народившегося на Руси лет тридцать тому назад типа еврея-самоучки и богача. Неглупый, самолюбивый и способный – он вынес смолоду тяжелую лямку бедности, даже нужды, сталкивался с людьми самых различных характеров и общественных положений и со всеми умел поладить, постепенно превращался из Пейсаха в Herr РаиГа, а из этого последнего в Павла Абрамовича и, пройдя, как говорится, через огонь, воду и медные трубы – достиг того идеального состояния, когда уже не

еврей умильно заглядывает в глаза квартальному, а квартальный сладко лепечет еврею: “чего изволите?” Но Павел Абрамович не забыл горьких дней юности, и его мечтою, честолюбием, idee fixe[2] – стали дети. Он главным образом стремился, чтобы их никто не мог “узнать” и вместе с тем не допускал даже и мысли о возможности их формального перехода в христианство. Вообще всеми его действиями точно руководило затаенное мстительное желание – доказать им, т. е. русским, что вот мы, дескать, какие, не хуже вас, желание естественное и присущее освободившемуся невольнику. И что ж! Ребенок, девчонка – препятствует его планам. Ей велят перед гостями стихи читать, – она молчит, как убитая, – а в детской декламирует няньке с таким пафосом, что у той только голова трещит. Гувернантки сменялись у Сары чуть ли не каждую неделю. Она их обыкновенно закидывала вопросами – зачем, отчего, почему, и, не получая удовлетворительных ответов, забрасывала книжки, и, вместо того, чтобы учить уроки, возилась по целым часам со своим любимым пуделем Валдаем. Единственное, чем можно было ее привлечь, это – музыкой. Ей попалась одна гувернантка, худенькая старушка из обрусевших англичанок, почти безграмотная. Сара, по обыкновению, не замедлила бежать от нее к своему пуделю, но, услышав раз вечером, как покинутая гувернантка играла какую-то страстно-задумчивую балладу, она оставила собаку и тихо уселась возле рояли.

– Что это вы играете, мисс? – спросила она. Гувернантка принялась объяснять.

– Сыграйте еще, – властно сказала девочка. Та повиновалась.

Когда она кончила, девочка молчала и, казалось, продолжала слушать.

– Я тоже хочу так играть, – выучите меня, – объявила она наконец. Благодаря своей музыке, гувернантка продержалась у Бергов с год. Сара выучилась бегло болтать по-английски, а старинные баллады она играла и пела с таким неизъяснимым, не детским чувством, что у старой мисс навертывались слезы, слушая ее. Любимцу своему Валдаю Сара все-таки не изменила, и он был невольным виновником ее удаления из родительского дома. У Павла Абрамовича был лакей, хитрый пронырливый парень, франт и наушник, пользовавшийся безграничным доверием барина. Во всем доме не было человека, начиная с хозяйки, которому бы Алексей (так звали лакея) не наделал неприятностей. Сара ненавидела его до такой степени, что из его рук никогда ничего не принимала. Лакей в отместку творил подлости. Однажды он на ее глазах отдавил лапу Валдаю. Несчастный пудель завизжал. Сара расплакалась и подбежала к

нему. Несколько дней собака хромала. Девочка нежно за ней ухаживала, перевязывала ей лапу, носила ей сама есть, и вот раз, когда она осторожно, чтобы не разлить тарелки с супом, пробиралась к Валдаю, она увидела в полураскрытую дверь, как Алексей, привязав пуделя к ножке дивана, стегал его по больной ноге арапником. Валдай только выл да беспомощно вскидывался кверху. У Сары потемнело в глазах. Не помня себя, она уронила тарелку, в одно мгновение очутилась в комнате, вырвала у остолбеневшего лакея арапник и принялась им хлестать его по лицу с каким-то исступленным бешенством… Через неделю после этого случая ее отвезли “для перемены характера” в аристократический московский пансион m-me Roger.

Пансион был не лучше и не хуже других подобных заведений, но отличался от них особенной замкнутостью, с которой живая натура девочки никак не могла примириться. Она страстно любила мать, скучала и томилась разлукой с ней и только оживала по воскресеньям, когда та приезжала в пансион. Чуть только она, бывало, завидит подъехавший к крыльцу экипаж, как уже несется со всех ног в приемную, бросается ей на шею, целует ее бледные руки, щеки, прекрасные, черные глаза, жалуется, что “Рожа” их совсем не кормит и на этой неделе ее, Сару, три раза без обеда оставила.

– Пожадничала на свою “бурду”, а я за то два ломтя хлеба с сыром украла, – повествует она о своих подвигах.

Мать укоризненно качает головой, она начинает оправдываться.

– Ах, мама, я и сама знаю, что это нехорошо, но отчего ты не хочешь, чтобы я жила дома; отдала бы меня в гимназию, я бы отлично стала учиться, а тут мне так все противно, не могу ничего делать, только и думаю, как бы кого позлить. Возьми меня домой.

– Нельзя, мой ангел, – отвечала обыкновенно мать на эти приставанья, – ты ведь знаешь, что папа этого не хочет.

Зато на каникулах – какая радость! В Рождественский сочельник m-me Roger устраивала елку, делала всем ученикам подарки: ученицы, в свою очередь, обязаны были выражать ей внимание разными сюрпризами, – и, как она, бывало, злится, если сюрприз оказывался не из дорогих. Занятия оканчивались дня за три до праздника. С самого утра начиналось приготовление пирожков из сладкого теста, которое пансионерки воровали у m-me Roger и, притащив в дортуар[3], съедали сырыми. Но вот, слава Богу, последняя свечка на елке погасла… ученицы начинают разъезжаться по домам. У Сары сердце падает при мысли, что за ней могут приехать не сегодня, а завтра.

Наконец, появляется экономка Амалия Карловна. – On vient te chercher, – говорит m-me Roger Cape, – male il faut tard, veux tu pas allor demain, petite?[4]

У Сары начинает стучать в висках от такой заботливости.

– Oh, madame, il ne m'arrivera rien, bien aur[5], – и, не дожидаясь ответа, убегает; через минуту она, уже совсем одетая, бежит по лестнице, второпях спотыкается и летит с нескольких ступенек. Амалия Карловна ее удерживает, но она успокаивается только в санях. – "Теперь уж не оставят", – думает она вслух, чуть не бросается на шею кучеру и умоляет его ехать "ради Бога скорее", – "Еще четыре улицы осталось, еще три, две", – говорит она Амалии Карловне, довольно хладнокровно разделяющей ее нетерпение.

Лошади останавливаются у серого каменного дома с внушительным чугунным подъездом. Сара чуть не опрокидывает лакея, мчится в шубке и сапогах прямо в комнату матери, и так и повисает у ней на шее. Как-то странно звучит в тихом чинном доме смех и возня девочки, которая стремится, как можно шире, насладиться своей свободой, тормоша и теребя все, что попадается ей под руку, начиная с матери и кончая пятилетней сестренкой Лидочкой, которая от ее нежностей заливается громким плачем. Две недели каникул кажутся ей нескончаемым временем, пансион исчезает в какой-то туманной дали, и потом, как знать, мало ли что может случиться в две недели: вдруг совсем домой возьмут. Но часы летели за часами, наступал последний вечер. Отец, обыкновенно уезжавший после обеда в клуб, нарочно оставался дома, чтобы побыть с дочкой, но дочка, зная, что это *он* заставляет ее киснуть у "Рожи", принимает его любезности довольно холодно. У ней даже является непреодолимое желание *позлить* его.

– Папа, ведь мы евреи? – говорит она.

– Конечно, – отвечает отец, – точно ты этого не знаешь.

– А правда, что все евреи такие гадкие обманщики, что они после смерти все до единого в аду горят?

– Кто это тебе сказал, Сара? – надеюсь не m-me Roger?

– Нет, не она; я от многих слышала.

– Это – чистейшая глупость, советую тебе не повторять такого вздора, – говорит отец.

– Еще я слышала, – невозмутимо продолжает Сара, – будто евреи с мацой в Пасху пьют человеческую кровь.

– Ты пила ее когда-нибудь в Пасху? – сердито спрашивает отец.

– Ну, вот, – обиженно возражает девочка, – ведь мы не настоящие евреи.

– А какие же?

– Да уж не знаю какие, только не настоящие, настоящие все грязные.

– Евреи, как и русские, грязны, когда они бедны и необразованны. Если не хочешь быть грязной – учись, я ничего не жалею для твоего образования, ты должна это чувствовать.

– А я все-таки терпеть не могу жидов и непременно крещусь, когда выросту большая, – выпаливает на это Сара, досадуя, что ей не удалось разозлить его.

– Ступай вон, дерзкая девчонка, все лето просидишь в пансионе.

Он уходит, но в коридоре останавливается, до нее доносится кроткий голос матери.

– Вот плоды воспитания в чужом доме, – говорит она, – иначе быть не может.

– Оставь, пожалуйста, – отвечает отец, – я знаю, что делаю. Она должна пробыть в пансионе, по крайней мере, три года; я хочу, чтобы она свободно владела языками, чтобы у нее были светские манеры, дома она этого приобрести не может. А на философию ее – я плюю. Надо только сказать m-me Roger, чтобы глядела за ней построже.

Услыша такой приговор, Сара бросилась на кроватку и плакала до тех пор, пока не уснула.

II

Прошло около четырех лет. Сара все еще была у m-me Roger. Многое изменилось для нее в это время. Мать умерла от чахотки, через два месяца после ее смерти скончался от удара отец, оставив дела крайне запутанными. Продали дом, лошадей, мебель. Лидочку взяла к себе сестра покойного Павла Абрамовича, Анна Абрамовна Позен, приехавшая из “О”. Она думала увезти и Сару, но потом решила оставить ее еще на год в пансионе для приготовления к экзамену на учительницу. Из здорового, веселого ребенка Сара обратилась в бледную, худенькую высокую, не по летам задумчивую девушку. Смерть родителей сильно повлияла на нее. Она, бывшая душой пансионских проказ, вдруг от всех уединилась, стала прилежно учиться, много заниматься музыкой. Но занятия не могли утешить ее горя, и когда ей становилось особенно тяжело, она забивалась в темный уголок и принималась плакать. Потом в ней произошел какой-то странный перелом. Одна из пансионерок дала ей Евангелие и Четьи-Минеи. Она жадно принялась за чтение и скоро увлеклась им. В ее воображении постоянно

носились образы мучеников и мучениц, умиравших за веру среди пыток и костров, и она вздыхала, что не имела счастья родиться в первые времена христианства. M-me Roger смотрела на увлечение Сары как на “grace”[6], несмотря на то, что в душе относилась к религии довольно хладнокровно, подчас была даже не прочь повольнодумствовать, и хотя в приемной, на столе, у ней красовались “Genie du christianisme” Шатобриана и “Oraisons funebres” Flecher в роскошных бархатных переплетах, она в глубине души предпочитала им Бальзаковскую “Cousine Bethe”. Сара твердо решила принять христианство и, чтобы испытать силу своей веры, налагала на себя добровольные епитимьи. Когда наступала ночь, все кругом засыпало и в длинном дортуаре раздавалось лишь мерное дыхание спящих девочек, Сара осторожно откидывала одеяло и в одной рубашке, босая, опускалась голыми коленями на холодный пол и начинала отмеривать по четкам земные поклоны. О чем она молилась – она и сама не знала, как не понимала печали, наполнявшей ее детскую душу. Из благоговейно приподнятых к образу больших чистых глаз градом катились слезы по влажным, нежным щечкам; пересохшие губы шептали: “Господи, просвети меня, наставь меня на путь истины”. И долго, часто целые часы, простаивала она на коленах, не чувствуя усталости, вздрагивая при малейшем шорохе. Когда завернувшись в одеяло, она снова ложилась в постель, ей казалось, что она испытывает какое-то неясное чувство блаженства и облегчения, и думала, засыпая, что это благодать Божья. Скоро она перестала довольствоваться ночными молитвами и начала поститься, отдавая потихоньку свой и без того скудный завтрак Трезору, прекрасному черному водолазу, общему любимцу пансионерок, говоривших, что Трезор – лучший член семейства m-me Roger. За неимением настоящих вериг, Сара закручивала тесемкой руки с плеча до кисти, выкалывала булавкой на груди имена мучеников. С каждым днем она все более худела. Ее лихорадочно блестевшие глаза обратили на себя внимание m-me Roger.

– Qu’as-tu, ta fille? Es-tu malade[7]? – ласково спрашивала она ее, зазвав к себе в комнату.

– Non, madame, je n’ai rien[8], – отвечала Сара, думая в это время, – какая она добрая, как я была несправедлива к ней, а она еще обо мне заботится.

– Не следует так мучить себя, – продолжала m-me Roger, – Господь послал тебе тяжелое испытание, но мы должны покориться Его святой воле.

– Мамочка, дорогая, милая, – начинала рыдать Сара после причитаний наставницы.

– Calme-toi, та pauvre enfant, – утешала eem-me Roger, – vous comme tu es pale. Va vite prendre une tasse de tisane, ea te rechauffera[9]…

Но “tisane”[10] не помогала, и Сара все слабела; к тому же она еще простудилась во время своих ночных бдений, и ее перевели в infirmerie – пансионный лазарет. Девочки приходили ее навещать, но она безучастно относилась к их вниманию и только жаловалась, что m-me Roger отняла у нее все книги. Раз вечером пришел к ней учитель французского языка m-r Auber. Это был старик-швейцарец, лет шестидесяти, высокий, худой и сгорбленный, с белою, как лунь, головой и ясными глазами. Он пользовался в пансионе большой популярностью за свой замечательно кроткий и справедливый нрав, за умение устраивать всевозможные игры, которыми увлекался не менее своих учениц. Он превосходно читал Мольера, часто под праздники являлся в классную, и, спросив учениц – “voulons nous rire ou mediter”[11], принимался, смотря по ответу, или за “Bourgeois gentilhomme”, или за “Misantrope”. Особенною его любовью пользовались маленькие, только что поступившие в пансион девочки. Усадив их в кружок, он по целым часам рассказывал им сказки и, глядя на разгоравшиеся детские глазенки, казалось, вместе с своей аудиторией всецело уносился в чудесный поэтический мир Гофмана и Гримма (зная в совершенстве немецкий и английский языки, он решительно отвергал французскую литературу). В пансионе училась и дочка его, девочка лет тринадцати, которую он безумно любил. Девочка была золотушная и скоро умерла. M-r Auber горько плакал на ее похоронах. Печально бродил он по классам, и когда девочки окружили его, особенно старательно отвечая уроки, он, поглядев на них своими ясными, полными слез глазами и покачав головой, прошептал, как готовый расплакаться ребенок: “c’est bien, ines enfants”[12]. Но его любящая натура не могла существовать без постоянной заботы о ком-нибудь: он скоро усыновил какого-то юнкера и на все доводы m-me Roger о безрассудстве подобного поступка только лукаво подмигивал и улыбался. Сара и удивилась, и обрадовалась, когда к ней вошел m-r Auber. В infirmerie[13]кроме ее никого не было. Сиделка дала ей лекарство, опустила на лампу зеленый колпак и ушла. Сара лежала в средней кроватке, как раз против тлеющего камина, и ей как-то безотчетно *жутко* становилось от ряда пустых коек, освещенных зеленоватым светом лампы.

– Eh bien, mon petit chat, comment allons nous[14]? – спросил старик, усаживаясь в лоснящееся коричневое кресло и, вытащив из кармана сюртука два огромных апельсина, положил на кровать

больной.

– Merci infiniment, m-r, et surtout merci d'etre venu[15], – сказала Сара, чуть не плача.

M-r Auber сделал вид, что не замечает ее волнения.

– А ведь я пришел к вам, Сара, с коварною целью отбить практику у доктора Trofimoff. Ко мне ночью прилетела маленькая птичка и сказала мне, что у вас болит: vous savez[16], та самая птичка, которая мне сообщает, отчего вы уроков не выучиваете.

– Что же она вам сказала, m-r Auber?

– Oh, elle m'a dit bien des choscs et d'abord que vous etes une malade imaginaire[17].

– Я?! M-r Auber, это несправедливо, ваша птичка – противная лгунья, и если б она мне попалась, я бы ее задушила.

– Voila des sentiments tres pen chretiens[18], – сказал улыбаясь старик, – и все-таки я уверен, что птичка сказала правду. Ну, скажите откровенно, что у вас болит?

– Все.

– Все – значит – ничего, или еще хуже, это значит, что вы поддались чувству слабости, и ничего не делаете, чтобы побороть его.

– Болезни посылает нам Бог, чтобы испытать нас. Люди должны безропотно переносить страдания.

– Кто это вам сказал?

– Господь посылает людям страдания, чтобы они могли сподобиться вечного блаженства, – продолжала она, не отвечая на вопрос.

– Неправда, Бог создал людей для труда, для борьбы со злом; люди, для оправдания своего божественного начала, должны стремиться к торжеству идеала добра, а орудиями к этой великой цели служит наука, свободная человеческая мысль, мужественное, честное сердце, уважение чужих убеждений, – сказал m-r Auber. – Если бы все склоняли, как вы, голову перед горестными испытаниями и ограничивались только тем, что покорно укладывались в постель, – люди бы ушли недалеко.

– Я вовсе не намерена всегда лежать, m-r Auber. Со всем, что вы говорите, я тоже согласна, только мне кажется, что вы не назвали главного орудия спасения – религию. Вы разве неверующий?

– Dieu rn'en preserve, chere enfant[19]! Я гляжу на чудеса природы, любуясь закатом солнца, а там, на моей далекой прекрасной родине, просиживая целые часы на берегу нашего чудного озера, я научился преклоняться перед Творцом вселенной… Но тому, что в общежитии считают религией, т. е. той массе обрядов, внешних приемов и названий, которые все,

конечно, имеют свое историческое основание, – я придаю мало значения.

– Нужно веровать, а не рассуждать.

– Нет, дитя мое, это ложно; Господь дал человеку разум именно для того, чтобы он не принимал все на веру.

Сара оперлась головкой на руку и несколько минут пристально глядела на m-r Auber'a.

Не думала я, что вы такой… – сказала она в замешательстве.

– Какой? – спросил старик.

– Не знаю, как вам сказать: я считала вас настоящим христианином и думала, что вы так кротко перенесли кончину маленькой Marie, что верите, что она стала ангелом и что вы после смерти с ней свидитесь. Я вот никак не могу забыть maman. Я решилась принять христианство, но меня мучит мысль, что она умерла еврейкой.

– Отчего же это вас мучит?

– Оттого, что она не будет в раю.

– Гм… Скажите, Сара, кто вам втолковал эту идею о принятии христианства?

– Никто, M-r Auber, я сама.

– Этого быть не может. Постойте, года два тому назад здесь была короткое время одна ученица, Серафимова; une tete exaltee[20]… Она, кажется, имела на вас влияние.

Сара покраснела.

– Она мне только дала Евангелие и проповеди и сказала, что евреи прокляты Богом, но что от этого проклятия можно избавиться крещением.

– Вы с ней с тех пор не видались?

– Нет, но я знаю, что она поступила в монастырь.

– Ну, не совсем в монастырь, – я ее недавно слышал в опере. Она пела, и даже недурно, хотя по отзывам знатоков, из нее ничего особенного не выйдет, – спокойно сказал старик.

– Неужели это правда? – воскликнула Сара.

– Как же! Можете сами убедиться. Выздоравливайте скорее, и я упрошу m-me Roger взять вас в театр. Но отчего это вас так удивляет? Я не нахожу в этом ничего дурного.

– Это нехорошо, я этого от нее не ожидала, – проговорила Сара. – Впрочем, это не касается христианства, – оно выше еврейства.

– А вы, Сара, хорошо знакомы с иудейством?

– Нет, m-r Auber, я знаю только, что евреев все презирают, знаю также, что они Христа распяли.

– Qa c'est encore un problem a resoudre[21], – усмехнулся старик.

– А вот ренегатство, по-моему, очень некрасивая вещь. Вы говорите, что евреев все презирают. Кто же это *все,* – христиане?

– Конечно.

– А ведь по христианскому учению следует даже врагов любить. Как же это?

Сара молчала.

– Ведь христианство – это религия мира и любви, правда?

– Да, да…

А вы вот уже проходили среднюю и новую историю.

Вспомните-ка, сколько бесчеловечного варварства было совершено во имя этих пресловутых мира и любви.

– Но ведь в первые времена христианства язычники мучили христиан, а они выносили все пытки и муку, оставаясь верными учению Спасителя, – возразила Сара.

– Это, положим, так. Но зато, когда христиане приобрели силу, они в свою очередь принялись убивать и жечь не только тех, кто исповедовал другое учение, но даже и своих единоверцев, осмелившихся не соглашаться с тем или другим отцом церкви. Костры инквизиции, по-моему, ужаснее костров Нерона: эти прямо зажигались во имя силы, а не принципа общечеловеческой любви.

– Это в самом деле было ужасно, – прошептала Сара. – Так, по-вашему, еврейство лучше? – продолжала она.

– Этого вопроса, мой друг, я не берусь решать, потому что его, по совести, никто решить не может. Но я того мнения, что если мы родились в какой-нибудь религии, то изменить ей мы можем лишь в том случае, когда, по основательному изучению ее, мы придем к заключению, что она не может нас удовлетворять. Вы, Сара, принадлежите к великому народу. Ни одно племя не может похвалиться такою грандиозною и вместе трагическою историей, как иудейское, которое дало человечеству столько великих людей, независимых, гениальных мыслителей, пламенных патриотов, несравненных поэтов. Послушайтесь, милое дитя, выкиньте из вашей молодой головы всякие религиозные крайности, познакомьтесь с историей вашего народа, читайте не Четьи-Минеи, а великие общечеловеческие произведения, и, прежде всего, будьте человеком.

Девушка слушала его бледная, сосредоточенная, и, когда он встал, чтобы уйти, она схватила его за руку своей дрожащей рукой и спросила:

– M-r Auber, вы придете завтра?

– Приду и принесу вам кое-что.

На следующий день он действительно пришел, принес старую потрепанную книгу и стал читать. Книга была “Натан Мудрый”.

Сара ни разу его не прерывала. Когда он кончил, она, вся заплаканная проговорила с улыбкой:

– “Wohl uns, den was mich euch zum Christen macht, macht euch mir zum Juden”[22] – и горячо поцеловав руку учителя, промолвила:

– M-r Auber, вы правы, – я постараюсь быть такой, как вы говорите.

– C’est bien, mon enfant[23], – ответил m-r Auber, – будь же умница и выздоравливай скорее.

III

Прошел еще год. Сара превратилась в цветущую изящную красавицу. Она сдала экзамен при университете, получила диплом учительницы и вся, казалось, кипела молодой жаждой начать скорее жить. Хотя тетка ей не особенно нравилась своими резкими манерами, ничем не смущаемым апломбом, крикливым голосом, – тем не менее, она обрадовалась ее приезду, так как с ним осуществлялась, наконец, ее мечта – покинуть пансион. К тому же ей очень хотелось видеть сестру. Она строила воздушные замки о том, как она будет ее учить, как будет стараться заменить ей мать, и просила m-r Auber’a указать ей всевозможные учебники.

Старик ей советовал не увлекаться воображением, а лучше приготовиться к неудачам.

– Да я ведь никаких особых планов не строю, m-r Auber, – отвечала Сара. – Мои желания так скромны: буду ушиться сама, ушить сестру, какие же тут могут быть неудачи? Разве вот тетка… Сказать откровенно, не нравится она мне что-то. И все-таки я ужасно рада, что уезжаю отсюда. Господи, до чего надоел мне пансион! Пять лет безвыездно, да это хуже всякого института. Иной раз так хотелось раздвинуть эти стены и посмотреть, что там делается в широком, вольном мире. Я часто задумывалась в последнее время о таком воспитании, как наше, и мне кажется, что оно никуда не годится. Ну, скажите, пожалуйста, что мы знаем о жизни! Я еще, благодаря вам, что-нибудь хоть читала и то ведь книга – одно, а живая жизнь – другое. Да вот вам пример: недели две тому назад, как раз возле нашего сада открылась мелочная лавка. Мы стали потихоньку бегать к решетке, посмотреть, как покупают. M-me Roger узнала о наших путешествиях и строго настрого запретила их. Но страх быть пойманной и наказанной ни на кого не подействовал, и мы бегаем туда по-прежнему. А что же мы там видим особенного?.. Входит какой-то человек: дайте мне, говорит, огурцов на три

копейки, да таких, которые не плюются. Мы хохочем. Кухарка соль рассыпала, – мы опять хохочем. Настоящие божьи коровки.

– Воспитание в закрытом заведении, конечно, оставляет многого желать и не может сравниться с воспитанием в родной семье, – замечал старик на жалобы молодой девушки, – но, к несчастью, хорошую разумную семью можно встретить очень редко, а таких, которые способны загубить в молодой душе все благородные задачи – не оберешься. Берегитесь предъявлять жизни слишком большие требования, дитя мое, иначе вас ждет много разочарований.

Сара уехала с Анной Абрамовной в "О". Ей с первых же дней не понравилось в новом доме; не то, чтобы тетка была к ней строга, напротив, она ничего не пожалела, чтобы доставить племяннице удовольствие. Приготовила ей прехорошенькую комнату, надарила целую кучу разных ценных безделок и нарядов, но Сару как-то безотчетно леденил холодный блеск ее светлых глаз, ее сухой, не допускающий возражения тон, ее высказывающаяся на каждом шагу мелочность. Сестру свою Лидочку, которую Сара оставила избалованной шалуньей, она нашла спокойной, степенной девочкой, очень мило и чисто одетой. Тетка, по-видимому, любила ее, часто ласкала и даже баловала. Но чуть только она была не в духе, или просто стоило кому-нибудь рассердить ее, как она обрушивала на Лидочку целый поток брани, упрекала ее в неблагодарности, в лени непослушания, придиралась к ее работе, заставляла двадцать раз перепарывать какой-нибудь рубец. Лидочка довольно терпеливо переносила эти вспышки, стараясь угодить тетке, но когда все старания ее ни к чему не приводили, она запрятывалась в дальнюю комнату и начинала тихо плакать, утирая глаза кулачком. Эти тихие слезы мгновенно смиряли сварливую Анну Абрамовну. Не желая, однако, ронять свой авторитет открытым объяснением, она начинала заговаривать с девочкой издалека, предлагала ей идти гулять, дарила ей игрушку. Лидочка охотно сдавалась на дипломатические подходы тетки и через час забывала все свои горести. Тем не менее, она чувствовала несправедливость подобных нападок; не имея сил защищаться, она их молчаливо сносила, но зато, несмотря на баловство тетки, никогда к ней сама не ласкалась, и было заметно, что она ее сильно побаивается.

Совсем другое дело было с Сарой. Она не замедлила стать в открытую оппозицию к Анне Абрамовне. Предлог к неудовольствию представился вскоре после приезда. Увидев, что Сара особенно старательно запечатывает какой-то конверт, Анна Абрамовна подошла к ней и спросила своим отрывистым голосом:

– Кому ты пишешь?

– Я пишу m-r Auber'y, тетя, – вы его знаете.

– Покажи письмо.

– Не могу, тетя.

– Не можешь показать, что ты пишешь этому старому болвану?

– Он не болван, а очень хороший человек.

– Ты не можешь судить, кто хороший человек, кто нет: молода слишком. Так ты не дашь мне письма?

– Нет.

– Отчего?

– Оттого, что я не люблю, чтобы мои письма читались не теми, кому они адресованы.

Анна Абрамовна вся вспыхнула от этого ответа.

– Как вам это нравится? – обратилась она к воображаемым слушателям: – *она не любит*… важная особа, *ей* не нравится! Да кто ты такая, а? – накинулась она прямо на Сару, – червяк, девчонка, которую я взяла из жалости. Ты, может быть, думаешь, что отец оставил вам миллионы! Дай Бог мне столько тысяч, сколько долгов он оставил…

– Тетя!..

– Если бы не я, вы бы обе на улице валялись, – кричала Анна Абрамовна, ничего не слушая.

– Тетя, ты упрекаешь нас своими благодеяниями, это неблагородно, – в свою очередь крикнула Сара.

– Что? Благодеяние? Кто говорит о благодеяниях? Я исполняю свой долг! – еще громче закричала Анна Абрамовна, совершенно забывая, что сейчас только говорила о *жалости.* – Вы дети моего брата, я отвечаю за вас перед Богом и перед людьми, я должна следить за вашей нравственностью… А ты – дура, ты должна слушаться старших, а не рассуждать, не говорить дерзости. Ты думаешь, тебе семнадцать лет, так ты уже большой человек! Меня еще в эти годы секли… – и, выхватив у ошеломленной девушки письмо, Анна Абрамовна быстро вышла из комнаты.

– Это гадко! – с отчаянием взвизгнула Сара.

Рыдания сдавили ей горло; она сердито хлопнула дверью и убежала.

Несколько дней обе стороны дулись. Сара не выходила из своей комнаты. Анна Абрамовна не найдя в письме ничего особенного, – Сара писала только, что никак не может освоиться с новым положением, что тетка добра, что она вспыльчива, что сестру она нашла запуганной и т. д., – сожалела, что слишком погорячилась. Видя, что племянница не торопится приносить

повинную, она отправила к ней парламентером Лидочку. Когда Лидочка вошла к сестре, то нашла ее лежащею на постели с красными щеками и красными опухшими глазами.

– Сара, – робко начала девочка, – попроси у тети прощения.

– И за что?

– Да ведь она на тебя сердится.

– Я сама на нее сержусь.

– Ах, Сара…

– Ну что ах, чего ты ко мне пристала? Тебе, верно, дали конфетку, чтобы ты меня усовестила… Личико девочки вспыхнуло, она с упреком взглянула на сестру и закусила губки, чтобы не расплакаться. Саре сейчас же стало стыдно. Она вскочила с кровати, притянула к себе Лидочку и стала ее целовать.

– Прости меня, милочка, не сердись, я так расстроена, что сама не знаю, что говорю. Ах, Лидочка, бедные мы с тобой.

Лидочка разрыдалась.

– Не плачь, моя дорогая, – чего ты? Я ведь пошутила, ну, полно; вот увидишь, как мы славно заживем. Хочешь, я тебя буду ушить? Ты у меня вырастишь умницей, хочешь?

– Хочу, только помирись, пожалуйста, с теткой, а то она тебе не позволит меня учить.

– Хорошо, Лидочка, я посмотрю, только, ради Бога, не реви.

Чтобы ввести племянницу в общество, Анна Абрамовна дала бал. Собрались так называемые сливки. Сара была очень эффектна в своем воздушном белом платье. Роскошные черные косы, перевитые пучками ландышей, падали ниже колен, оттягивая назад ее красивую маленькую головку. В больших глазах и то вспыхивавшем, то пропадавшем румянце горело детское любопытство и какой-то смутный страх. Ей казалось, что на нее все глядят, что все знают, что она недавно вышла из пансиона и не умеет себя держать, – и она совсем растерялась от этой мысли: не смела улыбнуться, не смела прислониться к спинке стула. Особенно мешали ей руки: она положительно не знала, куда их девать, ухватилась, наконец, за висевший у ее пояса веер, стала его вертеть и вертела, пока не сломала. Тут она совсем обмерла. Веер был теткин и очень дорогой. Она позабыла в одну минуту и гостей, и бал и только думала о том, как ей выйти из беды. Это маленькое несчастье обошлось, впрочем, без всяких прискорбных последствий. Анна Абрамовна очень довольная удавшимся балом, почти не обратила внимания на злополучный веер и только заметила, что в другой раз надо быть осторожнее. Последующие дебюты Сары были благополучнее. Она перестала бояться и с увлечением отдавалась всем

представлявшимся удовольствиям – танцевала целые ночи напролет, каталась верхом, слушала комплименты, участвовала в благотворительных концертах и спектаклях и скоро заняла в “О” место первой красавицы. Тетка с гордостью ее вывозила, сияла при виде восторженного поклонения, встречавшего повсюду племянницу, и таяла от наслаждения, подмечая злобно устремленные на нее взгляды маменек перезревших дочек. Одевала она Сару скромно (скромность эта стоила, впрочем, очень дорого), но, увы, Сара все же не осуществляла ее тайных надежд: она только веселилась, а о настоящей победе в смысле выгодной партии, по-видимому, даже не помышляла.

Мало помалу, Саре стали надоедать эти постоянные выезды. Первый чад прошел. Наступила скука, а вместе с ней наступили размышления. Ей вдруг опротивела эта постоянная выставка. Она вдруг точно прозрела и увидала, сколько лжи, обмана и лицемерия, злобы и зависти, грубости и алчности скрывалось под масками добродушия, доверчивости, любви к ближнему…

Вот, например, m-me X. Она, кажется, слышать не может равнодушно о голодных, сирых и убогих. Она известная благотворительница, председательница нескольких филантропических обществ и приютов. Как она тонка, перетянута, прозрачна, какие у нее чудесные кружева – совсем неземное существо. С ее бледных губ, точно вздох, слетают слова – “мой приют”, “в заседании нашего общества”, “кройка”, “мастерские”, “ремесленные классы”, “Ах, какую дивную статью я прочла в “Revue pedagogique”, или “какую чудную речь о женском вопросе сказал Каро!” “Я, ведь, посещала его лекции в “College de France”.

Саре очень нравилась эта дама, пока она не увидала как-то утром у тетки оборванную женщину, жестоко ее бранившую. Всего больше удивило Сару то, что тетка ее, всегда встречавшая м-м X с нежными лобзаниями, теперь заодно с гостьей честила ее на чем свет стоит. Оказалось, что оборванная женщина ни больше, ни меньше, как родная тетка аристократической м-м X, которая тщательно скрывала это компрометирующее родство перед светом, отделываясь от слишком назойливой тетушки филантропическими подачками в виде поношенных платьев, старых шлепок и т. д.

– Верите ли, – рассказывала тетушка, – у меня зимой Саша с Анютой в скарлатине лежали, так *она* за все время дала мне пять рублей и обтрепанную юбку…

А вот господин У., красноречивый адвокат с вечной улыбкой на румяных устах. В голодные дни студенчества он был обручен с прелестной девушкой, надорвавшей всю грудь над шитьем,

уроками и переводами, чтобы как-нибудь помочь возлюбленному окончить курс. Возлюбленный курс окончил, окреп, потолстел, обзавелся практикой и… женился на барышне с богатым приданным. И все его одобрили. Анна Абрамовна, посвящая Сару в “0”-скую общественную хронику, заметила по поводу этого случая: “вольно же ей, дуре (т. е. обманутой невесте) было верить”.

А как мил жирненький подрядчик Z. с своими масляными глазками, с зачесанными a la Capoul лоснящимися волосами и целой грудой брелоков на толстом брюхе; коротенькие красные пальцы его унизаны перстнями; на пухлом носе глубокомысленно торчит золотое пенсне. Он глуп, пошл и необразован; но это не беда. К нему льнут хорошенькие женщины, почтенные мамаши за ним ухаживают, наперерыв стараясь обратить внимание на своих юных цветущих дочерей, – на, мол, батюшка, выбирай. И все это обезьянничанье, это вечное стремление казаться русским, французом, англичанином и только из великодушия считаться евреем… Как это все вдруг опротивело Саре. Она с отчаянием задавала себе вопросы: – неужели нет ничего лучшего, неужели это *все*, и так оно должно быть?..

IV

Сара стала придумывать всевозможные предлоги, чтобы как-нибудь избежать выездов. Она запиралась в своей комнате, сказывалась больной, проводила целые часы за книгами, учила Лидочку. Анна Абрамовна из себя выходила, и то пилила ее с утра до ночи, то смирялась и старалась донять ее ласками и уступками: но когда Сара перестала даже выходить к гостям, Анна Абрамовна дала полную волю своему гневу и первым делом пригласила к Лидочке учителя, устранив таким образом Сару от ее любимого занятия. Но мера эта привела к совершенно неожиданным результатам. Учитель, Адольф Леонтьевич Норд, филолог без места, высокий молодой человек с длинными рыжеватыми кудрями и симпатичным, несколько болезненным лицом – явился открытым и тайным союзником Сары. Он познакомил ее с своей сестрой, немолодой уже доброй и образованной девушкой, и Сара стала бывать у них, большей частью украдкой от Анны Абрамовны, очень косо глядевшей на это знакомство. Норды жили небогато, но в их маленькой квартирке царила чистота и тот неуловимый отпечаток порядочности, которым комната располагает к хозяину даже в его отсутствие.

Сестра Норда, Розалия, содержала училище. Ученики (дети

ремесленников и мелких торговцев-евреев) – человек тридцать мальчиков и девочек – собирались в школу с девяти часов утра и просиживали до двух. Сара больше всего любила ходить к Розалии в это время. Она перезнакомилась со всеми детьми, помогала m-me Норд их учить и только мечтала о том, как бы ей сделаться постоянной помощницей в школе. К Розалии часто приходили родные учеников, то с просьбой отсрочить плату, то потолковать о своих делишках, то просто пожаловаться на леность сорванца-сынка или озорницы-дочки. Сара никогда не видала таких людей. Приниженные, пришибленные, загнанные и в то же время рабски наглые и увертливые, словно собаки в напряженном ожидании плети. И что за жизнь! Труд с утра до ночи, труд до кровавого пота, а в виде духовного наслаждения – ублажение начальства в особе дворника или околоточного. Особенно часто приходил к Нордам один старик, отставной солдат, израненный еще под Севастополем. Он был очень словоохотлив и, считая себя более или менее образованным, любил отводить душу в обществе умных людей. Семья у него, как и у всякого доброго сына Израиля, была большая: своих детей человек семь, да еще вдовствующая сестра с ребятишками у него приютились. Вернувшись с войны, он долго не мог придумать, как прокормить всю эту ораву. Добрые люди посоветовали ему торговать старьем, и вот уже лет двадцать, как он целые дни ковыляет на своей деревяшке, изогнув старую спину под огромным узлом. Сара особенно жаловала этого старика за его веселый нрав и кроткий незлобивый юмор, и всегда что-нибудь у него покупала. Норд обыкновенно подсмеивался над ними: “Филантропка и эксплуататор – что за назидательная картина!” – восклицал он шутливо.

Но всем сердцем Сара отдалась матерям. Она со всем пылом юности преклонялась перед этим полным отречением от себя, от всех радостей жизни, которым поражает беспристрастного наблюдателя простая еврейская женщина. Когда муж оказывается неспособным, праздношатающимся или просто больным, жена энергически становится во главе дома, ездит, торгует, служит, унижается, выносит обиды. Молодость, красота, любовь проходит и утрачиваются еврейской женщиной бессознательно, почти без сожаления, среди грязи, копоти за стойкой, у лотка на базаре, у люльки золотушного, укутанного в жалкие лохмотья ребенка, – и все искалеченное существование, все ее надломленные в зародыше чувства перерождаются в одно страстное, высокое, всепревозмогающее и всеискупающее чувство материнства.

Домашняя жизнь Сары становилась между тем все тяжелее. Она находилась постоянно в ожидании нападения, маленькие и

большие схватки происходили из-за каждого пустяка, оставляя после себя осадок желчи, горечи, озлобления, к которым прибавлялось еще мучительное ощущение пошлости и мизерности этой борьбы. То ей доставалось за то, что она не любезна, никому не умеет понравиться, одевается как старуха; то оказывалось, что она слишком громко смеется, вмешивается в разговор, несвойственный ее возрасту, сидит согнувшись, точно прачка над корытом; то громы обрушивались на ее книги: – "молоденькая девушка читает черт знает что, – физиологию! О воспитании детей! Как будто прежде не воспитывали детей в миллион раз лучше без всяких физиологий".

Грустно было Саре под это вечное, одуряющее шипенье; она старалась по возможности не поддаваться, но подчас ей все-таки становилось невыносимо; она злилась на себя, на свою молодость, на свои способности.

– К чему все это, – думала она, – для того разве, чтобы сгнить в этой проклятой трущобе?!..

А сцены за неблагодарность продолжались и становились с каждым днем бурнее.

– Тетя, – заявила как-то Сара, – я вам буду очень благодарна, если вы исполните одно мое желание.

– Что еще? – удивилась Анна Абрамовна неожиданному обороту речи.

– Позвольте мне давать уроки.

– Какие такие уроки? – Да какие случаются, я хорошо знаю языки, музыку…

– Ага! По чужим домам бегать захотелось! И без тебя много дур шляется! Этим, голубушка, никого не удивишь.

– Ах, тетя, отчего вы не можете говорить не обижая. Разве я у вас прошу разрешения шляться или удивлять? Я здорова, молода, у меня нет состояния, я хочу трудиться – что же тут дурного!

– Кажется я для тебя не жалею куска хлеба.

– Тетя, милая, вы не жалеете, но я-то не могу пользоваться вашей добротой; я вам не доставляю никакой радости, вы постоянно мной недовольны, я…

– Отчего же ты не постараешься, чтобы я была тобой довольна?

– Я стараюсь, тетя, да мне это никак не дается: у нас слишком противоположные характеры, слишком различные взгляды на вещи.

– Ну, что ж, ты помоложе меня, тебе легче перемениться, – заметила Анна Абрамовна, – а у тебя нет желания, чтобы уступить тетке… как же! Надо на своем поставить, гордость свою показать! Что тетка! Тетка – старая дура, мы умней…

– Никогда мы с вами, должно быть, друг друга не поймем, – вздохнула Сара.

– Да что понимать-то! Чего тебе не хватает? Слава Богу, сыта, одета, обута, – чего тебе больше? Другая, на твоем месте, благодарила бы Бога, а ты с жиру бесишься. Хочешь послушаться моего совета? – Выходи скорее замуж! Весь этот твой характер и взгляд на вещи – как рукой снимет.

Сара даже засмеялась от неожиданного совета.

– За кого же мне выходить, тетя, я никого не знаю, – сказала она.

– Как никого не знаешь? Другой подумал бы, что она у тетки как в лесу живет, – воскликнула Анна Абрамовна, но уже гораздо мягче: ей показалось, что разговор принимает благоприятный для нее оборот. – Да хоть за молодого Розенберга, чем не жених! Он же так за тобой ухаживает.

– Я его не люблю.

– Выйдешь замуж – полюбишь; а если ты будешь дожидаться романа, то, попомни мое слово, просидишь до седых волос или выйдешь замуж за голыша. И чем тебе не нравится Розенберг? Молодец собой, образован, богат, – высчитывала тетка.

– Фразер и карьерист, – добавила племянница.

Анна Абрамовна даже руками развела.

– Вот нашла недостаток – карьерист! А тебе мужа нигилиста что ли хочется?

– Оставьте, тетя, вы сами знаете, что я совсем не думаю о замужестве. Прошу вас еще раз, позвольте мне давать уроки.

– Никогда, слышишь, никогда! Пока ты в моем доме – думать об этом не смей. Это негодяй этот Норд и его умная сестра тебя научили!

– Они честные люди, лучше нас с вами! – вспыльчиво вскричала Сара.

– А?! Что?! Лучше меня?! Я сегодня же выгоню вон этого мерзавца, и если ты только посмеешь к ним пойти…

– Я уйду от вас совсем, – перебила Сара, задыхаясь от волнения, – уйду в гувернантки.

– Хоть на все четыре стороны, – согласилась Анна Абрамовна, – только знай наперед, что с той минуты, как ты переступишь мой порог – мы чужие.

Так протянулось еще несколько месяцев. Отношения между Анной Абрамовной и Сарой приняли мало-помалу враждебный характер, когда малейшее, без всякого умысла сказанное слово принимается возбужденным умом за преднамеренное желание обидеть, кольнуть, задеть… Обеим было тяжело. Анна Абрамовна возмущалась непонятным ей явлением непокорности со стороны

молоденькой девушки, всем ей обязанной и которой она вдобавок самым искренним образом желала добра. Она считала для себя унизительным уступить, как она выражалась, “глупым бредням сумасбродной девчонки”. – Да она сама на меня после всю жизнь будет плакаться, – говорила она знакомым и решила устроить судьбу племянницы наперекор ей самой.

А Сара проводила бессонные ночи, придумывая как бы ей “вырваться”, и ничего не могла придумать. Она продолжала украдкой от тетки бывать у Нордов и печально жаловалась им на свою слабость и беспомощность. Раз, в ответ на горькие слезы Сары, прибежавшей к своим друзьям после крупной ссоры с теткой, Адольф Леонтьевич (сестры его не было дома) произнес смущенным голосом длинную-длинную сбивчивую тираду, из которой, однако, ясно, как день, выходило, что он давно ее любит, был бы счастлив, если бы она согласилась выйти за него замуж, что стеснять он ее никогда ни в чем не будет и т. д.

Сара не была влюблена в Норда, но он ей нравился, нравился, по крайней мере, больше всех, кого она знала…

С одной стороны – невыносимая, зависимая жизнь у тетки, с другой – возможность осуществлять неясные и тем более сильные стремления к труду, к свободе… Она дала слово Норду.

Когда она сказала об этом тетке, та, вместо ответа, указала ей на дверь, прибавив:

– Если даже будете подыхать с голоду, ко мне не обращайтесь.

V

Прошло два года. На дворе стояла глубокая осень. Погода была сырая, туманная, та специально петербургская погода, которая пронизывает до мозга костей укутанных в меха счастливцев и вызывает разлитие желчи у обреченных носить на спине заплатки и защищать нос дырявым вязаным шарфом. По Большому проспекту Васильевского острова быстро шагал несколько сутуловатый господин. Лица его не было видно из-за приподнятого воротника и нахлобученной на глаза шляпы. Господин повернул в одну из бесчисленных линий, остановился у деревянного двухэтажного дома с мезонином и нетерпеливо дернул за ручку звонка. Его впустила горничная, недовольно проворчавшая ему вслед: “Чего вы так шибко, словно пожар; хозяйка и то сердится, говорит: – звонок оборвете”. Он ничего не ответил; вбежал на узенькую лестницу, прошел, не останавливаясь, длинный коридор и, толкнув в конце его дверь, вошел в комнату. На него пахнуло теплом. В комнате было темно,

в распахнутой печке тлели под сизым пеплом угли, бросая красноватый отблеск на крашеный пол. По комнате взад и вперед ходила женщина, укачивая на руках ребенка, и тихо напевала какую-то песенку. Заметив вошедшего, она прошептала: “Адольф, ты? Тише, голубчик, *она* сейчас заснет”. Походив еще немного, она прошла в смежную комнату, ловко откинула одной рукой одеяльце у детской колясочки-кроватки и осторожно положила в нее свою ношу. Наклонившись над малюткой, она с минуту прислушивалась, и только убедившись, что она дышит ровно и спокойно, вышла из спальни. Муж, съежившись, лежал на диване против печки. Она села возле него.

– Ты озяб, Адольф?

– Да, ужасная погода, и, как на грех, ни одного свободного места в конке, так с Бассейной и пер пешком.

– Я сейчас тебе чаю приготовлю, – сказала она и хотела встать.

– Погоди, Сара, успеешь после. – Он взял ее руку и положил под свою голову. Оба молчали. Она встала и засветила лампу. Свет, упавший на нее осветил ее красивое лицо. Сара очень похудела, но это ее не портило, – изящные черты ее лица определились и стали выразительнее; еле заметная линия легла на чистый, нежный лоб. Гладкое черное, с отложным воротничком и рукавчиками платье охватывало ее стройную, величавую фигуру. Она поставила на стол лампу, взяла с комода спиртовую машинку и, налив в медный чайник воды, зажгла спирт. Адольф Леонтьевич следил за нею глазами. Он сильно постарел и исхудал. Обыкновенно бледное лицо его приобрело какой-то сероватый цвет и выглядело жалким и измученным. Густые, рыжеватые кудри поредели и поседели; на лбу сияла лысина. Сара заварила чай, и, придвинув к дивану столик, поставила на него посуду. Она заметила пристально устремленный на нее взгляд мужа и спросила:

– Что ты так глядишь на меня?

– Я часто так на тебя гляжу, Сарочка, только ты этого не замечаешь. Знаешь, ты производишь удивительно странное впечатление в этой безобразной меблированной комнате, с ребенком на руках, с твоими хлопотами около этого убогого чайника… точно сказочная принцесса, обращенная злой феей в жену угольщика. И лицо у тебя в это время такое гордое, неподвижное, словно хочешь сказать: здесь с вами, презренные угольщики, только мое тело, а душа моя там, в моем прекрасном бирюзовом дворце. Пробьет час, – и чудный витязь умертвит злую колдунью и приедет за мной на быстром белом коне. И сброшу я это мещанское черное платье, надену парчовое, а витязь накинет

на мои плечи мантию из горностая, и я, красавица-принцесса, умчусь на белом коне dahin, dahin… Что-то будет тогда с нами, бедными угольщиками.

Сара рассмеялась.

– Однако, я не подозревала, что у тебя такое воображение… На этот раз, впрочем, ты ошибаешься. Если я и заколдованная принцесса, то мой вкус уж слишком испортился от влияния земной прозы, и я не переменю своих чумазых угольщиков на гарцующего на коне рыцаря, который в сущности ведь никто иной, как вечный удачник и счастливчик – Иванушка-дурачок… Но Бог с ними, со сказками. Скажи мне лучше, отчего ты такой хмурый? Видно, опять ничего не получил в редакции?

– Ничего ровно.

– Как это им не стыдно заставлять человека даром работать, – сказала Сара, вздохнув.

– Говорят – теперь денег нет; розничную-то продажу запретили, вот они и сели на мель.

– А знаешь, я сегодня чуть-чуть хорошего урока не получила.

– В самом деле? – Право. По объявлению нашему явилась какая-то дама, не старая еще, богато одетая. Сонечка спала, так что я могла говорить с ней без помехи. Сказала, что дочка у ней десяти лет, и вот эту дочку нужно готовить в гимназию, – языки, предметы и т. д… Назначила пятьдесят рублей в месяц. Я так обрадовалась, что чуть не запрыгала. Совсем сговорились, даже дни занятий назначили, и она уже встала, чтобы уйти. Вдруг я вспомнила, что забыла о *главном*: – извините, говорю, я не успела вас предупредить: я – еврейка. Как она вспыхнет! – Что же вы, говорит, раньше об этом молчали, уж это вы напрасно, я к своим детям жидовки не возьму. Да вы, может, и по-русски то путем не знаете. Я, было, заикнулась о дипломе. – Нет, говорит, что ж мне диплом, я лучше русскую без диплома возьму… Ушла, даже не простившись.

Сара рассказывала шутя, но при последних словах у нее задрожал голос, и она отвернулась, чтобы скрыть набежавшие слезы.

– Какой ты ребенок, Сара, – заметил муж, – сколько раз с тобой повторялась та же история, а тебе все мало. Ну кто тебя толкал ей докладывать, что твои знаменитые предки запанибрата с Господом Богом беседовали?

– Ах, Адольф, не насмехайся, пожалуйста; что же мне делать, когда я не могу, когда мне противна эта ложь. Мне тяжело, меня мучит – за что они меня презирают, чем я хуже их? Мне, наконец, больно и стыдно, отчего я не плачу им тем же, отчего я не могу считать родиной страну, которая считает меня парией. Нет,

знаешь, это невыносимо… вечный этот разлад в душе… когда чувствуешь, что ты ни то, ни се. И к чему только нас учат! – чтобы сильнее страдать всю жизнь. Зачем развивать понятие о человеческом достоинстве в человеке, осужденном на бесконечное рабство. Это, по-моему – преступление. Гораздо было бы лучше, если бы выросла я забитой Хайкой среди забитых моих единоверцев. Тогда бы я, по крайней мере, могла ненавидеть без угрызения совести и спокойно вела бы беспощадную борьбу за существование… а теперь что? Я хочу любить, а меня заставляют ненавидеть.

– Ну, ты, кажется, не можешь пожаловаться на особую ненависть…

– Ты намекаешь на то, что за мной удостаивали ухаживать твои знакомые? Но ведь это еще большее оскорбление; ведь в то время, когда мне говорят любезность, в душе думают – ишь ты как разговаривает, зазналась жидовка… Но ты, Адольф, меня удивляешь. Я тебя считала таким горячим юдофилом, а ты как-то совсем опустился. Неужели тебя так наши денежные дела удручают?

Он посмотрел на нее своими впалыми глазами.

– Нет, Сара, не то; просто я старше стал, утомился и… устыдился. Увидел, что и наши, и ваши, и ихние – все хороши. Посмотри на наших тузов – пошлее и отвратительнее ничего себе представить нельзя. Вся гадость холопа, почувствовавшего себя на минуту господином, так и брызжет со всех его пор. И над кем он всего больше ломается?! Конечно, над своим же Беркой и Шлемкой, которым не удалось схватить куша. Перед Сидором и Карпом он лебезит… И чем только он вдруг ни становится! И меценатом, и благодетелем человечества… Я сам знал одного такого артиста. Совсем был бедный мальчишка, жил на хлебах у тетки, торговки старым платьем. Только вдруг сей герой проявил необыкновенные финансовые таланты, начал служить по откупам, потом попал в директоры какой-то акционерной компании, получил какую-то удивительную концессию, купил палаццо и провозгласил себя меломаном. На вечерах этого господина ты можешь встретить кого угодно, только не евреев. Дети его – спортсмены, жена – филантропка… А тетку, которая его двадцать лет кормила, он перестал на порог пускать. Неприлично, видишь, для его сана, что она такой неблагородной профессией занимается. Вот тебе тип нашего туза. Варианты, конечно, встречаются разные: один жертвует на больницы, другой на церкви, третий покупает дачу любовнице сановного барина, которому прямо в руки неловко дать… Тошно жить, Сара, так бы и удрать отсюда без оглядки.

– Но если тебе так здесь опротивело, – сказала Сара, – уедем в провинцию. Там легче достать работу, и мы заживем тесной семейной жизнью. Разве ты нас с Сонечкой так мало любишь, что мы не можем дать тебе успокоения!

Он охватил руками ее голову и прижал ее щеку к своей щеке.

– Дорогая моя, я только тебя и люблю на свете, – промолвил он с страстною тоской; – но я запутался, Сара, боюсь, что и тебя запутал, боюсь, что поздно…

В спальне в эту минуту заплакал ребенок. Сара бросилась туда и через минуту вернулась, держа на руках прелестную белокурую девочку. Она сморщила от света свое заспанное личико и стала тереть кулачком глазки и носик; увидев отца, засмеялась, пролепетала “папа” и потянулась к нему своими розовыми ручонками. Он взял ее на руки и стал быстро поднимать и опускать сверху вниз. Девчурка так и заливалась от восторга. Потом она перешла к матери, та напоила ее молоком, и опять уснула.

– Адольф, скажи мне правду, отчего ты сказал, что нам поздно начать другую жизнь? – сказала шепотом Сара, продолжая прерванный разговор.

– Я сказал это не подумавши, милая, ты не беспокойся, пожалуйста; просто я сегодня не в своей тарелке, – ответил он, слегка смутившись.

Она пристально посмотрела на него и прошептала:

– Ты говоришь неправду.

Он вспыхнул.

– Сара, я тебя прошу, не расспрашивай меня ни о чем, я тебе пока ничего не могу сказать, не мучь меня.

Она умолкла. Девочка мирно спала на ее коленях. За стеной у хозяйки монотонно тикали часы.

– А я забыла тебе сообщить, – начала Сара, прерывая молчание, – я сегодня письмо получила от тетушки Анны Абрамовны. Представь, она приглашает меня с Сонечкой к себе, пишет, что ей без меня скучно, что слышала, будто дела у нас плохи, что она на меня больше не сердится и т. д. Вообще письмо очень любезное.

Адольф Леонтьевич опустил голову на руки и, казалось, соображал что-то.

– Сара, голубушка, – промолвил он умоляющим голосом, – поезжай к тетке хоть на время, прошу тебя.

– Что ты говоришь, Адольф, – возразила Сара, – подумай хорошенько! Ехать к тетке, которая так оскорбительно отнеслась к нашему браку, ехать теперь на ее милости! Никогда и ни за что. Я понимаю, тебе должно быть грозит беда, и ты хочешь избавить

меня от нее. Жаль только, что ты так мало меня знаешь: я тебя не покину в нужде.

Адольф Леонтьевич вздохнул, снял с полки книгу и огромный словарь, вынул из ящика тетрадь и засел за работу.

VI

Дела Нордов шли все хуже. Сара по целым часам просиживала над пяльцами. Она вышивала белье для одного большого магазина; Работа оплачивалась грошами, но она и этому была рада. Адольфа Леонтьевича, казалось, грызло какое-то тайное горе. Он совсем осунулся, помутневшие глаза беспокойно бегали и угрюмо смотрели из-под насупленных бровей, щеки ввалились и представляли глубокие впадины. На него напала какая-то лихорадочная подвижность, он не мог усидеть часу на одном месте и то и дело убегал из дому; уходил даже иногда ночевать к товарищам, оправдываясь перед женой, что девочка мешает ему заниматься ночью, а у него спешная и выгодная работа, которую надо скорее кончить. Неясное предчувствие беды томило Сару, и она проводила одинокие часы и дни в тоскливом ожидании катастрофы. Она старалась забыться в заботах о девочке и прилежной работе, но это ей плохо удавалось. Сидит она и вышивает по мелкой-мелкой канве малороссийскую сорочку. Против нее в колясочке сидит малютка и усердно царапает лицо истерзанной восковой куклы. Сковырнет пальчиком кусочек воску, серьезно его рассматривает и, подняв светлые глазки, настойчиво кричит – мама! Мать машинально протягивает руку, ребенок опускает в нее свою добычу и снова принимается за дело. “Сегодня, – думает Сара, – непременно потребую от него объяснения; я хочу, наконец, от него знать, что с ним. Два месяца уже тянется эта пытка”…

За дверью у хозяйки бьет четыре часа. В комнате становится темно. Сара совсем уже приникла к пяльцам и торопливо дошивает красным шелком звезду. В глазах у ней рябит, веки горят, она их смыкает и видит чудные круги – золотые, зеленые, розовые… Девочка начинает плакать. Сара встает, выпрямляет усталую, ноющую спину и берет ребенка на руки.

– Чего ты, моя птичка, – говорит она, целуя девочку, – соскучилась моя крошка, мамка противная забыла свою дочку, вот мы ее, негодную – (она хлопает ручонкой девочки по своей щеке, и та уже смеется), – вот так, не забывай дочку!

Она открывает дверь и кричит: “Аннушка, Аннушка!

Входит сердитая горничная.

– Чего вам?

– Подайте мне, пожалуйста, обедать.

– Да ведь нет еще вашего-то.

– Он, должно быть, пообедал в городе.

– Как же в городе, в городе… двадцать раз вам подавай.

Сара вспыхивает.

– Я не желаю слышать ваших рассуждений, – говорит она, – подавайте обедать и ступайте вон.

Горничная уходит и за дверью изъявляет свою обиду.

– Ишь ты, барыня какая выискалась: “Вон! Самой жрать нечего, а добрых людей шпыняет… вон!… Жидовское отродье”!

Сара стискивает зубы до боли, кровь заливает ей щеки, она вся дрожит.

Аннушка вносит лампу, ставит на стол чашку с мутным супом и кусочек черного, как *уголь,* мяса. Она безмолвствует, но вся ее фигура выражает оскорбленное достоинство и дышит полным презрением к жилице.

– Подайте кипяток, – командует Сара.

Аннушка только глазами на нее метнула, хлопнула дверью и, вернувшись с кипятком, так стремительно швырнула чайник, что чуть не обварила Сару, державшую на ложечке кусок либиховского экстракта. Приготовив бульон и накрошив туда хлеба, она накормила сначала ребенка, а потом уже принялась за свой суп.

– “Что это, как его долго сегодня нет! – подумала она.

Ребенок заснул, она прилегла на продавленном жестком диване и стала ждать. У ней расходились мысли. “Так *это,* – думалось ей, – “та жизнь, к которой я стремилась… где же тут общий труд, взаимная поддержка, – даже простого доверия нет… Один в одну сторону, другой в другую. Неужели тетенька Анна Абрамовна была права, что эти все мои “идеи, как она их называла, – только блажь, а то болото, которое я оставила, грязное, ничтожное – это и есть настоящая жизнь… А Лидочка – что с ней будет, куда она кинется – в мою “блажь, или окунется с головой в их болото?.. Где же правда?

Часы опять забили; она оперлась на руку и стала считать: девять, десять, одиннадцать… “Господи, да что же это с ним… Со вчерашнего вечера пропал… Сердце у нее то беспокойно билось, то вдруг падало и жутко замирало в груди. Она подошла к окну и, прислонившись лбом к стеклу, стала глядеть… Улица была окутана туманом. Фонари тускло мерцали, освещая овчинные шубы и бляхи торчавших у ворот дворников. В коридоре вдруг слабо дрогнул звонок. Сара бросилась в прихожую. Вошел знакомый студент. Она почти втащила его в комнату и заговорила, вся бледная, задыхающаяся:

– Вы от него? Что с ним, где он?

Студент растерялся. Он, по-видимому, готовился приступить к своей миссии исподволь, постепенно, и вдруг его огорошили.

– Да вы успокойтесь, – начал он, заикаясь, – опасности никакой нет, его скоро выпустят, право.

Сара испуганно смотрела на него, ничего не понимая.

– Как выпустят? Что это значит, Иванов?

Иванов только рукой махнул, – словно говоря: “черт с ними, с этими бабами”, полез в карман, вытащил оттуда письмо и подал ей. Она его схватила и стала поспешно рвать конверт.

> “Дорогая моя, милая – писал ей муж, – не вини и прости меня. Я давно собирался сказать тебе все, но у меня духу не хватало пришибить тебя на своих глазах. Мне хуже, Сара, потому что я гибну без веры в душе… Идти назад я не могу; для меня открыт только один путь назад – путь подлости и предательства. Я тебя знаю, ты сама бы не захотела такого возврата. Пусть идеалы, в которые я веровал, несостоятельны, но я увлекался ими честно, искренно; я отдал им лучшие силы своей молодости… и убедился, что мы не более, как бессильные пешки… Когда я в этом убедился, было уже поздно.
>
> Да я и не хочу этого. Пешкой измученной и раздавленной я еще могу быть, но жирной самодовольной пешкой – нет и нет. Отчего я тебя не приобщил к своей внутренней жизни?
>
> Я хотел избавить тебя от того сомнения, которое изглодало мою душу… Я не шлю проклятия своему прошлому, – я не трус, но я был бы трус, если бы привил к твоей здоровой натуре свой больной нарыв. Не отчаивайся, моя прекрасная, милая; в сущности – так лучше. Ведь ты бы раньше или позже разлюбила меня; ты, сама того не замечая, уже и теперь разочаровалась во мне, для тебя вера без дел – мертва. А так ты, может быть, сохранишь обо мне доброе воспоминание. Воспитай наше дитя так, чтобы оно не проклинало своего отца. Последняя просьба, Сара, – уезжай к тетке. Тебе надо собраться с мыслями и силами. Прости еще раз и забудь скорее своего неудачника-мужа.
>
> *Адольф.*

Сара бессильно опустилась на стул; ей показалось, что она не поняла письма, и она стала его перечитывать. Пальцы у ней вдруг

похолодели, она опустила письмо на колени и повернула свое помертвелое лицо к студенту. Тот, ждавший слез и истерик, испугался этого безмолвного горя. Он с участием подошел к молодой женщине, пробормотал какое-то утешение. Она подняла на него свои ушедшие вглубь глаза.

– Что?.. Хорошо, уходите, пожалуйста… благодарю вас. Студент постоял, помялся, раскланялся и ушел. Сара не ответила на его поклон. Она все сидела, неподвижно вперив глаза в одну точку, с протянутыми на коленях руками. Прошел час, другой… В комнату тихо вошла Аннушка. Сара скользнула по ней равнодушным взглядом.

– Хозяйка велела вам сказать, чтобы беспременно завтра с квартиры съезжали, – важно объявила она Саре.

– Хорошо…

Аннушку взорвало от такого хладнокровия.

– Мы *этаких* держать не можем, – прибавила она злобно. Сара вдруг точно проснулась.

– Каких “этаких? – спросила она, вставая.

– Известно, каких; сама небось знаешь, за что людей в острог сажают, – ответила с ехидной усмешкой горничная.

Эта грубая наглость, это “ты” – заставили очнуться Сару. Так люди, отупевшие от глубоких душевных страданий, иногда вдруг приходят в себя от бессмысленной пошлой выходки человека, которого они в нормальном состоянии не замечают. Сара порывисто вскочила со своего места, схватила лежавший на столе нож и, замахнувшись им, прохрипела:

– Вон, гадина, убью!..

Аннушка мгновенно исчезла. Придя в кухню, она долго еще не могла успокоиться и все твердила:

– Господи помилуй, Господи помилуй…

Саре вдруг стало очень жарко; она вся дрожала, хотя голова у нее горела; что-то мучительно-тяжелое подымалось у нее к горлу и сдавило его. Она взяла лампу и прошла в спальню. В кровати, разметавшись, спала девочка. Сара долго глядела на ее голые ручки и ножки, и слезы, горькие, жгучие, необлегчающие, покатились крупными каплями по ее пылающему лицу. Она испытывала бесконечную боль, обиду и жалость к самой себе; слезы лились все неудержимее, переходя в судорожное рыдание, и она зажала рот платком, чтобы не разбудить ребенка.

VII

Сара переехала на Пески. Она наняла комнату у двух сестер-белошвеек, живших в подвальном этаже. Комната была

маленькая, темная, низкая; в ней пахло мятой, сушеными грибами и какой-то затхлою сыростью, но хозяйки говорили, что это от тепла. Обе они казались такими добродушными созданиями; это расположило Сару в их пользу, – “по крайней мере, не будут пилить меня, – подумала она и дала задаток. Когда в комнату поставили кроватку девочки, в ней еле осталось места для стула и стола. Сара старалась занять себя хозяйственными хлопотами. Она боялась остаться наедине со своими мыслями и деятельно занялась уборкой квартиры – вытирала пыль, укладывала книги, вбивала гвозди, довольная, что любезные хозяйки взяли на себя ее Сонечку. Но вот комната убрана; делать больше нечего; пыльная тряпка повисла на ее руке. Ей становится страшно. Она чувствует, что она одна в целом мире, и в ней вдруг просыпается злое чувство к мужу. Он кажется ей эгоистом, ушедшим от ежедневной мелочной борьбы; он предпочел исключительное, интересное страдание, а ее оставил одну с ребенком… пусть выпутывается, как знает… И смеет еще советовать ей эту низость – ехать с повинной к тетке, которая ее выгнала… какая нежная заботливость… Но Саре уже стыдно за эти мысли, и она уже сама себе кажется гадкой. И в самом деле! Неужели она такая бессильная, что сама не может пробиться? Пустяки! Она пробьется, не весь же свет клином сошелся. Найдутся уроки, переводы, и она сама поставит на ноги свою дочку. В глазах ее вспыхнул молодой огонек. Она гордо подняла голову и почти улыбающаяся отправилась к хозяйке. Дочку свою она нашла сидящею на широкой кровати, среди всяких лоскутков и обрезков, с мятным пряником в руке. Увидев мать, она кинулась к ней и стала совать в рот пряником.

– Какая она у вас занятная, – сказала Авдотья Петровна, старшая из хозяек, толстая высокая девушка, лет сорока, с добрым, усеянным веснушками лицом.

Младшая сестра, Настя, была гораздо моложе и красивее. Светлые серые глаза глядели прямо; русая с желтизной коса была закручена на затылке; красные губы поминутно улыбались, выказывая ряд крупных белых зубов; вздернутый нос придавал лицу немного задорное выражение. Она опростала стул от лежащего на нем коленкора и подвинула его Саре.

– Садитесь, имени и отчества вашего не знаю, – проговорила она, – гостьей будете.

Сара присела.

– Меня зовут Сарой Павловной, – сказала она.

– Из иностранок будете? – осведомилась Авдотья Петровна.

– Да… иностранка, – подтвердила она.

– То-то лицо у вас не русское, а уж какая вы писаная

красавица, – восхитилась Настя.

Сара улыбнулась этому наивному комплименту.

– И по-русски чисто говорите, не отличишь, – заметила Авдотья Петровна. – А муженек ваш где находится? – продолжала она.

– Он умер, – промолвила Сара и вздрогнула вся, зачем это она все сказала.

Сестры выразили соболезнование.

– Экое горе, подумаешь! И давно вы его схоронили?

– Нет, недавно.

– Ишь ты… чай трудно вам теперь одной с ребенком?

– Да, я хочу искать работы, уроков…

– Так, так.

– Вам, коли уйти нужно или что, так вы уж не беспокойтесь, Сара Павловна, я присмотрю за дитей, – предложила Настя.

– Благодарю вас, Настасья Петровна.

– Ну что там за Петровна, зовите просто Настей, не велика барыня.

– Благодарю вас, Настя, вы очень добры. А теперь я вас оставлю, надо дочку спать укладывать; спасибо за ласковый прием.

– Не на чем, Сара Павловна.

VIII

Сара принялась за поиски. Воспользовавшись предложением Насти, она оставляла на ее попечение девочку, а сама отправлялась по адресам, которые она списывала из приносимых тою же заботливой Настей газет. По большей части, место оказывалось уже занятым. Дернет она усталой рукой за звонок, откроется дверь, и в нее выглянет равнодушное лицо лакея или горничной: “Вы учительница? – не надо: уже наняли” – и она торопливо бредет дальше. В одном доме ее, наконец, впускают. Выходит барыня, с помятым лицом, в блузе и папильотках. Она прищуривает глаза и молча оглядывает смущенную Сару. – Я не могу вас взять, – объявляет она, наконец, – вы слишком хороши собой, а у меня уже вот где, – она показала на шею, – сидят красивые гувернантки.

Сара не могла удержаться от усмешки, услыхав такое оригинальное заявление.

– Что же они вам сделали? – спросила она.

– Как что! С мужем кокетничают.

– Да ведь я не гувернантка, а учительница, так что могу не встречаться с вашим мужем, и кроме того, могу вас уверить, что

не буду кокетничать.

Дама поколебалась с минуту.

– Впрочем, нет, нет, – сказала она решительно; – если даже вы не станете делать ему *авансов*, он все равно будет ухаживать за вами. Я ищу урода, понимаете – урода; мне нужен покой в доме…

Сара обратилась к конторщикам. При слове “еврейка” все обнадеживанья мгновенно смолкали. “Oh, c’est bien difficile dans votre pays”[24], с снисходительным сожалением говорили француженки. Ей указали на одну из самых известных “placcuses”[25] m-me Dubois, и она отправилась к ней. В прихожей на нее с громким лаем накинулась жирная, лохматая собачонка, из полуоткрытой двери послышался громкий голос:

– Bijou, Bijou, petit villain[26], – выбежала перетянутая горничная с горбатым носом и взбитой гривой на лбу, протрещала картавым голосом: – entres, m-lle, m-me est au salon[27]…

Сара вошла в просторную комнату, всю заставленную разнокалиберною пестрою мебелью, цветами, дешевенькими эстампами и статуэтками. В камине ярко пылали угли. Полная женщина с седыми, почти белыми волосами, выразительным лицом и огромными черными на выкате глазами, сидела у письменного стола и что-то записывала в толстую прошнурованную книгу. На коленях у нее лежала большая серая кошка. В углу, на диванчике, сидел молодой человек в щегольской жакетке, завитой барашком, с невыразимо закрученными усиками, и вертлявая, накрашенная француженка, – должно быть, гувернер и гувернантка без мест. Увидев Сару, m-me Dubois окинула ее взглядом знатока и, протянув ей левую руку – правой она держала гусиное перо – сказала:

– Bonjour, та belle enfant, quel bon vent vous amene?[28]

Сара очень удивилась этой простоте, показавшейся ей любезной и милой; ее только смущало бесцеремонное любопытство француза, который, втиснув в глаз монокль, посматривал на нее с одобрительной улыбкой. M-me Dubois это заметила и выслала гувернера и гувернантку вон из комнаты. Видя, что Сара продрогла, она заставила ее снять пальто, любезно придвинула к камину кресло и только тогда, когда она несколько пришла в себя, вступила с ней в обстоятельную беседу. Искусными вопросами она заставила Сару высказаться больше, чем та желала. Когда она закончила, француженка сказала:

– Я не хочу подвергать вас лишним разочарованиям: в русском семействе вам трудно пристроиться, но не хотите ли

попытать счастья у ваших единоверцев?

– С большим удовольствием, – ответила Сара; – для меня это безразлично, даже приятнее.

– Oh, ne vous flattez pas tropdu success[29], – заметила конторщица с хитрой улыбкой; – ils ne sont pas non plus tout sucre vos burgeois gentilhommes[30]. Вот адрес одного из наших богачей, банкира Кранца. А теперь позвольте старой опытной женщине дать вам совет: pour reussir il faut se faire valoir[31].

Обласканная m-me Dubois, Сара с новыми силами помчалась по данному адресу. Она попала в настоящий дворец. Высокая прихожая с причудливыми колоннами подавляла своими размерами. Широкая ослепительно-белая мраморная лестница, устланная бархатным ковром, уставленная роскошными деревьями и цветами, и огромное зеркало, отразившую фигуру Сары в мокром, поношенном пальто, с люстриновым зонтиком в руках, – смотрели, казалось, с презрительным неудовольствием на непривычную гостью. Ливрейный швейцар и лакей с висячими бакенбардами, в черном фраке и белых перчатках, оглядели ее с нескрываемой насмешкой, не двигаясь с мест. Сара больно прикусила себе губу – “они принимают меня за попрошайку” – подумала она и повелительно обратилась к бакенбардисту:

– Доложите барыне, что одна дама желает ее видеть. Лакей обиделся.

– Барыня не принимает всех; коли вам за пособием, пожалуйте в контору.

– Я не за пособием, – ступайте и доложите барыне. Лакей нехотя поплелся; вернулся он почти четверть часа и пробурчал:

– Пожалуйте.

– “Вот они сейчас будут смеяться над моими рваными калошами”, – подумала опять Сара и тут же внутренне упрекнула себя в мелочности.

Лакей провел ее в небольшую комнату, удивительно уютную. Темно-зеленая бархатная мебель, низенькая, мягкая, такие же портьеры и гардины; пол весь обит пушистым ковром; над диваном, в углу – картина в тяжелой золоченой раме; с потолка спускается китайский фонарь, освещая комнату нежным матовым полусветом.

Явилась хозяйка, в длиннейшем, голубом шелковом пеньюаре с красными бантами и целым ворохом желтых кружев. В ушах у ней сверкали два крупных брильянта; на костлявых руках с короткими пальцами блестели кольца и браслеты. Ее высокая фигура, с желтым сухим лицом, кроме напускной надменности, ничего не выражало.

– Что вам угодно? – спросила она нараспев.

– Я от m-me Dubois; она мне сказала, что вам нужна учительница.

– Учительница?! К моим детям ходят профессора. Я хочу только репетиторшу, чтобы готовить с ними уроки, – какой у вас диплом?

– Домашней учительницы.

– А где вы были прежде, в хороших домах?

– Я до сих пор не нуждалась в заработке и не давала уроки чужим. Банкирша почувствовала некоторое почтение к посетительнице.

– Ваши родители были богатые люди?

– Да, со средствами.

– Отец, верно, был военный?

– Нет, купец.

Почтение уменьшилось на несколько градусов.

– А как ваша фамилия?

– Норд.

– Немка?

– Нет, еврейка, и мне было бы приятней найти занятие у евреев.

Почтение мгновенно испарилось; желтое лицо выразило разочарование и даже как будто негодование.

– Еврейка? Извините, мы не можем, у нас такой круг… моим детям нужны манеры… вы понимаете, у нас такое положение… Мы и так делаем столько добра… Извините…

Сара опять очутилась на улице; уже и так было совсем темно. Она тоскливо поплелась домой. Еще целую неделю она бегала по разным адресам, которые ей вручала m-me Dubois, и все безуспешно. Написала Auber'у, но получила в ответ письмо от m-me Roger, в котором та ее извещала, что Auber уехал путешествовать за границу с каким-то семейством.

– Vous n'avez pas de chance?[32] – говорила ей m-me Dubois, далеко не так любезно, как в первый раз.

– Voyons, – сказала она ей как-то; – faut pas faire la petite fille, quoi! La vie n'est pas un roman. Avec une figure, comme la votre, on doit ruler en equipage… c'est pas gai les petits morveux[33].

Сара подняла на нее изумленные глаза.

– Что вы под этим подразумеваете? – спросила она.

– Ne soyez donk pas nigaude, vous l'entendez aussi bien que moi, avec ces beaux yeux, ma chere, on n'a qu'a vouloirs[34]… Но Сара уже не слушала, она опрокинула свой недопитый стакан чая и почти бегом пустилась домой. Добравшись, наконец, до своей комнаты, она с каким-то ужасом огляделась кругом, словно боялась, не гонятся ли за ней… Настя принесла ей девочку.

Оставшись одна с ребенком, Сара схватила ее на руки и стала целовать, повторяя сквозь рыдания: “за что, за что”… Испуганная малютка заплакала и потянулась к дверям за ушедшей Настей.

IX

Грустно сидела Сара в своей каморке. Она сознавала, что тонет, что нет ни одной руки, которая бы протянулась поддержать ее, и не знала, что делать, что еще предпринять. Денег осталось всего несколько рублей, – ни продать, ни заложить ничего. Она уже три дня, кроме хлеба и завалявшегося куска сыра, ничего не ела… Надо за комнату платить – спасибо, хозяйки не напоминают… попросить бы разве, чтобы взяли ее в долю, хорошо бы, право… С нагоревшей сальной свечки капал жир. Она сняла свои промокшие чулки, свернувшись, легла на кровать и задремала. Возле нее глухо закашлял ребенок. Она раскрыла глаза. – Нет, она не ошиблась, ребенок действительно кашляет. У Сары захватило дыхание.

– Господи, только не *это* — промелькнуло каким-то режущим холодом у нее в голове. Она соскочила, босая, с кровати и, взяв свечку, подошла к девочке. Девочка, казалось, крепко спала; из полуоткрытых губок вылетал по временам сухой кашель. Сара только теперь заметила, как похудела малютка. Не доверяя себе, она подошла к двери и стала звать: Настя, Настя!

– Чего вам, Сара Павловна? – отозвалась Настя.

– Посмотрите, милая, на Сонечку; мне кажется, что она нездорова, слышите, как она кашляет?

– Ну, что вы такая, право, беспокойная, – сказала, входя, Настя: – эка важность, что кашлянул ребенок. – Да будет вам на нее глядеть, еще сглазите, – и она отвела Сару от кровати… никак вы босиком! Вот с Сонечкой-то ничего не будет, а как вы сляжете – тогда что?

– Настя, мне очень нехорошо! – вырвалось у Сары.

– Не вижу разве? – Да не надо так убиваться, Сара Павловна, – плетью обуха не перешибешь.

– Знаю и креплюсь, – промолвила, – только сегодня мне как-то особенно грустно… Спасибо, милая Настя, что хоть вы не оставляете меня одну.

– Вы бы заснули…

– Не спится, Настя. Слышите, как она кашляет?

– Да не беспокойтесь вы о ней, покашляет – перестанет.

– Принесть вам чаю, Сара Павловна?

– Долго ставить самовар, Настя.

– Ничего, мигом поспеет, он еще совсем теплый, только

подогреть.

Она убежала на кухню и скоро вернулась, неся на подносе два чайника, стакан и мягкую булку. Сара с наслаждением пила чай. Настя сидела у нее в ногах и усердно подливала из чайника, приговаривала: кушайте, матушка. Ее добрые глаза, устремленные на Сару, выражали чистую, сердечную жалость, – так глядят только совсем простые люди: их жалость не обижает…

– Что вы так на меня глядите, Настя?

– Да уж больно мне вас жалко, Сара Павловна, какая вы слабая, нежная… не тут бы вам жить, – она повела рукой по комнате.

– Что делать, Настя, на свете ведь никому особенно весело не живется. У всякого свое.

– Это-то правда, матушка, что говорить, – подтвердила Настя, – особливо нашей сестре жутко приходится. – Я вот и простая и то раз чуть на себя руки не наложила. Был со мной грех, Сара Павловна, барин меня спутал. Семнадцати лет мне не было… ну, известно, поиграл да бросил… Маменька покойница, царство ей небесное, еще жива была, строгая, чуть в гроб меня не вколотила… два дня всего прожил мой ребеночек, девочка тоже была. Заливаюсь, бывало, плачу, а маменька поедом меня ест – “ишь, говорит, бесстыжая тварь эдакая”… Верите ли Богу, Сара Павловна, – так мне тошно стало… не вытерпела, убежала, да в Фонтанку и кинулась. Вытащили меня чуть живую, в часть поволокли, сраму одного что! Маменька опосля того в скорости померла. Мы и зажили с сестрой вдвоем. Спасибо ей, словом никогда не попрекнет. Ну, да я и тоже зарок дала… А уж как он мне был люб, окаянный… Так вот какие дела, Сара Павловна. Вы только не говорите сестре, что я вам рассказала.

– Что вы, Настя, Бог с вами.

Обе умолкли.

– А что, Сара Павловна, – начала опять Настя, – вы только не сердитесь, коль невпопад спрошу, разве у вас совсем родных нет?

– Есть – тетка.

– Богатая?

– Да, богатая. Я у ней жила после смерти родителей года три; сестра моя младшая и теперь с ней.

– Чего же вы унываете: написали бы ей, неужто она вас в такой нужде оставила?

– Нет, не могу я этого сделать, Настя, мы с ней в ссоре.

– Ах, вы… точно дите малое, право! Эка важность, в ссоре! Поссорились – помирились, не чужие ведь.

– Нет, Настя, это невозможно. Не будем об этом говорить. А вот что, не возьмете ли меня в помощницы? Я очень хорошо шью

и вышиваю.

Настя вспыхнула до корней волос.

– Голубушка вы моя, – проговорила она, запинаясь, – ведь у нас самая простая работа, да и та не всегда бывает…

Сара молчала, зажмурив глаза.

– Да вы не огорчайтесь очень, Сара Павловна, ведь я для вас же. Если вы непременно желаете, я скажу сестре. А теперь ложитесь спать, поздно. Авось, Бог даст, все будет хорошо, утро вечера мудренее. Я у вас на полу лягу.

Они улеглись и скоро заснули. Только что стало рассветать, когда Настя встала и хотела тихонько выйти из комнаты, чтобы не разбудить крепко спавшую Сару. Ее остановил странный, хриплый звук, вылетавший, как ей показалось, из кроватки ребенка. Она быстро отдернула ситцевую оконную занавеску. Слабый, грязноватый свет проник в комнату сквозь тусклое стекло. Настя нагнулась над кроваткой и замерла от страха. Девочка лежала, закинув назад головку; ручкой она схватилась за шею: тяжелое дыхание, точно звуки пилы, вылетало из груди.

А Сара спала, как убитая. Настя подошла к ней и стала будить.

– Хорошо, хорошо, – бормотала она сквозь сон.

– Да вставайте скорей, поглядите на Сонечку. Сара села на постели и смотрела на Настю непонимающими бессмысленными глазами.

– Что вы говорите, Настя?

– Да вы не пугайтесь, мне кажется, что Сонечка тяжело дышит. Не сбегать ли за доктором, тут недалеко.

Сара совершенно очнулась от сна. Она ясно услышала хрип девочки, вынула ее из кроватки и положила к себе на колени. Девочка раскрыла большие испуганные глазки и, устремив их на мать с усилием, словно моля о помощи, пролепетала: “мама”.

– Ступайте скорее за доктором, Настя, – сказала Сара тихим, но твердым голосом.

Она торопливо оделась и, взяв на руки малютку, стала осторожно вливать в рот холодный чай, оставшийся в стакане. Девочка еле глотала, на лбу у ней блестели капельки пота, ручки и ножки были холодны, как лед. Если бы не смертельная бледность, покрывавшая лицо Сары, можно было бы подумать, что она совершенно спокойна, так методически она проводила ложечкой по краю стакана, словно стараясь, чтобы повисшие внизу ложечки капли не упали на ребенка. Вошла Настя в сопровождении доктора, еще молодого человека, с недовольным, заспанным лицом. Он подошел к Саре и, почти не взглянув на нее, присел на подставленный Настей стул и стал рассматривать

хрипящую девочку.

– Гм… давно она так дышит?

– Нет, только что заметили, вчера она была совершенно здорова.

Доктор подавил двумя пальцами горло девочки; она страшно закашлялась, вся посинела и, казалось, вот-вот задохнется.

– Доктор, ради Бога!

Доктор взглянул на искаженное отчаянием лицо Сары – и точно проснулся. Недовольное выражение физиономии сразу исчезло.

– Что вы, сударыня, можно ли так пугаться, – сказал приветливо. – Успокойтесь, пока еще ничего опасного нет.

Он ловко вынул мокроту из горла малютки, и она стала дышать не так тяжело.

– Квартира у вас неподходящая, – проговорил он, оглядывая комнату, – воздуху мало, да и сыровата. Я пропишу микстуру, – если малютку будет рвать, вы не беспокойтесь, нарочно для этого и дам; к ногам теплые бутылки прикладывайте, поите тепловатым молочком… вечером я заеду еще раз.

Видя, что Сара в замешательстве шарит в кармане, доктор любезно произнес, – “не извольте беспокоиться” – и поспешно вышел.

X

Днем девочке стало немного лучше, хотя она очень ослабела от рвотного. Сара, бледная и серьезная, молча сидела у кроватки, следя своими горячими, полными бесконечной нежности и страха глазами за каждым движением ребенка. К вечеру девочке сделалось опять хуже. Приехал доктор, но на этот раз не сказал никакого утешения и на вопрошающий взор Сары ответил лишь неопределенным пожатием плеч. Он скользнул глазами по комнате, казавшейся еще унылее при жалком свете лампы с растресканным колпаком, по заплесневевшим стенам, по наклоненной голове молодой женщины, угрюмо смотревшей в пол. Она подняла голову и сильно схватила доктора за руку.

– Послушайте, – сказала она глухим, прерывающимся голосом, – это дитя для меня все, у меня больше ничего нет на свете… скажите, что ее можно спасти, доктор, скажите!..

Доктор вздохнул.

– Нельзя… вы говорите – нельзя… нет… вы этого не говорите… вы добрый человек, вы не захотите меня убить.

– Сударыня, я ничего не говорю, я сам не знаю, – как-то мямля и глядя в сторону произнес доктор; – ведь врач не Бог; мне

кажется, что у вашего ребенка круп, но я могу ошибиться. Нужно бы консилиум.

“Консилиум”… а у нее в кармане рубль с копейками. Доктор ушел, поставив собственноручно пиявки к шее девочки, и велел прийти за ним, если будет хуже.

Вошла Настя и молча села в уголку с какой-то работой. В комнате раздавалось зловещее хрипение девочки. Сара сидела, опустив голову на руки; казалось, каждый вздох ребенка отдавался болью в ее груди… Наконец она встала, подошла к столику, на котором доктор прописывал рецепт, и быстро, обмакнув перо в баночку с чернилами, написала дрожащею рукой: “О”. Анне Абрамовне Позен. Мой ребенок умирает. Простите. Приезжайте”.

– Настя, пошлите сейчас эту депешу, – выговорила она своими побледневшими губами, – вот вам, – она сорвала с пальца обручальное кольцо, – продайте.

– Я перепишу, а то никто не разберет, да и адрес наш вы забыли написать.

Саре стало как-то легче на душе. Сердце ее вдруг умилилось. Она схватила маленькую ручку девочки и, припав к ней пылающими устами зашептала:

– Сокровище мое… радость моя… жизнь, не оставляй меня… дитя мое ненаглядное… и крупные, жгучие слезы катились по ее щекам.

– Мама, ту… – чуть слышно прохрипела девочка, показав рукой на шею.

Прошло три мучительных дня. Малютка то оживала, то умирала. Сара, исхудалая и мрачная, не отходила от нее; ее глаза, точно прикованные, не отрывались от посиневшего личика девочки, впавшей к концу третьего дня в сонливое, почти бессознательное состояние. О чем думала Сара в томительные, бесконечные часы гнетущего ожидания чего-то, да и думают ли вообще о чем-нибудь в такие часы…

Стало смеркаться. В окна заглянула плачущая ночь. Настя внесла в комнату лампу.

– Сара Павловна, вы бы хоть чего-нибудь покушали, – начала она просящим тоном. Сара даже не взглянула на нее. Настя вздохнула и принялась за шитье, но ее тяготила эта тишина, прерываемая лишь взмахами и щелканьем иголки по полотну. Она встала, заглянула в кроватку и, пошатнувшись, выронила из рук работу. Девочка лежала спокойная, неподвижная; из полуоткрытого ротика виднелись, будто при улыбке, четыре беленьких зуба. Сара вскочила, как раненый зверь, одним толчком оттолкнула Настю и нагнулась над ребенком.

– Умерла!., закричала она с налившимися кровью глазами, – умерла!..

XI

Малютку схоронили. На Сару точно столбняк нашел. Она не раскрывала рта и сидела вся застывшая и окаменелая, вперив глаза в пустую кроватку ребенка. Когда Настя хотела ее вынести, она вцепилась руками в дерево и не дала. Спустя день после похорон, приехала вечером Анна Абрамовна. Пошушукавшись предварительно с хозяйками, она осторожными, робкими шагами вошла к Саре.

– Милая, дорогая, прости, я не виновата; я поздно получила телеграмму, – громко плача, проговорила Анна Абрамовна, бросаясь обнимать Сару.

Сара отвернулась и ничего не сказала.

– Сарочка, скажи что-нибудь, ради Бога. Сара поглядела на не застывшими, как у мертвеца, глазами и глухо промолвила – “поздно”, указав бледным пальцем на пустую кроватку. Анна Абрамовна еще громче заплакала.

– Пожалей меня, – говорила она, всхлипывая, – если даже я виновата перед тобой, так ведь не со злым умыслом: я человек старого воспитания, у меня другие понятия… ведь я тебе добра желала… я много горя в жизни перенесла, Сара, я тебе никогда не говорила… трех детей схоронила, дочь у меня пятнадцати лет уже была. Когда я вас к себе взяла, видит Бог, я хотела вам быть родной матерью. У тебя характер неуступчивый, я вспыльчивая… вот и вышло. Ты не виновата, ты была дитя: думала, что в жизни все должно идти, как по книжке. Я – необразованная женщина, не могла тебе объяснить… требовала, чтобы ты меня слушалась, как я своих родителей слушалась. А сколько я горьких слез пролила, как ты уехала, это только Бог один знает: ведь кроме тебя и Лидочки, у меня никого на свете нет…

Сара все сидела, не шевелясь, отвернув голову.

– Неужели твоя душа так ожесточилась, что ты не можешь со мной помириться? Ну, не ради меня, хоть ради Лидочки, – продолжала, рыдая, Анна Абрамовна и, схватив руки Сары, стала их целовать, обливая слезами. Сара высвободила свои руки, закрыла ими лицо и заплакала.

– Успокойся, дитя мое, не плачь, все еще будет хорошо.

– Нет, тетя, хорошо уже никогда не будет, дайте мне выплакаться.

Сара вдруг совершенно затихла и покорно отдалась в руки тетки.

Та решила немедленно увезти ее в “О”, но как практическая женщина, она, конечно, хотела воспользоваться своей неожиданной поездкой в Петербург, чтобы накупить разных разностей по части туалета, которых в “О”, говорила она, ни за какие деньги не достанешь. Гардероб Сары тоже требовал ремонтировки; это давало Анне Абрамовне предлог таскать ее с собой по магазинам. Желая утешить Сару, она накупила ей целую груду ненужных вещей: кружев, браслет, брошек; говорила без умолку о Лидочке, – какая она прелесть, какая красавица, хозяйка, умница; сообщала всевозможные новости и сплетни, происшедшие в отсутствие Сары в “О”.

– Представь, – рассказывала она, – Поль Розенберг, тот, который за тобой ухаживал, – женился на страшном уроде; говорили, будто миллион приданого, а на самом-то деле оказалось – одни тряпки. Старики просто на стену лезут, что их так поддели, а молодые, говорят, как кошка с собакой живут. Поля мне немножко жалко, хотя он, в сущности, фат и дрянь, но старикам – поделом, пусть не задирают носа.

Сара молчала, а Анна Абрамовна, сев на свой конек, неслась дальше.

– А помнишь, Сарочка, Нейманов?

– Помню, тетя.

– Вообрази, они окончательно разорились. Из такого-то дворца – в две комнаты перейти! Что ж, сами виноваты, жили бы себе тихо; нет, как можно, надо из себя герцогов корчить. Помнишь дочь их Женю – кто ни сватался, всем отказ, хотела, верно, за графа выйти, да забыла, что у евреев есть всего каких-то два-три барона, да и те заняты. Знаешь, за кого она вышла? За подрядчика Абрамсона – противный такой, толстый, старый, имени своего подписать не может… Что значат деньги! Я была на свадьбе. Этот плешивый дурак, Абрамсон, стоит под “хупой” и облизывается, а Женя – вся в брильянтах, а лицо как у мертвеца. Под конец не выдержала. Стал раввин речь говорить и ну расхваливать жениха – и красив-то он, и умен, и образован. Как она захохочет и хлоп в обморок…

– Бедная Женя, – сказала Сара.

– Ужасно бедная! Поехала через месяц на воды и живет себе припеваючи.

Сара откинулась в угол кареты и закрыла глаза.

– Что с тобой, тебе дурно?

– Нет, я только очень устала.

– Крепись Сара, сегодня уедем.

Все, наконец, закуплено и уложено. Извозчики стали выносить вещи. Сара медленно обвела глазами комнату; ее

бледные губы задрожали. У дверей суетились хозяйки. Настя, с красным лицом и опухшими от слез глазами, со злостью впихивала в саквояж какой-то никому ненужный чайник.

– Присядемте, – сказала Анна Абрамовна.

Все сели.

– Ну, с Богом, – проговорила она и поднялась. Сара поцеловала Авдотью Петровну и крепко обняла Настю.

– Настя, я вас никогда не забуду.

– Ох, батюшки, что ж это такое! – в голос вопила Настя.

Сара уже сидела в карете, когда Настя опять бросилась к ней.

– Голубушка, напишите хоть когда словечко, – просила она плача.

Сара всю дорогу промолчала, довольная тем, что Анна Абрамовна, разговорившись с пассажирами, оставила ее в покое. На второй день к вечеру приехали к месту. Лидочка, высокая, розовая девочка с пышными золотистыми волосами и в необычайно коротком платье, с визгом бросилась на шею сестре.

– Сара, Сара, тетя милая, как я рада, что вы приехали.

В уставленной темной дубовой мебелью большой столовой трещал огонь. На столе, покрытом белоснежной скатертью, пыхтел на медной доске огромный самовар, красиво пестрели чашки и румяные булки; густые желтые сливки в серебряном сливочнике, масло и обильная закуска придавала комнате приятный, уютно-жилой вид

– Тетя, это я сама все приготовила, спросите Марфу, – тараторила Лидочка, усаживая сестру.

– Сара пей, Сара ешь – говорила беспрестанно тетка.

– Смотри, Сара, сколько я тебе пенок кладу, я ведь помню, что ты любишь пенки, – прибавила Лидочка. Но Сара не может есть. В этой удобной, комфортабельной комнате ей вспоминается ее бедная девочка, умершая чуть не в подвале. Кусок останавливается у нее в горле, и горькое рыданье вырывается из ее груди. Тетка ее утешает. Лидочка всхлипывает и все повторяет:

– Ну, пожалуйста, Сара, ну, пожалуйста…

XII

Медленно приходила в себя Сара. Анна Абрамовна приглашала к ней целую толпу докторов, пичкала ее лекарствами, и если замечала, что в минуту гнева у нее нечаянно вырвется какой-нибудь укоризненный намек на прошлое – она тотчас старалась загладить его усиленно-нежным ухаживаньем. К великому ее удовольствию бедные щечки Сары стали покрываться легкой краской, она сделалась разговорчивее и ласково

улыбалась шалостям сестры, которая, казалось, только о том и думала, как бы ее развеселить. Лидочка страстно к ней привязалась.

– Ах, Сара, как я тебя люблю, – говорила она, душа ее в своих объятьях.

– За что это, моя дурочка?

– Ты такая… такая…

– Какая? – улыбаясь, спросила Сара

– Неземная, – патетически вскрикнула Лидочка.

– Не говори глупостей, Лида; не достает еще, чтобы ты сделалась сентиментальной фантазеркой. Где это ты таких слов нахваталась – “неземная!”

– Зачем же ты сердишься, Сара, я ведь не хотела тебя обидеть. Мы в гимназии теперь проходим Корнеля и Расина, и мне кажется, что ты *ужас* как похожа на героиню.

– Удивительно! Столько же, сколько наша Марфа на Сципиона Африканского. Ты бы вместо этих нелепостей, Лида, лучше занялась чем серьезно. Я как-то заглянула в твои тетрадки и нашла, что ты *ужас* как безграмотно пишешь. Хочешь, я тебе буду давать уроки, как в былое время?

– Пожалуйста, Сара.

– А не будешь лениться?

– Ну, вот, точно я маленькая! Лидочка, действительно училась очень прилежно. Сара обрадовалась этим занятиям, – они наполняли время и мешали думать. Она с виду почти оправилась, но на бледном похудевшем лице, легло выражение не то равнодушия, не то утомления. Она пыталась несколько раз узнать что-нибудь о муже; попытки ее долго оставались тщетными; наконец ее известили, что муж ее умер от чахотки. Хотя она и привыкла к мысли, что он для нее потерян, но весть о его смерти ужалила ее наболевшее сердце. Так часто поражает как бы внезапностью ожидавшаяся с часу на час смерть безнадежно больного – с физическим уничтожением людям тяжелей всего примириться. Сара не сказала никому о полученном известии, она только еще больше ушла в себя. Глядя, как она ходит взад и вперед по комнате, с резкой складкой между бровями, Анна Абрамовна часто задавала себе вопрос – уж не рехнулась ли племянница? Ей вообще было не по себе с этой молчаливой, странной женщиной, ради которой она старалась сдерживать свои порывы, которые – она чувствовала это – была ей в одно и то же время и родная, и чужая, которая невольно тяготила ее своим присутствием, хотя она бы, конечно, никому, даже самой себе, в этом не призналась. Кроме того, она дрожала, как бы Сара не заразила своими идеями Лидочку.

– О чем ты все думаешь, Сара, – спросит она ее иногда, когда та примется за свое обычное хождение по комнатам.

– Да ни о чем особенно, тетя. Думаю, как мы в сущности все глупы… из-за чего мы столько терпим, бьемся, когда развязка так проста.

– Что ты, Бог с тобою! Если бы все так рассуждали, – и жить бы никто не захотел. Ведь человеку дай только волю, он так заломается, что и не угодишь. Вот хоть ты, Сара, – только не сердись на правду – знаешь, отчего ты страдаешь?

– Отчего?

– От гордости своей, вот отчего. Вообразила, что ты не такая, как все, захотела устроить себе какую-то особенную жизнь, силой захотела взять – вот Бог и наказал: не возвышайся.

– Может быть, тетя.

– Сара!..

– Что?

– Ты… не толкуй ничего такого Лидочке… Пусть она лучше будет счастлива по *обыкновенному*… Сара посмотрела на нее долгим взглядом.

– Хорошо, тетя, только вы это напрасно, я сама не хочу, чтобы Лида вышла таким уродом, как я.

Прошли зима и лето, опять наступила осень. Сара, казалось, совсем выздоровела и на посторонних производила впечатление очень красивого и холодного существа. Сама она все сильнее чувствовала, что составляет в аккуратном доме тетки чуждый, нарушающий общую гармонию элемент. Она стала подумывать об отъезде. Возвратившийся в это время в Россию m-r Auber, прислал ей отечески-нежное письмо, в котором выражал глубокое сожаление по поводу того, что не смог оказать ей поддержки, когда она в ней так нуждалась. Он предлагал ей место гувернантки у вдовы-генеральши, живущей, как он писал, в одной из больших приволжских губерний. Сара обрадовалась этому предложению и, несмотря на протест Анны Абрамовны, решилась уехать.

XIII

– Господа! Пора садиться! Первый звонок… Толпа волною хлынула на платформу, суетясь и толкаясь. Какой-то мастеровой сшиб с ног бабу; она уронила мешок и громко ругалась, собирая свои пожитки. Мокрый снег, смешанный с дождем, падал крупными лепешками с хмурого, точно больного, неба. У купе второго класса стояли красивый старик в меховом пальто с бобровым воротником, дама средних лет, укутанная в бархатную ротонду и хорошенькая девочка, лет пятнадцати, в синей плюшевой шубке и мохнатой белой шапке, повязанной большим платком. Это были m-г Auber и Анна Абрамовна с Лидочкой, приехавшие из “О” проводить уезжавшую в Энск Сару.

Они сбились вместе, силясь протиснуться к окну вагона, из которого она смотрела на них, наклонившись всем корпусом вперед. На ее утомленном лице блуждала слабая улыбка, большие черные глаза, опущенные длинные ресницы, устало смотрели из-под тонких, почти прямых бровей.

– Не скучай, поправляйся! – говорили отъезжающей.

– Пиши чаще!

– N’oubliez pas votre viel ami, mon enfant![35]

– Ах, Сарочка, зачем ты опять уезжаешь! – жалобно вскрикнула Лидочка и, схватив узенькую прозрачную руку сестры, припала к ней лицом.

Та сдвинула брови, губы ее нервно дрогнули.

– Не плачь, – сказала она рыдающей девочке, – ведь ты же мне обещала; будь умница, Лидочка, а то мне еще грустнее станет.

– Хорошо, я перестану, – согласилась Лидочка, – только ты пиши мне отдельно обо всем, обо всем. Уверяю тебя, что я все пойму…

Раздался второй звонок. Анна Абрамовна вошла в вагон.

– Сара, – заговорила она, всхлипывая, обещайся мне, что если тебе там хоть что-нибудь не понравится – ты сейчас же вернешься назад. Как дома ни плохо, а все лучше, чем у чужих.

– Хорошо, тетя, только, пожалуйста, не плачьте.

– Не могу я не плакать, чувствует мое сердце, что из этой новой затеи не выйдет добра. Ведь придет же фантазия идти в гувернантки, точно у нее дома есть нечего, – продолжала всхлипывать тетка.

Племянница молчала. Тетка вынула маленькое портмоне.

– Я положила сюда еще денег, – сказала она, – чтобы ты, по крайней мере, не нуждалась в копейке.

– Merci, тетя, только право, это лишнее, у меня и так много денег. Послышался третий звонок, тетка поспешно выскочила из вагона. Сара опять наклонилась в окно и стала прощаться.

– Adieu, monsieur Auber, тетя, не поминайте лихом… Прощайте все, будьте здоровы… Лида, я рассержусь…

Там и сям раздались звонкие, торопливые поцелуи. Пронзительно взвизгнул свисток, запыхтел локомотив, и поезд медленно тронулся. Сара кланялась, не сводя глаз с провожавших; ей махали платками. Auber с непокрытой головой улыбался грустной, доброй улыбкой. Лидочка рванулась было к вагону, но благоразумная тетка энергически удержала ее за руку. Поезд пошел быстрее. Платформа убежала из виду, замелькали длинные ряды товарных вагонов, в последний раз взвизгнул и замер свисток. Сара отошла от окна, сняла шубку, шляпку, положила в угол диванчика подушку и легла, закинув руки за голову.

– “Опять в дороге”, – вздохнула она и стала рассматривать пассажиров, чтобы ни о чем не думать. Но воспоминания, как нарочно, лезли ей в голову длинной мучительной вереницей. – “Бродячая я, видно, птица”, – решила она, – “то туда, то сюда… так верно и умру где-нибудь в дороге… в ожидании лучшего”. А пассажиры между тем успели оглядеться и разговорились. Две купчихи, – одна в платочке, другая в шиньоне, – по-видимому, родственницы, поставили на диван плетеную корзинку и, вытащив оттуда целую гору пирожков, хлеба, ветчины и яблок, стали кушать.

– Что же вы Лизавета Ивановна дочитывали фельетончик? – спрашивала купчиха в платочке, отрывая зубами огромный кусок ветчины.

– Дочитала, Марья Павловна, еще вчерась, даже всенощную пропустила.

– Чем же кончилось?

– Ах, уж и не говорите, Марья Петровна! Так чувствительно… читаю, а у самой слезы так и бегут. Ведь граф то больше и не виделся с княжной.

– Неужто не повенчались?! – воскликнула, насколько это допускал набитый рот, Марья Петровна.

– Где уж там венчаться! Ведь у княжны то в доме пожар случился: она и сгорела. Узнал это граф, взял да и застрелился.

– Ах!.. Рядом с Сарой какая-то дама, в старомодной собольей шапке с бархатными наушниками, обложенная целой кучей шалей, пледов и платков, всевозможных цветов и размеров, горячо убеждала солидного господина в очках, что у нас все несчастья происходят от чрезмерной свободы.

– Помилуйте, – говорила она, – на что это похоже, какие-нибудь мальчишки заявляют неудовольствие профессору. А отчего это, позвольте спросить?! Оттого, что мы утратили всякое чувство сословного достоинства. Ведь теперь всякий сапожник, да что я говорю – сапожник, – всякий жид норовит своего сына в гимназию сунуть. Можете себе представить – какие примеры такой мальчик видел у себя дома, и вдруг его сажают рядом с ребенком de bonne maison[36]. Натурально, им должна овладеть зависть: он не имеет ни таких манер, ни вообще той distinction[37], которая дается только происхождением. Вот он и начинает мечтать, что поумнее всех, возводить в боги сиволапого мужика, о котором понятия не имеет, и в итоге получается нигилист.

– Но позвольте, сударыня, – возразил господин, – если предоставить исключительное пользование образованием привилегированным сословиям, мы рискуем затормозить прогресс.

– Нет, зачем же, – перебила барыня, вынимая изо рта папиросу, – я и сама не против прогресса, у меня в имении школа, я выписала учителя из Петербурга – не какого-нибудь пономаря, а совершенно приличного. Какой он у меня хор устроил! Выучил мальчишек петь мотивы из Моцарта, но вместе с тем внушает им, чтобы они знали свое место и не забывались. Уверяю вас, все зависит от направления. У меня у самой два сына в университете, тем не менее, они до сих пор, слава Богу, не похожи на семинаристов…

Сара зевнула.

– “Все одно и то же”, – подумала она.

У ней разболелась голова от смешанного гула незнакомых голосов и однообразного подпрыгивания стукающего вагона. Она повернулась на бок и закрыла глаза. Воспоминания беспорядочно вставали и сменялись в ее утомленном мозгу, словно пестрые картины в панораме. Детство… юность… Auber со своей всё примиряющей философией… Адольф Леонтьевич, толкнувший ее неведомо куда и сам сгинувший, потому что назад ему стыдно было идти, а вперед – уменья не хватило… Анна Абрамовна с своими птичьими идеалами и строгим приговором: не возвышайся, живи по обыкновенному… даже Настя, простодушная, милая Настя, и та: “плетью, матушка, обуха не перешибешь”, “особливо нашей сестре жутко приходится”… “Господи, да что же это за хаос такой?! В чем, наконец, *мой* грех, *моя* вина… Положим, я не сила, но неужто же одним великанам и жить… и разве я требовала чего-нибудь особенного… Меня ненавидели, я захотела узнать, за что… Нельзя же преследовать две тысячи лет человека за миф. Ну, я – червяк, ничтожество… но

ведь это и для червяка бессмыслица… и к чему привели мои порывы? Не успела даже порядком дать себе отчет, чего мне нужно… И баста… не удалось, значит виновата…неумелым нет места за общим столом… не нужно, по крайней мере, ничьих сожалений; уж если умирать – то в одиночку”… Она вздохнула, досадуя, что не может заснуть, и села. В вагоне было почти темно, фонари, задернутые синими занавесками, едва пропускали слабый дрожащий свет. Пассажиры, изогнувшись в дугу, мирно похрапывали на разные лады, издавая по временам тяжелое кряхтенье. Сара прислонилась лбом к холодному стеклу и стала глядеть во мрак. По темному небу тянулись кое-где молочными струйками облака. Поезд быстро скользил по рельсам. Леса сплошной черной тенью мчались мимо в какой-то бешеной круговой пляске. Локомотив извергал целые снопы огненных искр, разметая их сверкающим столбом далеко по воздуху. Одинокие избушки сторожей уныло мелькали то зеленым, то красным фонарем в общей тьме, да жалобно, точно надрывающий душу похоронный вопль крестьянской бабы, взвизгивал свисток, да кондуктора выкрикивали охриплыми голосами названия станций… Сара уже ни о чем больше не думала и все глядела в окно. Наконец, усталые глаза ее стали смыкаться, она опустила голову на подушку и заснула крепким, тяжелым сном…

XIV

Генеральша Серафима Алексеевна Зубкова – маленькая, худая старушка, с зачесанными на виски седыми буколькими и беззубым ртом, вечно одетая в черное, обшитое плерезами[38], платье, казалось – да и на самом деле была существом весьма незначительным. Привыкшая всю жизнь подчиняться воле мужа – покойный генерал взял ее из купеческого дома и по всякому поводу упрекал плебейским происхождением – Серафима Алексеевна после его смерти совсем растерялась, точно испугавшись, что некого ей будет больше слушаться. Опасения ее скоро рассеялись. Старшая ее дочь, Ора Николаевна – ее собственно звали Ирина, но она находила это имя недостаточно благозвучным и переделала его, – скоро прибрала к рукам мать и весь дом. Это была барышня, перешедшая за роковой тридцатилетний возраст, длинная, высохшая с бледными глазами и какими-то вылинявшими белокурыми волосами. Прическу она носила высокую, взбитую, с поэтическим бледно-голубым бантом на боку. Она вообще любила темные цвета и глазам своим в обществе обыкновенно придавала томное выражение. Часто, впрочем, по свойственной женской натуре непоследовательности,

она вдруг изменяла своему предпочтению к меланхолическому и мечтательному, начиная капризничать и наивничать, как институтка. Несмотря на свою поэтическую внешность, Ора Николаевна была, что называется, девица с душком, а по неучтивым отзывам горничных – даже прямо “ехидна” и “змея подколодная”. При жизни отца, она принуждена была сдерживать свои властолюбивые наклонности – покойный генерал был человек крутой и твердо держался принципа, что “яйца курицу не учат”. При отце, впрочем, легче было справляться с собой – и жилось веселее, и надежд было больше. Со смертью генерала обстоятельства изменились: денег он оставил мало, а на пенсию можно было жить очень скромно; от балов и выездов приходилось отказаться или, по крайней мере, ограничить их до ничтожества. Мать, изложив старшей дочери эти резоны, робко предложила переселиться для сокращения расходов в деревню, находившуюся в 20 верстах от Энска и доставшуюся ей после какой-то двоюродной тетки…

– Закопать свою молодость в глуши, – отвечала на эти резоны дочь.

– Да как же иначе, Орочка, ты посуди, если останемся в городе, придется нынешнюю зиму начать вывозить Оленьку, а с двумя вами мне не справиться.

– Вывозить Ольгу! Ха-ха-ха… это мило! Вывозить пятнадцатилетнюю девчонку, которой еще за книжкой надо сидеть. Такие вещи могут прийти в голову только вам, maman.

Maman хотела было заметить, что Оленьке не пятнадцать, а восемнадцать лет, но она благоразумно промолчала и только вкрадчиво проговорила:

– Нельзя знать, мой друг, может быть, как раз в деревне тебе представится хорошая партия.

– Уж не за старосту ли вашего вы намерены меня просватать, – колко отозвалась дочь.

– Ах, Ора, всегда ты так перевернешь все по-своему. Ведь сама знаешь, что при наших средствах нельзя так жить. Нужно Костю в гимназию готовить.

– Отдайте его в уездное училище.

Серафима Алексеевна возмутилась.

– В уездное училище! Моего единственного внука! Сына покойного Андрюши!.. Кажется, тебе не два года было, когда брат умирал, помнишь, чай, как он поручал нам своего ребенка.

– Ну, пошло! – прервала Ора Николаевна и нетерпеливо передернула плечами.

Генеральша вздохнула и замолчала.

– Так как же, Ора, – начала она опять, – ведь так нельзя…

Если ты не хочешь, чтобы Оля выезжала – так надо ей учителя музыки взять.

– Еще бы, конечно! Для любимицы найдутся деньги и для учителей, и на выезды, а когда мне нужна шляпка – начинается с утра до вечера нытье: и долги-то и нищета, и чего только не перечтут. Знаю, что вы бы рады меня хоть за дворника сбыть, только бы вашей Оленьке побольше досталось.

– Грех тебе, Ора, так нападать на сестру.

Подобные разговоры повторялись между матерью и дочерью очень часто. После одной из таких бесед, слишком надоевших уж Оре Николаевне, она отчеканила:

– В деревню я не поеду, так и знайте, – и, хлопнув дверью, ушла к себе в комнату.

Комната ее, если можно так выразиться, дышала невинностью. Серенькие, с голубыми и розовыми птичками, обои, на окнах цветы и занавески тоже с птичками. Кровать, покрытая розовым одеялом, в белом чехле, туалет, тоже розовый, с белой кисеей и бесчисленным количеством всяких альбомчиков, коробочек, подушечек для булавок, скляночек с духами, щеточек, гребеночек; тут же под стеклянным колпачком пучек засушенных цветов, перевязанный голубой ленточкой – какой-нибудь сердечный сувенир; на столе симметрично, как на витрине магазина, расположены письменные принадлежности; вдоль стены чинно расставлены стулья и ситцевые табуреты; на висячей шифоньерке красуются Лермонтов, целый год “Русского Вестника”, Евангелие… у образа в углу розовая лампадка.

Ора Николаевна осталась, должно быть, очень недовольна разговором с матерью. Она бросилась на кровать, не откинув даже одеяла, чего она, по своей аккуратности, никогда бы не сделала в нормальном состоянии, и стала задумчиво грызть ногти. Потом она встала, расправила и свернула одеяло, достала из комода книгу и бумажный сверток и опять улеглась. В свертке были конфетки-тянучки, до которых Ора Николаевна была большая охотница, а книга была – “Нана”, Эмиля Золя, до которого Ора Николаевна тоже была охотница. Она совершенно погрузилась в чтение и, медленно посасывая конфетку за конфеткой, забыла, казалось, весь мир, как вдруг раздавшийся внезапно звонок заставил ее вздрогнуть. Она оперлась на локоть и, вытянув вперед голову, стала прислушиваться. Послышалось звяканье шпор и незнакомый мужской голос.

– Кто бы это мог быть, – проговорила Ора Николаевна и села на кровати.

Через мгновенье к ней влетел кубарем Костя, черноволосый, краснощекий мальчик, тот самый которого она предлагала отдать

в уездное училище, и, запыхавшись, доложил:

– Тетя Ора, чужой полковник приехал, бабушка приказала вам выйти, – и кубарем же вылетел назад.

Еще через мгновенье к Оре Николаевне вбежала младшая сестра, свеженькая девушка с пухлявым розовым личиком, вздернутым носиком и круглыми испуганными глазками.

– Ора, полковник какой-то из Москвы приехал; мама велела мне одеться.

– Так что ж, одевайся, я ведь тебе не мешаю.

– Да видишь, Ора, мой корсет совсем развалился, я стала его надевать, да второпях и сломала обе планшетки. Дай мне, пожалуйста, надеть твой старый.

– Чтоб ты и мой сломала? Благодарю покорно.

– Ей-Богу не сломаю. Ну, Ора, пожалуйста, дай, прошу тебя.

– Не приставай, – мой корсет на тебя не влезет.

– Право, влезет, – он мне только в груди узок, а в талии даже широк.

– Что?! У тебя, может быть, тоньше моей талия! Скажите, вот новость! Ну, так при такой стройной фигуре можно обойтись и без корсета.

– Ора, дай.

– Отстань, Ольга, не дам.

– Не дашь?

– Не дам.

– Жадная, противная уродина, только и знает, что обжираться тянучками, читать всякие гадости, да делать глазки всем мужчинам.

– Вон, дрянь!

– Сама дрянь. – И сказавши эту последнюю любезность, храбрая Оленька пустилась бежать.

Несмотря на эту маленькую перебранку, обе барышни как ни в чем не бывало вошли в гостиную, в которой Серафима Алексеевна, сидя как на иголках, занимала гостя в ожидании дочерей. Увидав их, она с облегчением вздохнула.

– Полковник Раздеришин, дочери мои Ора и Ольга, – отрекомендовала она.

– Имел удовольствием быть сослуживцем и закадычным приятелем покойного вашего брата, – отрекомендовал себя полковник, звякнув шпорами.

Ора Николаевна грациозно склонила головку и пролепетала:

– Очень приятно.

– Очень приятно, – повторила за ней как эхо, Оленька.

– Вы уже давно в наших краях? – начала разговор Ора Николаевна, с какой-то особенной грацией опирая голову на

изогнутую руку.

– Нет-с, недавно. Только вчера приехал. У меня тут недалеко именьице после жены осталось, так вот хочу его привести в порядок.

– Неужели вы намерены поселиться в деревне? – изумилась Ора Николаевна.

– Да, на одну зиму, для сына; он был у меня очень болен, и я хочу его выдержать годик в деревне.

– Но кто же его будет здесь *учить?*

– Я надеюсь сам с ним управиться. Он ведь у меня еще не очень ученая особа.

Серафима Алексеевна громко вздохнула.

– И я, – сказала она, – хотела бы в деревню перебраться…

– Что ж вы! – подхватил полковник, – и прекрасно, вместе поехали бы. Ведь ваши Дубки недалеко от моей Осиновки.

– Я-то бы душой рада отсюда, да вот Орочка не хочет. Орочка бросила на мать молниеносный взор, который, будь он одарен силой электричества, наверно бы уложил на месте старуху.

– Maman! Как вам, право, не совестно сочинять на меня, – воскликнула она тоненьким голоском, полного очаровательного негодования, – когда же я говорила, что *не хочу?* Я только сказала, что там трудно достать доктора, а вы так часто хвораете, да вот Ольге придется музыку запустить. А что до меня, вы знаете, что мне все равно, где ни жить. – добавила она несколько горьким тоном.

Серафима Алексеевна широко выпучила глаза; ей, по-видимому, пришло в голову, что, может, она в самом деле не так поняла Орочку. Оленька вся вспыхнула и с ее сложенных сердечком красных губок, казалось вот-вот слетит: – Ах, лгунья!

Полковник крутил усы и улыбался.

– Чего ж лучше! Значит, все согласны; Серафима Алексеевна обещает не хворать (Серафима Алексеевна от радости чуть было не сказала, что она сроду больна не была, да удержалась и только утвердительно закивала головой). Ну а с Ольгой Николаевной действительно затруднительно.

– Я, что ж… я ничего… я и сама могу играть, – краснея и запинаясь, выговорила Оленька.

Серафима Алексеевна совершенно растаяла.

– Зачем же, Оленька, я не хочу тебя лишать музыки; с переездом в деревню расходы сократятся, я выпишу для тебя из Москвы гувернантку. Она и Костю будет *учить.*

Ора Николаевна кротко улыбалась.

– Вот и чудесно, – сказал полковник, – я свою Осиновку живо устрою, и вы не мешкайте. Эх, какими славными соседями мы с

вами заживем! А гувернантку, если позволите, я вам достану через швейцарца, который Саше моему уроки давал, – он знает весь свет.

– Ах, как хорошо, – восторгалась Серафима Алексеевна, – да что мы тут в гостиной сидим? Уж если деревенские соседи, стало быть, без церемонии, пожалуйте в столовую чай пить.

Перешли в столовую. Разговор вел полковник. Он рассказывал о Москве, Петербурге, театрах; сообщил несколько пикантных анекдотов про общих знакомых… Говоря, он исключительно обращался к Оре Николаевне. Такое внимание было ей, видимо, приятно; на щеках ее горели сквозь пудру два яркие пятна, а устремленные на полковника, глаза глядели, казалось, не на полковника, а на бесконечную даль.

– Вы, вероятно, много читаете? – осведомился у нее полковник.

– О, да! Книги, цветы и музыка составляют всю мою жизнь, – ответила она томно.

– А людям, Ора Николаевна, разве вы совсем не отводите местечка в вашей жизни, – спросил с коварной усмешкой полковник.

– Люди… – медленно произнесла Ора Николаевна, – люди меня не понимают. И она презрительно небрежно махнула рукой.

– А вы, Ольга Николаевна, тоже людьми недовольны? – обратился Раздеришин к младшей сестре.

– Добрых люблю, а злых терпеть не могу, – выговорила Оленька.

Полковник засмеялся.

– Как это хорошо, сказал он.

– Ребенок! – снисходительно заметила Ора Николаевна. После чая Раздеришин уехал, пообещав в тот же вечер написать швейцарцу Auber'у о гувернантке. Зубковы остались очень довольны гостем, и даже Ора Николаевна, сделав матери и сестре краткое внушение относительно того, что они не умет держаться в обществе, – была весь вечер очень любезна со всеми.

XV

Auber отрекомендовал генеральше в гувернантки Сару. Мысль, что она еврейка очень смутила Серафиму Алексеевну и предоставленная самой себе, она, вероятно, не решилась бы на такой смелый подвиг. Но тут случились два побочных обстоятельства. Во-первых, рекомендуемая гувернантка вмещала в себе по отзывам швейцарца, сосуд всевозможных знаний и искусств за весьма дешевую цену, так что единственным пятном в

ней являлось еврейство. Во-вторых, привезший эту новость Николай Иваныч Раздеришин заметил – “неужели у вас еще разделяют этот предрассудок” – таким тоном, как будто для него не только этот, но и вообще никаких предрассудков не существовало. Присутствовавшая при разговоре Ора Николаевна, не желая отстать от столичного гостя в либерализме, воскликнула:

– Полно, maman, что вы, точно не все люди равны!

Серафима Алексеевна, сбитая с толку, пролепетала, что она сама, конечно, ничего, но что вот другие могут осудить – сами знаете, у нас провинция.

– Да зачем вам всем докладывать, *кто она*, скажите француженка, и дело с концом, – посоветовал полковник.

Совет этот пришелся по душе Серафиме Алексеевне. Она даже подумала про себя, что, кто знает, пути Господни неисповедимы, может он нарочно посылает жидовку в генеральский дом, дабы она просветилась. Она даже повеселела от этой мысли, тем более, что Орочка, оставшись с ней наедине, заметила:

– Знаете, maman, даже лучше, что она жидовка: будет, по крайней мере, знать свое место и не важничать, а то с нашими ведь не оберешься претензий.

– Конечно, Орочка, конечно, – согласилась мать. – Ах, какой милый этот полковник, всегда все устроит, и право же, Орочка, мне кажется, что он к тебе неравнодушен.

Ора Николаевна покраснела. Ей очень нравился Раздеришин, и предположение матери было ей приятно. Она вообще стала гораздо мягче и кротко позволила перевезти себя в деревню. Гувернантку она приготовилась встретить снисходительно, взять ее под свое покровительство и вообще, так сказать, поразить ее величием своей души. Когда от Сары пришла телеграмма, что она едет, генеральша выслала за ней на станцию “плетенку”. Она хотела было послать коляску, но, рассудив, что жалко даром гонять туда и назад тройку, решила, что не беда, если евреечка прокатится на “плетенке”, и велела накласть побольше сена. Сара приехала ночью, совершенно разбитая. Все уже спали. Ее встретила сонная горничная, со свечою в руках, и отвела прямо в отведенную для нее на антресолях комнату.

– Прикажете поставить самовар, барышня? – спросила, громко зевая, горничная, стаскивая с Сары шубку.

– Нет, не надо, благодарю вас.

– Как же можно, без чаю; вы, небось, прозябли. Эко морозище какой! Господи, Боже мой!

– Ничего, я лягу спать и согреюсь.

– Как угодно-с, – сказала горничная и стала справлять постель. – В котором часу прикажите вас разбудить? – спросила она опять.

– А когда у вас встают?

– Да разно-с. Старшая барышня, Ора Николаевна, почивает до десяти, а то и до одиннадцати часов, ну а Ольга Николаевна с барчонком кушают чай вместе с барыней часу в девятом.

– Вот и меня тогда разбудите.

– Слушаю-с.

Сара села в продавленное кожаное кресло и стала оглядывать комнату. Комната была небольшая, с нависшим потолком, оклеенная простенькими обоями. У стены стояла железная кровать, покрытая темным байковым одеялом; старинный красного дерева комод, с полувыдвинутыми ящиками, припирал заколоченную стеклянную дверь, выходящую на балкон. Небольшое зеркало, с зеленоватым оттенком, кресло, два-три стула и стол довершали все убранство. Видя, что горничная стоит, переминаясь с ноги на ногу, и не уходит, Сара обратилась к ней.

– Как вас зовут?

– Дуняшей-с.

– Идите спать, Дуняша, мне больше ничего не нужно.

– Не помочь ли вам раздеться, барышня?

– Нет, благодарю, я всегда сама раздеваюсь.

– Слушаю-с, покойной ночи.

Сара осталась одна. Она подошла к окну и стала вглядываться в темное беззвездное небо. Оголенные деревья с распростертыми во все стороны сучьями рисовались какими-то гигантскими неопределенными тенями. Из-за огромного черного облака робко показался краешек луны и, словно испугавшись, опять потонул в густом мраке. Плохо спалось Саре в эту ночь на новом месте. Мучительные мысли, видения прошлого – не давали ей покоя. Выглянет один образ и стоит перед ней, как живой, она ведет с ним бессвязную речь; вдруг он пропадает и сменяется другим лицом, целым рядом других лиц… она делает над собой усилие, и ей удается забыться. Ей снится светлый, радостный сон. Забыты неудачи, печали, разочарования, их нет, их даже никогда не существовало; это был какой-то тяжелый гнетущий кошмар, а настоящая жизнь только теперь наступила. Всем хорошо и все такие хорошие, так понимают друг друга, никто никого не мучит, не пилит, не точит, не ненавидит, и она сама счастливая, любящая… ей хочется поделиться со всеми своим счастьем, раздавать его полными руками, чтобы нигде не осталось ни одного темного, унылого, заброшенного, забытого уголка. Да и

зачем обделять, обходить… разве не все равны… разве не все братья… Чье это бледное лицо? Ах, это несчастный оборванный жид, истерзанный, отовсюду гонимый; его жалкая хата разбита, дочь обесчещена, жена изувечена, убогий скарб пущен по ветру… он в грязи, в крови… “Христопродавец”, гогочет толпа… “Эксплуататор”… “Скатертью дорога”, – кричат ликующие голоса, а он все стоит скорбный, пришибленный, с протянутой дрожащей рукой, почернелые губы его шевелятся… что это он бормочет?

> Ein Jahrtaneusend sehon und langer duiden wir uns bruderlich:
> Du-du duldest, dass ichathme dass du rasest – dulde ich…[39]

– Да ведь это – стихи Гейне. Откуда ты их знаешь, несчастный! Теперь уж это не так, это давно, давно прошло…

– Барышня, а барышня, вы приказали разбудить вас, скоро девять часов, – раздался над самым ухом Сары громкий голос Дуняши.

Она раскрыла удивленные глаза. Сквозь оконные занавески глядело тусклое утро. В крышу мерно стучал дождь. Она быстро оделась, отклонив услуги горничной, пришедшей в детский восторг при виде роскошных, доходящих до колен, волос.

– Батюшки, вот волосы, – восклицала она, – какие черные, густые: неужели все ваши, барышня?

– Мои, Дуняша.

– Какая прелесть! У нас, чай, во всем городе таких кос не сыщешь.

Дуняша, вероятно, еще долго бы выражала свой восторг, если б Сара не вернула ее к действительности, сказав:

– Проводи же меня к барыне. Ее появление в столовой произвело некоторое смятение. Все встали из-за стола. Серафима Алексеевна пошла к ней навстречу и, протянув ей свою маленькую руку, добродушно проговорила:

– Милости просим, Сара Павловна. Уж вы извините, что вчера не встретили вас. Рекомендую: дочери мои и внук, прошу любить и жаловать.

Сара пожала всем руки и села на пустой стул возле генеральши. Она смутилась и покраснела, чувствуя устремленные на нее взгляды, и, чтобы придать себе храбрости, стала пристально всматриваться в окружавшие ее лица. Ее горячие черные глаза встретились с бледными глазами Оры Николаевны, глядевшие на нее с нескрываемым удивлением, и она рада была, что генеральша подвинула ей чашку чая, дала ей возможность отвернуться от неприязненного, как ей казалось, взгляда.

– Вы, должно быть, еще не отдохнули с дороги, – обратилась к ней Серафима Алексеевна.

– Меня утомила поездка на лошадях, но это скоро пройдет, – ответила Сара.

– Вы первый раз в деревне?

– Да, первый

– Как бы вы у нас не соскучились, – мы живем очень уединенно.

– Тем лучше, я не люблю общества.

– Ну, как же в ваши годы не любить общества, – усомнилась генеральша.

Сара промолчала.

– Этот молодой человек и есть, конечно, мой будущий ученик, – спросила она, указывая на Костю, который, забив за обе щеки по огромному куску хлеба с маслом, никак не мог его проглотить и стремительно спрятался за спину бабушки.

– Да, вот его надо в гимназию готовить, ну и вот с Оленькой, – генеральша кивнула головой на младшую дочь, – музыкой позаняться

– Вы уже давно играете? – спросила Сара Оленьку.

– Давно, только ужасно скверно, – ответила та, обнажая свои беленькие зубки.

– Это вы, конечно, скромничаете, – приветливо улыбнувшись, заметила Сара, которой понравилось открытое простое личико ученицы. – К сожалению, мы не страдаем скромностью, скорее излишней заносчивостью, – насмешливо вставила Ора Николаевна, вмешавшись в разговор, Сара перевела на нее свои глубокие глаза.

– Вы слишком строги, – сказала она, – самонадеянность вообще свойственна молодости, к этому следует относиться снисходительно.

Оленька искоса поглядела на сестру, закусила губы и ничего не ответила на ее колкость. Серафима Алексеевна беспокойно завозилась на стуле, не желая продолжения “опасного” разговора. Оленька схватила за руку Сару и потащила ее к роялю.

– Сыграйте что-нибудь, Сара Павловна, вот уж вы наверно отлично играете.

– Почему же это “наверно”, – усмехнулась Сара, садясь на табуретку и опуская руки на клавиши. Она заиграла какую-то бравурную пьесу, но вдруг, точно забывшись, наклонила голову и тихие, хватающие за душу, звуки поплыли из-под ее тонких пальцев, – то замирающие, то полные безысходной, щемящей тоски и муки о далеком, о безвозвратно утраченном, – звуки Шопеновской музыки.

– Ах, какая прелесть, вот чудо, вот прелесть! – затараторила Оленька, – да мне при вас стыдно одну нотку взять. Сара очнулась, и ей стало стыдно за свое невольное увлечение. Перед ней стояла Оленька и весело-беззаботно глядело ее пухлявенькое личико. Ора Николаевна молчала, плотно сжав губы и как-то грустно, недовольно смотрела в окно. Сару точно кольнуло. Ей показалось, что ее зарывают заживо в чужую землю. Ее леденила эта комната своей провинциальной обстановкой, зеленою, порыжевшею мебелью, вышитыми подушками на диванах, вязаными тамбуром кружочки на спинках кресел. На окнах – герань, плющ, бегония; на стенах – полинявшие, криворотые и пучеглазые портреты, произведения добросовестного, но – увы! – непризнанного художника. В углу висит в засиженной мухами раме пейзаж, изображающий малиновую пастушку, сидящую на малиновом берегу малиновой реки, а рядом с ней зеленый рыцарь на богатырском коне грозит кому-то кулаком. В кресле у окна генеральша вяжет чулок, равнодушно-лениво перебирая спицами…

– Не хочу ни о чем думать, – решает про себя Сара. – M-elle Ольга, теперь ваша очередь, – говорит она громко, – я хочу послушать как вы играете.

Ольга заиграла “Reveil du lion”. Играла она скоро, не выдерживая темпа, без оттенков, громко ударяя по клавишам, причем лицо ее, кроме напряженного страха пропустить какую-нибудь ноту, – ничего больше не выражало. Сара поморщилась, когда Оленька, разбудив наконец своего льва, поглядела на нее в ожидании одобрения.

– Недурно, – сказала она – но нам еще много придется заниматься. А теперь, Костя, пойдем-ка учиться.

Костя вздохнул, надул губы и, не глядя на гувернантку, повел ее, тяжело стуча сапогами, наверх.

XVI

Однообразно потянулось для Сары время в генеральском доме. Она скоро присмотрелась к членам всей семьи и установила между собою и ими вежливые, но далекие отношения. Серафима Алексеевна, несмотря на свое желание выпытать что-нибудь у гувернантки относительно ее прошлого, должна была отказаться от этого намерения. Односложные и простые ответы Сары ее не удовлетворяли. И в самом деле, “родители умерли”, “воспитывалась у тетки”, “небогата”, “вдова”… Кто же этому поверит! Уж конечно не Серафима Алексеевна, которая, несмотря на свое видимое смирение, в глубине души считала себя

женщиной очень проницательной.

– Понадеялась, должно быть на сою красоту и влюбилась в аристократа, а тот не обратил внимания, потому, что ни говори, все-таки – жидовка, – решила она про себя и успокоилась. Обходилась она с Сарой предупредительно, даже несколько подобострастно.

Положительно невзлюбила гувернантку Ора Николаевна. Она ожидала встретить некрасивое, робкое, постоянно готовое к услугам существо и не могла простить Саре, что та не оправдала ее ожиданий. Ее раздражала изящная, величавая фигура гувернантки, ее спокойные манеры, ее простое, скромное платье. Сара не сердилась на Ору Николаевну за ее враждебное отношение к ней. Она понимала это жалкое засохшее существование провинциальной старой девы, весь идеал которой – выйти замуж. И вот этот идеал рушится, заменить его нечем…

Более счастливые сверстницы устроились, обзавелись своим гнездом и с пренебрежительным сожалением, словно они Бог весть какой гражданский подвиг совершили, поглядывают на отставшую подругу. А тут вылетает целый рой молодых, беззаботных, цветущих подростков; с эгоизмом здоровых людей они проносятся резвой толпой перед бедной старой девой, унося ее последние надежды, вырывая из немощных желтеющих рук последнюю тень счастья и старая дева остается одна с затаенной завистью в несогретой груди, с глухою ненавистью к тем, которым посчастливилось. Позади у нее разочарования, впереди – пустота, которую по инстинкту самосохранения надо чем-нибудь наполнить. Одна наполняет ее хождением к обедне, вечерне и всенощной; другая всю душу свою кладет в любимую собачку или кошку; третья ни за что не хочет расстаться с призраком молодости и запоздалым кокетством доставляет обильную пищу остроумию местных beaux-esprits[40].

Оленька искренне полюбила Сару и откровенно восхищалась ею, а когда заметила, что это злит сестру, то в ее присутствии обыкновенно удваивала свои восторги. Музыкой она занималась усердно, но еще усерднее старалась подражать Саре в ее манере сидеть, перелистывать ноты, оправлять платье. Ора Николаевна с свойственною ей прозорливостью заметила эти невинные мелочи и, когда бывала не в духе, – что случалось довольно часто, – отпускала по этому поводу шпильки.

– Ольга, – говорит она, например, Оленьке, прилежно разбирающей затруднительный пассаж, – начни сначала, ты не так перевернула страницу. – Или: ты не так чихнула, как Сара Павловна.

Оленька, понятно, не остается в долгу и замечает что-то

вроде:

– Нельзя же всем пятьдесят лет играть “Штендхен”. Между сестрами завязывается перепалка, обыкновенно оканчивающаяся тем, что Сара уводит в свою комнату Оленьку и начинает ей там читать продолжительное нравоучение. Оленька плачет и оправдывается тем, что *не она начала*. Пристыженная Ора Николаевна, сознающая в душе, кто *начал*, злится на весь мир, хлопает дверями и кричит на весь дом, что она никому не позволит себе импонировать. В продолжении двух-трех дней все ходят надутые, молчаливые, избегая глядеть друг на друга, но мало помалу горизонт проясняется и все входит в обычную колею до новой бури. Бури наступали периодически, так что их можно было предвидеть, а именно – после каждого визита полковника Раздеришина, привозившего раз в неделю своего сына в Дубки, где он брал у Сары уроки французского языка. Корень зла заключался не в уроках, которые проходили тихо и чинно, и даже не в учительнице, – полковник, хотя и находил ее красавицей, но говорил, что в ней есть что-то такое je ne sais quoi[41], деревянное… Корень зла заключался в внутренности непостоянного полковника, перенесшего Бог весть почему все свое внимание с Оры Николаевны на Оленьку. Бедная Ора Николаевна! Она положительно не могла понять, как все это случилось, за что. почему: – “Ведь не хуже же она, наконец, этой индюшки – Оленьки”. Кажется все так хорошо шло, он по-видимому, так понимал ее, так сочувствовал ее мечтательным идеалам – и вдруг… однажды, среди какой-то заоблачной беседы, раздался его басистые голос:

– Ну, Ольга Николаевна, засмейтесь! Когда вы смеетесь, у вас такие ямочки делаются на щеках, что, глядя на них, точно молодеешь.

– Вот вы какой, – обиженно говорит Оленька, – вы меня считаете за маленькую! За то, что дразните меня, нарочно не буду смеяться. Я тоже могу быть серьезной. Она надувает губки, но не выдерживает роли и заливается звонким, бессмысленным, веселым смехом.

– Вот и прекрасно, ну еще немножко, – одобряет полковник. Ора Николаевна забыта. Полковник то просит Оленьку сыграть что-нибудь, то бегает с ней по комнате, то подсядет к ней близко и серьезно так скажет:

– Ну, давайте, Ольга Николаевна, толковать о важных материях.

Ора Николаевна страдала неимоверно. При полковнике она сдерживалась, и, хотя сердце у ней ныло и надрывалось с тоски, обдавала его высокомерным презрением, когда он, как ни в чем

не бывало, вступал с ней в разговор. Всю накипевшую на душе горечь она вымещала на домашних; особенно доставалось матери, которую она пилила по целым часам за то, что она будто бы поощряла неприличное обращение полковника с Ольгой. Серафима Алексеевна пыталась убедить ее, что она ошибается, что Николай Иванович шутит с Оленькой, как с ребенком, но Ора Николаевна прерывала ее визгливым, язвительным хохотом.

– Оленька ваша ребенок! Она – ребенок! Да это самая пошлая кокетка! – кричала она, задыхаясь.

Оленька в отместку действительно кокетничала с полковником и общими усилиями они превращали дом в ад. Серафима Алексеевна перебегала от одной дочери к другой, стараясь их как-нибудь ублажить, наконец измученная, спасалась в комнате у Сары.

– Сара Павловна, я вам не помешаю? – жалобно спросит она, приотворяя дверь.

– Ничего, Серафима Алексеевна, пожалуйте.

Старуха входит, усаживается с чулком на стуле и то и дело поворачивает в сторону голову, стараясь незаметно смигнуть набегающие на глаза слезинки.

У стола сидит Сара и держит в руках карандаш; против нее на табурете помещается с нахмуренным лицом Костя.

– Отчего вы опять не приготовили уроков? – вопрошает Сара.

– Забыл, – лаконично ответствует ученик.

– Как же вы могли забыть, ведь я записала в тетрадку?

Костя на минуту задумывается и затем выпаливает с видом победителя:

– Я забыл, где вы записали

– Это неправда, Костя, зачем вы лжете? Костя смущается и начинает для коптепанса ковырять в носу. В разговор вмешивается бабушка:

– Как же ты это, Костенька, а? Не стыдно тебе огорчать Сару Павловну? Она тебя учит, старается; другая гувернантка тебя бы из угла не выпускала… Проси сейчас прощения у Сары Павловны! Скажи, что не будешь больше лениться, что это в последний раз…

Но тут поток красноречия Серафимы Алексеевны прерывается неистовым ревом Кости, который не вынеся оскорбления, опрокидывает стул, чернильницу, книги и обращается в бегство под спасительную сень кухни.

XVII

Бывали, впрочем, и ясные дни. Ора Николаевна мирно читала какой-нибудь роман; Оленька погружена в вышиванье славянки;

Костя возится с собакой; Сара исправляет запутанное, измазанное и перечеркнутое сложение Кости, а генеральша безмятежно дремлет на диване. На дворе стоит тихий зимний день. Снег огромными рыхлыми хлопьями заносит двор и сад. Волга совсем спряталась под пушистой белой скатертью. Ора Николаевна открывает глаза от книги и устремляет взгляд на расстилающуюся бесконечно вдаль, словно саваном окутанную, степь.

– Господи, какая тоска, – вздыхает она громко, – хоть бы какая-нибудь собака забежала.

– Вот, погоди, может быть, Николай Иваныч приедет, – утешала ее Оленька.

– Ужасно какое от него веселье, от твоего Николая Иваныча: только отдувается и отпускает глупые остроты.

– Ты, однако, Орочка, прежде не находила его таким уж дураком.

– Конечно, пока не разглядела хорошенько, что он за птица. Ведь в нашей берлоге каждому свежему человеку обрадуешься.

Оленька готовится возражать, но Ора Николаевна не дает.

– Да вот Сара Павловна, вы наверно со мною согласитесь, что Раздеришин просто олух, – обратилась она к Саре.

– Я его совсем почти не знаю, – отозвалась та, – но он мне кажется самым обыкновенным человеком: ни особенно умен, ни особенно глуп…

В эту минуту Костя взвизгнул: “Колокольчики! Кто-то едет!” и, не внимая отчаянным возгласам проснувшейся Серафимы Алексеевны, что он простудится, пустился стремглав по лестнице.

– Бабушка, Аполлон Егорыч приехал и Анфиса Ивановна тоже, – кричал он уже снизу.

Через несколько минут в залу ввалился гость – Аполлон Егорович Филатов, известный всему Энску делец и сплетник. Это был почти шарообразный человек, лет пятидесяти. Массивное жирное туловище его покоилось на коротеньких, тонких ногах, исчезавших под непомерным животом. Совершенно лысая голова с толстой бурой складкой вместо шеи, казалась неподвижно прикрепленной к плечам, так что, когда ему нужно было повернуть ее, он оборачивался обыкновенно всей особой. Круглый, мягкий нос, толстые красные губы, скрытые огромной седеющей бородой, начинавшейся чуть не на висках и зеленые глазки с отвислыми голубоватыми мешочками под веками, плутовски блестевшие в своих узеньких щелках – довершали эту оригинальную фигуру.

Он вошел в залу, держа в руках меховую, уже облезлую шапку и пестрый шелковый платок; вытер им мокрую бороду и затем

уже приложился к ручке хозяйки, поздоровался с барышнями и, тяжело пыхтя, опустился на диван.

– Здравствуйте, Аполлон Егорыч, что вас давно не видать? Совсем нас забыли… Оленька, прикажи самовар и закусить… Да где же Анфиса Ивановна? – говорила, суетясь во все стороны генеральша.

– Чай, еще разоблачается; напутала, небось, на себя воз целый фуфаек да юбок, вот и не может сразу опростаться… Вы матушка, Серафима Алексеевна, не извольте беспокоиться, да вот и она на лицо. Ты чего там копалась – обратился он к показавшейся в дверях жене. Раздались новые восклицания. Дамы обменялись звонкими поцелуями, осведомились взаимно о здоровье; генеральша пожелала узнать, – здоровы ли детки Анфисы Ивановны, и получила в ответ, что, слава Богу, ничего; только у Машеньки была свинка, да Ванечка все животом бьется…

Наконец, все пришло в порядок, все успокоились и уселись, на столе появился самовар и обильная закуска. Анфиса Ивановна вытащила из ридикюля длиннющий деревянный крючок, на кончике которого висела вытянутая петля косынки из мегеровой шерсти и принялась вязать. В противоположность своему супругу, она была очень высока и худа; платье на ней висело мешком, что ей, впрочем, очень нравилось: она всегда строго наказывала домашней портнихе Агафьюшке, чтобы на груди непременно “набегало”, на что Агафьюшка, с видом знатока кивала головой, с достоинством замечая: “Понимаем, сударыня, понимаем, чтобы, значит, неглижа”. Волосы Анфиса Ивановна носила спереди пышными бандо[42], а на затылке закручивала их в маленькую кучку, в которую втыкала огромную черепаховую гребенку. Прическа эта очень шла к ее добродушному лицу, удивительное напоминавшему печеное яблоко.

Анфиса Ивановна была в самом деле очень добра, но. К сожалению, обладала не совсем приятной особенностью: она не могла просидеть часа, чтобы не икнуть или не чихнуть.

– Что нового? Кого видели из знакомых? Что в городе слышно? – посыпались со всех сторон на гостей вопросы.

– А вот дайте маленько согреться, все расскажем, – отвечал Аполлон Егорович, наливая густые сливки в крепкий как пиво чай. – Это вы, Серафима Алексеевна, сами крендельки-то пекли? – спросил он.

– Нет, Аполлон Егорыч, повар; перед отъездом в деревню нового взяла. А что, нехороши разве?

– Чудесные, прелесть какие, – с чувством произнес Аполлон Егорыч. – А у меня, – продолжал он, приходя в волнение, – представьте какая гадость вышла! Дьявол этот старый, Андропыч,

напился шельма, как стелька, да и подай при гостях к чаю какие-то угольные сосульки; так меня, скажу вам, взорвало, – взял я блюдо да к нему на кухню. – Это что? спрашиваю, – а он бестия: заварной крендель, говорит, Палон Ягорыч. – Ах ты… это заварной крендель. Заварной крендель должен таять во рту, как сахар, как масло, а это, говорю, не заварной крендель, а солдатское голенище!.. Бросил ему, идолу, в рожу все блюдо и ушел. Рассказ Аполлона Егоровича, приправленный соответствующими движениями, произвел различное впечатление на слушателей. Костя и Оленька хохотали во все горло, – им ужасно нравилась манера Аполлона Егоровича подчеркивать самые крупные словца. Ора Николаевна улыбалась самыми кончиками губ, а генеральша, заметив, что Анфиса Ивановна усиленно молчит и моргает глазами, собираясь чихнуть, – лепетала приличные случаю утешения. Затем перешли к городским новостям. Аполлон Егорович сообщил злобу дня, – что Анна Сергеевна Загорская убежала от мужа к шалопаю этому Коломину, а он возьми да и отвези ее назад.

Новость произвела сенсацию. Все сдвинулись ближе, чтобы лучше слышать; раздались восклицания, вздохи, осуждения.

– Помилуйте, как это можно! Мать троих детей… Семейная женщина! Да как она могла решиться на такой поступок! И для кого! Забыть мужа для вертопраха… какого-нибудь, для которого и святого ничего не существует…

– Верьте, – не верьте, как хотите, а дело было так; вот хоть ее спросите, – для большей убедительности Аполлон Егорович ткнул пальцем на жену.

– Правда, правда, – подтвердила Анфиса Ивановна, – попутал грех Анну Сергеевну; просто смотреть на нее жалко, такая она стала худая да печальная. И что она в нем нашла, чем он ее мог прельстить, решительно не понимаю!

И чтобы выразить всю глубину своего непонимания, Анфиса Ивановна растопырила пяльцы и даже спустила несколько петель с своего вязанья.

– Ну уж это ты, Анфиса Ивановна, оставь. Не твоего это ума дело, – заметил Аполлон Егорович. – Скажите пожалуйста, тоже рассуждает: чем прельстил! – Вот тебе бы, небось, не прельстил.

Анфиса Ивановна мгновенно съежилась.

– Опасный человек, – сказала Серафима Алексеевна.

– Нет! да вы послушайте, как этот разбойник сух из воды вышел, – воскликнул Аполлон Егорович. – Ездил к ним, почитай, каждый день, с мужем первый друг-приятель, выдумал теперь благотворительный спектакль устраивать. Да и преподнес Анне-то Сергеевне первую роль – какой-то там драматической

любовницы… Каков?!

– Что вы, неужели! ну и как же она?

– Отказала, само собой… К вам теперь собирается, хочет Ору Николаевну просить; вчера у меня был, все разведывал, когда к вам удобнее заехать.

Ора Николаевна вспыхнула до ушей, сердце у ней сильно забилось; тем не менее, она сухо произнесла

– Напрасный труд. Я не буду играть.

Аполлон Егорович глянул на нее сбоку своим прищуренным заплывшим глазом.

– За что же такая строгость, Ора Николаевна? Ведь не съест он вас, а с благотворительною целью – отказать, знаете, неловко.

– И я думаю, Орочка, что неловко, – заметила генеральша.

– Это уж мое дело, maman, но я с *такими* господами ничего общего не имею.

На самом деле Оре Николаевне очень хотелось играть; отказ у ней сорвался с языка как-то бессознательно, а потом уж самолюбие не позволяло ей уступить. Сара поняла ее чувства и решилась придти к ней на помощь.

– Послушайте, Ора Николаевна, отчего бы вам в самом деле не сыграть, – сказала она, – вам скучно, вы несколько раз, помнится, говорили, что любите театр; представляется случай развлечься – зачем же от него отказываться?

Ора Николаевна взглянула на гувернантку признательными глазами.

– Ах, Сара Павловна, вы не знаете, что за человек этот Коломин

– Что же он за человек?

– Фат, гордец, хвастун, считает себя выше и умнее всех, бросает пыль в глаза своим богатством, воображает, что он петербургский аристократ и потому может всем говорить дерзости, а на самом деле его из Петербурга выгнали за какую-то грязную дуэль…

– Портрет не особенно привлекательный, – сказала Сара, – но какое нам до всего этого дело? После спектакля ничто нам не мешает порвать с ним все отношения.

– Вы находите, что я могу играть?

– О, с совершенно спокойной совестью.

– Хорошо. Я соглашусь, но с условием, чтобы вы ездили со мной на репетиции.

Сара растерялась от такой неожиданности.

– Не требуйте этого Ора Николаевна, вы знаете, как я не люблю общества, – сказала она.

– Иначе не соглашусь

– Ну хорошо, там посмотрим…

На том и был покончен важный вопрос.

XVIII

Приехавшего на другой день в дубки Коломина приняли не только радушно, но даже подобострастно. Ора Николаевна хотя и отказалась сначала играть, но мотивировала свой отказ нерешительностью, опасением не выдержать роли, говоря, что не признает за собой никакого сценического дарования. Гость же с подобающей почтительностью упрекнул ее в излишней скромности, уверяя, что он с своей стороны, как человек, страстно любящий театр и видавший на своем веку много артистов, находит всю фигуру Оры Николаевны чрезвычайно сценичной, а что манера говорить и жестикуляцией она положительно напоминает Делапорт.

Сидевшая с Костей в углу, Сара с любопытством подняла глаза на Коломина, желая, по-видимому, убедиться – смеется он над простодушными хозяевами, или говорит серьезно. Он говорил с полным убеждением и, встретив недоумевающий взор Сары, внимательно посмотрел на нее задумчивыми несколько влажными глазами.

Борис Арсеньевич Коломин был уже не молод. Ему даже по виду можно было дать больше сорока лет. Высокий, плечистый и, несмотря на начинающуюся полноту, еще стройный – он выдавался своей мощной фигурой. Русые волосы, перемешанные белыми нитями, густые, хотя уже поредевшие на висках, красиво обрамляли его широкий, белый, испещренный тонкими морщинами лоб. Серые умные глаза, окруженные целой сеточкой лучистых складок, глядели обыкновенно не на собеседника, а куда-то через его голову. Крупный, чисто славянский нос, большой, резко очерченный рот и крутой подбородок, теряющийся в длинной, рыжеватой бороде, – составляли вместе одно из тех немногих лиц, которые одинаково нравятся и мужчинам, и женщинам.

Одет он был хорошо, но не особенно щегольски.

– Какой он, однако, красивый этот губернский дон Жуан, подумала Сара.

Серафима Алексеевна не хотела отпустить гостя без обеда. Он охотно согласился остаться. За столом Коломин искусно завел общий разговор, давая каждому случай вставить свое слово, держался непринужденно, так что Сара, против ожидания, нашла оригинал совсем непохожим на изображенный Орой Николаевной портрет.

– А вы, Сара Павловна, не желаете принять участие в нашем спектакле? – обратился он к ней.

– Нет, – односложно ответила она.

– Как это жаль, мы бы для вас поставили другую пьесу.

Сара промолчала.

– Вы, вероятно, жили прежде в Петербурге, – продолжал он, не смущаясь ее молчанием; – мне кажется, что я уже вас где-то встречал.

– Вряд ли, я жила в Петербурге недолго и никуда не выезжала.

– Не думаю, чтобы я ошибался; я вообще обладаю превосходной памятью на лица, а ваше лицо трудно не запомнить. Ба!.. вот я и вспомнил! Вы поразительно похожи на одну картину Мурильо…

– Вы, кажется, страдаете слабостью всюду находить сходство, – сказала Сара, и в голосе ее явно зазвучала насмешливая нотка.

Коломин понял намек и закусил нижнюю губу.

– На этот раз я могу доказать вам, что моя слабость опирается на реальное основание. Если позволите, я вам привезу прекрасную гравюру с этой картины.

Сара холодно наклонила голову.

– Ах, m-г Коломин, как бы это было мило с вашей стороны, если б вы привозили нам иногда книги, – заговорила Ора Николаевна, которой совсем не понравилось внимание гостя к гувернантке, – вы наверно выписываете много журналов.

– Вся моя библиотека к вашим услугам, – любезно ответил Коломин.

Время летело незаметно. Разговор перескакивал с одного предмета на другой. Коломин как-то сумел всех к себе расположить и привлечь. Он припоминал разные случаи из своей жизни, говорил о своих путешествиях. Рассказал между прочим, как он, будучи еще совсем молодым человеком, перебрался с помощью еврея-контрабандиста через границу. Контрабандист, по его словам, походил на настоящего итальянского bravo[43], сорвавшегося с картины Сальватора Розы, и поражал своей храбростью, составлявшей особенный контраст с его, Коломина, трусостью.

– Мне было мучительно стыдно, – рассказывал Коломин. – Малейший шорох заставлял меня вздрагивать, и когда над нами с громким криком взвилась ворона, я чуть не упал в обморок. Вдруг над самой моей головой раздался выстрел. Это были, вероятно, караульные солдаты. Волосы мои стали дыбом; мне показалось, мне показалось, что я лечу стремглав в страшную бездну, и я с

ужасом почувствовал, что умер. Когда я пришел в себя, уже начало рассветать; голова моя покоилась на коленях контрабандиста, который тер мне лоб и виски водкой, – он, видите ли, ухитрился стащить меня в овраг. Не могу вам выразить, до чего я обрадовался. Я расплакался как десятилетний мальчишка. Контрабандист смотрел на меня с пренебрежительным сожалением, – так мне, по крайней мере, казалось. Помню, что в порыве радости я пытался убедить его переменить профессию, но он только рукою махнул. Тогда я, по молодости, вознегодовал, но, проживши несколько лет в наших западных губерниях, присмотрелся к нищенски-жалкому прозябанию еврея и стал смотреть на вещи снисходительнее.

В душе Сары зашевелились давно заглохшие струны. На нее пахнуло как будто чем-то родным. Она вся оживилась, на бледных щеках вспыхнул румянец, глаза заблистали, на сжатых обыкновенно губах заиграла улыбка. Она незаметно для себя увлеклась, и, когда беседа перешла на литературу, разговорилась – горячо, порывисто, как долго молчавший человек.

– Вы слишком требовательны, – возразил Коломин на какое-то ее замечание – у нас теперь нет поэтов, да и быть их не может.

– Но почему же?

– А потому что условия жизни всего менее поэтические. “Нам нужен хлеб, нам деньги нужны”… Какая уж тут поэзия!

– По-моему, это совсем не так, – заметила Сара. – Если нужен хлеб и нужны деньги, это только доказывает, что нам точно голодно и холодно живется на свете. Нужда и страдания естественно должны вызывать жалобы, а когда в жизни человечества выпадала особо скорбная полоса – самыми яркими выразителями общих страданий являлись… поэты.

– Другое время – другие песни. Оглянитесь кругом. Вчерашний радикал и космополит выдал товарищей, получил “мзду” за усердие и печатно вопит о своем раскаяньи; юный отпрыск дворянской фамилии обокрал кассу или подделал вексель; жена самым простодушным образом заводит друга дома, а супруг не менее добродушно бьет окна в ресторанах… А пресловутая меньшая братия, наши милые пейзане! Перепьются до положения риз, оттаскают своих пейзанок за косы и затем приводятся в нормальное состояние философами волостного правления – самобытным способом… – сколько влезет. Вот вам сюжетики нашей современной поэзии. Бывают, конечно, видоизменения, но это, так сказать, колоратурные украшения к основному мотиву.

– Но ведь мотив этот ужасен. Ведь это невежество, повальный мрак… А величайшие произведения человеческого духа, это

скорбная повесть о страдании и несчастьях людей. Я не говорю о таких писателях, как Шекспир, Гете, Диккенс… Но возьмите – Гоголя, Тургенева, Достоевского… Разве они изображали одних очаровательных красавиц и интересных кавалеров? И, несмотря на низменность, как вы говорите, сюжетиков, сколько в них чарующей, неувядаемой прелести? Они никогда не умрут, потому что отражают человеческие страдания, а страдание – вечно…

Одна лишь радость мимолетна и призрачна.

Последние слова Сара произнесла тихим упавшим голосом, и на лицо ее легло печальное облачко. Коломны глядел на нее с нескрываемым интересом.

– Вы слишком сильно чувствуете, слишком живете нервами, это не годится, – сказал он.

– Что же “годится”?

Он улыбнулся и продекламировал вместо ответа: “Давайте жизнию играть, пусть чернь тупая суетиться, не нам безумной поражать”.

– Эгоизм, – сказала Сара. – А что выигрывают вечные труженики и печальники?

Коломны подошел к роялю, взял несколько аккордов и пропел мягким баритоном куплет из Шубертовского “Лейермана”.

“Niemand will ihn horen
Niemand sieht ihn an,
Und die Hunde knurren
Um den alten Mann”[44]…

Вот она, ваша сердобольная чернь, как она награждает артиста, – сказал он вставая.

– Как вы хорошо поете, я и не подозревала, что вы обладаете такими разнообразными талантами, – воскликнула Ора Николаевна.

– О, помилуйте, я неисчерпаем, – весело ответил Коломны и стал искать глазами Сару. Она сидела в тени, согнувшись, вся бледная.

– Отчего же вы не увенчаете лаврами певца, – обратился он к ней шутливо, но, взглянув на ее нахмуренные брови, поспешно отошел от нее.

А Сара молчала, потому что ей вдруг вспомнился добродушный тон рассказа Коломина о контрабандисте, и она усомнилась в его искренности. Ей как-то не верилось, что можно произнести слово “еврей” без прибавления – плут, мошенник, подлец, когда к этому представляется удобный случай, и вдруг ее осенила мысль – верно он знает, что я еврейка, и

великодушничает… ну, конечно, как это я раньше не догадалась…

Остальная часть вечера как-то не клеилась. Сара скоро ушла наверх; Коломин немного посидел после ее ухода и уехал.

XIX

Сара была недовольна собой. Ей было неприятно и даже как бы стыдно, что она перешла за границу той черты, которую она сама себе провела и обнаружила перед людьми, совершенно ей чужими, часть своей внутренней боли, которую она так старательно от всех прятала, о которой сама старалась забыть. И что они теперь обо мне думают: генеральша, Орочка? Наверно скажут: вот притворщица, корчила из себя недотрогу-царевну, а увидела интересного кавалера и растаяла… Да и лев этот провинциальный, должно быть, уже празднует победу над смазливенькой гувернанткой…

Вот какие мысли бродили в голове Сары, когда она на другой день сходила вниз пить чай, совершенно расстроенная, ожидая с некоторым страхом услышать насмешки. Но к ее удивлению, ничего подобного не случилось. Вся семья находилась еще под впечатлением вчерашнего визита и мирно беседовала за столом.

Неблагоприятное мнение о Коломине изменилось на самое лестное. Даже к его репутации бездушного волокиты теперь относились гораздо снисходительнее: – на то он и мужчина и холостой, – женщина сама виновата, если к ней забывают почтение; вероятно дала повод…

Сару встретили очень шумно и тотчас засыпали вопросами, – понравился ли ей Коломин. Она ответила, что он с виду кажется порядочным человеком, а впрочем, Бог его знает.

– А как вы ему понравились, Сара Павловна, – затрещала Оленька, – когда вы ушли, он сказал, что вы ужасная красавица, ужасно образованная, только очень горды.

Сара усмехнулась наивному отчету Оленьки. Ора Николаевна, хотя втайне порицала неуместное кокетство гувернантки, но, увлеченная перспективой спектакля, подавила в себе неприятное чувство, тем более, что рассчитывала на помощь Сары в устройстве костюмов и изучении роли. Немедленно приступили к разборке гардероба. На рояль, столы и диваны навалили целую кучу всяких платьев. Серафима Алексеевна заметила, что если понадобится сшить что-нибудь новое, то чтобы Орочка не беспокоилась, все будет сделано. После этого обещания Орочка сама сделалась совсем добрая.

– Сара Павловна, сегодня Коломин мне пришлет роль, вы

знаете эту пьесу – “Жертва за жертву”?

– Знаю.

– Вот и отлично! А то мне неловко было сказать, что я ее не читала (он ведь такой насмешник!) а из одной роли трудно понять. Что же пьеса хорошая?

– Мне не нравится – слишком мелодраматична, но ваша роль благодарная и довольно эффектна.

– Это главное, а на остальное мне наплевать, – в порыве увлечения высказалась Ора Николаевна. – Знаете что, Сара Павловна, Костя все равно не будет сегодня заниматься – у него что-то болит, – если вам не трудно, расскажите, пока мы тут разбираемся, в чем заключается содержание.

Сара рассказала. Пьесу нашли превосходной. Ора Николаевна только огорчилась, что особенно элегантных костюмов совсем не требуется, но утешилась тем, что в последнем акте она к траурному платью прицепит трехаршинный шлейф.

– Сара Павловна, вы мне поможете выучить роль?

– С удовольствием, но я сама в этом ничего не смыслю. Начались репетиции: Саре не удалось освободиться от обязанности быть провожатой. Генеральша боялась частыми поездками застудить свой ревматизм. Оленьку Ора Николаевна не желала с собой брать, так что оставалась одна Сара. Она, однако, выговорила себе некоторое облегчение, а именно, попросила, чтоб ее, кроме хозяев, ни с кем не знакомить, на что Ора Николаевна охотно согласилась.

Репетиции происходили в квартире полковника Караваева. Сам он был человек, любивший плотно покушать и повинтить, но, находясь под башмаком у своей супруги, – дамы худощавой и сентиментальной, несмотря на пятьдесят лет, не потерявшей еще способности беседовать о возвышенных чувствах, – полковник старался всеми силами доказать, что для него обед с шампанским или карты положительно не имеют никакой привлекательности и что, во всяком случае, духовные и тонкие развлечения, как музыка, например, или литература гораздо достойнее образованного человека.

Когда Ора Николаевна с Сарой приехали, любители и любительницы были все налицо. Кроме главной пьесы предполагалось поставить еще маленькую комедию или водевиль, но не знали, на чем остановиться. Первый актер, поручик Конопля, – долговязый и худой, как спичка, с жиденькими бакенбардами, длинной, как у журавля, шеей и необыкновенно крючковатым носом, благодаря которому он был уверен, что у него самый римский профиль, – занимал публику, рассказывая картавым голосом всевозможные эпизоды из своей сценической

деятельности.

– Представьте, – ораторствовал он, стоя среди комнаты, – какой со мною был случай лет пять тому назад. Наш полк квартировал в Х***. Ну, офицеры натурально были приняты в *лучших* домах. У губернатора затеяли спектакль, мне предлагают первую роль. Прекрасно. За день до спектакля получаю телеграмму, что мать моя умерла. Я натурально к губернатору. Так и так, говорю, ваше превосходительство, увольте, не могу играть. Он положил мне руку на плечо. – Как, говорит, хотите, Конопля, а играть вы должны, иначе пропадет весь спектакль. Докажите, говорит, что вы артист в душе и что искусство, говорит, для вас всего дороже. Что тут делать! Согласился, и так, доложу вам, играл, как никогда в жизни. Сама губернаторша себе мозоли набила, хлопая.

– Этот анекдот он уже двадцатый раз рассказывает и двадцатый раз врет, – сказал Коломин, подходя к Саре, сидевшей в сторонке и почти скрытой цветами.

– А вы даже сосчитали, сколько он раз солгал, – заметила Сара.

– Что прикажете делать, Сара Павловна, скучно; я человек, что называется, праздный и от нечего делать люблю заниматься делами ближних.

– Плодотворное занятие.

– Зато вполне бескорыстное, могу вас уверить. Скажите, однако, отчего вы так уединились? Не желаете разве познакомиться с нашими культурными мастодонтами?

– Не желаю; я, в противоположность вам, очень мало интересуюсь ближними и очень довольна, если они мною тоже не интересуются.

– Благодарю за урок и постараюсь принять к сведению, хотя не обещаю исправиться, – сказал, смеясь, Коломин.

– Я и не думаю вас исправлять, я ведь сказала, что ближние меня не интересуют, – холодно ответила Сара и, наклонив голову, стала рассматривать альбом с какими-то видами.

– Как вы горды! А ведь признайтесь, Сара Павловна, вы ведь только из деликатности не гоните меня от себя? Впрочем, лучше не признавайтесь, потому что я все равно не уйду. Знаете, мне о вас прожужжал все уши Раздеришин – он мне какой-то кузен, – но я, грешный человек, не мог себе представить, чтобы в тошнотворном доме Серафимы Алексеевны…

– Послушайте, m-г Коломин, – прервала его Сара, – разве вы не участвуете в пьесе? Вам, я думаю, надо идти считываться, смотрите все уж ушли.

– Не извольте беспокоиться, я постарался оказаться

ненужным… вот вы прервали меня, и я забыл, о чем говорил… да! О генеральше и этой прокисшей Орочке, которую вы должны охранять, хотя она вам годится в бабушки.

– Уж если вам непременно хочется злословить, то, пожалуйста, не о людях, с которыми я живу, – сказала Сара.

– О, какая беспримерная добродетель!

– Совсем нет, но это слишком… слишком… вульгарно – осуждать и насмехаться за спиною у человека, которому через пять минут будешь с улыбкой жать руку.

– Ну, я, положим, не так благороден, но, чтобы доставить вам удовольствие, о ваших патронах так и быть ни слова не скажу.

– Однако, – сказала Сара, – это не совсем прилично, что мы с вами сидим тут одни. Пойдемте в залу слушать чтение.

– Полно, Сара Павловна, еще и так оно успеет надоесть, ведь месяц, по крайней мере, будут тянуться репетиции, а что до неприличия, то могу вас успокоить – мне сама хозяйка поручила вас занимать.

– Какая непостижимая любезность! Ведь на гувернанток, кажется, не принято обращать внимание?

– Вы особ-статья. Очень уж вы поражаете своим видом. Сара вопросительно на него посмотрела.

– Вы слишком хороши собой для гувернантки, – пояснил он, – и я бьюсь об заклад, что все здешние дамы уже успели вас возненавидеть.

– А вы, m-r Коломин по-видимому не считаете нужным церемониться с гувернанткой, – сказала Сара и встала

– Сара Павловна, Бога ради, вы меня не поняли, я не хотел сказать вам что-нибудь обидное, – воскликнул Коломин.

Но она его не слушала, тихо вошла в залу и села на пустой стул сзади Оры Николаевны.

XX

Считка шла не особенно удачно. Дамы читали слишком сладостно, нараспев; мужчины без всякой надобности делали свирепые лица, махали руками, издавали дикие звуки… Игравший любовника, курносый надворный советник Мирошев, рьяный поклонник изящных искусств, – патетически наставлял Ору Николаевну.

– В этом месте, Ора Николаевна, когда вы меня в первый раз видите после разлуки, нужно выразить как можно больше души, чувства-с. В этот момент, когда, так сказать, просыпаются в вас воспоминания старой любви – нужно судорожно этак ухватиться за кресло и прошептать: “Вельский? Вы здесь”.

Для большей ясности, Мирошев закинул назад голову и прохрипел, как удавленный: “Вельский? Вы здесь”. Картина была так умилительна, что все расхохотались, не исключая Коломина, угрюмо сидевшего в углу.

– Послушайте, – хныкал горбатый сын хозяйки, юноша лет восемнадцати, успевший побывать в нескольких учебных заведениях, из которых и был благополучно увольняем через более или менее продолжительный срок. – Послушайте, что же мне-то никакой роли не будет?

– Вам, Витинька, не выходит ничего. А вот хотите быть полезным? – изобразите лунную ночь, – предложила жена полкового доктора, петербургская дама с Выборгской стороны, худенькая, маленькая, с вздернутым носиком, круглыми глазками и черными зубами.

– Как же это я могу лунную ночь изобразить, – совершенно резонно изумился Витинька.

– Ах, очень просто, – ответила докторша, – возьмите в одну руку зажженную свечку, в другую круглое зеркало, да и поворачивайте зеркало в разные стороны так, чтобы свет падал на актеров. У нас в Петербурге всегда так делается на любительских спектаклях.

Сговорчивый Витинька согласился, довольный тем, что на его долю выпала хоть какая-нибудь активная роль и что и он является таким образом не последней спицей в колесе.

У Сары разболелась голова от безмолвного глядения на чужие лица декламаторской несносной читки любителей, отрывистого смеха, бессвязных разговоров, передаваемых на ухо сплетен и пересудов, перелетавших с одного конца комнаты в другой. Она опустила уставшую голову на руку, на ее красивом лице ясно отпечатлелось выражение *утомления* и скуки. Ее

бесстрастный взгляд упал нечаянно на Коломина. Он глядел на нее, и в его больших глазах светилось столько доброты, ласки и какой-то невысказанной печальной нежности.

– Какое у него славное лицо, когда он не ломается, – подумала Сара, – неужели он такое же ничтожество, как все остальные… а впрочем, не все ли мне равно!.. Он точно понял ее мысли, улыбнулся ей открытой, почти детской улыбкой и, наклонившись к докторше, стал ее вдруг уверять, что она ужасно похорошела. Та жеманилась, затыкала уши и пищала тоненьким-тоненьким голоском:

– Подите, я даже говорить с вами не хочу… Хозяйка предложила сделать антракт и пригласила гостей в столовую. Там уже сидел Аполлон Егорович Филатов и с аппетитом уписывал баранью котлетку. На восклицание хозяйки: – А что же Анфиса Ивановна? – он сначала вытер губы, со всеми поздоровался и затем уже пробасил:

– Совсем уже собралась, да проходя мимо самовара, задела рукавом за крант, ну и ошпарила всю руку… этакая, подумаешь, неловкая баба, а туда же за модой гонится! – и как ни в чем не бывало принялся опять за котлету.

– В чем же тут мода? – со смехом спросил Коломин.

– Да как же, батюшка Борис Арсеньич, рукава эти каторжные в три аршина пускает, добро-бы еще молоденькая.

Все засмеялись, а обиженный Аполлон Егорович недовольно пробурчал:

– И все-то вы такие.

– Сара Павловна, вам чего прикажете, – вежливо спросила хозяйка.

– Позвольте мне чаю.

– Борис Арсеньич, вы взялись бы быть моим помощником, передайте Саре Павловне чаю и бисквиты.

– С величайшим удовольствием, Юлия Александровна… Какая милая наша Юлия Александровна, вот истинно достойная женщина, – болтал Коломин, ставя на маленький столик перед Сарой чашку и корзинку с бисквитами. – И как это она всегда хорошо устроит – все отдельно, где кто хочет… а еще говорят, провинция – не рай, Сара Павловна, вы ведь не сердитесь на меня больше, – тихо спросил он, заглядывая ей в глаза.

– Какой вы странный человек, могу ли я на вас сердиться, когда я вас совсем не знаю.

– Ну а я вас знаю. Вообразите на минутку, что я гадалка и выслушайте, что я скажу. Вы много страдали, – начал он торжественным тоном, – обманулись в своих иллюзиях, надменно отрешились от мира и стараетесь себя заморозить… вам это не

удается, т. е. снаружи-то вы одели себя ледяной корочкой, но внутри жизнь бьет ключом и пробивается…

– Замолчите, – строго прервала Сара, – я не люблю, когда со мной говорят в таком тоне.

– Как вы побледнели! Значит я угадал… Извольте, я замолчу; но окажите мне одну милость.

Она с недоумением посмотрела на него.

– Вам, должно быть, очень скверно, а мне страшно скучно, – сказал Коломин. – Глядите на меня без предубеждения и позвольте мне с вами быть искренним. От вас я, конечно, ничего подобного не требую… Согласны?

Она молчала.

– Молчание есть знак согласия, Сара Павловна, я так это и принимаю. А ведь я знаю, что вы теперь думаете, – сказал он, немного помолчав, – с чего этот уездный Чайльд-Гарольд ко мне привязался – правда?

– Правда, только без эпитета, и если вы уж так проницательны, то признайтесь, что наша беседа для второго свидания, по меньшей мере, странная.

– Еще бы не странная, – согласился Коломин, – но такие ли со мной казусы бывали. Видите, Сара Павловна, как все вообще неперестроившиеся люди и слабохарактерный русский человек в частности я люблю (втихомолку, конечно) сваливать всякие неудачи и собственную несостоятельность на судьбу, на среду и т. д. Когда же совесть начинает слишком надоедать, я не прочь и от самобичевания; поешь себя хорошенько, раздразнишь, ну и легче на душе, даже как будто гордость ощущаешь… вот в такие-то минуты, когда меня одолевает хандра, меня всегда тянет высказаться, привязаться к чему-нибудь, взбесить наконец кого-нибудь, лишь бы свалить на чужие плечи бремя. Помню раз, это было в Петербурге, я что-то особенно заныл. Чтобы забыться, играл напролет целые ночи, кутил, плясал, пил, – нет, не проходит. Еще несколько таких дней, и я бы наверно застрелился. Вздумал я отправиться на заседание к одному своему знакомому, отставному студенту, Василию Иванычу, фамилии его никто не знал. Замечательный был человек в своем роде. Кончил три факультета, убедился, что все на свете – суета сует и выеденного яйца не стоит, улегся на диван и лежал обыкновенно до тех пор, пока хозяйка не сгоняла его с квартиры; тогда он отыскивал другую и опять укладывался. Кончил он тем, что отравился. Впрочем, не в нем дело и не о нем я хотел рассказать вам. Я только шел к нему. Он жил где-то на линиях и мне пришлось перебираться через Неву. Погода стояла отвратительная – холод, ветер, дождь, снег… небо, воздух и все кругом серое, точно

гороховый кисель. Добрался я до узкого застроенного двора и хотел уже подняться по темнеющей лестнице на четвертый этаж – и остановился. У самых дверей стояла, сбившись в кружок, кучка людей, по-видимому, – горничные, кухарки, дворники… Из центра этого кружка неслось визгливое пиликанье шарманки, звяканье какого-то металла и надтреснутый, хриплый, прерывающийся голос. Я протолкался через публику и увидал рыжего бородача, в шерстяной куртке и шарфе, вертящего шарманку, а рядом с ним девочку, лет одиннадцати, одетую буквально в лохмотья: короткое ситцевое платье еле доходящее ей до колен, оставляя на виду худые, синие, исцарапанные ноги, в рваных прюнелевых ботинках. Красными закоченевшими пальцами она ударяла железною палкой о железный треугольник, притоптывала каблучками и, надувая сухое, напряженное горло выкрикивала:

“Ты новые лица увидишь //И новых друзей наберешь, // Ты новые чувства узнаешь”…

Тут она остановилась, или ей очень холодно стало, или она забыла, как дальше, только она выронила из рук палочку и поглядела кругом таким взглядом, что мне показалось, что она умирает. Бородач тряхнул ее за плечо и сердито проворчал – veux-tu chanter, cousine[45]. Она ничего не ответила, опустилась на землю и заплакала. Я почувствовал, как у меня сжалось горло, и не давая себе отчета, что я делаю, подошел к шарманщику и стал его упрашивать отдать мне девочку хоть на время. Он не соглашался, я вынул бумажник, – и он уступил. Не могу вам передать, с каким чувством я вез к себе девочку. В моей голове роились тысячи планов, я радовался, я был в экстазе и дрожал, как бы только она не простудилась, не схватила тифа, не умерла и кутал ее в свою шубу. Она прижалась ко мне и молчала. Дорога показалась мне бесконечной. Наконец, мы доехали до дому. Швейцар бросил на меня удивленный взгляд, но мне было не до него. Я схватил на руки свою находку и помчался с ней по лестнице. Жена повара вымыла девочку, причесала, одела и привела ко мне. Я усадил ее в кресло перед камином, велел подать ужин и радовался, как ребенок, видя, что она ест и пьет. Меня только огорчало, что на все мои вопросы она отвечала глубоким молчанием и только пугливо, словно пойманный зверек озиралась серыми глазками. Я успел, впрочем, узнать, что зовут ее Саша, что родных у нее нет, что “хозяин”, когда пьян, дерется, а летом “ничего” – и решился отложить дальнейшие разговоры до утра. Но утром Саша была еще более молчалива и печальна. Она была некрасива – какое-то жалкое старческое личико, но мне кажется, что именно ее худоба и некрасивость привлекало меня к

ней – мне хотелось согреть ее, защитить, осчастливить, одним словом, и вместе с тем я даже не решался приласкать ее. На все мои планы она отвечала одним словом – “а хозяин?” и когда я ей объяснял, что теперь над ней нет никакого хозяина, она недоверчиво ежилась и оглядывалась… Так прошло с неделю; я ее одел, как куколку, пичкал конфетами, возил кататься; она все принимала с видимым удовольствием, и только, когда ей приходилось говорить со мной становилась печальна, а когда я вздумал учить ее читать – расплакалась и целый день не поднимала головы. Я ужасно терзался. Прошло еще несколько дней. Знакомый один утащил меня в клуб. Когда я возвратился домой, Саши уже не было. Она исчезла, захватив с собой свои тряпки и маленькую шкатулку, из которой при ней вынимал деньги. Я чуть с ума не сошел, прогнал всю прислугу, метался, как угорелый, по Петербургу и конечно не нашел своей беглянки. Но я до сих пор ее не забыл. Как сейчас вижу ее бедную худенькую фигурку, сидящую перед камином, слышу, как на все мои соблазнительные обещания, она отвечает однозвучно – “а хозяин?” – Когда я вас увидел у генеральши, мне вдруг представилась моя Саша, поющая на холодном петербургском дворе. И сам знаю, что в этом нет ничего похожего, исключая разве, что Серафима Алексеевна с дочерьми смахивает на кухарок… но я не могу отделаться от этого впечатления и вот вам le mot de I’enigme[46] моей навязчивости… Однако, я должен вам казаться присяжным рассказчиком.

– Странный вы человек, – опять сказала Сара, но уже более мягким доверчивым голосом, – а еще говорили, что я слишком живу нервами.

Считка кончилась поздно. Стали разъезжаться уже в сумерках. Саре казалось, что она носится в каком-то чаду, она чувствовала себя почти больной. Две руки бережно и заботливо накинули ей на плечи салоп, укутали платком голову. Она ощущала сквозь шелк прикосновение пальцев к своим волосам, и ей вдруг сделалось как-то бессознательно приятно, словно ее охватила теплая, мягкая волна.

– До свидания, Ора Николаевна, – говорил Коломин, усаживая на возок генеральскую дочку.

– A bientot[47], Борис Арсеньич, вы непременно скоро должны быть у нас. – Сара Павловна, до свидания, – повторил Коломин, пожимая сильной рукой тонкую руку Сары.

– До свидания, – сказала она чуть слышно, не отвечая на его пожатие.

XXI

Репетиции продолжались более месяца. Каждый раз, когда приходилось ехать в город, Сарой овладевало какое-то беспокойное чувство боязни и вместе с тем ее тянуло туда помимо воли. Мало помалу она начала, однако, успокаиваться, попыталась разобраться даже в своем прошлом, отнестись к нему, так сказать, критически, но процесс вышел слишком мучительный: старые раны *глухо* заныли, словно из них засочилась свежая кровь, а перед глазами, как живые, замелькали бледные призраки. – “Нет, не надо, не надо”, – шептала она беспомощно в ответ на свои мысли, – “буду жить просто, без надрываний”… а где-то там, глубоко-глубоко внутри как бы шевельнулась замершая надежда, – “как знать, может быть еще не все кончено”… – В Саре незаметно для нее самой сказалась какая-то неясная перемена. Она была по-прежнему сдержанна, но уже не натянуто-холодна и безучастна. Во всей ее фигуре появилась мягкость и приветливость, придавшая новую прелесть ее чертам, по всему существу точно разлилась какая-то особенная грация. Эта перемена отразилась невольно и на отношениях к ней окружающих. Они стали смелее с ней, точно она сделалась к ним ближе. Серафима Алексеевна, не стесняясь, посвящала ее во все свои тайны, опасения и горести. Костя перестал “забывать” об уроках и, когда она его хвалила, прижимался к ней своей точеной головкой, решился даже, после долгого колебания. Поднести ей картонный кораблик своего изделия. И Ора Николаевна стала с ней откровеннее; они много говорили во время двадцативерстного переезда из деревни в город и обратно и в этой мелочной, вздорной, себялюбивой барышне Сара с удивлением увидала еще присутствие человека. Так, в пожелтевшем старом портрете, из-за слоя сора и пыли, иногда вдруг выглянут живые черты и жалобно устремят на вас полинявший немой взор…

Саре стало как-то легче, точно она начала выздоравливать после долгой и тяжелой болезни. В ней появилось больше уверенности, проснулась любознательность. Она стала присматриваться к незнакомому обществу. В доме полковницы Караваевой к ней привыкли и высказывались при ней, как при своем человеке. Коломин встречал ее появление радостной улыбкой. Она почти освоилась с ним; сама она, впрочем, говорила мало, но слушала с интересом и участием. Отрывисто, беспорядочно, полунасмешливо, полусерьезно рассказывал он ей о себе, под шумок любительских завываний: – учился в Пажеском корпусе… служил в гвардии… страстно влюбился в заезжую танцовщицу, даже жениться хотел… но другой, такой же рыцарь, как и он успел раньше преподнести бриллиантовое колье и был

предпочтен. Потом опять влюбился, но уже в великосветскую красавицу, жену сановной особы. Особа на аристократическом балу пренебрежительно обошлась с ним (кажется, обозвала его мальчишкой), за что тут же получила полновесную пощечину. Была предложена дуэль, несостоявшаяся благодаря бдительному и отечески попечительному оку начальства… взамен ему было предложено развлечься путешествием… Целые годы шатался по Европе, осматривая картинные галереи, дворцы, храмы; в Швейцарии карабкался в горы; в Германии слушал лекции и пил воды, кутил напропалую в Париже, в Италии объедался макаронами, в Испании давал серенады под окнами разных красавиц, предложил даже руку и сердце одной черноглазой мадридской булочнице, и когда та, паче чаяния, согласилась, испугался и бежал в Лондон, где зевал в парламенте, в клубах, на скачках… изучал попеременно все языки и ни одного толком не знает… делался то артистом, то художником, то литератором… и, проснувшись в одно прекрасное утро, увидал в зеркале седеющие волосы – и устыдился…

– И принялись за какое-нибудь дело, – быстро спросила Сара, слушавшая его затаив дыхание.

– Отправился добровольцем в Герцоговину, Сара Павловна, – тихо, словно стыдясь, промолвил Коломин.

– Ну и что же?

– Ничего. Пьянство, дебош, грубость, наглость, сброд неудачников, непризнанных талантов, и все это дралось, безобразничало, бахвалилось во имя идеи… Какой бишь идеи – право не знаю, вспоминать противно… Я рад был, когда в одной схватке меня ранили, успокоил совесть и поспешил убраться.

– Вы были ранены?

Голос Сары дрожал при этом вопросе, и она невольно наклонилась к нему.

– О, не вообразите меня героем, Сара Павловна, самая пустая царапина, совсем неинтересная.

– Ну а потом?

– Потом… потом вернулся домой на родину и нашел себя упраздненным. Попробовал служить и не смог… бессмысленно, бесцельно показалось, а может я сам так обленился, что ни на что путное не гожусь… не берусь судить. Словом, я вышел в отставку, уехал в деревню, et – me voila.

– Что же вы теперь делаете?

– Ничего… слоняюсь.

– И вам не стыдно?

Он ничего не ответил. Сара поникла головой и отвернулась.

– Вот вы опять нахмурились, Сара Павловна, а я так

радовался, глядя на вас; вы последнее время такая светлая… неужели же вас так удручает моя непригодность? Ей-Богу, напрасно! Не все ли равно в сущности, что одним праздношатающимся на Руси больше. Ну хотите я “возьму в руки пистолет, прострелю им грудь свою”?

– К чему это ломанье, Борис Арсеньич. И отчего это, куда не взглянешь – везде праздношатающиеся… богатые, здоровые, образованные утешаются красивым словом – я, мол, лишний, упраздненный… а в действительности это все та же блаженная обломовщина, наследие доброго старого времени…

Она умолкла, точно сожалея, зачем столько высказала.

– Знаете что, Сара Павловна, – порывисто заговорил Коломин, – попытайтесь из меня что-нибудь сделать, я беспрекословно отдамся в ваши руки… попробуйте.

Он говорил, по-видимому, шутя, но глаза его глядели серьезно, с ожиданием и надеждой.

– Я и из себя-то не сумела ничего сделать, – проговорила она с печальной усмешкой.

– Зачем же такое отчаяние? Я – другое дело, моя песня спета, но вы? Перед вами все еще впереди, вы молоды, прекрасны, образованы, вы можете быть бесконечным источником радости для другого…

– Нет. нет, нет… Борис Арсеньич, я у вас прошу, как милости – никогда не говорите обо мне… мне больно. – В глазах у ней стояли крупные слезы.

– Хорошо, не буду, – сказал он, – только это болезнь… вы выздоровеете.

XXII

Генеральная репетиция и спектакль должны были идти в доме Коломина, как наиболее удобном для вмещения большой публики. Дом был старинный поместительный, построенный еще в блаженное время крепостного права, со всеми затеями прихотливого барства веселой Екатерининской эпохи. Была тут и огромная зала с хорами, и русская столовая с претензией на национальный стиль, пестревшая массивными серебряными ковшами и жбанами, разнообразной мозаикой, шитыми узорчатыми полотенцами, затканными парчовыми занавесками. Дубовые столы, скамьи, всевозможных форм резные стулья с непомерно высокими спинками загораживали все проходы. В угол угрюмо уперлась колоссальная печь, вся исписанная историческими сюжетами, лепившимися друг к другу, не стесняясь хронологией, в трогательном лирическом беспорядке.

Рядом с Мамаевым побоищем, например, Екатерина Великая, очаровательно декольтированная, в высокой прическе, танцевала полонез с изогнувшимся в крендель Станиславом Августом Понятовским, а сейчас за ним Петр Первый так гневно размахивал дубинкой на скорчившегося от страха вельможу в напудренном парике, что конец дубинки непочтительно задел за полу кафтана бедного потомка Пястов… Были тут целые анфилады комнат во вкусе всяких Людовиков, с мраморными богинями, гобеленовыми коврами, брюхатыми комодами, бронзовыми часами и низенькими козетками, манившими к интимной беседе; глубокие ниши, казалось, еще хранившими следы поцелуев, которые под снисходительные взоры глядевших со стен маркиз и элегантных пастушек – обменивались украдкой российские Клеонты и Доримены. Были тут и бесконечные длинные коридоры, темные лестницы и девичьи, где те же российские Клеонты осчастливливали своей милостью крепостных Дунек и Глашек, и немало стонов и слез какой-нибудь краснощекой Параши слышали эти немые стены, когда услужливый дворецкий волок ее в сумерки к барину… Все это порядком поистрепалось, облиняло и износилось, представляя как бы надгробный памятник минувшего величия. Борис Арсеньич почти не заглядывал на парадную половину и жил в нескольких комнатах в конце дома, убранных со всеми удобствами современного комфорта. Он, впрочем, собирался уже несколько лет реставрировать свои хоромы, но все откладывалось до более удобного случая и если бы не лакей, напоминавший, что “барин изволили говорить, что на Святках в доме будет театр и что надо бы почистить комнаты” – он бы, вероятно, и это отложил до более удобного случая.

Борис Арсеньич пригласил полковницу Караваеву быть у него хозяйкой вечера, на что та с удовольствием согласилась, чувствуя себя польщенной таким предпочтением. Любители собрались к Коломину очень рано, чтобы еще раз прорепетировать на скорую руку пьесу. Дамы волновались, говоря, что все перезабыли, кавалеры их утешали, уверяя, что нужно только посмелее начать, а там уже все само пойдет, но сами, видимо, трусили и даже бесстрашный “артист в душе”, поручик Конопля, то и дело наведывался в буфет. Борис Арсеньич, возбужденный и весь красный, выходил из себя, умоляя актрис быть поестественнее и не пищать, уверяя, что это совсем некрасиво. Особенно доставалось от него докторше, игравшей в водевиле.

– Зачем вы говорите “ах, мне дурно!” таким тоном, точно собираетесь протанцевать польку! – почти кричал он на нее.

– Да, право же, я не знаю, отчего это так сегодня выходит, –

испуганно оправдывалась докторша, – дома у меня так хорошо “дурно” выходило.

Публика стала съезжаться. Все билеты были разобраны. Бедная развлечениями провинция жадно хваталась за случай повеселиться. Первые места занимались, как водится, beau monde’oM[48]. Приехала двоюродная тетушка Бориса Арсеньевича, графиня Чернозубова, разлагающаяся важная фрейлина, глухая, богатая и скупая до того, что, не доверяя экономке, собственноручно заваривала чай на два дня. Она двинулась к своему месту, медленно передвигая ноги, едва кивнув головой подбежавшей к ней полковнице, и роняя на ходу свой носовой платок, перчатку, табакерку, которые тут же на лету подхватывала шедшая по ее пятам компаньонка – незначительное коричневое существо. Председатель суда с женой и пятью совершенно одинаково одетыми и одинаково некрасивыми дочерьми – пробрался к своим креслам, с апломбом кидая гордые взгляды на копошащуюся в задних местах мелкую сошку. Прокурор, молодой человек, с удивительно свежим цветом лица, влетел в залу, лихо подкручивая усы, точно говоря: и мы тут не последняя птица. Инспектор врачебной управы, толстый, до отдышки, как только уселся – засопел на всю залу, чем привел в крайнее раздражение свою сухощавую супругу, даму с острым носом и ехидными глазками, которыми она тут же принялась осматривать, как кто одет, и вся позеленела от зависти, увидав в ушах жены модного доктора брильянтовые сережки. Явился, наконец, и начальник губернии, представительный статский генерал, под руку с только что выпущенной из Смольного дочерью – стройной, хорошенькой блондинкой. Сознавая, что он и без шума сила, его превосходительство держал себя скромно, милостиво раскланиваясь направо и налево. Борис Арсеньевич суетился, всех усаживал, сыпал во все стороны комплименты и с беспокойством озирался на дверь, словно ожидая кого-то.

Когда в дверях показалась Серафима Алексеевна, в сером шелковом платье и черной наколке, и рядом с ней свежее улыбающееся личико Оленьки, в целом облаке газа, лент и цветов, – Борис Арсеньич обмер.

– А Сара Павловна? – спросил он таким голосом, что Серафима Алексеевна поглядела на него с недоумением и поспешила сказать, что Сара Павловна прошла с Орочкой прямо в уборную. Он бросился за кулисы и в коридоре наткнулся на Сару. На ней было черное шелковое платье, охватывавшее мягкими складками ее изящную, высокую фигуру; черное кружево мягко оттеняло нежную шею, в темных волосах белела темная роза.

Борис Арсеньевич крепко пожал ей руку.

– Как вы меня напугали! – сказал он

– Чем это?

– Вижу: входят Зубковы, а вас нет; мне представилось, что вы не приехали и я чуть не съел старуху, т. е. у меня, должно быть, был такой вид, потому что она поглядела на меня, как на сумасшедшего… Но, как вы хороши! Боже, как вы хороши! Так и хочется упасть перед вами ниц. Не сердитесь, в моих словах, право, нет ничего оскорбительного… Красота – мой культ, и вы знаете.

– Я знаю, что вы подвергаете меня большим неприятностям, – сказала она и, взяв из другой комнаты картонку, быстро ушла в уборную.

С хором грянула полковая музыка, прогремела увертюра из какой-то оперы, – из какой именно, трудно было определить, благодаря необычайному усердию трубачей и барабанщиков, – взвился занавес, и началось лицедейство. Первые фразы струсивших актеров потерялись в шуме чихания и откашливания усаживающейся публики, потом они, что называется, разыгрались.

Ора Николаевна, нарумяненная, с подведенными глазами и благодетельной ватой, скрывавшей ее угловатую худобу, казалась со сцены положительно хорошенькой. Ее встретили аплодисментами, что ее ободрило, и она вела роль сносно, если не принимать в счет неимоверного закатывания глаз, отчаянных ломаний рук и минорного завывания.

Но Конопля! Ужасный поручик Конопля! Что он только из себя сделал! К щекам приклеил разноцветные бакенбарды, нос выкрасил в малиновую краску, нарисовал на лбу целую географическую карту, словом, ничего не пожалел для искусства: недаром он всех убеждал, что Бочаров – его “когонная голь”. Всего лучше он был в сцене воровства. Лунная ночь (Витинька жонглировал зеркалом, как фокусник) эффектно освещала его растрепанную фигуру, в широком пунцовом халате с длиннейшими, тащившимися по полу кистями. Он сделал два прыжка вперед, произнес громовым голосом “страшно” и отпрыгнул назад. Проскакав таким манером раза три, дабы наглядно представить происходившую в нем внутреннюю борьбу, он залихватски проговорил “была не была” и решился, наконец, смелыми шагами подойти к роковому шкафу, но… о, ужас! Одна из кистей халата зацепилась за ножку дивана, как бы желая удержать поручика Коноплю на стезе добродетели. Он рванул ее – “не поддается шельма!” с неподдельной яростью прошептал поручик и рванул изо всех сил злополучную кисть, но увы! безуспешно. Витинька, увидав критическое положение Бочарова-

Конопли, с испугу выронил свечу, произвел лунное затмение и погрузил всю сцену во мрак. В публике послышался сдержанный смех, но тут поручик доказал, что он, прежде всего, человек военный – выхватил из кармана перочинный ножик, перерезал “пгоклятую” кисть и благополучно докончил сцену при громких вызовах, аплодисментах и неудержимом хохоте зрителей.

Водевиль прошел очень весело, и даже докторша так хорошо справилась со своим “дурно”, что лучше и желать было нельзя. По окончании спектакля участвовавшим дамам поднесли букеты. Ора Николаевна с радостной улыбкой бросилась в уборную к Саре и горячо благодарила ее за помощь и хлопоты. Лакеи стали поспешно разбирать стулья, чтобы очистить залу для танцев. Мелкая публика разъехалась, осталась одна аристократия, знакомая между собой и тотчас разбилась на группы. Ора Николаевна, переменившая траурный костюм последнего акта на бальное платье, отделанное сиреневыми ветками, вся еще сияющая и торжествующая вошла с Сарой в залу и села возле матери, скромно выслушивая комплименты. Особенно рассыпался полковник Раздеришин. Ора Николаевна поглядела на него и самодовольно улыбнулась: ей показалось, что он кается в измене. Начальник губернии разговаривал с Коломиным, предоставив дочь попечению графини Чернозубовой.

– Скажите, mon cher Борис Арсеньич, – кто эта дама или девушка в черном платке?

– Какая? – как бы недоумевая, спросил Коломин.

– Вон та, что сидит возле генеральши Зубковой. Да полно вам притворяться, такую красавицу вы бы и в Петербурге заметили – не то что здесь.

– Ах, эта! Это – гувернантка дочерей генеральши, ваше превосходительство. Его превосходительство оттопырил нижнюю губу.

– Дура же эта Зубкова! Вывозить такую… такое чудное создание рядом со своими уродинами.

– Что вы, ваше превосходительство, младшая очень недурна!

– Недурна! – презрительно воскликнул генерал, – Мой дорогой, – я вас не узнаю, провинция испортила вам вкус. Ведь это горничная девка, красные щеки, курносая, tout ce qu’il ya de plus vulgaire, а та – настоящее chef d’oevre[49].

Он ловко вскинул на нос pince-nez[50].

– Какое гордое, печальное лицо! Она не русская?

– Она, ваше превосходительство, дочь французской актрисы и испанского гранда, с явной насмешкой отрезал Коломин, взбешенный бесцеремонностью, с какой генерал рассматривал Сару.

– Oh, oh! Vous-vous fachez, признайтесь, вы уже делали ей un petit brin de cour[51].

– Я ее очень уважаю, ваше превосходительство.

Генерал засмеялся.

– Contez cela a d'aitres, mon cher[52]. А вот что, ведь эта Зубкова совсем, говорят, нищая; я думаю за двести-триста рублей лишних можно сманить эту красавицу, – дочери моей, кстати, нужна dame de compagnie[53]. Как вы полагаете?

– Попробуйте, – холодно ответил Коломин и отошел от него. Музыка загремела вальс; по паркету понеслись пары. Ора Николаевна мчалась в объятиях прокурора, томно склонив головку к его плечу; Оленька кружилась с Раздеришиным. Борис Арсеньич сделал тур с губернаторской дочкой и, посадив ее, подошел к Саре.

– Сара Павловна, подарите мне один тур.

– Я не танцую, Борис Арсеньич.

– В таком случае и я не танцую, – когда мои гости сидят, я не могу танцевать.

– С чего вы взяли, что я ваша гостья? – сказала она, сверкая глазами. – Я здесь только как гувернантка девиц Зубковых. Я не хочу вашего вниманья, – слышите, не хочу, – оно меня возмущает. Коломин не отвечал. Он сидел бледный, пораженный, нервно барабаня пальцем по спинке стула.

– Будь по-вашему, Сара Павловна, – сказал он наконец, натянуто улыбаясь побледневшими губами и поклонившись ей с преувеличенной вежливостью, встал, чтобы уйти. Но в эту минуту к ним подлетела Оленька, вся запыхавшаяся и схватила Сару за обе руки.

– Сара Павловна, душечка, ангельчик, мне нужно вам сказать очень, очень важную вещь. Борис Арсеньич, миленький, сведите нас в какую-нибудь отдельную комнату, – говорила она умоляющим голосом.

– О, должно быть, секрет очень важный, если даже я стал "миленьким", – сказал, засмеявшись, Коломин, – ну, пойдемте, барышня, пойдемте.

Он отвел их к себе в кабинет и ушел. Лишь только за ним затворилась дверь, Оленька бросилась на шею Саре.

– Николай Иваныч… Николай Иваныч… сделал мне предложение, – выговорила она и залилась слезами.

– Неужели!., что же вы ему сказали?

– Сказала, чтобы он поговорил с мамой.

– Но, Оленька, он ведь, по крайней мере, лет на двадцать старше вас.

– Я его люблю, Сара Павловна, – прошептала Оленька, скрыв

свою головку на плече гувернантки.

“Бедная Ора”, – подумала Сара. Она поглядела на Оленьку и не узнала ее. Орошенное слезами побледневшее личико точно осмыслялось, незначительные, расплывчатые черты, преображенные лучом счастья, как-то трогательно светились. – “Вот она настоящая любовь, любовь простого немудрствующего существа!” – промелькнуло у нее в голове, и она стала нежно целовать невесту. Та развеселилась, рассказала Саре все подробности своего романа, выражала опасения, что мама не согласится отдать ее раньше Оры, говорила о своей будущей обстановке и, наконец воскликнула:

– Ах, Сара Павловна, я непременно, непременно хочу, чтобы у Николая Иваныча был такой кабинет, как этот. Посмотрите, что за прелесть!

Кабинет был действительно хорош. Длинная комната из темного дуба с украшенными артистической резьбой стенами, резко отделявшимися от белого потолка, производило несколько мрачное впечатление. Над гигантским камином возносились до самого потолка две художественно вырезанные из дерева фигуры смеющихся сатиров. Тяжелые бронзовые часы с изображением какой-то мифологической группы отражались в узком зеркале камина. Мягкая мебель, крытая темным шагре-нем, турецкие кушетки, низенькие табуреты, столики, украшенные альбомами, в углах статуи и мраморные бюсты… Середину кабинета занимал огромный письменный стол, заваленный целой массой objets d’art[54]. Длинный трехэтажный шкаф с выдвижными стеклянными рамами весь был наполнен разного формата книгами.

– Смотрите, Сара Павловна, все иностранные, – говорила Оленька, – а вот и русские: Бутлеров, Сеченов, Костомаров, никогда не слыхала про таких, а вот и знакомые: Тургенев, Гончаров, Достоевский. Да что же вы не смотрите? Может он даст почитать.

Она быстро обернулась и увидела, что Сара смотрит на какой-то большой портрет, подбежала к ней.

– Батюшки, да это Борис Арсеньич – воскликнула она, – какой же он был красавец!

Портрет изображал прекрасную голову юноши, лет двадцати двух. Темные кудрявые волосы падали на благородный, гладкий лоб; большие задумчивые глаза сосредоточенно глядели вдаль; резко очерченный красивый рот был плотно сжат.

– Как хорош, правда, Сара Павловна?

– Правда, Оленька.

– А это кто, Сара Павловна? фи, какой страшный! – говорила

Оленька, перескочив к другому столику.

– Это Иоанн Грозный Антокольского, – сказала Сара, внимательно рассматривая бронзовую статуэтку. Однако, пойдемте, Оленька, мы и так тут засиделись.

Они вышли.

В дверях Сара обернулась и еще раз пристально посмотрела на портрет Коломина.

XXIII

Ора Николаевна проснулась поздно. В голове ее еще носился туман от проведенного вечера, так резко выделившегося из длинного монотонного ряда вечеров ее однообразной жизни. Еще нежась в кровати, она начала припоминать все происшедшие накануне мелочи; воспоминания эти были так приятны, что она нарочно закрыла глаза, чтобы воспроизвести в воображении улетающие, как грезы, детали. Наконец она решилась встать и начала одеваться. Подойдя к зеркалу, Ора Николаевна нахмурилась: измученная бессонными ночами и постоянными поездками, она очень похудела. Лицо ее вытянулось, облупилось, пожелтело и глядело как-то особенно старообразно. Она умылась холодной водой, намазала все лицо кольд-кремом и, обсыпав пудрой, осторожно вытерла; потом зажгла свечу и накалив на ней шпильку, слегка подвела глаза и брови… стало как будто лучше, но все-таки нехорошо. В столовой она застала уже всех за завтраком. Оленька, в пестрой ситцевой блузе, свежая как розан, хлебала молоко прямо из кувшина, мать с какой-то грустной нежностью смотрела на нее. С приходом Оры Николаевны они обе точно замялись. Общий разговор словно оборвался. Сара пожаловалась на мигрень и ушла, уведя с собой Костю.

– Что это, какие вы сегодня все кислые, – спросила Ора Николаевна, – неужели не выспались?

– Нет, ничего, Орочка, мы ничего… – заикаясь проговорила Серафима Алексеевна, – а вот ты немножко бледна, ты здорова ли, милая?

Ора Николаевна подозрительно взглянула на нее.

– Вы что-то скрываете от меня, maman, скажите прямо, что случилось?

– Да право же ничего, Орочка, что мне скрывать. Я сама даже желала с тобой посоветоваться, ты ведь у меня самая умная, потом все-таки старшая… – все больше и больше мямлила несчастная Серафима Алексеевна.

– Да скажите же вы, наконец, толком, в чем дело?.. – закричала, выходя из себя, Ора Николаевна. Обокрали вас, что

ли…

– Раздеришин сделал предложение Оленьке, – скороговоркой досказала Серафима Алексеевна и пересела на диван.

В глазах Оры Николаевны все на мгновение закружилось, замелькало и заплясало, ей показалось, что она падает; она ухватилась своими похолодевшими пальцами за край стола, сделала над собой страшное усилие – и очнулась.

– Что ж тут особенного? – вымолвила она, силясь вызвать улыбку на свои посиневшие губы, – этого следовало ожидать…

– А как же ты-то, Орочка? – начала мать.

– Что я?..

– Да как же, Орочка, ведь ты, все-таки старше, – совсем глупо докончила генеральша.

– Я вам сто раз говорила, maman, что не намерена выходить замуж, – сдавленным голосом заявила Ольга Николаевна, с ненавистью глядя на не понимавшую ее мучений мать. Оленька, – обратилась она к сестре, – что же поздравить тебя?

Оленька одним прыжком очутилась у ее колен и крепко обвила ее руками за талию.

– Ора, ты ведь не сердишься на меня? – спросила она писклявым голосом готового расплакаться ребенка.

– Ты совсем дура, Ольга, – ответила Ора Николаевна и обняла ее.

Обе сестры заплакали. Серафима Алексеевна не замедлила к ним присоединиться, крестясь под своей шалью, что все обошлось благополучно.

Наконец бедной Оре Николаевне удалось вырваться в свою комнату. Она бросилась на кровать, измученная, разбитая, уничтоженная без мысли в голове и лежала так долго… бессмысленно, обводя мутными глазами стены. Все те же занавески с птичками, тот же розовый кисейный туалет с чинно расставленными коробочками и невинными сувенирами, те же обои с цветочками… Но, Боже, как все это одиноко, холодно, бесприютно!

И так – навсегда, навеки, до гробовой тоски… без ласки… без участия.

Она уткнула голову в подушки и зарыдала.

Новость быстро облетела весь дом и дошла до девичьей.

– Полковник-то младшую барышню посватал, – доложила горничная Дуняша прачке.

– Ой-ли?

– Ей-Богу, своими ушами слышала, как Ольга Николаевна старой барыне рассказывала. Вчера на балу, вишь ты, за танцами у них объяснение вышло.

– То-то, чай, Орка обозлится!

– Ништо ей, змее подколодной…

– Ох, девушка, нам-то что с ихней свадьбы, – философски заметила прачка, – и так работы не оберешься, а теперь, гляди, совсем из корыта не вылезаешь.

– И то правда, – согласилась Дуняша, – однех этих чертовых юбок сколько, – глядишь, глядишь, инда вся спинушка изноет. Давай, тетка, утюг-от… чтоб им ни дна, ни покрышки. Она поплевала на утюг, ударила по нему пальцами и стала гладить, затянув писклявым голосом:

Не е-е-сча-а-стная нара-ди-илась,
Не-е-е-сча-а-стная вара-сла,
В из меи-щи-и-ка влю-би-и-лась
В тиран-на мо-лод-ца-а
Зачем тиран тирани-ишь?

– Какие вы все чудесные песни поете, Дунечка, – любезно сказал вошедший повар.

– Чай мы не какие-нибудь, – гордо ответила горничная.

– Сейчас полковник приехал, – произнес он таинственно, – сказывают Ольгу Николаевну сватать.

– Уж мы про то давно известны.

– Ишь вы, скрытные какие!

– Не люблю я про господские дела зря болтать, – процедила сквозь зубы Дуняша и, размахивая по доске утюгом, опять меланхолически завыла:

Все по етому случаю
Я не ем, не пью и чаю
И я оченно скучаю
Все по етому слу-у-ча-ю.

– А старшей-то барышне, чай, не понравится этот соус, – вставил опять замечание повар.

– А пущай ее давится, – гуманно разрешила Дуняша, но в эту минуту сильный звонок заставил ее взвизгнуть, и она опрометью бросилась из комнаты.

Ора Николаевна слышала, как приехал Раздеришин, как он прошел к матери в гостиную, как Серафима Алексеевна громко приказала позвать туда Оленьку…

– По крайней мере, я не буду смешною, – сказала она вслух и, схватив щетку, сорвала с головы банты и стала с лихорадочной

быстротой расчесывать свои взбитые волосы; причесала их совершенно гладко, немного на лоб, заплела косу и скромно уложила ее вокруг головы; вынула из шкафа темное, серое платье, пристегнула к нему полотняный окладной воротничок и рукавички – и торопливо стала одеваться. Одевшись, она подошла к туалету; зеркало отразило некрасивую, но приличную особу пожилых лет.

Ора Николаевна с горькой усмешкой поклонилась своему новому образу, прошептав – “так-то лучше! Здравствуй, старая дева!”.

Она явилась в гостиную совершенно спокойная и равнодушная, любезно поздравила полковника и еще раз поцеловала сестру. Костюм ее поразил Серафиму Алексеевну.

– Что это ты, Орочка, какой-то старухой вырядилась! – сказала она со своим обычным тактом.

– Что ж, maman, мы и в самом деле с вами старухи. Вот повенчаем Оленьку, да и начнем раскладывать вдвоем пасьянсы – проговорила Ора Николаевна с улыбкой и, словно опасаясь возражений, отошла быстрыми шагами к Саре.

Сара поняла, чего стоило ей это самообладание, она поняла, что простенькая прическа и гладкое платье здесь не обыкновенная случайность, а формальное отречение от молодости, признание себя побежденной – и впервые шевельнулось в ней что-то вроде уважения к Оре Николаевне.

Полковник, между тем, шутил с невестой и, не выпуская из своих рук ее *пухленьких* ручек, поминутно целовал их. Оленька, упоенная, но совершенно растерявшаяся, конфузилась, краснела и тяжело молчала. Серафима Алексеевна, как женщина опытная, смекнула, в чем дело, поднялась со своего места, и, выйдя в другую комнату, позвала Сару и Ору Николаевну.

– Пусть их побудут вдвоем, – сказала она с блаженным видом, потом обратилась к образу, положила земной поклон и, благоговейно крестясь, зашептала:

– Господи, благослови и помилуй…

После долгих расчетов решено было объявить о помолвке Оленьки через месяц, в день ее рождения, приходившееся на второе февраля.

XXIV

Наступило, наконец, и второе февраля. Погода была чудная: стоял морозный зимний день. Снег блестел и искрился на солнце; опушенные белым пухом деревья, казалось, замерли в своей яркой серебристой одежде. На окнах целою сетью легли

причудливые, фантастические, тонкие, как кружево, узоры. Золотисто – серый пар тянулся ломаными волнами из закоптелых деревенских труб к чистому, холодному небу… В зубковском доме с самого утра поднялась та неугомонная беготня и суматоха, без которой обыкновенно не обходится ни одно торжественное событие. Серафима Алексеевна, вся красная, собственной особой царила на кухне воспроизводя, по завещанному еще бабушкой рецепту, какие-то удивительные пирожки. Кучер и скотник, обращенные в полотеров, выкидывали антраша, которые бы сделали честь не только завзятому танцору, но и любому акробату, и благодаря их усилиям, пол заблестел так, что на него не только ступить, даже взглянуть было страшно. Дуняша, подобно вихрю, носилась по комнатам с целым ворохом крахмальных юбок… Словом, все были в том наэлектризованном состоянии, когда руки сами чешутся что-нибудь делать, когда даже самому хладнокровному человеку становится совестно за свое хладнокровие, и он стремится приткнуть к чему-нибудь свою неумелую особу, но, увы, вместо благодарности, встречает лишь недовольное ворчание официальных заправил: – уж сидели бы тихо, только мешаете.

Гости стали съезжаться к вечеру. Николай Иванович привез невесте роскошные серьги – два огромных бриллианта и собственноручно вдел их в пылающие маленькие ушки. Оленька сияла от восторга; она не сводила своих блаженных, полных покорного обожания глаз с румяного лица Николая Иваныча и только вспыхивала, чувствуя на своей щеке бесцеремонную близость его жестких усов. Ора Николаевна, в черном платье, застегнутой у ворота матовой золотой брошкой, степенно занимала гостей, стараясь всеми силами изобразить, как можно естественнее, довольную старшую сестру. Но, встретив исковерканную жадным любопытством физиономию какой-нибудь во всех отношениях приятной дамы, она терялась, на лице ее загорались пятна, и ей страстно хотелось убежать, спрятаться как можно дальше от этих людей, глядевших на нее не то с затаенной насмешкой, не то с торжеством.

Приехал Коломин и, поклонившись издали Саре, (после спектакля он заметно избегал ее) сел возле Оры Николаевны. Он заметил происшедшую с ней перемену и, должно быть, ему стало ее жаль, потому что он заговорил с ней искренним дружеским тоном, – посмеялся слегка над важностью события, заметил, что по его наблюдениям у женихов и невест всегда немножко глупые лица, даже когда они, в сущности, очень умные люди, что даже ласки их как-то приторно-вульгарны, благодаря пошловато-снисходительному контролю окружающих, и признался, что он со

своей стороны предпочитает “Schattekusse, Schattenliebe”[55], как у Гейне.

– Право в них гораздо больше поэзии – заключил он.

– Ну, вас, я вижу, так же трудно будет женить, как меня выдать замуж, – сказала, усмехаясь, Ора Николаевна.

– По всей вероятности, – согласился он, – авось, мы оба от этого не много потеряем.

Сара, еще утром изъявившая желание заменить тапера, чем привела в неописанный восторг генеральшу, села к роялю и заиграла вальс, потом кадриль и польку. Танцующие кружились, смеялись, отдыхали и снова начинали кружиться.

– Что это вам вздумалось жертвовать собой? – спросил Коломин, останавливаясь перед Сарой.

– В чем же вы видите жертву?

– Отколачивать себе руки для этих антиков! Положительно не понимаю…

Сара сделала вид, что не слышит и продолжала играть.

– Сара Павловна, я не хочу, чтобы вы для них играли, – встаньте, я вас заменю.

Она хотела ответить резко, но всмотревшись в его осунувшееся, постаревшее лицо, в его тоскливый, тревожный взгляд, сказала только:

– Теперь нельзя, после.

Появление Аполлона Егоровича прервало танцы. Анфиса Ивановна была при нем и на этот раз в своем костюме не обнаружила ни малейшего поползновения на моду, до того все на ней было допотопно. Все обступили прибывшую чету. Хозяйка попеняла, зачем они поздно приехали.

– Не виноват, матушка, не виноват, все купцы эти оголтелые задерживали, – говорил густым басом Аполлон Егорович. Вчера только вернулся из Погорелец. Зато доложу вам того насмотрелся, что век не забуду.

– Что такое? – А вот послушайте, расскажу. В… в… черт его знает, забыл название, словом, – недалеко от Погорелец, в большом местечке было повальное избиение жидов.

– Что вы?!..

– Ей-ей! Сам туда ездил смотреть, как их, подлецов, жарили… страсть! На улицах проходу не было от пуху, жидовки ведь самые бедные – и те на перинах спят, ну и повытрясли им перинки-то…

Между гостями послышались смех и отрывистые замечания: “так и надо”… “противный народ”, “разбойник”, “душу готовы за грош вымотать”, “нахалы”… “всюду норовят пролезть”, “никакого благородства”… “ничего святого”…

– Нет, вы только послушайте, – прерывал, воодушевляясь,

Аполлон Егорович, – что за народец? Когда стали их дуть, ну натурально, жидки перетрусили, подняли вой, гвалт: ай вай, грабят, режут… Один, похрабрее, бросился за солдатами, а наши-то не будь глупы – хвать его, бестию, за пейсики и ну катать: не ори, мол. Жидовки со своими щенятами на чердаки попрятались, а ребята наши их оттуда галантерейным этаким манером повытаскивали, да и того, по юбочкам…

– Фи, фи, Аполлон Егорыч, бессовестный, противный: как вы смеете такие вещи рассказывать! – запротестовали дамы.

– Ну, сударыни, извините, из песни слова не выкинешь, – сказал, захохотав во все горло, Аполлон Егорыч. – Только вот явились казаки, – продолжал он, – да ничего не поделали, помахивают себе для виду нагайками, да пересмеиваются. И что же эти окаянные жидки выдумали, видят, что дело плохо, капут приходит, взяли да и выставили в окнах иконы! Каково?! Ну, не мошенники ли?..

– Ужас, какие лицемеры! – возмутилась одна из дам, бледное эфирное существо. Но хуже, по-моему, всего – это образованные жиды… Что они только о себе воображают! Вот, например, у нас в полку доктор…

Негодование дамы было прервано внезапным шумом. Сара, сидевшая до тех пор неподвижно у рояля, вдруг порывисто поднялась со своего места, опрокинув табурет с нотами и, подойдя к собравшимся в кружок гостям, остановилась против Аполлона Егорыча, готовившегося с самым благодушным видом преподнести обществу еще одну подробность. Все взгляды невольно обратились на гувернантку. Коломин подбежал к ней, но она отстранила его жестом. Лицо ее было мертвенно-бледно, широко раскрытые глаза горели зловещим блеском, как у сумасшедшей, тонкие ноздри нервно вздрагивали.

– Что же вы не продолжаете, – сказала она каким-то чужим звенящим голосом, со странной улыбкой на искривленных губах, – это так интересно… изувечены ведь не живые люди, а какие-то грязные жидки с пейсиками, в смешных лайбсардаках… Вы не стесняйтесь подробностями, наши мягкосердечные дамы не упадут в обморок… другое дело, если бы завизжала раздавленная болонка, а то… барахтались и кричали от боли и испуга еврейские дети… pardon, жидовские щенки… Даже иконы на окнах выставили, чтобы провести добрых честных людей… Ужасно!… А вас, сударыня, больше всего, кажется, волнуют образованные жиды!.. Поглядите же хорошенько на меня, я ведь тоже образованная жидовка…

Она захохотала злым, надтреснутым смехом.

– Вот оно что! – промолвил шепотом Аполлон Егорыч.

– Сара Павловна, прошу вас, успокойтесь, – проговорила чуть не со слезами Серафима Алексеевна. – Уж этот мне Аполлон Егорыч, вечно мне что-нибудь наговорит!

– Сара Павловна, – воскликнула Ора Николаевна, – вы знаете, что мы вас никогда не смешивали с массой, а считали за свою.

– Мы не виноваты, мы не знали, что вы… – сконфуженно, не доканчивая, бормотали гости.

– Конечно, Сара Павловна, виноваты вы, вольно же вам было принимать нас за порядочных людей! – иронически произнес Коломин.

Но Сара уже их не слушала. Шатаясь и придерживаясь за мебель, она выскользнула из комнаты и, добравшись до спальни Серафимы Алексеевны, в изнеможении опустилась на диван. В висках у нее стучало, она чувствовала во всем теле какую-то жгучую дрожь, из ее полуоткрытых запекшихся губ вылетало нервное быстрое дыхание. Она рада была, что убежала, что никто ее уже не видит больше… В комнате было темно, только один угол освещался бледными лучами луны да у образа трепетно мерцала лампадка.

Коломин все время не спускавший глаз с Сары неслышно пошел за ней. Он остановился у дверей и несколько минут молча смотрел на ее согнувшуюся на диване фигуру. Видя, что она судорожно ухватилась за сердце, он решился подойти к ней и осторожно взял ее за руку:

– Успокойтесь, – сказал он ласковым голосом, не огорчайтесь так, право же, они этого не стоят…

Она обратила к нему искаженное гневом лицо.

– Вы слышали, – зашептала она дрожащими губами, слышали… Эти люди радуются, что душат других людей…

– Не ведают, что творят.

– Не ведают! Какие невинные младенцы! Впрочем, что ж я! И вы в душе, может быть, ликуете, да неловко показать это перед жидовочкой… особенно, когда жидовочка похожа на испанскую картинку.

– Послушайте, Сара Павловна, вы меня слишком оскорбляете! – вскрикнул Коломин, – я могу быть волокитой, пустым бездельником, чем угодно, но вы не имеете права считать меня злобным идиотом.

Она опомнилась и протянула к нему руки.

– Не сердитесь, Борис Арсеньич, я не знаю, что со мною…, мне так тяжело… так больно. Я верю, что вы не такой… – проговорила она, заливаясь слезами.

Он схватил ее протянутые руки и жадно прильнул к ним горячими губами.

– Славная вы моя… чистая, не гоните меня, верьте, нет в мире вещи, которой я бы для вас не сделал… – сказал он с жаром.

Она в испуге отодвинулась от него.

– Зачем, зачем вы отодвигаетесь от меня? Неужели я вам так противен…

– Борис Арсеньич, – медленно произнесла совершенно пришедшая в себя Сара, – прекратим этот разговор, мы с вами не дети. Я ничего не могу дать вам взамен… взамен вашей преданности.

– Я ничего и не прошу от вас, Сара Павловна, – печально ответил Коломин, – только терпите меня – ну… хоть как старого дядю; будьте покойны, я вас слишком уважаю и ничем не скомпрометирую. О чем же вы плачете?

– Не знаю сама, – сказала она, вытирая платком струящиеся по лицу слезы, – я так привыкла быть одна. Мне кажется диким, даже то, что я с вами говорю откровенно, а за то, что я изливалась перед ними, я бы готова себя прибить…

В комнату вошла Серафима Алексеевна с Оленькой.

– Душечка, не сердитесь на нас, – сказала Оленька, целуя Сару.

– Я не сержусь, но хочу попросить Серафиму Алексеевну отпустить меня, – после сегодняшнего казуса нам будет неловко…

– Вот еще чего выдумали! – сердито возразила Серафима Алексеевна, – так я вас и отпущу перед Оленькиной свадьбой. И нашли на кого обращать внимание – на Аполлона Егорыча! Он для красного словца отца с матерью не пожалеет, а мы, кажется, никогда не давали вам повода…

– Да что тут толковать, мама, я не отпущу Сару Павловну и конец, веревкой привяжу – заявила Оленька и, бросившись на шею Саре, стала ее душить поцелуями, повторяя:

– Милочка, засмейтесь, прошу вас…

Коломин поспешил незаметно скрыться.

XXV

Прошло три месяца. В воздухе высоко закружились жаворонки; на крышах зачирикали воробьи; вся степь зазеленела и заколыхалась волнами ковыля, в которых, словно разноцветные бусы, мелькали синие колокольчики, мальва, белая ромашка, желтые одуванчики, дикий мак… Деревья совсем оделись, и лишь кое-где на липах попадались еще толстые набухшие почки. Пахло сырой землей, полынью и донником; аромат сирени, ландышей и какой-то особенно влажной весенней свежести проникал в грудь

едкой и сладкой струей. По небу плыли и таяли золотые тучки. Проснулась и засинела в своих берегах Волга. Все ожило, зашумело, заплясало, запело и зашевелилось…

Зубковский дом точно заразился общим оживлением и принял новый помолодевший вид. Из раскрытых настежь окон лилась музыка, слышалось пение и звонкие взрывы смеха. Терраса обтянулась полотном, уставилась цветами, мебелью и смотрела совсем жилой комнатой – тут валялась книга, там рабочая корзинка, в другом месте забытый чулок с выпавшей спицей. Темные зимние цветы уступили место светлым и ярким. Серафима Алексеевна расхаживала в батистовом капоте, Ора Николаевна и Оленька утопали в воздушных оборках, и даже Сара сменила свое вечное черное платье на белое. Эти три месяца промелькнули для нее, как сон. Она сама не могла сказать, хорошо ли ей было и, если хорошо, то почему. Но одно она испытывала всем своим существом – облегчение, которое дается высказанным, разделенным страданием. Знаменательный вечер Оленькиной помолвки, помимо ее воли, сблизил ее с Коломиным. Она тогда же почувствовала, что в этом обленившемся, избалованном барине – не замерзло еще все живое и жадно ухватилась за его дружбу, не думая, не рассуждая, что будет дальше. Бывают минуты, когда переполненное горечью и болью сердце ищет, во что бы то ни стало, выхода из напряженного состояния – и в такие минуты сдержанный человек раскрывает свои заветные мысли пустому болтуну, порядочная женщина бросается, очертя голову, в объятия пошлого селадона, трезвый начинает пить запоем. Борис Арсеньич сумел сделаться необходимым человеком у Зубковых. Он играл в карты с Серафимой Алексеевной, давал уроки английского языка Оре Николаевне, предоставил в распоряжение полковника, с которым состоял в родстве, свои конюшни и оранжереи. С Сарой он был, по-видимому, дружески вежлив, – и только. Но она чувствовала, что все это делается для нее, чтобы быть ближе к ней, что ни одно ее движение не ускользает от внимательного, незаметно следящего за ней взора, – и ей было легко от сознания, что она не одна после долгого одиночества… Но это состояние забытья продолжалось недолго, оно постоянно отравлялось внутренним томительным страхом, что все это скоро кончится, что это обман, мираж, который должен рассеяться. Свадьба Оленьки была назначена на июль. Серафима Алексеевна совсем, что называется, с ног сбилась; хлопоты о приданом требовали постоянного ее присутствия в городе, а она сдала свой дом жильцам и не знала теперь, как быть. Коломин вывел ее из затруднения, обязательно предложив к ее услугам свой дом; он уверял, что это его

нисколько не стеснит, напротив, доставит величайшее наслаждение, что с ним, как будущим родственником Оленьки, нечего церемониться, и так далее. После нескольких отказов, которых требовало приличие, Серафима Алексеевна приняла предложение этого “милого Бориса Арсеньича”, очень довольная, что ей не придется истратить “Бог знает сколько” на наем квартиры, – ей и с приданым-то было тяжело справиться. Времени до свадьбы оставалось немного, а потому было решено перебраться в город как можно скорее. Переезд этот очень огорчал Сару, так боявшуюся всяких перемен. Она привыкла и привязалась к этому заброшенному уголку и с тоской пробегала лихорадочными шагами большой тенистый сад, прилегавший к дому; ее давило какое-то неопределенное предчувствие, что она его больше не увидит.

Стояла жаркая послеобеденная пора. Все в доме улеглись; для прохлады закрыли ставни; но Сара не могла заснуть; ей было душно в комнате, ее раздражала окружающая тишина, прерываемая лишь всхрапыванием Серафимы Алексеевны. Она встала, захватила первую попавшуюся книгу, вышла в сад и, вскарабкавшись на высокий крутой холмик, прилегла под старой развесистой березой; попробовала читать, но книга соскользнула у нее с колен и упала в траву. Она оперлась подбородком на руку и загляделась… Волга, вся залитая солнцем, ласково катила свои светлые волны; на горизонте лениво тянулась баржа; там и сям белели бесчисленными точками парусные лодки; по берегу перекликались рыбаки… Жигулевские горы, окутанные дымкой знойного воздуха, отражались в сверкающей бриллиантовой рябью воде. Совсем далеко сидел утес Стеньки Разина, упираясь головой в багрово-лиловую тучу.

Возле Сары послышался треск сучьев. Она повернула голову и увидала шедшего к ней Коломина, в шелковом летнем костюме и широкополой соломенной шляпе.

– Здравствуйте, Сара Павловна, какое у вас там сонное царство! – сказал он, садясь подле нее на траву. – Я обошел весь дом и повсюду до меня доносился храп, как в сказке о принцессе “Dorn-roachen”… Пошел в сад и, увидав на холме белую фигуру, подумал – уж не Ольга ли Николаевна изображает из себя Лорелею, поджидая в легком челноке Николая Иваныча; всмотрелся и узнал ваши черные косы. Как я рад, что вижу вас, наконец, одну, – нам так давно не удавалось перекинуться словечком.

Он снял шляпу, вынул из кармана черепаховую сигарочницу и закурил.

– О чем это вы думали, сидя здесь? – спросил он. – Вы

оглянулись, когда я был совсем близко.

– Да ни о чем особенно, я залюбовалась на Волгу, и мне грустно стало расстаться с ней. Зачем вы только нас отсюда увозите… Мне так не хочется уезжать отсюда. Мне страшно будет в вашем большом чужом доме.

Он близко наклонился к ней и заговорил взволнованным голосом:

– Дорогая моя… вам стоит только захотеть, и дом этот не будет чужим для вас, он будет вашим… Будьте моей… открыто… перед светом… Как я вас люблю, Боже мой!.. Он приник всем лицом к ее рукам, и она почувствовала на них его горячие слезы.

– Если бы вы знали, сколько лет я не плакал, а теперь мне даже не стыдно своих слез! Сара, скажите *да*…

– Это невозможно, – чуть слышно проговорила она.

– Отчего? – сказал он, поднимая голову и глядя на нее полными любви и слез глазами. – Отчего? Или вы меня совсем не любите?

Она стиснула руки и ничего не ответила.

– Послушайте, я не требую от вас, чтобы вы меня сейчас полюбили, я отлично знаю, что не стою вас… но согласитесь только быть моей женой, и клянусь вам…

– Борис Арсеньич, это-то именно и невозможно. Я ни за что не переменю религию, перестанем об этом говорить, прошу вас.

– Но ведь это простая формальность, обряд. Для такой женщины как вы, существует лишь одна религия, религия добра и справедливости, которая совсем не обуславливается той или иной церковью. Не могу же я поверить, что вы заражены религиозным фанатизмом.

– Конечно… И несколько лет тому назад я рассуждала бы так же, как и вы. Но с тех пор многое изменилось. Мои мечты о братстве людей, о родине, оказались такой жалкой ребяческой иллюзией… Слушайте, я считала себя с детства русскою, думала и говорила по-русски, мое ухо с колыбели привыкло к звукам русской песни… Все это осмеяли, забрызгали грязью. Я испытала на себе весь ужас положения несчастного незаконнорожденного ребенка, приставшего к чужой семье. Я стучалась у всех дверей, протягивая за работой свои исхудалые от голода руки – и всюду встречала отказ. На моих глазах умерло мое дитя – и я не могла оказать ему помощи… “Жидовка!” – это слово горело на моем лбу, как жгучее позорное клеймо проклятия… Мне даже великодушно предложили продать себя, потому что жидовской красотой и деньгами православные христиане ведь не брезгуют… Я, наконец, была свидетельницей дикой животной травли на людей, скученных на одном клочке, за чертой которого им

запрещалось дышать, а когда эти глупые люди не догадались задохнуться от тесноты и грязи и стали барахтаться, – их обозвали эксплуататорами, вампирами и мало ли еще чем. Все это прошло, как плеть по моему телу, оставив на нем вечные кровавые рубцы… И я отвернулась от вас, не хотевших признать за мной того, в чем вы даже собакам своим не отказываете – ведь собаки ваши свободно бегают и живут, где хотят – и всей измученной душой своей прилепилась к этим гонимым, невежественным, забитым евреям, которых вы же изуродовали и над которыми вы же и издеваетесь. И вдруг теперь… громогласно отречься от них… перейти во вражеский лагерь самодовольных и ликующих… Милый мой… я люблю тебя, как душу, но никогда за тебя не пойду!

Она припала головой к его плечу и горько зарыдала. Он прижал ее к своей груди и молчал. Все стихло в томительно-знойном сиянии дня и только в вершине старой ели по-прежнему уныло куковала кукушка, да с Волги протяжными переливами неслась тоскливая песня.

– Сара, – начал Борис Арсеньич, – послушай меня, ты права, твое озлобление справедливо, но чем же я виноват, зачем ты меня караешь? Подумай, – знать, что ты меня любишь, чувствовать так близко счастье… ведь я совсем другим человеком стал… и вдруг ты все отнимаешь… ты ведь этого не сделаешь, Сара, ты не убьешь меня…

– Я и себя не щажу, – прошептала она, рыдая.

– Но, дитя, ведь это безрассудство, ты не имеешь права разбивать наше счастье.

– Мы все равно не будем счастливы.

– Отчего это?

– Оттого, что меня вечно будет преследовать призраки прошлого, у меня не будет ни минуты покоя, да, кроме того, вы знаете, что у меня есть тетка и сестра, мне будет отрезан путь к ним… Кончится тем, что я вас возненавижу.

– Уедем в таком случае заграницу, это – единственный исход.

Она грустно покачала головой.

– И этого не хочешь?

– Я никогда не решусь обречь вас на бессмысленную жизнь вечного туриста; да и сама я не решусь покинуть навсегда Россию…

– Что же нам делать, голубка моя?

– Расстаться… Я уеду отсюда, и вы меня забудете.

Он нетерпеливо передернул плечами.

– Полно, Сара, за кого вы меня принимаете? Я не мальчик и не допущу погубить свою жизнь в угоду какому-то отвлеченному

идеалу. Милая моя, ведь это просто мания – стремиться страдать quand тете[56]. Неужели ты еще недостаточно измучена? Отчего же ты не хочешь отдохнуть у меня?

– Что бы вы ни сказали, я никогда не изменю, как вы говорите, отвлеченному идеалу, – промолвила Сара. – Мне ужасно больно отказаться от вас, но я все-таки уйду.

Она закрыла лицо и опять заплакала.

– Но я тебя не пущу: ты моя, ты сама сказала, что любишь меня, я считаю тебя своей женой теперь, и никто, слышишь, Сара, никто не посмеет отнять у меня мою жену! – сказал он, задыхаясь и крепко, до боли сжимая ее в своих объятиях.

В саду послышались стук копыт и лай собаки. Сара испуганно вырвалась из рук Коломина.

– Это Николай Иваныч приехал, – сказал он. – Ступай к себе, успокойся и подумай хорошенько о нашей будущей жизни.

Она поднялась и стала быстро спускаться с горки. Коломны догнал ее.

– Сара, – сказал он с улыбкой, – я даже не простился с тобой… Можно? – и, не дожидаясь ответа, прильнул к ее губам долгим поцелуем.

XXVI

– Что я сделала, Боже мой, – было первой мыслью Сары, когда она пришла немного в себя. – Он говорит – подумать о нашей будущей жизни… но ведь ее не будет, ее не может быть… единственное спасенье – бежать! – пронеслось у нее в голове и ей вдруг страшно стало…

Пришла Дуняша звать ее чай пить. Она приказала сказать Серафиме Алексеевне, что у ней болит голова, и она не может сойти вниз. Голова у ней в самом деле горела, как в огне. Она намочила в воде платок и приложила к своему сухому лбу. Снизу доносились до нее смешанные голоса; она отличила между ними звучный, грудной голос Бориса Арсеньича. Как он весело смеется, он надеется… она забылась под этот неясный говор и заснула тяжелым сном.

Когда она проснулась, было уже утро. Солнце косыми лучами врывалось в комнату сквозь спущенные темные шторы, освещая золотистым светом поднимавшийся с полу тонкий прозрачный столб пыли. Сара изумилась, увидев себя совершенно одетой, и недоумевала, неужели она проспала со вчерашнего дня. В голове у ней было смутно. Она встала, расправила отяжелевшие члены и, подняв штору, толкнула окно. На нее пахнуло утренней свежестью. Птицы громко щебетали в вышине. На деревне

заливались петухи. Не успевшая еще высохнуть роса блестела светлыми каплями в траве и на листьях. Последние румяные облачка зари уплывали разорванными клочками за горы. Дуняша медленно подметала зеленым веником террасу. Сара ее окликнула. Она подняла вверх растрёпанную голову.

– Проснулись, Сара Павловна? А уж как вы, было, нас вчера напугали.

– Чем это?

– Да как же! Пришла это к вам постель стлать, только вижу, вы спите; тронула я вас за руку – дескать, проснитесь, да куды – ничего не слышите. А рука то у вас горячая, словно жар, и от всей от вас так и пышет. Я даже испужалась. Позвала барыню, пришли барышни, стали одеколоном вам виски примачивать. Борис Арсеньич был еще тут, хотел верхом за доктором посылать, да барыня решили подождать – так Борис Арсеньич и просидели до зари. Да, *неужто,* вы ничего не слыхали, Сара Павловна?

– Решительно ничего.

– Ишь ты, притча какая, Господе Иисусе!.. Знать это вам солнышком голову напекло. А теперь как вы себя чувствуете?

– Ничего, слаба немножко, подайте мне, Дуняша, умыться воды, похолоднее.

– Сейчас, Сара Павловна, да уж я вам заодно и чаю своего принесу, а то коли их дожидаться– просидите до вечера не пимши, не емши. Ведь сегодня у нас такая суматоха поднимется, что не дай Бог.

– А что такое?

– Да переезжаем всем домом к Борису Арсеньичу, в двенадцать часов приедет за нами полковник.

Сара совершенно растерялась от этого известия, не зная, что ей предпринять. Скоро поднялся весь дом. Все с беспокойством расспрашивали о ее здоровье и очень обрадовались, узнав, что она чувствует себя лучше. Началось укладывание вещей, упаковка сундуков, уборка посуды. Серафима Алексеевна поминутно теряла ключи, бегала по всем комнатам отыскивать их, крича чуть не со слезами:

– Орочка, Оленька, Сара Павловна, да куда же вы их девали? Дуняша, не видала ли ты? Ты вечно их куда-нибудь сунешь! – и не могла прийти в себя от изумления, находя злополучные ключи в своем же собственном кармане.

И вот Сара уже в новой комнате, в том самом кабинете, в котором Оленька объявила о предложении Николая Иваныча. Комната все так же хороша, даже еще лучше, потому что огромное окно открыто и врывающиеся в него ветки старой липы усыпают пол и мебель нежными, душистыми цветками. За

камином постлана кровать красного дерева с вычурной старинной резьбой каких-то таинственных сфинксов. Костя и сын Николая Ивановича, которого он привез погостить к своей невесте, возятся с огромной собакой.

– Буду проводить все время с детьми, – решает, наконец, Сара, – а после свадьбы Оленьки уеду.

Это решение ее успокаивает.

Проходит почти две недели. Серафима Алексеевна с дочерьми целые дни занята портнихами. По всем комнатам валяются обрезки разных материй, лент и кружев, во всех углах торчат картонки. Серафима Алексеевна не нарадуется на Сару. Она не только ни на минуту не отпускает от себя детей, но еще вызвалась помогать ей по хозяйству и так все ловко делает, как будто это для нее шутка. Доброй Серафиме Алексеевне даже жаль, что она так трудится, похудела и побледнела от постоянной беготни, и она успокаивает себя мыслью, что к свадьбе Оленьки непременно подарит ей шелковое платье. Коломин ходил молчаливый и хмурый. Он понимал, что вся эта лихорадочная деятельность вызвана только желанием забыться и избегнуть разговора с ним. Он следит за ней с напряженным вниманием и с тоской замечает, что лицо ее с каждым днем становится бледнее, что у нее что-то болит, что она часто внезапно останавливается посреди какого-нибудь дела и хватается прозрачной рукой за сердце. Он хочет подойти к ней, но она поспешно заговаривает с кем-нибудь и ускользает от него. Наконец, ему удалось поймать ее в саду. Мальчики бегали, а она сидела на скамье, опустив глаза в книгу. Увидав Коломина, она поднялась и хотела было позвать детей, но он взял ее за обе руки и почти насильно посадил ее на скамью.

– Погодите, – сказал он, – я хочу, наконец, знать, что с вами.

– Со мной ничего, Борис Арсеньич, пустите меня, пожалуйста.

– Сара, я ведь не Серафима Алексеевна, меня не обманете; я жду от вас ответа… Пожалейте меня, по крайней мере, я ведь тоже измучился, скажите мне что-нибудь.

Ее бледные губы страдальчески изогнулись.

– Простите меня, Борис Арсеньич, – тихо, с усилием выговорила она, – я *тогда* ошиблась, я вас не люблю!.. – И, вырвав у него свои руки, убежала.

Прошло еще несколько дней. Серафима Алексеевна с дочерьми и Николаем Иванычем уехала куда-то на именины на весь вечер. Мальчики, уставшие от дневной беготни, ушли спать. Сара осталась, наконец, одна. Она чувствовала, что силы ее покидают, что ее что-то душит, словно могильная плита давит ей грудь. Она сняла платье, накинула капот и, распустив свои

тяжелые косы, легла на кушетку. В открытое окно тихо смотрела чудная благоухающая ночь, звезды ярко блестели в темной глубокой синеве неба. Верхушки деревьев чуть слышно шелестели в саду. Серебряный луч луны играл на паркете, падая причудливыми зигзагами на сумрачное лицо Иоанна Грозного, и он, казалось, ожил и медленно кивал своей бронзовой головой.

– Что мне делать, что мне делать! – мучительно повторяла Сара, ломая в отчаянии руки.

Она встала с кушетки и подошла к портрету Коломина.

– Милый мой… милый мой… что мне делать? – зашептала она, опять прижимаясь к холодному стеклу… – и вдруг почувствовала, что сзади ее крепко обвили две руки. Она обернулась и слабо вскрикнула, увидев бледное лицо Бориса Арсеньевича.

– Так ты меня любишь! – страстно говорил он, – Я ведь тебе не поверил, когда ты сказала, что нет…

Он отнес ее на кушетку и, опустившись перед ней на колени, стал осыпать ее руки, шею, волосы, платье горячими поцелуями, произнося отрывисто:

– Слабая моя, нежная, лучезарная моя красавица… перестань же, наконец, мучиться… отдайся мне без страха… без боязни… Я увезу тебя и спрячу от всех…

Она не сопротивлялась его ласкам, сердце ее трепетно замирало и билось, как пойманная птица… Полуоткрытые глаза глядели на него с бесконечным блаженством. Она уронила свою руку на его густые седеющие кудри и притянула его к себе. Он поднял голову

– Ты остаешься?..

Было уже поздно, когда Борис Арсеньич ушел от Сары. Она стояла среди комнаты, улыбающаяся, опьяненная… Вдруг что-то больно кольнуло ее, точно она что-то вспомнила. Глухое, безнадежное рыдание вырвалось из ее груди.

– Никогда, никогда! – говорила она, словно защищаясь перед кем-то, – я не смею…

Она подошла к письменному столу, схватила перо и написала дрожащей рукой:

“Милый мой, я не остаюсь, я ухожу… Я не могу иначе. Не ищи меня, не проклинай меня… Я несчастнее тебя… Но пойми, пойми и прости меня… мы не можем быть счастливы. Меня бы загрызли воспоминания, а ты истерзался бы, глядя на меня.

Мы встретились слишком поздно, а я не умею забывать. Да и что значат несколько лишних лет!.. Не могу больше писать. Слезы душат меня. О, Борис, как я тебя люблю… Твоя Сара”.

Она, рыдая, вложила письмо в конверт и надписала адрес.

Потом стала торопливо собирать в саквояж необходимые вещи, все уложила и, сделав над собой усилие, написала четким почерком Серафиме Алексеевне записку, в которой умоляла извинить за внезапный отъезд, вызванный телеграммой из дому.

– Вот и все готово, – промолвила она вслух, надев длинную тальму и закутав лицо густой вуалью. На минуту она остановилась и, окинув последним взглядом комнату, сняла со стены портрет Бориса Арсеньевича.

Бронзовый Иоанн, казалось, укоризненно смотрел на нее со своего мраморного постамента, липа печально кивала в окно темной головой… Сара добралась неслышными шагами до передней. На стуле, растянувшись, дремал швейцар. Она его разбудила:

– Петр, я получила телеграмму и должна сейчас же ехать. Наймите мне скорей извозчика на вокзал.

– Да ведь поздно, сударыня! – сказал, протирая изумленные глаза, швейцар.

– До отхода поезда остается еще полчаса, теперь половина второго, я успею, – только поторопитесь.

– Сию минуту-с.

Петр усадил ее на извозчика. Она передала ему письма для генеральши и Коломина. Извозчик дернул вожжами, крикнул: “Но… проклятая!” и пролетка с треском загромыхала по мостовой.

Луна давно спряталась; звезды стали погасать на бледном небе; на горизонте уже занимались желтые полоски зари; кругом все было тихо, и только какой-то подгулявший фабричный, сидя на завалинке, уныло выводил под скрип гармоники песню: “Вздумалось Терешке жениться, – тянул он плаксивым голосом вслед Саре. – Тетушка Матрена бранится… Да где ж тебя черти носили, Мы б тебя дома женили… жени-и-и-ли”.

Прошло полгода. В кабинете своем одиноко сидел за столом Борис Арсеньевич Коломин и что-то писал. Он очень изменился: обрюзг, постарел и сильно поседел. Еле заметные еще так недавно морщинки теперь глубокими складками бороздили все его лицо. В дверь осторожно постучались. Вошел лакей, неся ящик и письмо.

– С почты привезли, Борис Арсеньич, – доложил он и вышел. Коломин медленно распечатал письмо. Оно было писано по-немецки незнакомым женским почерком:

> “Милостивый Государь! Неделю назад скончалась от застарелой болезни сердца моя племянница Сара Норд. Она сильно страдала бессонницей и, воспользовавшись

моим отсутствием, приняла, дабы скорее заснуть, большую дозу морфия. Это ускорило печальный конец. Все наши усилия спасти ее оказались тщетны. Перед смертью – она сохраняла сознание до последней минуты – она выслала всех из комнаты и умоляла меня обещать ей, что я отошлю вам, милостивый государь, ее портрет, снятый несколько лет тому назад, золотое кольцо с ее инициалами и еще портрет неизвестного мне молодого человека, который она не выпускала из рук до последнего дыхания. Я взяла его у ней, когда она уже больше не принадлежала земле. Воля умерших священна, а потому пересылаю вам, милостивый государь, завещанные моей племянницей вещи. Примите, милостивый государь, уверение в полном моем уважении".

Анна Позен, 188… г. Город "О"

Коломин провел бледной рукой по своему похолодевшему лбу. Затем вскрыл ящик: оттуда со звоном выпало кольцо; потом он вынул портрет – свой портрет; потом другой… помедлил мгновенье и быстро сорвал покрывавшую его бумагу. Сара, прекрасная, здоровая, полная жизни, во всем блеске расцветающей молодости – глядела на него своими чудными голубыми глазами… Коломин долго смотрел на этот портрет. Губы его дрогнули, голова опустилась на стол и глухой, надрывающий вопль огласил комнату.

– Сара… Сара – рыдал он. – зачем… зачем ты это сделала!..

Неделю спустя, Николай Иванович Раздеришин вместе с молодой женой своей провожал на вокзале N-ской дороги уезжавшего заграницу Коломина. Николай Иванович пошел в буфет закусить. Оленька осталась одна с Борисом Арсеньевичем.

– Послушайте, я давно собиралась вас спросить, – начала она застенчиво, – не знаете ли вы, что сталось с Сарой Павловной?

– Она умерла, – тихо ответил Коломин.

– Умерла! – воскликнула Оленька, – как жаль! Я ее очень любила, хоть она и была еврейка… Она была какая-то особенная… и какая красавица!.. Борис Арсеньич, мне казалось, что вы ее любили, – вдруг сказала Оленька.

Глаза его мгновенно наполнились слезами.

– Я ее и теперь люблю, – промолвил он.

Они немного помолчали.

– А представьте, какое у нас горе, – начала опять Оленька, – ведь Ора в монастырь уходит, мама положительно убита.

– Зачем же ее стеснять, – сказал Коломин, – быть может, ей там будет лучше.

Раздался звонок. Николай Иванович проворно выбежал из буфета. Коломин простился с Раздеришиным и вскочил на площадку вагона.

– Когда же ты думаешь назад, на родину?

– Не знаю, право, – загадочно улыбаясь, ответил Коломин, – может быть никогда…

Поезд медленно тронулся.

Борис Арсеньевич снял бобровую шапку и кивал своей седой головой махавшей ему платком Оленьке, пока она не исчезла из глаз.

Одиночество
(из дневника незаметной женщины)

Действующие лица:
Лиза – автор дневников
Юрий Павлович – ее муж, влиятельный юрист
Лили – их дочь, капризная девица

5 октября 189…

Какая Лиля властная! Она решительно не переносит, чтобы я смогла интересоваться чем-нибудь, кроме нее. Стоит мне взяться за книгу, сесть за рояль, или, сохрани Боже, за мольберт – ее всю передергивает. Даже, когда она молчит, я чувствую, как следит за мной ее негодующий взор. Иногда я нарочно делаю вид, что не замечаю ее гнева. Тогда она подходит к моему стулу и своим насмешливым, тягучим голосом процеживает: – Что это ты намазала, мама? Дерево? Дом? Человека?.. Не разберешь!.. С отцом она гораздо почтительнее. Ну, да с ним и неудобно воевать. А как бы ни говорили, требует бескорыстной любви к искусству, по крайней мере, в момент “священной жертвы”. А Лиля всегда тешит только себя. Сегодня она очень сердилась на Юрия Павловича. Он не отходил от молодой Дроздовой. Она прехорошенькая, – эта львица сезона – с большими, выпуклыми, тупыми глазами, с бриллиантами на спине, на шее, на башмаках… О ней много говорили эту зиму. Все маменьки были возмущены. В самом деле! Дочь какого-то бедного чиновника, и вдруг такая “партия”! Самого Дроздова подцепила. (Сам Дроздов – толстый развязный малый из нынешних университетских купцов). Рассказывают, что когда он сделал предложение, отец невесты от счастья сошел с ума, забыл все слова, кроме “золото” и все повторяет: золото, золото, золото…

Как это глупо, что, несмотря на свои седые волосы, я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что деньги – винт, на котором вертится мир. Сколько завистливых взоров провожало сегодня чету Дроздовых!

По рядам шепотом произносили их имя.

Во время перерыва их окружала “l’elite”[57].

Кого тут только не было! Знаменитый доктор, модный пианист, прославленный художник, почтенные старухи, редактор ученого журнала… Каждый по-своему faisait sa cour[58]. Юрий Павлович тоже. И ведь не нужны они ему вовсе. И барыня эта ему нравится лишь поверхностно. Но таково уж обаяние “железного

сундука”. Даже выгод это знакомство ему не сулит. Как ни падок на деньги мой любезный супруг, он нигде не состоит юрисконсультом. У него на этот предмет уж и фраза готовая: “зачем я пойду в услужающие. Придет час воли божьей, их степенства сами ко мне пожалуют”. И жалуют…

Давно уже Лили меня так не пилила, как сегодняшний вечер. Ей было досадно, что Юрий Павлович так просто и легко не замечает нашего присутствия.

– Папа точно нас стыдится, ворчала она, он даже не глядит в нашу сторону… а все ты! Мы бы отлично могли сидеть в первых рядах…

– Лили, слушай музыку!..

– Не могу я слушать в такой духоте.

К счастью, к нам подошел Бунин, московский библиофил, меценат и эстет. Кресло его оказалось рядом с нами. Едва он уселся, как стал осыпать Лили самыми патетическими комплиментами. Она мгновенно прояснилась и сделалась так мила, что все мое недовольство ею рассеялось, как дым. Бедная моя девочка! Очень понятно, что с такой красотой не хочется теряться в толпе…

А как хорош был концерт! Перед эстрадой в темной зелени лавров, белел бюст Антона Рубинштейна и, казалось, прислушивался к звукам Бетховенского похоронного марша. Еще так недавно он сам его играл! Мне очень понравился певец – нежный ласкающий баритон. Он превосходно спел:

“Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали”…

Сердце так сладко и печально заныло. Вспомнилась молодость… Много в ней было тревог! Да зато путь расстилался впереди такой длинный… Как легко сдвигались с места горы!.. Какие мерещились подвиги… Словно в ответ на мои мысли баритон пропел элегический романс, кончающийся словами:

“Сны беззаботные, сны мимолетные
снятся лишь раз”…

У меня навернулись слезы. Я закрылась веером от Лили. Она терпеть не может “сентиментальности”. Как на меня действует музыка. Особенно некоторые вещи. Стоит заиграть например: “Лунную сонату” Бетховена и в душе начинают гореть старые раны… Vergessene Traume erloschene Bilder[59]… все, что манило,

все, что так безжалостно обмануло. Самое ужасное – ничего нельзя вернуть, взять назад. Вот и сегодняшний концерт! Сколько раз в этой самой зале будут раздаваться те же звуки. Их будут петь другие уста, они будут волновать другие сердца… а те, кого мы взрастили, кому отдавали всю силу любви, давно забудут путь к нашим могилам… Все это, конечно, неизбежный закон жизни, но ведь от этого не легче.

Однако, уж и Юрий Павлович звонится. Должно быть очень поздно…

6 октября

Сегодня с утра истории. Не успела я проснуться, как в спальню явилась Даша с поджатыми губами и своей обычной манерностью, в которой столько яду, стала "докладывать".

– Как вам будет угодно, Лизавета Константиновна, а извольте приказать Ивану не ругаться. Я не виновата, что он не в своем виде… Я честная женщина… кажется, не воровка, не пьяница, не грубиянка… (Тут она сделала паузу, очевидно ожидая выражения сочувствия. Но я молчала, и она залилась горючими слезами).

– Тычет мне любовником… а я, как перед Богом истинным… я двенадцать лет вдовею после мужа, и не только что… а можно сказать, как монашка сама себя веду…

(И ведь отлично знает, что мне известен ее возлюбленный – отвратительный мальчишка, буян и лентяй, которому она отдает все свои деньги.) Моя бесчувственность ее разозлила. Она утерла слезы и с явной решимостью меня "донять" зачастила:

– Конечно, я вам не могу угодить перед Иваном. Он и то все хвастается: за меня, мол, барыня… двадцать пять лет ее знаю, еще в бедном положении, говорит, ее помню…

После этой "стрелы" я пытаюсь остановить поток Дашиного красноречия:

– Ты чего от меня хочешь? Чтобы я прогнала Ивана?

– Смею ли я вам указывать, – смиренно возразила Даша. – Вы в своем доме госпожа… А только пожалуйте мне расчет… Потому что хоть я и прислуга, а тоже всякому малодушному лакею над собой измываться не позволю… Конечно, Юрий Павлович и Елена Юрьевна не так об моей службе понимают… (Этот намек обозначает, что она пойдет на меня жаловаться Лили, которой давно хочется спровадить нереспектабельного Ивана). Я поневоле иду на компромисс и говорю:

– Я сделаю Ивану выговор. Подай мне одеться и замолчи. Даша понимает, что я струсила и покорно отвечает: слушаюсь.

Когда я вошла в столовую, Иван суетливо и озабоченно перетирал посуду. Он поднял на меня свое худое, небритое,

жалкое лицо и отрывисто пробурчал:

– Здравия желаю.

И между нами в сотый, а может быть, в трехсотый раз повторилась сцена, которая нам обоим надоела, но выходит так, что это если не совершенная новость, то роковая случайность.

Диалог начинаю я:

– Ты опять пьян?

– Зачем пьян! Это вам Дарья нашипела. Ей бы только расстройство в доме… смутьянка… А вы бы, матушка, сказали ей – брысь! П-шла прочь…

– Да разве я сама не вижу, что ты пьян.

– Ах, Господи! – возмутился Иван. – Да чем же я пьян! С ног не валюсь, перед господами, как следует, – хвостом не верчу, а свиньей никогда не был и не буду.

– За что ты с Дашей воюешь?

Он визгливо захохотал.

– Воюю! Вот тоже слово сказали… Есть с кем воевать! На нее и внимания-то обращать не стоит… Ей и на свет-то незачем было родиться. Разве она человек?! Так, языком звенеть… азиятка…

– И оставил бы ты ее в покое.

– Никак невозможно. Везде беспорядок, в кабинете пыль. У первого в городе присяжного поверенного в кабинете пыль! Ведь это ее касается: на то она горничная. Ведь к вам, Лизавета Константиновна, люди ходят. Ведь совестно. Мое дело принять клиентов. Я уж знаю, кому какой черед. И вдруг – она лезет.

– Да она, может быть, помочь тебе хотела, – говорю я примирительно.

– За что помогать! Что я больной, что ли? Я свое дело сам управлю. А что я безобразия их видеть не согласен – это верно.

– Несносный у тебя характер, Иван. Сам ты вечно в чужие дела мешаешься.

Он уставился на меня своими маленькими, мутными глазами.

– Сказал бы вам на это я словечко… ну, только не скажу. А что до моего характеру, так это вы напрасно. Отличный характер: пьяница я – это правда, так ведь я свое собственное пропиваю, заработанное: и сапоги, и пиджак, и жилетку… такая уж, значит, моя судьба несчастная… Горе мое пьет, тоска.

– И все ты выдумываешь! Никакого у тебя горя нет, а просто…

– Про то мне лучше знать, – угрюмо прервал Иван. – Что я дурак что ли, чтобы пить с радости.

Умудренная опытом, что в этом направлении беседа может тянуться бесконечно, я строго объявляю:

– Довольно! Ссорьтесь с Дашей сколько угодно, только чтобы

я вас не слыхала. Сейчас выйдет Юрий Павлович…

– Юрий Павлович не выйдет, – сообщил Иван и ухмыльнулся…

– Это почему?

– У них ночью был припадок подагры. До шести часов проблажил. Приказали себя не беспокоить, и чтобы клиентов принимали помощники. Страсть обрадовались. Двое уж домой ускакали…

10 октября

Юрий Павлович третий день лежит. У него приступ подагры, который повторяется раза два-три в год. Это не опасно, но довольно томительно. Лили в манеже. Она очень увлекается велосипедом и находит, что это самое действительное убежище от душевных бурь и кислой атмосферы в доме. Помощники ходят на цыпочках (что это за лакеи)! Когда у Юрия Павловича разыгрывается припадок, он делается неузнаваем. Победоносный вид исчезает, словно его никогда не было. Он как-то сразу весь опускается и стареет. Капризен нестерпимо, сердится на весь мир, но так как весь мир равнодушен к тому, что у Юрия Павловича подагра, то гнев его обрушивается на Ивана и на меня. Сегодня швырнул на пол чай: Иван забыл вынуть из стакана ложечку, и Юрий Павлович обжег губы. Боже мой, что было! Иван мгновенно испарился, и он накинулся на меня.

– Зачем пускаешь ко мне этого болвана? Где Даша? Не тряси кровать. Неужели нельзя осторожнее. Ах, пожалуйста, не гляди на меня такой зажаренной мученицей.

В эту минуту Иван совершенно явственно пробурчал за дверью: “Ровно маленький… не таскался бы по ночам и ноги бы не болели”.

Я со страху чуть не упала. Но туча прошла мимо. Юрий Павлович вдруг расхохотался, да так весело, что и я невольно засмеялась.

– Нет, каков нахал, – проговорил он уже совсем равнодушно и прибавил: – не сердись, Лиза. Ведь, если бы не эти “казусы”, ты бы давно забыла, что мы столько лет состоим в счастливом супружестве. Для разнообразия эта иллюзия семейной жизни, право, не дурна.

Как я устала. Я нисколько не сержусь на Юрия Павловича. Наоборот. Мне всегда его жаль и даже как будто неловко видеть его таким “развенчанным”. Мне кажется, его больше всего раздражает в болезни – безобразие… Оттого он никого к себе и не пускает, кроме Ивана и меня (нас он не стыдится), а все эти его крики: пошлите Дашу – пустые слова, один “форс” по выражению

Ивана. Как хорошо, что “иллюзия семейной жизни” продолжается у нас не более двух-трех дней.

15 октября

Вчера у Лили были гости. Надя Кривская пела, Николенька безмолвствовал и влюбленными глазами глядел на Лили. Беленький играл на скрипке, Варя Карцева философствовала, Юлия Вальцова язвила… Башевич, бывший помощник Юрия Павловича, тоже был. Изысканно одетый, розовый с облизанной головой и рыженькими котлетками на щеках, вымытый, выхоленный – он весь точно куплен в английском магазине. Все на нем (и в нем) “первый сорт”. Башевич уже два года, как вышел в присяжные поверенные, и все еще называет Юрия Павловича “дорогой патрон” и возит нам с Лили конфеты, ноты, книги. Юрий Павлович говорит про него: этот, по крайней мере, благодарен.

Я стараюсь стушевываться на вечерах Лили, чтобы не мешать молодежи. Прежде я даже уезжала из дому, но убедившись, что мои старания излишни, теперь спокойно сижу в уголке или в своем кабинете, работаю, читаю, пишу. Молодые люди здороваются со мною и, затем, как бы забывают о моем существовании, – так они заняты собой. В знакомых Лили (она с особенной гордостью настаивает, что у нее нет “друзей”) меня всегда поражает одна черта: они решительно ничему не удивляются. Ни трепета, ни восторга, ни робости, ни сомнений… Они на все глядят с кривой усмешкой. Это у них считается “хорошим тоном ”.

Ближе всех с Лили Юлия Вальцова, дочь модного доктора, старого приятеля Юрия Павловича. У Вальцова огромная практика в светских кругах и богатом купечестве. Он очень не глуп, главное “себе на уме”: В прежние годы у он бывал у нас чуть ли не каждый день, первый сообщал мне о всех “frasques”[60] Юрия Павловича, но убедившись, что это “ни к чему”, предоставил меня собственной судьбе. С дочерью у него оригинальные отношения: они друг друга “не стесняют”. И родители, и дети часто говорят, будто они уважают взаимную свободу, но у Вальцовых это на самом деле… Только, сдается мне, не от избытка нежности это у них вышло.

Юлии двадцать семь лет. Она нехороша собой, знает это и подчеркивает пренебрежение к своей наружности. Жидкие бесцветные волосы зачесаны назад, отчего большой плоский лоб кажется еще больше. На круглых, водянисто-голубых глазах с выпяченными, как у курицы, зрачками несуразно торчит pencenez. Одевается она неряшливо, шляпа всегда мала и сползает

набекрень, платье не то жмет, не то висит, словно чужое. Юлия прошла всевозможные курсы, читает свободно по-латыни, по-гречески и на четырех европейских языках. Но странное дело! Из всех своих книг и наук она высосала лишь то, что пачкает, унижает человека, лишь то, что обнаруживает в нем зверя жестокого, развратного и лукавого. Стремление к вечному, борьба против насилия, любовь к ближнему, самопожертвование, героизм, поэзия, величие гения, божество в человеке – все это от нее ускользнуло. Есть такие мухи, которые питаются только гнилью. В кружке Лили Юлия слывет esprit fort[61]. Другая девица, которую Лили более или менее удостаивает своей благосклонностью – Варя Карцева. Варя полная противоположность Юлии. Высокая, здоровенная, с неподвижным, красивым лицом, она добросовестно слушает все лекции, читает все книги, которые рекомендуют профессора, любит пьесы с направлением и ездила с матерью в Байрет. Мать, богатая вдова, ее очень балует и чистосердечно убеждена, что Варя, если захочет, удивит мир. Совсем не похожи ни на Юлию, ни на Варю и вообще ни на кого из кружка Лили – Надя и Николенька Кривские. Правда, они особенной породы. Мать их была женщиной необычайной красоты и кротости (Николенька ее вылитый портрет), а отец… старый enfant terrible[62], не хочет внять голосу благоразумия. Когда ввели новые суды, он весь ушел в “мужицкие дела”. За ним как-то само собой установилась репутация человека беспокойного. А потом, когда жажда благополучия угомонила самых рьяных, один Николай Степаныч Кривский не изменился и также беспечно проходил мимо золотого руна, как в дни молодости. Он и теперь такой же. Я его очень люблю. И дети у него славные…

Как Беленький играет! Скрипка поет и плачет в его руках. А какой он смешной, этот Беленький – крошечного роста, худенький, черномазый… Невежественен баснословно. Он как-то спрашивал Надю Кривскую, что наливают в электрические лампочки? Он еврей, недавно крестился, но всех уверяет, что родители его были крепостными какого-то польского магната. Вчера он с пафосом рассказывал, что ему во сне явился Николай Угодник и предсказал блестящую карьеру.

– Может, это был не Николай Угодник, а Моисей Пророк, – съехидничал Башевич.

– Я не имею с ним ничего общего, – важно произнес Беленький. Надя захохотала. – Вы напрасно об этом заявляете, Беленький, в этом и так никто не сомневается.

Лили не любит в своем “салоне” щекотливых тем, чуть что, она быстро и решительно меняет разговор.

– Какую я вам mesdames et messieurs, историю расскажу, начала она, – совсем анекдот! А между тем это факт. Я только не буду называть имен.

– Nomina sunt odiosa[63], – сказал Башевич.

– Ах, до чего вы банальны, – воскликнула Надя.

– Господа, я начинаю, – строго проговорила Лили. – Ну-с, вам, вероятно, известно, что я питаю пристрастие к разным talents d'agrement[64]. Для выжигания по дереву мама пригласила француженку. Это соединение приятного с полезным: я выжигаю тарелки, ширмочки и упражняюсь во французской causerie[65], т. е. упражняется она, а я внимаю. Она преинтересная, моя mademoiselle: везде бывает, все знает и не делает никаких заключений. И, вот, она мне рассказала следующее: в одной полу-богатой семье имеются хорошенькие дочки. Их много вывозили и, чтобы утвердить свое положение в обществе, родители решили дать бал на славу. Истратили пропасть денег pour les закуски[66], pour le cotillon[67], разослали приглашения; барышни трепещут от блаженства. Вдруг накануне бала умирает бабушка, которая с ними жила. Переполох! Как быть!? Les закуски se gateront[68] – да и бал придется отложить на год. Подумали-подумали да и заперли la grand'mere[69] в дальнюю комнату. Бал сошел блестяще, все остались очень довольны, et le lendemain on sortit la grand'mere de sa prison[70] и похоронили честь честью. Каково?

– Мерзость, – сказала Надя.

– Свинство, – произнес Николенька.

– Tres fin de siecle[71] – заявил Башевич.

– По-моему, они поступили, как умные люди, – холодно возразила Юлия. – Скажи они своим гостям: бабушка нам надоела хуже горькой редьки! И умерла то она, словно нарочно, чтобы нам досадить – такая зловредная старуха… Ведь гости бы возмутились! А так они с аппетитом истребили закуски, поплясали, всем было весело… И бабушке никакого убытка. Не все ли равно трупу пролежать несколько часов в запертой комнате или на столе…

– Конечно, это предрассудок, – промолвила Варя Карцева и нерешительно прибавила: а все-таки…

– Ой, как страшно, – вдруг взвизгнул Беленький и закрыл лицо руками.

Его музыкальные нервы, очевидно, не могли перенести такого диссонанса.

– А я согласен с Юлией Федоровной, – возвестил Башевич. – Ничего не нахожу в этом казусе преступного.

– Никто и не говорит, что это злодейство, – сказала Лили, – просто, это неприлично.

– То есть, не принято, – пояснила Юлия.

– В таком случае и сжигание трупов неприлично, – заметил Башевич, но его перебила Варя Карцева.

– Это совсем не то, – возразила она голосом, не допускающим сомнений. – Новейшие исследования показали, что сжигание трупов является настоятельной необходимостью. Масса заразных болезней происходит от нашего варварского обычая хоронить покойников. Во Флоренции я видела действие кремационных печей. Мама не хотела меня пускать, но я поставила на своем. Это неприятное зрелище, но, в конце концов, гораздо эстетичнее собрать прах дорогого существа в красивую урну, чем зарыть его в яму.

Надя отрицательно покачала русой головкой и мечтательно продекламировала:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне б все ж хотелось почивать…

– И превосходно, – отозвалась Юлия. – Всыпали “бесчувственное тело” в японскую вазу да и поставили на письменный стол. Чего еще ближе! Ежеминутно любуйся и точи слезы.

Все рассмеялись, кроме Беленького.

– Нет, – воскликнул он в отчаянии, – я не могу слышать такие разговоры, я всю ночь спать не буду. Прощайте, я уйду.

– В самом деле, господа, перестаньте, – сказала Лили, – бедный Беленький весь дрожит. Успокойтесь, Беленький, вот вам яблочко, скушайте и сыграйте что-нибудь.

Надя села за рояль аккомпанировать, и Беленький с таким увлечением заиграл испанские танцы Сарасате, точно хотел убежать от всех страшных разговоров на свете. После музыки, беседа перешла на литературно-театральную почву. Вера Карцева вспоминала, как она в Байрете восторгалась “Кольцом Нибелунгов”, в Вене смотрела “Ткачей”, в Париже “Приведения”, а в Берлине картины Берклина. Башевич находил, что русские художники и писатели “творят” как бы в состоянии гипноза.

– Иного жреца Аполлона так и хочется вытянуть нагайкой: проснись, мол.

Юлия весьма одобрила эту мысль. Потом она стала хвалить поэта Adolph’a Rette, очень довольная, что никто из присутствующих о нем не знал, и не то пропела, не то провздыхала длинное стихотворение, но, заметив, что никто

ничего не понимает, оборвала на полуслове и спросила:

– Кто из вас, господа, читал “Demi-vierges”?[72] Оказалось, что, кроме Нади и Беленького, который вообще по части литературы безгрешен, читали все. Варя, однако, докторально заметила, что считает эту книгу клеветой на женщин, и что ее успех есть лишнее доказательство падения нравов.

– Древние больше умели уважать женщин, чем французы в конце XIX века, – закончила она убежденно.

– Ну, – протянул Юлия, – древние на этот счет могли за пояс заткнуть нынешних французов. Уж они-то знали, чего стоят женщины. Я читала в оригинале Овидия, Тацита и Петрония. Вот отделывают дам! Любо-дорого!..

Варя обиделась (она не знает классических языков) и сухо промолвила:

– Древние никогда не поощряли безнравственность.

– Если она являлась в уродливой форме, – дополнила Юлия, – но в прекрасной – сколько угодно. Вспомните-ка Фрину перед судьями. Об этом даже у Иловайского сказано. Да и что такое “нравственность”? – Эластичный чулок, который можно растянуть на каждую ногу. Дважды два четыре, это я понимаю, это истина. А нравственность, красота, долг – сие есть метафизика.

– Не делай другому того, чего не желаешь себе, – взволнованно зазвенел голосок Нади, – мне кажется это так же ясно, как дважды два четыре.

– Пай девочка, – сказала Юлия. – Сейчас видно ангельскую чистоту сердца. Все это очень трогательно, душа моя, только чересчур старо.

– Да? А что же вместо этого придумали нового? – не без задора спросила Надя.

– Делай другому все, чего не желаешь себе, – ответила Юлия. Николенька, весь вечер молчавший, вдруг бухнул:

– Парадокс, Юлия Федоровна, как бы он ни был остроумен, все же не истина, а мыльный пузырь. Лили немедленно призвала его к порядку.

– Нельзя ли не так грозно, Николенька. Если свет у вас в кармане, не прячьте его, и поделитесь великодушно с нами, блуждающими во тьме.

– Свет у меня не в кармане, Елена Юрьевна, но обезьянство и кривлянье от красоты я отличить умею. Стихи Пушкина – это поэзия, а “стрекочут сороки – сороки стрекочут”, или те “колоннады звуков”, которые сейчас нам читала Юлия Федоровна, извините меня – вычурная чепуха. В Париже ищут изощренных, небывалых ощущений – и мы туда же… Qu’importent les victimes, si le geste est bean[73]. Будьте искренни! Неужели это

может нравиться… Или вот… (Николенька запнулся) книга эта… Demivierges.

Я бы ни за что не дал ее своей сестре.

– Но сами прочли с удовольствием, – вставила Юлия.

– Без удовольствия, и притом я – другое дело, – начал он, но ему не дали продолжать. Все захохотали и заговорили разом.

Николеньку называли рутинером, Прюдомом и добродетельным юношей. Надя попробовала было заступиться за брата, но перекрестные насмешки Лили, Юлии и Башевича заставили ее умолкнуть.

У меня от шума разболелась голова. Я распорядилась ужином и потихоньку ушла к себе. Я часто думаю – доставляют ли эти “rennions”[74] Лили хоть какое-нибудь удовлетворение? Иногда я спрашиваю ее об этом, но не могу добиться ничего, кроме лениво протягиваемый фраз вроде: мои знакомые очень добры и забавны… я не требовательна и т. д.

17 октября

Утром два часа просидели у Louise. Лили примерила платье для базара в пользу голодающих (она будет продавать цветы). Туалет она выбрала скромный, приличный случаю. Белое платье, fichu Marie Antoinette, белая шляпа, белая накидка, словом, “белая симфония”, по стилю наших доморощенных символистов. До чего хороша Лили! Я ни у кого не видала такой матовой кожи, таких золотистых волос и особенно таких глаз! Огромные, иссиня-зеленые, манящие, они, когда она покойна, точно дремлют под черной тенью бровей и ресниц. Не только я, Louise на нее загляделась.

“Quelle taille, quelles epaules[75], восклицала она, накалывая булавками кружево на открытый корсаж. – En fera-t-elle des malherueux, cette enfant!..[76]” Лили тихо посмеивалась, лениво приподнимала свои ослепительные, мраморные руки, вытягивала стройные ноги, перегибалась, шевелила бедрами, чтобы видеть, хорошо ли ложится юбка… Сколько обаяния и силы в таком цветущем женском теле. Даже страшно!.. Во время примерки Louise, по обыкновению, без умолку болтала. Между прочим, она рассказала любопытную историю про одну свою заказчицу, которая несколько лет не платила, так что она уже судиться с ней собиралась. И вдруг, она сразу заплатила все и даже купила модель от Doucet. Угадайте почему, спросила с хитрой улыбкой Louise? Никогда не угадаете, Je vous le donne en cent[77].

– Она получила наследство, – сказала я.

Француженка замотала головой.

– Nenni[78]… Они совсем разорились, погибали. Par bongeur,

monsieur[79] втерся в какой-то благотворительный комитет et voila[80]. Там столько денег que ca colle aux pattes[81]. Я вздохнула. Лили рассмеялась и говорит Louis: – не рассказывайте таких вещей маме, это ее огорчает.

Француженка передернула плечами.

– Quevoulez-vous, madame, c'estlavie[82].

От портнихи пошли пешком и на Кузнецком мосту встретили писательницу Шухмину, которая изредка у нас бывает. Она пишет критические статьи, длинные, скучные, безжизненные. Но все говорят, что у нее замечательная "эрудиция", и все восхищаются. Шумихина пошла с нами и сейчас же засыпала нас рассказами о своих литературных трудах и планах. Она задумала большой роман с развязкой во время коммуны. До сих пор, говорит, никто еще в романе не касался этой эпохи. (Совсем упустила из виду "Debacle" Sola[83].) А может быть, это искреннее ослепление человека, которому "везет". Ведь вот эта Шухмина, что в ней особенного? Обрюзглое, самодовольное лицо, произносит общие места, словно невесть какие перлы сыплет. И это действует. Уверенность в себе – половина успеха. У меня вот нет никаких иллюзий относительно моей персоны. Я дрябла, ленива, не умею ни добиваться, ни бороться, не умею даже ничего сильно желать. А ведь подумаешь, что и я когда-то мечтала – смешно сказать – о славе! Когда мне дали медаль за "Чумичек", я и впрямь вообразила себя художницей. И, как знать, не влюбись я в Юрия Павловича… Ах, как он меня скоро отрезвил. Теперь мои идеалы гораздо проще; не притворяться, в самом деле, ничего ни от кого не ждать, (потому что я, глупая, все еще жду), не бояться ни сцен, ни гостей, ни звонков, не думать о чужом счастье и собственном убожестве…

18 октября

Что за ужасная погода. Сумерки начинаются с утра. Моросит дождь, ветер, холод, слякоть… Мне нездоровится. Тупая боль в боку сверлит безостановочно день и ночь и в довершение удовольствия – мигрени.

24 октября, 1 ч. ночи

Произошло что-то невероятное по безобразию и ординарности. Я подслушала… да, да, подслушала разговор Лили с Юлией. У меня была мучительная мигрень, и я прилегла на кушетку в маленькой уборной рядом с будуаром Лили. (Даже дверь была не заперта, а только прикрыта.) В уборной темная штора и, когда у меня мигрень, я всегда укрываюсь в этот уголок. Сначала я и не думала их слушать и даже вздремнула. Вдруг

Лили заговорила, да таким усталым, грустным голосом, какого я у нее не подозревала. С меня мигом соскочил сон, и я стала слушать, слушать самым постыдным образом.

– Все это не разрешает мучительного вопроса, – медленно произнесла Лили. – Один ложный шаг – и вся жизнь испорчена.

– Нужно ясно знать, чего желаешь, – сказала Юлия.

– А вы это знаете, Julie?

– Я ничего не желаю, – возразила Julie. – Я довольна. Я встаю в два часа дня, ем и пью только сладкое, читаю книги, о существовании которых не только дамы, но и “подающие надежды” молодые ученые не догадываются. Я презираю ходячую мораль, но никогда против нее не ополчаюсь, прикидываюсь идиоткой, чтобы дурачить умных людей… Я равнодушна к народу, к попечительствам, к толстовщине, ко всякой филантропии, хотя говорить об этом могу сколько угодно и молчать могу двести часов подряд. Я никого и ничего не боюсь – я внутренне свободна. Хочу – читаю Штрауса (он гораздо смелее Ренана), потом возьму да и побегу к Иверской. Я старая дева, уродливая и, вместо того, чтобы приходить в отчаяние, решила, чтобы мне служил весь мир. И он отлично мне служит (Юлия весело захохотала). Писатели всех времен писали для меня книги, художники – картины, поэты – стихи… Цари забавляли меня войнами, знакомые каждый день потешают меня своей глупостью, своими романами и сплетнями… Несмотря на мое безобразие, мне несколько раз предлагали “руку и сердце”… Mais pas si bete! [84]Если я пожелаю обниматься и целоваться, то сумею это устроить без аккомпанемента “Исаия, ликуй!”. Но пока мне не хочется. Мужчины мне внушают отвращение. Разговаривать с ними иногда приятно, особенно с первокурсниками – совсем воробьи. А люблю я только вас, Лили! Вы моя гордость, моя радость. Я могу по целым часам на вас любоваться. Вы красавица, Лили, настоящая, редкая красавица, а красота – сила. Вы можете все себе покорить, только не бойтесь. Вы должны царить и будете, только, повторяю, не бойтесь…

Тут она стала быстро и часто целовать Лили. Лили шумно отодвинулась, что-то упало на пол – вероятно, книга.

– Перестаньте! – прикрикнула Лили. – Какая у вас несносная манера лизаться. А еще смеетесь над сентиментальностью старых дев…

– Так ведь это я в одну вас, Лили: в вас я влюблена, – оправдывалась Юлия.

Лили капризно топнула ногой.

– Какой вы вздор несете. Надо говорить серьезно, а вы все с глупостями.

– Не сердитесь, Лили. Не запрещайте мне дурачиться. Это нисколько не мешает моей серьезности… Ну, на чем мы с вами остановились?..

Лили помолчала немного и потом тихо промолвила: – Будьте откровенны, Julie. Что мне по-вашему делать?

– Выходить замуж, – ответила Юлия.

– Ах, это я и сама знаю… да за кого?

– За несметного богача, ибо, что бы ни говорили добродетельные люди, деньги были, есть и будут все.

– Где же я найду такого набоба, – воскликнула Лили. – Все богатые купцы переженились. Да я и не нравлюсь купцам. Дроздов мне предпочел свою жену – обыкновенную смазливую девчонку.

– Что Дроздов, – возразила Юлия. – Мелкая сошка! Я знаю, за кого вам надо выходить.

– Ну?

– Боюсь, вы рассердитесь…

– Да говорите же…

– За князя Двинского.

Лили вскочила и стала бегать по комнате. (Я еле удержалась, чтобы не вскрикнуть).

– Julie, да ведь он идиот, клинический идиот, больной, противный…

– Тем лучше, – спокойно заметила Юлия.

– Вы рехнулись, Julie… или вы не видали князя.

– Извините, он вчера у нас завтракал. Он лечится у моего фатера. Поймите, Лили, у этого идиота миллион годового дохода, громкое имя… Все это будет ваше, а вместо мужа – манекен, который никогда и ни в чем не будет вас беспокоить… За это я вам отвечаю.

В комнате наступило продолжительное молчание. Наконец Лили проговорила:

– Это невозможно. Вы не знаете маму. Она способна сойти с ума (!) (О, как радостно забилось мое сердце… Значит, она все-таки меня любит).

– Конечно, если вы будете спрашивать позволения у вашей мамы, – насмешливо сказала Юлия, – вам придется выйти за сельского учителя или за земского врача. Лизавета Константиновна прекрасная женщина, но она отравлена ядом российской гражданской скорби. Сколько это ей дало счастья – вам лучше знать…

– И потом, где же я могу встречаться с князем? – задумчиво произнесла Лили. – Он был как-то у папы по делу… Он совсем не нашего круга…

– Это уж моя забота, – перебила Юлия. – Я с ним сдружусь и влюблю его в вас. Вы только разрешите мне действовать. А уж как мы с вами заживем, моя королева.

– Нет, нет, – закричала Лили, – и думать не смейте… Больше я не стала слушать и тихонько, как воровка, выскользнула из уборной. Вот она какая, эта Юлия! Недаром она всегда была мне антипатична… Что делать?.. Голова идет кругом. Надо все сказать Юрию Павловичу.

27 октября

Говорила с Юрием Павловичем. И зачем только я говорила?.. Точно я его не знаю…

– Вот как, ты уж у дверей стала подслушивать, – воскликнул он, рассмеявшись. – Это хорошо! Ты подаешь надежду на исправление. Не доходи только до крайности, а то жена Сомова пробуравит дырочку в его кабинет, чтобы наблюдать, как он принимает клиенток.

Я хотела ему сказать, что мне до такой степени все равно, что бы он ни делал, – но, сообразив, что из этого может выйти совершенно ненужный обмен мыслей, попросила его отвечать мне серьезно.

– Да дело-то несерьезное, – сказал он. – Девчонки болтают между собой вздор, а у тебя уже драма готова. Однако, эта уродина Юлия оригинальна. Я считал ее идиоткой, а выходит даже совсем напротив – российская декадентка – ничтоже сумняшеся. Надо будет к ней присмотреться. Решительно нет ни одной неинтересной женщины. Это бесконечная гамма…

Я прервала монолог, который слышала сотни раз:

– А если она вашу дочь сделает такой декаденткой, вы будете довольны?

Он насупился:

– Ах, оставь, пожалуйста. Лили слишком умна, и я за нее не боюсь.

– Завидую вашему спокойствию, – сказала я.

Он покраснел:

– Нельзя ли без такого величия, Лиза. Оно тебе вовсе не идет. И что это у тебя за привычка, когда ты чем-нибудь недовольна, говорить мне вы. Кажется, умная женщина, а не понимаешь, что в известные годы – такие институтские манеры – смешны. Это не значит, что я тебя считаю старухой, – прибавил он галантно, – ты удивительно бываешь иногда мила. А стройна!.. И как это ты ухитрилась?! Не будь ты моей женой, я бы стал за тобой ухаживать. И отчего ты так холодна?.. Ну ко мне – это понятно! Я не распинаюсь за эпоху великих реформ и судьба женских

медицинских курсов меня тоже не очень беспокоит. Но Кривский! Он за все скорбит. И суд присяжных, и земство, и школы, и цензура, и Некрасова читает со слезой, и влюблен в тебя…

– Прощай, мне некогда.

– Куда ты? Посиди. Я тебе покажу письмо одной знакомой тебе, Nitouche…

– Не интересуюсь.

– Ах, какой у тебя несносный характер, Лиза. Портишь жизнь себе и другим. Ну, Бог с тобой, иди… А за Лили не тревожься. Она себя в обиду не даст.

Тем и кончилось совещание почтенных родителей о судьбе единственной дочери… А, может быть, Юрий Павлович прав, и я в самом деле преувеличиваю. Лили умница. Она ведь крикнула Юлии: “Не смейте об этом заикаться!”

1 ноября

Темно, холодно, сыро. Боль в левом боку так усилилась, что не могу ни читать, ни писать… Как невыносимо ползет время…

10 ноября

Видела во сне, что я очутилась на отлогой, скользкой крыше, покрытой тающим снегом. Кругом – пустота, возможности удержаться или зацепиться за что-нибудь, ни малейшей. Тогда я напрягла все усилия, чтобы доползти до длинного конца крыши, чтобы прожить еще хоть несколько мгновений… доползла – и полетела в пространство. Я проснулась вся холодная и очень обрадовалась, что жива…

12 ноября

Юрий Павлович отделывает заново дом. Кабинет у него теперь невиданный. Огромная, высокая комната с гигантскими окнами в сад. Чудная библиотека. Подавляющий величием письменный стол, строгая мебель, картины, статуи, гравюры, испещренные автографами портреты… Простой смертный, попав в этот “храм”, должен сразу ощутить свое ничтожество. Комнаты Лили тоже очень изящны – они почти готовы. Я просила не трогать мои кельи: Юрий Павлович не протестовал.

20 ноября

На той неделе совсем поздно, чуть не в десять вечера, пришел Кривский Николай Степанович. Лили с Юрием Павловичем были в театре – на Мазини, а я сидела у себя и, пользуясь свободой, по обыкновению писала.

Кривский последние годы почти не бывает у нас, и я очень

удивилась и обрадовалась, увидав его. Он пришел сообщить мне, что Николенька получил золотую медаль за сочинение и оставлен при университете. Я его поздравила, велела подать вина и, ради счастливого события, разрешила ему курить в моем кабинете. Мы долго болтали о всякой всячине, вспоминали молодость. Ах, эти воспоминания, Как они съедают жизнь!.. Шутя я ему сказала:

– А ведь Николенькина медаль значит, что мы с вами скоро “дедушки”, милый друг.

Он отрицательно покачал головой:

– Я пока гарантирован. Надя не во вкусе нынешних “лихачей”, а Николенька влюблен в Лили, которая за него не пойдет. Ведь не пойдет? – спросил он и пытливо заглянул мне в глаза.

– Не знаю, Николай Степаныч.

– Ну и слова богам, – промолвил он.

– Очень мило и любезно. Merci.

Он засмеялся:

– Напрасно вы обижаетесь, Лизавета Константиновна. Ведь вы знаете мое мнение на сей предмет. Жениться на красавице – несчастье. Красавиц на свете мало и на них слишком большой спрос, а где большой спрос, там и драка. Не могу же я собственному сыну желать, чтобы он проводил дни в военных действиях.

– Ну, ладно. Не хотите со мной родниться – и не надо. Но, по крайней мере, расскажите мне что-нибудь хорошее, а то я совсем захирела.

– Что так, голубушка? Нервы? Или Юрий Павлович чудит?

Признавайтесь-ка старому другу.

Я промолчала. Он понял, что я не хочу “признаваться” и, как ни в чем ни бывало, продолжал:

– Так вы требуете “нового и хорошего”. Но… das Neue ist night gut und das Gute ist nicht neu[85], – говорят немцы. Кроме “Панамы” и юбилеев ничего, кажется, нет. Зато юбилеев, сколько угодно. И все юбиляры, конечно, спасители отечества и носители заветов, а посему – да будет им триумф. Я очень люблю торжественные чествования (чуть не сказал проводы). Слушаешь, слушаешь, да и замечтаешься: эх, кабы нам позволили, какие бы мы были орлы…

– И отчего везде так пасмурно, Николай Степаныч?

– Не везде, голубушка, а лишь в тех местах, где люди паче всего жаждут добычи. Схватил кус – и превосходно. У нас к тому же и полоса неурожайная выдалась. Если благородный мученик, то непременно посредственность, неудачник, лежебока или нытик. А сила человека не в необъятности его мечтаний и

неизмеримости вожделений, а в деятельности. Когда же вместо деятелей – дельцы, – только и остается, что ликовать на юбилеях. И отчего Юрий Павлович не привезет вас на какое-нибудь чествование? Все-таки – развлечение.

Я даже рукой махнула:

– Полноте, что мне там делать? Я было хотела филантропией заняться, и то у меня ничего не вышло. Основалось тут “Общество Предпраздничной Помощи”. Назначили и меня объезжать бедных. И до того мне стыдно стало выпытывать, что им нужно, что не нужно… Так и бросила. Никуда я не гожусь…

Кривский засмеялся:

– Что вы меня не позвали? Я бы с таким удовольствием посмотрел на вас при “исполнении обязанностей”. Воображаю, как вы были жалки.

– Зато вы чересчур откровенны, Николай Степаныч. Вот уж вас никак нельзя упрекнуть в излишней любезности.

– Я не умею быть любезным, – возразил он. – А мою нежность вы так давно и так беспощадно отвергли… Может, вы стали добрей?.. Скажите… ибо “все тот же я”.

– Николай Степаныч, вы только что спрашивали – пойдет ли моя дочь за вашего сына.

– Ну-ну, будь по-вашему, – согласился он. – А филантропка вы все-таки смешная, и это не только не дерзость, а комплимент в моих устах. Ибо, что такое эта пресловутая частная благотворительность, позвольте вас спросить? Утонченное лицемерие и жестокая насмешка. Беднякам, видите ли, надо доставлять необходимое. Но ведь самое необходимое и бывает для человека то, что благотворитель считает “излишеством”. Богатый купец строит больницу для людей, которые потеряли здоровье, работая на него с утра до ночи и с ночи до утра. Ясли, приюты… Воля ваша, а мне претит это искусственное разведение рабочего скота. Кривский вошел во вкус и, вероятно, долго бы еще громил ненавистных филантропов, но вдруг раздался такой нетерпеливый звонок, что он вздрогнул и уморительно прошептал:

– Ой, батюшки, страшно!

Послышались быстрые шаги Лили и уверенная поступь Юрия Павловича. Дверь распахнулась, и Лили, возбужденная, вся розовая, остановилась на пороге, прекрасная, как видение.

– Как это приятно, – начал Юрий Павлович, здороваясь с Кривским, – мы слушали Мазини и внутренне терзались, что она тут одна…

– …И вдруг оказывается даже совсем напротив, – подхватил Кривский и прибавил, – помолчи минуту, дай мне полюбоваться

на Лили. И родятся же такие красавицы на пагубу бедным людям. Как хотите, Лили, а я должен вас поцеловать. Лили улыбнулась, подошла к Николаю Степанычу, обняла его за шею и протянула ему одну за другой свои щеки. (Как она может быть обворожительна, когда захочет). Кривский нежно поцеловал ее и погладил по голове.

– Ты, как думаешь, – обратился он к Юрию Павловичу, – ведь таким, как она – все можно.

У Лили вспыхнули глаза, а Юрий Павлович с самодовольной усмешкой промолвил:

– Не кружи девчонке голову, маститый Дон-Кихот, она и то много о себе воображает.

Иван внес самовар. Я стала разливать чай.

– Как Мазини сегодня пел, восторг! – говорила, прихлебывая чай, Лили. – его засыпали цветами. А Дроздова была в белом бархатном платье с рубинами et decolletee! Папа с нее не сводил бинокля. Николай Степаныч, кто лучше, я или Дроздова? Кривский спросил, какая Дроздова? А!., да ведь это “c’est moi”[86], воскликнул он и расхохотался таким заразительным детским смехом, что и мы, не зная в чем дело, тоже невольно смеялись за ним. Успокоившись, он нам рассказал, как к нему явился младший Дроздов жаловаться на старшего брата (они никак не могут разделить наследство). Чтобы расположить Николая Степаныча в свою пользу, Дроздов младший говорит ему: “Вы не верьте моему брату. Он только прикидывается либералом, а на самом деле это такой человек… Ну, одним словом – вроде Людовика XIV: его личное “я” – c’est moi.

Юрию Павловичу понравился рассказ. Он несколько раз повторил: c’est moi, а Кривский, целуя руки Лили, ласково приговаривал: “Конечно, вы лучше, моя прелесть. Куда же этой волоокой купчихе до вас? Вы – Лорелея, а она красивая баба.

– Почему же все за ней бегают? – возразила Лили, и в ее голосе явственно зазвучали гневные ноты.

– Денег у ее мужа много, Лиличка. А уж это такой закон: у кого много денег, тому на земле оказывают божеские почести. Почему все так кричат теперь о Панаме? Потому что ограбили богатых. Бедных грабят каждый день, но так как на этом зиждется общественное благоустройство, то никто этим не возмущается. А попробуй кто украсть серебро у Дроздова! Мы с Юрием Павловичем первые закричим: караул! Потому нельзя знать…

Может быть, и нам от этого крупица перепадет…

– Ну, брат, зарапортовался, – довольно холодно заметил Юрий Павлович и зевнул.

У Кривского насмешливо дрогнули губы.

– И то правда, – сказал он и стал прощаться.

24 ноября

Сегодня ездила с Лили кататься по первой пороше. Вчера повалил снег, санный путь установился сразу и уже не слышно, слава Богу, этого одуряющего стука колес.

29 ноября 2 ч. ночи

Ужасно устала, но чувствую, что не засну, если хоть капельку не отведу душу. Как я ни отупела, но иногда и мне невмоготу становится, и я готова крикнуть всем этим комедиантам: опомнитесь… ведь стыдно… Я, конечно, не кричу, а скромно разливаю чай, и, как настоящий трус, изливаю свое негодование втихомолку: оно безопасно и безнаказанно. И все-таки я un cheveu dans le beurre[87] Юрия Павловича. Правда, это небольшое утешение и совсем ничтожная победа. Сегодня собрались у нас его прислужники: заплывший жиром Сомов, которого сам Юрий Павлович за глаза никогда иначе не величает, как “бестия”, Котулин, готовый ежеминутно ринуться, куда укажут “столпы”, и Башевич. Все были не в духе. Я знала, в чем дело. Еще утром Юрий Павлович бросил мне на стол новую книжку “толстого” журнала (с какой пренебрежительной усмешкой он произносит это слово!) сказав:

– Порадуйся, как нас отчитал твой друг Кривский.

Я прочла статью. В ней без всяких личных намеков и бранных выражений очень живо и не без юмора обрисована коллегия юристов “нового образца”, которая с легким сердцем отреклась от заветов едва минувшего прошлого и откровенно начертала на своем знамени: бей лежачего! В конце статьи говорится, что торжество этих близоруких “практиков” кратковременное, что дело их – все равно проигранное дело, ибо нет такой силы, которая могла бы задержать течение жизни, а они – слуги застоя, т. е. смерти…

Не успел Сомов со мной поздороваться, как сейчас же закипел.

– Каков шут гороховый Кривский! И чего ему?! Сидел бы тихо. Нет, надо поломаться. Смотрите, мол, каков я есть сосуд цивической доблести… не то, что подлецы Юрка и Сом.

– Он никого не называет, – сказала я.

– Еще бы он назвал, – ядовито вставил Башевич.

– Трус, оттого и не называет, – заявил Котулин. – А впрочем, я не читал его филиппики, только слышал. Нет ли у вас, Лизавета Константиновна, этого дурацкого журнала?

Я принесла книгу и, по общей просьбе, прочла вслух статью.

Я читала с большим одушевлением. Я чувствовала, как они злятся и, что греха таить, – это доставляло мне, не скажу удовольствие, но некоторое удовлетворение.

Одну минуту я подумала: а что, если бы теперь вошел Кривский? И мне представилась картина, как Сомов и Котулин с поднятыми кулаками бросаются на милого Николая Степаныча.

Когда я кончила, лица гостей были красны и как-то растеряны. Юрий Павлович метнул на меня злобный взгляд и взял из моих рук книгу.

– Что значит декламация, – произнес он насмешливо. – Чтение Лизы мне напомнило известную пародию на пафос немецких пасторов. Шутник, то повышая, то понижая голос до трагического шепота, читает немецкую азбуку. Выходит, как будто проповедь, а на самом деле a-b-c… Разрешите мне, почтенные коллеги, прочесть вам эту шумиху попроще.

И Юрий Павлович, развалившись в кресле, стал читать… с комментариями, с прибавлением смешных словечек, с уморительными интонациями и жестами. Хорошие, честные слова зазвучали пошло, глупо, детски напыщенно… Коллеги покатывались, слушая Юрия Павловича. Я отлично понимала, какое это с его стороны недостойное гаерство, но не могу не признать, что такое умение – своего рода tour de force[88]. Когда хохот затих, Котулин, самый рьяный из приверженцев Юрия Павловича, заметил:

– А ответить что-нибудь этому Цицерону обязательно.

– Полноте, – возразил Юрий Павлович, – это значило бы играть на руку врагам. Вся наша сила в том, что мы ни на что не отвечаем. Мы стоим на твердой почве национальных интересов, национальных верований, непоколебимых традиций – и всякую трату времени на препирательства с нашими семинарскими либерпансерами я считаю вредным. Наша задача слишком высокая… и т. д.

Коллеги окончательно возликовали и, наперерыв друг перед другом, стали излагать свои чаяния и надежды. Я в миллионный раз слушала истины о том, что пора отрешиться от рабского страха перед чуждым мнением и затрепанными словами.

– Свобода совести! – иронически восклицал Сомов, – веротерпимость! Нашли чем пугать… Мы, слава Богу, не гимназисты.

Юрий Павлович поморщился:

– В этом я не совсем с вами согласен, Сомов, – заговорил он на самых бархатных нотах. – Но противники наши ошибаются, обвиняя нас в неуважении к таким элементарно-культурным принципам, как свобода совести. Мы ничьей совести не насилуем,

но не желаем, чтобы насиловали и нашу совесть. Мы никого ни к чему не принуждаем, но смею думать, что и мы свободны не допускать в наше святое святых чуждый, враждебный, разрушительный элемент.

Я не могу передать той оргии восторга, который обуял единомышленников и друзей Юрия Павловича. Котулин бросился его целовать. Жирный Сомов с умилением лепетал:

– Золотые слова, золотые уста…

Башевич благоговейно взирал то на патрона, то на меня, и вздыхал, думая, вероятно, что таким образом он угождает обоим. За ужином Сомов называл Юрия Павловича апостолом, подвижником и государственным человеком, а меня старался уверить, что он только кажется грубым материалистом, а на самом деле чистокровный эстетик, что он плачет, слушая Шопена (это правда) и готов часы простаивать на коленях перед “тоненькой девочкой с нежной шейкой и этакими худенькими, трогательными плечиками”. Сомов еще долго бы изливался на эту тему, но его прервал Котулин. Он вдруг ударил по столу и грянул: “А мой совет турнуть Николку из сословия… паршивая овца… По моему, кто не за нас, того в шею… а все эти священные заветы – одна ерунда”.

Это было уже слишком. Сомов расхохотался, Башевич испустил осторожное хе-хе, а Юрий Павлович резко заметил: “Ты пьян, Котулин, но все же надо знать меру. Это неприлично”.

Котулин струсил:

– Ну, насчет заветов, это я, кажется, в самом деле того, махнул немножко. Что ж! Я не упрям и беру свои слова назад. Это и в парламентах случается.

Когда компания разошлась, я не вытерпела и, посмотрев прямо в глаза Юрию Павловичу, спросила:

– Скажи мне, зачем тебе это нужно?

– То есть, что собственно, – начал он, будто не понимая.

– Ты отлично знаешь, что. К чему ты притворяешься со мной?.. Меня ведь ты не обманешь. Я бы желала знать, какая у тебя цель… Ведь тебе даже невыгодно продавать свою душу. Сколько бы ты ни старался, там на тебя всегда будут смотреть как на подозрительного перебежчика.

– Нельзя ли без таких изречений, – остановил он меня. – Даже странно, ты такая со всеми учтивая, со мной – груба… Да никак ты плачешь? Лиза, перестань… что за сцены?! Право, это смешно.

Я действительно плакала (плачу и теперь). Я прекрасно сознавала, что передо мной – чужой человек, что моя настойчивость наивна, и все-таки взяла его за руку и, как

глупенькая институтка, твердила:

– Юрий, скажи мне, зачем тебе это…

Он пожал плечами:

– Ты все равно не поймешь меня, Лиза. Может быть, я мечтаю о карьере… Если бы ты любила меня по настоящему, ты бы верила, что я не вульгарный честолюбец. А пока что, иди спать и не мучь ты свою бедную голову, моя неисправимая фантазерка. – Он погладил мои волосы и хотел обнять, но я отстранилась. Он засмеялся, сказал – как хочешь, покойной ночи, и, громко зевая, ушел к себе…

О, как мне стыдно… И с чего я к нему пристала! Точно я не знаю давным-давно, что мы можем разговаривать лишь о деньгах, прислуге, выездах, платьях и сплетнях.

10 декабря

Пролежала неделю. Теперь уже нет сомнения – у меня опухоль в боку и ее нужно вырезать. Наш домашний доктор настаивает на поездке заграницу. Но об этом пока и думать нечего – зимой столько дела по дому… Может быть к весне…

Лили меня изводит. Прежде она хоть капризничала, придиралась, а теперь она напустила на себя холодное, величественное презрение – словно ее невесть как оскорбили. И все эти мины только со мной, с отцом она очень мила… По целым дням пропадает у Юлии… Та сдержала обещание и познакомила ее с князем Двинским. Я тоже с ним познакомилась. Он был два раза у Юрия Павловича – второй раз он остался завтракать. Юлия тоже явилась и, не будь князь такой жалкий, я бы подумала, что они сговорились. А он и в самом деле жалкий. Это совершенно высохший маленький человек, неопределенных лет, между сорока и шестьюдесятью, с желтым, длинным, безволосым лицом и мутным взором. Он очень молчалив, скромно одет, у него прекрасные манеры, но он как-то совсем не похож на живого человека. Это усовершенствованный автомат из papier mache[89]. Когда к нему обращаются с вопросом, он отвечает не сейчас, а сначала весь насторожится и, после некоторого колебания, промолвит: “благодарствуйте”… Это слово он употребляет особенно часто, точно оно ему легче дается. Лили его прямо гипнотизирует – он не спускает с нее глаз. За завтраком она ему сказала:

– Мне говорила Julie, что у вас, князь, замечательная коллекция старых итальянских картин.

Он испуганно взглянул на нее, потом на Юлию, изогнул шею и, выпятив нижнюю губу, запинаясь, пробормотал:

– Да, большая галерея… если угодно посетить…

– Мне очень хочется, но это зависит от мамы, – ласково ответила Лили.

Князь окончательно смутился, с видимым усилием отвел взор от Лили и с такой беспомощной улыбкой обратился в мою сторону, что я поспешила его успокоить:

– Непременно, князь, мы воспользуемся вашей любезностью.

Тогда он три раза, не останавливаясь, повторил:

– Благодарствуйте, благодарствуйте, благодарствуйте. На меня визит Двинского произвел какое-то двойственное впечатление. Мне очень жаль этого несчастного, которого судьба, как злая волшебница в сказке, одной рукой осыпала всеми дарами земными, а другой отняла даже то, что доступно самому горемычному бедняку. И, вместе с тем, у меня точно гора с плеч свалилась. Как жених, как муж, он до такой степени немыслим, что не только Лили – ни одна горничная за него не пойдет.

Когда князь уехал, Лили сказала нам, смеясь:

– Каков! Julie уверяет, будто он в меня влюблен.

– Во всяком случае, советую тебе не хвастаться этой победой, – сухо возразил Юрий Павлович. – Тебя все засмеют.

– Право, князь не так глуп, как кажется, – начала Юлия.

Я ей на это заметила, что его никто и не считает глупым, а только душевнобольным…

– Вы ошибаетесь, Лизавета Константиновна, – мягким тоном опять начала Юлия. – Мой отец лечит князя и говорит, что у него наследственный недостаток речи, но умственно он совершенно здоров, и во многих отношениях князь – необыкновенный человек. Например, его благотворительность. На его средства существуют целые *учреждения*…

– Совершенно верно, – сказала я, – но князь в этом неповинен: все это делает его сестра, баронесса Дамбах.

– Уверяю вас, – возразила Юлия, но тут в наш диспут вмешался Юрий Павлович.

– Ах Юлия Федоровна, – воскликнул он, – какая мне идея пришла в голову. Отчего бы вам не прибрать к рукам князя. Выходите за него замуж. Это будет чрезвычайно оригинально.

Юлия усмехнулась.

– Я бы, может, вышла за вас, Юрий Павлович, – отчеканила она, – и то только может быть, а не наверное.

Несмотря на весь свой апломб мой неотразимый супруг смягчился.

– Ах вы, бедовая девица, – заговорил он игриво, но Юлия так упорно посмотрела на него своими прищуренными куриными глазками, что он покраснел и затих. В эту минуту, словно на выручку, подоспела краснощекая Варя Карцева. Она влетела в

комнату, как буря, и с громким смехом принялась рассказывать, как они только что устроили овацию профессору, как струсила инспектриса, как хороша была Дузэ в “Норе” и настойчиво стала звать Лили к себе, чтобы прочесть ей свой реферат о Бьернсоне. Лили также настойчиво отказалась. Вера обиделась, заметила Лили, что она эгоистка, но, как светская особа, посидела еще немного, поболтала с нами, сообщила, что ее обманули в антикварном магазине: вместо гобелена продали старую изъеденную молью тряпку, потом вдруг вспомнила, что у нее куча дел и, не переставая хохотать, распрощалась со всеми и исчезла.

– Отличная барышня, – похвалил Юрий Павлович Варю, как только за ней закрылась дверь… Вы о ней какого мнения, Юлия Федоровна?

– Никакого, – отрезала Юлия.

– За что так сурово? – сказал Юрий Павлович. – Варенька – девица заметная. Только зачем она так оглушительно смеется? Впрочем, – прибавил он, – смяться и плакать умеют лишь немногие из вас, mesdames, а между тем это чуть ли не главная ваша прелесть. Странно, что матери не обращают внимания на этот пункт воспитания. Когда слезы катятся, словно перлы по щекам, и их тихо, или порывисто, смотря по темпераменту, утирают батистовым платком – это изящно. Но визг, всхлипывание, красный нос моментально превращают хорошенькую женщину в бабу. Ведь учат же актрис… почему не дисциплинировать своих дочерей?

– Помилуйте, – возразила Юлия, – как можно стеснять “святые слезы”? Икать и чихать – неприлично, но реветь, как корова – сколько угодно.

– О, да вы совсем милая, – весело промолвил Юрий Павлович, подсаживаясь ближе к Юлии. – Она, наконец, раздразнила его своей отвагой. И Бог с ними! Только бы она Лили оставила в покое.

15 декабря

Я часто думаю, отчего Лили не нравятся молодые люди? Правда, молодежь, которая бывает у нас, не особенно интересна, но ведь – она много выезжает, видит много народу, может приглашать к себе всех, кто ей нравится. Я ее никогда не стесняла, да и Юрий Павлович, надо отдать ему справедливость, балует Лили и, по своему, очень ее любит. И потом… в двадцать лет любишь любовь…

Пусть это будет глупо, с тех пор как мир стоит и солнце светит – соловьи поют весной, и люди на заре жизни любят без расчета и без оглядки. А моя дочь, точно старый бухгалтер, все

боится, как бы ей не просчитаться. Конечно, это благоразумно, только холодом веет от такого благоразумия. Для Лили главное – имя. Она признает право на существование лишь за людьми с “положением”. А какое может быть положение у талантливого молодого человека, если он не богат? Одно время мне казалось, что она неравнодушна к Николеньке Кривскому. Он так красив, этот белокурый великан, с ясными синими глазами и милой улыбкой. Когда он получил медаль, Лили стала к нему гораздо ласковее, он начал бывать у нас днем, они вместе читали, гуляли. Моя дочь, обнаруживавшая до тех пор полное хладнокровие к процветанию отечественной науки, вдруг стала произносить такие слова, как – магистерский экзамен, диссертация, сравнительная филология… Но вот недавно приходит Николенька и с сияющим лицом объявляет, что ему обещано место учителя русского языка в новой гимназии. Лили поглядела на него, как на человека, который внезапно сошел с ума.

– Неужели Николай Степаныч не мог поддержать вас до экзамена? – сказала она.

– Я решил это дело побоку, – добродушно возразил Николенька. – Очень уж долго. По крайней мере, еще лет пять простоишь в стороне от жизни. А главное, – продолжал он, – меня привлекают малыши. Каким я буду профессором – бабушка надвое ворожила, а учителем я буду порядочным, это я чувствую. Я люблю детей… и жаль мне их очень. Бедные! Из детской – да прямо в рекруты.

– Какое у вас нежное сердце, – иронически протянула Лили. – Я уверена, что мальчишки будут вам запускать в нос бумажки и творить всякие каверзы. Дети ведь не любят размазней.

Бедный Николенька даже побледнел.

– Елена Юрьевна, я вас не понимаю… Когда же я был размазней…

– Добродетельный “pion”[90] – всегда размазня, – убежденно заметила Лили.

– Но, Елена Юрьевна, я не “pion”, – я учитель, – защищался Николенька, который, как все сильные люди, не умел бороться против насмешки. – А я-то думал, что вы порадуетесь со мной, ободрите меня, – прибавил они грустно.

Лили засмеялась коротким, злым смехом. – Я и радуюсь, и одобряю, но в умиление не могу прийти, извините… Я для этого недостаточно передовая девица… Впрочем, вы мне покажитесь в синем фраке с медными пуговицами. Если этот костюм вам пойдет, я, в знак моего благоволения, подарю вам фуляровый красный платок и табакерку. Наш учитель арифметики нюхал табак и утирался клетчатым платком. Я у него раз вытащила

платок. Он обозлился и всему классу поставил единицу. Но он был рутинер, а вы будете гуманный педагог, новатор.

Чтобы прекратить это издевательство, – я обратилась к Лили с каким-то вопросом, но она сверкнула на меня своими русалочьими глазами и продолжала пилить Николеньку, небрежно посмеиваясь, точно не замечая, что ему больно, что у этого большого сильного мужчины, как у ребенка, дрожат губы.

– Недавно, – быстро говорила Лили, – мы с мамой были в одном доме, где живут по последним словам науки. Вдруг подходит мальчишка и сзади хлоп отца по спине. Отец обернулся и спрашивает: “Костя, это ты сделал?” Костя захихикал и говорит: “Я”. А отец ему: “Хорошо, мой друг, что ты сказал правду”. Вот и вас также будут колотить ученики…

Николенька был уничтожен. Теперь он ходит к нам очень редко. Лили обращает на него не больше внимания, чем на Ивана.

20 декабря

Юрий Павлович купил по случаю целую библиотеку какого-то разорившегося барина. Чего только тут нет! Классики, энциклопедисты в старинных кожаных переплетах, мемуары и романы от “Ромула до наших дней”. Я с упоением перечитываю Бальзака. Он раздражает иногда вычурностью, вульгарностью, навязчивой аффектацией. Но какое трепетание жизни в “Бедных родственниках”. Сколько горя, обиды! Мне почти также жалко “cousin Pons”[91], как и нашего Акакия Акакиевича. А “Реге Goriot”?[92] Разве это не вековечная трагедия родительской любви? Ведь будь Лили отъявленная негодяйка, я буду страдать, буду возмущаться против Бога, судьбы, людей, и все-таки буду ее обожать “всеми недрами”, как несчастный “Реге Goriot” обожает своих низких дочерей. И почему это принято родительскую любовь считать высокой, благородной, святой? Самое в сущности темное и жестокое чувство.

22 декабря

У нас уже началась предпраздничная сутолока. Лили предстоят два бала, и мы пропадаем у портнихи. Вчера приехала из деревни за миллионом покупок Анюта Бородина, и, по обыкновению, остановилась у нас. Мы с ней очень дружны. Анюта одна из немногих, которые сумели ergreifen das Gluck[93], и я за это ее уважаю. С ней на моих глаза произошла любопытная метаморфоза. Мы познакомились лет пятнадцать назад. Юрий Павлович тогда только что стал входить в моду после нескольких громких процессов. Анюте в ту пору было года двадцать два, двадцать три. Она была не то что хороша собой, но чрезвычайно

миловидна – эфирная блондинка с мелкими нежными чертами, всегда печальная. Она произвела большое впечатление на Юрия Павловича, и он стал ее в себя “влюблять”. Хотя это было не первое его увлечение после женитьбы, но мне каждый раз казалось, что свет померк, что все, все кончено, и я ужасно терзалась (потом я привыкла). Приемы его были довольно разнообразны (теперь он их упростил). Дело обыкновенно начиналось с книг. Юрий Павлович читал “ей” прозу и стихи. И то, и другое совершалось по известной системе: тихое созерцание незыблемой красоты постепенно переходило в лирический энтузиазм. За декламацией следовали прогулки и бесконечные беседы на тему о дикости русской жизни (в начале карьеры Юрий Павлович был западник). Он тонко давал понять, что разве где-нибудь в Англии человек его таланта мог бы найти надлежащий простор. Умные книги, поэзия, музыка, театр, суд – он как-то так умел всюду внедрить себя, что счастливая избранница невольно проникалась верой, что если все эти возвышенные предметы существуют у нас, то лишь потому, что их животворит Юрий Павлович. Не будь его, все завянет, опошлится… И ведь он никогда этого не говорил. Это выходило само собой. Юрий Павлович тем и неотразим, что в минуты “восторга” он искренен. Он умиляется, даже плачет. Ему приятны эти щекочущие воображение и самолюбие волнения, но, как истинный виртуоз, он всегда наблюдает, как бы не переиграть, не выйти из сферы красивых и безопасных ощущений. Да, Юрий Павлович большой мастер… а для Анюты il s”est mis en frais[94]. Где же ей было устоять? Она, бедняжка, полетела, как бабочка на огонь. К тому же и судьба ее была не из веселых. Ей много приходилось терпеть от старика отца, сухого чиновника, озлобленного неудачной карьерой. Он всю жизнь мечтал о “портфеле” и никак не мог добраться до “товарища”. Странно, что даже в самый разгар “романа” я на Анюту не сердилась. Я ненавидела Юрия Павловича, но Анюту мне было жаль. Куда девалась ее благовоспитанность! Придет, бывало, к нам, едва поздоровается со мной и сейчас же проскользнет в кабинет к Юрию Павловичу, и остается там час, два, три… Вся замирая и холодея, я ждала катастрофы и уже готовилась уступить свои права, – как вдруг Анюта внезапно уехала в Харьков к тетке, а недели через две мы узнали, что она вышла замуж за богатого помещика, бывшего драгуна.

Юрий Павлович некоторое время имел обиженный вид, с горечью упоминал о семейной обузе, но довольно скоро успокоился, стал называть Анюту “восторженной овцой”, а меня уверять в своих неизменных чувствах (Я поверила с радостью). В

первый раз Анюта приехала к нам лет через семь после своего замужества. Она очень изменилась. От ее воздушной фигуры не осталось и следа. Она превратилась в пышущую здоровьем, статную женщину. Убедившись, что я на нее не сержусь, она мне рассказала все перипетии своего, как она выразилась “головокружения”. Она, глупенькая, приняла au serieux[95] пламенные восклицания Юрия Павловича, что он без нее “жить не может”, и сама предложила ему бежать с ним хоть на край света. Эта перспектива его испугала. Он просил дать ему время подумать, а затем торжественно и трогательно объяснил ей, что для него долг выше личного чувства, что он, как честный человек, обязан оберечь ее от нее самой, что даже и в безумно любимой женщине он умеет видеть, прежде всего, человека… Наконец, он должен пощадить жену, которая не перенесет разлуки. (Интересно бы сосчитать, сколько раз “жена” в критические моменты являлась для Юрия Павловича – planche de salut[96].) После этой отповеди, Анюта решилась уехать немедленно к тетке и выйти за первого, кто ей сделал предложение. Теперь у нее четверо детей. Она всех сама выкормила. Живет в деревне, устроила там школу и больницу. Про мужа говорит: “У него какой-то свой ум, который многим кажется глупостью. Но я думаю, что это и есть настоящий ум. Мы с ним постоянно бранимся и спорим и ужасно влюблены друг в друга”.

10 января

Слава Богу, что уже кончились праздники. Я страшно утомилась. Для меня эти выезды и балы просто мука. И хоть бы меня утешало сознание, что Лили весело, а то и этого нет. Она становится для меня все более непонятной, моя Лили. Прежде ее радовал успех, а теперь она точно каменная. А уж, кажется, могла бы быть довольна. Стоит ей показаться, и все взоры устремляются на нее. Присутствие Юлии (эта девица с нами неразлучна) еще больше выделяет красоту Лили. Право, можно подумать, что она состоит при Лили для контраста…

13 января

Юрий Павлович и Лили на вечере у Карцевых. Сегодня рожденье Вари, которое всегда справляется очень торжественно. Мне нездоровится, и я осталась дома. Днем была Надя Кривская и с таким милым оживлением рассказывала про свои занятия. Слушая ее, у меня как-то теплее на душе становилось. Она теперь ведет класс в воскресной школе, и видно, что она вся поглощена этим новым для нее делом; перед каждым уроком боится “провала”, но пока идет хорошо, ученицы к ней привыкают, и она

“так рада, так рада”… Одно ее огорчает:

– Николенька хандрит. Место ему пообещали, но пока его что-то нет, и он ко всему стал какой-то равнодушный. “Я даже с ним поссорилась из-за этого, – сказала Надя. – Меня возмущает индифферентизм (я невольно улыбнулась, услышав из наивных уст Нади такое страшное слово). Хоть бы вы, Лизавета Константиновна, с ним поговорили, он вас так уважает”, – прибавила она. Я обещала при первом же случае воспользоваться уважением Николеньки к моей особе, и это очень обрадовало Надю… Весь вечер читала новый роман Rosny “Eyrimah”. Написано увлекательно, хотя другой, тоже фантастический, роман Rosny “Vamireh” мне больше нравится.

Действие Eyrimah происходит в Швейцарии в эпоху свайных построек за 6 000 лет до нашей эры. Враждуют между собой жители гор и жители равнин. Описания природы великолепны, а “дикари” шаблонны. Они упиваются видом теплого, трепещущего, только что вырезанного из груди врага сердца (да еще не одного, а целой полудюжины), сентиментальны и рыцарски великодушны с прекрасными дамами. Девицы, хотя полуодеты и наравне с горцами принимают участие в битвах, – все время борются между чувством и долгом, не хуже Расиновских героинь. Как мелки эти злые и добрые козявки по сравнению с жизнью природы, животных, птиц. Рыба отнимает добычу у змеи, стройная серна, над которой вьется орел, повисла тонкими ногами на скале – ей не спастись от смерти – вверху парит хищник, внизу бездна… Эти картины прямо захватывают, а поэтическая Eyrimah, неустрашимый Tholrog, пламенный In-Kelg, свирепый Verstag, мудрый Джинар или Джинабар, или, как там его, – меня ни капельки не трогают.

15 января

Получила письмо от моей гимназической приятельницы, Сони Лебедевой. Она была отличная шалунья, но добрая и умная, и весь класс ее баловал. По окончании курса мы как-то потеряли друг друга из виду, но и теперь, при случайных встречах, обе радуемся и вспоминаем молодость. И все-таки письмом Лебедева поставила меня в неловкое положение. Она, в простоте сердца, считает меня особой с “весом”. (Бедняжка, она и не догадывается, как легко фальшивые бриллианты сходят за настоящие). Вот что она пишет:

“Милая Лиза, хотя мы с тобой целый век не виделись, я люблю тебя по-прежнему и мне кажется, нет, даже не кажется, а я уверена, что ты не изменилась и не забыла свою школьную подругу (ах, хорошее было время!) Ну вот, память об этом

времени и дает мне смелость обратиться к тебе с просьбой. Дело, видишь ли, очень щекотливое. Завтра к тебе явится одна барышня (прими ее, пожалуйста, поласковее). Ее зовут Белла Григорьевна Гросгоф. Она учительница моих детей, приготовила моего сына в з-й класс, латынь и греческий знает, как мы с тобой по-русски, а математику лучше нашего страшилища Хомякова (помнишь, как он мне ставил единицы?) Вообще, Белла Григорьевна чудесная девушка и ее можно смело рекомендовать. Одна беда – она еврейка и… ее высылают отсюда. Это какая-то странная история и, хотя мне ее объясняли сто раз, я все-таки не могу хорошенько в толк взять – за что ее высылают. Родители Беллы Григорьевны живут тут чуть ли не двадцать лет, и вдруг оказывается, что они не имеют права тут жить и должны уехать на родину, а они и забыли давно, где эта родина. Между тем, Белла – единственная опора семьи. Отец и мать – больные старики, а брат еще мальчик, товарищ моего Феди. И вот им приходится покидать все, с чем они сроднились и отправляться Бог весть куда. Мне их – ужасно жаль. Я бы готова все для них сделать, да у меня нет ни знакомых, ни связей. Я и надумала обратиться к тебе. Голубушка Лиза, выручи их. Попроси мужа – он человек влиятельный, авось удастся… А уж дело-то какое доброе сделаешь. Целую тебя, милочка, и надеюсь, что, в память нашей старой дружбы, – уважишь мою просьбу. Твоя Соня.

P.S. Видела как-то твою дочь на катке. Какая она красавица! Счастливица ты, Лиза! Муж – знаменитость, дочь – красавица, дом, что твой музей… не то, что мы, грешные! Целый век трудишься, день да ночь – сутки прочь… а все-таки я благодарю Бога и за это”.

17 января

Я ужасно расстроена. В какое невыносимое положение поставила меня Лебедева… Вчера у меня была эта барышня, и я до сих пор не могу очнуться. У меня такое чувство, как будто и я ответственна… мне точно стыдно… Когда Даша доложила, что меня спрашивает незнакомая госпожа, я сказала, чтобы ее провели в мой кабинет. Вошла девушка, среднего роста, худенькая, в черном платье и в серой барашковой шапочке на черных волосах.

– Вам Софья Васильевна писала обо мне, – начала она и остановилась. Подбородок у нее задрожал, черные, огромные глаза налились слезами, она закусила нижнюю губу и отвернула голову, но сейчас же оправилась и с жалкой улыбкой договорила. – Простите, пожалуйста, мне так совестно… Этакие глупые нервы.

Я усадила ее в кресло и говорю ей:

– Да вы не волнуйтесь так, Белла Григорьевна. Ишь вы какая самолюбивая. Хочется плакать, ну и поплачьте. А отойдет сердце – мы потолкуем. Времени у меня много…

Она поглядела на меня долгим пытливым взглядом, и слезы крупными, светлыми каплями покатились по ее смуглым щекам. Она крепко прижала к лицу муфту, чтобы заглушить рыдания, но они рвались наружу неудержимо и судорожно. Все ее молодое тело трепетало.

Я совсем потерялась.

– Поймите, – всхлипывала она, – что я должна была перенести, прежде чем идти к чужому человеку… просить… о чем? Чтобы мне позволили дышать… Ведь уж одна эта просьба – позор. Что я сделала?.. Кому мешаю?.. В чем мое преступление?

Она опустила руки. Теперь ее лицо пылало, и заплаканные, прелестные глаза так и впились в меня, как бы требуя ответа на негодующие вопросы. В эту минуту дверь распахнулась и со словами:

– Мама, мы к тебе – в комнату величественно вступила Лили, а за ней Юрий Павлович. Увидев мою гостю, Лили бросила на нее один из своих изумленно-уничтожающих взоров, а Юрий Павлович вежливо поклонился. Я представила всех друг другу и в нескольких словах объяснила Юрию Павловичу, в чем дело, прибавив, что мы надеемся на его помощь.

Он поморщился и, после небольшого молчания, сказал:

– К сожалению, я ничего не могу… Все и все против ваших единоверцев.

– Но за что?! – с горечью воскликнула девушка.

– Мне неизвестны виды высшей администрации, – мягко заметил Юрий Павлович, – но, вы меня извините за откровенность, милая барышня, у евреев действительно много несимпатичных черт. Я вполне уверен, что вы составляете блестящее исключение из этого, увы! печального правила…

– О, пожалуйста, без исключений, – прервала Белла.

Я взглянула на только что беспомощно всхлипывающую девушку и не узнала ее. Смуглое личико с правильными чертами дышало неизмеримым презрением. Из-под сдвинутых, прямых бровей так и сверкали глаза – два черных бриллианта – точь-в-точь загнанная в силки пантера, готовая броситься на охотника. Юрий Павлович тут только и заметил, как хороша “милая барышня” и сразу переменил тон.

– О, да какие мы сердитые! – начал он, пуская в ход шутливые отеческие вибрации.

– Не шутите, – остановила его Белла Григорьевна. – Это слишком жестоко. Положим, вы правы. Евреи несимпатичны… хоть и трудно допустить такой приговор над целым народом, ну, да уж пусть по-вашему! Но разве справедливо травить людей, как бешеных собак, только за то, что они вам несимпатичны.

– Какие резкие выражения… и в таких юных устах! – укоризненно промолвил Юрий Павлович. – Нехорошо. И притом, вопрос этот слишком сложный и, конечно, не нам с вами его решить. Оставим это. А хотите добрый совет?

– Пожалуйста, – отозвалась Белла.

– Берите меня в крестные, и дело с концом.

Я почувствовала, что вся похолодела. Даже Лили, которая все время молчала, повернулась в качалке и тихо произнесла: “Папа!”

– Да, это действительно очень просто, – с усмешкой промолвила девушка.

– Разумеется! Совершенно не из чего создавать трагедию. И Бог у всех один, – примирительно подтвердил Юрий Павлович.

– Если так, то за что же нас преследуют?

– Платье ваше, милая барышня, устарело. Не нравится оно никому! Такая уж мода в воздухе… Прежде дамы носили узкие рукава, а теперь пошли широкие… вон и у вас широкие…

– Римлянам тоже не нравилось христианское платье, – возразила Белла, – однако христиане умирали за это платье на кострах, виселицах и в пасти диких зверей.

– Так ведь это когда было! – воскликнул Юрий Павлович и засмеялся. – С тех пор люди поумнели. Смею вас уверить, дитя мое, что немного найдется в наши дни любителей приять венец мученический. Есть, конечно, несчастные, которые и теперь себя заживо в стены замуровывают, но их называют изуверами, а не героями, и судят в окружном суде. Так, по рукам, барышня? А уж как я буду гордиться такой прелестной духовной дочкой! Белла отрицательно покачала черноволосой головой и встала.

– Мы говорим на разных языках, – промолвила она. – И потом, если б даже я и прониклась вашей философией, стариков моих все равно выгонят. Они-то уж не продадут свое платье за “чечевичную похлебку”. Во всяком случае, я вам очень благодарна за участие.

Она протянула руку мне (я была до того ошеломлена “фугой” Юрия Павловича, что не проронила ни слова), поклонилась Юрию Павловичу и направилась к Лили. Вдруг Лили, с чарующей улыбкой, мягким вкрадчивым голосом говорит ей: – Mademoiselle, оставьте мне ваш адрес. Я вас с большим вниманием слушала и все думала… и кое-что придумала. Я надеюсь, что мне удастся вам помочь, не прибегая к таким крутым мерам, как папа.

Бледное лицо Беллы вспыхнуло, она обеими руками пожала руку Лили:

– Спасибо вам! Какая вы добрая… Правда, вы так хороши, что у вас и душа должна быть прекрасная.

Она написала на карточке адрес, еще раз пожала руку Лили

и, поглядев на нас с Юрием Павловичем грустно проговорила:

– Простите, мне так совестно…

Я проводила ее до прихожей и там, сбиваясь и путаясь, стала извиняться за мужа, который, не желая ее оскорбить, может быть, слишком легко отнесся…

Девушка вспыхнула, на глазах ее опять блеснули слезы. – Благодарю вас, – сказала она, – я не обиделась… Мы ведь не имеем права быть слишком чувствительны.

Когда я вернулась в кабинет, Лили по-прежнему лежала в качалке, а Юрий Павлович, нахмурившись, сидел на кушетке.

– Где ты подцепила эту Эстер? – спросил он недовольным тоном. – Этот элемент мне совсем не кстати. А тут еще Лили вздумала из себя спасительницу разыграть. И ведь только лишние проволочки. Сделать ничего нельзя, а между тем, она повадится сюда ныть. Очень интересно.

– В самом деле, Лили, как ты могла ей так легкомысленно обещать? – сказала я.

– Я ничего не делаю легкомысленно, – возразила Лили. – Эта девушка получит то, чего она жаждет. Я совершенно равнодушна к еврейскому вопросу, но мне жаль эту хорошенькую жидовочку, и она будет беспрепятственно готовить в гимназию разных оболтусов. Только не мешайте мне.

– Ты себя скомпрометируешь какой-нибудь дурацкой выходкой, – заметил Юрий Павлович.

Лили небрежно повела плечами.

– Никогда я себя не скомпрометирую. Недаром я твоя дочь, папа. Сегодня Лили с утра исчезла из дому. И что только она задумала?..

2 часа ночи

Юрий Павлович в клубе. Лили дома не обедала. Она вернулась часов в девять, вся торжествующая.

– Ну, мама, я устроила твою protegee.

– Лили, не мучь меня. Где ты была? Кого просила?

– Ах, мама, не вдавайся в пафос. Ничего нет страшного. Я была у сестры князя Двинского, баронессы Дамбах… Расписала ей трогательную историю девицы… она расчувствовалась, позвала князя, он тоже расчувствовался… Потом мы вместе с баронессой ездили по сановникам. Тут уж трогательную историю девицы рассказывала она, а я только ангельски улыбалась. Одним словом, дело улажено.

– Ты была у баронессы одна?

– Ну вот! Конечно, с Julie.

– Ах, Лили, Лили…

– Неужели ты недовольна? На тебя трудно угодить, мама. Кажется, доброе дело и либеральное.

– Дело хорошее, что говорить! Но твое отношение… свысока… ироническое…

– Это отношение, однако, не помешало мне спасти целую семью, – заметила Лили.

– Я была у Беллы и должна сказать правду: она очень мила и изящна, даже не по чину. Старики ее бросились мне целовать руки. Я, конечно, не дала. Теперь они меня прославят на весь кагал…

– Перестань, Лили, – это безобразие. Ведь ты сама рада… Зачем же ты ломаешься?.. Ну, слава Богу. Спасибо тебе, деточка. – Я обняла ее и совсем ласково сказала, – А все-таки не нравится мне твой флирт с князем.

– Это не флирт, мама. Князь прекрасный человек, я его очень уважаю, – ответила Лили и, точно избегая возражений, – торопливо прибавила, – я ужасно устала. Филантропия – довольно утомительная штука. Покойной ночи, моя бедная идеалистка – мама. А знаешь, – закончила она, остановившись на минуту в дверях, – папина теория о “платьях” не лишена остроумия. Твое платье тоже поистрепалось, мама. И ты ужасно нетерпима, не хочешь понять que tous chemins menent a Rome[97].

И вот я думаю, думаю, думаю… и в миллионный раз ломаю голову над проклятой загадкой: отчего моя дочь, которую я люблю больше всего на свете, так далека от меня, так безжалостна ко мне.

20 января

Были у нас с визитом князь Двинский и его сестра, баронесса Дамбах. Баронесса совсем не похожа на брата. Это высокая дама с выразительным лицом и живыми темными глазами. У нее совсем белые волосы, зачесанные по моде XVIII-го века – точно пастель La Tour’a. Она чрезвычайно любезна, разговорчива, одета с той восхитительной простотой, которая дорого стоит… Я думаю, что на эту “простоту” можно нарядно одеть жену и трех дочерей любого учителя гимназии. Баронесса, по-видимому, очень любит брата, говорит за него, рассказывает про него, а он глядит на нее благодарными глазами, как ребенок на добрую няньку. С первых же слов баронесса стала хвалить Лили:

– Такое соединение красоты и ума с благородным сердцем… Теперь, когда молодые девушки щеголяют сухостью души, и молодежь вообще утратила высокие идеалы – такое горячее участие к бедной и к тому же иноверной семье!.. Это так возвышенно, так по-христиански!..

Я, как это всегда со мной бывает в экстраординарных случаях, потерялась и не знала, что отвечать баронессе на ее комплименты. К счастью, выручил Юрий Павлович. Он шутливо, хотя не без гордости, стал извиняться за эскападу нашей “баловницы”. Это вызвало стороны баронессы протесты и новые восторги. Не знаю, право, чем бы кончились взаимные излияния, если бы на сцене не появилась Лили. Баронесса заключила ее в свои объятия. Мертвое лицо князя осветилось подобием улыбки. Он пробормотал: “Благодарствуйте… Я так рад…” и, показав на сестру, блаженно прибавил: “это она”…

Лили была необыкновенно мила: почтительно нежна с баронессой, ласкова с отцом и с каким-то неуловимым оттенком покровительства сильного к слабым приветлива с князем и… со мной. Беседу вели Юрий Павлович и баронесса. Она рассказывала о многочисленных обществах, где она состоит учредительницей или председательницей, сетовала на неблагодарность и косность благодетельствуемых (я вспомнила Кривского). Юрий Павлович заметил, что это уж такой закон, чтобы за добро платить ненавистью, но, заметив искреннее изумление баронессы, немедленно перешел из легкого тона в серьезный.

– Корни этой нравственной черствости надо искать глубже, – произнес он значительно. – Ответственность за несвойственное русскому человеку недовольство своей судьбой должна лечь всецело на непрошенных учителей и просветителей. Сами невежественные, они даже не способны отнестись критически к тем фантастическим бредням, которые они черпают из иностранных источников. Они принимают эти вредные утопии еп bloc[98] и (тут Юрий Павлович даже вздохнул) смущают ими “малых сих”. Баронесса внимала Юрию Павловичу, как оракулу. Князь смотрел на Лили, а я, по обыкновению, делала свое двойное дело – пассивно слушала и думала про себя, что все это неправда.

Расстались все очарованные друг другом.

Юрий Павлович пожаловался на меня баронессе: и домоседка я, и нелюдимка, и дочь ему приходится самому вывозить, а еще Фамусов сказал: “Что за комиссия, Создатель”… особенно когда не хочется “быть взрослой дочери отцом”. Баронесса погрозила ему пальчиком и, крепко пожимая мою руку, прошелестела, что она бы сочла за величайшее удовольствие “chape-ronner cette delicieuse enfant”[99].

22 января

Чтобы жить спокойно, нужно, зажмурив глаза, признать ряд непоколебимых истин, и тогда все пойдет, как по маслу…

“родные лучше чужих”… “Мало ли что между своими бывает”…

“Нужно брать, что есть…” Будь это душный смрад, он все-таки должен быть милее чистого воздуха, потому что он свой. Если все то, что составляло для вас красоту и смысл жизни, для ваших детей – пустой звук, не беда. Ведь есть такая сфера, в которой все люди сходятся – сфера мещанского благополучия, и тут матери должны служить своим детям, жены мужьям и мужья женам верой и правдой…

12 февраля

Все это время, как в чаду… ни разу не ложилась раньше трех часов ночи. Выезды, театры, концерты, гости, званые обеды… Я из сил выбилась. Мне скучно и тяжело. Но Лили веселится, как никогда. Она совсем не дуется и чувствует себя в этом вихре, как рыба в воде. Баронессу Дамбах она приворожила. Та устраивает для нее музыкально-литературные вечера, записала ее в свое благотворительное общество, теперь затеяли живые картины, в которых Лили будет изображать Диану… Все это, разумеется, ai profit des malheureux[100]. Словом, моя дочь окончательно превратилась в светскую особу. Юрий Павлович очень доволен, целует ручки баронессе и ухаживает одновременно за Дроздовой и. Юлией. О Юлии, впрочем, он говорит, как об отличном товарище и называет ее “un brave garcon”[101].

Среди этой феерии визит Николеньки Кривского произвел на меня впечатление ушата холодной воды. Николенька приходил прощаться. Он уезжает в Казанскую губернию. Там оспа и голодный тиф. Мрут не только крестьяне, но и доктора, и санитары. Нужда вопиющая. Николенька показывал кусок присланного оттуда хлеба – кусок черной земли. Стыдно и страшно. Богатая барыня, у которой он еще студентом давал уроки, поручила ему устройство столовой. Лили слушала эти рассказы, не глядя на Николеньку, молча, а он, бедный, все ловил ее взгляд, поминутно к ней обращался и вздыхал. Когда он стал уходить, Лили ему сказала:

– Смотрите, не смейте там умирать, а если вас изуродует оспа, не показывайтесь мне на глаза. Я никогда, слышите, ни-когда вам этого не прощу.

Николенька весь расцвел от счастья. Я его перекрестила и поцеловала. Вдруг Лили упавшим, добрым голосом промолвила:

– Мама, перекрести его и за меня.

Николенька бросился к ней, но она уже убежала, громко хлопнув дверью.

20 февраля

На той неделе мы с Лили слушали лекцию Ветвицкого о “скандинавских писателях”. Мне лишь изредка удается в последние годы бывать на этих лекциях, которые я когда-то так любила. Каждый раз, как я попадаю в огромную залу с бесконечной лестницей идущих чуть не от потолка скамеек, меня охватывает смешанное чувство грусти и удовольствия. Меня волнует уж один вид аудитории. Сколько молодых лиц! Точно живая пирамида… Студенческие мундиры, девушки в простеньких темных платьях, гладко причесанные, некоторые в меховых шапочках, есть и стриженые (как в мое время) и только в первых рядах торжественно заседает tout Moscou[102]: нарядные дамы и вялые, большей частью, плешивые кавалеры. Перед нами, на ступеньке, стояла худенькая курсистка с длинной белокурой косой. Я долго глядела на ее неподвижную фигурку с полуоткрытым по-детски ртом и обращенными на кафедру глазами. Я глядела на нее и думала: вот такою была и я, когда двадцать три года тому назад слушала… того же Ветвицкого. В ту пору его речь не блистала такой безукоризненной формой, в ней было меньше иронии и больше добродушного юмора, фразы не текли так гладко, но сколько в них было неожиданного! Какие живописные образы, оригинальные обороты, какое сверкающее остроумие!.. И сам он не был похож на теперешнего непроницаемого дипломата. Как живо я помню ту, другую аудиторию. Мне всегда казалось, что от самих ее стен веет чем-то особенным, бодрящим. Не успеешь, бывало, переступить через порог, как тебя точно подхватит. Навстречу несется молодой оживленный говор. Тут слышится взрыв смеха, там горячий спор… Группами и в одиночку мелькают молодые девичьи лица, задумчивые и веселые, серьезные и беззаботные. И так хочется быть с ними заодно – и говорить, и смеяться, и служить загадочному большому делу жизни… Потом торопливые шаги. На кафедру вошел профессор. Все разом стихло. Девушки будто слились вместе и одним сердцем, одним дыханием, впитывают в себя каждое слово, как неофиты новое вероучение. Будто в волшебном зеркале проносится ряд удивительных картин. Вот боярские хоромы. Муж – государь учит уму-разуму чад и домочадцев; жена – домовитая хозяйка, благочестивая советчица, сияет, как венец на голове мужа… Кажется, чего бы лучше? Но тут же из-за величавой фигуры патриарха, наставника и правдолюба вдруг выглянула тупая физиономия автомата, которому “мирское строение” приуготовило мораль на все случаи жизни… А вот и щеголи в пудренных париках, кружевных жабо, расшитых золотом кафтанах. Это народившиеся по щучьему велению российские вольнодумцы и скептики. Прямо от попа

Сильвестра перескочили они к философии Руссо и Дидерота с ежеминутной, однако, готовностью вернуться опять к родной испытанной мудрости: “любяй сына, учащай ему раны”…

Помню я одного профессора, на которого курсистки буквально молились. Фамилия его была Русов. Это был совсем молодой человек лет 26 или 27. Он читал историю иностранных литератур. Есть такие слова, при которых всегда будет сильнее биться человеческое сердце, которые нельзя выкинуть из человеческого словаря. Слова эти: справедливость, гуманность, красота, истина, свобода… И вот, когда их произносил Ру сов, нам казалось, что он-то и есть их *лучшее* выражение. Судьба точно расщедрилась и, как из рога изобилия, осыпала дарами своего избранника. Она дала ему талант, пытливый ум, чуткую душу и даже красоту, ту особенную красоту, которая отмечает случайных гостей мира. У Русова была чахотка. Мы это знали и обращались с ним, как с драгоценным и хрупким сосудом. Он действительно скоро умер. Смерть его была для нас большим горем. Он оставил неизгладимый след на курсах. После него были другие профессора, умные, ученые, порядочные, но никто не обладал его обаянием. C’etait un chauffeur d’ames[103]. Между ним и слушательницами ощущалась трепетная связь сердца. Очень может быть, что в нашем увлечении было много наивной и смешной влюбленности… Но, как жаль тех, кто никогда не испытывал этого чувства. Вместе с образом Русова оживает в моей памяти другой образ – моей милой подруги, моей незабвенной Мани Лорич. Такой девушки я уже после в жизни не встречала. Нежная, ровная, она одним своим появлением устраняла все мелкое, низменное. Ей все давалось легко: музыка и литература, математика и рукоделие. На курсах ее прозвали “бесстрастная Клио”. Небольшого роста, худенькая, с густыми пепельными локонами, Маня была похожа на девочку. В лице ее не было ни одной правильной черты, и, вместе с тем, оно влекло к себе какой-то неотразимой прелестью. Чистый, высокий лоб светился мыслью, большие серые глаза притягивали и ласкали, довольно широкий, несколько вздернутый нос, ярко-пунцовые губы, на которых всегда играла чуть-чуть лукавая усмешка. Скрытная она была очень. Она любила Русова глубокой, затаенной страстью. Он об этом и не подозревал, обращался с ней так же вежливо и кротко, как с прочими, хотя на семинарах уделял ей много времени и почти с восторгом отзывался о ее рефератах. Ей было бы нетрудно привлечь его внимание: у них были общие знакомые, они могли встречаться… Но она ни разу не изменила себе, ни разу не вышла из роли добросовестной, скромной, прилежной ученицы. Я знала о ее любви к Русову и, когда он умер, не могла

без страха подумать о том, что с ней будет. Но Маня еще больше замкнулась и также безмолвно и гордо, как она таила в сердце свою одинокую любовь, она сохранила в нем и свою печаль.

Кончила она очень трагически.

Вскоре после смерти Русова мы вместе уехали в Петербург. Я поступила в академию художеств, а она на медицинские курсы. Когда началась война с турками, Маня отправилась в Болгарию с отрядом сестер милосердия. Ее самоотверженность, выдержка, легкость окружили ее имя легендой. Много мне впоследствии пришлось слышать рассказов о том, как обожали солдаты “беленькую сестрицу”. Бывший в одном с ней лазарете доктор мне передавал, что, когда она своей худенькой рукой прикасалась к раненым, те безропотно выносили самые мучительные страдания. Она была неизменно терпелива, не знала устали, постоянно ободряла других… Этот же доктор мне подробно описал последний день моей Мани. Они в третий раз возвращались с санитарным поездом, в котором была масса раненых под Плевной. На одной стоянке она вдруг сказала:

– Какое это бессмысленное лицемерие все, что мы делаем. Вместо того, чтобы кричать: остановитесь! Не убивайте! Мы чиним искалеченные тела, чтобы их опять искалечили. За что? Зачем?!

Доктор ей на это заметил:

– Ишь, как у вас нервы разгулялись. Ну, да это неважно, вы ведь у нас молодец.

А она ему на это:

– Сбегу я от вас, не могу я больше, страшно…

Доктор засмеялся и сказал:

– Не сбежите, не таковская.

Вечером стали ее звать – сменить захворавшего фельдшера. Она не откликнулась. Перешарили все углы – нет Мани. Бросились искать кругом – и нашли ее в сарае: она повесилась на балке.

25 марта

Больше месяца пролежала… Опухоль в боку так увеличилась, что ее можно прощупать рукой. Теперь мне легче. Лили была очень внимательна ко мне во время моей болезни: подавала лекарство, читала вслух, следила за порядком в доме (она, оказывается, отличная хозяйка), очень внимательна… и все-таки это не то, не то… Иногда мне хотелось залиться слезами, крикнуть ей: “Пожалей меня, утешь”. Само собой разумеется, что я не допустила себя до подобной слабости. Воображаю, как бы изумилась Лили. Бедняжка. При ее неодолимом отвращении к

больным, ее возня со мной совершенно искренняя и добровольная – заслуга. Ведь она никогда не ухаживает за Юрием Павловичем, когда он болен, никогда. А я все недовольна… Прав Юрий Павлович, несчастный у меня характер. Юрий Павлович недавно приехал. Он ездил в Петербург, проиграл там большое дело и теперь не в духе. Ко мне, впрочем, весьма милостив: заходит утром и вечером, скажет что-нибудь вроде: и как тебе, Лиза, не надоест хворать, уж ехала бы ты за границу что ли… и исчезнет. Какая разница между Иваном и Дашей. Даша все делает безукоризненно, в “минуту”. Она чрезвычайно корректна, почти никогда не “забывается”. Но при всей ее исполнительности чувствуется, что провались вы на ее глазах сквозь землю, ей все равно. А Иван, вечно ворчащий под нос, неряха и пьяница, жалеет своих “Mitmenschen”[104]. Я ему как-то сказала:

– Я скоро умру, Иван.

Он замигал глазами и пробурчал:

– Что это вы, матушка, придумали. Успеете еще затылок-то отлежать…

И так он это хорошо сказал, что мне захотелось посадить его возле себя, и на плебейской груди “малодушного лакея” выплакать тоску своего барского сердца. Ах, как все это глупо! Дружба Лили и баронессы Дамбах принимает гомерические размеры. Баронесса бывает у нас чуть не каждый день, называет Лили Антигоной, mignonne[105], пичкает ее конфетами, дарит ей художественные bibelots[106]…

Баронесса, кажется, в самом деле добрая женщина. Она вдова, бездетная… Лили с ней очаровательна. Ничего нет удивительного, что одинокая, в сущности, женщина полюбила прелестную девушку. Лили для нее “un bibelot rare”[107]. И притом, какие же у нее могут быть цели?! Не думает же она и впрямь женить на Лили своего брата. Но кого я не выношу – так это Юлию. Когда она в меня впивается своими куриными глазами, мне чудится, что она за моей душой пришла. Она, конечно, тоже терпеть меня не может, но делает вид, что обожает, вскакивает, чтобы подать мне стул, платок, говорит мне в тон, лезет целоваться. Прежде она обращалась со мной гораздо резче, и мне это было приятнее. Я даже не понимаю, зачем ей эта комедия. На Лили она и так имеет влияние, Юрий Павлович с ней шепчется… И чем она только их берет?!

10 апреля

Пришлось взять новую горничную. Дашу так избил ее возлюбленный, что мы вынуждены были отправить ее в больницу.

У нее и прежде появлялись подозрительные синяки и

царапины, но она всегда это объясняла случайностями: стукнулась об вешалку, наткнулась в темноте на гвоздь, упала… Но теперь это что-то ужасное… Я испугалась, увидев ее несчастное окровавленное тело. И ведь не пикнула. Ее комната чуть не рядом с моей – а я ничего, ничего не слыхала. Интересно, что о ней очень тоскует Иван. Он навещает ее в больнице, возит ей туда чай, варенье, белый хлеб, даже пить стал меньше. Я как-то похвалила Наталью, новую горничную. На это последовал целый ряд возражений о “новой метле”, о “своих собаках”, о “соре”, который не надо выносить из избы и, в конце концов, торжественное известие, что Даша, слава Богу, поправилась и желает вернуться назад. Когда я заметила, что не могу без причины отказать Наталье, он с самым искренним негодованием воскликнул:

– Что ж она, папа Римский, что ее и выгнать нельзя! Болгары своего князя в шею турнули, а вы прислуги боитесь…

11 апреля

Почти половина апреля, а весны нет, как нет. Погода какая-то злая: тяжелая, серые тучи, куда ни взглянешь – сугробы снега. Хоть бы немного солнца. Я так иззябла…

20 апреля

Надя Кривская умерла в два дня от дифтерита. Это до такой степени бессмысленно, жестоко… я никак не могу себе представить эту милую, полную жизни девочку в гробу, под грудой земли… На похоронах мы не были. Когда я заикнулась, что поеду в церковь, Юрий Павлович объявил, что не допустит меня рисковать собой и близкими ради пустой формальности… Есть что-то глубоко возмутительное в этом животном страхе заразы, который гонит людей друг от друга в минуты несчастья и горя… Николай Степаныч переехал в гостиницу. Я провела с ним целый день. Он ужасно убит, хоть и крепится – курит, читает газеты, говорит о посторонних вещах, и вдруг, схватится за голову и разрыдается глухо, безнадежно… Николенька вернулся. Он точно на десять лет постарел – осунулся, глаза ушли вглубь, но стал еще красивее… За отцом ухаживает с чисто женской нежностью.

23 апреля

На будущей неделе уезжаю в Берлин к профессору Лейсту. Это знаменитый хирург, так что, если он меня и зарежет, то не будет обидно…

Берлин 10 (22) мая

Вот уже неделя, как я в Берлине, и четвертый день, как я из отеля переселилась в частную клинику профессора Лейста. Чувствую себя плохо… Ужасная апатия… Мне как-то все “все равно”. Лейст нашел запущенную фиброму, которую нужно “удалить”. Говорит, что эта операция хотя и считается серьезной, но, в виду благоприятных индивидуальных обстоятельств (он перечислил эти обстоятельства, только я ничего не поняла), в данном случае является безопасной. Впрочем, если я боюсь, то могу вызвать своего Herrn Gemahl[108], но он лично находит, что мужья только нервируют больных и мешают правильному ходу лечения. Я сказала, что я разделяю его мнение и вполне ему доверяю (я представила себе Юрия Павловича в роли заботливого Herrn Gemahl, заключенного в немецкую клинику и мне самой стало смешно). Лейст очень красивый, еще совсем бодрый старик, высокий, широкоплечий с большой львиной головой и правильными, резкими чертами – немножко напоминает бюсты Гете: вежлив, сух, говорит короткими фразами, точно приказывает… Видно, что привык командовать. В клинике это какой-то Бог. Начиная с ассистентов и кончая швейцаром, слово “der Geheimrath”[109] произносится с восторженным подобострастием. И у нас почитают начальство, но это почтение больше “за страх”, чем “за совесть”. К нему всегда примешивается доля скептицизма и раздражения, которые изливаются в любезных словцах: идол, старый черт и т. п., как только его превосходительство повернет спину. А тут священный трепет во сне и наяву, во всякое время дня и ночи, потому тут, вероятно, царит такой неослабный порядок, такая образцовая чистота. Мне, например, приказано есть каждые два часа понемногу. И, как только протекут эти два часа, минута в минуту, в дверь раздается легкий стук, появляется Кетхен свежая, словно она только что выкупалась, и проворно ставит на стол то яйцо всмятку, то кофе, то котлету.

– Кетхен, мне еще не хочется есть.

– Вы должны себя принудить, gnadige Frau[110], – неумолимо возражает Кетхен.

– Нельзя ли немного погодя, – прошу я.

– Herr Geheimrath[111] приказал вам кушать каждые два часа, иначе у вас не хватит сил.

Несмотря на строгую дисциплину, клиника имеет очень привлекательный вид и мало чем напоминает больницу. У меня большая, высокая и светлая комната. Обстановка скромная, но уютная: диван, круглый стол, несколько кресел, кушетка, письменный стол, шкаф красного дерева для белья и платья. По

стенам – портреты: германский император, окруженный своей семьей, Бисмарк, Мольтке. Над диваном – хорошая фотография Сикстинской мадонны. За ситцевой ширмой кровать. Рядом – маленькая уборная с умывальником и мраморной ванной. Огромное двойное окно выходит на площадь, по которой непрерывно снуют люди, проносятся экипажи. Я иногда подолгу гляжу на эту черную, движущуюся внизу массу. Я предпочитаю сидеть одна, хотя Христина (старшая сиделка) и Кетхен несколько раз приглашали меня в “салон”, где проводят время выздоравливающие больные. Но я слишком слаба и мне тяжело присутствие посторонних лиц.

Здесь совсем весна. Деревья покрыты нежной зеленью, солнышко припекает, сухо… Дамы гуляют в легких кофточках, с зонтиками… А в день моего отъезда из Москвы шел снег и дул такой пронизывающий ветер, что мне было холодно в меховой ротонде. На вокзал меня провожали: Юрий Павлович, Лили, Юлия и Иван (сей верный слуга, с горя, должно быть, что я уезжаю, напился так, что еле держался на ногах). Лили меня поразила. Она вошла за мной в купе, заперла дверцу, обняла меня крепко-крепко за шею и вдруг заплакала.

– Мамочка, не сердись, не сердись! – прошептала она, все крепче прижимая меня к себе, – не такая я, как бы тебе хотелось… Но что же теперь делать! Не могу я быть другой, не могу, пойми ты…

Я стала ее успокаивать:

– Полно, Лили, перестань, я ничего не требую… люблю тебя, как ты есть.

Она вздохнула:

– Правда, мама? И всегда будешь любить? Что бы я ни сделала? – спрашивала она торопливо. Это было так непохоже на обычную, суховатую манеру Лили, что я, шутя, ей сказала:

– Не собираешься ли ты кого-нибудь зарезать?

Но она перебила меня порывисто и властно:

– Говори скорее, “всегда?”

– Ну, конечно, всегда, точно ты не знаешь!

– То-то! Помни! – строго произнесла она, и прибавила, – любить человека за то, что он все делает по-нашему – не хитрость… Ты, мама, ведь только на вид тихоня. Ну, Христос с тобой, я не хотела прощаться при других.

Она меня несколько раз поцеловала, открыла дверцу и уже совершенно другим тоном воскликнула:

– Баронесса приехала тебя проводить. Как это любезно! Пришлось опять выйти на перрон. Баронесса сказала, что никак не могла утерпеть, чтобы не проститься со мной еще раз (очень я

ей нужна, подумаешь!) и не сказать мне, чтобы я была спокойна за Лили, что она будет заботиться о ней, как о собственном ребенке.

Я поблагодарила, но заметила, что Лили – не маленькая, и я за нее не боюсь. Юрий Павлович поспешил исправить мою “бестактность”, заявив, что дружба баронессы для него и Лили, в их непривычном одиночестве, истинный дар Провидения. Загудел второй звонок. Кондуктора забегали по платформе, выкрикивая:

– Господа, пожалуйте садиться!

Все ринулись в вагоны… Что может быть глупее проводов! Стоишь, закупоренная, у окна и бессмысленно смотришь на кучку людей, которые также бессмысленно смотрят на тебя. Мне хотелось видеть одну Лили, а передо мной торчала баронесса со своей неизменной улыбкой, растрепанная Юлия с каким-то затаенным торжеством вперила в меня свои куриные зрачки, Иван, с умильной физиономией, вытянув шею, поминутно кланялся, словно фарфоровый мандарин… Наконец Юрий Павлович, мой великолепный супруг!.. В дорогой шинели, небрежно накинутой на плечи, и высокой шляпе, чуть-чуть сдвинутой на затылок, он стоял рядом с элегантной баронессой, ни дать, ни взять – оперный Альмавива. Все на него оглядывались, а он, как бы не замечая общего внимания, ласково кивал мне головой. А я в эту минуту думала: этот красивый чужой господин – мой муж. Когда-то я страстно целовала эти самодовольно улыбающиеся, румяные губы… Эти умные, холодные глаза – я обожала их… В их блеске для меня было все – и свет, и красота, и значение жизни… И вот я уезжаю, и мне нисколько не жаль с ним расставаться, и вообще мне его ни капельки не жалко… Ну, слава Богу, третий звонок! Поезд тронулся. Промелькнула тонкая фигура Лили, баронесса замахала платком, Юлия – муфтой… Юрий Павлович приподнял плавным, круглым жестом свою шляпу (какие у него чудесные седые волосы) – и все пропало…

12 (24) мая

Я должна выдержать целое лечение до операции. Как это мучительно. Уж поскорей бы!.. Получила письмо от Лили. Пишет, что совсем захлопоталась с дачей, которая “невозможна”… Терраса развалилась, комнаты оборваны, на мебель противно смотреть, сад ни на что не похож… Она уже прогнала садовника… Баронесса ей рекомендовала другого, очень хорошего и т. д. Отчасти я понимаю жалобы Лили. У баронессы тоже дача в Сокольниках, но ее дача – настоящий дворец и моей тщеславной Лиличке стыдно за наш старый дом…

18 (30) мая

У меня разошлись нервы…

Сегодня Geheimrath застал меня за этой тетрадью. Он поглядел на меня своими проницательными глазами, недовольно покачал головой и проговорил:

– Na nu! Keine Grubeleien, meine gnadige! S'ist nicht Kurgemass[112]…

Какая глупая. Я боюсь здешней постели. Как приходит время ложиться, мне делается жутко. Я начинаю думать о женщинах, которые до меня метались на этих подушках… Мне кажется, я слышу их вздохи, вижу руки, бедные женские руки, которые до меня хватались за коричневую ленту звонка… Стоит мне погасить свечу, как из мглы начинают выплывать призрачные бледные тени. Они носятся вокруг меня с легким жужжанием пчел, склоняются к моему изголовью, проникают в самую глубь моего существа и шепчут что-то неуловимое, грустное и торопливое… Я не могу устоять против обволакивающего яда мечты о них, моих неведомых предшественницах, и мне представляется все, что они вынесли раньше, чем упасть на эту койку… Чтобы очнуться, я зажигаю свечу, начинаю вполголоса считать: раз, два, три… припоминаю стихи, разные мелодии… Господи, неужели я дошла до галлюцинаций!.. Вчера я своей возней разбудила Христину. Кошмары и боль в боку довели меня до того, что я расплакалась. И так я была рада, что я не дома, что никто меня не услышит, что я могу плакать вволю… Вдруг в темноте мелькнул свет, и на пороге появилась Христина, аккуратная, чистенькая, в белоснежном фартуке и в белоснежном чепце на гладких седых волосах:

– Что с вами, gnadige Frau, не спится? Мне стало совестно. Я ей сказала, что у меня разболелся бок, но что это неважно, и я прошу ее идти спать. Но она уже присела на край постели, откинула одеяло, достала из кармана баночку с вазелином и мягкими, словно пуховыми, руками, принялась растирать мне бок.

– Я сегодня много спала, – сообщила она с улыбкой, – и теперь совсем бодрая. Мы сделаем маленький массаж, это успокаивает.

Меня всегда смущают услуги чужих рук. А тут я даже обрадовалась, точно я имела право на эту женщину с ласковыми глазами. Удивительно милое лицо у этой Христины – круглое, румяное, с тонкими-тонкими морщинами, оно так и дышит добротой. Верно она заметила, что я плакала, и, чтобы меня утешить, стала рассказывать о "знатных иностранках", которые

лечились в “их” клинике.

– К нам приезжают дамы из всех стран, – говорила она, – больше всего из России и из Америки. Конечно, и в России есть знаменитые доктора, – прибавила она любезно, – но наш Geheimrath ведь один в мире. Представьте, прошлой зимой приехала к нам французская графиня, красавица, богачка. Уж на что французы не любят немцев, а ничего не поделаешь: больному человеку не до политики. Важная графиня, гордая, по-немецки не понимает, – ведь только русские говорят на всех языках. Она и с Geheimrath’ом вздумала обращаться свысока… но он ей прямо сказал, что в его клинике нет ни принцесс, ни бюргерш, а есть больные. И что же вы думаете? После операции она у Geheimrath’а поцеловала руку. Да!.. Geheimrath был очень тронут и погладил ее по голове. Он ведь только на вид суров, а сердце у него золотое – ein vaterliches Herz![113]

– Вы, Христина, совсем влюблены в вашего Geheimrath’а.

Она густо покраснела.

– Ах, что вы, gnadige Frau, разве это возможно! Только… я лучше всех знаю, какой это человек. Он меня спас от погибели и вечных мук.

Я с удивлением взглянула на Христину, но не решилась спросить, в чем дело. Несколько секунд она молча меня массировала, потом вдруг сказала:

– Знаете, я вам открою, как это было. Может быть, мой пример вас утешит.

И Христина мне рассказала свою повесть, ту старую и вечно новую повесть, которая с сотворения мира терзает человеческое сердце. Ей было всего семнадцать лет, когда ее обманул “один злой человек”. Разгневанный отец выгнал ее из дому, но мать над ней сжалилась и отвезла ее в ближайший город, где клиникой заведовал доктор Лейст. Там она в страшных муках родила девочку. Ей первой доктор Лейст сделал операцию, которая прославила его имя. Долго не решалась бедная Тинхен возвращаться домой… Наконец, вернулась, положила на порог ребенка, а сама стала на колени и стояла, пока отец ее не простил. Прошло несколько лет. Проступок ее забылся. Бабушка и дедушка души не чаяли в ее дочке. К ней присватался портной, хороший человек. Он знал ее историю и взял ее вместе с девочкой. Три года она была вполне счастлива – uberglucklich[114]; от мужа у нее тоже была прелестная девочка. И вдруг она лишилась всего. Муж умер от тифа – и не успела она опомниться, как захворали скарлатиной обе девочки: их хоронили в один день…

– Первое время, – рассказывала Христина, – я была, как

сумасшедшая, в колодец бросилась. Меня вытащили. Тогда моя добрая мать – сам Бог ее надоумил – поехала к доктору Лейсту, рассказала ему о моем несчастье и просила его посоветовать, что ей со мной делать. Он велел ей привезти меня к нему. Когда мы приехали, он сказал мне, что ни один человек не смеет покушаться на свою жизнь. А я ему отвечаю: мне не нужна жизнь. Тогда он строго посмотрел мне в глаза – я как сейчас вижу этот взгляд – и говорит:

– Отдайте вашу жизнь вашим ближним.

– Ближним и без меня хорошо, – отвечала я.

– Неправда, на свете много несчастных, помогите им, и вы найдете сами себя. Поступайте, – говорит он, – ко мне в больницу, там вы каждый день увидите столько страданья, перед которым ваше несчастье – капля в море.

– И запали мне эти слова в душу. Подумала я, подумала, да и сказала: “Пусть будет так, Herr Doctor, возьмите меня на испытание”. Таким-то образом прослужила я с ним десять лет, а когда его перевели в столицу, и я с ним уехала. Тут он меня поставил старшей в своей клинике. Всего-навсего мы с ним двадцать пять лет вместе работаем. Ах, как бежит время! И он уже не прежний красавец – доктор Лейст, а знаменитый Geheimrath, и я уже не прежняя “Тинхен”, а Frau Christine.

Она добродушно засмеялась и покачала круглой головой.

– Многое-многое было. И у Geheimrath’а не все в жизни шло гладко. Жена у него вздорная, сын шалопай…

Тут Христина запнулась, точно испугавшись, что сболтнула лишнее и поспешно прибавила:

– Ну, да его не сломишь. А как я к нему привыкла, – воскликнула она с гордостью. – По взгляду, по движению руки я уже знаю, чего он хочет… И столько я, meine liebe Dame[115], насмотрелась в эти годы горя, что давно помирилась с моей печалью. Я даже благодарю Господа, что он призвал к себе моих милых – die lieben Meinen[116] и избавил их от испытаний. Вот и вы, gnadige Frau, не должны так грустить. Ваша болезнь – пустяки. Сегодня оперировали вашу соседку. Ах, бедная! Один Бог знает, выкарабкается ли она… Geheimrath ею недоволен… А то у нас умерла молоденькая дама – три месяца была замужем. Как муж плакал!.. А у вас что! Eine Klienigkeit[117], бояться нечего.

– Да я и не боюсь, – сказала я.

– Почему же вы такая грустная? – полюбопытствовала Христина.

Я невольно улыбнулась и ответила:

– На это много причин, милая Христина.

– А! Значит у вас сердце болит!.. Ну тогда надо сказать себе:

ich muss[118]. Это только кажется, будто это трудно… Ведь у вас в России осталась семья, gnadige Frau?

– Да, муж и дочь.

– Fraulein[119] уже большая?

– Моей дочери двадцать один год.

– Herr Je![120] – изумилась Христина. – Ведь вы сами похожи на барышню. И Herr Gemahl, наверное, красивый.

– Да вот в рамке их портреты. Посмотрите.

Христина взяла складную рамку и с восторгом произнесла:

– Ein bildschone Mann! Und das Fraulein! Wie reizend! Wie nett[121]…

Я посмотрела на доброе, наивное лицо немки и мне захотелось не то плакать, не то смеяться.

25 мая (6 июня)

Я уже почти оправилась после операции. Мне ее сделали на следующее утро после нашей беседы с Христиной, совершенно для меня неожиданно. Это одно из правил Geheimrath'a – не предупреждать больных о дне операции. Явилась Христина и с обычной улыбкой заявила: "Geheimrath просит вас сойти вниз… Так как это повторяется через день, я спокойно отправилась в приемную. Там уже восседал Geheimrath, более чем когда-либо похожий на бюст Гете. Он послушал мне сердце, сказал: ganz gut[122], и, похлопав по плечу, прибавил:

– Я не нахожу нужным откладывать. Мы сегодня же вас освободим от излишней тяжести – и вы совсем расцветете. Он еще раз похлопал меня по плечу и взглянул на Христину. Она сейчас же взяла меня под руку и повела в маленькую комнату… Я подумала, что это и есть место страшного суда, но оказалось, что здесь только хлороформируют. Нас встретили ассистенты – два безмолвных, прилизанных молодых человека, один в очках, другой в pincenez[123] вынул часы и, взяв мою руку, прижал то место, где доктора щупают пульс. Ассистент в очках поместился с другой стороны и, закрыв мне нос и рот какой-то странной ложкой, так и впился в меня через очки глазами. Вся эта группа имела довольно карикатурный вид… Мне захотелось смеяться, но противная ложка меня душила. Я раскашлялась, потом мне стало жарко, точно горячая волна крови залила мне лицо, шею, грудь… У меня закружилась голова. Я помню промелькнувшее лицо Христины. Кажется, она шепнула слово "Muth"[124], и затем все смешалось… я умерла. Я очнулась у себя, наверху, на постели, слабая, с легкой тошнотой, но с чувством чего-то бесповоротно совершившегося. На стуле, около кровати, сидел Geheimrath и держал меня за руку. Я его не узнала. Куда девалась его важность.

Он улыбался счастливой, какой-то бабьей улыбкой, и, взяв меня за подбородок как ребенка, нежно повторял: “O wie artig, wie brav”[125]; подле него стояла Христина и тоже радостно улыбалась.

“О, Господи, – подумала я (нет не я, а все мое существо), – за что они меня так любят, эти милые, чужие люди…” И я тут же поняла, что они не чужие, что они мои, и я их люблю, и они меня любят за то добро, которое они мне сделали. Я хотела им это сказать, но слова не шли с уст и только слезы хлынули из глаз и полились по щекам. Geheimrath покачивал головой и бормотал: sehr gut[126].

Когда я вдоволь наплакалась, Христина мне влила в рот лекарства, заботливо оправила мое одеяло, и я тут же, облегченно вздохнув, заснула крепким, глубоким сном. Через неделю я отсюда уезжаю в Франценсбад.

Франценсбад 4(16 июня), Villa Bell’aria.

Мне кажется, я уж тут очень давно, а между тем я приехала всего дня три-четыре. Пью воды и принимаю Moorbader[127]. Как это ни странно, мне было грустно покидать клинику. С Христиной мы крепко расцеловались. Я подарила ей на память свой браслет. Она ужасно переконфузилась, долго не соглашалась, все говорила, что она не заслужила такого дорогого подарка. Я ее убедила только тем, что мне будет приятно знать, что она носит вещь, которую я много лет носила.

Geheimrath хоть и сделался опять похож на бюст Гете – все же был ко мне чрезвычайно благосклонен, подарил свой портрет “freunlichen Erinnerung”[128] и на прощанье, погрозив пальцем, лукаво произнес: Nur keine Grubeleien[129].

Франценсбад мне очень нравится. Тихий городок, чистенький, как игрушка, в котором все приспособлено для удобства больных. Квартиры, источники, ванны – все это меня, привыкшую к нашей распущенности, поражает благоустройством. Пропасть изящных магазинов. Много зелени. Все улицы усажены прекрасными, старыми каштанами. Кроме большого парка имеется несколько скверов и разные Anlagen[130], где днем играет музыка, а “Kurgaste”[131] пьют кофе, читают, занимаются рукоделием. Мужчин здесь мало, но это не мешает дамам щеголять изумительными туалетами. Публики – масса; русских несть числа. Когда по утрам после воды я хожу по бесконечной Salzquellallee[132], я то и дело слышу громкий, бесцеремонный говор моих соотечественников и мне представляется, будто я гуляю по Тверскому бульвару. Заметила несколько московских лиц, но близких знакомых пока, слава Богу, не встретила…

Из дому получаю письма довольно часто. Лили пишет, что у них все благополучно, что дача понемногу приходит в приличный вид, что Юрий Павлович к ней очень добр и очень доволен ее умением хозяйничать, что баронесса подарила ей чудную верховую лошадь, а Louise сшила ей не амазонку, а “мечту”… О Юлии ни слова (может быть, поссорились… Вот бы хорошо!). От послания Юрия Павловича на меня так и повеяло родным духом. Он пишет: “Никогда бы не поверил, милая Лиза, что я буду так по тебе тосковать (а я и теперь не верю). Но ты все-таки не торопись и лечись, как следует. Постараюсь устроить дела и когда ты кончишь свой водопой – мы съедемся в Берлине или в Вене и махнем недельки на три в Швейцарию. Здесь все в порядке. Твой друг Кривский оправился и чудит по-прежнему, твоя приятельница Анюта родила пятого, а, может быть шестого младенца. Есть, впрочем, одна пакостная новость, которая мне доставила un mauvais quart d’heure[133]. Представь, этот идиот Котулин ограбил каких-то малолетних. Его уличили. Тогда он бежал, оставив письмо с чистосердечным покаянием во всех своих делах и помышлениях. Наши Робеспьеры, конечно, обрадовались и забили в набат. Сколько жалких слов наговорили! Ты бы умилилась, Лизочка. Хотя я в особенной дружбе с Котулиным не состоял, но все же мы были знакомы и мне этот скандальный инцидент весьма неприятен. Впредь наука – не связываться с дураками. Не будь Котулин так глуп, всю бы эту историю можно было своевременно уладить. Ну да ничего, обойдется дело. Ты не огорчайся” и т. д.

Из всего этого я вижу, что Юрий Павлович гораздо больше расстроен “инцидентом”, чем хочет показать. Уж если он мне стал изливать душу, стало быть его задели за живое…

6 (18) июня

У меня второй день мигрень. Погода серая, мягкая, влажная… Погромыхивает гром. В воздухе висит гроза, но разыграться не может и только тяжелые капли дождя падают медленно, лениво, точно нехотя.

10 (22) июня

Какое это странное ощущение – целый день молчать! После того неумолкающего шума, на который я обречена дома, здешняя тишина мне представляется блаженством. Мне бы хотелось, чтобы она была еще глубже, еще ненарушимее. Мое пребывание здесь, это что-то вроде передышки, которую, после двадцатипятилетней сутолоки, мне невзначай бросила судьба. Не знаю даже, к лучшему ли это. Я искренне считала себя

приконченной… запечатанной со всех сторон. Как заморенная кляча, которая тупо трусит до ночлега, я ничего, кроме усталости, не чувствовала. Прошел день – и слава Богу… И что же? Едва я очутилась не на свободе (куда уж мне!), а просто подальше от семейного котла, как во мне зашевелились старые, давно, казалось, схороненные *духи*… Каждый человек, думается мне, в разные периоды своей жизни погребает часть своего “я”… И, Боже мой, как грустно бродить по кладбищу собственного сердца… Вот и мои прежние “я” словно ожили, обступили меня и так назойливо твердят: посмотри, какая ты была… Ты отреклась от себя и теперь ты – ничто… Ты даже не дама, как все, и не добродетельная мать семейства… Те спокойно делают свое дело, а ты захотела служить двум богам и предала обоих…

Ах, уж лучше спать ложиться. Ведь, если я и тут буду заниматься самоглоданием, какой же выйдет толк из моего лечения. Все это не “Kurgemass”, как говорит Geheimrath.

15 (27) июня

Здоровье лучше. Лили пишет часто, хотя лаконически. Здоровы и благополучны. Это самое главное, и я спокойна за них. Ездила в Мариенбад. Очень красивое место, лежит в котловине между кольцом гор, которые сплошь покрыты сосновым лесом. Лечатся там все толстяки. Толпа народу, музыка, элегантные туалеты – в глазах рябит. Мне больше нравится Франценсбад: тише, проще. Тут есть очень милый лесок, напоминает наши подмосковные рощицы. Березы вперемежку с елками, клены, дубки, только круглые, тенистые каштаны говорят о “заграница”. За опушкой широкая поляна, вся заросшая нежной высокой травой и самыми простенькими цветами – одуванчики, ромашка, гвоздика, клевер, колокольчики… Кругом видно далеко… На горизонте, в синеватой дымке темнеют небольшие холмики… бегут поезда, извиваясь, как червяки… Я тут часто гуляю и думаю, думаю…

17(29) июня

Пришлось и мне обрести курортное знакомство, хотя без всякого с моей стороны желания. В нашей Bellaria живет французская чета Monsieujr et Madame Peirre Dagoury. Муж очень высокий, худой, черноволосый, с толстыми, как у негра, губами, острой бородкой, изящный – frise la qurarantaine[134]. Жена совсем молодая, лет двадцати, крошечная, тоненькая блондинка с бледным капризным личиком. Одевается поразительно. Только парижанка может рисковать таким сочетанием цветов. Оденься так русская или немка, она будет похожа на огород, а у

француженки выходит оригинально. Встречаясь со мной на лестнице и у “воды”, муж высоко приподнимал цилиндр, а жена мило кивала головкой. В ресторане и на музыке они, может быть, случайно, а может быть, и нарочно, усаживались неподалеку от меня. Но я оставалась неуязвима. Вдруг вчера, когда я уже спокойно сидела у себя после вечернего “водопоя” и писала Лили, ко мне в дверь постучались. Думая, что это горничная, я механически произнесла: “Herein”[135]. Но вместо горничной в дверях остановился француз и взволнованным голосом проговорил:

– Je vous demande mille fois pardon, madame[136]. Моей жене дурно. Я посылал за доктором, но его нет дома. Не будете ли вы так бесконечно добры, пока я съезжу за другим доктором, помочь моей жене. Она не говорит по-немецки и ей трудно объясняться с прислугой.

Я, конечно, выразила свое согласие и сейчас же встала, чтобы идти с ним. Он рассыпался в благодарностях. Их комнаты рядом с моей. Он предложил мне подождать в хорошеньком будуаре, а сам бросился в следующую комнату, отделенную от первой драпировкой, из-за которой неслись шумные вздохи.

– Ma chere enfant[137], – начал он торопливо, наша русская соседка так добра, пришла взглянуть на тебя. Можно ей войти?

– Mais sans doute[138], – со стоном ответила жена. Я вошла к ней. Она лежала на широкой кровати, вся утопая в кружевах и лентах. На полу валялся мешок с “moor’om”[139].

– Ah, madame, – залепетала она, – как вы любезны… У меня нестерпимые боли… и она закатила глаза…

Мне почему-то показалось, что она не очень больна, и я спросила, что она собственно чувствует?

– У меня спазмы. Доктор мне прописал припарки из “moor’a” на живот. Mais je пе рейх pas sennnntir cette salete[140]. В Париже меня растирали хлороформом и давали внутрь эфир. А тут… это варварство! C’est mon mari qui a eu l’idee d’aller еп Allemagne[141].

– Это не Германия, а Австрия, – возразил муж.

– Это все равно, – капризно перебила жена и опять застонала:

– Ах, и зачем только я согласилась… я здесь умру… ах, это невыносимо…

– Почему вы не хотите приложить мешок? – сказала я. – Меня эти горячие компрессы всегда успокаивают. Попробуйте… В эти часы все доктора закончили прием и разъехались по визитам.

Вряд ли ваш муж кого поймает.

Я нагнулась, чтобы поднять с полу мешок, но француз меня предупредил: бережно, как ребенка, он положил мне его на руки и вышел.

– Эта гадость портит кожу и белье, – протестовала маленькая женщина.

– У вас наверно есть белье попроще, – заметила я, – а для кожи это даже полезно.

– Vrai? On m'a dit a moi que cette boue rend la peau flasque[142].

– Напротив. Светские и другие дамы, дорожащие своей красотой, нарочно приезжают в Франценсбад – pour se rafaire le teint[143].

На m-me Dagoury эти слова подействовали, как откровение.

Она почти радостно переспросила:

– Vrai?[144] Ах, я очень нервна, chere madame. Малейший пустяк меня волнует. Мне совестно вас беспокоить. Но русские так добры и мы их так любим. C'est comme des compatriotes[145]. Я воспользовалась благоприятным моментом и приладила ей злополучный мешок.

Она позвала мужа:

– Pierre, войди. Je ne suis plus mechante[146]. У нас была маленькая сцена, – сообщила она мне с гримаской, – у него такой дурной характер. Не дуйся, Пьер. Дай мне лекарство.

Пьер налил микстуру в ложку и подал жене. Та опять защебетала.

– Merci. Мне легче. Не нужно доктора. Как мило со стороны madame, что она меня навестила. Пьер, не сердись. Я буду умница…

Пьер угрюмо молчал. Когда жена его совсем успокоилась, он проводил меня до моей двери и, прощаясь, смущенно промолвил:

– Nous devons vous paraitre bien ridicules[147]. Мы так хотели с вами познакомиться. Пожалуйста, не примите это за банальную фразу. Если б вы знали, как мне досадно, что все вышло так глупо.

Я пробормотала какую-то любезность и мы расстались. Славные глаза у этого Пьера – добрые и умные, а жена – пустышка.

Третьего дня, утром, горничная мне подала огромную корзину цветов от M-r et M-me Dagoury. На музыке мы уже сидели вместе, теперь вместе обедаем и гуляем. Словом, прощай одиночество. Сначала мне было досадно, а теперь ничего. Супруги все-таки ненавязчивы. "Monsieur" положительно симпатичен, а "Madame" довольно бесцветна. Все на свете у нее, по-видимому, делится на две части "Drole"[148] и "pas drole"[149]. Про мужа она говорит: Il n'est pas drole du tout[150], то капризничает и дуется на него, то (когда ей чего-нибудь хочется) ласкается к нему кошечкой, не стесняясь моим присутствием. Его это очень коробит. Он ее останавливает: – Voyons, Lucie, pas

d'enfantillage[151], но кошечка не уступает, пока не добьется желанной добычи в форме кружева, брошки, браслета… При этом madame – горячая патриотка. Стоит заговорить о "пруссаках", как ее личико севрской куколки мгновенно меняется и маленькие зубки под розовыми деснами оскаливаются, как у злого зверька. Сегодня она мне очень горячо объясняла, что Германию нужно вычеркнуть из географического атласа, Берлин подарить России, а Франции вернуть "nos cheres provinces, vola mon reve"[152], – воскликнула она, захлебываясь. Un reve de bonne femme[153], – заметил муж и с нескрываемым презрением посмотрел на свою хорошенькую жену. Ее родители – эльзасцы и переселились в Париж после войны, – сказал он мне в пояснение и как бы извиняясь за кровожадность прелестной Lucie.

22 июня (5 июля)

Лили должно быть совсем завертелась… Пишет редко, на клочках, с постоянным обещанием – в следующий раз написать побольше. Спасибо Юрию Павловичу! Он два раза в неделю извещает меня по телеграфу, что "все благополучно"… А то я бы, право, не знала, что думать. Здоровье мое гораздо лучше – и я спокойнее…

Dagoury дал мне прочесть роман Rosny "L'autre femme"[154]. Роман написан на тему о необходимости и даже законности мужу, кроме жены, любить и других женщин… чем больше, тем лучше. "Le renouveau de l'idylle"[155], I'esthetique de l'adultere[156], это, мол, такое зерно существования, от которого мужчина не может отказаться. Другое дело – женщина. Она должна "subir"[157] до конца все. Написано превосходно. Какая масса талантов у французов и как они не устают трепать на разные лады этот несчастный, древний, как мир, adultere. Как ужасно, что в мире и в литературе такое огромное место занимает любовь… Неужели и наши пра-пра-пра-правнуки будут также беспомощно, как и мы, стоять перед жестоким "сфинксом" и в утешение ссылаться на атавизм или другое мудреное слово.

24 июня (6 июля)

Мне очень нравится Dagoury. Он совсем простой, не влюблен в себя, как большинство французов (этим, впрочем, грешат и не французы), об "альянсе" и даже "реванше" говорит без всякого ража. Он уже год живет в Германии, переезжая из одного университетского города в другой, собирая материалы для своей книге о немецком социализме… О немецких ученых отзывается с большим уважением.

Madame Dagoury и на сей предмет держится особого мнения:

– Может быть, они и великие ученые, – говорит она, – но скучны они невыносимо. Pierre был так жесток, что и меня заставил у них бывать. Ce n'etait pas drole, ah non!..[158] Мужчины торжественны, как пасторы, а дамы!.. Мы были на вечере у одного профессора. Хозяйка – огромная, толстая женщина, была в белой шерстяной юбке и розовом корсаже. Ведь не догадалась сделать наоборот! А другая еще лучше. Ни малейшего вкуса, грации. Это совсем не женщины.

– Отличные женщины, – возразил Пьер, – серьезные, добрые, верные помощницы своим мужьям. В конце концов, это все-таки лучше, чем элегантная кукла.

– Ты намекаешь на меня? – грозно спросила жена.

– И не думал. Для меня моя крошка Lucie вне сравнений.

Lucie успокоилась, а я свободно вздохнула. Только этого не хватало. Приехать за границу, чтобы мирить какого-то француза с женой.

27 шюня (9 шюля)

Пьер и Lucie меня одолели: ходят целый день по моим пятам. У Lucie несчастное лицо, она ужасно скучает и все придумывает – куда бы ей поехать, а муж требует, чтобы она педантически исполняла режим. Из-за этого – постоянные препирательства. Но когда она оставляет своего Пьера в покое, с ним приятно разговаривать. Сегодня я их водила в свой лесок. Мы долго гуляли и беседовали о разных разностях.

Dagoury очень интересуется Россией – не с точки зрения франко-русской дружбы, а как "беллетристической страной, в которой должно быть много оригинальных типов".

Я заметила, что люди везде – люди.

– Разумеется, – согласился он. – Но у вас особенно любопытно наблюдать с одной стороны резиньяцию массы, прозябающей во тьме, а с другой беспокойный блеск верхнего слоя, вкусившего от древа цивилизации, но, в сущности, подавленного той же властью тьмы. Корифеи вашей литературы, Толстой, Тургенев, Гончаров – прекрасно это подметили.

– Вам знакомы их произведения по переводам? – спросила я.

– Некоторые я читал в оригинале.

Я посмотрела на него во все глаза.

Он расхохотался. – Вы поражены? Русские ведь воображают, что их язык непостижим для иностранца… Это один из национальных предрассудков. On apprend bien le chinois[159].

– И вы говорите по-русски?

– Gavariou, – сказал он и продекламировал совершенно верно по интонации, но с отчаянным произношением:

“Цветы последние милей Роскошных первенцев полей…”

– Вы феномен, – сказала я.

– Oh, c’est un type[160], – с чувством произнесла Lucie. Dagoury пожал плечами:

– Не верьте Lucie, chere madame. Она клевещет, как всякая жена.

– А Достоевского вы тоже знаете? – продолжала я выспрашивать.

– Читал.

– Как же вы его находите?

– Он похож на нашего Габорио.

Это было так глупо, что я не могла удержаться от восклицания.

– II parait que j’aidit une enormite[161], – лукаво промолвил Пьер. – Я хотел вас подразнить. Впрочем, должен признаться, что Достоевский мне антипатичен по разным причинам. Меня вообще возмущает наша токада “северным сиянием”. Я согласен видеть в Достоевском писателя больных людей, а в Ибсене второстепенного популяризатора Шопенгауера, но отказываюсь признавать их глашатаями новых истин. Моей натуре противен всякий фетишизм… Если б даже меня самого признали пророком, я бы отказался от этой чести. Что может быть скучнее слепого поклонения?

– Moi, je truve ca charmant[162], – сказала Lucie и, глубоко вздохнув, стала в миллионный раз жаловаться на франценсбадскую скуку, на деспотизм Пьера, на глупость немецких докторов и т. д.

30 июня (12 июля)

Получила письмо от Лили. Просит привезти ей кружев и гранат. Все благополучно, все здоровы, веселы. Варя Карцева выходит за Башевича. Юрий Павлович в отличном расположении духа… Ну и слава Богу…

Сегодня почти весь день провела вдвоем с Dagoury. Он был в экспансивном настроении и “выкладывал душу”. Lucie познакомилась с целым отрядом американок и умчалась с ними в Карлсбад. Пьер отпустил ее с таким жаром, точно обрадовался возможности передохнуть. Проводив жену на вокзал, он пошел отыскивать меня. Мы встретились у памятника эрцгерцога, на котором (не на эрцгерцоге, а на памятнике) восхваляется в стихах чудодейственная сила франценсбадских источников, излечивающих даже “das ermattete kranke Herz”[163]. Я показала Dagoury на эту строчку. Он улыбнулся. – Tiens![164] С завтрашнего дня начинаю пить воду. А вы, chere madame, как себя чувствуете?

– Прекрасно. Merci.

– Очень рад. Последние дни у вас был грустный вид.

Я сказала, что беспокоилась отсутствием известий из дома, что тоскую по дочери.

– Никак не могу себе представить, что у вас взрослая дочь! – воскликнул Dagoury.

– Вы, что же это, пользуетесь отсутствием жены, чтобы говорить мне комплименты?

– Non, non! Я совершенно искренен. В Париже мы сплошь и рядом видим мамаш, которые похожи на младших сестер своих дочерей, но вы не такая. Когда я гляжу на вас, мне все кажется, что вы свою жизнь в снегу пролежали… или заснули, как маленькая принцесса в сказке.

– Но, так как prince Charmant[165] не явился во время, чтобы меня разбудить, то давайте беседовать о чем-нибудь другом.

– Однако вы… prude[166], заметил француз.

Некоторое время мы шли молча. Потом он стал мне рассказывать о своих занятиях, о своих друзьях, о Париже, который все больше и больше становился очагом космополитического мещанства.

– Знаете, – промолвил он с увлечением, – я обожаю Париж, это солнце, которое равно льет свой свет на добрых и нечестивых, но временами я его ненавижу. Мне кажется иногда, что вся человеческая пошлость и подлость слилась к нам, как в гостеприимную канаву. Нас захватило пробуждение варварских инстинктов в Европе, и мы, так щедро наделявшие мир великими идеями… nous devenons grotesques de platitude…[167]

– По-русски это называется самобичевание, – сказала я.

– Comment[168], – спросил Dagoury, и когда я объяснила ему, что это значит, он закивал головой и несколько раз повторил: Samobitchevannie. Отличное слово… только ваше samobitchevannie безнадежно. Chez vous c'est une especе de volupte[169], а нас спасают наши коренные недостатки – тщеславие и скупость.

– Я поглядела на него в недоумении.

– Ну да, – сказал он. – Скупость и тщеславие – основные черты французского характера. Из-за скупости мы совершаем всяческую мерзость, но тщеславие наше так велико, что мы тут же готовы облагодетельствовать вселенную.

– Теперь мне понятно, почему ваша жена вас упрекает в отсутствии патриотизма, – пошутила я.

– Моя жена – ребенок… Что до патриотизма, то ведь еще старик Фенелон сказал: II faut aimer sa famille plus que s oi meme, sa patrie plus que sa famille et Thummanite plus que sa patrie[170].

– Прекрасная утопия, – заметила я.

– Не говорите, – возразил Dagoury. – Вспомните, сколько вещей, которые теперь неопровержимые истины, в свое время считались вредной бессмыслицей. Приведу самый банальный пример: движение земли вокруг солнца. То же будет и с войной, и с расовой ненавистью. Человеческую башку надо сверлить безостановочно, чтобы в нее проник луч света… В этом отношении каменная глыба, которую взрывают динамитом, гораздо податливее. Но, не надо отчаиваться. Нужно работать и, поверьте, что против бациллы злобы, как против бешенства, дифтерита, чумы – будет найдена своя сыворотка.

– Вы оптимист, monsieur Dagoury.

– Непременно, хотя и не в смысле Панглосса. Планета наша довольно скверна, но раз уж мы обречены влачить на ней свое существование – il faut cultiver notre jardin[171]. Сила духа бесконечна. Главное, это не бояться большинства. Все великое дарилось миру меньшинством. La majorite a toujours ete un troupean[172]. И я верю, – продолжал он, оживленно жестикулируя, и с той своеобразной декламацией, от которой не свободны даже самые простые французы, – я верю, что придет время, когда люди не будут знать ни болезней, ни бедности, ни старости, ни смерти.

– Vous n'y allez pas de main morte[173], – сказала я, смеясь. – А пока что – цари творения не додумались еще до сколько-нибудь порядочного устройства семьи. Возьмите к примеру хоть вашу литературу. Романы, драмы, комедии, водевили – все вертится на адюльтере, обмане, грубой чувственности. Ведь это значит, что действительность очень горька, и люди ищут забвения в мираже. – Кто же об этом спорит? – произнес Dagoury. – Несомненно, люди злы от того, что несчастны. Чтобы быть добрым, нужно быть счастливым. On ne donne que le superflu[174]. Но… не следует предъявлять ближним чересчур высокие требования. Вы, chere madame, заражены русским аскетизмом и нетерпимостью, Все русские – сектанты. (А ведь это, пожалуй, верно). Вы помешаны на морали. Да! На морали, – повторил он с иронической интонацией, – Вам, как детям, при басне полагается нравоучение. И потом, вы все ищете спасительных пунктов. Смирение, целомудрие… Apres la sonate a Krutzer on n'entend que ca[175].

– Даже у нас – он расхохотался – этим заразились… Quelle imbecilite! On est chaste ou non chaste, comme on est btun, blone, roux…[176] Надо сказать себе: я таков. Постараемся устроиться так, чтобы мои особенности как можно меньше вредили другим.

– С такой теорией можно дойти Бог знает до чего, – сказала я.

Француз покачал головой:

– Уверяю вас, что она менее опасна и более человечна, чем

рецепты, претендующие обращать людей в бесплотных серафимов… Я на себе испытал влияние вашего мистического тумана и… совершил в это время величайшую гадость моей жизни. Я взглянула на Dagoury. Он был очень бледен, но улыбался, развязно помахивая тросточкой и даже стал насвистывать какой-то веселый мотив.

Мне сделалось неловко. Я стала искать тему, чтобы переменить разговор и, точно назло, ничего не приходило в голову. В тени старого каштана мелькнула ярко-зеленая скамья. Я сказала, что хочу отдохнуть.

Dagoury любезно обмахнул платком воображаемую пыль и сел рядом со мной.

– Chere madame, промолвил он, закуривая папиросу, – я вас напугал… Простите. Но меня так и тянет исповедаться перед вами. Вы позволяете?

– А вы не будете сожалеть о своей откровенности?

Он усмехнулся.

– Что значит скверная щепетильность. Француженка из одного любопытства стала бы клясться, что она скромна, как могила… Нет, chere madame, я ни о чем не буду сожалеть.

– Надо вам сказать, начал он после небольшого молчания, – что я был искренний и чистый юноша и очень стойко боролся с искушениями. Моим идеалом было строгое, монашеское целомудрие. Но… молодость взяла свое…

Я уже кончил Ecole normale[177], когда впервые влюбился в одну прелестную девушку. Моя мать наотрез отказала мне в своем согласии на брак, который ей представлялся mesaliance[178]. Чтобы успокоить бунтующую совесть, я дал себе слово и заставил поклясться Jeanne, что мы всегда и абсолютно будем верны друг другу. Jeanne была из бедной, но вполне порядочной семьи. И, представьте себе, chere madame, она была похожа на вас! Не чертами лица, не манерами – моя бедная подруга была простая девушка, но в выражении глаз, в улыбке, в звуке голоса – есть положительно что-то общее… Мы с ней прожили десять лет. Mais voila![179] Я должен был уезжать в Нормандию к матери месяца на два. Jeanne оставалась одна. Писал я ей редко. Мать меня пилила, не переставая, за мою “неприличную связь”. Это отзывалось на моих письмах к Jeanne. По возвращении я всегда заставал ее грустной, убитой… Вдруг моя мать мне сообщила, что у Jeanne есть любовник и доставила мне два ее письма. Моим соперником оказался, как водится, один из моих приятелей. Судя по письмам, он воспользовался одиночеством и унизительным положением, в которое ставили Jeanne мои поездки к матери. Она умоляла его оставить ее в

покое, говорила, что любит меня, несмотря на мое неблагородное отношение к ней. Это меня всего более взбесило – я считал, что все жертвы идут с моей стороны. Во мне проснулся зверь. Я бросил эти письма в лицо Jeanne и выгнал ее, мою жену, как воровку, как собаку. Она плакала, заклинала, ползала на коленях, но я был беспощаден.

Dagoury вдруг замолчал, прикусил нижнюю губу и отвернулся.

– После этого, – продолжал он, овладев собой, – я женился на молодой, богатой девушке, которую выбрала моя мать… Une chaste jeune fille[180], – прибавил он, вздохнув, и воскликнул: – признайтесь, что может быть более жестоко, чем добродетель, которая самый узкий, недостойный предрассудок возвела в догмат! Мне так стало жалко несчастного Пьера, что я уже ничего не возражала на его философию… Мы посидели еще немного и тихо побрели домой. Прощаясь, он смущенно проговорил:

– Не думайте обо мне слишком дурно… Право, я добрый малый.

5 (17) июля

Какая мучительная тоска. Из дому целую неделю ни слова… Как мало я там нужна! В сущности, я только помеха в жизни Юрия Павловича и Лили… раздражающий элемент. Мне нездоровится. Доктор настаивает, чтобы я продлила *курс.* Уже два дня, как льет дождь. Холодно… Здесь очень резко меняется погода… Как противно видеть эту беготню за крейцерами. У Franzensquelle[181] прислуживают две девочки. Я даю им всегда немного мелочи – и, нужно видеть, как они наперерыв, одна перед другою, не соблюдая очереди, подают мне стакан, приседают. Вчера я забыла дома кошелек. Девочки удивленно посмотрели на меня, разочарованно промолвили: “Kusse die Hand”[182], а у меня было такое чувство, точно я их обидела и обманула.

6 (18) июля

Соседи начинают меня тяготить. Они все ссорятся между собой. Стена, разделяющая нас, так тонка, что я поневоле все слышу. Эта хорошенькая Lucie несносное существо. Она пилит бедного Пьера из-за всякого пустяка. Не так встал, не так сел, не так купил, не то сказал… Только и слышно: tu ne m’aimes pas, tu m’embetes, tu m’agaces…[183] Он поминутно ее умоляет: ta cherie, не говори громко, on nous entend[184], но “cherie” не унимается. А когда мы сходимся, она очень мила, иногда забавна… Несчастный Пьер…

7(19) июля

Была в театре. Играла, приехавшая из Вены, труппа молодых актеров. Крошечная сцена, но такая чистенькая! Милая обстановка и прекрасные актеры. Пьеса – излюбленная немцами Posse[185]: тут и тирольцы, и столичные франты, и более или менее удачные “вицы”. И среди этой веселой путаницы трогательная фигура бедняка-профессора, прожившего жизнь за составлением словаря никому не известного наречия давно исчезнувшего племени. Наивный старик глубокомысленно рассчитывает, сколько можно проехать километров на те деньги, что стоит шампанское, которое беспечно распивают берлинцы…

8 (20) июля

Коротенькое письмецо от Юрия Павловича, и ни слова от Лили. Встретила в парке Шухмину. Просидела с ней часа два и словно побывала в Москве. Все то же! Шухмина, по обыкновению, очень много рассказывала о литературных событиях, обедах, заседаниях, юбилеях, речах, но все как-то фатально сводилось к тому, кто с кем поссорился, помирился, подрался, наговорил жестоких истин. Видела она и Юрия Павловича – и, между прочим, намекнула о его новом увлечении Дроздовой, великодушно подсластив пилюлю:

– Вы-де выше такого мелкого чувства, как ревность… Какой вздор все эти правила и рассуждения. О, как я ревновала, мучилась и страдала в те далекие дни, когда я любила Юрия (теперешнего Юрия Павловича). Одно меня встревожило. Когда я спросила Шухмину, не встречала ли она Лили, она, странно улыбаясь, ответила:

– Как же! Она постоянно катается с баронессой Дамбах и князем Двинским. Говорят, князь без памяти влюблен в вашу дочь. Я возразила, что князь – больной человек и к нему нельзя прилагать обычную светскую мерку.

– Конечно, конечно, – согласилась она и злорадно прибавила, – он ведь эпилептик и идиот. Все это знают…

А от Лили, словно нарочно, ни звука. Господи, какие мне дикие мысли в голову приходят… даже самой себе стыдно и жутко признаваться.

10 (22) июля

И сегодня нет ничего от Лили. Может быть она больна… Если бы захворал Юрий Павлович, он бы сейчас сообщил. Когда он болен, то не может обойтись без меня. Подожду еще два дня и телеграфирую. Опять беседовала с Шухминой и опять слушала

намеки. Она не называла прямо Лили, но говорила о нынешних молодых девушках, которые *бегут* от труда, для которых роскошь и наслаждение – единственные идеалы… Какой милый и добрый Пьер! Он заметил мое уныние и, ни о чем не выспрашивая, старается развлечь меня. Lucie тоже любезна, но очень уж она взбалмошна. Последнее время она немножко утихомирилась, посвежела, поздоровела, по целым часам проводит с американками. Когда в их экскурсиях и пикниках участвует Пьер, Lucie мне каждый раз заявляет:

– IL est ennuyeux comme la pluie…[186]

А мне с ним очень легко. Странное дело! Я столько лет таю в себе свои мысли и чувства и вообще у меня нет ни малейшего желания “делиться своим внутренним миром”, как выражаются героини идейных романов, а вот этому чужому французу я незаметно рассказала то, чего не знают люди, с которыми я прожила жизнь. При нем даже молчать нестеснительно. Сегодня мы долго сидели в парке. Я писала письма. Он читал, делая отметки в записной книге. Я сказала: простите, что я все молчу.

– О, пожалуйста, – возразил он, – не обращайте на меня внимания. Как это грустно, – продолжал он, – что вы нас скоро покинете. Неужели наша встреча останется обыкновенным курортным знакомством. Это слишком печально. Я бы желал, чтобы вы считали меня другом. Обещайте, chere madame, что вы меня позовете, если вам понадобится верный человек.

Я невольно усмехнулась и заметила, что вряд ли мне придется его тревожить. Какие могут быть события у старой женщины, которой надо кое-как доживать век.

– Неужели и вы – кокетка? – воскликнул он. Ведь я вам не объясняюсь в любви. Je vous aime d’amite[187], а эту любовь не пугают морщины…

В эту минуту между деревьев мелькнула грациозная фигурка Lucie. Она быстро шла к нам, румяная, улыбающаяся, шаловливо бросила веер на книгу Пьера и нежно расцеловала меня.

– Я чуть-чуть не подралась с одной янки, – заявила она, но мы уже помирились. И все за русских…

– А ваш муж в это время мне клялся в верности до гроба, – сказала я.

Lucie звонко расхохоталась, потом замахнулась на Пьера зонтиком и трагически произнесла: traitre! monstre![188]

15 (27) июля

Из дому гробовое молчание. От Кривского получила очень странное письмо. Он пишет, что у него была Лили и очень долго с ним беседовала, что он не совсем ее понимает, но что она во

всяком случае девушка замечательная, одна из тех сильных натур, которых не приходится мерить на общий аршин. “Она, – пишет Николай Степаныч, – не будет бесплодно хныкать и жаловаться, но властно возьмет от жизни все, что она может дать, и по дороге осчастливить многих… а если и потопчет кое-кого – не ее вина: зачем попался под ноги… А вы, голубушка, должны понять, что Лили крупнее разных добронравных девиц, и не огорчаться, если она выкинет что-либо на наш с вами взгляд неподходящее”…

Что же это, Боже мой!.. Очевидно, Николай Степаныч меня подготавливает. Она же, вероятно, и упросила… Я догадываюсь, но не могу этому верить… не хочу… боюсь… Ах, да не может же этого быть…

16 (29) шюля

Телеграфировала Юрию Павловичу.

18 (30) шюля

Телеграмма от Юрия Павловича… “Выезжай немедленно, Лили помолвлена с князем”…

Ну, конечно, конечно, конечно… точно я этого не знала.

Наташа Криницкая

I

Конец августа. Солнце знойным потоком заливает Сед-Амет, один из новомодных крымских курортов. Тихо плещут о берег волны, оставляя на белом песке пестрые ракушки. Толпа черномазых ребятишек с громким смехом и визгом полощется в бухте, обдавая брызгами шныряющие мимо ялики. Приезжих масса. Все квартиры заняты, и роскошная гостиница “Учмеше”, построенная на манер швейцарских пансионов – набита битком. Два господина встретились у пристани, поздоровались и побрели вместе вдоль набережной. Один из них, худощавый сутуловатый брюнет, с красивым, уже несколько помятым лицом, которому отсутствие бороды и усов придавало актерский вид – был художник Федор Алексеевич Хомутов, составивший себе громкое имя несколькими сенсационными картинами, в свое время вызвавшими целую бурю в лагере “идейного искусства”. Второго звали Антон Филиппыч Коробьин. Это был человек, лет сорока пяти-семи, еще стройный, высокого роста, с густою гривой полуседых волос и длинною светло-русою бородой, веером окаймлявшею его подвижное лицо. Коробьин был известный романист, драматург, публицист, неутомимый сотрудник скромно фрондирующих газет и журналов.

– Ну что, устроились? – спросил художник (он говорил тонким, высоким голосом, лениво растягивая слова).

– Как же!.. Обрели себе уют у какой-то дебелой гречанки, тут недалеко от вашего палаццо. Елена Ивановна теперь там разбирается… Пыль, шум… Дети скачут по чемоданам… Я сбежал.

– Как оно и подобает солидному отцу семейства, – вставил Хомутов.

Антон Филиппович махнул тростью по своим башмакам.

– Хорошо вам смеяться. Вы – вольный казак, уложили свои кисти да краски, и поминай, как звали. Посидели бы, батенька, в нашей шкуре… зиму-то строчишь, строчишь, – индо одуреешь, и летом нельзя передохнуть… Только задумаешь удрать, сейчас же и дети вцепятся: “Куда, мол, голубчик, шалишь!..” Вот и теперь думал прокатиться сюда недели на три, а придется, чего доброго, прожить в сем Эдеме зиму. У младших девочек, вишь, английская болезнь. И откуда она только!.. Вот испытайте-ка на себе сладость семейной идиллии, приправленной иностранными и российскими

болезнями.

– Зачем мне испытывать, я вам на слово верю…

Мимо прошли элегантная стройная, белокурая дама и молоденькая девушка. Хомутов снял свою широкополую шляпу и раскланялся. Дама отклонила красный шелковый зонтик на плечо и, сощурившись, кивнула головой.

– Федор Алексеевич, кто это? Что за красавица? – воскликнул Коробьин и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на удаляющихся дам.

Хомутов рассмеялся.

– Какой вы впечатлительный! – Это Софья Петровна Криницкая с дочерью. Она тут с месяц и уже успела перессорить всех жен с мужьями. А ведь хороша?

– Удивительно, – подтвердил Коробьин. – Да неужели эта барышня ее дочь? Сколько же ей лет?

– Кому, матери или дочери?

– Конечно, матери. Дочь неинтересна.

– Не знаю. Это тайна ее и природы. А дочери девятнадцать лет, и она премилая, даже несмотря на лучезарную мамашу.

– Уж не огорчила ли вас эта мамаша, – пошутил Коробьин, – что-то вы о ней ехидно отзываетесь. А вы близки с ними?

– Весьма, Софья Петровна – моя давняя знакомая, – мы прежде часто встречались заграницей. И *тут* мы соседи, – моя комната рядом с их апартаментами. Хотите, я вас представлю? – предложил он.

– В пояс поклонюсь, только поскорее, не томите.

– А Елена Ивановна что скажет? – возразил художник.

Коробьин сделал неопределенную гримасу.

– Ничего, она у меня смирная, – сказал он. – К тому же я ее убедил, что писателю нужны иногда такие “мимолетные виденья”…

Они засмеялись.

II

Криницкая занимала в “Учмеше” отделение в три комнаты. Из средней, приемной, отделявшей спальни матери и дочери, стеклянная дверь вела на террасу, увитую виноградником, глициниями и мелкими розами. С террасы открывался прелестный вид на море, как бы запертое с одного конца каменной стеною гор.

Софья Петровна, покачиваясь в качалке, вяло перебирала страницы нового французского романа в желтой обложке. Против нее сидела дочь – темноволосая, черноглазая девушка, с нежным

задумчивым лицом и, придерживая одной рукой белую соломенную шляпку, другою накалывала на шелковый газ гладкое серое платье, стянутое у талии серою лентой, плотно охватывало ее тонкую, как будто еще не совсем сложившуюся фигуру. Она была очень миловидна.

Софья Петровна встала и, бросив на стол книгу, принялась ходить взад и вперед по террасе, волоча за собой длинный шлейф пестрого шелкового капота. Она остановилась на минуту, рассеяно поглядела на рассыпанные в парке домики, на убегающее вдаль море, по которому словно большие белые птицы, сновали парусные лодки, и пожала плечами, как бы говоря: все одно и то же!

В кипарисовой аллее промелькнул силуэт мужской фигуры.

– Сосед, сосед, Федор Алексеевич, – крикнула Софья Петровна, – идите сюда, мне скучно!

– Разрешите допить кумыс, Софья Петровна, – через десять минут я к вашим услугам, – проговорил художник, и, раскланявшись, пошел дальше.

– Дурак, – промолвила ему вслед Софья Петровна.

Дочь положила на колени работу и устремила на мать свои серьезные глаза

– Он нездоров, мама, не надо мешать ему лечиться.

У нее был приятный, грудной голос.

– Что это у тебя за страсть всех хоронить, – возразила мать, – он вовсе не болен. Я его десять лет знаю, и он все такой же. И какая забота о чужих!.. А что мать с тоски погибает, до этого нам дела нет…

– Пойдем домой, если тебе здесь не нравится.

Софья Петровна презрительно усмехнулась.

– Pas si bete[189], – сказала она. – И так два года я свету Божьего не видела. Да и что мне там делать! Любоваться на заводские трубы, варить с Аграфеной Ивановной варенье и созерцать величие твоего папаши. Нагляделась я на него досыта.

Девушка покраснела, сдвинула брови и, ничего не ответив, прилежно занялась отделкой шляпы.

Софья Петровна вспылила

– Это что за гримасы, – произнесла она раздражительно, – можно подумать, что тебя ущипнули. Ах, да! тятеньку затронули… Ну, конечно! он ведь, конечно, воплощение всех совершенств, а я – сосуд всяких мерзостей… Ох, уж эти мне добродетельные люди, – продолжала она, помолчав, – носятся со своею добродетелью, а на самом деле ничем, кроме гроша, не интересуются.

– Если ты это про отца, – начала Наташа, стараясь говорить

спокойно – то спроси рабочих, которые двадцать пять лет с ним служат. Они тебе скажут, так ли это.

– Зачем мне рабочие?.. Я по себе знаю: дает копейку, точно с жизнью расстается.

– Эта копейка достается ему тяжелым трудом, – заметила дочь.

– А я ее трачу с легким сердцем, ведь ты это хотела сказать? Что ж ты остановилась? Не стесняйся.

– К чему эти разговоры, мама? Ты раздражена, и мне тяжело.

Софья Петровна подняла брови.

– Вот как! – сказала она. – Что ж изволь… Мне все равно. Только ты бы, Наташа, уж составила программу, о чем мне разрешается с тобою беседовать, – и, опустившись в качалку, она опять принялась за брошенную книгу.

III

Софья Петровна всю жизнь любила и баловала только себя. Она обожала свою красоту, свои пышные золотые волосы, изучала, с терпением ученого и искусством актрисы, каждую черточку на своем лице, правильном, как античное изваяние, каждое выражение своих бархатных черных глаз. Покорять, царить, возбуждать восторг, – было в ней потребностью. Схватывая все на лету, она могла говорить обо всем и, благодаря большой осторожности, никогда почти не попадала впросак. Ей мерещились блеск, богатство, роскошь, безумная роскошь героинь французских романов; она вся разгоралась, мечтая о великосветских львицах, жизнь которых рисовалась ей непрерывным празднеством в волшебной атмосфере лести, поклонения, баловства… Она сознавала, что по красоте, уму, ловкости могла бы занять место “первой между первыми”… Но судьба, будто бы назло осыпавшая ее дарами, забыла ей дать один – богатство. Софья Петровна была дочь весьма благородных, но совершенно бедных родителей. На ее красоту вся семья смотрела как на якорь спасения и, чтобы вывезти Сонечку прилично в свет, отец и мать весь свой век изощрявшиеся в искусстве “казаться”, превзошли самих себя. Но расчеты не оправдались. Из толпы блестящих поклонников ни один не простер своих вздохов за пределы котильона. Софье Петровне минуло 25 лет, когда устрашенная перспективой старого девства, она вышла замуж за Василия Васильевича Криницкого. Он был не блестящий, но все-таки хороший жених. У него было порядочное состояние и директорское место на большом химическом заводе. Софью Петровну он увидал где-то на вечере и влюбился в нее по

уши. Она рассудила, что за неимением лучшего, отказывать нельзя и дала свое согласие. После свадьбы она скоро разочаровалась. Муж оказался вовсе не таким покладливым, каким представлялся женихом. У этого тихого человека были свои, не Бог весть какие широкие, но ясные определенные взгляды, которых он настойчиво держался, убеждения, от которых он не отступал. Он мечтал о мирной семейной жизни, пытался пробудить в жене интерес к своим занятиям, (даже водил ее к себе в лабораторию), но она оказала этим попыткам самое презрительное упорство, находила мужа скучным, идеалы его – мещанскими, ласки – тягостными. Когда родилась девочка, Василий Васильевич оживился. Он надеялся, что любовь к ребенку благотворно подействует на жену. Но Софья Петровна переименовала девочку из Натальи в Миньону, прехладнокровно передала ее на руки кормилице, потом няньке, а сама все так же уныло бродила по комнатам или валялась по диванам, снедаемая жаждой вырваться из острога, как она называла свой дом, и с каждым днем все больше ненавидела мужа. Она исхудала, побледнела и, наконец, захворала какою-то нервною болезнью. Доктора послали ее заграницу. Там Софья Петровна сразу почувствовала себя, как в родной стихии, и с тех пор болезнь ее приняла хронический характер. Несколько месяцев в году она проводила заграницей, домой возвращалась, как в неволю, под каждым предлогом уезжала в Москву (от которой завод был в нескольких часах) и пропадала там по нескольким неделям. Василий Васильевич чуть с ума не сошел. Он никак не мог помириться с установившимся порядком вещей. То ему казалось, что виновата во всем жена, то он винил кругом себя, что не сумел разгадать ее натуру, что хотел ее, красавицу, царицу, заставить жить будничною жизнью обыкновенных женщин, и давал клятвы впредь уступать ей во всем, лишь бы она его не покидала. Но когда она возвращалась, когда он сравнивал свое невзрачное заморенное тело с ее цветущей, сияющей красотой, его охватывал такой прилив злобы к ней, такая жгучая ненависть, что он готов был броситься на нее, избить и задушить. Они никогда ни о чем не говорили друг с другом просто. В каждом слове слышался намек, давнишняя обида. Иногда, чаще всего пред ее отъездами, происходили сцены. Остроумная, изящная Софья Петровна кричала и бранилась самыми грубыми словами. Он обыкновенно молчал, но обводил ее с ног до головы таким ядовитым взором, что она теряла всякое самообладание и окончательно выходила из себя. Девочка росла как бы между двух враждебных лагерей. Она жалела и боялась угрюмого несообщительного отца и любила свою легкомысленную, красивую мать. Вся ее детская жизнь

проходила в страхе, – что, вот-вот, родители поссорятся, – и в вечном напряжении вовремя предотвратить бурю.

Когда Софья Петровна отправлялась на воды, в доме наступало могильное затишье. Василий Васильевич приходил с завода только к обеду, рассеянно целовал дочь и запирался в кабинете. Наташа училась, работала и с увлечением играла на рояле (Василий Васильевич, заметив любовь девочки к музыке, каждую неделю отправлял ее с гувернанткой в Москву, к известному профессору, и это была единственная ее радость). Ей минуло шестнадцать лет, когда Софья Петровна неожиданно вернулась домой, объявив, что ей надоело “шататься”, что она соскучилась по дочке. Пронеслись слухи о какой-то странной истории, но Софья Петровна не смутилась, и они замолкли. Годы, казалось, бесследно пролетели над ее головой. Жажда жизни все так же горела в ее черных глазах, сквозила в каждом ее движении.

Прислуга, особенно старая горничная Аграфена Ивановна, встретила ее неприязненно; Василий Васильевич с холодным достоинством; одна Наташа искренне ей обрадовалась. Это тронуло даже Софью Петровну. Она смотрела на худенькую, прелестную девушку, целый день занятую хозяйством, уроками, музыкой, и ей было даже как-то чудно, что это – ее дочь. Но скоро она привыкла к своему новому положению: начала часто ездить в город, рядиться, а вперемежку – пилить мужа и дочь. Ее раздражала “деревянность” Наташи. Она принялась было ее отесывать, но безуспешно. “Это – рыбья кровь, кровь Василия Васильича”, – решила она. Так прошло два года. Софью Петровну уже начала одолевать знакомая домашняя тоска, как вдруг захворала Наташа. Доктор посоветовал везти девушку на зиму в Крым, и Софья Петровна с облегчением вздохнула. Ей было все равно, куда ни ехать, только бы вон из дому.

IV

– Мама, кажется к нам гости, – сказала Наташа и, подавшись вперед, стала всматриваться сквозь частую сетку зелени к приближавшейся кучке людей.

– Кто? – спросила оживляясь Софья Петровна.

– Хомутов, да еще этот… литератор, его приятель с какой-то дамой.

– Это Коробьин с женой. Он хотел ее познакомить с нами. Приготовь все к чаю, Наташа, да поскорее, а то Аграфена Ивановна до завтрашнего дня прокопается, – и, достав из кармана маленькое зеркало в плюшевом футляре, Софья Петровна быстрым привычным движением пальцев поправила свою

прическу. Она встретила гостей с любезной улыбкой и протянутой рукой. Коробьин представил жену. Это была сухощавая светлая блондинка невысокого роста, с приятным, но озабоченным и уже поблекшим лицом. Беглым взором из-под низу она окинула эффектную фигуру Софьи Петровны, поймала сверкнувший в глазах мужа огонек и смутное чувство неприятия змейкой проползло по ее сердцу.

Все уселись. Хомутов осведомился о Наташе и, узнав, что она хлопочет по хозяйству, заявил, что пойдет ей помогать. Софья Петровна кивнула головой в знак согласия и сосредоточила все свое внимание на гостье. Она посмотрела на нее ласковым, почти соболезнующим взглядом и принялась расспрашивать о детях, здоровье, квартире, прислуге… Елена Ивановна, усмотревшая в этих банальных вопросах намерение ее унизить, взволновалась и, сухо удовлетворив любопытство хозяйки, взяла со стола книгу. “Sapho”[190], – прочла она вслух и обернулась к мужу.

– Помнишь, Антон Филиппыч, как ты из-за этой “Sapho” поссорился с Иваном Петровичем, – и она с преувеличенною небрежностью назвала фамилию известного критика. Коробьин, не глядя на жену, взял у нее из рук книгу, перелистал, спросил Софью Петровну, как она находит этот роман, и по русской привычке, не дожидаясь ответа, стал излагать собственное мнение. Между ними завязался оживленный разговор. Коробьин осуждал крайности французского натурализма, нападал на рабское ему подражание у нас и выражал надежду на близкое возрождение в литературе эстетических и этических идеалов. Софья Петровна горячо с ним соглашалась. Елена Ивановна принимала в беседе лишь немое участие: она все порывалась вставить свое словечко, – но ей это не удавалось.

Дверь распахнулась, – показалась пожилая горничная, в белоснежном чепце, с самоваром в руках. За ней, поддерживая с разных концов большой поднос с посудой и прочими чайными принадлежностями, вошли Хомутов и Наташа. Софья Петровна, улыбаясь, показала Елене Ивановне на дочь и промолвила:

– Вот какая у меня уже большая девица.

Девушка поклонилась на ходу и прошла на террасу, где стояли рядом два стола – большой круглый и маленький – с тяжелой мраморною доской для самовара. Она заварила чай и помогла горничной накрыть на стол.

Хомутов сел возле нее.

– Хороши новые знакомые, Наталья Васильевна? – спросил он вполголоса.

– Почем же я знаю, – возразила она, – они при мне еще ни слова не сказали.

– Тем лучше! Людей только и можно наблюдать, пока они молчат. Разговаривающий человек всегда себя показывает, и уже с лица, а не с изнанки.

– Как у вас все хитро выходит… – начала было Наташа. Но в эту минуту Софья Петровна подвела Коробьиных к столу, и она замолчала.

Елена Ивановна, недовольная мужем, недовольная кокетством Софьи Петровны (она бы затруднилась определить, в чем именно заключалось это кокетство, но чувствовала его всем существом), бросила холодный взгляд на Наташу, поставившую перед ней чашку, словно ожидая и тут встретить врага. Но темные глаза девушки глядели прямо и приветливо, и у Елены Ивановны отлегло от сердца.

– Может быть мало сахару? – спросила Наташа.

– Merci, довольно, – ответила Елена Ивановна, и прибавила, – а вы, я вижу, настоящая хозяйка.

– О, Миньона у меня на все руки, – сказала Софья Петровна, – и благоразумна, как бабушка. Федор Алексеевич всегда говорит, что я должна брать с нее пример.

– Совершенно верно, – подтвердил Хомутов.

– Федор Алексеич вообще ваш почитатель. Он мне говорил, что вы прекрасно играете, – произнес Коробьин, считавший своим долгом оказать некоторое внимание дочери “интересной мамаши.

– Не знаю, когда Федор Алексеич меня слышал, я здесь играю очень редко, – отозвалась девушка.

– За это-то я вас и хвалил, – сказал Хомутов.

Все засмеялись, даже Елена Ивановна улыбнулась.

– Я очень люблю музыку, – промолвила она, – я прежде пела.

– А теперь? – спросила Наташа.

– Теперь никогда, все время на детей уходит.

– Я видела ваших детей на пристани, – сказала Наташа, – какие славные девочки! Они, кажется, все на вас похожи.

– Старшая – в отца. У нее темные брови и синие глаза, как у него, – промолвила Елена Ивановна, и в голосе ее прозвучала такая любовь, такая гордость, что Наташа с невольным любопытством взглянула на литератора, как бы желая убедиться, нет ли в нем чего-нибудь особенного. – Приходите посмотреть на моих ребят, – продолжала Елена Ивановна.

– С удовольствием. Я люблю возиться с детьми.

– А вот и эскулап с супругой! – воскликнул художник, перегибаясь через перила террасы. – Вы их знаете, Елена Ивановна? Интересная чета. Ему под шестьдесят, ей – тридцать. Он тонок, как жердь, она – кубарь. И дрожит же он перед ней!.. Непременно напишу с этой парочки картину семейного счастья.

– Они предобрые и очень друг друга любят, – заметила Софья Петровна

– Обожают, – сказал Хомутов, и крикнул: – Дарья Николаевна, мое почтение. Пане докторе!

Доктор приподнял обернутую чадрой шляпу

– Добрый день, пане, як се пан ма? А мы до чаровницы, – произнес он уже на ступеньках террасы и галантно подошел к ручке Софьи Петровны. Она погрозила ему, поцеловала его жену и познакомила их с Коробьиными. Доктор сказал Наташе, что она цветет, как роза, и, опустившись на кресло, стал утирать красным фуляровым платком пот, блестевший на огромной лысине.

– А ты уж раскис, – заметила ему жена, хорошенькая брюнетка с задорно вздернутым носиком.

– Не, мое сердце, то моя задышка, – возразил он спокойно.

– Задышка! – передразнила докторша, громко расхохотавшись, и, обратившись к дамам, стала передавать щебечущим голоском злобы дня. Она рассказала, сколько в городе новых приезжих, где кто остановился, какие предстоят в этом сезоне развлечения, согласилась с Софьей Петровной, что Сед-Амету далеко до Ялты, но тут же прибавила, что этот год особенно неудачный.

– В прошлом сезоне было ужасно весело, – говорила докторша, – много военных, пропасть романов. Одна московская дама, например, влюбилась в артиллерийского поручика. Вдруг приезжает муж. И что же! Бедняжка с отчаяния бросилась в бухту! Не верите? Честное слово. Без чувств вытащили. Франц Адамыч три часа ее оживлял.

Софья Петровна сделала большие глаза и заговорила о бале, который собирались и никак не могли устроить.

– Да, бала видно не дождешься, – сказала докторша тоном самого искреннего сожаления, – а вот, Софья Петровна, поедемте с нами верхом на Байдары. Мы едем целым обществом: мадам Панова с Люсенькой, я, полковник Ильин и еще, еще, еще.

– А вы когда собираетесь? – спросила Софья Петровна.

– Послезавтра. Да что тут долго думать! Ведь это не в Америку.

– Не знаю, право, – нерешительно проговорила Софья Петровна, и, взглянув на Коробьиных, прибавила: – поезжайте тоже!

Елена Ивановна опять взволновалась.

– Куда же мне верхом скакать! – воскликнула она.

– А вы, Антон Филиппыч?

Но Антон Филиппович не успел раскрыть рта, как жена ему заявила:

– Я тебя ни за что не пущу, Антон. Да я с ума сойду, все буду думать, что тебя лошадь понесла.

– Как это трогательно, – процедил сквозь зубы муж.

Софья Петровна посмотрела на него с лукавой усмешкой и обратилась к Хомутову:

– Вы ведь не откажетесь быть моим кавалером, Федор Алексеич?

– Помилосердствуйте, Софья Петровна, вы меня живым не довезете.

– Это почему?

– Да спросите у доктора. Он вам скажет, гожусь ли я в рыцари.

– Нашли, кого спрашивать, – прервала докторша, – он в прошлом году сказал про одного господина, что тот до дому не доедет, а он не только до дому – вчера сюда прикатил жив-живехонек.

На всех лицах промелькнула улыбка. Доктор сконфузился и обиженно возразил,

– Але, мое сердце, я ведь не Бог и могу ошибиться.

Наташе стало его жаль.

– Франц Адамыч, – начала она, желая переменить разговор, – как здоровье Агариной? Я ее уж несколько дней не видала.

Доктор вздохнул.

– Плохо, панна Наталия, очень плохо. Та подлая лихорадка нам все дело портит. Ах, эти бедачки-актрисы! – грустно прибавил старик, – сколько их тут у меня перебывало на Южном берегу! Тяжелая карьера.

На лице Наташи изобразилась неподдельная печаль.

– Сегодня же пойду к ней! – сказала она.

Доктор взглянул на часы и поднялся. Коробьины тоже стали прощаться. Елена Ивановна холодно пригласила к себе Софью Петровну. Докторша строго объявила Хомутову:

– Чур не расстраивать компании, не то уши отдеру.

V

Когда все удалились, Софья Петровна подошла к Хомутову и, пристально взглянув ему в лицо, проговорила:

– Ведь вы едете?

– Увольте, Софья Петровна, не могу.

– Да что вы, мужчина или тряпка?

– Я больной, Софья Петровна.

– Это мне все равно. Я хочу, чтобы вы ехали, и вы поедете, слышите, – сказала она властно.

– Отчего вы не возьмете с собой Коробьина? Он здоров и поскачет за вами, куда угодно, только пальцем поманите.

– Очень возможно… но я добрая и не желаю огорчать его жену, а потому моим кавалером будете… вы! Наконец, я вас прошу об этом… а мне еще никогда не отказывали, когда я просила, – промолвила она, вдруг переменив тон, тихо, почти нежно. Щеки ее заалелись, она стиснула руки и протянула их к нему. Было что-то неотразимо обаятельное и угрожающее в ее широко раскрытых блестящих глазах, во всей ее выжидающей позе.

– Значит, мы едем, – сказала она, дотрагиваясь до его рукава, – да?

– Что ж с вами делать!

Софья Петровна расхохоталась.

– А теперь я вас не возьму… не хочу, и кончено.

Он с изумлением посмотрел на нее и медленно покраснел.

– Что, струсили? – продолжала она смеясь, – ну, Бог с вами. Возьму и даже, если останусь вами довольна, то…

– То?

– Соглашусь позировать для вашей картины… Помните, вы меня просили?

– Искусительница! – проговорил художник.

– Мама, – вдруг послышался слабый голос, – как же ты поедешь, ведь у тебя нет амазонки?

Софья Петровна слегка вздрогнула. Она совсем забыла про дочь.

– Как ты меня испугала, Миньона! Я и не заметила, что ты тут. Амазонки нет?.. А мы сейчас купим сукна, и ты мне ее живо смастеришь на машинке. Аграфена Ивановна тебе поможет. Побалуй свою глупенькую маму, Миньоночка. Ведь ты у меня фея, – и Софья Петровна обняла и поцеловала дочь.

Хомутов заметил пристыженное, тревожное выражение на лице девушки, и ему стало неловко, точно он перед ней провинился

– Может быть, и Наталья Васильевна поедет с нами? – сказал он.

Она холодно подняла на него свои правдивые, серьезные глаза и сухо проговорила:

– Я не езжу верхом, у меня болезнь сердца.

– У нее болезнь сердца, – подтвердила мать, – да она не будет скучать, она пойдет в гости к своей актрисе, и потом Миньона у нас умница, никогда не скучает.

И она потрепала дочь по бледной холодной щеке.

VI

– Готово, – произнесла Наташа, отрываясь от швейной машины и прислонясь к спинке стула.

Тёмно-синяя амазонка соскользнула с ее колен. Софья Петровна на лету подхватила платье и ушла его примерять в свою комнату. Наташа закрыла глаза. Она очень устала. Все платье почти пришлось шить ей; Аграфена Ивановна больше ворчала, чем работала. Она легла поздно и не могла заснуть. Под утро она забылась, но Софья Петровна, опасаясь, что платье не поспеет, разбудила ее с первыми лучами солнца и шутя усадила за работу. Примерив платье, Софья Петровна нашла, что оно жмет в груди. Это ее рассердило. Она гордилась каждым изгибом своей пышной, стройной фигуры, и малейшая складка на лифе портила ее настроение на целый день. Она нервно расстегнула пуговицы и пошла к дочери.

– Посмотри! – сказала она жалобно, – в груди жмет, я не могу повернуться. Как же ты так сузила? – прибавила она, едва сдерживаясь, чтобы не выбранить дочь.

Наташа осмотрела лиф со всех сторон, провела по нему руками и заметила, что он не узок, но что если маме неудобно, можно, пожалуй, пересадить две пуговицы. Софья Петровна возразила, что лучше уж оставить как есть, тем более, что она сама виновата, пожалела денег на портниху. – Милый супруг требует экономии, вот и поезжай теперь пугалом.

Наташа могла бы возразить, что в Сед-Амете нет портнихи, которая бы взялась сшить платье в один день, но промолчала и вздохнула. Она привыкла к быстрым переходам в обхождении матери, но сегодня ей было особенно тяжело. Ей неприятен был весь этот пикник, неприятно обращение Софьи Петровны с Хомутовым и Коробьиным… Она еще раз вздохнула и отвернулась, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы.

В дверь постучались. Вошел Хомутов… Увидав Софью Петровну, он не мог удержать выражение восторга. Амазонка очень шла к ней. Она заметила произведенное впечатление и мгновенно развеселилась.

– Недурно? – спросила она, – а мне не нравится, как-то неуклюже сидит.

– Не знаю, чего вам еще нужно. Вы похожи на греческую статую.

– Правда? Это все Наташа. Я вам говорила, что она у меня волшебница.

– Только вы эту волшебницу заморили, – произнес художник и внимательно посмотрел на утомленные черты девушки.

Задумчивый профиль, небрежно свернутая на затылке коса, темная прядка волос на нежной шее… Хомутов ни разу не видал ее такою. В нем шевельнулось профессиональное чувство художника: “какой милый жанр”, – подумал он.

– Она выспится, когда мы уедем, – сказала Софья Петровна.

– Который час?

– Скоро одиннадцать… Лошади ждут.

– Вот и отлично. Наташа, тащи скорее шляпу… Я велела Аграфене Ивановне прикрепить вуаль. Где мои перчатки? – А хлыст? Ну, кажется все… Живей!

Она подобрала шлейф и легкими шагами сбежала с лестницы, сопровождаемая дочерью и художником. У крыльца ждал татарин возле привязанных к дереву иноходцев, мирно жевавших губами. Хомутов подвел Софье Петровне лошадь и подставил руку. Она чуть оперлась на нее ногой и быстро, как птица, вспрыгнула на седло. Он поправил ей стремя. Софья Петровна поблагодарила кивком головы и, перегнувшись к дочери, протянула ей руку:

– Не скучай, девочка, завтра к обеду мы вернемся. Федор Алексеевич тоже уселся. Он опять посмотрел на Наташу, и ему опять стало жаль ее.

– Отчего вы не едете с нами? – сказал он, – было бы гораздо веселее.

– Зачем вы согласились ехать, если это вам вредно, – проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он засмеялся.

– Вашей maman угодно, чтобы я для нее рисковал жизнью.

Нельзя же ей отказать в таком пустяке.

– Бабушка, не смущай моего рыцаря, – заявила Софья Петровна и хлестнула лошадь. Хомутов тронул свою. Они помчались. Наташа стояла на крыльце и глядела на их скачущие рядом колыхающиеся фигуры, пока они не скрылись из глаз.

VII

В комнате царил беспорядок и та внезапная тишина, которая водворяется после сутолоки внезапного отъезда. Наташа машинально стала подбирать валявшиеся на полу обрезки сукна, пуговицы, поставила на место книги, поправила загнувшийся ковер. Вошла Аграфена Ивановна и, посмотрев на барышню, покачала головой.

– Ишь ты… без вас не приберут, – заметила она с укоризной.

– Да я так, Аграфена Ивановна, все равно делать нечего.

– Какого вам еще дела. Слава-те Господи, просидели ночь за

иголкой, вроде как портниха перед Светлым праздником, – иронически проговорила Аграфена Ивановна. – Зато мамашу ублаготворили, – продолжала она. – Вишь с каким молодцом укатила… Ай да мамаша! На поправку дочку привезла… На теплые воды. Посмотрел бы барин на эти порядки… То-то бы чай порадовался…

– Оставьте, Аграфена Ивановна, я терпеть не могу этих разговоров.

– Как вам угодно, матушка, – покорно ответила горничная, – коли вам ничего, то мне и подавно…

Наташа не дослушала и ушла к себе. Дувший с моря ветерок тихо колыхал спущенную штору. Она постояла в раздумье перед окном. Ей было неприятно вмешательство Аграфены Ивановны и совестно, что она ее “оборвала”. Невеселые мысли, осаждавшие ее с некоторых пор, сегодня как-то особенно назойливо ее преследовали. Она тряхнула головой и торопливо стала приводить в порядок свой туалет. Одевшись, она крикнула Аграфену Ивановну. Та явилась и с видом оскорбленного достоинства остановилась у двери.

– Аграфена Ивановна, я иду купаться, а потом к Агариной, знаете, больная барышня, во флигеле, – сказала она скороговоркой, избегая взгляда горничной. – Если будет письмо, принесите туда.

– К арфистке? – с непередаваемым пренебрежением спросила Аграфена Ивановна.

– Она не арфистка, а актриса. Я вам сто раз говорила.

– Виновата, матушка, не упомнила, – спокойно возразила горничная, – мы люди темные, актерка ли, арфистка ли, по нашему все одно… Что же, кушать дома не будете?

– Не буду, – сказала Наташа, уже сходя с террасы.

Аграфена Ивановна смягчилась.

– А то я вам принесу, пожалуй, туда… вместе с барышней с этой бы и покушали, а… Наталья Васильевна?

– Как хотите, – ответила, усмехаясь на ее великодушие Наташа и, раскрыв зонтик, направилась к морю.

В купальне она застала Елену Ивановну с детьми, уже раздетую. Она держала за руку худенькую, голую девочку, лет девяти, и безуспешно уговаривала ее сойти в воду. Девочка пятилась, упиралась и дрожала всем телом.

– Ну, глупая, ну чего ты боишься? – говорила волнуясь Елена Ивановна. – Это просто каприз, упрямство… Слушай, Юля, если ты не пойдешь добром, я тебя насильно втащу в воду. Услыхав такую угрозу, девочка с визгом вырвалась из рук матери и прижалась к младшим сестрам, сидевшим на скамеечке. Они

приняли ее в свои объятия и дружным ревом протестовали против родительского насилия. На Елену Ивановну было жаль смотреть: лицо ее покрылось пятнами, она чуть не плакала, – и на детей ей было досадно, и на себя, а пуще всего на невольную свидетельницу этой сцены, Наташу.

– Небось, вам смешно? – сказала она, кусая губы и поправляя съехавший на бок клеенчатый чепчик.

– Нисколько, – отозвалась Наташа и, быстро раздевшись, прыгнула в воду, нырнула, вынырнула на другом конце купальни и поплыла на спине. Девочки засмотрелись на нее. Она подплыла к ним.

– Юля, хочешь ко мне на руки, – предложила она, – уж я тебя не спущу, не бойся. Я тебя поддержу, а ты будешь плавать. Здесь есть девочки, гречанки, совсем крошки, а как плавают! И ты выучишься.

– А вы меня не уроните? – робко спросила Юля.

– Да уж будь покойна.

Девочка нагнулась, крепко схватилась ручками за шею Наташи, которая осторожно и медленно опустилась с ней в воду. Дети напряженно следили за ними глазами, а через минуту уже заливались звонким смехом, указывая на Юлю, которая, поддерживаемая Наташей, била руками и ногами по воде, поднимая целые фонтаны. Елена Ивановна тоже просветлела и все повторяла:

– Видишь, я говорила, что не страшно.

– Купание освежило Наташу, а дети развеселили. Она их расцеловала, погуляла с ними по набережной и затем уже отправилась к Агариной.

VIII

Агарина лежала на кушетке, укутанная пледами и одеялами; это была совсем молоденькая девушка с красивым лицом южного типа. Черные короткие волосы блестящими кудрями сбивались на ее узкий, высокий и белый лоб. Черные живые глаза так и сверкали под густыми длинными бровями.

– Здравствуйте, – сказала она, протягивая Наташе горячую влажную руку. – Уж я вас ждала, ждала… Спрашивала доктора, – не больны ли. Нет, говорит, цветет, как роза. Ну, думаю, значит ей не до меня.

Когда она говорила, на всем ее лице, в глазах, в круглой ямочке на подбородке играла улыбка, придававшая ее чертам своенравное, немного лукавое выражение. Наташа поцеловала ее и присела на кушетку у ее ног.

– Какая вы сегодня хорошенькая, Женя, – сказала она.

– Это меня лихорадка разрумянила. И трясла же она меня сегодня, проклятая, насилу согрелась, – сказала она и, помолчав немного, прибавила: – что же за тоска, лежать одной в четырех стенах и стучать зубами… Отчего вы так долго не были?

– Нельзя было. Здесь так дико время проходит – ничего не делаешь и постоянно занят. Новые знакомые у нас появились – Коробьины. Он – писатель. Третьего дня я собиралась к вам, пришел этот Коробьин с женой и задержался.

– Интересно, по какой мере? – спросила Агарина.

– Не знаю, право. Мама в восторге от мужа, а мне больше нравится жена. Она проще. Вчера не была у вас, потому что шила маме амазонку. Она сегодня уехала в Байдары.

– Отчего же она вас не взяла?

– Да я сама не захотела. Я не езжу верхом.

– Вот смешная! Будь я здорова, ни минуты бы, кажется, на месте не сидела, – воскликнула Агарина. – И литератор поехал?

– Нет. С мамой отправился Федор Алексеевич Хомутов.

– А, милый художник! Как же это? Ведь он влюблен в вас.

Наташа зарделась, но сейчас же оправилась и засмеялась.

– С чего это вы взяли? Он разговаривает со мной, потому что я благодарная слушательница, – не перебиваю и не критикую. А, впрочем, Господь с ним. Расскажите-ка лучше, как вы себя чувствуете?

Агарина распахнула платок, приподнялась на подушках и оперлась на локоть.

– Теперь мне лучше, – сказала она, – как только кончается пароксизм – я оживаю. Знаете, я думаю уехать отсюда. Мне кажется, продолжала она, – я слишком поддалась болезни. В прошлом году, в Пензе, со мной была такая же история. Простудилась под самую масленицу, лежу у себя в комнате, повторяю царицу Анну из “Василисы Мелентьевой”, а у самой зеленые круги перед глазами прыгают. Приходит наш антрепренер и начинает меня отчитывать. – Что же это, – говорит, сударыня, вы с нами делаете. Одна была надежда на масленицу, а теперь мы по вашей милости должны на бобах остаться. Будьте – говорит – паинька, подтянитесь, вам вся труппа в ножки поклонится. И что же! Взяла я себя в руки и всю масленицу со сцены не сходила. А теперь третий месяц валяюсь из-за какой-то дурацкой лихорадки.

Она остановилась и сильно закашлялась.

– Вот вы и надорвались тогда, – сказала Наташа, когда она успокоилась. – Я давно собираюсь вам сказать одну вещь, – начала она робко, – только не сердитесь. Мне кажется, вам бы

следовало бросить сцену. Не по вашим силам эта жизнь.

Агарина вся встрепенулась, даже руками всплеснула.

– Бросить сцену! – воскликнула она. – Да куда же я после этого гожусь! Мне двадцать три года, а я уж шесть лет актриса. Я выросла за кулисами. И потом, – я люблю сцену. Когда я играю, – произнесла она замедленным голосом, точно прислушиваясь к чему-то внутри себя, – я все забываю. Неуклюжий актер мне представляется красавцем, грязные декорации – царским дворцом. Я чуть не помешалась, когда играла Дездемону. Чувствую, что меня поднимает все выше, выше, будто на крыльях. Зала точно мертвая – ни звука. И вдруг: гром, буря… Вы этого не поймете… Только, кто раз хлебнул театрального дурмана, тот уже без него не может дышать.

Она глубоко вздохнула и задумалась.

– Но такие минуты редки, – возразила Наташа, – не всегда же вы играете Дездемон. А за кулисами, вы сами рассказывали, вечно кипит война, интрига, артисты готовы утопить друг друга. – Конечно, – согласилась Агарина, – жизнь актрисы, да еще провинциальной, да еще имеющей дерзость быть порядочною женщиной – не сладка. Но будьте чистосердечны! Многим ли жизнь так называемого общества – лучше театральной? Знаете, я сама долгое время думала, что изо всех тварей, самая гнусная – благородный артист. Но тут, лежа в этой дыре, я от нечего делать занималась размышлениями и пришла к заключению, что мы уж вовсе не так дурны. Актеры безнравственны, циничны, завистливы… актеры – сплетники, интриганы, невежды… Верно! Ну., а *не* актеры?.. Зато бывают и такие случаи… От Москвы до Харькова ехало со мной двое наших, Липов-Скавронский – фат и Тимченко – резонер. Дорогой я совсем развинтилась: кашель, озноб, жар… Вижу, они что-то таинственно переглядываются. Я закрыла глаза и притворилась, что сплю. Слышу, Тимченко говорит, – как Женечке в такую даль ехать! А Липов говорит, – да она и не поедет. А как же? – Да так же, говорит, мы с тобой сложимся и довезем ее до места. Я раскрыла глаза и говорю: не надо, сама дотащусь. Стали ругаться. Так и довез меня сюда Липов-Скавронский, устроил, да еще про черный день мне свои золотые часы с цепочкой оставил – подарок благородной публики…

Агарина опять закашлялась, упала на подушки и долго молчала.

– Право, я не должна к вам ходить, – сказала Наташа, – вы слишком много разговариваете, а это вам вредно.

– Вздор, Наташа, я вовсе не так больна. Вот увидите, я скоро молодцом буду. Всех кавалеров у здешних дам отобью, только

художника вашего не трону.

Наташа улыбнулась

– Какое великодушие

– Еще бы не великодушие! А вы за то побалуйте меня.

– Чем это?

– Сыграйте что-нибудь.

– Нет, сегодня поздно, в другой раз. Вам надо отдохнуть, да и мне тоже, – сказала она, – А вот и Аграфена Ивановна тащит нам обед – прибавила она, взглянув в окно. – Мы поедим, потом вы примите лекарство, и бай-бай!

IX

Расставшись с Агариной, Наташа еще долго сидела у себя на террасе. Ночь была теплая. Тяжелые облака медленно ползли по верхушкам гор, то застилая, то открывая луну. В парке там и сям двигались между деревьями тени, раздавалось громкое внятное слово, вспыхивала папироска. С балкона докторского дома, неслась заунывная польская песня. Это бедный доктор изливал свою тоску…

– Пей, пока пьется… // Все позабудь, – трагически взывал откуда-то другой голос…

Наташа задумалась о больной девушке из другого, знакомого ей только по насмешке, мира. Есть, должно быть, в этом мире особенная, увлекающая сила, если человек, стоя одной ногой в гробу, все еще мечтает о нем, тянется к нему. Собственная, одинокая жизнь промелькнула перед ней. У других хоть детство есть чем помянуть… А она!.. С шести лет судьей между отцом и матерью, – бедный отец! Что-то он теперь делает! Вечно один, вечно за работой. Болен он, грустен, неприятности у него… никто не знает, никому до него дела нет. Мать ведь только и говорит с ним, когда ей деньги нужны… и то больше ее посылает. Любит он ее или не любит – задала она себе вопрос. Любит, наверное, любит, если двадцать лет несет этот крест. А она… Наташе вдруг стало ясно, до очевидности ясно, что ее красавица-мать никого не любит… она испугалась своей мысли и сейчас же стала думать о другом, совершенно постороннем, но мысли упорно возвращались назад. Зачем она повезла с собой Хомутова… А он? Зачем он поехал… Не мог устоять? И сердце в ней замерло от напора какого-то нового жуткого предчувствия. А тут еще этот… писатель. Как он глядит на нее! Неужели она не замечает… Ей вдруг стало стыдно. “Какая я злая, грубая” – подумала она. На стенных часах пробило двенадцать. Ей вспомнилось “Danse macabre”[191] Сен-Санса, пьеса, которую она слышала зимой в

концерте… тоже начинается двенадцатью ударами… вот бы сыграть. Она пошла к роялю, но, услышав мирный храп Аграфены Ивановны, раздумала. Еще проснется. Нет, лучше спать, спать… и ни о чем не думать. Она тихо пробралась в свою комнату, разделась, не зажигая свечи и легла. Утомленное молодое тело требовало отдыха. В отяжелевшей голове, как далекий отблеск зарницы, мгновениями еще вспыхивало сознание и, наконец, угасло, побежденное крепким неподвижным сном.

X

Она проснулась поздно. Солнце сквозь опущенные занавески проникло в комнату косыми струйками света. По стенам, по полу, по подушке бегали золотые кружки.

Аграфена Ивановна принесла горячего кофе и, присев к Наташе на кровать, стала рассказывать, какой ей мудрый сон приснился.

– Вижу это я, будто маменька покойница, царство ей небесное, стоит и частым гребнем мне косу чешет, да таково-то больно, таково больно… К чему бы это?.. И не придумаю. Волосы видеть, говорят, не к добру, – промолвила она задумчиво.

Наташа подивилась и, чтобы успокоить ее, сказала, что снам верить грех

– Ну, это, матушка, тоже какой сон, – возразила, вздохнув, Аграфена Ивановна.

Напившись кофе, Наташа села за рояль. Последнее время она запустила музыку и рада была случаю поиграть без помехи. К обеду пришел доктор. Бедняге было не по себе. Он скучал по жене и, очевидно, ревновал ее к какому-то полковнику Ильину, имя которого он произносил каждые пять минут самым недоброжелательным тоном. Ему казалось, что Наташа находится в каком-то удрученном состоянии, и он искал у нее сочувствия как у товарища по несчастью. Но хотя доктор неоднократно упоминал о том, какая она достойная молодая девица и как некоторые легкомысленные особы должны бы брать с нее пример, она оставалась безучастна и к его комплиментам, и к его беспокойству. Наконец, он ушел. Наташа направилась к Агариной и нашла ее в сильнейшем пароксизме лихорадки. Она вся посинела и протянула Наташе из-под платка свою дрожащую, похолодевшую руку. Бедная девушка свернулась в какой-то жалкий маленький клубочек и все повторяла:

– Не уходите, милая, скоро пройдет.

Наташа покрыла ее пледом, положила на ноги подушку и, взяв какую-то книгу, села в уголок. Когда, изнуренная припадком,

Агарина заснула, она неслышно выскользнула из комнаты и, отыскав прислуживавшую во флигеле разбитную гречанку, попросила ее почаще наведываться к больной. После одинокой со всех сторон запертой комнаты Агариной парк показался Наташе особенно праздничным, просторным и бессмысленно веселым.

Там, по обыкновению, было людно. Нарядные дамы и кавалеры играли в крокет, ходили взад и вперед, читали… Из раскрытых настежь окон низенького домика, который занимали Коробьины, неслись жалобные звуки какого-то Бертиниевского этюда: – это маленькая Юлия упражнялась на фортепиано. Сам Коробьин сидел на балконе и писал. Не желая, чтобы ее заметили, Наташа свернула в сторону, но хитрость ее не удалась. Коробьин ее увидал и сообщил жене. Та сбежала вниз и почти насильно увлекла ее в дом. Наташа посидела, приласкала детей, поиграла на рояле. Антон Филиппович был очень мил, возился со своими девочками, шутил… Но Наташа не могла отделаться от странного чувства, что все это слишком красиво, точно напоказ.

Когда она вернулась домой, день уже клонился к вечеру. Стал накрапывать дождь… Ее начало беспокоить долгое отсутствие матери. “Еще простудятся”, – подумала она, невольно соединяя мать и художника. Аграфена Ивановна вошла и предложила накрыть на стол к чаю, развела в комнате огонь. Она громко изливала свое негодование.

– За сто верст киселя хлебать поехала… И чего она там не видала. Наташа не возражала. Она ходила взад и вперед по комнате, останавливаясь то у одного окна, то у другого. Небо чернело все гуще и гуще. Сильный удар грома вдруг прокатился по горам. Дождь полил непрерывною струей. Гроза разыгралась не на шутку. Раздался стук экипажа.

“Не они” – подумала девушка. Экипаж остановился. Наташа прислушалась и вышла в коридор. На лестнице ей встретилась мать, в измятой, намокшей под дождем шляпе и широком мужском плаще, накинутом сверх амазонки. За Софьей Петровной, бледный, с вытянувшимся лицом, в одном сюртуке, шагал Хомутов.

– Ох, Миньона, как мы промокли, – сказала Софья Петровна, – и поцеловать тебя не могу. Давай нам скорее чаю. Федор Алексеич! Меняйте свой туалет и идите к нам греться.

XI

Угли с легким треском ярко пылали в камине. В комнате было тепло и уютно. На столе, заставленном разною закуской, шумел самовар. Софья Петровна в белом пеньюаре лежала на

широкой кушетке. Ее длинные, небрежно спущенные косы вились по обеим сторонам ее головы, точно золотые змеи. Наташа поставила перед ней на столике чашку чая и тартинки[192]. Софья Петровна была в духе и оживленно рассказывала о поездке, то есть о том, как уморительны были кавалеры и дамы, особенно докторша, которая, чтобы не быть похожею на других, нарядилась в красную амазонку и всю дорогу ворковала со своим офицериком.

– Была еще Анна Михайловна Панова со своею Люсенькой, – о тебе спрашивала. Люсенька все с Федором Алексеичем о живописи рассуждала, а маменька глядит и вздыхает – очень уж ей хочется поскорее сбыть дочку, а женихов нет, как нет… Куда он, однако, пропал? – воскликнула Софья Петровна.

Наташа, до сих пор рассеяно слушавшая дочь, приподняла голову.

– Он, кажется, очень устал, мама. Как бы он не расхворался, – сказала она.

– Вздор какой! Он вовсе не болен. Посмотрела бы ты, каким он молодцом за мной ухаживал!.. – и Софья Петровна улыбнулась, – Вот разве под дождем намок. Я не хотела брать у него плаща, да он пристал; но мы под дождем были недолго, встретили коляску и пересели… Постучись к нему, Наташа, что он не идет.

Девушка встала, прошла в коридор и, остановившись у темной двери, слегка стукнула.

– Войдите – отозвался голос Хомутова.

– Мама вас зовет чай пить, – произнесла она, приоткрыв дверь, но не входя в комнату.

Увидев Наташу, Хомутов поднялся с кресла и подошел к ней. У него был очень утомленный вид.

– Вы как будто сердитесь на меня, Наталья Васильевна, – сказал он, протягивая ей руку.

– Я?.. По какому праву!

– Для того, чтобы сердиться люди всегда находят право. Во всяком случае, вы мной недовольны.

– Нет… мне только жаль, что вы губите здоровье ни из-за чего.

Хомутов усмехнулся.

– Именно “ни из-за чего”, – повторил он. – Ах, Наталья Васильевна, вы сами не знаете, какую истину сейчас изрекли. Зато посмотрите, что я вам привез… (он взял со стола и подал ей огромное пресс-папье из горного хрусталя).

– Merci, – промолвила девушка. Вдруг она увидела на столе полотенце, усеянное красными пятнами. Глаза ее расширились. –

Что это? – воскликнула она испуганно.

– Это… прозаические последствия поэтической прогулки.

– Кровь… горлом – проговорила бледная Наташа.

– Да, в этом роде, – сказал он, бросая полотенце в корзинку. – Пойдемте, однако, – Софья Петровна, вероятно уже гневается.

Наташа вдруг подошла к нему.

– Федор Алексеич, – промолвила она, – исполните мою просьбу, пошлите за доктором.

Хомутова тронуло участие Наташи.

– Все, что прикажете, Наталья Васильевна, только не доктора. Я всегда лечусь сам и, уверяю вас, завтра буду совершенно здоров. Да и вообще из-за меня не стоит волноваться. Все медицинские знаменитости решили, что при благонравном поведении я могу прожить сто лет.

– Хотелось бы посмотреть, когда это вы будете вести себя благонравно.

– Надеюсь скоро… как только найду заветную розу.

Наташа удивленно поглядела на него.

– Не понимаете? – спросил он, с улыбкой глядя на ее недоумевающее лицо. – Я вам объясню. Жил-был при царе Горохе некий шалопай, которого возмущенные боги за разные проказы обратили в осла. И много пришлось ему в образе ослином мытарств вынести, пока над ним не сжалилась прелестная принцесса. Она подарила бедному ослу свои прекрасные свежие розы. Он их поел и сейчас же сделался таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. С красавицей они, конечно, поженились, стали жить-поживать, добра наживать, а добродетелью своей заразили целый край. С тех пор на бедных шалопаев точно заклятие: чтобы выпрыгнуть из ослиной шкуры, они должны отыскать волшебную розу… Не подарите ли вы мне эту розу, Наталья Васильевна? – проговорил он.

Наташа стояла смущенная, испуганная. Она не понимала – шутит ли Хомутов или говорит серьезно. Кровь прилила ей к вискам, ей казалось, что все вокруг нее завертелось и замелькало, точно сразу налетел откуда-то нежданный вихрь. “Господи, – подумала она, – что же это такое?..” Но вдруг вспомнила, что мать ее ждет и очнулась. Она несмело подняла на Хомутова кроткие глаза, на которых светились слезы, и, запинаясь, промолвила:

– Ваша сказка очень красива, но мы о ней поговорим после… когда-нибудь… А теперь, – прибавила она совершенно оправившись и улыбаясь побледневшими губами, – мне некогда. Вы ложитесь, а я скажу маме, что вы не можете прийти.

– Какая вы добрая… перед вами не стыдно быть слабым, –

произнес он и, точно спохватившись, заметил: – однако, что это со мной сегодня. Я сентиментален, как немецкая гувернантка. Все нервы! Наталья Васильевна, будьте милосердны до конца, умилостивите Софью Петровну и наградите меня за послушание стаканом лимонада.

Он засмеялся и слегка пожал ее руки.

– Как вы долго, – с неудовольствием заметила Софья Петровна, когда дочь вернулась. – Где же Федор Алексеич?

– Он не придет, мама, он болен.

– Ах какая баба! Что с ним?

– У него шла кровь горлом.

Софья Петровна нахмурилась

– Какие глупости!., горлом. Наверное из зубов. И зачем ты у него так долго оставалась! Это неприлично.

Дочь молчала. Она была так погружена в свои мысли, что почти не расслышала слов матери. Сердце ее тихо и жутко трепетало, словно теплая, мягкая волна *вдруг* набежала и залила ее с головой. Ей захотелось скрыться в свою комнату и думать, думать на просторе…

Софья Петровна спустила с кушетки ноги, в шитых золотом бархатных туфлях, и с недовольною миной стала подкалывать шпильками свои косы.

Mise en scene[193] пропала.

XII

Прошло два месяца. Софья Петровна больше не жаловалась на скуку. Вокруг нее всегда была свита. Мужчины льнули к ней, как мухи к меду, дамы ее целовали, наперерыв приглашали к себе, но втихомолку злословили и возмущались. Коробьин открыто ухаживал за Софьей Петровной. Он проводил с ней целые часы, читал с ней свои и чужие книги, сопровождал ее на прогулках и даже при жене высказывал, что нельзя не преклоняться пред женщиной с такою чуткою ко всему прекрасному душой. Елена Ивановна казалась очень несчастною. Она то переставала ходить к Криницким, то ходила к ним каждые день, как будто нарочно, как будто ей доставало наслаждение растравлять и разжигать свое бедное сердце: на, мол, любуйся. Она, никогда не расстававшаяся с мужем, обрадовалась, когда ему пришлось уехать по литературным делам в Одессу, в надежде, что он там застрянет! Но Антон Филиппович вернулся через две недели, и терзания Елены Ивановны возобновились. О возвращении в Петербург она даже не смела мечтать: здоровье младших девочек было слабо. Наташа тоже побледнела и

похудела. Постоянные гости, шум, смех, горячие беседы между ее матерью и романистом, беседы, вертевшиеся вокруг около одной и той же темы – любви, утомляли ее до нельзя. Она чувствовала, что это море красивых слов, не более, как жонглерство, которым от нечего делать занимаются случайно сошедшиеся праздные люди. За этой показною игрой она угадывала что-то нехорошее, грубое. Ей было неясно, что именно дурно в окружающих ее людях, но она была убеждена, что они все притворяются, что и ее мать, и литератор, и Люсенька, изучающая археологию, философию, живопись, ваяние и зодчество, совершенно равнодушны к тем возвышенным предметам, о которых они беспрестанно рассуждают. Хомутова она совсем не понимала.

Оправившись после Байдарской прогулки, он стал бывать у Криницких лишь мимоходом, извиняясь усиленными занятиями: он готовит большую картину к весенней выставке. С Наташей Федор Алексеевич держался легкого, шутливо-дружеского тона, каким любят говорить средних лет холостяки с очень молоденькими девушками.

– Боится, как бы я не приняла “в сурьез” его аллегорию о розе, – с горечью думала Наташа, вся загораясь от стыда за свою “сентиментальность”. Она не сомневалась в порядочности Хомутова и ни в чем его не обвиняла. Но ее уже начинала безотчетно отталкивать эта высокомерная порядочность российского индифферента.

Выросшая в одиночестве, с детства привыкшая наблюдать молча, Наташа рано научилась хранить про себя свои впечатления. Так и теперь. Она даже не пыталась протестовать против тяготившего ее режима, отлично сознавая, что кроме “сцен” из этого ничего не выйдет и скрыла от всех боль первого разочарования в человеке, который ей нравился, которого она считала лучшим изо всех, кого знала. Немало волнений причиняла Наташе и Елена Ивановна. Эта женщина с изможденным увядшим лицом и грустными глазами была ей симпатична. В первое время их знакомства они часто гуляли вместе. Когда у Елены Ивановны разыгрывалась мигрень, она просила Наташу заняться вместо себя с детьми… И вдруг, точно черная кошка между ними пробежала. Елена Ивановна стала ее избегать; во всей ее манере, в тоне, в движениях появилась какая-то холодная надменность, и однажды, когда Наташа, отправляясь на прогулку, зашла за девочками, Елена Ивановна сухо отклонила ее услуги.

– У вас и со взрослыми много возни, – произнесла она, скривив в улыбку свои тонкие губы.

Наташа была очень огорчена

– За что она на меня сердится? – сказала он Хомутову, бывшему свидетелем этой сцены.

– Вероятно, ревнует к вам своего знаменитого супруга.

– Ко мне! – воскликнула Наташа, – да он когда и глядит на меня, так не видит.

Художник лукаво усмехнулся.

– Ну не к вам, стало быть, к вашей maman. Сознайтесь, что Софью-то Петровну он видит даже тогда, когда не глядит на нее. Девушка вспыхнула, ничего не ответила и ускоренными шагами пошла вперед по аллее. Наступило неловкое молчание. Хомутов покусывал губы. Он досадовал на себя за сорвавшиеся слова.

– Наталья Васильевна, – начал он, – вы напрасно принимаете на себя выходку Елены Ивановны. Я знаю Коробьиных лет двенадцать и могу вас уверить, что у них эта история тянется непрерывно. Он увлекается, она лезет на стенку, потом они мирятся, и все обстоит благополучно до нового увлечения. Если вы никуда не спешите, присядемте немного, последнее время я был занят и мало вас видел… Вы как будто похудели? Что с вами? Нездоровится?

Она отвечала не тотчас и, облокотившись на спинку скамьи, поглядела вверх на небо, синевшее между темно-зелеными листьями старого лавра.

– Стосковалась я здесь, – сказала она наконец, – домой тянет. Иногда мне кажется, что мы уже отсюда не вырвемся. С трех сторон горы, с четвертой море, точно на ключ заперли. Я бы даже упросила маму уехать, если бы…

Она запнулась, как бы не решаясь продолжать.

– Что же вы остановились? Разве это секрет, – спросил Хомутов

– Нет, не секрет, – возразила она, – я уж несколько раз собиралась поговорить с вами об этом и все откладывала, сама не знаю почему… Дело в том, что мне жаль Агарину. Ей хоть и лучше, но доктор говорит, что это – кажущееся улучшение. Она так привыкла ко мне… ей тяжело будет очутиться среди равнодушных людей. И вот, – продолжала она, все больше смущаясь, – я хотела вас попросить, Федор Алексеич, вы ведь долго здесь останетесь – ходите к ней, когда я уеду…

Хомутов подумал немного, погладил свои бритые щеки и промолвил:

– Не могу вам этого обещать, Наталья Васильевна.

– Почему? – воскликнула она удивленная и оскорбленная этим отказом.

– Потому что, – только вы не сердитесь, – потому что меня раздражает вид больных. Утешать, то есть обманывать, я не умею,

разговаривать с умирающим о предметах, для него уже не имеющих смысла, считаю неприличною жестокостью. В сущности, все здоровые не выносят больных, но люди так привыкли лицемерить, что никогда в этом не признаются.

– Так думают только эгоисты, которые ничего, кроме собственного удовольствия ничего знать не хотят, – резко заметила Наташа.

Он рассмеялся.

– Ну, конечно! Солги и скажи, что с наслаждением буду подавать вашей приятельнице лекарства – и вы были бы от меня в восторге. Женщина, даже самая неиспорченная, не в состоянии оценить, когда ей говорят правду.

– Ах, я это уже столько раз от вас слышала, – нетерпеливо прервала Наташа.

– Зачем же сердиться! Будем разговаривать о другом. – Вот, кстати, интересный писатель идет, можно его позвать.

– Ах, пожалуйста, не зовите!

Но Коробьин уже их заметил и, еще издали раскланиваясь, закричал:

– А я к вам, Наталья Васильевна. Хочу прочесть Софье Петровне одну статейку. Не желаете ли послушать?

Девушка сдвинула брови и сухо промолвила:

– Благодарю вас, у меня болит голова.

– Не люблю я его, – сказала она, когда Коробьин удалился. – И повести мне его не нравятся. Все-то он учит, все толкует… ужасная скука. По-вашему он настоящий писатель?

– Не знаю-с, – отозвался художник. – Я современных русских беллетристов почти не читаю, а произведения приятелей и подавно. Думаю, впрочем, что Антон Филиппыч достаточно бездарен.

– Писатель, а с женой обращается, как мужик, – произнесла Наташа с непривычным раздражением.

– Это, положим, умно, – одобрил Хомутов, – женщины любят, когда с ними дурно обращаются.

Наташа взглянула на него и улыбнулась.

– Вот как! – проговорила она – А я всегда думала, что женщины особенно ценят деликатность, потому что они почти беззащитны против грубости.

– Напрасно вы так думаете, – возразил он, – женщины так же грубы, как и мужчины, но долгое рабство приучило их скрывать свои чувства, и так как побеждает тот, кто сильнее ненавидит, то на земном шаре, в конце концов, водворится женское царство, – прибавил он шутливо.

– Водворится оно или нет, мне решительно все равно, сказала

Наташа, – только не верю я и никогда не поверю, что победа останется за ненавистью. И знаете что, Федор Алексеич, мне кажется вы сами – вы сами этому не верите, а говорите так потому что это… эффектно, что ли. Неужели вы в этой жизни встречали только одно низкое и злое, когда даже я видела и хороших людей, и бескорыстные отношения.

– Исключения ничего не доказывают, Наталья Васильевна, и потом, мы ведь с вами ведем отвлеченные разговоры. Разве можно их применять к частным случаям?

– Я только одного не понимаю, – произнесла она насмешливо, – если все так безнадежно дурно, зачем жить!

Он расхохотался.

– Наталья Васильевна, вас ли я слышу! Вы мне рекомендуете самоубийство. Вот и верь после этого женской доброте! Нет, – продолжал он серьезно, – жить стоит, потому что жить – любопытно, и даже приятно, если только не полагать жизни в людях. Кроме людей, на свете есть вещи, которые прекрасны. Вот когда вы себе это усвоите…

– Куда уж мне, – перебила Наташа, – для меня это чересчур туманно, – прибавила она, грустно покачав головой и встала.

– Вы домой? – спросил он.

– Нет, мне еще нужно в город за покупками – сказала она.

– Сделаем лучше так, – предложил он, немного подумав, – пойдемте сначала за покупками, а затем ко мне в мастерскую, вы посмотрите на моих *“Крамольников”,* — они очень подвинулись. Не хочется мне отпускать вас так скоро, – продолжал он, – когда-то опять вас поймаешь. Эта m-lle Агарина вас совсем отняла у общества, а вы хотите, чтобы я за ней ухаживал.

Наташа почувствовала, что краснеет и рассердилась на себя.

– Не могу, Федор Алексеич, – сказала она, опуская голову, чтобы не видеть его пристального взгляда, – в другой раз, а пока, – до свидания.

XIII

– Как хорошо, что вы пришли, – радостно приветствовала Наташу Агарина, протягивая ей обе руки. – А я уж и ждать вас перестала.

Агарина не лежала, а сидела в кресле у окна. Ее густые темные кудри выбивались прихотливыми колечками из-под красной ленточки. Она была так худа, так прозрачна, что когда она говорила, голос ее, казалось, доносился откуда-то издалека; не верилось, чтоб из этой впалой, ссохшейся груди могли вылетать живые звуки.

Наташа положила перед ней большой букет роз, – спросила о здоровье и, вынув из корзиночки вышиванье, принялась работать.

– Скажите, – начала Агарина, – что с вами? У вас что-то есть на душе. Прежде сердце радовалось на вас глядя, – такая благоразумная была девица, а теперь ни дать, ни взять – героиня в пятом акте мелодрамы.

Она остановилась, как бы ожидая ответа, но Наташа молчала.

– Послушайте, – начала она опять, – ведь мне все можно сказать. Посмотрите, разве я не идеал наперсницы? – и она с грустною усмешкой показала на свою фигуру.

– Да мне и рассказывать нечего, – возразила Наташа. – Я просто соскучилась здесь; я хочу к отцу, к моим книгам, к моим нотам, к моей заводской жизни, где я знаю каждого рабочего, каждую бабу. Молодежь нашего завода, – это ведь все мои товарищи и подруги. Я выросла среди труда. А тут только и знай, что одевайся, переодевайся, да разговаривай. У меня была гувернантка, – продолжала она после небольшого молчания, – старая француженка. Она часто говорила, что человеку мешают жить не серьезные препятствия, а – “Pensorcellement des bagatelles”[194]. Я всегда смеялась над этим выражением. Теперь я его отлично понимаю, – у нас целые дни проходят в этом pensorcellement des bagatelles. Сегодня я умоляла маму уехать отсюда. Оказывается, что через два месяца бал, и мы, конечно, обязаны его дожидаться.

Она вздохнула и, вынув из букета розу, стала ощипывать лепестки.

– Мне доктор говорил об этом бале, – сказала Агарина. – Цель ведь благотворительная.

– О, конечно! Мы будем плясать, есть и пить не для себя, а для малолетних преступников.

– А знаете, – промолвила вдруг Агарина, – ваша мама премилая, что остается тут еще на два месяца. Это она для меня.

Наташа вопросительно посмотрела на нее.

– Через два месяца и я отсюда уеду, – пояснила она.

– Куда?

– Куда-нибудь, произнесла она загадочно. – А теперь побалуйте меня, Наташа, довольно вы ныли, сыграйте что-нибудь.

– С удовольствием, – сказала Наташа и подошла к старенькому, исцарапанному пианино, на котором лежала груда растрепанных нот. – Что прикажете? – спросила она шутливо..

– Вторую сонату Шопена.

Наташа немного смутилась.

– Я не играю этой вещи наизусть.

– Неправда! Докторша мне говорила, что вы недавно ее

играли у них.

– Право же я забыла, – отнекивалась Наташа. – Хотите первую сонату Бетховена. Это такая прелесть.

– Не надо, не надо, – раздражительно проговорила больная. – Вы нарочно не хотите мне доставить удовольствия.

– Как вам не стыдно, Женя! Я эту вещь редко играю, потому что она меня очень волнует, вот и все. Но если вам непременно хочется – извольте.

Она заиграла.

При первых же звуках Агарина вздрогнула, выпрямилась и вся подалась вперед. Трепетные вначале, как подавленное рыдание, звуки росли, расширялись, крепчали, как бы озаряя весь упоительный мираж жизни – молодость, страсть, борьбу… Стройно и гордо лилась чистая мелодия. Вдруг элегический, захватывающий сердце аккорд пронесся над темой. Идеалы недостижимы, говорил этот жалобный стон, надежды разбиты, грустно надвигается старость… все, все прошло… впереди – неразгаданная тайна смерти. Торжественные звуки похоронного марша покрыли тихий плач струн, но вот уже и они замерли, и только шелест ветра еще ропщет над свежею могилой. Наташа быстро обернулась. Агарина, опустив голову на руки, судорожно всхлипывала. Это было так неожиданно, так необычайно… Наташа растерялась.

– Женя, голубчик, Господь с вами… Милая! Что это вы? – повторяла она, трогая ее за дрожавшие плечи.

– Как страшно умирать, – неудержимо рыдая говорила Агарина. – Я так люблю жизнь… Ужасно это прощание со всем, со всем… Звезды будут сиять, солнце греть, люди смеяться, – и все это не для меня… Ах, нет ничего ужаснее смерти, – воскликнула она с новым порывом слез. – Бросят на могилу пучок цветов, и кончено… А что в них! Цветы хороши на живой груди…

– Женя… Женичка! Полноте! Это я виновата, – расстроила вас своим нытьем и музыкой. И с чего вдруг такие мрачные мысли. Ведь вам лучше. Лихорадки почти нет. Мне доктор говорил, что вам гораздо лучше.

– Вы меня не обманываете, – прошептала Агарина, – не утешаете? – Она отняла от лица руки и в ее залитых слезами огромных, на худом лице, глазах засветилась такая страстная мольба, такое отчаянное ожидание, что у Наташи застыли слова на губах. Она не выдержала этого молящего, тоскующего взора и, потупившись, стала гладить по голове бедную больную.

XIV

Прошло несколько дней. Коробьин, только что кончивший роман *“Карьерист”,* обещал прочесть его у Софьи Петровны. Известие это с быстротой телефона переданное докторшей, сильно взволновало избранное Сед-Аметское общество, особенно дам, и особенно Люсеньку Панову, полагавшую, что она, по своему развитию, имеет гораздо больше прав на такое предпочтение со стороны литератора, чем “эта барыня”, лишенная всякого “внутреннего содержания”. Пылая негодованием, Люсенька даже сделала матери сцену.

– Это вы виноваты, – говорила она, чуть не плача, – это из-за вас никто у нас не бывает; вы на всякого мужика смотрите как на жениха… ко мне никто подойти не смеет, вы сейчас тут как тут. Мать, сраженная этим градом обвинений, пробормотала что-то о неблагодарности детей, но видя, что дочь не на шутку огорчена, стала ее утешать.

– Охота тебе, Люсенька, принимать все к сердцу! Все мужчины одинаковы, все они – подлецы, – сказала она. – Им только и нравятся такие кокетки, как Софья Петровна. За порядочными женщинами никто не ухаживает. И писатель ваш хорош! Совсем от дому отбился – ест и пьет у madame Криницкой.

– Все это сплетни и предрассудки, – возразила дочь. – Вы лучше сходите к Софье Петровне и постарайтесь, чтобы она пригласила нас на чтение. Воображаю, как она теперь важничает! Да будьте полюбезнее с этою рыбой Наташей. Я недавно сконфузила ее немножко, и она, кажется, дуется на меня. Вот то же субъект!

– Эту и не разберешь, – подтвердила мать, – как говорится, ни Богу свеча, ни черту кочерга.

– А вот посмотрите, Хомутов только с ней и разговаривает, – гневно заметила Люсенька. Мать снисходительно улыбнулась.

– Какой ты ребенок, Люсенька, – сказала она, – не понимаешь, что это делается для отвода глаз. Он ведь тоже к маменьке неравнодушен – и, наклонившись к дочери, она таинственно прошептала ей на ухо: – говорят, Софья Петровна у него для какой-то картины позировала au nature!..

Люсенька изобразила на своем лице презрение и негодование.

На выраженное madame Пановой желание присутствовать на чтении, Софья Петровна сделала удивленный вид, как бы говоря: неужели это всем известно! – и томно заметила, что автор рассчитывает исключительно на интимный кружок “своих”, но что она, конечно, употребит все свое влияние, чтобы доставить удовольствие Анне Михайловне и ее прелестной дочери.

Анну Михайловну чуть не взорвал этот снисходительный тон.

У нее так и чесался язык отчитать как следует “сию даму”, но она вспомнила Люсеньку и, любезно улыбаясь, произнесла, что против обаяния Софьи Петровны слишком трудно устоять и потому она считает приглашение полученным.

XV

Софья Петровна с серьезным сосредоточенным видом пожимала руки своим гостям. В зеленоватом платье с широким кушаком, стягивающим ее тонкую талию, и гладко причесанными волосами, она казалась совсем молодою девушкой. Сидевшая неподалеку от нее Люсенька (мать, по ее настоянию, осталась дома) мысленно оценивала и примеряла на себя ее туалет. Коробьин сел за отдельный столик, на котором стоял графин с водой, стакан и две свечи и, окинув строгим взглядом собравшееся общество, стал читать громким, чересчур громким голосом, выдававшим то невольное волнение, которое овладевает автором, как бы мало он ни придавал значения своей аудитории. Впрочем, он скоро оправился, голос зазвучал увереннее. Он читал бы недурно, если бы не преувеличенные паузы, подчеркиванья и нюансы, которыми обыкновенно отличается дилетантское чтение. Роман был написан бойко. Действующие лица распадались на две категории – добродетельных и порочных. Добродетельные неуклонно стремились к идеалу и претерпевали… Порочные творили всякие бесчинства и наслаждались. Герой, современный человек, коварно предавший друзей молодости, бросивший на произвол судьбы обольщенную им девушку и ее ребенка, быстро поднимается по общественной лестнице и достигает “степеней известных”. Он не только ни разу в жизни не ощущает потребности оглянуться на прошлое, но даже не испытывает ни малейшего волнения при встрече, по прошествии двадцати пяти лет, с когда-то опозоренною им женщиной, со своим собственным сыном, которого мать – воплощение всех совершенств – воспитала идеалистом и энтузиастом, ежеминутно готовым на подвиг.

В общем, роман оставлял впечатление неопределенное и вялое, несмотря на слова *бодрость, энергия, самодеятельность, уважение к личности, общественные интересы,* которыми были уснащены все страницы. Все слушали с почтительным вниманием. Софья Петровна то опускала долу, то поднимала на автора свои удивительные глаза. Ее самолюбию льстило, что Коробьин, этот “известный”, “уважаемый”, “передовой” писатель – читал у нее и… для нее. Она знала, что от всех этих женщин-тружениц и святых матерей, которых он так трогательно описывает, – он побежит к ней, стоит ей только поманить его. Это

сознание власти разнеживало ее, делало ее особенно мягкою и снисходительною. Она точно озаряла всем своим благоволением и с кроткой лаской усадила подле себя Елену Ивановну, которая затаив дыхание, с нескрываемым обожанием глядела на своего “великого человека”. По окончании чтения Софья Петровна рассыпалась в похвалах автору. Люсенька объявила, что роман – восторг, сравнила Антона Филипповича с Руссо, упомянула об альтруизме и свободе воли. Автор, занятый хозяйкой, отвечал рассеянно на все похвалы и обиженная Люсенька, с уязвленным выражением, обратилась к жене романиста, надеясь в ней встретить большее сочувствие. Но бедной Елене Ивановне было не до нее. Она смотрела, как муж целовал у Софьи Петровны руку, благодаря ее за внимание к его работе, смотрела как Софья Петровна, скромно улыбаясь, говорила, что напротив… это такой… такой жгучий вопрос… она так интересуется… так благодарна… И глаза ее, когда она это говорила, так неотразимо сияли из-под полуопущенных, длинных ресниц, что романист не выдержал и вторично нагнулся к ее руке. У Елены Ивановны сдавило сердце. “Мне он никогда так руку не целовал”, – подумала она, и вспомнилось ей, как она влюбилась в Антона Филипповича, увлеченная его горячими речами. Он был тогда молодым, подающим “блестящие надежды” сотрудником видного журнала. С первых же шагов их совместной жизни вся проза легла на ее плечи. Бессонные ночи за шитьем, за скучными переводами, у изголовья больных детей… томительная беготня за грошовыми уроками… лишь бы *он* не отвлекался от своей работы, не тратил своего таланта по мелочам. Как она радовалась его возрастающему успеху. А потом… когда случилась “история”. Сколько порогов она обегала, сколько слез пролила пред чиновничьими бесстрастными лицами… И все это забыто. Ему нравятся остроумные, изящные женщины, а она неуклюжа, больна, раздражительна. Он смотрит на нее как на обузу… Прежде хоть Лелей звал, а теперь Елена Ивановна.

Аграфена Ивановна внесла второй самовар. Наташа, до сих пор сидевшая в уголке, принялась за свои обязанности разливания чая. Люсенька, на которую никто не обращал внимания, подсела к Хомутову.

– Что же вы ничего не скажете о романе Антона Филипповича? – спросила она.

– Я слушаю вас и Софью Петровну. При таких очаровательных критиках я не смею иметь своего *суждения.* При том в романе всего больше трактуется о воспитании, а это для меня вопрос посторонний. Детей у меня, слава Богу, нет…

Софья Петровна возмутилась.

– Это вопрос общечеловеческий, – заметила она строго.

– Какой эгоизм, – воскликнула Люсенька. – Я всегда так думала…

Хомутов рассмеялся.

– Помилуйте, – возразил он, – вы хотите, чтобы я у Антона Филиппыча хлеб отбивал. Chacun son metier[195], я торгую картинами, – он назидательными книжками

– Вы ошибаетесь, Хомутов, я своими книгами не торгую, – произнес Коробьин, значительно упирая на слово *торгую.*

– Извините, я не знал, что вы их пишете задаром.

– Не задаром. Я получаю гонорар за свой литературный труд, но я работаю лишь в органах, известного, симпатичного мне направления. В смысле “презренного металла”, – прибавил он шутя, – ваше положение гораздо выгоднее. Вы со спокойной совестью можете продать свою картину тому, кто больше за нее даст.

– Совершенно верно, я потому и сделался живописцем, а не сочинителем, – сказал Хомутов так серьезно, что Люсенька не без удовольствия подумала: “ага, брат, съел гриб”.

Но Софья Петровна, не любившая в своем “салоне” недоразумений, поспешила переменить разговор.

– Все это шутки, сказала она, – а я хочу знать ваше настоящее мнение о романе.

– Что ж! Роман хороший – измена, любовь, гражданская скорбь, все как следует… Только вот ангелоподобная героиня, вы уж простите, Антон Филиппыч, – немножко подгуляла.

– Сделайте одолжение, не стесняйтесь. Только чем же она подгуляла?

– Глупа очень, – пояснил Хомутов. – Мало ей, что она самим фактом рождения поставила сына, как бы это сказать, ну, в… неудобное положение, нет, она из кожи лезет, чтоб окончательно испортить ему жизнь бессмысленным воспитанием.

Каждому свое.

– Бессмысленным! – с изумлением возразил Коробьин. – Не потому ли, что она стремилась пробудить в сыне лучшие стороны человеческого духа?

– Именно. Мать, прежде всего, должна желать своему ребенку счастья. А для этого нужно, во-первых, – выучить его лгать, во-вторых, – пользоваться чужим трудом, ибо чужим трудом приобретается почет, положение и всяческие радости, собственный же ничего не дает, кроме унижения и рабства. А ваша героиня со своею вечною декламацией: работай, говори правду, служи делу, – с пеленок обрекла сына на страдание.

– Страдающий человек лучше, чем блаженствующая

скотина, – возразил Коробьин.

– Все зависит от манеры выражаться, Антон Филиппыч. Скажите, вместо блаженствующая скотина, – трезвый практик, и выйдет очень прилично.

Люсенька всплеснула руками. Коробьин презрительно усмехнулся. Елена Ивановна с сожалением поглядела на художника. Даже Наташа, в своем уголке за самоваром, повела плечами с каким-то печальным недоумением. Софья Петровна нахмурилась

– Неужели вы совсем не умеете говорить серьезно? – произнесла она.

– Я и не думаю шутить, – отозвался художник. – Вольно же вам не верить. Да ведь в действительности все родители так и поступают, если не словом, то примером.

– Вы, вероятно, судите по собственному воспитанию, – с деланным смехом проговорила хозяйка.

– И по собственному тоже, – невозмутимо заметил Хомутов.

– Бывало, мать моя бранит бабушку и вдруг увидит меня. – Федя, милый, не говори бабушке, что я ее бранила, я тебе дам пряник, а скажешь – все уши отдеру. – Должен, впрочем, прибавить, что мать моя, как женщина необразованная, оставляла многого желать по части дипломатии.

– Так что по-вашему образование убивает искренность, – ядовито спросил Коробьин.

– Несомненно. Цивилизация учит человека скрывать свои чувства. И это очень хорошо. Искренность немыслима в культурном состоянии. Искренний человек – это дикарь, который лезет с дубиной на всякого, кто ему не по нраву.

– Вы невозможны сегодня, – сказала Софья Петровна, – я вас прогоню.

– Оставьте его, – миролюбиво промолвил Коробьин, – которому надоели эти прения, – знаете пословицу: чем бы дитя не тешилось, а Федору Алексеичу всегда нравилась роль enfant terrible[196].

Он тряхнул своею львиною гривой и, придвинув свое кресло к креслу Софьи Петровны, уселся в него с видом человека, которому очень хорошо.

Елену Ивановну всю передернуло.

– Антон Филиппыч, – обратилась она к нему – пойдем домой… поздно.

– Я еще посижу, – сказал он, – но если тебе хочется домой – я тебя не стесняю.

– Как же я одна, – проговорила она с возрастающим волнением, – поздно и темно…

– Что за институтство, Елена Ивановна. С каких это пор ты стала бояться ходить одна. Мать троих детей и боится пройтись вечером по улице. Ступай, ступай, дети, чай, заждались тебя.

Елена Ивановна еле сдерживала слезы.

– Право, Антон, пойдем, мне, право не по себе.

– Идите, идите, Антон Филиппыч, – сказала Софья Петровна. – Жена велит, надо слушаться.

– Елена Ивановна, разрешите мне остаться еще на полчаса, – улыбаясь попросил Коробьин, но улыбались только его губы, глаза холодно и строго смотрели на жену.

– Позвольте мне довести вас до дому, Елена Ивановна, – вызвался Хомутов

– Ну вот тебе и кавалер нашелся, – промолвил усмехаясь муж.

Елена Ивановна стала поспешно прощаться, ни на кого не глядя.

– И я с вами, – заявила вдруг Люсенька и тоже стала прощаться.

Возмутитель спокойствия.

XVI

Агариной опять стало хуже. Лихорадка почти не покидала ее. Добрый Франц Адамыч забегал к ней по нескольку раз в день, уверял ее, что все идет “досконале, бардзо, добже”, пустяки, незначительное обострение; но наедине с Наташей доктор грустно покачивал головой, приговаривая: “Горит, бидачка, с двух сторон горит”. Наташа почти не отходила от больной. Софья Петровна заметила по этому поводу дочери: “Tu poses pour la soeur de charite”[197] но этим и ограничился ее протест. Она была слишком занята в это время собой. Наташа ночевала у Агариной, чередуясь с Аграфеной Ивановной, которая, казалось, совершенно забыла свое недавнее предубеждение против “актерки”, – так терпеливо, ловко и спокойно она ухаживала за ней. Она же первая осмелилась заговорить с больной о священнике, о котором ни Наташа, ни доктор не решались даже упоминать. Примостившись как-то вечером у кровати Агариной, Аграфена Ивановна дипломатически стала бранить докторов и лекарства.

– Вот так-то, матушка, – рассказывала она, – и я год цельный провалялась в больнице, рана у меня в ноге открылась. И резали-то они меня, живодеры, и каленым железом жгли – ничего нет легче. Лежу я это и плачу… Не молоденькая, а умирать не хочется. Весь век мне за единый час показался, а пожить-то думаю и не успела. Вдруг наша нянька, умственная была женщина, и говорит: “Тебе бы, Аграфенушка, священника позвать”. И что же,

матушка, послушалась я ее, исповедалась, приобщилась, и так мне после этого легко стало, ровно гора с плеч. Через неделю из больницы выписалась, а там меня простая девушка травами вылечила, вот и тут есть татарка, тоже травой лечит, очень, говорят, от груди помогает… Не позвать ли вам ее, Евгения Николаевна, а?

Девушка обратила к ней свое исхудалое лицо

– Что ж позовите, – промолвила она слабо.

– И батюшку уже заодно, – вкрадчиво вставила Аграфена Ивановна.

В глазах больной промелькнул испуг.

– Разве мне так плохо? – спросила она

– Ничего не плохо. А все-таки надо и о душе подумать. —

Хоть то возьмите, жили вы в актрисах, а уж актерская жизнь известно – один соблазн, и не хочешь, да согрешишь. Может, Господь и болезнь на вас наслал, чтобы вы покаялись. И чего вы, матушка, боитесь! Ведь поп не могильщик, с собой не унесет, придет и уйдет, – пошутила Аграфена Ивановна.

Больная отвернулась к стене и молчала.

– Аграфена Ивановна, чего вы к ней пристали, – сказала Наташа, которая тревожно прислушивалась к их разговору.

– Вовсе не пристала, – недовольно ответила Аграфена Ивановна. – Чай душа-то у нее христианская, а вам, Наталья Васильевна, довольно стыдно их смущать.

– Она права, оставьте ее, – заговорила Агарина. – Я согласна, Аграфена Ивановна, сходите за священником… да поскорей, хоть сейчас.

Ночь прошла спокойно. Наташа, совсем одетая, спала крепким сном на диване. Вдруг ей почудилось, что ее зовут. Она раскрыла глаза. Было еще очень рано, около четырех часов утра.

– Вам нужно что-нибудь, Женя – спросила она.

– Нет, я хотела только вам сказать, что мне в самом деле стало лучше после… вчерашнего (она не хотела сказать после исповеди)… Спите, голубушка, я вас разбудила. Какая вы добрая… какие все добрые.

Наташа закрыла усталые глаза, но не прошло и получаса, как больная опять ее окликнула.

– Посмотрите, какое утро – сказала она, и, протянув руки, прибавила: – Наташа, милая, хорошая, исполните мою просьбу.

– Что такое? – спросила та, подходя к ней.

Агарина обвила рукой ее шею, прижалась щекой к ее груди и робко зашептала:

– Я хочу встать… там в шкафу висит платье…белое. Я хочу одеться и походить по комнате… можно?

– Вы устанете, Женя

– Ну, пожалуйста, пожалуйста, не отказывайте мне, – говорила чуть не плача Агарина. – Я не устану, право, у меня есть силы. Наташа поняла, что противоречить бесполезно и чтобы успокоить больную, вынула из шкафа платье. Агарина обрадовалась, как ребенок, села на кровать, начала одеваться и причесываться, но сейчас же утомилась и покорно отдалась в руки Наташе. Та несколько раз останавливалась, чтобы дать ей отдохнуть, уговорила ее лечь, но она капризно твердила, не хочу, не хочу. Наконец, туалет был кончен. Наташа посадила ее в кресло и подкатила к окну. Солнце уже выплыло из-за гор и весело сияло на чистом прозрачном небе.

– Как хорошо, как хорошо, – блаженно улыбаясь, повторяла Агарина слабым, как шелест листьев, голосом. Тонкий румянец разлился по ее бледным щекам. Она закрыла глаза и затихла. Аграфена Ивановна, пришедшая сменить Наташу, ахнула, увидев Агарину одетую и в кресле. Та открыла глаза и улыбнулась своею прежнею плутовскою улыбкой, словно радуясь, что вот она всех перехитрила

– И какая же вы красавица, барышня, – воскликнула Аграфена Ивановна, – чистый ангел!

– Правда? – промолвила она, – дайте мне зеркало, я так давно себя не видала.

Аграфена Ивановна, не замечая строгого взгляда Наташи, сняла с комода зеркало и поставила перед больной. Она поглядела на себя долгим взглядом, потом сразу отшвырнула зеркало и заплакала…

– Какая я страшная стала, – прошептала она сквозь слезы, – а была хороша… все говорили – и точно устыдившись этой внезапной слабости, она нахмурилась, согнулась, съежилась и поникла головой, точно подстреленная птица.

Наташа посоветовала ей прилечь. Она безропотно позволила себя перенести на постель, и лишь, когда ее хотели раздеть, уцепилась пальцами за платье. Наташа ушла и вернулась только после обеда

– Что? – спросила она шепотом Аграфену Ивановну.

– Спит.

– Все время?

– Все время.

Наташа подошла к кровати. Больная лежала неподвижно и спокойно. Выбившийся из-под ленты темный локон еще более оттенял ее бледный лоб. Дыхания почти не было слышно, и только длинные, тонкие пальцы, тихонько перебиравшие платье, указывали, что жизнь еще не отлетела. Наташа испугалась этой

зловещей неподвижности и отправила Аграфену Ивановну за доктором. Он явился, осторожно пощупал пульс и, нагнувшись к самому уху, Наташи, произнес:

– Агония, не мешайте ей…

Агарина умерла в тот же вечер, не выходя из своего тихого забытья…

XVII

Давно ожидаемый бал должен был состояться в конце февраля.

– И почему это ты не желаешь ехать? – обратилась Софья Петровна к дочери. – Вообще, я замечаю в тебе с некоторых пор что-то странное… держишься особняком, непонятою натурой. Если ты воображаешь, что тебе к лицу этот вид развенчанной королевы, то горько ошибаешься – ты просто смешна.

Наташа не отвечала. Софья Петровна, рассерженная этим молчанием, повелительно произнесла:

– Ты, кажется, не желаешь со мной разговаривать? Не собираешься ли ты поставить меня в угол за дурное поведение, – прибавила она, рассмеявшись коротким, нервным смехом. – Желала бы я знать, что значат эти мины?

– Бог с тобой, мама! Какие мины? За что ты сердишься, – промолвила Наташа, оглушенная этим потоком слов. – Я никогда не была особенно разговорчива, а теперь… Я все еще под впечатлением смерти Агариной. Куда ни пойду, все она, бедная, передо мной.

– Глупая сентиментальность, как и вся твоя возня с ней, – возразила Софья Петровна. – Je ne veux pas medire dune morte[198], но все-таки скажу, что эта несчастная актриса имела на тебя самое дурное влияние. Ты стала похожа на какую-то нигилистку или курсистку, даже Коробьин мне говорил это.

– Вот как! И ты позволяешь этому господину делать тебе замечания на мой счет? – с горечью произнесла Наташа.

Софью Петровну немного смутил непочтительный тон дочери.

– Отчего же, – возразила она насмешливо. – Коробьин настолько порядочный человек, что с ним можно говорить обо всем. И чем он тебе не угодил! Ах, да! – воскликнула она таким голосом, точно ее внезапно озарила истина. – Хомутов к нему не благоволит. Кстати, этот интересный художник слишком явно за тобой ухаживает. Советую тебе быть осторожною. Он из породы мотыльков.

– За мной никто не ухаживает, мне этого не нужно, – угрюмо

ответила Наташа.

– Ну конечно, – произнесла Софья Петровна тонким, протяжным фальцетом. – Мы так серьезны, так добродетельны, мы – выше мира и страстей. Одна беда – очень уж подозрительна эта наружная святость. Недаром ведь говорится, что в тихом омуте… ха, ха, ха!

Наташа не выдержала материнского пиления. На глазах ее сверкнули слезы.

– За что ты только меня мучишь? – проговорила она и отвернулась.

Софью Петровну так и повело от этих слов. Она была уже в той степени гнева, когда остановиться очень трудно.

– Мучу! Я тебя мучу! – воскликнула она, все больше и больше раздражаясь. – Еще бы! Дочка совершает геройские подвиги, а пустая кокетка-мать, изволите ли видеть, отрывает ее от болящих и страждущих… велит ехать на бал, где – о, ужас! будут танцевать, а не хныкать о суете мира сего. В самом деле! Какой позор для человечества!

– Мама!

– Я, право, удивляюсь твоему великодушию, – продолжала Софья Петровна, не слушая, – написала бы своему тятеньке, так и так, мол, chere maman[199] завертелась в вихре светских удовольствий, а меня держит в черном теле. Этот российский Шопенгауэр живо бы сократил непокорную супружницу. Впрочем, недолго я вам буду мешать… Очищу место… не бойтесь, – и бросившись на диван, Софья Петровна истерически зарыдала.

Дочь бросилась к ней.

– Мама перестань. Я поеду, куда хочешь, только, пожалуйста, перестань.

– О, я знаю тебя, – рыдала Софья Петровна. – Ты скрытная, но я тебя вижу насквозь. Вы оба с отцом ненавидите меня за то, что у меня в жилах кровь течет, а не кислая простокваша, как у вас.

– В том и горе наше, что ты не веришь, что у нас тоже есть кровь и нервы, – чуть слышно проговорила девушка, подавая матери воду.

XVIII

В комнате было душно. Пахло духами и цветами. На столе, под голубоватым пламенем спиртовой лампочки, грелись щипцы; тут же стояли граненые флаконы, раскрытые футляры и плюшевые шкатулки с целым ворохом лент, перчаток, кружев. На диване и по стульям грудой валялись смятые юбки. Свет от двух ламп, висевших по обе стороны большого зеркала, падал на

обсыпанное пудрой лицо Софьи Петровны. Она была в черном бархатном платье, с низко вырезанным лифом, эффектно выделявшим ее шею, плечи и руки. Наташа и Аграфена Ивановна ползали на коленях, в десятый раз перекладывая складки длиннейшего шлейфа. Софья Петровна находилась в предбальной ажитации.

– Это ни на что не похоже, – повторяла она капризно. – Не могли раньше позаботиться, чтобы все было в порядке.

– И то в порядке, – проворчала выведенная из терпения Аграфена Ивановна, – да разве на вас угодишь.

Наташа молчала. Она знала, что эта сцена повторяется каждый раз, когда мать одевается, и только пальцы ее еще проворнее забегали и замелькали по платью.

– Ай! – вскрикнула вдруг Софья Петровна, точно ее ужалила змея. – Ты меня всю исцарапала… Оставь меня… мне не нужно твоей милости… Все это нарочно, чтоб я осталась дома… Изволь, я останусь.

Она вырвала шлейф и, сев на диван, стала тихо и быстро барабанить ногой по ковру

– Мама, ведь я нечаянно тебя уколола, – проговорила Наташа звенящим от волнения голосом. – Как ты можешь думать, что я нарочно? Пожалуйста, встань! Сейчас будет готово, только в одном месте прикрепить. Уж поздно.

Софья Петровна не отвечала и продолжала стучать ногой. Аграфена Ивановна с сожалением посмотрела на измученное лицо своей барышни.

– Да что вы их упрашиваете, Наталья Васильевна, – сказала она грубо, – пущай куражатся, точно вы их характеру не знаете. Другие-то матери дочерей наряжают, а у нас…

– Этого только не доставало, – произнесла Софья Петровна, – вы уж на меня жалуетесь прислуге.

– Чего жаловаться! И так все видать, – возразила горничная.

– Молчите, Аграфена Ивановна, это не ваше дело, – заговорила Наташа. – Полно, мама, право, поздно. Ведь мне тоже еще нужно одеться. Шлейф лежит чудесно, посмотри, – и она взяла мать за руку.

Софья Петровна взглянула мельком на часы и как бы нехотя позволила дочери приподнять себя с дивана. Пальцы девушки опять забегали по платью. Аграфена Ивановна, стиснув зубы, угрюмо вынимала булавки из тех мест, которые Наташа скрепляла иголкой. Пригнув голову к бархату, она, наконец, откусила последнюю шелковинку. Софья Петровна приказала зажечь свечи у параллельного зеркала. Лицо ее прояснилось – платье сидело божественно. Мягкие складки так свободно

драпировали ее фигуру, будто это не стоило никакого труда, будто Софья Петровна родилась на свет в этом роскошном одеянии. Дочь подала ей на блюде цветы. Софья Петровна выбрала перевитые зеленью камелии и туберозы, стряхнула блестевшие на них капли воды и умелою рукою приколола их к лифу и волосам. Потом взяла щипцы, подвила развившийся локон, старательно смахнула с лица пудру и, обвив шею двойною ниткой жемчуга, еще раз посмотрела на себя в зеркало. Глаза ее сверкнули торжеством.

– Одевайся скорей, – сказала она дочери.

– Какая ты красавица, мама, – с неподдельным восторгом произнесла Наташа. – Хороша ведь?.. – обратилась она к Аграфене Ивановне, желая ее смягчить.

– Хороши-с, – сухо процедила та.

Наташа оделась скоро. Она была очень мила, в своем белом газовом платье, легким облаком охватывавшем ее небольшую грациозную фигуру. Мать окинула ее критическим взором и воткнула ей в косу пучок маргариток.

– Это оригинально и главное молодо – молодо, в жанре твоей красоты – сказала она. – только ты очень бледна, выпей немного вина.

– Не надо, я согреюсь на балу.

– Ну, ладно, – согласилась Софья Петровна и с удовольствием подумала, что дочь смотрит совсем девочкой.

XIX

Бал давно начался. Оркестр звенел и гудел на крошечной эстраде. Дирижер – высокий худощавый человек с необыкновенно длинными усами, извивался, махая во все стороны смычком и скрипкой, которую, в минуты смятения, он поднимал к подбородку, играя один за всех. Танцами снисходительно распоряжался господин, представительной наружности, с великолепными, черными, как смоль, баками, сообщавший всем и каждому, что в Одессе без него не обходится ни один бал. Танцующих было много, хотя дамы, по обыкновению, преобладали. Мужские фраки утопали среди лент, бархата, кружев и цветов. Софья Петровна царила. Она была необыкновенно хороша, и только дамы находили, что в ней нет ничего особенного, уверяли, что она набелена и указывая на Наташу недоумевали, как это можно одевать взрослую дочь, как подростка. А Софья Петровна чувствовала себя царицей и, милостиво взирая на вертевшийся мимо нее, как вокруг солнца, мирок, улыбалась всем своею красивою, манящею улыбкой.

Коробьин не отходил от нее. Когда она танцевала, он садился на ее стул, брал ее веер и жадными глазами следил за ее улетающим платьем. Она смотрела на него блестящими, смеющимися глазами и спрашивала, отчего он не танцует.

– Стар слишком, – отвечал он.

– Это вы-то стары? Полноте! После этого и я старуха! Да я об этом и слышать не хочу. Какое нам дело до наших метрических свидетельств! Посмотрите кругом и скажите, кто моложе, – мы с вами, или эти золотушные девицы и кавалеры, которые двигаются, как заведенные марионетки? Нет, нам еще рано в архив… – Вам-то наверное рано, – сказал он и уныло поглядел в ту сторону, где сидела Елена Ивановна.

Софья Петровна поймала этот взгляд.

– Послушайте, – начала она, – мне кажется, что ваша жена на меня сердится.

– Не думаю, – промолвил он, слегка запинаясь.

Она глянула на него сбоку.

– Судя по тону вашего ответа вы в этом убеждены, – заметила она и прибавила фамильярным тоном:

– Надеюсь, она не ревнует.

Он неопределенно улыбнулся и пожал плечами:

– А вы не замечаете, – продолжала Софья Петровна, что все дамы точно сторонятся меня? Даже дочка моя куда-то исчезла. Бог мой! Как дики еще у нас нравы. Однако я вовсе не желаю быть предметом демонстраций. Делать нечего. Дайте мне руку и двинемся вместе на врагов.

Коробьин подвел ее к сидевшим рядом с докторшей: Елене Ивановне, Люсеньке и мадам Пановой. Софья Петровна сказала что-то на ухо докторше. Та фыркнула и сейчас же усадила ее рядом с собой. Елена Ивановна только покосилась, когда муж обратился к ней с каким-то вопросом. Они поссорились пред самым балом (он настойчиво советовал ей остаться дома), и у ней еще глаза были красны от недавних слез.

Софья Петровна с участием, почти нежностью осведомилась о ее здоровье. Елена Ивановна не только ничего ей не ответила, но резко, будто ее укусил комар, отвернулась от нее. Софья Петровна даже бровью не моргнула, но мысленно решила, что эта дерзость дорого обойдется Елене Ивановне и удвоила любезность к остальным дамам. Люсеньке она подарила розу из своего букета, сказала, что ее туалет – восторг, а брильянты бесподобны, (Люсенька сияла, как электрическое солнце). Остановив, проходившую мимо Наташу, Софья Петровна спросила, танцует ли она следующую кадриль и, узнав, что нет, моментально доставила обеим барышням кавалеров. Люсенька совсем растаяла

от такого неожиданного внимания. После кадрили с эстрады грянули раздражительные звуки всем надоевшего вальса *“Дунайские волны”*. К Софье Петровне подлетел красивый гвардейский полковник. Она лениво опустила руку на его плечо и понеслась в его объятиях, хлестнув своим длинным шлейфом Коробьиных, которые, нахмурившись и глядя в разные стороны, сидели друг подле друга.

Было уже поздно. В зале стояла тропическая жара. Мужчины утирали лбы платками. Дамы усиленно обмахивали веерами утомленные, разгоревшиеся лица. Наташа незаметно удалившаяся от матери, около которой опять очутился Коробьин, увидала в толпе Хомутова и позвала его.

– Федор Алексеич, вы не танцуете?

– Нет. Неужели вы хотите меня пригласить, – воскликнул он.

Она улыбнулась.

– Не бойтесь! Я сама скрываюсь от мамы, чтоб она не навязала мне кавалера. Будьте добры, отыщите мне стул где-нибудь возле окна. У меня голова разболелась от духоты.

– С величайшим удовольствием. Само собою разумеется, что я разделю ваше уединение, и вы мне позволите говорить всякий вздор.

– Что хотите. Мне сегодня все – все равно.

– Это что-то подозрительно, – сказал художник и повел ее в конец залы, где он заметил несколько свободных стульев. Она села и оперлась на подоконник. Увидев официанта, разносившего на подносе воду и мороженое, она поманила его веером и выпила один за другим два стакана воды.

– Как бы вы не простудились, Наталья Васильевна?

– Нет, ничего, ответила она и замолчала.

Он тоже замолчал и невольно залюбовался е маленькою, красиво склоненною головой, нежными очертаниями рук, сквозивших под кружевом, всею ее тонкою фигурой, от которой веяло тихой, бессознательной грацией.

– Что же вы не говорите? – сказала Наташа.

– Вы испортили мне все настроение. Я гляжу на вас и думаю: вот бы модель для Офелии. И отчего у вас такой меланхолический вид?

– Не знаю, право. Мне всегда не по себе на балах, а сегодня особенно. Все (она указала на танцующих) нарядны, веселы, довольны, а я думаю, какими они были до приезда сюда, какими будут завтра – и мне грустно.

– Это потому, что вы все ищете бесконечного. Ах, какая вы неблагодарная ученица, – пошутил он, – сколько раз я вам твердил: послала вам судьба приятный момент – наслаждайтесь и

не только не ищите, – не желайте повторения: повторение всегда скверно. Но женщины ничего не смыслят в поэзии. Они не умеют ценить красоту впечатления, иллюзию перспективы. Уткнутся лбом в картину и сердятся, что перед ними не бог, а размалеванное полотно.

– Может быть, вы и правы, – сказала она и задумалась. – видели вы маму? – спросила она вдруг.

– Видел. Как она поразительно хороша сегодня, – воскликнул он. – И странное дело, у вас совсем разные лица, но минутами вы бываете очень похожи.

– Вот уж ни капельки, – с живостью возразила девушка, – я вся в отца.

– Ваш отец, должно быть, вас очень любит?

Лицо ее затуманилось.

– Да, но у него замкнутый характер, и он не может высказывать своих чувств. Посмотрите, Федор Алексеич, – сказала она помолчав, – какая Люсенька сегодня интересная.

– Я смотреть не хочу. Она с матерью, а я этой дамы боюсь как огня. Заметили вы, Наталья Васильевна, какие у нее глаза? Точь-в-точь два штопора – так и выкупоривают из вас нутро.

Наташа подняла брови.

– Какое дикое сравнение, – промолвила она, – можно ли так отзываться о людях.

– Пообедали бы вы у нее хоть раз, посмотрел бы я, как бы вы заговорили.

– Я бы не пошла обедать к людям, которые мне не нравятся.

– Ну, уж это извините! Если бы мадам Панова захотела – пошли бы. Я оглянуться не успел, как она в меня вцепилась. Каждый кусок она сопровождала в мое горло рассказом, какая ее Люсенька красавица, какая она умница, сколько у нее поклонников, как она художественно декламирует, поет, рисует, танцует и кончила заявлением, что если я очень попрошу, мне позволят написать портрет этого “чудного ребенка”. Я не попросил и бегаю теперь от них, как черт от ладана. Но вы меня совсем не слушаете, Наталья Васильевна?..

Она действительно его не слушала и только теперь, когда он ее окликнул, вздрогнула, точно очнувшись от какой-то тяжелой думы.

– Федор Алексеич, – заговорила она, внимательно устремив на него свои большие глаза, в которых сверкал мрачный огонь, – Федор Алексеич, вам никогда не приходило в голову, что красота для женщины – несчастье?

– Несчастье? – переспросил он.

– Больше чем несчастье, – проклятие… да, да, проклятие, –

настойчиво повторила Наташа. – Она сушит сердце, убивает душу… Из-за нее, из-за этой мерзкой красоты, губят безо всякой жалости самых близких людей. Что значит жизнь близких, которые давно опротивели, в сравнении, с восторгом чужих, которые всегда веселы, любезны и интересны. О, Боже мой, Боже мой, – прошептала она, – право, мне кажется, что я с ума сошла…

Слезы брызнули на ее пышных, темных ресницах.

– Ах, не смотрите на меня, – проговорила она вдруг совсем по-детски и, подняв руку, прикрыла ею глаза.

Хомутов взял другую ее руку в обе свои и стал гладить.

– Наталья Васильевна, – промолвил он ласково, – милая, хорошая, маленькая Наташа, успокойтесь. Разве можно доводить себя до такого состояния. Ну-ка, расскажите мне, какое такое у вас большое горе? Кто вас обидел?

Он хотел сказать еще что-то, но в эту минуту перед ними, точно из-под земли, выросла Елена Ивановна и он замолчал.

– Ваша maman вас зовет, – не своим голосом сказала Елена Ивановна Наташе, вздрогнувшей от ее неожиданного появления.

– Меня? Где же мама? – спросила она, окидывая залу влажными еще от слез глазами

– Она не здесь, пойдемте скорей, – отвечала Елена Ивановна и, схватив за руку девушку, потащила ее за собой.

Хомутов попробовал ее остановить.

– Елена Ивановна, что с вами? Что это значит?

– Идемте, идемте, – лепетала Елена Ивановна.

Она почти бегом увлекла из залы Наташу, которая ничего не понимая, испуганно спрашивала то у нее, то у догнавшего их Хомутова, не дурно ли матери. Елена Ивановна не отвечала. Пробежав длинный коридор, она почти толкнула девушку в боковую маленькую комнату, всю заставленную цветами, слабо освещенную красным японским фонарем. Наташа бросилась было туда и, вдруг, как вкопанная, замерла на пороге. В глубине комнаты сидела ее мать и пред нею на коленях, обвив руками ее стан, рыдал Коробьин и шептал что-то непонятное. Наташа хотела крикнуть, но голос оборвался.

– Ха-ха-ха, – резко и громко захохотала Елена Ивановна, – какая у вас маменька, Наталья Васильевна… Учитесь!.. В комнате послышался крик испуга. Наташа зашаталась. Хомутов, бледный, как мертвец, хотел ее поддержать, но она оттолкнула его сильным движением и, ни на кого не взглянув, с выражением безумного ужаса на искаженном лице, рванулась вперед и побежала, как будто ее подхватили невидимые крылья. Софья Петровна, гордо закинув голову, выступила из комнаты.

– Что тут за шум? – произнесла она. – Ах, это вы, Елена

Ивановна, вы верно ищите вашего мужа? Он цел и невредим. Коробьин подошел к жене.

– Ты становишься невыносима, – процедил он сквозь зубы, крепко до боли стискивая ее руку.

– Я все видела, все видела, – твердила Елена Ивановна.

– Ничего ты не видела. Ты просто с ума сошла.

– Очень сожалею, что сделалась невольною причиной семейного недоразумения, – высокомерно проговорила Софья Петровна. – Федор Алексеевич, дайте мне руку. Вы не видали Наташи?

– Ваша дочь вместе со мной любовалась на вас, – задыхаясь, с трясущимся подбородком, прохрипела Елена Ивановна.

– У вас галлюцинация, – холодно возразила Софья Петровна и, взяв под руку Хомутова, величественно проследовала мимо супругов.

XX

Наташа не помнила, как она очутилась дома. Отворившая ей дверь Аграфена Ивановна попятилась от нее, как от привидения. Бледная, в изодранном платье, она силилась овладеть собою хоть настолько, чтобы отвечать кое-как на вопросы горничной.

– Мне дурно… скажите *ей,* что я легла, – вымолвила она с трудом шевеля свой точно одеревеневший язык. Аграфена Ивановна не унималась.

– Неужто она не видела, как вы ушли? Все небось с шалыганами своими хи-хи-хи да ха-ха-ха… И когда это она уймется, греховодница этакая. – Матушка, – продолжала Аграфена Ивановна со слезами, – не давайся ты ей в руки, не потакай ей. Помяни мое слово: – как она баринову жизнь съела, – так и твою съест. Не мать она тебе, а мачеха лютая.

– Да оставьте вы, наконец, меня в покое! – воскликнула Наташа, и в ее надорванном голосе послышалась такая мука, что Аграфена Ивановна сразу прекратила свои причитания. – Не надо… сама разденусь… сама… Оставьте меня, – повторила она еще раз, уходя в свою комнату и запирая дверь на ключ.

– Царица небесная, как бы она чего над собою не сделала!.. – прошептала, крестясь, Аграфена Ивановна.

Не успела Наташа скрыться, как явилась Софья Петровна.

– Барышня дома? – спросила она.

– Они легли и просили их не беспокоить, – у них очень голова болит, – проговорила Аграфена Ивановна, машинально становясь перед Наташиной дверью.

Софья Петровна остановилась в нерешительности; потом,

отстранив горничную, постучалась к дочери. Ответа не было. “Оно, пожалуй, и лучше, – подумала она, – отложить сражение до завтра”.

– Давно она легла?

– Как пришли-с, – с несвойственной ей поспешностью отвечала Аграфена Ивановна, желая выгородить барышню. – Я даже подивилась, что это, мол, вы одни, матушка. А она говорит, – ничего больше, как у меня голова закружилась, ступай, говорит, к маменьке и скажи, чтобы не беспокоились обо мне. Я только было собралась, а вы сами пожаловали.

Софья Петровна недоверчиво выслушала эту реляцию, но ничего не возразила и, наскоро раздевшись, отпустила горничную.

А Наташа в это время лежала, свернувшись на кровати, в своем бальном платье и плакала горькими, горячими, безутешными слезами. Сцена в полутемной комнате так и стояла пред ней… Эта короткая сцена, длившаяся мгновение, разрасталась в ее омраченном мозгу во что-то такое страшное, обидное, небывалое, таким жгучим стыдом заливало оно ее душу, что и теперь, когда она была одна, когда кругом было темно и тихо, ей казалось, что она стоит нагая среди улицы, что все видят ее позор, что на нее устремлены сотни глаз, – и она прятала в подушки свою пылающую голову, крепко сжимала ее руками, точно это могло помешать голове думать, а сердцу надрываться.

– Боже мой, Боже мой, – взывала она в отчаянии, изнемогая от бессилия отогнать от себя ненавистный призрак. Она чувствовала, что он в ней, что он проник в самую глубь ее существа, и жжет ее кровь медленной отравой. Из обступившей ее со всех сторон тьмы, одна лишь мысль вырезывалась ясно, непреложно: – жизнь кончена… после этого нельзя жить, нельзя, нельзя… Нужно исчезнуть, сгинуть… сейчас, сию минуту. Пред ней, как живой, промелькнул печальный, одинокий, молчаливый образ… образ ее отца. Сколько он должен был выстрадать, чтобы сделаться таким печальным, бледным и молчаливым. А теперь, когда он узнает про это… Он умрет. О нет! Нет! он не должен этого узнать… никогда… никогда!.. Чего бы ей этого не стоило, она все сделает, все перенесет, только бы его миновала эта чаша. Бесконечная жалость к отцу заглушила собственную боль. Что-то похожее на раскаяние шевельнулось в ее сердце. До сих пор она ведь ничего не делала, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить его долю. Все свои заботы, всю свою нежность она отдавала *ей, ей,* исковеркавшей жизнь ее бедного отца. Наташа встала с кровати и с каким-то отвращением сорвала с головы цветы, сбросила и отшвырнула ногой свое измятое, кружевное платье. Она подошла

к окну. На посветлевшем уже небе занималась заря длинными, золотисто-бледными полосками. Скоро день… придут люди… ведь им любопытно. Надо будет говорить, вывертываться, лгать… остановившиеся было слезы хлынули с новой силой.

– Что же делать… буду жить и буду лгать, – проговорила она громко и, точно испуганная звуком собственного голоса, упала на колени и, приникнув лицом к холодному полу, страстно зашептала:

– Господи спаси, Господи вразуми!..

XXI

Софья Петровна проснулась поздно. Вчерашнее происшествие предстало пред ней во всех своих неприглядных подробностях, и, в первую минуту, она кругом обвиняла себя. С ее тактом, с ее умом и позволить себя скомпрометировать как девчонке. Это непростительно… И хоть бы она была влюблена в этого косматого литератора… а то ведь так… просто от скуки дурачилась… И вдруг, – такой скандал… надо уехать – не сейчас, конечно, а дня через три-четыре, когда вся эта глупость уляжется.

Прежде всего, надо поговорить с Наташей.

При воспоминании о дочери, Софья Петровна покраснела. На нее она была особенно сердита. Если бы не ее идиотская выходка – ничего бы не произошло. Эту *дуру,* Елену Ивановну, муж бы приструнил и все бы обошлось прилично. А тут, не угодно ли, дочка, возмущенная поведением матери, изволила в одном платье убежать с бала…

– Да за это одно ее казнить мало.

Гнев превозмог все другие чувства в Софье Петровне. Рассудок подсказывал ей, что благоразумнее дипломатически капитулировать перед дочерью, уверить ее, что она ошиблась, что ей показалось, но самолюбие вопияло все громче, и Софья

Петровна уже ничего не могла соображать. Кровь ударила ей в голову, она почувствовала, что не в ее силах дольше сдерживаться и разом поднялась с постели. Сунув босые ноги в стоявшие у кровати туфли, она накинула капот и осторожно, чтобы не привлечь внимание Аграфены Ивановны, на цыпочках проскользнула в залу

– Может оно даже лучше, – подумала она, уже стоя на пороге Наташиной комнаты, – поменьше смирения, – и, решительно повернув ручку, вошла к дочери.

Наташа сидела на стуле у окна, одетая и причесанная, как обыкновенно. Если бы не синеватая бледность, покрывавшая ее лицо, можно было подумать, что ничего не случилось.

“Приготовилась”, – пронеслось в голове Софьи Петровны. Увидев мать, Наташа вся похолодела и опустила свои заплаканные глаза.

– Скажи, пожалуйста, – начала Софья Петровна медленным, низким голосом, – как назвать твой вчерашний поступок?

Девушка еще ниже склонила голову и ничего не ответила.

– Глупая баба, – продолжала Софья Петровна, – которая ревнует своего мужа ко всякой юбке, устраивает на меня облаву и – что же! Моя родная дочь помогает ей опозорить меня. Если я сделалась притчей во языцех, если сегодня весь город будет обливать меня помоями, то знай, что первый ком грязи бросила в меня ты! Ты мой злейший враг. Я тебя ненавижу! Ты отдала меня на съедение шалопаев и разных добродетельных мерзавок… Доверши же свое благородное дело. Садись и пиши донос отцу, что застала мать с любовником. Мне все равно. Теперь я в вашей власти. Потешайтесь.

Софья Петровна говорила неудержимо, порывисто, слова так и лились из ее уст, и с каждым словом собственная вина умалялась в ее сознании до ничтожества.

“Конечно, все это вздор выдумки… ни в чем она не виновата… все сговорились преследовать ее, мучить, обижать”… Ей стало так жалко себя, что она искренно заплакала. Наташа сидела все так же безмолвно, точно застыв в своей неподвижной позе. Софья Петровна искоса взглянула на нее.

“Вот каменная, – подумала она, – я плачу, а ей ни по чем”, – и это показалось ей так жестоко, что она еще пуще расплакалась.

Бледные губы Наташи вдруг дрогнули.

– Я хочу тебе сказать, хочу тебя попросить, – вымолвила она таким глухим, таким убитым шепотом, что Софья Петровна сразу перестала плакать и с каким-то даже страхом поглядела на дочь. – Я хочу тебе сказать, – продолжала Наташа, глубоко переводя дух, – что ты права… я не должна была… уходить. Прошу тебя об одном. Сделай так, чтобы до отца ничего не дошло… и я клянусь тебе, что буду тебе самою покорною дочерью. Ты говоришь, что ненавидишь меня. Я думаю, ты это сгоряча сказала. Но, если это так, я буду ждать, пока ты перестанешь меня ненавидеть, только… пожалей папу. Уедем отсюда сегодня.

Софья Петровна была озадачена. Что-то чужое, новое звучало в словах дочери, да и сама дочь стала какая-то чужая, новая. Эти огромные печальные глаза, этот скорбный голос, – неужели это глаза и голос смирной Наташи… девочки…

– Наташа, – сказала Софья Петровна, подходя к ней и взяв ее за плечи, – очнись, что с тобой? Ведь ничего не случилось, совсем

не из чего нам хоронить себя. Ну, я вспылила, так ведь ты сама признаешь, что виновата предо мной. А что я тебя ненавижу, так это, конечно, вздор. Уехать отсюда сейчас – нельзя. Неужели ты этого не понимаешь! Надо сначала всем рты заткнуть. Слушай, как я придумала, – продолжала Софья Петровна, переходя на конфиденциальный тон, – я потребую от Коробьина, чтобы он явился к нам обедать с женой, потом мы все поедем кататься. Нужно непременно, чтобы нас видели вместе. Тогда все останутся в дураках, а мы уложим вещи и поминай, как звали.

– Нет, нет, я не хочу их видеть, – с ужасом воскликнула Наташа.

Софья Петровна чуть-чуть было вспыхнула, но удержалась.

– Вот как! – произнесла она. – Заварить кашу сумела, а расхлебывать должны другие. Видно это не то, что сыпать громкие фразы.

– Хорошо, пусть будет по-твоему, – согласилась дочь, – но я уверена, что Елена Ивановна к нам не придет.

– Это уж не твоя забота, – сказала Софья Петровна и встала.

– Ты пока ляг, отдохни. Если тебя увидят с таким лицом, все подумают, что я тебя прибила.

XXII

Наташа ушам своим не верила, когда между голосами гостей услышала сипловатый голос Елены Ивановны.

– Как она могла прийти… злая, грубая женщина – подумала она. – А, может быть, муж заставил… пришла, как и я пойду сейчас… туда… к ним.

Несмотря, однако, на совершенную уверенность, что идти неизбежно, она не трогалась с места, точно приросла к полу. Наконец, она решилась, сделала несколько шагов и опять остановилась. Кто-то постучался к ней. Она обмерла и ничего не ответила. Дверь приотворилась и в ней показалась голова Хомутова.

– Софья Петровна вас зовет, – сказал он, – здравствуйте, Наталья Васильевна.

Она молча и, не поднимая глаз, протянула ему руку. Он крепко пожал эту бледную холодную руку и смущенно промолвил:

– Не убивайтесь так, Наталья Васильевна. Уверяю вас, что ничего такого трагического не произошло.

– Зачем вы мне это говорите! – воскликнула она и с упреком покачала головой. – Впрочем… по-вашему ведь жизнь – комедия, люди – потешные животные, пускай их грызутся. Вы себе стоите в

сторонке, да посмеиваетесь.

– В общем, это почти так, – сказал он, – но я допускаю исключения. – Иногда, – продолжал он тихим, добрым голосом, – мне хочется не смеяться, а плакать. Но… об этом после, а теперь будьте молодцом и пойдемте туда.

Он открыл дверь.

– Вот чудесно, все на террасе. Стол накрыт. Пробирайтесь на свое место, в суматохе ведь не заметят.

Но ее заметили. Пришлось здороваться с каждым в отдельности. Ей казалось, что она плывет в каком-то тумане, чья-то посторонняя сила толкала и несла ее. Она поцеловалась с докторшей и Люсенькой, прикоснулась концами пальцев к пальцам Елены Ивановны. Все спрашивали о ее здоровье.

– Благодарю вас, мне гораздо лучше, – сказала она кому-то. Она немного пришла в себя, когда все уже разместились за столом и Хомутов поставил пред ней чашку с бульоном. Он очень ловко усадил ее между собой и доктором.

“Как это хорошо, – подумала она, – не нужно никого занимать”, – и усердно принялась за свой бульон, точно в нем было ее единственное спасение.

Софья Петровна оживленно и весело вела разговор, юмористически описывая вчерашний бал, подтрунивала над доктором, любезничала с дамами. Наташа поглядела исподлобья на сидевшую рядом с ее матерью Елену Ивановну. Она была очень жалка. Впалые щеки разгорелись, на губах блуждала деланная улыбка, глаза беспокойно бегали, словно боясь остановиться на каком-нибудь определенном предмете. Коробьин сидел возле Люсеньки. Она ему рассказывала о своем стремлении к развитию, о своей любви к литературе, жаловалась на общество, которое она называла “китайщиной”. Коробьин слушал ее с большим вниманием, и она была в восторге. Хомутов переговаривался через стол с докторшей и m-me Пановой и подливал вина доктору. Франц Адамыч разошелся. Он сыпал общеизвестными анекдотами, рассказывал о необыкновенно удачных случаях из своей практики и раз пять упомянул, как он на консилиуме утер нос одному знаменитому “москалю”. Все смеялись, шутили, болтали. Наташа слушала и напряженно ждала, что вот сейчас голоса оборвутся, фальшивые улыбки исчезнут, все взглянут друг друга прямо в глаза и, Боже мой, что тогда будет…

Всему на свете бывает конец. Кончился и этот обед. Зашумели стулья, все поднялись. Софья Петровна попросила дочь сыграть что-нибудь. Наташа беспрекословно села за рояль и стала машинально играть пьесу за пьесой. Она была благодарна матери: музыка избавила ее от необходимости разговаривать и

давала ей uno contenance.

Предполагаемая поездка не состоялась. Елена Ивановна отозвалась утомлением и так грозно посмотрела на мужа, что тот моментально стал прощаться. Вскоре разошлись и другие.

– Видишь, как хорошо все обошлось, – сказала Софья Петровна, – приличия соблюдены, а это главное. Теперь можно укладываться. Послезавтра мы уезжаем…

XXIII

Весь следующий день Софья Петровна не выходила из своей комнаты, жалуясь на мигрень. Несмотря на внешнюю покорность дочери, Софья Петровна испытывала какую-то неловкость в ее присутствии. Она не могла не заметить, что в ее дочери произошел крутой переворот, и ей трудно было применится к мысли, что перед ней не прежняя послушная Наташа, а женщина, с которой приходится считаться.

Наташа тоже сидела у себя в комнате, среди которой стояли уложенные, зашитые в парусину сундуки, и прилежно сводила счеты. На полу валялась бумага, связки веревок; во всех углах торчали картонки, подушки, свернутые в ремни пледы. Аграфена Ивановна, вся потная и красная, возилась с чемоданом.

– Ишь, проклятый, – ворчала она, наваливаясь всем телом на крышку, – не запирается, хоть ты что…

Холодно и неуютно было в этой комнате, которую собирались покинуть жильцы. Наташа подумала, что скоро, быть может, – завтра, сюда въедут новые люди, сметут пыль, поставят все на место и начнут устраиваться, словно им тут век вековать. Она вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, расправила утомленные члены.

– Вы бы прогулялись, – сказала Аграфена Ивановна, которой удалось, наконец, справиться с чемоданом, – все бы освежились немножко. А то сидит, да думает. Сколько, матушка, ни думай, умнее Бога не придумаешь.

Наташа слабо улыбнулась.

– Правда ваша, Аграфена Ивановна, я и сама хотела пройтись… знаете куда?

– Чай, к барышне на могилку? Самое это хорошее дело. И от меня, грешной, ей в землю поклонитесь.

Наташа надела тальму, шляпу, опустила на лицо темную вуалетку и поспешно вышла из дому. В саду ее нагнал Хомутов.

– Здравствуйте, Наталья Васильевна. – Отчего вы меня сегодня не приняли?

– У мамы мигрень, а я была занята. Мы завтра уезжаем.

– Так. Можно узнать, куда вы теперь направляетесь?

Наташа помолчала немного и потом сказала:

– На кладбище

– Позвольте мне идти с вами. Будьте добры, не отказывайте.

– Хорошо, идите, пожалуй, – произнесла она нехотя.

Они скоро миновали город и стали подниматься вверх. Узкая, крутая тропинка, вившаяся между двумя рядами кипарисов, оканчивалась широкою горною площадкой, на которой и было расположено кладбище. С него открывался великолепный вид. Весь южный берег: Ливадия, Ореанда, Алупка – был как на ладони. Далеко-далеко синела спина Аю-Дага. Солнце уже вышло и только за спиной Ай-Петри небо еще рдело красными и золотыми брызгами. На горизонте слабо мигал огонек маяка. Море точно слилось с небом. Тихо и мерно ударяли о берег волны. Тихо и мерно шумели кипарисы и лавры над пестрыми мраморными плитами и крестами. Кладбище было запущенное. Видно было, что это не приют людей, степенно проживших свой век на одном месте, а неожиданное пристанище беспокойных странников, с разных сторон сбежавшихся сюда за исцелением. И они его нашли в крепких объятиях земли. Она же, вечная утешительница и волшебница, покрыла ковром цветов и зелени прах своих бедных детей.

Наташа подошла к небольшому, не успевшему еще обсохнуть холмику. На нем высился деревянный крест с дощечкой, на которой черною краской было намазано: “Евгения Агарина”, год и число. Наташа перекрестилась и. опустившись на колени, прильнула головой к свежей траве. Хомутов, намеренно отставший от нее, занялся чтением надгробных надписей. Немного погодя, он приблизился к ней. Она уже сидела, глубоко задумавшись, на чьей-то старой, заросшей могиле и машинально подбирала черневшие в траве прошлогодние листья.

– Итак, вы завтра уезжаете? – начал Хомутов.

– Да, мне не хотелось уезжать, не простившись с *ней,* – сказала Наташа. – В эти долгие месяцы только она мне не причинила страдания. Она одна никого здесь не ненавидела, а все только и делали, что язвили и травили друг друга. Знаете, мне кажется, что я здесь состарилась на сто лет.

– Это пройдет, Наталья Васильевна, знание никогда не дается даром, а здесь вы впервые познали, что люди – не бесплотные ангелы. Острая боль уймется, – и вы оправитесь. Жизнь – слишком большое благо, чтобы от него отказываться добровольно.

– И это говорите вы! – воскликнула девушка.

– Почему же бы мне это и не говорить, – удивился он.

– Почему! – повторила она с горькою усмешкой. – Да кто же, – продолжала она с внезапным увлечением, – кто твердил мне все время, что нет ни добра, ни любви, ни дружбы, что все пусто, мелко, лживо и ничтожно. Кто меня убеждал, что в этом мире все иллюзия и что другого мира нет, что свет всегда задувается ветром… Если бы не ваши уроки, я, может быть, не была бы теперь так несчастна. Я бы поверила, что все, что я видела и слышала – дурной сон. Вы разрушили мое невежество и навалили мне на душу ледяную гору…

Она замолчала и чуть-чуть повела плечами, словно ей было холодно.

Он посмотрел на ее изменившееся, побледневшее лицо, и сердце у него тихонько сжалось.

– Вы не всегда правильно понимали мои слова, – проговорил он. – Я вовсе не хотел ожесточить вас. Напротив, меня пугала ваша молчаливая, но глубокая нетерпимость к самым обычным явлениям жизни, я и старался внушить вам более спокойное отношение к этим явлениям. Я хотел избавить вас от лишних страданий, потому что… да потому что я вас люблю, – с каким-то озлоблением выговорил он, точно ему стоило большого труда произнести это слово.

Наташа вся вспыхнула, подняла глаза и тотчас же опустила их.

Он придвинулся к ней.

– Вы ведь не покинете меня, не уйдете от меня, – сказал он и положил руку на ее холодные, трепетные пальцы.

Она молчала

– Что же вы молчите? Скажите что-нибудь… Наташа, – промолвил он дрогнувшим голосом, – неужели я ошибся! Вы меня не любите?

– Я вас разлюбила, – прошептала она.

– Разлюбили!.. За что?

Она вдруг выпрямилась.

– За то, что вы сами никого, кроме себя, не любите, – сказала она – Вы не грубый эгоист, который отнимает от другого кусок изо рта (вам это не нужно), но ваше собственное удобство у вас всегда на первом плане. Вы – продолжала она с возрастающим оживлением, – бросаете грош нищему только чтоб он не торчал перед вашими глазами. Правда, ко мне вы были неизменно добры… я вам благодарна, но… мне этого мало. Я верю, слышите ли, несмотря ни на что, верю (она резко повторила это слово), что есть люди, для которых слово “любовь” не значит только любовь к женщине. – которые имеют мужество громко стоять за то, что они считают правдой и не боятся показать слишком много

участия бедняку.

Она остановилась, возбуждение ее упало, и она с некоторым страхом посмотрела на Хомутова

Он сидел, понурив голову, и нервно чертил по земле кончиком палки. Ей стало жаль его

– Федор Алексеич, простите меня, – сказала она, тихо дотронувшись до его плеча, – я знаю, что делаю вам больно, мне и самой больно… но я не могу иначе. Вы меня забудете. Я простая, обыкновенная девушка, я вам не пара. Когда-нибудь вы еще поблагодарите судьбу, что все так случилось.

Он взял ее руку со своего плеча и прижался к ней лицом.

– Наташа, – промолвил он ласково, – я не принимаю вашего отказа. В ваших словах много правды, но не все. Я не герой, но и не такой эгоист, как вам кажется. Я буду ждать, пока вы сами в этом не убедитесь.

Она не отвечала. Они посидели еще немного. Стало почти темно.

– Как поздно, – сказала Наташа, – пойдемте скорей.

Они встали и быстрой, торопливой походкой направились в город. На полдороге им встретилась Аграфена Ивановна на извозчике.

– Да куда же это вы пропали, – почти закричала она на свою барышню. – Софья Петровна рвет и мечет, – зачем, мол, ушла не сказавшись. Хоть бы вы меня, старуху, пожалели! – воскликнула она с сердцем. – И за Софьей Петровной ходи, и сундуки обшивай. За грехи мои, видно, Господь меня с вами спутал!

Наташа наскоро простилась с Хомутовым и стала успокаивать расходившуюся Аграфену Ивановну.

XXIV

Знакомые Криницких явились проводить их с конфектами и букетами. Софья Петровна величественно улыбалась и делала вид, что не замечает пламенных, умоляющих взоров вертевшегося около нее Коробьина. Наташа поспешно укладывала в коляску последние вещи. Вдруг к ней подошла Елена Ивановна, порывисто обняла ее и, прошептав ей на ухо: “я очень виновата перед вами”, так же порывисто отошла. Наташа растерялась и хотела побежать за ней, но в эту минуту приблизилась Софья Петровна и строго проговорив: “избавьте меня от глупых сцен”, – стала садиться в экипаж. Мужчины целовали ей руку. Докторша Анна Михайловна и Люсенька (Елена Ивановна незаметно стушевалась) тискали ее в объятиях и уверяли, что без нее будут умирать от тоски. Хомутов, смеясь, упрашивал их не умирать, по

крайней мере, до его отъезда, но смех этот как-то не вязался с тоскливым выражением его осунувшегося, постаревшего лица. Он крепко пожал руку Наташе и значительно промолвил:

– Мы скоро, очень скоро увидимся, Наталья Васильевна.

Экипаж тронулся. Дамы замахали платками, мужчины шляпами. Софья Петровна несколько раз оглядывалась. Оглянулась и Наташа.

Темная голова Хомутова еще раз промелькнула пред ней.

– Tout est bien, quie finit bien[200], – произнесла Софья Петровна по-французски, во внимание к присутствию Аграфены Ивановны и, положив ноги на переднюю скамейку, зевнула, потянулась и закрыла глаза…

Рассказы, очерки, эскизы

Мечтатель

(Посвящается Н.Е. Ауэр)

Пароход лениво рассекает бархатную лазурь Женевского озера. Крутые, короткие волны то и дело бросают на палубу сверкающий сноп водяной пыли и сейчас же, словно играя, прячутся в глубь озера, а за ними, из-под колеса парохода, с ласковым рокотом бегут вдогонку все новые и новые белые борозды. Кругом так хорошо, что не знаешь на что смотреть… Хочется разом охватить, обнять все, все – и Юру, которая стыдливо прячется за голубой дымкой, и раззолоченные солнцем снежные вершины Dent du Midi, и угрюмый зубец Jaman, и зеленую рощицу Жан-Жаковской героини, и старый Blonay, и таинственный Chillon.

– Vous joussez, monsieur[201] – говорит мне мой приятель швейцарец, m-r Percier, живой старичок с добрым сморщенным лицом и слезящимися глазами. – Ah, monsieur, я уже 75 лет гляжу на эту картину и не могу наглядеться… Я бы мог сделать карьеру за границей, если бы не тоска по родным горам… И старик начинает в сотый раз рассказывать, как он воспитывал австрийского министра, потом испанского гранда и, наконец, был личным секретарем у надменного русского вельможи. Следует ряд эпизодов, которые я слушаю краем уха, а старик все говорит и говорит… Monsieur le general, lui dis-je, j'ai vu des paysans parmi les princes et des princes parmi les paysans…[202] Я вспоминаю, что эта жестокая фраза (cruelle, mais bien meritee[203]) обезоружила гордого русского вельможу и сочувственно киваю головой. К нам подходит высокий статный брюнет с проседью, в длинных, наглухо застегнутом черном сюртуке и широкополой черной шляпе.

– Monsieur le pasteur[204], – приветствует его мой приятель, и, сняв со скамьи корзину с маленькими грушами, которые швейцарский юмор окрестил именем "sept en gueule"[205], почтительно очищает пастору место. Между ними завязывается оживленный разговор о предстоящей школьной прогулке на rochers de Naye[206]. Старик Percier очень желает пригласить фотографа, потому что "ce sera le comble"[207]. Более практический пастор находит, что это лишнее, ибо можно всегда встретить "un amateur"[208]. Percier видимо разочарован, но не решается противоречить пастору. Пароход причаливает к Montreux.

С палубы на пристань перекидывают доски и канаты.

– Debarquement[209] – кричит во все горло чумазый матросик. Пассажиры бросаются к узкому мостику, а с берега несется с беззаботным смехом толпа молодых девушек в светлых и пестрых платьях.

– Attendez votre tour[210], – задыхаясь хрипит матрос. Девушки на минуту останавливаются, но нетерпение берет вверх и, не слушая команды, они протискиваются сквозь цепь строгих и ворчащих англичан, перепрыгивают через картонки, пледы, корзины и шумно устремляются на скамью, словно стая птиц на дерево, и, возбужденные, радостные, принимаются щебетать, тоже как птицы.

– Cette jeunesse, – с улыбкой говорит Percier и прибавляет: – c'est le pensionnat de M-lle Chuard… La voila qui vient… Ah, la pauvre vieille, elle n'a plus d'haleine[211].

У M-lle Chuard в самом деле такой вид, как будто ее сейчас хватит апоплексический удар. Она молча опускается на скамью среди своего питомника, раскрывает рот и закатывает глаза. Две девочки начинают ее обмахивать соломенными веерами, третья вытирает ей платком лицо, четвертая поправляет съехавшую на бок шляпу, а m-r Percier услужливо сует ей в рот un canard – кусочек сахара, намоченный в кирше. Все эти средства увенчиваются блестящим успехом. Старушка закрывает рот и открывает глаза, щеки ее из багровых становятся розовыми, через минуту, глубоко вздыхая, она уже поправляет на висках седые букли, еще через минуту она, смеясь, говорит "assez mes enfants, merci"[212], и кокетливо кланяется Percier и пастору. Те немедленно предлагают ей принять участие в экскурсии на Naye "a prix reduits"[213].

Эти слова ее окончательно приводят в себя, и вопрос о фотографе вступает новый фазис.

– Какие глупые, – раздалось по-русски на верхней палубе.

Я поднял голову и увидал высокого брюнета с длиннейшими усами и семитическим профилем. Возле него стояла дама, стройная, полная. Мне видна была только ее спина в серой жакетке, белая круглая шея, да золотистые завитки, выбившиеся из стянутых в модную греческую прическу светлых волос.

– Ну, вот, мы и в Швейцарии, проговорил мужчина, слегка картавя, – и все недовольна.

– Чем же я виновата, – отвечала дама. – Мне казалось, что эти горы выше, вода голубее, дома красивее… Я сама понимаю, что это глупо и все-таки это так… Голос дамы был мне положительно знаком. И где это я его слышал, подумал я, глядя на ее белую точеную шею, которую я, казалось, тоже знал. В это мгновение она обернулась. Глаза наши встретились и мы оба сразу узнали

друг друга.

– Бальбина Рафаиловна! – воскликнул я. Она очень смутилась, вспыхнула до корней волос, но сейчас же оправилась и, протянув мне руку, промолвила:

– Здравствуйте доктор! Вот где Бог привел свидеться. Позвольте вас познакомить с моим мужем. Paul, – обратилась она к супругу, – мы с доктором были большими друзьями когда-то. Я назвал себя. Paul любезно раскланялся, и минут через десять мы уже сидели за кофе и беседовали. Супруг Бальбины Рафаиловны сообщил мне, что он, собственно, совершает деловую поездку: у него большая кружевная фабрика на юге, и он каждый год ездит за границу за образцами. – А она (он указал на жену) давно стремилась в Европу, да дети мешали – слишком были малы: с собой, знаете, тащить неудобно, а оставить дома – нежная мамаша не решалась. Теперь другое дело, – мы приволокли сюда всю команду.

– А она у вас многочисленная? – спросил я Бальбину Рафаиловну.

Она опять покраснела и, бегло взглянув на меня виноватыми глазами, тихо сказала: четверо. Потом спросила: – а вы давно в Швейцарии?

Я сказал сколько именно.

– И, конечно, в восторге?

– Признаюсь.

– А я нет, возразила она. – Мне люди не нравятся. Я их представляла себе совершенно иными. Это грубые мелочные торгаши.

– Швейцария деморализована иностранцами, – заметил я. – Страна, представляющая собой международную гостиницу, – это нечто в роде канавы, куда человечество выбрасывает свои грехи и пороки. Тут поневоле заразишься. Тем не менее, не все швейцарцы сплошь трактирщики и не мало еще сохранилось уголков, где витает гордый дух свободной Гельвеции.

– Свободный дух, – иронически протянула Бальбина Рафаиловна. – Недавно один здешний доктор, молодой, образованный с восторгом говорил, что антисемитизм – величайшее явление нашего времени, что скоро наступит время, когда еврейство будет вырвано с корнем.

– А ты думала, что нас здесь любят, – сказал Paul. – Нас, милая, нигде не любят. И вот уж это меня мало беспокоит, – продолжал он, пожав плечами. – А вот что здесь совсем нет хорошеньких женщин, это верно! Какие-то обрубки скал – вы заметили, доктор? То ли дело в Вене, в Париже…

– Ты всегда говоришь глупости, – сердито заметила жена.

– Нет, милая, это ты говоришь глупости, – совершенно спокойно отпарировал муж.

Наступило небольшое молчание…

– Я устала сидеть, – промолвила Бальбина Рафаиловна – походим немного. А ты, Paul, закажи обед, я проголодалась. Paul покорно спустился вниз, а мы отправились вдоль палубы.

– Скажите, – начала взволнованным голосом Бальбина Рафаиловна, когда мы остались одни, – скажите, вы были там при нем… он не проклинал меня?

– Бальбина Рафаиловна, он всегда вспоминал о вас с любовью.

Лицо ее просветлело.

– Слава Богу, слава Богу, – промолвила она, смахивая набежавшие на глаза слезы, и тихо прибавила: – а вы не считаете меня виноватой?

– Нет, нет… тут была совсем иная причина. Я вам расскажу.

– Не теперь, не теперь, – перебила она, – вот идет муж. Вы приезжайте к нам в Шебр, тогда мы обо всем поговорим… Paul сообщил меню и очень огорчился отказом пообедать с ними. Пароход причаливал к Territet и я простился с супругами, пообещав навестить их на той же неделе…

Я долго не мог успокоиться в этот вечер и, вернувшись домой лишь поздно вечером, решительно отказался от участия в “шарадах”, танцах и живых картинах, к великому неудовольствию англичанок и американок нашего пансиона…

Прошлое обступило меня со всех сторон. Я пытаюсь бороться, рассуждать; пытаюсь разбередить в себе чувство обиды, боли, унижения… – и вижу дорогой образ с блуждающей улыбкой на бледных устах, который зовет меня назад на “поле страдания”…

Мне припомнилась Москва, с которой так неразрывно связана моя молодость, университет, пора золотых надежд и великодушных стремлений, и, как живой, встал передо мной тот, о ком с таким трепетом спрашивала Бальбина Рафаиловна… Он – был мой старый друг, Борис Моисеевич Зон, скромный и бескорыстный пионер еврейского просвещения. Теперь эти люди почти вымерли… И вот, под влиянием нахлынувших воспоминаний, я решаюсь представить нынешней молодежи одного из инвалидов старой гвардии.

Борис Моисеевич Зон был энциклопедист-самоучка, любопытный обломок целого типа, который в таком неожиданном изобилии выделило еврейское захолустье в конце пятидесятых годов. Как и большинство изможденных сынов Израиля, Зон не отличался красотой, как сейчас вижу его маленькую тщедушную фигурку с большой черноволосой головой, худое смуглое лицо,

длинные руки, на которые он сам иногда поглядывал с недоумением, точно соображая, – куда бы их спрятать. И все-таки, несмотря на свою неказистую наружность, Борис Моисеевич был очень привлекателен. Чем-то необыкновенно милым веяло от его тихой, ласковой улыбки, близоруких, наивно мигающих из-под очков, глаз, мягкого, как бы слегка надорванного голоса… Зон жил в меблированных комнатах “Неаполь” на Большой Никитской. Комнаты были, как говорят в Москве, “средственные” и, кроме вывески, ничем не напоминали поэтический итальянский город, на который – по пословице – довольно взглянуть, чтобы умереть в благоговейном восторге. Наш “Неаполь” никого в экстаз не приводил, но жильцы на это и не претендовали. Ютилась там по преимуществу молодежь, студенты, консерваторки, музыканты – не из важных, конечно, а оркестровые. Место было удобное: университет, театры, благородное собрание – рукой подать. Курсисток было мало – они в то время слушали свои лекции в Политехническом музее на Пречистенке, там, где теперь штаб.

В таких “общежитиях” всегда почти существует “центр”. В “Неаполе” таким центром были три чистенькие, уютные комнаты, прозванные “Эрмитаж”, в которых обитал Зон со своими неразлучными друзьями: глупой белой собачонкой Куклой и великолепной серой кошкой Обжоркой.

Борис Моисеевич служил бухгалтером и корреспондентом в богатой немецкой конторе и мог бы жить “своим домом”, если бы не его неискоренимая потребность чувствовать вокруг себя “молодой шум”. Он был холост, боялся женщин, говоря, что они нарушают нормальное течение жизни, но в обращении с дамами был *утонченно* вежлив, что нам, молодым и рьяным поборникам женского равноправия, казалось довольно забавным.

Одевался Борис Моисеевич очень аккуратно, даже не без щегольства. Его обычный костюм составлял длинный черный сюртук пасторского покроя, серые штаны, высокий жилет, отложной воротничок a l’enfant и широкий галстук бантом. Среди студенческих тужурок, красных рубах, жакетов, блуз и ботфортов, строгий костюм Зона являлся верхом изящества. Во всех своих привычках Борис Моисеевич был чрезвычайно скромен. У него была только одна страсть – книги. Стены “Эрмитажа” были сплошь заняты полками как в библиотеке. Книги содержались в строжайшем порядке и в то время, как вся особа Зона представляла нечто в роде общественного достояния, он оберегал свои книги с трепетной нежностью влюбленного. Пользоваться ими можно было только у него под бдительным оком неумолимой Вареньки, охранявшей сокровища Бориса Моисеевича, как

весталка священный огонь. Эта Варенька была двенадцатилетняя девочка, печальная, серьезная, с бескровным старческим лицом и горестным выражением рта. Отец ее – провинциальный актер Бельтов-Коврайский, явился в Москву, чтобы заменить Шумского. Шумского он не заменил и преисполнился величайшей злобой к Малому театру: называл его “потешной храминой”, могилой русского искусства, сулил ему погибель, мор, пожар, предсказывал, что дирекция будет ему в ножки кланяться и весь трясся, когда при нем дерзали похвалить кого-нибудь из корифеев “потешной храмины”.

– Это, сударь мой, не актер, а деревянный истукан, – восклицал он, ударяя себя в грудь. – Бельтов-Коврайский сам артист и умеет ценить талант даже у врага лютого. Но проходили недели и месяцы. Дирекция “в ножки не кланялась”, и, чтобы не умереть с голоду, бедняга писал в шантажной газетке пасквильные куплеты, которые он, для собственного утешения, называл “бичами сатиры” – и пил горькую.

Жена его, толстая особа с круглыми черными глазками на заспанном лице, весь день ходила простоволосая в нижней юбке и белой кофте, курила папиросы, и когда “сатирик” возвращался пьяный – поколачивала его. В одну из таких потасовок Зон увел к себе испуганную, плачущую Вареньку. Девочка, которою родители интересовались очень мало, страстно привязалась к этому неожиданному другу, терлась возле него, как пригретая кошечка, ловила его взгляды, убирала его вещи, провожала на службу. Он ее учил, приносил ей лакомства, дарил ей платья, ботинки. Мало-помалу она очутились на его полном попечении и в “Эрмитаже” появилась мягкая кушетка, на которой девочка мирно засыпала, когда у супругов Бельтовых-Коврайских бушевала гроза. Собирались у Зона больше по вечерам. Бывало, придешь из театра, а у него еще сидит компания. О милая, знакомая картина! На круглом столе посвистывает потухающий самовар. Хромой скрипач Штейн, желчный человек с испитым, безбородым и безусым лицом, тихо пиликает в уголку на своей скрипке; стройный блондин Лидман, воспитанник и любимец Бориса Моисеевича, расхаживает по комнате и что-то убедительно толкует Марье Николаевне Глебовой, строгой серьезной курсистке, с головой ушедшей в историю. Из-под ширм слышится неровное дыхание Вареньки. При моем появлении Кукла и Обжорка бросаются мне под ноги, Борис Моисеевич откладывает в сторону книгу и, затянувшись раза два папиросой, идет ко мне навстречу со своей обычной ласковой усмешкой.

– Ну что, доволен новой пьесой?

– Нет… какая-то ерунда на юдофобской подкладке… Марья

Николаевна, угостите меня чаем.

Глебова постукивает кончиками пальцев о самовар.

– Чуть теплый, ничего?

– Давайте какой есть, ужасно пить хочется.

Я усаживаюсь за стол и жадно глотаю холодный чай. Беседа оживляется. Я рассказываю о пьесе, в которой автор заставляет старика еврея, философа, восклицать: “пожмать вашу честную руку”! и завидовать счастливцу, который “себе ехал на хорошего пара лошадей”.

Лидман хохочет. Глебова пожимает плечами и брезгливо протягивает – “какая пошлость”. Штейн односложно отчеканивает– “мерзавец” и опять принимается за скрипку. Но Борис Моисеевич уже весь изменился в лице, словно его ударили по больному месту.

– Это недобросовестно, – произнес он, слегка задыхаясь от волнения. – Вот если бы они (он указал на меня и Лидмана) говорили “пожмать”, ну тогда потешайтесь: они мальчиками поступили в гимназию, переходили из класса в класс – им стыдно коверкать русскую речь. А знаете ли вы как учились в наше время! Без книг, без школ, без учителей… Приедет, бывало, в захолустное местечко студент на каникулы, соберет двух-трех недорослей и возится с ними. Оставит кое-какие книжки, а в голове уже загорелась искра мысли и уж не загасить ее ничем…

Зон подошел к самовару, налил себе стакан чаю, отхлебнул несколько глотков и стал подле Глебовой.

– Вот вы, Марья Николаевна, изучаете историю, – сказал он.

– Отчего бы вам не заняться бытом евреев в нашем отечестве. Право, это любопытно, чем вопрос о различии татуировки племени Ням-Ням от племени Бариула-Гву или что-нибудь в этом роде. А какие бы я вам источники доставил… – Куда мне, – возразила Глебова, – да и страшно: сейчас скажут – жиды закупили… – Ну, это страх недостойный – заметил Зон, – да я и не рекомендую вам писать апологию еврейства. Но ряд очерков, которые бы ознакомили русское юношество с истинною, а не выдуманною судьбой евреев, хоть за последние 50 лет, было бы благородным делом.

Бледное лицо Глебовой вспыхнуло. – А ведь это соблазнительно, – сказала она, и тут же махнула рукой, – да нет, куда мне… Да я и не знаю ничего. Вы – другое дело. Вы знаете эту эпоху не только по писаному, но и по живым источникам, наконец, многое видели своими глазами… Ах, в какое тусклое время мы живем… Поневоле позавидуешь таким счастливцам, как вы.

Зон улыбнулся.

– Насколько в этом было счастья, решить довольно мудрено, – сказал он, – но кто пережил эту пору, тот ее не забудет. Точно луч света прорвался в законопаченную тюрьму. Сразу произошло что-то невиданное. Взрослые, часто пожилые люди, просидевшие всю жизнь над талмудом, под очарованием какой-то неведомой, смутной, неотразимо влекущей силы, бросали семьи, выпутывались из таинственного лабиринта средневековой схоластики и бежали учиться чужой живой науке, чужому языку, в страстной надежде, что этот язык, эта наука приобщит их, вековых отверженников и пасынков судьбы, к общему человеческому хору. Это было время почти сказочных метаморфоз. Словно по мановению волшебного жезла, вчерашний талмудист превращался в ученого, публициста, писателя… многих я знал, многие уже сошли со сцены.

Борис Моисеевич провел рукой по своим густым волосам и полузакрыл глаза. Казалось, в его воображении мелькает ряд дорогих призраков.

– Само собой разумеется, – продолжал он после небольшого молчания, – что такое сильное движение имело и свою теневую сторону. Не обошлось без предательства, ренегатства. Разыгрались аппетиты. Как грибы выросли концессионеры, откупщики, финансисты. Но что значит этот мутный поток в сравнении с той широкой волной, которая увлекла из “черты” лучшую часть еврейства.

Он опять замолк, помигал своими близорукими глазами и, тихо вздохнув, прибавил: – да, это была хорошая пора – не возрождения (у нас не было золотого века, что бы ни говорили славянофилы), но несомненно эпоха пробуждения общественного сознания…

Иногда между нами и Борисом Моисеевичем закипали горячие литературные споры. Мы, молодежь, поклонялись натуралистической школе, бредили “человеческими документами” (декадентство и символизм еще не успели до нас дойти), а Зон был неисправимый романтик, знал наизусть Шиллера, обожал Жорж-Занд, плакал над “Мизераблями” Гюго и с восторженным трепетом произносил имя Гете.

Споры наши, хотя и велись до хрипоты в горле, но никогда не оставляли после себя неприятного осадка. Чаще всего они кончались тем, что Штейна извлекали из его угла с требованием сыграть что-нибудь умиротворяющее. Он начинал с того, что любезно посылал нас к черту, но скоро смягчался и играл пьесу за пьесой. А Борис Моисеевич подпирал голову рукой и задумчиво бормотал любимые, большей частью, немецкие стихи.

Жизнь нашего маленького кружка текла довольно

однообразно. Лекции, экзамены, беготня по урокам, чтение книг, театр, изредка вечеринка с танцами. События, периодически волновавшие “общину”, состояли в том, что кто-нибудь из знакомых оканчивал курс, уезжал в провинцию, иногда на далекую окраину, или роман вдруг объявлялся, или в университете разыгрывалась “история”… Тогда в “Эрмитаже” происходила ажитация. Зон ходил на цыпочках, с таинственным видом, но понемногу все укладывалось и входило в обычную колею. Один только Борис Моисеевич никогда не бывал спокоен: он почти всегда был озабочен устройством чьей-нибудь судьбы. Самородные таланты, изнывающие под родительским гнетом девицы, жаждущие просвещения юноши, часовщики, сапожники, портные, устремившиеся из какого-нибудь Новогрудка или Мозыря в столицу делать карьеру, – все это какими-то неисповедимыми путями проведывало о его существовании и настойчиво заявляло на него права. И он ездил, хлопотал, вразумлял строптивых родителей, уговаривал непокорных дочек, возил таланты в соответственные храмы искусства и осаждал знакомых просьбами – чинить свои сапоги, часы, платья.

Отличительной чертой характера Бориса Моисеевича была какая-то особенная духовная простота, и этим свойством, вероятно, объяснялось общественное положение его друзей. Он никогда себя не насиловал, никогда ничего не делал нарочно. Между целым сонмом знакомых, помню, к нему хаживала одна швея – застенчивое, милое существо. Придет, бывало, и если увидит, что у Бориса Моисеевича народ, сядет в *утолок* и молчит, как убитая. Все мы старались приручить ее, втянуть в общий разговор, – и совершенно безуспешно.

– Много у вас работы Глафира Ивановна? – спросит ее, например, Глебова.

– Ничего, слава Богу-с, – ответит Глафира Ивановна, не поднимая глаз и краснея до корней волос.

– А вы не устаете? – продолжает Глебова.

– Ничего-с, – бормочет швея.

– Ну, однако, бывает же у вас срочная работа? – не без раздражения допытывает курсистка.

– Конечно-с… спешка… без этого нельзя-с, – совсем оробев, шепчет Глафира Ивановна.

– Охота вам корпеть над иголкой, – вмешивается Лидман, – хотите, я вас на курсы подготовлю, а то на сцену… у вас положительно должен быть талант.

Глафира окончательно смущается и обращает молящий взор на Зона. Он встает и шутливо говорит Лидману:

– Глафира Ивановна знает, что молчание золото, а ты, вот, не

знаешь, – и прибавляет: – оставьте их, Глашенька, сядем к сторонке, да давайте-ка о наших с вами делах толковать.

Швея с облегчением вздыхает и между нею и Зоном завязывается тихий, оживленный разговор. Борис Моисеич иногда вооружался карандашом, чертил, писал какие-то цифры и показывал их Глашеньке. Та кивала головой, улыбалась и уходила совершенно счастливая.

– Удивляюсь на вас, Зон, – замечала Глебова, – о чем вы можете говорить с такой дурой, как эта ваша Глашенька.

– Ах, что вы, Марья Николаевна, она вовсе не дура, у нее ум сердца. Подумайте, – полуграмотная девушка, в полном смысле слова, трудами рук своих воспитывает брата и кормит мать старуху. С таким личиком… Нет, это милая, прекрасная девушка… Необыкновенно прилежный, с интересом следивший за всем, что появлялось в европейской литературе, Зон никогда не хандрил и беспощадно преследовал всякую меланхолию. Особенно часто доставалось от него Лидману, более других склонному к унынию.

– Стыдно человеку прямо сознаться – я, мол, бездельник, он и виляет – у меня хандра, сплин, – говаривал Зон.

– Но позвольте, Борис Моисеич, – возражал Лидман, – разве вы не допускаете разочарований?.. Представьте, что дело, которому вы отдали лучшие годы, обмануло ваши надежды… Да не далеко ходить за примером. Вы помогли мне выбиться и знаете, что я не терял даром времени. И вот теперь… Предположите, что я хочу посвятить себя науке.

– Кто же тебе мешает?

– Да разве мне когда-нибудь дадут кафедру?

– Ах, вот ты о чем… Это, брат, совсем из другой сказки. А по-моему, наука – богиня вездесущая, ее храм – вселенная. Коли ты ее любишь, то можешь ей служить не только на кафедре. Илья Оршанский служит ей за письменным столом, а в городе Кременце, на горе стоит убогая хижина, в которой 30 лет работал одинокий, больной Исаак-Бер Левенсон, могучий, благородный ум, всю жизнь боровшийся с фанатизмом, суеверием и невежеством.

– Вы жестоки, Борис Моисеич, – защищался Лидман. – Неужели оттого, что где-то парят орлы, почтенная домашняя птица не смеет иметь никаких желаний.

– Вовсе нет, только почтенная домашняя птица не должна заявлять орлиных претензий. Капля росы, отражающая солнце, тоже радует сердце, но все-таки она – капля, а не океан.

– Понимаем, понимаем, – смеялся Лидман, – что делать, будем добродетельными индюками!

– То-то.

Корреспонденция у Зона была обширная. Он получал письма решительно отовсюду – из глубины провинции, из европейских университетских городов, из Америки… Помню, каким праздником была для него телеграмма доктора Бибера, сообщавшая о получении им кафедры в Гейдельберге.

– О, этот всегда был молодец – восторженно рассказывал Борис Моисеич. – Я его знаю с детства. Он рос в очень печальной обстановке. Отец его, часовщик, был буян и пьяница, большая редкость между евреями, а мать милая, кроткая и красивая женщина. Под пьяную руку муж поколачивал жену. Мальчик обожал мать. И вот раз, когда озверелый часовщик кинулся на жену, сын – ему было уж пятнадцать лет – поднял отца на руки, как ребенка, и вынес из комнаты. “Что ты делаешь”? – закричал ошеломленный родитель. – Держу тебя, чтоб ты не дрался. “Пусти, разбойник”. – Обещай, что не будешь драться. И держал тятеньку, словно в клещах, пока тот не сдался на капитуляцию. С этой поры я не только подружился с милым мальчиком, но иногда он меня прямо подчинял своему влиянию… О том, что он подготовил Бибера в гимназию, поддерживал его в университете и за границей, Борис Моисеич, казалось, забыл.

И много бы еще поколений, вероятно, вынянчил Борис Моисеич, если б… судьба не сыграла с ним злой шутки.

К Марье Николаевне Глебовой приехала с юга ее приятельница, Бальбина Рафаиловна Ильяшевич, поступила в консерваторию и поселилась у нас в “Неаполе”. Это была барышня лет двадцати – хохотунья и говорунья. Собой она была очень хороша. Высокая, тоненькая, как молодая березка, с покатыми плечами, золотыми локонами и большими светлыми прозрачными глазами – она напоминала женщин Тициана. Певица она была посредственная. Но во всем ее существе, в повороте круглой, нежной шеи, в быстром взмахе пушистых ресниц, в движении пухлых пунцовых губ, из-за которых, точно в капельке молока, белели маленькие острые зубы – было что-то до такой степени пленительное, увлекательное, что кружило голову, как вино. И, между тем, она не была кокеткой, но в ней была органическая, бессознательная потребность нравиться решительно всем, и она охорашивалась, как птичка, встряхивающая свои пестрые перышки, когда она чувствует, что на нее глядят. Через месяц все в “Неаполе” звали ее Бибочка и глядели ей в глаза. Не взлюбили ее с первого взгляда только Варенька, Кукла и Обжорка: они инстинктивно почуяли соперницу. Варенька забывала ей класть сахар в чай, кукла нахально лаяла ей прямо в лицо, Обжорка дипломатически

игнорировала ее существование. Вечера в “Эрмитаже” приобрели новую, неизъяснимую прелесть. Все реже и реже раздавались в них былые горячие споры, которые от вопросов о “мероприятиях” переходили в отвлеченные сферы философии. Теперь Бибочка пела о радости свиданья, тоске разлуки, о жарких лобзаниях и страстных, знойных ночах, когда “в крови горит огонь желанья”, об одинокой могиле юноши, которому изменила милая, о ранней весне и лунных ночах, о розовой заре, когда так нежно поет соловей и на цветах еще блестят росинки слез…

Да, любовь, любовь, любовь ворвалась в мирный Эрмитаж и перевернула его верх дном. Когда Бибочка пела в воздухе точно носились поцелуи, а в сердце лились какие-то длинные голубые волны, щекочущие, манящие и неуловимые.

Строгая Глебова глубоко вздыхала, Штейн сжимал свою скрипку, Лидман пожирал Бибочку глазами как Лягавая собака дичь, Борис Моисеич бледный и безмолвный, с поникшею головою и блуждающим взором, походил на лунатика… Варенька не могла этого выносить и роняла на пол тяжелый словарь или наступала на хвост Кукле. Кукла пронзительно взвизгивала. Чары были нарушены.

– Н-да, – глубокомысленно говорила Глебова, – любовь это божественное вино в скверном стакане.

– Qu’importe la coupe s’il a l’ivresse[214], – беззаботно возражала Бибочка.

И вот в эту-то Бибочку, как безумный, влюбился наш Борис Моисеич, и мы не успели очнуться как он сделал ей предложение. Всех поразило, что Бибочка приняла это предложение – потому ли, что на Зона привыкли смотреть, как на старика, хотя ему не было и пятидесяти лет – или это было чувство обиды, что красавица не предпочла кого-нибудь из нас, ну хоть Лидмана, который так за ней ухаживал… (В пылу негодования мы как-то забыли, что Лидман повергал к маленьким ножкам Бибочки лишь пламенное сердце, а о драгоценной руке не заикался.) Так или иначе, но по отношению к Зону и Бибочке в “общежитии” сразу наступило насмешливое охлаждение, а к Бибочке даже явное недоброжелательство: ей не могли простить, что она “присвоила” себе Бориса Моисеича. Варенька с трагическим видом развенчанной королевы удалилась к своим благородным родителям и увлекла с собой Куклу, тоже возмущенную изменой хозяина. Она сманивала и Обжорку, но та, как истая кошка, не желала расставаться с насиженным местом и промурлыкала, что на некоторые увлечения следует смотреть сквозь пальцы… Я тоже был в числе обиженных, ибо, как и все, был влюблен в Бибочку, но так как разлюбить Бориса Моисеича я не умел, то и

продолжал, по старой привычке, навещать его каждый день. И вот тут-то я стал замечать, что между женихом и невестой как будто неладно и страх за Бориса Моисеича взял верх над моей обидой и ревностью. Бибочка сделалась неузнаваема. Куда девались ее веселье, заразительный смех, беспечность. Она как-то вся съежилась и пугливо озиралась своими милыми, потемневшими глазами, словно спрашивая: – да где же все… ведь я всех люблю…

А Борис Моисеич в это время говорил ей о вечном ропоте души, излагал по пунктам какая она необыкновенное и прекрасное существо, какая она будет знаменитая певица, как она должна совершенствовать в себе артистку, потому что искусство ревниво и требует жертв от своих жрецов… При этом, по своей скромности и застенчивости, он, весь сгорая от восторга своей запоздалой страсти, – едва осмеливался приближаться к невесте, едва дерзал касаться своей рукой ее пышных золотых волос. Два месяца он устраивал гнездышко для своей царицы, а царица становилась все грустнее и молчаливее… Кончилось тем, что чуть не накануне свадьбы она исчезла из “Неаполя”, оставив жениху письмо, что она очень, очень его уважает, но выйти за него замуж не может, чтобы он ее простил, что она глупая девчонка…

За этим-то письмом я застал Зона на его новой квартире через три дня после бегства Бибочки. В прихожей меня схватила за руку Варенька и с проницательным выражением ребенка, выросшего за кулисами шепнула: “Ах, как он страдает”!.. Тут же вертелась Кукла, сконфужено помахивая хвостом, и Обжорка, выгибая спину жалобно мяукала: все суета сует. Словом весь штат Бориса Моисеича был налицо. Сам он сидел в комнате, предназначавшейся для будуара его жены. Комната была вся светлая, голубая с белым: низенькая мягкая мебель… На стенах хорошенькие картинки – ландшафты, детские головки, на этажерке целый ворох милых безделушек… В изящном шкапу за стеклом – любимые поэты Бориса Моисеича. Но лучше всего в этой радостной комнате был туалет. Большое зеркало в серебряной раме таинственно мерцало из-под пышных складок белой кисеи и голубых лент. Щеточки, гребенки, флаконы с духами – все ждало молодую хозяйку. А тот, кто с такой трогательной нежностью устраивал это уютное гнездышко, сидел молчаливый, бледный, и слезы падали одна за другой крупными каплями из его опущенных глаз на маленький листок почтовой бумаги, и он тихо их утирал кружевной оборкой туалетного покрывала…

Я стал было его утешать, пробормотал что-то о кокетстве Бибочки, о том, что она была недостаточно “развита”, чтобы оценить и т. д.

Он встрепенулся при этих словах. – Что ты, что ты!., она ни в чем не виновата. Она – бабочка. Ее назначение – блистать крылышками, радовать взоры и улетать от грубых человеческих рук… Вот– она и упорхнула, моя белая бабочка… Храни ее Бог, – прошептал он дрожащими губами и отвернулся. – Видишь ли, – прибавил он, немного оправившись и даже улыбаясь – есть люди, которые самой природой определены на роли третьих лиц, друзей, наперсников… Надо помнить свое амплуа и не лезть в герои.

Вскоре после этого Зон уехал из Москвы. Перед отъездом он добился снисходительного согласия Бельтовых-Коврайских на помещение их дочери в пансион. Отчаяние Вареньки при прощании с Зоном не поддается описанию. Она рыдала, билась головой об пол и, ломая руки, кричала: это все из-за нее, из-за нее, из-за нее… Всем стало легче, когда девочку увезли. Библиотеку, куклу и Обжорку Зон, на время своего отсутствия, поручил мне. Прошло несколько лет. Борис Моисеич писал мне довольно часто и все из разных мест. Он колесил по России, одно его письмо было из Сибири.

Многое переменилось за эти годы. То, что прежде ощущалось лишь как тяжелое предчувствие – разрослось, приняло определенный образ и форму. Звуки, которые, казалось, навеки отошли в область преданий, вдруг раздались отчетливо и бесстыдно. Холодом веяло от этого нового течения. Барометр опустился сразу и, по-видимому, надолго. Как раз в это время возвратился в Москву Зон. Я уже года два как кончил курс и жил на Малой Бронной. Борис Моисеич поселился со мной. Библиотека его была в целости, только вместо Обжорки, умершей от ожирения по комнатам бегал ее внук, да Кукла едва волочила ноги от старости. Борис Моисеич потрепал ее по шее и промолвил: – вот мы опять с тобой, жаль Вареньки нашей нет. (Варенька умерла от дифтерита в первую же зиму после отъезда своего друга.) По внешности Зон мало изменился: так же ласково мигали из-под очков его черные глаза, та же тихая усмешка играла на губах, только волосы его точно обсыпало снегом. Ему очень шла эта львиная седая грива. О “катастрофе”, погнавшей его странствовать мы никогда не говорили. Раз только он сказал мне: – знаешь Бибочка вышла замуж за хорошего человека и – счастлива. Слава Богу…

Я не посмел расспрашивать и больше между нами об этом не было речи.

К нам опять стал собираться народ. Но из старых оставались лишь я и Лидман (остальные разбрелись кто куда), а новые знакомцы так были далеки от представлений Бориса Моисеича об

учащейся молодежи, что как он себя ни убеждал, что все это не так страшно, – дух времени был слишком силен, и старый мечтатель растерялся. Степенные молодые люди, с пакостной усмешкой иронизирующие над “именинами сердца”, журналисты, прославляющие розги, юдофобство на “научной” почве с передержкой, гаерством, гиканьем… – Что же это, что же это… – повторял ошеломленный Зон: – ведь это оргия… призыв к человеческим жертвоприношениям.

– Из-за чего вы так волнуетесь, – как-то заметил ему Лидман. – ведь вас пока не трогают?

Борис Моисеич так и вскипел.

– То есть, что же ты хочешь этим сказать, – заговорил он, усиленно мигая глазами, – что тело мое не жарят на сковороде?.. А мое измученное сердце, моя поруганная душа, это ни по чем?.. Ох, Лидман, не нравится мне твое равнодушие; моральный индифферентизм – это, брат, последнее дело.

– Один в поле не воин, Борис Моисеич, – возразил Лидман, – я и то плачусь за мираж, именуемый иудейством. Передо мной – карьера, а у меня на руках и ногах – кандалы. Зон с негодованием посмотрел на своего воспитанника и ничего не ответил. Между ним и Лидманом с этого дня словно пробежала черная кошка. Но у Бориса Моисеича было слишком привязчивое сердце, он не мог долго сердиться на тех, кого любил, и через несколько дней, видя, что Лидман не идет, он вместе со мною отправился к нему. Мы застали у него гостей. На кушетке, подобрав под себя одну ногу сидел пожилой франтовато одетый господин, с квадратной головой, пухлым носом и глазами на выкате. Лидман смутился, называя нам его. Это был Воронов, автор курьезных по своей грубой невежественности юдофобских брошюр.

Борис Моисеич насупился, но поклонился Воронову со своей обычной вежливостью. Остальные были знакомые. Два студента, Гунст и Шперлинг, один тощий с лысиной, другой жирный курчавый с румяными щеками, – оба в новеньких с иголочки мундирах. Четвертый гость, костлявый, загорелый человек, с длинными, по-мужицки расчесанными на прямой пробор, волосами, в поношенном пиджаке, шароварах навыпуск и рваных болотных сапогах – пил чай, истово дуя на блюдечко, которое придерживал пятерней. Увидя нас, он встал, тряхнул головой так, что волосы закрыли ему пол-лица, молодецки откинул их назад и, отерев губы рукой, троекратно с нами облобызался. Это был наш старинный приятель Акимушка Малама. Лет пятнадцать назад он бросил университет, чтобы заниматься науками на свободе, внезапно пропадал, внезапно появлялся, постоянно что-нибудь пропагандировал и всегда с одинаковым жаром. То он распинался

за артельные мастерские, то громил централизацию и слезно молил не подавлять развития личности. Сегодня восторгался германской культурой, а через месяц доказывал, что все немцы лавочники и филистеришки[215] и что все ихние социал-демократы – в душе толстопузые буржуи. Но время и на Акимушку наложило свою печать. Он уже не вопил, как прежде, не потрясал кулаками, а говорил тихим, елейным голосом и смиренно отрицал цивилизацию.

Акимушка налил нам чаю. Беседа началась на злобу дня и не замедлила, конечно, перейти на “жгучий вопрос”.

Студенты сообщили, что недавно профессор Гунявин одному молодому, очень талантливому человеку, который принес ему свою книгу, заявил:

– Не могу принять вашего произведения, ибо не желаю иметь ничего общего с евреями и не интересуюсь еврейским творчеством.

– Что же сделал оскорбленный? – спросил Зон.

– Что же он мог сделать? – изумился тощий студент: – повернулся и ушел.

– Не по морде же его бить, – хихикая заметил курчавый, румяный Шперлинг.

Зон покачал своей седой головой. – Зачем же… бить, – промолвил он. – Но сказать что-нибудь такое, чтобы человек почувствовал себя ниже праха – это он должен был сделать.

– А если б его за эту храбрость выслали в теплое место? – возразил тощий Гунст.

– Ну и послали бы.

Студенты заговорили вместе, перебивая друг друга.

– Благодарю покорно… Губить себя из-за какого-то идиота… Мы должны отвечать подобным господам презрением.

– Это во всяком случае очень благоразумно, хе-хе, – заметил Воронов.

– Мы обязаны быть благоразумными, – сказал Гунст.

– Ну, извините, я с этим не согласен, – прервал Зон, – бывают такие случаи, когда быть благоразумным – значит быть низким…

– Я этого не понимаю, – невинным тоном начал Воронов, – если евреям у нас так нехорошо, отчего они не уходят? Кстати, вот теперь Аргентина… новая земля обетованная…

– Во-первых, вы заблуждаетесь, – сказал Зон, – евреи вовсе не у вас, а у себя.

Воронов от удивления даже руками развел.

– То есть как же это, – позвольте узнать… Россия, сколько известно.

– Не ваша, – закончил Зон. – Она принадлежит всем своим

сынам и все ее сыны принадлежат ей. Считаете же вы русскими князьями потомков монгольских дикарей.

– Какое же это сравнение, – воскликнул Воронов, – те слились с нами, а евреи, сколько бы их не идеализировали, не способны к ассимиляции…

– Почему же вы так думаете?..

– Да вы посмотрите на еврейскую массу! Что за чудовищная косность! Она скорее умрет, чем расстанется со своим лапсердаком, ермолкой и пейсами.

– Это вам так кажется, – спокойно возразил Зон, – потому, что вы не умеете, а, главное, не хотите смотреть. Поверьте, что лапсердак часто облегает благородную человеческую грудь, а под ермолкой иногда работает голова мыслителя. Что касается пейсов, то не царь Давид в своих песнях, ни Экклезиаст, этот библейский Ренан, о них не упоминают, из чего позволительно заключить, что они не составляют естественной принадлежности еврейского тела. Все эти позднейшие исторические документы нечто вроде Гуинпленовской улыбки или Железной маски.

Лидман, которому, очевидно, было не по себе, заметил:

– Толпа везде неприглядна, но евреи культурного класса с университетским образованием…

– Ах, батенька, не говорите лучше, – с азартом крикнул Воронов, окончательно оставляя невинный тон. – Вот где они у нас сидят (он хлопнул себя по шее) ваши образованные (я не о вас говорю, вы не в счет). Банки, железные дороги, страховые общества, фабрики, адвокатура– все заграбастали. Пойди-ка, потягайся с ними.

– Вот это хорошо, – произнес Борис Моисеич, смотря в упор на собеседника, – это, по крайней мере, искренно. К чему тут философия, история, культура, когда все дело в рубле.

– Не в рубле, а в истине, – рявкнул Воронов.

– Истина никогда не говорит устами зависти и злобы, – возразил Зон и встал.

– Эх, господа, господа, – укоризненно начал Акимушка, – все вы не о том… Гляжу я на вас, слушаю и жалко мне вас… И умны-то вы, и учены, а что толку от вашего ума и учености? Ничего кроме раздора… А все отчего? Оттого, что не по правде живете. Наука эта ваша хваленая делает людей либо воинами, либо жрецами, либо лавочниками, а работник– в стороне, один-одинешенек. Ни попы, ни купцы, ни дворяне, ни евреи – не идут к нему…

– Науку я отстаивать не буду, – сказал Зон, садясь возле Маламы, – ей не страшны наши нападения и она не нуждается ни в чьей защите… Но если бы вы знали, Акимушка, каким

каторжным трудом существует еврейская масса, вы бы не повторяли с чужого голоса, что она стоит в стороне от работника…

Борис Моисеич расцеловался с Маламой, сухо простился с Лидманом и студентами и, засунув руки в карманы, издали поклонился Воронову…

Через несколько дней мы узнали, что Лидман крестился. Целый месяц крепился Зон, наконец не выдержал и пошел к нему. Тот встретил его с учтивой сдержанностью, говорил о театре, болгарских делах, политике Гладстона, и когда Зон, весь дрожа и заикаясь, прошептал:

– Зачем, зачем ты это сделал?..

Лидман с недоумением повел плечами.

– Вы намекаете на мой переход в христианство, – сказал он, – но я, право, вас не понимаю, любезный Борис Моисеич. Разве не вы всегда проповедовали свободу убеждений? Я не стану вам говорить о своих религиозных стремлениях – вы материалист и не поймете меня… Но даже с философской точки зрения… я становлюсь на сторону исторической силы…

– Даже, когда эта сила топит ваших братьев?

– Ну, это, знаете, индивидуальное чувство… как кто смотрит. Вам угодно считать братьями четыре миллиона человек, а я считаю братьями всех людей.

– Ах, скажите лучше прямо, что вам хочется выйти в присяжные поверенные – с глубокой горечью возразил Зон.

– А хотя бы и так, – прищурившись ответил Лидман. – Надеюсь я никому не обязан отдавать отчет о своих поступках. Ведь я не мешаю вам быть страдальцем и героем… Когда Борис Моисеич передавал мне подробности этого свидания, – на него тяжело было смотреть, до того он был жалок. Но главное испытание ждало его впереди. В один прекрасный день ему принесли повестку с роковым словом “на выезд”. Мы поехали объясняться с начальством. Нас принял маленький человек с лисьим лицом – “исполнитель” новейшего типа.

– Бориса Моисеева Зона, – прочитал он на прошении, и ласковым, с оттенком грусти голосом, спросил: – зачем неправильно называешься?., твое имя Берка Мошков.

Лицо Зона покрылось смертною бледностью.

– Берка не имя, такого имени нет, – произнес он тихо и твердо.

“Исполнитель” укоризненно покачал головой.

– Есть, мой *друг,* есть! Берка, Ицка, Шлемка, Мошка – вот ваши святцы, а не нравится – так ведь можно, мой друг, и в Палестину.

– По закону, – начал Зон…

– Для жида нет закона, – прервал он все так же ласково и печально. – Ты, – Берка, дружок, не упрямься, – Берка и ничего больше, будь у тебя хоть двадцать дипломов.

С этого дня Борис Моисеич точно замер. Никуда он не ходил, никого не принимал к себе, приводил в порядок библиотеку, разбирал документы, писал какие-то таинственные бумаги. Однажды я застал его за книгой. Я спросил, что он читает.

– Да вот перечитываю Rabbi v. Bacharach, – сказал он. – Да, милый друг, много мы пережили, а все еще не видно конца пути… Но скоро Агасфер положит свой скитальческий посох… Кстати, – продолжал он после небольшого молчания, подвигая ко мне толстую тетрадь, – это каталог библиотеки. Я оставляю ее тебе, а там уж ты по завещанию передашь ее в университет. Пользуйся, голубчик, как можно дольше, – добавил он с улыбкой.

Мне стало невыразимо грустно.

– Зачем вам расставаться со своими книгами? – сказал я. – Я вам их перешлю, как только вы устроитесь на новом месте. А в университет, когда придет время, вы сами передадите свое сокровище и там оно будет жить под вашим именем.

Он замахал руками.

– Что ты, что ты, зачем… Мы – анонимы. В этом наше назначение и заслуга.

Он сказал это без малейшей горечи. Пришел срок. Наступил день отъезда. Поезд уходил в 7 часов вечера. Мороз стоял градусов в 30. Длинная платформа Брестского вокзала была сплошь запружена человеческой массой, резко отличавшейся от пестрой толпы обыкновенных пассажиров. На всех этих лицах было одно выражение – выражение страха, отчаяния, тоски. Оно мелькало в испуганных глазах оборванных детей, оно горело в мрачных взорах мужчин, в заплаканных впалых глазах женщин и в угасающих взглядах стариков. Домашняя утварь, корыта, сундуки, узлы с разным убогим скарбом, чемоданы, подушки, ящики – мешали движению. Рыданья, плач, вопли, гортанный говор, окрики кондукторов, грохот и лязг багажных тележек сливались в какой-то дикий вой, в какой-то стихийный гул. И надо всем этим горем тихо витала темно-синяя, глубокая, холодная ночь со своими золотыми безучастными звездами. Мы медленно пробирались вперед. Борис Моисеич шел сгорбленный, осунувшийся, постаревший. Мимо нас на носилках медленно пронесли человека. Фонарь осветил высохшее, прозрачное, как воск, лицо. Если бы не огромные, черные глаза, с немым укором устремленные вверх – его можно было бы принять за мумию. Рядом с носилками шла женщина в бурнусе и платке, ведя за руку

крошечного гимназиста и, всхлипывая, причитала на жаргоне. Зон проводил взглядом этот своеобразный кортеж и тяжело вздохнул.

– Гряди, бедный Агасфер, – пробормотал он, – гряди… Только, когда после третьего звонка я его торопливо обнял в последний раз, он встрепенулся и сказал: – что делать, друг, надо терпеть…

Не долго, однако, вынес старый мечтатель. Месяца через три я получил от него письмо из Энска, в котором он сообщал, что болен и просил, если возможно, навестить его. Подавленный тон письма и в особенности почерк – неровный, небрежный, до такой степени не похожий на каллиграфический почерк Бориса Моисеича – меня поразили. Я устроил свои дела и отправился в путь. В первые минуты нашего свидания я не заметил в Зоне никакой особенной перемены. Он очень мне обрадовался, оживился, угощал меня обедом, чаем, не знал, куда посадить.

Жил он в маленькой грязноватой гостинице. Комната его была низенькая, темная; с потолка, тихо покачиваясь, висела широкая паутина. Меня удивило, что в углу чемоданы и сундук стояли перевязанные веревками. Я внимательно оглядел Бориса Моисеича. Он сидел насупившись над своим стаканом. Сюртук на нем был помят, сапоги не вычищены. Мне, знавшему его щепетильную аккуратность это показалось странным.

– Что это у вас вещи связаны? – спросил я. – Неужели до сих пор не разобрались?..

– Да ведь неизвестно, – ответил он робко, – может быть придется уехать отсюда…

– Вы думаете снять квартиру?

Он пугливо обернулся.

– Нет, какая уж квартира… и, нагнувшись ко мне, прошептал:

– Представь, ведь я встретил его… ласкового чиновника. Он мне сказал: – Как ты еще здесь! Прими караимство, дружок, или чтобы в 24 часа духу твоего здесь не было… Я похолодел от ужаса и, взяв его руку, крепко сжал.

– Борис Моисеич, ведь это галлюцинации. Зачем вы себя до этого допускаете?..

Он растерянно улыбнулся.

– Конечно, конечно… это вздор… я пошутил, – пробормотал он, краснея, и тряхнул головою, точно желал отогнать назойливую мысль. – Хотя в сущности идея о караимстве не так уж глупа…

Я засмеялся.

– Уж если идти на компромиссы, то зачем караимство? Можно устроиться легче и проще.

После чая я прилег на диван. Он присел ко мне и стал расспрашивать о моих делах, об общих знакомых – не слышно ли чего нового.

Между прочим, он спросил о Лидмане.

– Он процветает, – ответил я. – Представьте, я был у него недавно. Я ведь писал вам, что доктор Керн умер от тифа. Ну, похоронили его, а там обыкновенная история: семью “в черту”. Срок дали милостивый – месяц. Средств к существованию, как пишут в газетах – “никаких”. Стали собирать. Я поехал к Лидману, он ведь был товарищем Керна по университету. Рассказываю ему что и как. Он выслушал меня очень внимательно, даже почтительно и процедил: – очень грустно, очень грустно… Но что же я то, собственно, могу сделать? Вы, конечно, знаете, что я больше не принадлежу к еврейству. Керна я знал мало – мы разных факультетов… Но, разумеется, я буду счастлив, если моя лепта…и он сунул руку в боковой карман. Я, конечно, его “лепты” не взял. Но каков гусь!..

Зон слушал с напряженным вниманием. Я давно кончил, а он все молчал.

– Да, – промолвил он – наконец, весь ужас положения именно в этой деморализации, в этом цинизме… Людей нет. Мелкота… ни ума, ни образования, ни таланта – одни вожделения, и те мизерные. 30 лет назад лапотник прокладывал через дремучий бор железную дорогу и обращался в барина. В этом был творческий полет мысли. А теперь! Вчера – ученый муж, сегодня – редактор продажной газеты, завтра – пламенный защитник католицизма, послезавтра – биржевой заяц и, наконец, – международный шпион.

Он встал, прошелся по комнате, потом опять сел и запустил руки в свои седые волосы.

– Знаешь, я боюсь с ума сойти. Я не могу жить без веры в красоту человеческого духа, а кругом все рушится, все рушится…

– Ну, Борис Моисеич, если уж вы труса празднуете, то что же нам, пессимистам, остается делать?

Он помигал глазами.

– Укатали, брат, сивку крутые горки, – промолвил он, и вдруг умиленным голосом прибавил: – а помнишь Бибочку? Как она была хороша! Если ты когда-нибудь ее встретишь, скажи ей, что она была единственная женщина, которую я любил. Я благодарен ей за это чувство, и никогда на нее не сердился. Это тебе мое завещание, – сказал он шутливо.

– Разве вы собираетесь умирать?

– Может быть, – ответил он, загадочно усмехаясь.

– Борис Моисеич, – начал я строго, – вы больны, вам надо

лечиться. И прежде всего вон из этого гнезда! Поезжайте за границу.

– Ладно, ладно, друг. Обо всем этом мы еще потолкуем. А теперь – на покой. Я устал, да и тебе надо отдохнуть.

Он отвел меня в мой номер, и мы расстались.

Утомленный с дороги, я крепко заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но вдруг почувствовал, что упал в бездну. Я с усилием раскрыл глаза. Кругом было темно и тихо. Я лежал по-прежнему на кровати и скоро опять заснул. Я поднялся едва рассвело, оделся и пошел к Зону. Дверь его была заперта. Это меня почему-то удивило. Я постучался. Ответа не последовало. Должно быть, еще спит, подумал я и, не желая его будить, пошел бродить по городу…

Около бульвара, в конце площади появилась женщина в платке и безобразной рыжей накладке, которая закрывала ей половину лба и ушей, и стала раскладывать на лоток бублики. Я купил у нее несколько штук и побрел назад в гостиницу. Меня не покидало смутное чувство беспокойства.

Комната Бориса Моисеича была по-прежнему заперта, и на мое громкое приглашение проснуться – он не отозвался. Я был уже настолько встревожен, что позвал коридорного. Тот ударил кулаком в дверь и крикнул:

– Сударь! Отопритесь!

Ответа не последовало.

Пришел хозяин, незаметно выползли из своих номеров другие жильцы… Явился полицейский чин. Дверь взломали. В кресле, совершенно одетый и закинув назад седую голову, Борис Моисеич спал непробудным сном. Одна рука лежала на груди, другая была опущена вниз… На ковре у ног блестел небольшой револьвер. На правом виске чернела маленькая ранка, крови почти не было.

Открытая записка и большой запечатанный конверт на мое имя лежал на столе. В записке стояли казенные слова: “в смерти моей прошу никого не винить” и распоряжение относительно вещей и денег.

Мне он писал следующее:

Милый друг мой,

Прежде всего, прости, что я так бесцеремонно взваливаю на тебя возню с мертвым телом, но мне было бы слишком тяжело исчезнуть, не повидавши тебя, с которым связано столько воспоминаний моей жизни. Мне хотелось в твоем лице проститься со всем тем, что я любил. Почему я ухожу? Отвечу на это по чистой совести: я боюсь впасть в отчаяние.

Ты знаешь, что у меня не было личной жизни в

общепринятом смысле, т. е. жены и детей, этого приюта, куда укрывается человек в непогоду. Было время, когда я об этом жалел, но теперь не жалею. Я был бы еще несчастнее, если бы в страхе за собственные деревья, принудил себя не видеть, что за ними падает лес. Я верил и верю, что свет прогонит мрак, но я не герой, не философ, не артист, словом, – не избранник, который может уйти от толпы в свой особенный мир. Я средний человек, аноним, а главное, я стар и болен. Пытки могут вырвать у меня стон, хулу, отречение от того, что я считаю правдой, и я решил спасти себя от этого позора. Наши общие друзья считают меня фанатиком еврейства. Это заблуждение. Я смотрю на евреев, как бессознательных борцов за свободу духа – и никто, быть может, так пламенно, как я не мечтает о том дне, когда исчезнет самое слово – еврей. Это будет, когда человек скажет человеку: “брат мой, молись, как душа твоя жаждет”. И в этот благословенный день измученный Агасфер положит свой тяжелый посох. Прошу тебя и всех, кого я любил, – не карайте меня за то, что я выбываю из строя. Вы молоды, сильны, для вас будет сиять солнце XX-го века… Будьте же бодры! Идите вперед. А что теперь жутко, – так что же с этим делать! Вспомните наш бедный северный сад в осеннюю слякоть. Дождь затопил дорожки, холодный ветер побил цветы, по желтым листьям ручьем бегут слезы, лилии поникли головками и розы побледнели в предсмертной тоске… Кажется все, все погибло. И вдруг из-под кучи размытого песку и черной земли, на которой, словно кровь, алеют лепестки мака, выглянет каким-то чудом уцелевшая маленькая, свежая маргаритка и шепнет: “не грусти – весна придет, весна придет”… А меня не жалейте: пусть мертвецы хоронят мертвых…

Устроились
Очерки из жизни незаметных людей

Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.

Пушкин

…Обед приходил к концу. Игнатий Львович Дымкин, упитанный, рослый блондин с лысиной, круглым бритым лицом и слегка выпученными глазами, угощал своего университетского товарища и закадычного друга, доктора Воробейчика, который из далекой провинции приехал в Москву на Пироговский съезд. Приятели не виделись лет двенадцать и теперь, несмотря на обоюдное желание, никак не могли взять настоящий “тон”.

Хозяин был радушен, ласков, даже слишком ласков, точно извинялся: – я, мол, хоть и столичная знаменитость, но посмотри, как мил и прост. Гость чувствовал “генеральское благоволение” и ежился. Особенно смущала его хозяйка, очень нарядная дама в модном платье с рукавами в виде раздутых парусов. На вид ей было лет сорок пять. Маленькая, косоглазая, толстая, с широким, плоским лицом, черными и курчавыми, как у негра, волосами – она, казалось, вот-вот задохнется от туго стиснутого корсета. Говорила м-м Дымкина тоненьким голоском в нос и поминутно бросала на мужа кокетливые, нежные взоры. С гостем она была автоматически любезна: скучно ли в провинции, много ли он нашел в Москве перемен, и очень удивилась, узнав, что он никогда не был за границей.

– А мы с Джоном каждый год ездим, – сообщила она. – Прошлое лето он работал в Лондоне, а позапрошлое – в Вене. Я всегда с ним. Он без меня тоскует, и я не решаюсь отпускать его одного. Помните, милостивый государь, как вы вздумали укатить в Париж *самостоятельно* (она лукаво подмигнула мужу)… И поплатился за свою храбрость, захворал… А вы, доктор, такой же хороший семьянин, как мой Джон?

– Об этом нужно спросить мою жену, – отозвался Воробейник, и его сумрачное худое лицо с тонкими острыми чертами осветилось едкой усмешкой. Он пытливо взглянул на приятеля и с удивлением заметил, что у него был какой-то пристыженный вид. “Эге, голубчик, трусишь” – не без злорадства подумал Воробейник.

Подали шампанское. Хозяин постучал ножом о свой бокал и

встал.

– Этот съезд, – начал он, торжественно простирая левую руку к огромному дубовому буфету, – этот съезд в память гениального учителя… вокруг его имени… великое дело. Здесь не место говорить о научных трудах, которые… которыми так блестят заседания съезда, но, господа (Игнатий Львович задумчиво посмотрел на потолок), – есть и другая сторона вопроса, сторона интимная, но не менее важная! Друзья, которых беспощадная действительность толкнула на разные тропинки усеянного терниями жизненного пути, друзья, которые не видались десятки лет, опять сошлись, опять увидались, вспомнили свою alma mater. Тут Игнатий Львович остановился. Видно было, что он хочет сказать еще что-то, но наплыв чувств мешает ему продолжать. Он тяжело вздохнул, чокнулся с приятелем, любезно поклонился жене и с достоинством осушил свой бокал.

Воробейчик тоже встал.

– Я, брат, не мастер говорить, – произнес он суховатым тенором, – а потому, позволь попросту: здоровье твоей жене… твое. Спасибо за гостеприимство.

После обеда мужчины перешли в кабинет пить кофе. Игнатий Львович нарочно провел Воробейчика через гостиную, которую тот еще не видал. Чего только не было в этой гостиной! Веера, картины, майолики, лампы под зонтиками, статуэтки, фарфоровые уродцы, китайские вазы, японские ширмочки, подушки на полу, подушки на диванах, низенькие кресла, медвежьи шкуры, столики, этажерки, альбомы… Вся эта благодать была расставлена по моде, то есть так, что шагу нельзя было ступить, не зацепив за что-нибудь.

– Это базар жены, – небрежно проронил Игнатий Львович, довольный произведенным впечатлением. – Пойдем ко мне, там уютнее, – и он ввел гостя в большую комнату, всю заставленную книжными полками, тяжелой, обитой темным сафьяном, мебелью, электрическими машинами, рефлекторами. Средину кабинета занимал огромный письменный стол с внушительной бронзовой чернильницей, микроскопом и целой кипой бумаг. Со стен смотрели портреты европейских знаменитостей с более или менее подлинными автографами. Гипсовый бюст Пирогова белел с высоты библиотечного шкапа, а в углу, как раз насупротив того кресла, на котором Игнатий Львович принимал пациентов (Игнатий Львович был гинеколог), красовался на мольберте поясной портрет Сканцони, с протянутыми вперед руками, как бы благословляющими доктора Дымкина на служение страждущему человечеству. Воробейчик был уничтожен этим великолепием. Он закашлялся, заморгал глазами, и на душе у него заныло – не то,

чтобы от зависти, а от какого-то неопределенного печального чувства.

– Н-да, – пробормотал он, – это уж того… стиль… – и, немного оправившись, прибавил: – Ну, а “инквизиция” у тебя где? Ведь мы в захолустьи венскими стульями обходимся, а у тебя, небось, целые сооружения.

– Как же, – с усмешкой сказал Дымкин, – самые патентованные, из Лондона привез, – и, отдернув бархатную портьеру, показал рукой на узкую, длинную комнату, где стояло кресло на винтах, с подножками и подушками, трюмо и белоснежный мраморный умывальник.

– Удобно! – похвалил Воробейчик. – Я всегда говорил, что ты парень с головой. Эти ковры, портьеры, бронзы да журналы на разных языках… ох, как это действует на больных! У тебя как – такса? – спросил он и в чуть заметной вибрации его голоса прозвучала ирония, – та ирония, которою неудачник утоляет горечь сердца, в которой слышится и сознание собственного превосходства, и легкое презрение к баловню “слепой фортуны”.

Дымкин обиделся.

– Как ты мог думать! – возразил он. – Такса!.. И потом, душа моя, это штука обоюдоострая. Объявился тут у нас, было, один молодчик из “ранних” и вздумал вывесить в приемной записку: “консультация от 10 до 15 рублей”. А какая-то не в меру остроумная больная и припиши карандашом: “это pri-fixe[216], или можно торговаться”? И наделала, братец мой, эта фраза такого шуму, точно ее выпалил Бисмарк, а не шальная бабенка. Совсем извели человека. Другой не от 10 до 15, а прямо сто целковых за “погляденье” хапает, да еще юродствует: стой перед ним на манер идола… И ничего – стоят!.. Во всем нужно счастье… А что до меня, то я никогда и не взгляну – положила что-нибудь больная или нет.

– Одно слово – бессребреник, – расхохотался Воробейчик, хлопнув приятеля по плечу: – за простоту твою и посылает тебе Господь.

– Все такой же, – добродушно заметил Игнатий Львович: – вечно острит и язвит, словно все перед ним виноваты. Ты даже и по внешности не особенно изменился, – продолжал он, обводя долгим взглядом небольшую фигуру товарища, его взъерошенную голову, его красивое смуглое лицо с пронзительными изжелта-карими глазками и резкой линией рта. – Только, вот, бороду ты отпустил напрасно.

– Пациенткам нравится, – сказал Воробейчик, поглаживая жиденькую рыжеватую бородку. – За недостатком других прерогатив…

– Полно тебе дурачиться, – прервал Игнатий Львович. – Лучше расскажи о себе. Ведь ты как в воду канул. Двенадцать лет ни слуху, ни духу. Усаживайся-ка на диван, бери свое кофе и начинай. Тебе что: папиросу или сигару?

– Давай папиросу. Спасибо. Только (Воробейчик отхлебнул несколько глотков из чашки) ты уж меня извини, мне решительно не о чем повествовать. Науки я не двигаю, капиталов не наживаю и с голоду не плачу. Другое дело – ты. Тебе есть чем похвалиться. Ergo[217], я вешаю свои уши на гвоздь внимания. В дверь постучались, и вслед за этим в кабинет вошла хозяйка, шурша светлым шелковым платьем, вся в оборках, кружевах и бриллиантах. На ее широком, плоском лице и жирной апоплексической шее, обвитой двойной ниткой жемчуга, лежал толстый слой пудры. В курчавых, высоко подобранных на макушке и тщательно растрепанных на лбу, волосах, колыхалось красное страусовое перо, приколотое золотыми шпильками.

– Джон, – зашепелявила она, – я распорядилась, чтобы вам подали холодный ужин. Ты только позвони. Пожалуйста, доктор, вы только напомните ему, он так рассеян! Поверите, когда он увлечется, он совсем забывает, что человеку нужно пить и есть. Ах, что бы с ним было, если б не я!.. – воскликнула мадам Дымкина, улыбаясь и обнажая редкие желтые зубы. – А я уезжаю, – продолжала она: – сегодня у моих родственников вечер по случаю помолвки дочери. Блестящая партия, невеста богата, красавица, воспитывалась за границей… Жених – юрист, но теперь ведь это не имеет значения, и она, конечно, никогда бы за него не пошла, если б он не был единственным сыном богатых родителей. Тетя будет недовольна, что Джон не приехал, но я постараюсь это загладить. Парадный бал еще впереди.

– Ты, пожалуйста, не стесняйся, Игнатий, – начал Воробейчик и поднялся.

– Вздор, сиди, – возразил хозяин: – я бы и так не поехал. У этих милых родственников тоска смертная.

Жена нахмурилась.

– Это, однако, не мешает тебе с ними играть в винт до утра, – заметила она колко.

– Поневоле будешь играть, когда там не с кем по-человечески слова сказать.

– Очень тебе благодарна, что ты так рекомендуешь мою семью. Не понимаю, почему ты сегодня такой сердитый. До свидания, доктор. Джон, я уезжаю, хочешь помириться? – произнесла она тоном водевильной ingenue[218] и поднесла ручки к устам супруга. Тот поцеловал, и она, нежно улыбаясь, вышла из комнаты, распространяя за собой приторный запах Peau d’Espagne

(испанской кожи).

Некоторое время приятели сидели молча. У хозяина был сконфуженный вид; его холеное, цветущее лицо как-то сразу вытянулось и потускнело. Воробейчик попыхивал папиросой и немилосердно теребил свою тощую бородку. Вдруг произошло нечто неожиданное. Игнатий Львович вскочил с дивана и, подойдя вплотную к Воробейчику, положил ему на плечи свои сильные руки. Тот с изумлением поднял на него взоры.

– Слушай, – заговорил Дымкин: – я тебе тут расписывал свою удачу, свое довольство, свое умение… Ну, так знай! Все это хвастовство, ломанье, ложь!.. Эти ковры, мягкие диваны, шелки и бархаты, которым ты позавидовал – не отрицай: позавидовал – я заметил! – это куплено такой ценой, что если бы не человеческая трусость и подлость, я бы сегодня же плюнул на весь этот “стиль” и пошел камни разбивать на улице. И теперь вру!.. Не пошел бы… Вид ел ты эту толстую бабищу, которая называет меня “Джон” (он с яростью передразнил голос жены)? Она купила меня себе в законные мужья, повезла за границу, сделала из меня “ученого” и сразу поставила на ноги, что в нынешнее развратное время считается ведь верхом благополучия. Я ей кругом обязан и даже жаловаться не могу: она бережет меня и лелеет, как свою вещь, и хотя я давно с избытком вернул ей все, что она затратила на мою персону – она считает меня своим неоплатным должником. Стоит только, чтобы ей показалось, что я не в достаточном восторге от своего ярма, как она преспокойно – кричать и вообще “расстраиваться” она не любит – напоминает мне, что без нее, при всех моих способностях, я был бы ничтожным лекаришкой. Она на десять лет старше меня и требует, – при такой-то физиономии, – чтобы я был не только влюбленным, но и ревнивым мужем. Эгоистка страшная. Например, я умолял ее взять на воспитание ребенка – хоть бы одно чистое создание было в доме (в прошлом году здесь умерла несчастная женщина, моя пациентка, и оставила сиротку – хорошенькую, как ангел, лет трех). Ни за что! “Разве тебе мало меня? – говорит: – я для тебя жена и ребенок”… Каково?!.. – Ты меня давно знаешь, я мягкий человек и со мной можно ладить. Но иногда, поверишь ли, я просто… желаю ей смерти… Сам себя упрекаю, стыжу и мечтаю, как мальчишка, мечтаю об освобождении… Нет, голубчик, хоть я и не знаю в какой дыре ты прозябаешь, но в сравнении со мной – ты во всяком случае счастливец.

Воробейчик улыбнулся и, заложив руки за спину, принялся шагать взад и вперед по комнате. – Вот оно что! – произнес он с расстановкой. – Правда, видно, что “в самой сочной груше скрыт червяк”. И разыграли мы с тобой, друг единственный,

Щедринских мальчиков! – Ну, скажи откровенно, за сколько ты “свою душу продал”?

– За пятьдесят тысяч… И деньги-то плевые! – с горечью воскликнул Дымкин. – Это не то, что какая-нибудь московская купчиха, которая за свой каприз миллионы платит.

– Та-ак, – протянул Воробейчик. – Ну, а я свою даром отдал… и не по благородству, а просто надули… – И это бы не беда, – прибавил он: – а беда в том, что мы, евреи, ужасно бестолковый, легкомысленный народ, и только дураки могут верить в наш ум и нашу практичность. – Вот хоть меня взять!.. Но лучше я тебе расскажу по порядку. Если б ты в самом деле был “сокол”, как мне показалось, – я бы не стал перед тобой изливаться. Но теперь, когда я знаю, что ты такой же общипанный гусь как я, отчего же не поделиться с другом сердца…

Надо тебе сказать, – медленно начал Воробейчик, не переставая ходить по комнате, – что после университета я мыкался лет пять с места на место. За отсутствием других блестящих качеств, я несомненно обладаю одним – никогда не был дураком и на собственный счет не обманывался. Это вовсе не значит, чтобы я был какого-нибудь уж особенно низменного мнения о своей особе. Зачем же! Такое смирение ведь паче гордости. Но я отлично знал, что я хоть и не дурной лекарь, и смекалкой меня Бог не обидел. Но то – что называется: человек серый. К тому же рост, фигура, “маска” (он провел рукой по лицу) … все это имеет значение не только на театральной, но и на житейской сцене, словом, о карьере вольнопрактикующего столичного врача и помышлять мне нечего. Это я решил сразу. А пропадать с голоду в “центре” только потому, что постом там поет Мазини… для этого нужно быть исключительным меломаном… Конечно, если бы в моем дипломе рядом с именем Семен не стояло в скобках: “Симхе” – разговор был бы иной. Были бы мы и прозекторами, и бактериологами, и порядочными клиницистами – не боги ведь горшки обжигают… – Ну да что об этом толковать– дело известное… Впрочем, законопатить себя сразу где-нибудь в Шавлях у меня все же не хватило духу, и несколько месяцев я проваландался в меланхолических надеждах: авось мол… вдруг… чудо. В это время умер мой отец. Имущество после него мне досталось только движимое: мать, сестра и брат. Самое еврейское наследство. Долго тут рассуждать не приходилось. Устремился я в грады и веси, попросту стал пытать счастье в Мозыре, Слуцке, Пинске, в чаянии, что меня поддержат единоверцы – и совершенно напрасно. Промаялся я этаким манером годика четыре, пока судьба не бросила меня в Загнанск. И тут мне повезло… то есть, работая с утра до ночи, я могу жить,

посылать матери и даже недавно выдал замуж сестру. (Брат уехал в Америку). Долго описывать Загнанск не стоит. Город такой же, как и все уездные города. Водится там и общественный сад, и каменная тюрьма, и речка Гнилушка, с которой, конечно, открывается самый живописный вид, и знаменитый монастырь, и прогимназия, и банк, из которого кассир утащил шестьсот рублей, и даже корреспондент. Население состоит из поляков, нищих евреев и русских чиновников. "Цвет общества" представляют офицеры квартирующих там полков. Но, вообще говоря, все элементы живут врозь. Поляки высокомерно держатся в стороне от "кацапов", и все вместе презирают евреев, только поляки – ласково, а русские грубо. Я попал туда во время холерной эпидемии. Тут уж не до кастовых перегородок. Ничто ведь так не сливает воедино панскую кровь с "холопской", как страх и безденежье. Недаром говорится: кеды беда, то до жида. Очутился я, понимаешь сразу везде и у всех, а когда гроза прошла, я был уж у всего города и на пятьдесят верст кругом у помещиков – своим человеком. Русские находили, что я нисколько "не похож"; полякам было приятно, что я все-таки "жид", а евреям импонировало, что я говорю по-русски как "полковник". Так я и застрял в оном Загнанске. Квартиру я нанял у часовщика-еврея, три комнаты за десять рублей в месяц. Часовщик – его звали Вольф – был вдовец и жил вдвоем с дочерью, Диной, которая вела его несложное хозяйство. Когда я у них поселился, Дине было лет восемнадцать. Дикарка она была ужасная, однако прехорошенькая. Настоящая роза Сарона… высокая, стройная как пальма, с янтарной кожей и профилем камеи; над низким лбом целый лес иссиня-черных волос, бархатные брови, тонкий с чуть-чуть заметной горбинкой нос, полузакрытые пушистыми ресницами черные глаза, длинные, влажные и покорные, пунцовые губки… Одним словом, картина. Глядишь, бывало, как она ходит по комнате, стряпает, раздувает самовар, причем ее розовые ноздри трепещут, как у породистой арабской лошадки, смотришь на ее проворные, смуглые, нервные руки, мелькающие по грубому холсту рубашки, и думаешь: "как это ты, красавица, вместо берегов Иордана попала в Загнанск, на берега речки Гнилушки"?..

– Да ты поэт, Воробейчик! – воскликнул Игнатий Львович, – вот не ожидал!

Воробейчик усиленно затянулся папиросой. – Дорого, брат, я за эту поэзию заплатил, – промолвил он. – слушай дальше. Это только присказка, сказка будет впереди. Ну-с, чтобы долго тебя не томить, скажу, что Дина скоро перестала меня дичиться, и мы с ней подружились. Она выучилась звать меня по имени отчеству:

Семен Михайлович, а не “пан-доктор”, как звала вначале. К тому же я лечил ее отца от различных недугов, и это нас еще больше сближало. Вольф был славный, тихий старик, глубоко убежденный, что все скорби Израиля есть только выражение самой нежной любви Всевышнего к своему избранному народу, что тот, кто потопил фараона, может поразить своей карающей десницей даже исправника, и твердо верил, что мессия придет… рано или поздно. В ожидании этого блаженного дня, он, однако, очень интересовался политикой, и, когда по вечерам читал газеты, с улыбкой говорил: “ну, пан доктор, расскажите нам тоже, что слышно на свете” (сам он хоть и разбирал русскую печать, но с трудом). И вот, представь, привязался я к этому старику и его милой девочке, как к родным. Едешь, бывало, верст за двадцать с практики и знаешь, что уж меня ждут, что Дина выбежала с фонарем на крыльцо, торопливо спросить: “проголодались, устали, озябли”? и сама снимет с меня пальто, принесет обед, заварит чай… Ни малейшего намека на ухаживанье или на роман не было в наших отношениях. Мне это, право, в голову не приходило, а она была слишком первобытна, да и смотрела на меня как на высшее, недосягаемое существо. В свободное время я учил ее грамоте. Читать и писать она выучилась изумительно быстро, и нужно было видеть, с каким восторгом, с каким благоговением эта взрослая девушка твердила грамматику, переписывала басни. Эта идиллия продолжалась около двух лет. Я чувствовал себя превосходно, много работал, в квартире у меня царил образцовый порядок… Я понемногу устраивался, купил по случаю кое-какую мебель, выписал несколько медицинских журналов, стал подумывать о докторском экзамене, завел фрак… Белье мое всегда вычинено, носки заштопаны, носовой платок на месте. Я знал, что об этом заботятся милые и проворные руки Дины, и находил это вполне естественным. Когда я выезжал в “свет”, то есть в дворянский клуб, или на бал в офицерское собрание, или на именинный пирог к пациенту-помещику, она же с приветливой улыбкой щебетала: “Посмотрите какая сорочка! я сама гладила, ни у какого магната не может быть лучше. Ну, веселитесь хорошенько”. – Я смеялся и на другой день рассказывал ей, что и как там было, с кем я танцевал, о чем разговаривал… – Не обходилось у меня, конечно, без нескольких легких интрижек с уездными дамами, которые, к слову сказать, ох, какие мастерицы концы прятать. Но этими победами я перед Диной не хвастался. От этой простой, необразованной девушки веяло такой целомудренной чистотой, что не только вольное слово, но даже и вольная мысль в ее присутствии показалась бы мне несообразностью.

– Говоря попросту, ты втюрился как болван в эту золушку, – прервал Игнатий Львович.

– То-то и есть, что нет. Можешь себе представить, что я не видел в ней женщину… то есть, такую, в которую можно влюбиться, на которой можно женится. А почему?.. Потому что не умела коверкать французские слова (как будто я сам в этом что-то смыслю!), не знала, что такое физика и педагогика (и на кой черт все это нужно?), не слыхала, что на свете есть симфонии и сонаты, хотя сама была воплощенная симфония. Словом, в ней не было ничего похожего на ту смесь обезьяны и попугая, которой имя: еврейская образованная барышня.

– Ну, милый друг, это ты уж того… через край… – запротестовал Дымкин: – есть прелестные…

– Конечно есть, знаю без тебя… да не про нашего брата они, настоящие-то прелестные. А провинциальные девицы, среднемещанского круга, пребывавшие в гимназии, с перетянутыми талиями, взбитыми на лбу гривками, в шляпах, длинных перчатках и пенсне… Это отрава, бич, чума!..

– Насолила тебе, должно быть, здорово подобная девица, – заметил Дымкин.

– Еще бы не насолила, когда я сам, по собственной воле, женился на таком уроде

– Н-ну! как же это ты?! – воскликнул Игнатий Львович, у которого точно отлегло от сердца с той минуты, как он узнал, что и приятелю не посчастливилось.

– А так!.. – Воробейчик глубоко вздохнул. – От судьбы не уйдешь. Надо тебе сказать, – начал он после небольшого молчания, – что и в Загнанске блаженствует несколько “почтенных” еврейских семейств. Но я избегал там бывать, ибо тоска непреодолимая. Тон в этом аристократическом кругу всегда задавала одна из моих пациенток, м-м Цыпкина, вдова подрядчика, уже немолодая. Женщина она не глупая, читает русские и немецкие книжки, бывала за границей, т. е. ездила раза два в Карлсбад и, вообще, держит себя “дамой”. Вот эта-то госпожа и вздумала принять во мне участие. Однажды она мне говорит: – А вы, доктор, все у Вольфа квартируете? – Я даже удивился. – Конечно, говорю, а где же?.. Она скривила губы и спрашивает: – А что вам больше нравится – квартира или хозяева? Я засмеялся. – И то, и другое. Комнаты, говорю, у меня уютные, а хозяева – прекрасные, добрые люди, обращаются со мной как с родным. М-м Цыпкина пожала плечами.

– Может быть они и в самом деле мечтают породниться с вами! Что вы – плохой жених для дочери часовщика? Кого же еще надо? Губернатора?..

– Уверяю вас, что ни о чем подобном не думают.

– Ну, это позвольте вам не поверить. Я больше вас жила на свете и лучше знаю людей: этот Вольф – хитрая штука. Кстати, доктор, мне рассказывали, будто вы эту девушку выучили читать по-русски, и она теперь по целым дням читает романы. Правда это?

– Неправда, – возразил я: – не романы, а всеобщую историю и путешествия, и не по целым дням, а в свободное от хозяйства время.

– Но зачем вы ее учили?

– Затем, что это милое, чрезвычайно способное и доброе существо. Заниматься с такой ученицей – удовольствие. М-м

Цыпкина покачала своей длинной головой. – Гм… а вы не подумали, что это для нее несчастье? Я поглядел на нее с недоумением.

– Конечно… прежде она бы вышла замуж за длиннополого фактора и была бы довольна, а теперь она на такого и глядеть не захочет.

В этом была доля правды. Я вспомнил как решительно Дина отвергала всех женихов – и почувствовал смущение. М-м Цыпкина заметила это и повела на меня правильную атаку.

– Видите, доктор, я хочу вам добра. Вы – редкий молодой человек, вы должны жениться на девушке, которая вас достойна. У меня для вас есть невеста: красавица, замечательно образованная, музыкантша, скромная, из хорошей семьи. Ну и приданое приличное – десять тысяч – масло ведь каши никогда не портит. А? что вы на это скажете?

Я ответил, что до сих пор даже и не думал о женитьбе.

– Напрасно. Ведь не всегда вы будете молоды… Теперь с вами разные дамы кокетничают – о! я знаю вы интересный, интересный (это я-то!). Но пройдет, – говорит, – несколько лет, явятся морщины, болезни… кто тогда за вами будет ухаживать, а? В моей голове промелькнуло кроткое личико Дины, ее большие покорные глаза, нежная улыбка, но я сейчас же прогнал от себя этот образ, как нечто совершенно невозможное, почти неприличное, а сам говорю этой старой бестии: – Может быть вы и правы, но…для этого надо выждать случай.

– Зачем, доктор, когда человек ищет, то случай бежит ему на встречу.

Через несколько дней м-м Цыпкина за мной прислала. Я застал у нее гостя, с которым он меня тотчас же познакомила. Господин Кац был маленький юркий человечек с круто выдающимся вперед подбородком, на котором уморительно торчала вверх крохотная эспаньолка. Он был до того подвижен,

что положительно мелькал перед глазами. Услыхав мою фамилию, он сейчас же засыпал меня вопросами – не прихожусь ли я сродни целой сотни людей. О которых я не имел ни малейшего понятия. Это, впрочем, его нисколько не огорчило и он с легкостью резинового мячика перескочил на другой, третий, десятый предмет. Это был не человек, а воплощение perpetuum mobile[219]. О себе он говорил с упоением, страстью, пафосом, рассказывал о своем финансовом гении, о том как он уже десятилетним мальчиком, вместо того, чтобы сидеть в хедере, стал торговать спитым чаем, описывал свои путешествия и, между прочим, сообщил, что он только что из Туниса. – Как это вы туда попали? – изумился я. Он посмотрел на меня с некоторой обидой и высокомерно ответил: – Я туда попадаю каждый год. У меня дела в Тунисе, Алжире, Египте, Марокко…

– Чем же вы занимаетесь?

– Чем? – древностями, – ответил он отрывисто. Мне показалось, что он торгует старым платьем и, не понимая, к чему за этим ездить в Алжир, я переспросил его: какими древностями?

– Какими? Старый бронз, картины, оружие, фарфор, утварь, кружево, ткань, манускрипты, гравюры, вообще всякий “обжедар”[220], – проговорил он без запинки.

– И вы в этом что-нибудь понимаете?

Он расхохотался так, как будто я произнес величайшую глупость.

– Я! Понимаю?! Может быть, в Берлине, в Париже и в Лондоне вы найдете еще трех таких знатоков, как я, но в России – могу с вами пари держать, что нет, покажите мне какую хотите картину, и я вам сейчас скажу: первое (он загнул один палец) – школа: голландская, испанская, итальянская, французская, немецкая… Эпоха (он загнул второй палец): ренессанс, или перед-Рафаэль, или вовсе режанс[221]. Меня не надуешь.

– Что же вы учились этому?

– Нет… от себя.

– Но послушайте, это невозможно.

– Почему? Когда Бог даст человеку талант, то он без ученья сделает больше, чем двадцать болванов с ученьем. Вы не подумайте, господин доктор, что я не уважаю науку. Сохрани Бог!.. У меня семь человек детей, и все они первые ученики. И что за головы! Министры!.. Я не потому говорю, что я отец, я знаю, что смешно хвалить своих детей, но спросите м-м Цыпкину – много, например, она знает таких барышень, как моя Изабелла? М-м Цыпкина даже вздохнула.

– Редкая девушка! – произнесла она с восторгом. – Господин Кац – счастливый отец.

– Ну! – воскликнул с торжествующей улыбкой антикварий.

– Что вам сказать об образовании моей Изабеллы? По-французски – свободно, мюзик-клявир – что-нибудь особенность… Учителя мне говорили: “господин Кац, мы не можем учить вашу дочь, она умнее нас”. Позвольте, я вам покажу своих детей. Я вам говорю – стоит посмотреть. Он достал из бокового кармана бумажник и принялся оттуда выкладывать одну за другой карточки своих птенцов. И лицо его при этом сияло такою гордостью, таким счастьем, он так искренно хвастал, что, несмотря на весь комизм, он был трогателен.

Через месяц m-lle Изабелла Кац приехала “погостить” к м-м Цыпкиной. Это была маленькая, рыжеватая блондиночка, с пикантным, хотя и птичьим личиком, плоской, как у мальчика, грудью, узкими плечиками и воздушной талией. Единственно, что в ней было действительно красиво – это великолепный цвет лица ослепительной белизны, с румянцем во всю щеку. Манерами и бойкостью она напоминала отца, правда, в несколько смягченном виде. Говорила m-lle Изабелла решительно обо всем с необыкновенным апломбом, быстро-быстро, точно в ее голове бегал испуганный кролик, и с такой жестикуляцией, что, когда входила в экстаз, непременно, бывало, или заденет что-нибудь, либо уронит… Сама она, очевидно, считала эту живость одной из главных своих прелестей, и любила повторять, что у нее “огненная натура”. – Но это не значит, что я не умею глубоко чувствовать, – прибавляла она, и в доказательство садилась за кислое фортепиано м-м Цыпкиной, закатывала глаза и начинала выстукивать “мандолинату” или “Priere (Tune vierge”. Она очень любила беседовать, т. е. не беседовать, потому что она никому не давала слова сказать, – а рассуждения на темы о семейной жизни, любви и т. п. Устремить вдаль томный взор и зачастить: – Не понимаю той женщины, которая не стремится достигнуть духовного развития мужа (m-lle Кац выражалась высоким слогом). Представьте, что муж, интеллигентный человек, принужден жить в глуши. Если он не может делиться мыслями даже с женой, потому что эта женщина ниже его (странное дело! когда она произносила слова “эта женщина”, мне всегда казалось, что она намекает на мою бедную Дину), что же станется с нравственною личностью такого человека? – строго вопрошала m-lle Изабелла, и без малейшего колебания отвечала: – Он немного отупеет!.. – Ну, скажи ты мне на милость, Дымкин, ведь не трудно, кажется, раскусить, что все это пустые фразы, жалкие слова, давно избитые общие места… А я слушал как дурак, и когда приходил домой, и Дина с робкой улыбкой прислуживала мне, я глядел на нее как на низшее существо, хотя там где-то, на дне души, внутренний голос

шептал мне: берегись, ты лезешь в яму… Однажды я сказал Дине: – Знаете, Дина, я хочу жениться. – Она побледнела, глаза ее вспыхнули как молния, но она сейчас же потупилась и тихо спросила: – На ком? – *Тут… я* познакомился с одной очень образованной барышней… – Дина молчала, и только рука ее, резавшая хлеб, бессильно опустилась на стол вместе с ножом.

– Ну что же… вы в нее влюблены? – выговорила она запинаясь и не поднимая глаз

– Не то, чтобы влюблен, – говорю, – а в этом роде…

– Ну а деньги у нее есть?

– Не большие, но все-таки не придется дрожать из-за куска хлеба. Для нас, горемычных, ведь и это счастье. Густые черные ресницы Дины дрогнули, она глянула на меня исподлобья, прошептала побелевшими губами: – Дай вам Бог счастья, господин доктор! – и вышла из комнаты своей легкой неслышной поступью.

И я не побежал за ней, не упал к ее ногам, не согрел поцелуями ее бледные, дрожащие руки… Нет. Я надел красный галстук и пошел к м-м Цыпкиной слушать, как m-lle Кац играет мандолинату и соображать с ней вместе, что Гоголь “хотел сказать” своими “Мертвыми душами”. Через месяц я был счастливым женихом этой необыкновенной девицы, и, по настоянию моего доброго гения м-м Цыпкиной, занял под вексель четыреста рублей, чтобы купить невесте бриллиантовые сережки. Таким же путем я добыл еще тысячу рублей для “обстановки”, ибо нельзя же девушку, которая привыкла и т. д., поселить в “сарае”.

– И чего вы беспокоитесь? – возражала на мои колебания м-м Цыпкина. – Слово господина Каца – золото. Приданое Изабеллы вам будет вручено в день свадьбы.

Но в этот высокоторжественный день в доме стоял такой гвалт, а тесть мой был так взволнован и так громко оплакивал свое дитя, свою гордость, свое сокровище, что только закоренелый злодей мог бы в подобные минуты говорить с несчастным отцом о мирской суете. Я не закоренелый злодей, и молчал. Потом он мне сообщил, что у него временное затруднение в делах, – но это-де совершенный пустяк, деньги все равно, что у меня в кармане, и я могу спать спокойно. Под такими ауспициями[222] я начал свою семейную жизнь. Чтобы быть справедливым, я должен сказать, что в первые два месяца нашего супружества жена моя выражала ко мне самую пылкую любовь, не желала расставаться со мной ни на одну минуту, душила меня в объятиях, плакала, когда я уезжал на практику. Но как только прошел медовый угар дозволенной страсти, она показала себя во

всей красе.

Первая сцена у нас вышла из-за обеда. Я приехал из деревни прозябший и голодный как волк. Оказалось, что обеда нет, ибо хозяйка поссорилась с кухаркой и выгнала ее немедленно.

– Не могу же я выносить грубости от какой-то мужички!

– Конечно, моя милая. Но в таком *случае* ты должна бы сама что-нибудь приготовить.

– Извини, но я не училась стряпать. Если вы желали иметь жену кухарку, вам следовало жениться на вашей хозяйке: она, кажется, вас отлично кормила.

– Она все делала чудесно – ответил я, – и вы могли бы многому у нее поучиться.

Этого она никак не ожидала, и, чтоб приучить меня к дисциплине, устроила такую истерику, что хоть бы настоящей барыне так и то впору! – только она ошиблась на мой счет. Я понял, что стоит мне уступить раз – я пропал, и поэтому, несмотря на вопли, рыданья, конвульсии, безумный смех, ломанье рук и рванье одежд – до батистовой сорочки включительно – с места не двинулся.

Конечно, если б я любил эту женщину, я бы не устоял, знай я сто раз, что все это штуки. Но пока я глядел, как она корчится с глаз моих точно пелена сползала. Я понял все… и то, что я никогда ее не любил, и то, что я любил другую, ту чистую, прекрасную девушку, которую так безжалостно оттолкнул, так грубо оскорбил. Я испугался всего, что наделал в своем ослеплении, и мысленно стал давать себе клятвы не видаться с Диной, быть добрым мужем своей жене. Но что значат наши благие намерения! Захворал старый часовщик, мне пришлось навещать его каждый день, и опять, как в былое время, я проводил целые часы с Диной. Она похудела. Скорбь наложила свою одухотворяющую печать на ее прекрасное лицо, но эта простая девушка умела нести горе. Она ухаживала за больным отцом, заменяла его в лавке, управлялась по хозяйству. Меня она встречала и провожала благодарной улыбкой, но никогда не упоминала о моей жене. Так протянулась вся зима, а весной старый Вольф умер. Хотя я и приготовил Дину к возможности рокового исхода, но удар был слишком жесток. Я никак не ожидал именно от нее, всегда спокойной и сдержанной, такого взрыва отчаяния. Она билась над телом отца, как раненая птица, и с ненавистью отталкивала всех, кто к ней приближался. Потом она как-то неестественно скоро затихла и вскоре после похорон сдала в наймы свой домик, а сама уехала в Киев. Со мной она простилась очень холодно, но по прошествии некоторого времени я получил от нее письмо, в котором она меня извещала, что

поступила в модную мастерскую и надеется года через два изучить это дело основательно. Через два с чем-то года Дина вернулась в Загнанск, все такая же красавица, но в значительно цивилизованном виде. Она поселилась опять в своем домике, открыла магазин и скоро так прославилась, что от заказчиц прямо отбою не было. М-м Дина положительно сделалась “особой” в Загнанске. А моя собственная жизнь, между тем, становилась все хуже и хуже. Будь Изабелла настоящей женщиной, а не карикатурой на светскую даму – наше дело еще могло бы наладиться. Но – не тут-то было. Она точно поставила себе задачей отравлять каждый миг нашего существования. Появившиеся дети (у нас два мальчика) еще более ее раздражили. Вечно не в *духе,* вечно ноющая, вечно в претензии на судьбу, грубая с прислугой, мелко самолюбивая, – она точит себя и других. Дома – беспорядок; дети капризные, оборванные, грязные; сама она или лежит по целым дням и читает дурацкие романы, или пойдет в гости к нашей благодетельнице, м-м Цыпкиной, и отводит душу, расписывая мое тиранство. Пробовал я ее ввести в русское общество. Ее самоуверенный тон, бойкость, находчивость возбудили вначале любопытство, но скоро ее перестали замечать. Она почувствовала, и, уязвленная в своем тщеславии, отказалась от выездов. С тех пор и поныне она пилит меня деревянной пилой. Я то и дело слышу: “муж, который не умеет заставить других уважать свою жену – ничтожество”. Большею частью я отмалчиваюсь. А иной раз огрызнешься. Муж, мол, тут не причем. Если женщину не уважают, стало быть, она не умеет вызвать к себе уважение; если она не нравится, стало быть, не интересна. После этого обмена мыслей наступает обыкновенно зловещее молчание и “дутье”, которое длится неделю, две, месяц! А то вдруг она явится ко мне в кабинет и сообщит, положим, что в клубе будет любительский спектакль.

– Ну и пускай его.

– Я желаю там быть.

– Сделай одолжение.

– Мне надоело одной сидеть в четырех стенах.

Я благоразумно воздерживаюсь от возражений.

– Ты слышишь, что я говорю?

– Слышу.

– Что же ты не отвечаешь?

– Не нахожу нужным.

– Так!., впрочем, мне все равно. Я хотела сказать, что мне надеть нечего.

Я пожимаю плечами и отвечаю:

– Закажи себе платье.

– Я не могу ходить в лохмотьях, – отвечает она, нарочно не слушая, что я сказал.

– Никто тебя не заставляет. Но чего ты желаешь от меня? Ведь я не портниха и сшить тебе платье не могу.

– В доме моего отца прислуга была лучше одета, – продолжает она прикидываясь глухой.

Я начинаю терять терпение, и ядовито замечаю, что по тем средствам, которые дал ей ее папаша, она одета еще очень прилично. Она, конечно, только этого и добивалась. Наступает полное безобразие. Женщина исчезает окончательно, остается разъяренная фурия. Нужно полное самообладание, чтобы не броситься на эту нежную спутницу жизни и не разорвать ее в клочья. Я призываю на помощь последние воспоминания о порядочности, стискиваю зубы, чтобы не кричать и говорю: – Вы ведь видите, что я занят… Оставьте меня в покое. Я должен работать, чтобы кормить вас и детей.

Она пронзительно рыдает на весь дом: – Он меня гонит! Изверг! Злодей! я с тобой жить не хочу!.. Я убегу к родителям!.. Казалось бы после таких сцен людям должно быть стыдно глядеть в глаза друг другу. Как бы не так! Через час, через два, супруга влетает ко мне как ни в чем не бывало и лепечет: – Котик, ты сердишься? Сам обидел свою бедненькую жену и еще дуется. У-у! злюка – и она усаживается ко мне на колени, прижимается ко мне своей плоской, как доска, грудью, осыпает поцелуями, а я дрожу, словно в меня впилась лягушка; мне противно ее красное лицо, ее сухие губы, короткие пальцы с грязными ногтями… Я ненавижу ее дыхание, ненавижу ее всю с ног до головы. После этого я долго креплюсь, наконец не выдерживаю характера и бегу в старый домик, где ждет меня верное сердце, которое не помнит зла, которое все простило и страдает вместе со мной. Заслышав мои шаги, Дина выходит ко мне навстречу, стройная, как античная статуя, красивая, с плавными движениями, милым голосом. Ей ничего не надо говорить – она все понимает. Я это чувствую по тревоге, которая светится в ее чудных, покорных глазах, по той особенной ласке, с которой она ведет меня в свою светлую, уютную комнату, усаживает на кожаный диванчик, подает мне чай, папиросы. А я думаю, что она могла бы быть моей, что мы могли быть счастливы, и мне страстно хочется обнять этот гибкий стан, погладить эти блестящие черные волосы и целовать без конца это прелестное лицо библейской красавицы.

– Дина, вы меня любите? – спросил я ее как-то.

Она молча кивнула головой.

– И тогда любили?

– Всегда, – промолвила она тихо.

– Зачем же вы допустили меня жениться на другой?

Она с удивлением подняла на меня взор.

– Как же я могла… Я была вам не пара… бедная… необразованная…

– Дина, Дина… Зачем вы это говорите! Вы в миллион раз умнее и образованнее, чем целый лес таких ученых обезьян, как моя супруга.

Она тихо покачала головой. – Это вам теперь так кажется… потому что у вашей жены нехороший характер… А за меня вы бы стыдились перед светом.

– Никогда. Ведь вы умница и такая красавица, каких немного.

Она покраснела и отвернулась.

– Зачем вы это говорите?!.. Я простая еврейская девушка… работница.

Мои частые визиты к Дине не замедлили породить целую тучу сплетен. Инициатива в этом благородном деле принадлежала моей жене. Стоило мне собраться куда-нибудь, как она уже меня напутствует: – К любовнице спешите? Бегите скорей, опоздаете!..

Я решил избавить ни в чем неповинную девушку от новых страданий и, не откладывая дела в долгий ящик, отправился к ней в первый же праздник. В мастерской никого не было. Мне хотелось начать исподволь, я обдумывал целую речь, но когда я увидел Дину, я все забыл и сказал только:

– Знаете, Дина, вам бы лучше уехать отсюда.

Она вся так и затрепетала.

– Зачем?

– Да хоть бы затем, – говорю, – что здесь вы зарабатываете гроши, а с вашим искусством вы можете в любом городе магазин открыть.

Она недоверчиво посмотрела на меня и промолвила

– У вас не то на уме. Скажите правду. Верно что-нибудь случилось?

– Хорошо, милая Дина. Вы желаете знать правду? Будь по-вашему. Вам надо уехать, потому что в городе говорят, что вы – моя любовница. Я не могу помешать разным гадюкам вас жалить. Следовательно…

Она долго молчала, а я опустил голову на ее рабочий стол и – что греха таить – заплакал как баба. Она подошла ко мне и осторожно провела рукой по моим волосам. Мне стало еще горше.

– Перестаньте, пожалуйста, перестаньте, – прошептала она чуть слышно, – и слушайте, что я вам скажу. Я давно это предвидела. Мне не пятнадцать лет, и я ведь не богатая барышня, которая не должна ничего понимать, я два года прожила во

французском модном магазине и многое насмотрелась. И вот что я решила: я не уеду. Если б вам было хорошо, или если б мой старик отец был жив – я бы уехала, чтобы его не огорчать… а теперь, зачем? Ведь у вас только и есть одна верная душа – я. А у меня и совсем никого нет на свете. Совесть моя чиста. Даже враги мои не могут сказать, что я сижу сложа руки. Я зарабатываю больше, чем мне нужно. А что я… не любовница ваша (бедняжка запнулась на этих словах и ее бледные щеки вспыхнули), это и вы знаете, и я, и Бог это видит, и мой бедный отец, которому я перед смертью обещала, что буду жить честно… Пусть говорят! Поболтают год, другой и надоест. А мы будем терпеть. Хорошо? Что мог ей сказать, да и много ли вообще значит в таких случаях красноречие!.. Я взял ее долгие, смуглые руки и стал целовать. Она не отнимала. Она поняла, что ее жертва принята. Так, брат мы и живем. Дома – ад кромешный. У Дины – рай… до грехопадения. И за всем тем до того иной раз тошно приходится, что готов, кажется, на первом крюке удавиться. Дети растут бестолково; хорошо еще, что мальчики: пойдут в гимназию и как-нибудь выровняются…

– Вот тебе и вся моя история, – произнес Воробейчик с натянутой усмешкой. – Больше ничего нет… не взыщи. А теперь, вели-ка, брат, и в самом деле подать что-нибудь. У меня в горле пересохло.

Хозяин позвонил. Горничная внесла на большом подносе закуску и вино, поставила на круглый стол и удалилась.

– Да-да, – глубокомысленно промолвил Игнатий Львович. – Отличились мы с тобой… особенно ты. Вот тебе и “блестящая партия”. Но почему ты не разведешься?

– Жена двадцать тысяч отступного требует. Где же их взять? Разве ты по старой памяти выручишь? – насмешливо спросил Воробейчик.

– Хе-хе, – принужденно засмеялся Дымкин: – таких денег у меня нет в распоряжении, голубчик. – А признайся, – промолвил он вкрадчиво: – неужели с Диной у тебя все-таки… ничего? Воробейчик свирепо взглянул на приятеля и повел плечами. Дымкин сконфузился. Наступило небольшое молчание.

– Прости меня, – начал опять Дымкин, – я не желал тебя оскорбить, – и, чтобы окончательно рассеять дурное впечатление, прибавил: – Знаешь, брат, обоих нас жизнь исковеркала. Но… были и у нас золотые дни – наша чистая молодость. Вспомянем же ее добром. Ну-ка тряхнем стариной… Gaudeamus igitur!..[223]

– Убирайся ты к черту! – крикнул Воробейчик, словно его ударили по больному месту, подбежал к столу, выпил залпом две рюмки водки и, забравшись на диван с ногами, уныло поник

головой.

Феномен

I

Плотная, широкоплечая Дуняша, вооруженная перовкой и тряпкой, убирала залу. Это была довольно высокая и просторная комната, средину которой занимал концертный рояль; между окнами, в полукруглой нише стоял другой рояль, поменьше; около него табуретка-вертушка и кривой, кое-где перевязанный черною тесемкой пюпитр с подсвечниками. Остальная меблировка была самая простая. Длинный, выкрашенный “под ясень” стол, этажерка, заваленная нотами, дюжины полторы венских стульев, висячая лампа… Казенно-учебный вид комнаты скрашивали портреты и бюсты великих композиторов, сплошь покрывавшие стены. Чинно, словно на смотру, вытянулись в один ряд бессмертные – Бах, Гайдн. Мендель, Моцарт, Бетховен, Шуберт. Дуняша совершенно равнодушно обмахивала эти драгоценности перовкой. Покончив с залой, она перешла в следующую комнату. Тут безраздельно царил Николай Рубинштейн. Над пианино красовался в раме старого золота его портрет масляными красками. Пастель, сепия, карандаш, гравюра, гипс, мрамор и бронза повторяли строгие черты виртуоза-волшебника. Он был здесь во всех возрастах и видах: за роялем, за письменным столом, сидя, стоя, в шубе и, наконец, в гробу.

Роскошь этой коллекции как-то особенно странно и трогательно оттеняла скромную обстановку гостиной. Полинявший ковер на полу, старенькие кресла, низенький диван с полкой. На круглом столе – лампа под бумажным зонтиком, несколько книг и альбомов. В углу часы в готической башенке и секретер красного дерева, словно уцелевшие обломки из захолустной усадьбы. Единственною модною вещью в этой комнате были атласные ширмы с изображением четырех девиц, из которых одна мечтательно смотрела вдаль, другая собирала цветочки, третья держала корзинку с яблоками, четвертая, в позе балерины, скользила на коньках. Про эту Дуняша с удовольствием замечала: “Сейчас видать, что зима”!

В прихожей слабо звякнул звонок. Дуняша недоумевающе подняла голову и пошла открывать. В дверях стояла дама в темной накидке, в шляпке с огненно-красным торчащим цветком, и держала за руку маленького, закутанного мальчика.

– Александра Петровна Неволина здесь живет? –

осведомилась дама, сильно картавя и подаваясь вперед.

Дуняша загородила ей дорогу.

– Они еще почивают, – сказала она.

– Ничего, мы подождем, – возразила ранняя посетительница, делая новую попытку проникнуть в комнату.

Дуняша ее остановила.

– Извините, мне не приказано принимать. Они вчера поздно вернулись с концерта и сегодня весь день будут очень заняты.

– Но я имею до вашей барыни важное дело. Мы приезжие из провинции.

– Да вы от кого? – с явным недоверием спросила Дуняша.

– Сама от себя. Поверьте, мне, голубушка, что мне необходимо видеть вашу госпожу, и она вам будет благодарна, что вы меня задержали. Я сама не кто-нибудь и никогда себе не позволю беспокоить благородных людей так себе…

После этого заявления, приезжая из провинции дама стянула с руки вязаную перчатку, пошарила в плоском портмоне и протянула суровой горничной двугривенный.

– Что вы, не надо! – Дуняша решительно отстранила монету, но все-таки подалась назад и значительно смягченным голосом сказала: – ведь я нечего… подождите, пожалуй, коли спешить некуда.

Настойчивая дама сейчас же этим воспользовалась: стремительно нырнула всем корпусом вперед, красный цветок на ее шляпке задрожал, подол платья захлестнуло в дверной щели, она освободила его с ловкостью фокусника и, любезно улыбаясь Дуняше, посадила своего мальчика на деревянный диванчик, и сама села с ним рядом.

Дуняша, прищурив круглые, смышленые глазки бесцеремонно рассматривала странных гостей. Наступило довольно продолжительное молчание.

– Как же об вас доложить? – спросила она.

– Скажите: мадам Пинкус из Кишинева, по личным обстоятельствам. Я так много наслышана о вашей мадам, – прибавила гостья заискивающим голосом.

– Да они у нас барышня, а не мадам, – заметила Дуняша. (Она говорила по-московски – с растяжкой).

– Ну, извините, нехай ваша мадам будет барышня, дай Бог ей здоровья и счастья.

– А вы, должно, из евреев будете? – не то полюбопытствовала, не то решила Дуняша.

– Почем вы знаете? – обидчиво возразила мадам Пинкус.

– Обличье у вас не русское, и разговор, словно не наш, – объяснила Дуняша и прибавила: – ну ладно, посидите тут… у

меня еще комнаты не готовы.

Мать и сын остались одни. Мадам Пинкус было лет 30–35. Поблекшее, продолговатое, семитического типа лицо в рамке блестящих черных волос было бы красиво, если бы его не портило выражение напряженного беспокойства. Ее тощая, суетливая фигура с круглою спиной, впалою грудью и острыми, устремленными вперед плечами, напоминала испуганную птицу. Едва присев, она стала ежиться, словно прислушиваясь к малейшему шороху, каждую минуту готовая сорваться с места. Некоторое время мать и сын сидели молча. Оба оглядывали прихожую, обыкновенную, темноватую московскую прихожую, скрашенную так называемыми “мавританскими” портьерами, большим зеркалом и медными вешалками. Мальчика, по-видимому, заинтересовал узор клеенчатого ковра с драконами. Он сполз наполовину с диванчика и стал робко шаркать ногой от одного дракона к другому.

Мать его остановила.

– Яша, сиди смирно.

– Мне жарко – возразил Яша, вытягивая голову, чтобы освободиться от башлыка.

– Тихо, тихо! – приказала мать. – Потерпи немножко, я тебя раздену, – и, стараясь производить как можно меньше шуму, она на цыпочках подошла к вешалке, повесила на крайний крючок свою ветхую бархатную накидку с порыжелым аграмантом, а затем уже принялась раскутывать мальчика.

Освобожденный от шубы, башлыка и нескольких платков, он с облегчением вздохнул и даже обнаружил намерение пройтись по комнате, но мамаша моментально водворила его на диванчик, строго прошептав:

– Успеешь изорвать костюм!

Костюм состоял из узеньких штанишек и синей матросской куртки с белым воротником. На тоненьких ножках, тщедушный, бледный, с длинной, как у аиста, шеей, с большой курчавой головой и огромными, не детскими черными глазами, мальчик казался сказочным гномом, неизвестно зачем покинувшим свое фантастическое царство. Дуняша опять выглянула в прихожую. Она уставилась на Яшу и жалостливо проговорила:

– Какой худой, совсем заморышек.

Мадам Пинкус с достоинством заметила:

– Ребенок деликатный, не деревенский.

Дуняша, очевидно, не поняла своей бестактности и сочувственно продолжала:

– К доктору бы его. По всему видать, в нем золотуха сидит. Вы попросите барышню – она вам даст записочку к детскому

доктору. Он вас даром примет и лекарство прикажет выдать. Уж Александра Петровна сколько к нему ребят отправляла. Очень она у нас до детей жалостливая.

– Скажите! – воскликнула мадам Пинкус, – Какая благородная личность. И давно вы при них служите…

– Я-то?.. Без малого двадцать три года. Александра Петровна и то смеется, говорит: “юбилей праздновать будем”. Уйди я, – она, как дитя без матери – никто на нее не угодит. Потому – добра-то она добра, а порядок тоже любит… раскипятится – беда, да только бояться этого шуму нечего. Она кричит, а ты знай себе, молчи, не оправдывайся, она и отойдет, а сама уж после жалеет, задабривает…

На худых щеках мадам Пинкус, выступили красные пятна. Ее волновали самые разнообразные чувства; хотелось заручиться покровительством горничной, имеющей такое влияние на барыню, и страшно было уронить свое достоинство. Она избрала старый, но самый верный путь к человеческому сердцу – лесть.

– Счастье вашей госпожи, – вкрадчиво произнесла мадам Пинкус, – что она напала на вас. В наше время найти верного человека ой-ой как не легко! И деньги платишь, и ничего не жалеешь, а людей нет… Ко мне недавно заехала ваша докторша – она меня очень уважает – и просто умоляет меня: мадам Пинкус, найдите мне экономку! По вашей рекомендации, говорит, я с закрытыми глазами возьму… Ну что же я могу сделать, когда нет людей? Теперь такой свет, что за себя ручаться нельзя… Дуняша утвердительно кивала головой. Мадам Пинкус начинала ее занимать. Вид безмолвного мальчика тоже, должно быть, ее тронул!.. Она подошла к нему и погладила его по головке.

– Тебя как звать, милый?

– Яша, – ответила за него мать.

– Яков, Христов брат! Хорошее имя, – одобрила Дуняша. – Не хочешь ли чайку? Я принесу ему чашечку, а то еще когда Александра Петровна подымется… придется уж вам посидеть, – сказала она.

– Благодарю вас, – пробормотала мадам Пинкус, – не знаю, как вас зовут?

– Авдотьей.

– Благодарю вас, Авдотья… а как дальше?..

– По отцу Ивановна. Да что тут!.. Все зовут Дуняшей, и вы зовите.

– Нет, Авдотья Ивановна, я знаю как на людей смотреть. Я не так стара, но много в своей жизни испытала. Я видела простых людей, которые лучше, чем важные господа. Перед Богом все равны – и богатые, и я, и вы.

Дуняша немного растерялась, но чтобы не ударить в грязь лицом, важно заметила:

– Где уж нам! Пословица-то говорит: до Бога высоко, до царя далеко, всяк сверчок знай свой шесток… Ты что же молчишь – хочешь чаю аль нет? – обратилась она к Яше.

Но в эту минуту раздался дребезжащий звонок, и со словами: “Александра Петровна”, Дуняша убежала.

II

– Доброго утра, матушка, хорошо ли отдохнули, – сказала Дуняша и стала раздвигать темную штору.

Александра Петровна повернула к свету истомленное, худое, милое лицо с ласковым выражением умных светлых глаз.

– Здравствуй, Дуняша… И заспалась же я сегодня… кажется, никогда в жизни так не спала. А все-таки чувствую себя разбитой… вставать не хочется, все тело ноет.

– Сами себя не жалеете, оттого и ноет, – объяснила Дуняша.

– Безо всякого расчету поступаете. Мало вам в училище деньденьской мыкаться. Выдумали еще по вечерам эти репетиции. Всю квартиру испортили. Убираешь-убираешь… спина болит. Где уж тут чистоту соблюдать.

– Не ворчи. Сама знаешь – экзамен на носу.

– И у других экзамен.

– Выпускные, – защищалась Александра Петровна.

– И у других выпускные, не у вас одной. Посмотрите на Киллера. Вот это настоящий профессор – поперек себя толще, а деньжищ-то, деньжищ загребает! К нему на шарманке никто и не пробует, знают, что умный…

Александра Петровна усмехнулась. – А я, значит, дура, – промолвила она, зевая и вытягивая, словно в гимнастических упражнениях, руки и ноги. – Однако, будет валяться. Ведь мы с тобой не старухи. Тебе, Дуняша, сколько? 50 уже стукнуло? А мне всего тридцать восемь с половинкой. Девицы, можно сказать, в самом соку.

Она сунула ноги в туфли и подойдя к умывальнику, стала полоскаться. Дуняша разложила на полу большой резиновый таз, придвинула к нему ведро, в котором плавал градусник, и, наморщив лоб, стала подливать из жестяного чайника горячую воду. Наступило небольшое молчание. Александра Петровна, смешно переминаясь, прыгнула в резиновый таз. Все ее бледное, тонкое тело как-то боязливо изогнулось, она даже глаза зажмурила. Дуняша, высоко приподняв ведро, сразу опрокинула столб воды на плечи своей хозяйки. Брызги так и полетели во все

стороны. Кончив эту операцию, она закутала Александру Петровну в мохнатую простыню и начала усердно растирать.

– Ах, как хорошо. Вот я и опять молодцом, – вздыхая приговаривала Александра Петровна

– Ну, и слава тебе Господи, – ласково сказала Дуняша. – А я, было, не хотела вас тревожить… Там в передней сидит женщина с мальчиком, вас дожидаются. По всему видно, еврейка, а таится… Ни свет, ни заря приплелась. Я не хотела пускать, да куды тебе…

– Почему ты мне раньше не сказала?

– Что же я вас будить для нее стану! Не велика прынцесса, обождет.

– Ты бы хоть спросила, что ей нужно.

– Спрашивала, не говорит. Самою, мол, барыню видеть желаю.

– А кто она такая?

– Она сказала фамилию, да я забыла. Видно, что из бедных, а все-таки не из самых простых: платье шерстяное зеленое, и накидка на ней хоть старенькая, а бархатная. В шляпке. Мальчик тоже в матросском костюме. Мы с ней побалакали. Женщина ничего, приличная… и говорить напрасно нечего. Передавая эти подробности, Дуняша привычными движениями подавала Александре Петровне юбки, застегнула ей ботинки, достала из гардероба платье.

– Вот я и готова, – торопливо оправляя костюм, сказала Александра Петровна. – Давай кофе и зови их в столовую.

– Вот уж это напрасно, их за один стол с собой сажать, – воспротивилась Дуняша.

– Ах какая ты скучная… вечно рассуждаешь… Давай скорее кофе и убирайся.

III

Дуняша все-таки поставила на своем: заставила Александру Петровну сначала позавтракать, а потом уж впустила в залу мадам Пинкус с сыном. Мадам Пинкус вошла, вся красная от волнения, и уже у двери стала кланяться.

– Извините за беспокойство, – начала она.

– Садитесь, пожалуйста, – пригласила Александра Петровна. – Вы ко мне по делу?.. С кем имею удовольствие?..

– Моя фамилия мадам Пинкус, благородная госпожа профессорша!.. Я осмеливаюсь вас беспокоить не то что по делу, а, можно сказать, с покорнейшею просьбой. От вас, можно сказать, зависит вся наша судьба. Бог вам заплатит за ваше благодеяние к нам.

– Но в чем все-таки дело?.. Говорите прямо, не стесняйтесь.

– Посмотрите, милостивая госпожа барыня, на этого ребенка. – торжественно воскликнула мадам Пинкус. – Это – феномен. Хоть он мой собственный сын, но он – феномен. Александра Петровна поглядела на Яшу, который держался за юбку матери, и, по-видимому, недоумевала, неужели этот хилый мальчик в самом деле феномен.

– В чем же это выражается? – спросила она.

– В музыке. Он поет все, что угодно. Сыграйте ему что-нибудь один раз и вы увидите, как он это запомнит. Я не хочу, чтобы вы мне верили, дорогая барышня, я прошу вас только, чтобы вы его послушали.

Александра Петровна пожала плечами

– Я могу его послушать, но из этого все равно ничего не выйдет. Сколько ему лет?..

– Десять.

– Вот видите!.. По наружности ему можно дать еще меньше. Он мал, худ, слаб. Учить его невозможно. Родители часто думают, что если их ребенок умеет приятно спеть песенку – так он уже талант. С этим надо обращаться осторожно.

– Я очень осторожна, и я ничего не думаю. Я вас только прошу: послушайте, как этот ребенок поет песенки, и тогда мы посмотрим, что вы скажете.

– Что ж, послушаем. – мягко сказала Александра Петровна. – Отчего не послушать!

Она потрепала мальчика по щечке.

– Ну, феномен, покажи нам свое искусство.

Александра Петровна приподняла было крышку рояля и опять ее опустила.

– Он ведь поет без аккомпанемента? – обратилась она к мадам Пинкус.

– Отчего без аккомпанемента? – возразила та, – только позвольте мне самой для первого разу.

Лицо Александры Петровны изобразило самое искреннее удивление

– Да вы разве играете?..

– Немножечко, барышня, немножечко, по слуху… сама выучиваю. Моя музыка недорого стоила моим бедным родителям. Ну, Яшенька, что ты хочешь спеть?

Яша, до сих пор безучастно молчавший, угрюмо заявил:

– Я ничего не знаю.

Мать строго поглядела на него,

– Как не знаешь!.. А “Фауст”, а “Демон”, а “Трубадур”…

Яша только отрицательно качал головой. Мадам Пинкус,

казалось, готова была растерзать свое детище. У нее дрожали губы и руки.

– Яша, что ты с ума сошел? – вымолвила она, чуть не плача. – Ведь ты меня режешь. Что подумает об нас благородная госпожа!..

Александре Петровне стало ее жалко.

– А ты разве бывал когда в театре? – спросила она.

Мальчик воззрился на нее своими огромными, не детскими глазами и утвердительно кивнул головой.

– Понравилось тебе там? – продолжала Александра Петровна.

Новый кивок головы.

– А тут у нас театр лучше, чем у вас, – совершенно серьезно стала рассказывать Александра Петровна. – Гораздо больше и красивее. Музыкантов много, а поют так, как ты наверно никогда не слыхал. Чудесные декорации, и костюмы есть такие великолепные – блестят, как золото. Если будешь умный, мы с мамой возьмем тебя в оперу. Тебе что хочется послушать?..

– “Демон”, – прошептал Яша, не спуская с нее глаз.

– А кто это демон?..

Яша в первый раз улыбнулся; все его личико осветилось плутовским выражением, он сразу похорошел.

– Это черт, – промолвил он уже гораздо смелее, – только не настоящий, а так…

Александра Петровна наклонилась и пригладила своею нежною рукой непослушные кудри мальчика. Он тряхнул головой и вдруг заговорил быстро-быстро:

– Была такая княжна, ее звали Тамара. У нее были длинные волосы, вот какие! (Яша присел на корточки и провел рукой но полу). У нее был жених, тоже князь, только не очень красивый, и Тамара пошла, с товарками за водой, и демон ее увидал… Мама, играй, – скомандовал Яша.

Мадам Пинкус в мгновение ока очутилась у рояля, немилосердно нажала педаль и заиграла, раскачиваясь направо я налево, арию из “Демона”, причем она так страшно вывертывала пальцы, что казалось вот-вот она их свихнет. Яша стал в позу и запел. Александра Петровна обмерла. Она не верила ни глазам, ни ушам. Голосок Яши звенел и разливался по зале, как серебряный колокольчик. Фразировку, оттенки, драматизм сюжета, – все это мальчик передавал, конечно, бессознательно. Он пел и играл за всех: за Тамару, за хор, за оркестр, сопровождая все пояснениями и жестами.

Александра Петровна была ошеломлена.

– И будешь ты царицей ми-и-и-ра, – пел Яша, простирая в плавном жесте свои худенькие ручки, точно это были крылья, которые должны были унести и его, и Тамару в надзвездные

края… Александра Петровна схватила его на руки и стала осыпать поцелуями.

– И ты будешь царем мира, будешь, будешь, – повторяла она смеясь и плача, – Ах, ты, моя прелесть!.. Чудо ты мое, чудо! Понимаешь? Восьмое чудо света… Их было семь, а ты вот восьмое!

Яша был смущен. Он, очевидно, не привык к таким бурным проявлениям восторга. Но, вероятно, что-то в Александре Петровне внушило ему доверие, он весь оживился, щечки его порозовели, черные глаза загорались веселым блеском, и он откровенно сказал:

– Я хочу есть.

– Ах ты, бедняжка моя, он проголодался!.. Его божество хочет кушать… Сейчас моя радость… Дуняша!

Александра Петровна и звонила, и кричала в одно время, не замечая, что Дуняша давно стоит в дверях.

IV

Александра Петровна совсем закормила Яшу и любезно убеждала мадам Пинкус кушать без церемоний. Мадам Пинкус отказывалась, благодарила за честь, наконец, уступила и, деликатно взяв двумя пальцами сухарик, откусила маленький кусочек и с видимым удовольствием хлебнула горячего кофе. Она уже успела ознакомить Александру Петровну со своею биографией, рассказала, как она должна были выйти за доктора, своего кузена, которого ее же отец, богатый арендатор, “отдал” в гимназию и “содержал” в университете. Но когда евреям запретили арендовать землю, отец ее разорился, и кузен предпочел жениться на дочери богатого купца. Что ж! Бедность не порок! Она все-таки не простая нищая… У нее даже была гувернантка, и она понимает, что такое образование. У них в доме бывали и студенты, и “окончившие”, которые приносили ей самые передовые книги…

– Теперь, – заключила она, – я уже все забыла, но меня звали когда-то “звезда”, и если бы не обстоятельства, поверьте, что из меня бы вышла развитая личность.

Александра Петровна задумчиво и внимательно слушала.

Мадам Пинкус говорила много и быстро, пересыпая свою речь льстивыми словами. Яшу, после завтрака, усадили на широкую кушетку и дали ему рассматривать большую книгу с картинками. Он лег на живот, положил перед собой книгу и долго возился, шурша листами и напевая про себя, как щебечущая на ветке пташка. Вдруг он затих. Александра Петровна оглянулась.

Мальчик заснул, склонив головку на книгу.

– Спит, – шепотом произнесла Александра Петровна, устал бедный.

– А как же не устать! – воскликнула мадам Пинкус – Три дня и три ночи в дороге, в третьем классе. Он все-таки у меня на коленях спал, а я! Поверьте мне, дорогая госпожа, хоть бы я один глаз закрыла.

– Не положить ли его удобнее? – сказала Александра Петровна.

– Нет, барышня, оставьте, разбудите. Ребенок везде может спать. Разве он знает, что такое забота!..

Александра Петровна улыбнулась.

– Ну, этот, кажется, знает. Однако, потолкуем о деле. Чего бы собственно вам хотелось? Ведь ребенок еще мал и слаб: учить его теперь решительно нельзя.

– А вы думаете, благородная барышня, что там, у нас, он может вырасти и сделаться сильным? Это потому, что вы не знаете, какая наша жизнь. Вы бы посмотрели на нашу жизнь, так вы бы удивились, что мы еще немножечко похожи на людей.

Мадам Пинкус вздохнула и, помолчав немного, продолжала:

– Мой муж работает, как вол. Он бухгалтер у Абельмана. Может быть вы о нем слыхали? (Александра Петровна сделала отрицательный жест). Это наш миллионер считается. Мой муж служит у него десять лет. А знаете, сколько он получает? 30 рублей в месяц! И то еще люди нам завидуют. Другой может быть и показал бы хозяину, как надо дорожить честным служащим. Но мой муж не такой большой умник и рад иметь верную копейку для своего семейства. Ведь у нас еще дочка есть, – прибавила она, самодовольно улыбаясь. – Моя Идочка красавица. Слух у нее, как у Яши, а ей только три года.

Александра Петровна засмеялась.

– Ваши дети, должно быть, как родятся, начинают петь. Другие орут, а ваши сразу начинают распевать арии.

Мадам Пинкус поджала губы.

– Такие необыкновенные дети, – заметила она, – Бог дает еврейским детям ум и талант назло их врагам. Надо ведь и евреям как-нибудь жить…

– Вы, кажется, обиделись, мадам Пинкус? Напрасно. Я не хотела вам сказать ничего неприятного, а просто пошутила. Конечно, ваш мальчик необыкновенный, а я то уж во всяком случае не враг евреям. Я семнадцать лет профессорствую – продолжала Александра Петровна – и прямо говорю, что лучшие мои ученики и ученицы были всегда евреи. У них *слух* и чувство ритма точно врожденные. Бывают и между ними дураки. В семье

не без урода. А про вашего мальчика и говорить нечего – я таких не видывала.

Мадам Пинкус вся зарделась от удовольствия. Приветливая простота профессорши ее умиляла, придавала ей смелость и в то же время пугала ее суеверное воображение, как явление необычайное, почти неестественное. Ее острый испытывающий взор остановился на увядающем милом лице Александры Петровны, она опять заговорила порывисто и страстно. – Ах, дорогая благородная госпожа, устройте так, чтобы я могла тут жить с Яшей и моей дочкой. Бог вас за это наградит на этом и на том свете. Вы сами видите, кто этот мальчик. Может быть он будет второй Рубинштейн? Помогите ему встать на ноги, не дайте ему пропасть.

– Рада бы всею душой, да не могу – возразила Александра Петровна. – Вы говорите у вас нет средств… Но ведь и я живу своим трудом.

Мадам Пинкус закатила глаза и всплеснула руками.

– Вы думаете я хочу вам быть в тягость? Сохрани меня Бог от таких мыслей. Разве бы я смела хоть одну минуту… но у вас есть знакомства. Мне все говорили, если профессорша Неволина захочет, она может вас счастливить. О чем я вас прошу? Только об одном: сделайте так, чтобы свет узнал об этом ребенке… Устройте ему публичный экзамен… разве я знаю!.. Мне не надо вас учить…

Александра Петровна глубоко задумалась. Мадам Пинкус умолкла и глядела на нее в трепетном ожидании.

– Ну хорошо, я попытаюсь, – сказала Александра Петровна, – где вы остановились?

Мадам Пинкус как-то замялась.

– У родственников, – ответила она, словно нехотя. – Только, видите ли, дорогая госпожа, я вам скажу всю правду, как перед Богом… я ведь живу не прописанная. Они добрые люди и рискуют из за меня… Дала дворнику два рубля, чтобы он меня не видел… Но, если узнает полиция – не дай Бог, что может быть.

– Разве у вас нет паспорта?

– Отчего нет паспорта! Паспорт есть…

– Так пропишитесь скорее.

Мадам Пинкус посмотрела на Александр Петровну со снисходительною улыбкой мудреца, внимающего наивному лепету младенца.

– Прописаться можно, – сказала она – Что, им трудно прописать и написать: “на выезд в 24 часа”? Разве я имею право жительства?

– Ах да! – воскликнула Александра Петровна. – Простите, я

это знаю, но каждый раз забываю… У моих учеников тоже из-за этого не мало бывает возни. Бегают-бегают бедные… это очень трудно улаживать.

– Ах, дорогая моя госпожа, – воскликнула она, и крупные слезы брызнули из ее глаз, – если бы Бог не делал чудес, то, поверьте, евреев бы давно уже не было на свете.

Александру Петровну взволновала печаль этой странной, смешной женщины. “Из-за чего люди бьются”, подумала она, и чувство жалости и безотчетного стыда защемило ей сердце. А мадам Пинкус как-то вдруг вся распустилась, как человек, который устал от долгого напряжения и которому больше не нужно притворяться… Слезы неудержимо текли из ее вспухших глаз, она их не вытирала и только крепко прижимала к губам скомканный в комочек платок.

– Хорошо, я попробую, – повторяла Александра Петровна, прерывая тяжелое молчание. – Мадам Пинкус, постарайтесь успокоиться, право. Я сейчас же пойду к одной даме, моей приятельнице. Она всех знает и все ее знают. Авось она нас выручит.

Не успела Александра Петровна произнести эти слова, как мадам Пинкус уже облобызала ее руки.

– Если вы мне это устроите, – бормотала она, – я навек ваша слуга.

– Ради Бога, что это вы, я этого не люблю, – недовольно сказала переконфуженная Александра Петровна – Значит, до свиданья. Посидите тут, пока не проснется Яша, а завтра часа в четыре наведайтесь ко мне.

V

Приятельница Александры Петровны, Полина Владимировна Стоцкая, была вдова “штатского” генерала и жила в собственном доме на Малой Никитской. Полина Владимировна принадлежала к породе вечно молодых женщин. Время, казалось, не имело над ней власти. Она двадцать лет царила в салонах обеих столиц. Появление ее изящного силуэта в международных колониях Парижа, Рима, Ниццы означало разгар сезона. Необыкновенно прозорливая, она угадывала всегда наступление “нового момента” и была дружна с знаменитостями самых противоположных лагерей, откровенно заявляя: “Я люблю интересных людей и терпеть не могу политики”. И никто не сердился на Полину Владимировну за постоянную смену настроений, но все, точно сговорившись, признали за нею привилегию именинницы на празднике жизни. Она лучше всех

умела устроить благотворительный базар, блестящий концерт, публичную лекцию, литературный вечер. La belle Pachette[224], как ее называли в обществе, первая узнавала последнюю новость, первая получала нашумевший в Париже роман, первая надевала такую шляпку, о которой не дерзали мечтать самые записные щеголихи. Ее туалеты, бриллианты, картины, мебель, книги служили как бы камертоном для общего круга ее знакомых.

Полина Владимировна умела держать в своей прекрасной руке пальму светского первенства – и это не всегда бывало легко. Но когда же власть бывает легка! Недаром поэты называют ее бременем. Эта хрупкая на вид женщина вела жизнь, которая могла бы сломить несколько сильных мужчин. Выезды, одеванья, переодеванья, театры, балы, заседанья, корреспонденция, чтение были распределены с точностью английского хронометра. В своей восхитительной “цветочной корзине” (так именовали салон Полины Владимировны ее поклонники) она принимала раз в неделю, это был строгий five o’clock – чай, petits fours[225], фрукты… Но как это было сервировано! Простой смертный, попадавший случайно в эту благоуханную теплицу, с подобострастным трепетом прикасался к тонким, как лепестки цветка, чашкам, к строгим, как надгробные урны, вазам. Такие сосуды могли вмещать только нектар и амброзию…

Александра Петровна давно знала Полину Владимировну – они были на ты – и восторгалась ею так бескорыстно, что это невольно трогало великолепную Пашет. Раза два в месяц Александра Петровна забегала к ней по утрам, до школы. Когда она долго не показывалась, Полина Владимировна приезжала к ней, и если заставала ее в классе, смиренно усаживалась вместе с учениками и ученицами. Присутствие этой элегантной, благоухающей светской дамы действовало на молодежь, как шампанское. Все воодушевлялись, и урок незаметно превращался в концерт. Общее настроение захватывало и Александру Петровну, которая разрешала себе маленькое тщеславие – щегольнуть перед светскою приятельницей. Полина Владимировна искусно пользовалась этими моментами, чтобы выпросить у “неисправимой чудачки” сопрано или тенора для благотворительного сеанса, и очень несговорчивая на это счет “чудачка” ей почти никогда не отказывала.

Полина Владимировна только что окончила свою деловую корреспонденцию, когда ей доложили об Александра Петровне. Приятельницы расцеловались, Александра Петровна с неподдельным удовольствием глядела на прелестную хозяйку, которая куталась в халат, цвета морской волны, с широкими оборками из бледных кружев.

– Как ты хороша! У тебя просто талант – быть каждый раз лучше прежнего.

– Вот вздор… где тут “хороша”… Я толстею и в отчаянии… Присаживайся на диванчик, Саша, здесь удобнее. Да, душа моя, толстею! Пью киссинген[226], каждый день массаж, бегаю как угорелая, а платья все уже да уже.

Александра Петровна рассмеялась.

– Ах ты, мученица! И зачем ты себя изводишь? Мода ведь придумана для дурнушек, а тебе она на что? Женщина сложена, как греческая статуя, и вместо того, чтобы радоваться, пьет киссинген и всячески себя истязает. Делать тебе нечего. Поработала бы с мое, так только бы и думала: эх, хорошо бы поспать да потолстеть.

Полина Владимировна слушала свою приятельницу с чуть-чуть насмешливою гримаской.

– Чудачка ты, Саша, – односторонняя, как все хорошие русские люди.

– Merci, – вставила Александра Петровна.

– Нет, право, ты думаешь, что только твоя работа есть работа. Может быть, и мы уж не так бесполезно прозябаем на сей очаровательной планете. Не будь ценителей или даже просто публики, не было бы ни твоей школы, ни тебя, наконец – зачем бояться слов? – не было бы искусства. Скажи сама, что бы сталось с бедными, кабы на свете не было богатых?..

– Пропадать бы пришлось, само собой, – согласилась Александра Петровна. – Каюсь, я и теперь пришла к тебе просить на бедность.

Лицо Полины Владимировы как-то сразу изменилось. Она перестала смеяться. В прелестных голубых глазах блеснуло беспокойство.

– Ведь я не богата, Саша, – промолвила она с натянутою улыбкой, – ты знаешь.

– Да я у тебя не денег хочу просить, а протекции.

– А!.. – каким-то неопределенным звуком протянула Пашет. Александра Петровна стала рассказывать о чудесном мальчике. О мадам Пинкус она упомянула вскользь, отлично понимая, что скрыть этот предмет нельзя, а рассчитывать на сочувствие к нему невозможно.

И Александра Петровна, как говорят музыканты, “смазала” этот пассаж. Полина Владимировна внимательно слушала. Лицо ее совершенно утратило прерафаэлитское выражение, губы вытянулись, она согнулась в кресле, закинув нога на ногу и обняв руками свое стройное колено. Из-под насупленных “соболиных” бровей зорко смотрели холодные, умные глаза.

– Знаешь, о чем я думала, пока ты говорила? – сказала она, когда Александра Петровна кончила.

– О чем?

– О тебе. Жаль мне тебя, Саша. И когда это тебе надоест с жидами возиться! Умная ты женщина и душа-человек, а не понимаешь, что это самое бестолковое занятие, из которого, кроме неприятностей и дурных отношений, никогда ничего не выходит. Но жиды – это положительно твоя мания.

– Что же мне делать, когда они ко мне ходят? – защищалась Александра Петровна.

– Ходят оттого, что ты их приучила. С ними нужно ужасно осторожно. Обласкай одного жида – он сейчас к тебе целую тучу единоверцев наведет.

– Что это ты, Поля… жиды, жиды… даже неловко. Сама постоянно бываешь у банкиров – как их? Все забываю фамилию. Вот уж эти – так противные.

– Якобсен, душа моя, не Якобсон, а Якобсен, чтобы смахнуло на Ибсена (это уж дети переделали). Но какая ты, однако, щепетильная. И чего ты сердишься? Разве я антисемитка? И не думала. В обществе я всегда и всюду говорю: евреи (разве нечаянно когда сорвется). Ну, а наедине с тобой, в своей комнате еще церемониться – это уж, извини, глупо. И, пожалуйста, не думай, что мне их не жалко… Очень жалко. А что от них покою нет – всегда скажу. Противный народ.

– Не противный, а несчастный, – тихо возразила Александра Петровна. Полина Владимировна пожала плечами.

– Это почти всегда одно и то же. Терпеть не могу вечно несчастных людей. Порядочный человек молчит о своих несчастьях, а евреи кричат на весь мир, что их обижают. Отвратительная манера.

– Полно, Пашет, не кипятись. Будь паинька. Устрой мне моего “феномена”, и я клянусь, что долго-долго не буду к тебе приставать с моими “жидами”. Только этот разок помоги. Ты себе представить не можешь, что это за ребенок. Господи! – Александра Петровна рассмеялась, – я стала говорить, точно мадам Пинкус. Это совсем ее стиль.

– Эта маменька, должно быть, чудище – страшилище, признавайся.

– Не чудище-страшилище, а немножко смешна.

– Воображаю, что это за персона, если уж ты говоришь: смешна. Нет, Саша, ты прямо какая-то блаженная. Не понимаешь, что есть “типы”, за которых просить… ну просто неудобно, неприлично… “Мадам. Пинкус”. Пинка, скажут, ей дать – вот и все…

– Ведь ты не за нее будешь просить, а за мальчика.

– Да мальчик-то чуть не грудной младенец.

– А ты послушай, как этот младенец поет, – сказала Александра Петровна и опять рассмеялась, вспомнив, что она повторяет слова мадам Пинкус. Полина Владимировна встала, закурила тончайшую папироску и опять села.

– Подумай только, – начала она. – Ведь это не просто пособие надо клянчить, но паспорт, или, как они говорят, “право жительства”, пенсию для мальчика, учителей.

– Музыке я сама буду учить и других учителей найду, – промолвила Александра Петровна.

– Но паспорт, пенсию… ей-Богу, Саша, я не знаю, с кого начать.

– У тебя столько друзей между влиятельными особами. Попроси барона Лизерса. Он человек образованный, гуманный. Он был у нас на акте и за ужином произнес замечательную речь. Мы были очень растроганы, – так он нас превозносил. И уж не помню, к чему он привел слова: несть эллин, ни иудей… Кажется, это он об искусстве намекал. Вот ты заинтересуй его нашим феноменом, Пашет. Такой человек наверно отзовется…

– То-то и есть, что не отзовется. Он сам из евреев и так это скрывает, что ни с кем из евреев не знается, и когда в обществе разговор заходит о евреях – всегда очень ловко старается переменить тему. И, конечно, это глупо. Сколько он ни скрывай – все знают, что он не Лизерс, а Лейзер, что дед его был полковым лекарем в Крымскую войну, отличился, кого-то там спас, женился на богачке и пошел в гору. Разве можно ему заикнуться о еврее! Он это примет за намек… А я вовсе не желаю с ним ссориться.

– Такой большой человек и такие мелкие чувства! – воскликнула Александра Петровна и вздохнула. – Пашет, милая, не попросить ли этих твоих богачей – Якобсенов?

Пашет покачала головой.

– Бесполезно. Они тоже не любят, чтобы им кололи глаза нищими жидами. Еще он – ничего, скромный, учтивый и держит себя с достоинством! – un monsier tres correct[227], что правда, то правда. Но она! Только и слышно: “мой друг графиня такая-то, наш приятель князь такой-то…” Собирает византийские иконы – такая коллекция, что украсть хочется! Заплатила какому-то парижскому антиквару бешеные деньги за портрет императрицы Елисаветы Петровны и повесила у себя в будуаре, над письменным столом. Портрет божественный. Она всем его показывает и говорит: “Какая красота! Я отдыхаю, когда смотрю на это лицо”. Да, любопытный дом. Вот уж где не скучно. Но никогда, понимаешь, никогда я у них не встречаю евреев, кроме

двухтрех банкиров, таких же богачей, как они. Никогда ни о чем касающемся евреев у них не говорят.

– Они, может быть, крещеные? – заметила Александра Петровна.

– Какое, – возразила Полина Владимировна, – самые настоящие, правоверные евреи. Мадам, каждый раз, как согрешит, отведает у какой-нибудь княгини трефного кушанья, после молится и постится.

– Пустяки какие.

– Я и не говорю, что сама это видела. Рассказывают. Может быть, и врут, только очень похоже на правду.

– Ты у меня всякую надежду отнимаешь. – уныло промолвила Александра Петровна. – Что же будете с моим бедным артистом? Пашет развела руками.

– Вперед не затевай, – начала она, но, взглянув на расстроенное лицо Александры Петровны, точно передумала и сказала: – ну, хорошо, будь по-твоему. Но только помни, Саша, в последний раз! Я пошлю твою Пинкус с письмом к “боярыне Opine” (я так называю мадам Якобсен в интимном кружке). Мне самой курьезно, как она ее примет.

– Да она ее совсем не примет, – сказала Александра Петровна. – С моим-то письмом! Никогда не посмеет. “Боярыня Орша” дает в этом году свой первый bal poudre[228] и рассчитывает на меня, как на одно из “блестящих” украшений.

– А какой толк, если и примет? – заметила Александра Петровна, даже не слушая Пашет. – Ведь главное дело все-таки в паспорте.

– А я что говорю! Сама понимаешь, как это легко. Идея! – воскликнула Полина Владимировна, стукнув тонким пальцем о свой беломраморный лоб. – Ты знаешь старую княжну Зыбину?

– Немножко. Она бывает иногда у нас в школе, только вряд ли она меня припомнит.

– Это ничего. Она юродивая в твоем жанре, но отличная старуха. Теперь она помешана на traitedes blanches и устраивает концерт-монстр. Я к ней съезжу, распишу твоего жиденка, и если она согласится, ты его привезешь к ней. Только смотри – без маменьки. Умой его, приодень, подучи и тащи прямо к княжне. Если уж она ничего не сделает, так сам Господь Бог тебе не поможет. После свидания с княжной я тебе напишу.

– Пашет, душечка, какая ты милая, – начала было Александра Петровна, но Пашет тут же прервала ее излияния.

– Некогда, Саша, после, прости! Да и милого во мне ничего нет… просто я уступаю дружескому насилию. Ух, как мы заболтались! Давно пора одеваться. У меня сегодня миллион

дел… В тот же день к вечеру Александра Петровна получила от великолепной Полины Владимировны следующее письмо: “Милая Саша, княжна очень заинтересовались твоим Wunder-жидочком. Она будет вас ждать в среду, в 10 час. утра. Сегодня четверг, так что у тебя пять дней сроку, чтобы образумиться и отправить “феномена” с родительницей обратно в “черту оседлости”. Но нет! ты ведь из неисправимых. Помни мои наставления: без маменьки! Если мальчик произведет на княжну эффект, то пошли ко мне твою мадам Финтифлюс (или же как ее) – я дам ей письмо к “боярыне Орше” и так изображу сеанс у княжны, что у нее голова закружится. У такой меценатки, как она, только и можно чего-нибудь добиться, если дать ей почувствовать, что она должна почитать за честь, когда к ней обращаются. Я ей всегда посылаю почетные билеты – простые, мол, все уж разобраны. Желает попасть в общество – пусть платит! Voila. По ту сторону добра и зла это, вероятно, все иначе, но у нас в Москве самый надежный ключ к денежному сундуку – это тщеславие. В жизни нельзя без философии. Bonne chance. Pachette

VI

Старая княжна Зыбина была превосходная музыкантша. В молодости она слушала Шопена и брала уроки у Листа. Яша ее поразил. Он пропел ей весь свой репертуар и то, что он в эти дни слышал в классе у Александры Петровны. Он пел, как поет весной жаворонок, без усилий, без принуждения и без слов, точно его маленькое горло заключало неисчерпаемую сокровищницу звуков.

– C’est du miracle[229], – прошептала княжна и сложила руки, но Яша еще несколько мгновений продолжал петь, словно в экстазе. Не слыша больше аккомпанемента, он остановился и в недоумении посмотрел на княжну, у которой по мелким морщинкам щек и в уголках рта блестели светлые капли слез.

– II est unique… Cet infant ne vivra pas![230] – воскликнула она, привлекая к себе тщедушного мальчика.

– Отчего ты такой худенький, мой милый, у тебя ничего не болит! – спрашивала она его. Яша опустил глаза, плотно сжал губы и отрицательно мотнул головой, делая тихие, но настойчивые движения освободиться из объятий княжны.

Она засмеялась и выпустила его.

– Какой дичок! Ничего, мы скоро подружимся, – сказала она и стала по-французски обсуждать с Александрой Петровной подробности предстоящего концерта, до которого оставалось еще две недели.

Это чрезвычайно утешало Александру Петровну. Ей не хотелось выпускать Яшу в роли диковинного фокусника, единолично исполняющего все партии в “Демоне” и “Трубадуре”. Она решила приготовить с мальчиком несколько вещей классического репертуара. Княжна весьма одобрила эту мысль и они вместе долго и тщательно обсуждали программу. – Он у нас всех с ума сведет, – повторяла княжна. Александра Петровна поселила Яшу у себя. Это произошло как-то само собой.

Мадам Пинкус с утра приводила мальчика к “дорогой профессорше” и исчезала на весь день. Раза два Александра Петровна оставила его ночевать, а затем это вошло в привычку. Александра Петровна совсем приручила Яшу. Он не отходил от нее ни на шаг; доверчиво, как пригретый котенок, положит к ней на колени свою курчавую голову и слушает, и будто присматривается к строю незнакомой ему жизни. Старческое, хмурое выражение лица смягчилось, он словно окреп и посвежел, перестал дичиться, с напряженным любопытством слушал пение учеников и учениц Александры Петровны. Однажды кто-то в классе отчаянно сфальшивил. Яша залился неудержимым смехом. Александра Петровна с изумлением заметила:

– Обратите внимание, как он смеется – совершенно правильные трели.

Только глаза Яши, эти огромные не детские глаза глядели по-прежнему печально, точно перед ними стояла неразрешимая и мучительная загадка. Он был очень понятлив. Своим тонким, музыкальным ухом он быстро уловил разницу в произношении Александры Петровны, Дуняши и своей матери, передразнивал их, но сам говорил свободно и чисто, изредка заменяя неизвестное слово жаргоном и мимикой. Дуняша продолжала оказывать ему покровительство… Успех Яши у княжны произвел на нее сильное впечатление. Успех этот, впрочем, оказал действие не только на Дуняшу, он повлиял и на великолепную Пашет. Она обещала похлопотать у банкирши, несколько раз заезжала к Александре Петровне, послушать Яшу, и соблаговолила признать, что это в самом деле “курьезная штука”, но тут же выразила опасение, как бы Саша окончательно с ума не спятила из-за этой “пучеглазой обезьянки”.

Александра Петровна не отрицала, что ее все больше и больше пленяет “феномен”. Заниматься с ним было для нее непрерывным наслаждением. Он понимал ее с полуслова. Не находя понятного выражения и желая наглядно объяснить, в чем суть, она то брала карандаш и начинала им дирижировать, то рисовала пальцем какие-то зигзаги в воздухе. Мальчик сейчас же схватывал этот странный язык, и голосок его, как чувствительная

пластинка, передавал все колебания и оттенки музыкальной фразы.

– Это живой инструмент, – волшебная флейта, – в упоении восклицала Александра Петровна.

VII

Тем временем мадам Пинкус стала приводить в действие собственный план, о котором она ничего не сообщила Александре Петровне. У нее оказался какой-то таинственный список с именами “аристократов”, то есть еврейских богачей, с которых она рассчитывала собрать посильную дань. И тут для нее начался ряд разочарований. Во-первых, чуть ли не все намеченные ею “аристократы” вздумали отбыть за границу как раз в тот момент, когда она пожелала убедиться в реальности их существования. Прямо непостижимо, – к кому она ни толкнется, – ответ один: “господа за границу ухали”.

В одном доме ее, наконец, приняли. Хозяин, огромный, толстый господин с геморроидальным цветом лица и сонными глазами, равнодушно выслушав ее рассказ и, пошарив в карманах брюк, молча подал ей серебряный рубль. Она с негодованием швырнула его на пол, крикнула, что она не нищая, и величественно удалилась. В другом доме к ней сначала выбежала маленькая, кудластая собачка, белая, как снежинка, и стала лаять, а за собачкой выпорхнула маленькая, очень красивая и очень нарядная дама, с такою пышною прической, что ее хорошенькое личико казалось совсем кукольным. Увидав перепуганную физиономию мадам Пинкус, дама звонко расхохоталась и стала кричать на собачку: “Topsy, taisez vous dons, petite nigaude”[231]. Топси не унималась, дама села в качалку и. продолжая хохотать, спросила мадам Пинкус, что ей нужно. Та дрожащим голосом, не сводя глаз с собачонки, засвидетельствовала свое уважение и принялась излагать свои желания и надежды. На миниатюрное личико дамы легло облачко скуки. Она слушала, небрежно покачиваясь в низенькой качалке. Топси прыгнула к ней на колени и, вытянув тонкие ножки, положила на них свою мордочку, продолжая сердито ворчать на мадам Пинкус. Нарядная хозяйка потихоньку урезонивала ее: “Voyons, mon tou-tou, soyez sage…”[232]. Мадам Пинкус замолчала. Маленькая дама окинула презрительным взглядом стоявшую перед ней в почтительном отдалении сгорбленную фигуру просительницы.

– Я сочувствую только настоящей нужде, – вымолвила она своими пухлыми, розовыми губками. – Бедным людям нужен

хлеб, а вы просите на роскошь. На это у меня нет средств. Она поднялась и позвонила. Топси скатилась на ковер и с визгливым лаем опять набросилась на мадам Пинкус, онемевшей от реприманда[233] изящной, крошечной дамы. Она вернулась к Александре Петровне с душой, переполненною горечью, и, не удержавшись, поделилась чувствами с Дуняшей. Дуняша отнеслась к этому делу с присущим ей благоразумием.

– Сами виноваты, – решила она, – суетесь в воду, не спросясь броду. Здесь, матушка, не провинция, здесь народ ученый. Мало ли кто придет с улицы и начнет турусы на колесах разводить. Тут не такой обычай, Москва слезам не верит… Подай рекомендацию и прием тебе будет настоящий. Вы думаете все как ваша Александра Петровна? Как бы не так…

Мадам Пинкус поневоле должна была признать справедливость этих рассуждений, но гордость ее возмущалась против развязного красноречия Дуняши, она сожалела о своей откровенности с “грубою бабой” и давала обеты вперед держать язык за зубами. Она совсем было пригорюнилась, но Александра Петровна в тот же вечер послала ее к Полине Владимировне, где горничная ей вручила плотный, душистый конверт с золотою монограммой. Это было обещанное письмо к богатой банкирше, и мадам Пинкус моментально просияла. Она рассыпалась в благодарностях перед оторопевшею камеристкой, прося ее кланяться “генеральше”. Придя домой, к своим родственникам, она показала им драгоценный конверт и пространно описывала свою дружбу с “профессоршей”, которая ее любит, как родная мать. Про генеральшу она тоже рассказала много лестного. В эту ночь мадам Пинкус легла спать с облегченным сердцем, и до утра ей снились самые радужные сны.

VIII

Гигантские кариатиды, украшающие дом банкира Якобсена, произвели такое устрашающее впечатление на мадам Пинкус, что она долго не решалась войти в подъезд, охраняемый двумя дремлющими львами. Неизвестно, сколько времени она простояла бы в трепетном созерцании, если бы она не увидала городового. Ей показалось, что он направляется прямо к ней. В голове ее, подобно блеску молнии, промелькнули кишиневские рассказы о любознательности столичной полиции. Она уткнула голову как можно глубже в плечи и судорожно нажала перламутровую кнопку звонка. Двери распахнулись и перед ней вырос дюжий швейцар. Она еле пролепетала:

– Я имею дело до мадам.

– Барыня не принимают!.. Если за пособием, пожалуйте в контору, – ответствовал швейцар.

– Мне надо лично мадам, – настойчиво и уже гораздо храбрее произнесла мадам Пинкус, оправляясь от испуга.

– Говорят вам, не приказано принимать, ступайте в контору.

– У меня письмо…

– И с письмом в контору, там скажут.

– От генеральши Стоцкой! – выпалила мадам Пинкус, освобождая из-под своей бархатной накидки благоуханный конверт.

Швейцар нерешительно взял его, повертел, осмотрел со всех сторон и проговорил:

– Хорошо, я доложу, подождите тута в сторонке. Мадам Пинкус вздохнула свободнее. Она очутилась в обширном вестибюле. Через стеклянную мозаику длинных и узких стрельчатых окон пробивались лучи зеленовато-розового света, как в католической часовне. По стенам картины. Мраморная лестница устлана коврами. Статуи, цветы… Ни в одной опере, ни в Киеве, ни даже в Одессе, мадам Пинкус не видала таких декораций. Ее сутулая фигурка с выдавшимися вперед острыми плечами сделалась как-то еще незаметнее; она шмыгнула в глубь вестибюля и притаилась между подоконником и высокою спинкой дубового стула, над которым торчала только ее шляпка с дрожащим огненно-красным цветком. Она видела, как швейцар тронул белую пуговку, как по лестнице, сбежал молодой лакей в коричневой ливрее… Швейцар подал ему письмо и что-то сказал, показывая рукой в ее сторону. Лакей взял конверт и тоже, как швейцар, повертел его, потом поглядел, на нее (она не шелохнулась) и побежал опять наверх.

Мадам Пинкус стала ждать. Швейцар впускал и выпускал посетителей. Одни заезжали лишь для того, чтобы вручать швейцару карточку и сейчас же исчезали, другие проходили наверх: некоторые скрывались куда-то в боковые двери. Элегантная дама с огромною белою птицей на шляпе, в длиннейшем боа из белых страусовых перьев быстро и легко замелькала по ступенькам, шурша шелковыми юбками. Вслед за ней, подпрыгивая, как резиновый мячик, поднялся бритый молодой человек, держа в руке сияющий цилиндр. У мадам Пинкус затекли ноги от неудобной позы: мысль напряженно работала под напором новых впечатлений; ей было жарко, но она не решилась снять накидку и только чуть-чуть расстегнула ворот. Томительное чувство ожидания охватывало ее все сильнее. Ей казалось, что про нее забыли, что уж давно-давно стоит она тут за оградой этого тяжелого стула. Вдруг швейцар с особенною

стремительностью распахнул дверь и, вытянувшись в струнку, впустил высокого господина в военной шинели.

– Дома? – спросил военный, как-то одним движением плеч сбрасывая шинель, которую ловко и подобострастно подхватил швейцар.

– Так точно, ваше превосходительство.

Мадам Пинкус впилась глазами в генерала. Да, да это настоящий генерал с красными лампасами на штанах, с эполетами, с орденами… Он подошел к зеркалу, вынул из кармана носовой платок, громко высморкался, вытер и пригладил густые, щетинистые усы, повернулся, чуть не повалил стул и… пристально взглянул на мадам Пинкус. Ей почудилось, что он хочет ей что-то сказать, и у нее от страха покатилось сердце. Но генерал уже перевел свой взор на бронзового арапа, у которого из голого живота выползала змея, держащая в зубах люстру, и, звякнув шпорами, он зашагал дальше, слегка волоча непокорную правую ногу. Мадам Пинкус смотрела на его широкую, прямую спину, на красный затылок, жирною складкой нависавший на шею, и ей начинало представляться совершенно невероятным, чтобы наступила такая минута, когда она… она! будет взбираться по той же лестнице, по которой с такою уверенностью шагает генерал, по которой весело, как птичка, только что взбегала прекрасная дама и за нею бритый молодой человек – все эти богатые, счастливые существа из другого мира, ей чуждого и недосягаемого. Сама эта лестница начинала ей казаться чем-то заколдованным, бесконечным, неумолимым, что ведет в заповедную сферу, куда таким, как она, нет пути. И ей вдруг стало страшно. Ей захотелось зажмурить глаза и бежать, бежать без оглядки… Ее удержал остаток здравого смысла и *жгучее* любопытство. Ведь тут, в этом дворце, – урезонивала она сама себя, – живут евреи, наши братья, и все эти генералы и генеральши ездят сюда в гости. Значит, есть евреи, которых они не презирают… Какие же это евреи?.. Она про них слыхала, но никогда их не видала вблизи… Вероятно, это какие-нибудь особенные, какие-нибудь необыкновенные гении?.. Не может же быть, чтобы вся эта честь оказывалась богатству. Деньги даже для нее, для жалкой мадам Пинкус, не все… Если бы Господь через своего ангела ее спросил: что ты хочешь для своего сына – чтобы он был богат, как Ротшильд, или знаменит, как Рубинштейн?., она бы не колебалась – она бы выбрала славу… а если б она даже выбрала деньги? кто мог бы ее осудить!.. Один Бог знает, сколько она на своем веку голодала и холодала, сколько горьких слез пролила, сколько унижений вытерпела. И все из-за бедности… А знатным господам стыдно унижаться перед богачами. – знатным

господам, которые *могут* быть генералами и графами, и учеными, и губернаторами, для которых открыты все дороги… Нет! этого не может быть… Из-за этого “они” не станут дружить с нами. Просто они удивлены, какие на свете бывают замечательные евреи и считают за счастье знакомство с ними… И чувство национальной гордости наполнило сердце мадам Пинкус. Она размечталась. Ну, конечно, здесь живут люди необыкновенные, избранные, благодетели и заступники за несчастных в обиженных… Может быть, сам Бог привел ее сюда, может быть, тут и есть тот случай, та судьба, которая вдруг возьмет человека из праха и возвеличит его над всеми… Ведь недаром умные люди говорят, что каждый должен найти свою судьбу. Многие всю жизнь ее *ищут* и не находят… Положим нигде не сказано, что люди, а тем более евреи, должны быть счастливы… Но ведь бывали примеры! Какая-нибудь особенная удача, протекция… Разве не чудо, что месяц тому назад она считала за честь, если жена исправника, которая три года должна ей десять рублей за вышитые сорочки, ей скажет: “здравствуйте, мадам Пинкус”. А теперь она стоит в этом дворце, куда генералы приезжают, как к себе домой. За сыном ее, точно за царским ребенком, ухаживает профессорша, которую знает весь город (может быть, вся Россия!). Ее Яша, восьмилетний мальчик, будет петь в княжеском доме рядом с самыми большими знаменитостями. И все это не чудо? Тогда она уж не знает, что такое чудо. И почему нет? Если на детях до седьмого колена взыскивается за грехи родителей, то почему родителям когда-нибудь не получить свое счастье через ребенка. Мало с ними мучений!.. И в воображении мадам Пинкус стали развертываться картины одна другой волшебнее. Она уж видела себя хозяйкой этого “дворца” и бронзового арапа с ползущею из живота змеей, перед ней заискивали генералы и важные дамы, лакеи стояли перед нею на вытяжку… Из этого блаженного состояния ее вывел голос перегнувшегося через перила лакея, который кричал:

– Федор, женщина с письмом от генеральши Стоцкой тут? Барыня ее требует…

– Идите скорей, – сказал швейцар. – Калоши на вас есть? – прибавил он. – Оставьте их здесь, а то ковер запачкаете.

Мадам Пинкус с усилием стащила калоши, торопливо сунула их в уголок (ей было стыдно, что они такие грязные и рваные) и поползла наверх, еле переставляя отяжелевшие от долгого стоянья ноги.

– Идите прямо. – говорил ей вслед швейцар, – там покажут, где вам обождать.

По мере того, как она подвигалась – вырастало и ее

изумление. С каждой площадки по обе стороны разбегались целые анфилады комнат. Картины, статуи, цветы, зеркала, какая-то невиданная мебель… нет, никогда ей и во сне не грезилось такое великолепие. На верхней площадке она увидала лакея. Он ей сказал: “вам не сюда. Спуститесь на одну лестницу и поверните направо в зимний сад. Барыня сейчас выйдет”.

Мадам Пинкус поглядела на него, как сомнамбула. Лакей сжалился над ней.

– Ну, пойдемте, я покажу. Он сошел с нею в бельэтаж и сказав: “ждите тут” оставил ее в длинной галерее со стеклянным потолком и стеной, заставленной деревьями, цветами, аквариумами. В огромной проволочной клетке порхали пестрые птички. Эта яркая, отовсюду бьющая в глаза роскошь давила мадам Пинкус, внушала ей суеверный ужас, словно перед нею была пасть ненасытного чудовища, и ей опять мучительно и страстно захотелось убежать. Ноги ее совсем ослабели, в голове было холодно и пусто, на душе тоска. Она прислонилась спиной к желтой мраморной колонне, чтобы не упасть. Между пальмами стояли бамбуковые кресла и диванчики, но она не посмела присесть… В эту минуту, волоча за собою шлейф серого суконного платья, показалась дама, очень высокая, сухая и прямая, с маленькою головой и большим горбатым носом. В лице ее, изжелта бледном, поражала крепкая, почти квадратная, выдающаяся вперед нижняя челюсть. Дама сделала какое-то странное движение, словно она понюхала воздух, потом села в плетеное кресло, расправила шлейф и принялась тщательно и серьезно чистить щеточкой свои ногти. Она даже не взглянула на мадам Пинкус. Можно было подумать, что она или не заметила, что в нескольких шагах от нее стоит живое существо, или же забыла о его присутствии. Мадам Пинкус окончательно растерялась, не зная, что ей предпринять. Судьба смилостивилась над нею. В зимний сад вошла стройная, черноволосая барышня в темном платке, с книжкой в руке; она окинула быстрым взглядом безмолвную группу обеих женщин и с явной насмешкой воскликнула: – Мама, разве вы не видите? Эта дама, вероятно, к вам по делу.

Банкирша мгновенно вышла из оцепенения, положила на колени щеточку и вытерла платком свои унизанные перстнями, плоские пальцы.

– Я не слепая, – заметила она по-французски дочери, устремляя на мадам Пинкус взор круглых желтоватых глаз без ресниц.

– Вы от генеральши Стоцкой? Откуда вы знаете генеральшу?

– Голос у нее был громкий, сиплый, режущий.

Мадам Пинкус промолвила что-то невнятное. От волнения у нее обрывались слова, она тяжело дышала, прижималась к колонне и старалась улыбаться, но вместо улыбки по ее сконфуженному лицу расползалась жалкая, слезливая гримаса.

– Я ничего не понимаю, говорите яснее, – нетерпеливо сказала банкирша.

– Mais vous la terrorisez[234], – вполголоса заметила дочь. – la paurve femme va se trouver mal[235].

Мадам Пинкус инстинктивно почувствовала поддержку и немного приободрилась.

– Мы так много наслышаны… мадам… о ваших благодеяниях, – начала она. – Я бы никогда не осмелилась вас беспокоить… я не такая глупая, чтобы не понимать, что ваше время дороже золота… Нужда гонит человека к чужим дверям, а мать для своего ребенка на все готова… Вы сами мать…

– Говорите, пожалуйста, короче, что вам нужно, – сухо и сквозь зубы проговорила банкирша.

Мадам Пинкус покраснела. В ней проснулось чувство оскорбленного равенства, никогда не угасающее в душе даже самого забитого еврея. Ее пылающие, черные глаза так и впились в бескровное, вялое лицо богачки.

– У моего сына талант, – произнесла она с достоинством?.. – огромадный талант. Он поет, как соловей, и может играть по слуху на всех инструментах! Александра Петровна Неволина не отпускает его от себя и говорит, что он гений, что он бог… Разве я знаю! – патетически воскликнула мадам Пинкус, и не без иронии прибавила: – а она, кажется, в этом деле понимает. Теперь мой Яша будет петь у одной княгини вместе с самыми важными профессорами.

– Это уж наверно, или вам только обещали? – спросила банкирша значительно благосклоннее.

Мадам Пинкус уловила этот оттенок и почувствовала себя гораздо крепче на ногах.

– И еще как обещали! – подтвердила она с необыкновенною уверенностью. – Княгиня его на руках носит. Только бы Яша не закапризничал!., а они считают за праздник, когда от поет.

– Скажите, – возмутилась банкирша. Он еще может капризничать и не хотеть. Этого еще не достает.

Мадам Пинкус усмехнулись.

– Что вы хотите, мадам! У него огромный талант, это верно, как то, что я живу на свете. Но он все-таки ребенок и не умеет понимать свою пользу. Бедные дети – ведь тоже дети…

Банкирша остановила ее величественным взмахом руки.

– Я все-таки не понимаю, чего вы от меня хотите.

– Ничего больше, как чтобы вы обратили на нас свое высокое внимание, мадам, и Бог наградит вас сторицей – вас, вашего мужа и ваших детей. Профессорша и генеральша меня обнадежили, что вы можете дать моему Яше пенсию или какое-нибудь место моему мужу. Если Яша тут останется, то придется нам всем из Кишинева переехать…

– Другими словами, мы должны взять на свою шею целое семейство? Недурно придумано, – колко произнесла банкирша.

– Сохрани Бог, – возразила мадам Пинкус. – Мой муж честный человек и не дармоед… Но без поддержки… хоть первое время, в чужом городе…

– А право жительства вы имеете? – перебила банкирша.

– Княгиня сказала генеральше, что это она уж берет на себя, – солгала мадам Пинкус, желая ослепить гордую богачку своими аристократическими связями.

Но та осталась непреклонна.

– Я ничего не могу вам обещать, – сказала она. – Евреи думают, что мы можем обеспечить весь еврейский народ… Я вам не отказываю, я хочу сама судить о вашем сыне, а тогда мы увидим. Я напишу генеральше Стоцкой, чтобы она оставила для меня билеты на концерт княгини. Если ваш мальчик, действительно, такая редкость, – то я об нем подумаю.

Банкирша кивнула головой, давая понять, что аудиенция кончена. Мадам Пинкус поняла, отвесила низкий поклон банкирше и ее дочке, молча сидевшей в отдалении, и тихо поплелась назад по направлению к монументальной лестнице. Она была уничтожена и вся кипела бессильным негодованием голодного против сытого.

IX

– И что это за страсть всюду лезть, выскакивать из своей среды, всем надоедать! – воскликнула банкирша, когда затихли тяжелые шаги мадам Пинкус.

Дочь молчала, не отрывая глаз от книги.

– Ведь вот эта женщина, – продолжала мать. – посмотреть на нее – нищая! карикатура! говорит так, что слушать больно. (При этих словах барышня метнула на свою мамашу взгляд неизмеримого презрения). И что же!.. Ко всем пробралась, мальчишка ее будет петь – шутка сказать – у княжны Зыбиной. Вот из-за таких нахалов страдают евреи…

Дочь закрыла книгу.

– Ошибаетесь, – промолвила она ледяным тоном. – Бедного еврея просто топчут, даже не замечая… ну, как червяка,

попавшего под ногу. А таких, как мы с вами, – презирают.

– Это еще что за новая фанаберия![236] – раздражительно заметила банкирша. – Слава Богу, нас, кажется, все уважают…

Дочь пожала плечами.

– Еще бы не уважать, – начала она насмешливо. – На последнем нашем вечере один пшют[237], танцующий у нас третью зиму, спросил у другого: “скажите, как отчество хозяина, я все забываю…”

– Она с ума сошла! – воскликнула банкирша и погрозила кулаком в пространство. – Эмма, я тебе говорю, ты с ума сошла, повторила она. обращаясь непосредственно к дочери.

– Очень возможно. Мне все опротивело, все! – истерически всхлипнула Эмма. – Это вечная комедия… Ведь у вас нет ни одного друга. И откуда ему взяться! Разве у нас бывает кто-нибудь бескорыстно? Можно подумать, что во всем этом большом городе нет ни одного студента, ни одной образованной молодой девушки и вообще ни одного порядочного человека…

– Ты кончила? – перебила мать…

– Нет не кончила… Скажите на милость, чего ради вы издевались битый час над этою несчастною женщиной? Только потому, что она еврейка. Никогда бы вы так не обошлись с русской, никогда!., не посмели бы!..

– Может быть, ты хочешь сделаться сионисткой, со всеми нищими? – ядовито вставила банкирша.

– Я готова сделаться чертом, – гневно возразила Эмма. – Только бы избавиться от нашего проклятого житья!

Бледное лицо банкирши покрылось багровыми пятнами, она тряслась от негодования.

– Ты не барышня, – произнесла она упавшим голосом, – ты… ты – пожарный. Уйди, уйди… Ты меня убиваешь.

Дочь в ответ лишь рукой махнула и бросилась вон из зимнего сада. Впопыхах она толкнула корзину с белоснежными ландышами, корзина закачалась и с грохотом полетела на мозаичный пол.

X

На нетерпеливые расспросы Александры Петровны о том, как ее приняла госпожа Якобсен, мадам Пинкус отвечала общими фразами.

– Не дом, а дворец… Важная особа… Когда я пришла, у ней, может быть, десять генералов сидели… С кем она должна была заниматься, с ними или со мной?.. Ну, конечно, просила кланяться с уважением генеральше и вам. Приедет на концерт

непременно… А дочка совсем графиня, говорит по-французски!.. Я поняла, что она очень об Яше интересуется…

Мадам Пинкус было стыдно сказать правду, да и боялась она, как бы это не повлияло дурно на Александру Петровну. Скажет себе: если евреи не хотят знать своих, то зачем мне голову ломать? Но окончательно скрыть свое разочарование она не сумела, да и обстоятельства складывались так, что поневоле побуждали к откровенности. Родственники, у которых мадам Пинкус приютилась, явно на нее дулись, находя, что всему есть граница и что “пара дней” (она им сказала, что пробудет в Москве всего “пару дней”) есть выражение символическое, означающее ни более, ни менее как бесконечность. Словно на грех, старый дворник отошел, а новый еще не применился к нравам и усердствовал. Он неукоснительно требовал паспорт, и три серебряных рубля, перешедших из тощего портмоне мадам Пинкус в карман его плисовой жилетки, поколебали его миросозерцание всего лишь на три дня. Рискнуть же более внушительною суммой она не могла ввиду неизвестного будущего. Александра Петровна заметила что мадам Пинкус не по себе, что она перестала философствовать, сидит пригорюнившись в уголку и только от времени до времени глубоко вздыхает. Даже пение Яши ее не приводило в такой шумный восторг, как обыкновенно.

Между тем, под руководством Александры Петровны, он с каждым днем пел все лучше и лучше. Александра Петровна не переставала дивиться на мальчика. Он трогал ее нежностью и какою-то особенною, врожденною деликатностью, с которою он выслушивал ее замечания. По свойственному его возрасту легкомыслию, он, по-видимому, не сознавал “шаткости” своего положения, играл, пел, шалил и бегал по комнате так свободно, как будто он имел на это все права Он поправился, окреп и даже вырос; бледные щечки зарумянились, голова его уж не казалась чересчур тяжелою для его тонкой шеи. и усталое старческое выражение растаяло в его посветлевших черных глазах. Он подружился со всем классом Александры Петровны, его ласкали и баловали наперерыв, и целый день то здесь, то там раздавался серебристый смех мальчика. Такая “смелость”, прежде всего, уронила его в глазах Дуняши. Она выговаривала Александре Петровне, что мальчишка совсем от рук отбился, что с ним сладу нет… Разве это порядок! Каждый должен знать свое место… Что он за барин такой… Оставить бы его на кухне. Нужно спеть или сыграть при господах – можно его позвать, и опять назад. Вот тогда бы из него был толк…

Александра Петровна только смеялась на эту воркотню, но

Яша чувствовал, что Дуняша его не любит, и сторонился ее. Мадам Пинкус, как тонкий дипломат, бранила сына при Дуняше и этим поддерживала политическое равновесие. Она понимала силу Дуняши и подлаживалась к ней всячески. Убедившись, что у родственников ей дольше оставаться невозможно, она опять-таки прибегла к покровительству Дуняши: поведала ей со слезами свою беду и смиренно просила посоветовать, как быть.

– Поверьте, – говорила она, – что мне стыдно вам и Александре Петровне в глаза глядеть. Сколько хлопот вам из-за меня, вы думаете, я не понимаю?.. Бог видит, я готова уехать до концерта, чтобы не быть в тягость благородным людям, а только жалко. Может быть, тут все счастье ребенка. Столько истратила, столько бегала – и все задаром.

Дуняшу это разжалобило.

– Куды теперь уезжать, – сказала она. – Уж до концерта у нас как-нибудь перебьетесь. Я скажу Александре Петровне. Главное, на публику не суйтесь и в кухню тоже без дела не выбегайте, и чтобы без вещей. Пришли с парадного, тут вы, нет вас, никто не знает. Но только уговор лучше денег. После концерта уезжайте и с Яшей со своим. Александре Петровне отдыхать надо летом. Мы с нею каждый год на Балтийское море уезжаем, По своей беспечности да простоте, она из-за вас тут все лето готова проваландаться…

Мадам Пинкус поклялась вечным покоем своих усопших родителей, что не просидит лишней минуты и во всю жизнь не забудет великодушия Дуняши.

Александра Петровна разрешила мадам Пинкус переселиться к ней без всяких ограничений. Дуняша предварительно сводила ее в баню и простерла гостеприимство до того, что устроила ей постель на своем собственном сундуке. Мадам Пинкус едва легла, заснула, как мертвая.

XI

Концерт был в разгаре. В освещенной электричеством круглой зале с белоснежными колоннами и хорами не было ни одного свободного места. Концертом княжны Зыбиной обыкновенно заканчивался сезон и присутствовать на нем считало священным долгом несколько десятков лиц, чувствующих себя “столпами общества”, и две-три сотни, которым хочется уверить в этом себя и других. Тут были всем известные фигуры несменяемых меломанов и меценатов, составляющих как бы принадлежность концертных и театральных зал. Без них не обходится ни одно сборище. Они неизменно заседают в бенуарах

и первых рядах кресел. Проходят годы, погибают герои, вырастает новая жизнь. “Несменяемые” желтеют, покрываются морщинами, одни высыхают, другие жиреют, но, кашляя, кряхтя и задыхаясь, они остаются до конца в зрительном зале, как часовые на своем посту. Они уже не смотрят, не слушают, а только сравнивают, т. е. вспоминают.

Старая княжна сидела на бархатном диване, недалеко от эстрады, как только артист кончал свой номер, она вставала с блаженною улыбкой слушала аплодисменты и проходила через низенькую дверь в артистическую. Там за двумя столами, круглым и длинным, хозяйничали молодые девушки, бесчисленные племянницы княжны, дочери ее кузин и приятельниц. На круглом столе шипел серебряный самовар, стояли сандвичи, печенье, фрукты, конфеты. На длинном столе между батареей рюмок и бокалов торчали из массивных холодильников стройные горлышки бутылок. Тут же под орлиным оком торжественного метрдотеля бесшумно и быстро двигались официанты. В фойе артистов проникали лишь избранные, свои. В антрактах мужчины приходили сюда поболтать с дамами. Это были все люди почтенного, даже “маститого” возраста. Они говорили с женщинами, как с избалованными детьми, но эта искусственная речь порой оживлялась забавной шуткой, остроумным замечанием, тонким злословием. Зато молодежь поражала серьезностью. В безукоризненных фраках и мундирах, тощие, большею частью лысые, с зеленоватым цветом лица и безучастными взорами, они разговаривали, двигались, кланялись, словно автоматы на пружинах.

В дамской уборной сидела Александра Петровна. Прижавшись к ней, словно ему было холодно, стоял Яша. Коротенькая, темная бархатная курточка с большим кружевным воротником, коротенькие штаны, длинные, черные шелковые чулки, башмаки с пряжками делали мальчика неузнаваемым. Ни дать ни взять паж, сорвавшийся с плафона дворца дожей.

Костюм был сооружен собственными руками Александры Петровны по гравюре, доставленной великолепною Пашет. Она же пожертвовала и воротник. Яша был в восторге. Он не отходил от зеркала, и когда, после примерки костюм убрали в шкаф, дело не обошлось без слез. И теперь он поминутно охорашивался и потихоньку твердил:

– Ведь это мой костюм?

– Твой, конечно.

– Я могу его носить завтра и всегда?

– Если споешь хорошо, то можешь, я тебе тогда подарю еще лучше, – посулила Александра Петровна.

– Не надо лучше. Пусть этот… да? – настаивал Яша.

– Ну, конечно, да, – терпеливо отвечала Александра Петровна. – Только, смотри, милый, пой, как дома. Ты ведь не боишься?

– Нет. А где мама? – вдруг спросил Яша.

– Мама придет после. Ей теперь некогда. – сказала Александра Петровна, усаживая его к себе на колени.

Яша призадумался.

– Не хочу без мамы, – объявил он и стал сползать с колен Александры Петровны, с явным намерением обратиться в бегство.

– Что ты, милый! – всполошилась Александра Петровна, – мама придет, я сейчас за нею пошлю.

– В карете? – спросил Яша и остановился.

– Ну да, в карете, как мы с тобой приехали. Я попрошу княжну, и она за ней пошлет. Ты только не волнуйся и когда будешь петь – смотри на меня. Слышишь?

– И на костюм тоже. – прошептал Яша. Крейцеровою сонатой, удивительно сыгранною приезжим скрипачом и знаменитою пианисткой, закончилось второе отделение.

Артистическая вся наполнилась. Многие обступили Александру Петровну, иронически осведомляясь о вновь открытому ею чуде. Она добродушно отражала насмешки. Княжна сидела с гладко выбритым изящным стариком, к которому почти все присутствующие относились с любезностью очень похожую на подобострастие. Это был Горбовский, весьма влиятельный сановник.

В молодости либерал, даже красный, он вовремя успел остановиться и, что еще труднее, сумел сохранить симпатии во всех лагерях. Он никогда ничего ни для кого не делал, но владея в высшей степени искусством приветливого обращения, никогда никому не отказывал в сочувствии.

Все уходили от него обласканные и очарованные: никто на него не сердился, наоборот все считали прекраснейшим человеком. Скептики, правда, называли его Талейраном, а то и просто старою лисицей, но они же, при отдаленном намеке на “неблагополучие” прибегали к нему за поддержкой и наставлением. Княжна преклонялась перед его умом и теперь возлагала на него все свои надежды.

– Он такой гениальный! – говорила она Александре Петровне, – он уж устроит нам жительство для нашего маленького чуда.

Началось второе отделение.

Когда Яша в сопровождении Александры Петровны появился на эстраде – на многих лицах мелькнуло выражение недоумения.

– Это что еще такое будет? – спрашивали друг друга удивленным шепотом меломаны и меценаты.

Яша широко раскрытыми глазами глядел на публику. Он не узнавал залу, в которой вчера еще пел при княжне под аккомпанемент Александры Петровны. Вчера в зале было совсем темно, а теперь в ней такой свет, что глазам больно.

Александра Петровна, вся красная и дрожащая, села за рояль, шепча мальчику: “смотри на меня и не бойся”. Но Яша не боялся. Он был поражен невиданным зрелищем и так заинтересован, что, казалось, забыл, для чего он здесь. Но едва раздались первый ноты аккомпанемента, он насторожился и запел. Он запел старинную итальянскую молитву, которую, по желанию княжны, с ним разучила Александра Петровна. Слов нельзя было разобрать, только волны нежных, чистых звуков неслись в залу. Как-то не верилось, что они вылетают из груди этого тщедушного, маленького существа. То были звуки надежды, радости, тихая печаль, светлая и кроткая.

Александра Петровна уж не волновалась и вся сияла гордостью победы. “Bauerlid” и “Ручей” Шуберта вызвали бурю восторга. Яша два раза повторил свою программу, а его вызывали и вызывали. В ребенке проснулся артист. Он был упоен успехом, его черные глаза блистали торжеством, он кланялся и улыбался окружавшей его незнакомой толпе. Иностранный скрипач, целуя, снял его с эстрады и на руках понес в артистическую.

– Каков! – воскликнула княжна, увидав, что Горбовский продолжает аплодировать мальчику.

– Изумительно! Невероятно! Я никак не ожидал, – произнес сановник.

– Как я рада, – сказала княжна. – Присядемте тут, мне нужно с вами поговорить. Вы ведь побеждены и теперь, надеюсь, поможете мне его устроить.

– Все, что от меня будет зависеть, княжна. Но к сожалению, есть препятствия, против которых я бессилен. Ведь этот маленький волшебник, кажется, еврей?

– Конечно! Будь он китаец или абиссинец, я бы и без вас его устроила, – довольно резко возразила княжна.

Банкирша, сидевшая с дочерью в первою ряду, чувствовала себя в затруднительном положении. Она видела воочию, как весь этот чопорный beau monde восторгается сыном “нищей” и ей было досадно за свой промах.

– Кто бы мог этому поверить. – обратилась она к старшей дочери. Та сделала презрительную гримасу.

– А вы-то! чуть не выгнали эту несчастную женщину. Вот видите! не всегда значит: если бедняк, то уж естественный

грабитель.

– Нельзя ли хоть тут без домашних сцен, – процедила сквозь зубы Нелли, младшая дочь банкирши. – Tue s stupide, Emma…[238] Мама, на нас плывет Стоцкая. Как намазана!

Пашет приветствовала их самою обворожительной улыбкой.

– Здравствуйте, Берта Михайловна. Нелли, до чего вы сегодня интересны! – Меня уж спрашивали о вас. Кто? не скажу!.. А у Эммы лицо Юдифи. Ведь это Юдифь убила Олоферна?[239] Ха-ха-ха, не сердитесь! Я шучу. Вы на меня не в претензии за мальчугана, Берта Михайловна? Ведь в самом деле чудо! Вы как находите?

– Это необыкновенное явление, – начала банкирша, – в такой невежественной среде.

Пашет, испугавшись продолжительного красноречия “боярыни Орши”, остановила проходившую мимо княжну и представила ей мадам Якобсен и ее прелестных дочерей. Княжна с ласковой улыбкой пожала им всем руки и сказала:

– Надеюсь, вы примете участие в судьбе этого замечательного ребенка?

– Это наш долг, княжна – воскликнула банкирша.

– Разумеется, – простодушно подтвердила княжна. – Ведь он ваш единоверец, стало быть ближе вашему сердцу, чем всякий другой.

– О, это для меня безразлично. Для таланта нет нации – напыщенно заявила банкирша.

Княжна посмотрела на нее с некоторым недоумением, потом опять ласково поклонилась, извинившись, что она еще должна поблагодарить артистов, и направилась в фойе. Банкирша была разочарована: она рассчитывала на большее внимание со стороны княжны. Эмма иронически покосилась на мать. Нелли, вздернув свою красивую, белокурую головку, промолвила:

– Rira mieux, qui rira le dernier[240]. Публика стала расходиться. Банкирша, обиженная и недовольная, с шумом отодвигала ряды опустевших стульев, чтобы скорее добраться до выхода, не замечая обращенных на нее со всех сторон любопытных взглядов. Дочери, соединенные в общем негодовании на мать, выступали медленно, тихо разговаривая между собою, и с таким независимым видом, словно несшаяся впереди их женщина была им совершенно чужая.

XII

Начались хлопоты… Княжна поехала к Горбовскому и была крайне изумлена когда, вместо любезности и готовности к

услугам, она встретила совсем для нее непривычное упорство и официальную непроницаемость.

– Ведь вы его слышали – убеждала княжна. – Ведь это талант из ряду вон.

– Я в музыке профан, княжна, однако знаю, что из так называемых вундеркиндов большею частью ничего не выходит.

– Послушайте, – мягко возражала княжна, – это с вашей стороны какое-то непонятное упрямство. Я старая музыкантша, и говорю вам: перед нами редкий, может быть, великий талант.

– Но он еврей, княжна. Евреи, за исключением нескольких категорий, по закону не имеют права жительства вне черты еврейской оседлости. Я отлично понимаю, что в некоторых случаях это – довольно жестокая штука, но поймите, что я ничего против этого не могу… И хоть бы дело шло об одном мальчике, а то, вопреки ясному закону, надо разрешить пребывание в столице целой семье каких-то проходимцев.

– Не думаю, чтобы столице от этого угрожала опасность, – язвительно заметила княжна – et en fait de “проходимцы” – прибавила она. – ils ne seront pas les seuls[241].

Сановник сочувственно осклабился.

– Право, княжна, вас увлекает ваше доброе сердце. Поверьте, эта компания отлично пристроится. Они такие мастера обходить закон.

Княжна вдруг вспылила.

– Знаете ли вы, что я вам скажу, мой милый, – воскликнула она, – вы меня удивляете. Я не имею претензий быть… быть… une frondeuse enfin[242]. Но если бы со мной так обращалась, как с ними et bien! telle que vous me voyez[243], я бы тоже стала обходить закон. Только бы и думала, как бы мне обойти закон.

Горбовский засуетился

– Vouons, vouons[244]. Поймите княжна, я *не не хочу*, а *не могу* исполнить ваше желание. Да окрестите вы их! Чего проще.

– Je ne demanderais pas mieux[245], – вздохнула княжна, – но это невозможно.

– Не желают? Ну, еще бы. Этакие закоренелые фанатики, – сказал Горбовский. – Я вижу только один исход, – продолжал он, помолчав немного.

– Какой?

– Поселите их у себя в доме, княжна. – промолвила Горбовский с самым невинным видом. – У вас их никто не потревожит. Можно даже сказать кому следует, чтобы на этот “беспорядок” глядели сквозь пальцы.

Княжна рассердилась не на шутку.

– Ah mais!.. ah mais. Elle est bien bonne celle la… Vous etes dun

jolit oapet…[246] предлагать мне… княжна запнулась, подыскивая слово – предлагать мне такую канитель. – докончила она. – Скажите прямо, что вы мне отказываете.

– Да нет же, княжна. Ну хорошо, я постараюсь! Дайте мне только время… я придумаю.

– Как “обойти закон”, – подсказала княжна, уже успокоенная и смеясь.

– Конечно, – ответил Горбовский, также смеясь.

Княжна уехала от него довольная, уверенная, что она поставила на своем и не поддалась “Талейрану”!

“Талейран” тоже был доволен, что он так ловко спровадил несносную старуху, – воображает, что ей все позволено – ворчал он.

Княжна сообщила Александре Петровне о своем успехе у Горбовского.

– Теперь вы уж прямо от моего имени обращайтесь к нему, – сказала она – Он обещал. Положим, он “Талейран!” Но меня он обмануть не посмеет.

Александра Петровна рассыпалась в благодарностях.

XIII

Прошла неделя. Ответа от Горбовского не было. Александра Петровна отправилась к “Талейрану”. Он ее не принял. Тогда она опять бросилась к княжне, но, как всегда бывает в таких случаях, попала к ней в неудобную минуту: княжна собиралась на заседание комитета нового благотворительного общества. Тем не менее она с обычною приветливостью выслушала Александру Петровну, сказала, что “Талейран” невыносим, и что она ему намылит голову.

В таком напряженном ожидании прошла еще неделя. Мадам Пинкус не дремала и стала отлаживать дело с “другого конца”, как она выражалась. Она опять принялась за богачей единоверцев. Ни один от нее не укрылся. Всюду она кланялась, плакала, унижалась… Некоторые откупались от нее более или менее щедрою данью, но она не унималась, приходила снова, и так под конец надоела, что почти во всех домах приказано было не пускать ее на порог. Особенно не повезло ей у банкирши. Мысль, что этой аристократке, этой взысканной судьбой счастливице ничего не стоит ее спасти, постоянно сверлила в мозгу мадам Пинкус, не давала ей покоя и обратилась в нестерпимую idee fixe[247].

И вот она стала являться к банкирше каждый день. Ей отказывали, говорили, что барыни дома нет, что она больна,

занята. Мадам Пинкус уходила, а на следующий день упорно возвращалась назад. Швейцар так привык к ее появлению, что перестал обращать на нее внимание и лишь из чувства профессионального долга убедительно просил оставить их, наконец, в покое.

– Одни из-за вас неприятности, – объяснял он ей. – Мне выговаривают: “зачем пускаешь”… А что я могу поделать! Не в драку же с вами лезть.

Однажды она все-таки добилась, если не свиданья, то лицезрения банкирши.

Швейцар в этот день был не в духе и без разговора захлопнул перед ее носом тяжелую, как портал храма, дверь. Мадам Пинкус постояла несколько минут в раздумье, потерла рукой лоб и медленными шагами побрела к воротам. Тут она остановилась на мгновенье и затем, словно повинуясь какой-то роковой силе, повернула назад к грандиозным кариатидам банкирского палаццо. Она тупо смотрела на чудовищные мускулы каменных геркулесов, и в голове ее проносились совершенно нелепые мысли. Сколько, например, могут стоить эти голые истуканы? Думала она. Семь тысяч, наверное, а может быть и десять. Что, если б у нее очутились такие деньги! Ведь она могла бы спокойно прожить всю жизнь… Или если б ей дали только то, что в этом доме проживается в один день! Уж она бы им показала!.. Она бы увезла Яшу за границу, и тогда они бы узнали, кого они от себя выпустили…

Из этих мечтаний ее пробудил мирный топот лошадиных копыт и мягкий стук колес по асфальту. Она подняла глаза и увидала щегольскую коляску, запряженную парой золотисторыжих лошадей. Выбритый кучер, в темной ливрее, в белых штанах в обтяжку и лакированных сапогах, с длинным бичом в руке восседал на козлах. Лакей, в такой же ливрее, вместе с швейцаром, подсаживал в коляску банкиршу и Эмму. Мадам Пинкус вздрогнула, кинулась вперед и стала умолять банкиршу уделить ей пять минут. Та даже не обернулась, надменно уселась в экипаж и так повелительно посмотрела на остановившуюся в нерешительности дочь, что та моментально прыгнула в коляску.

Тогда мадам Пинкус заговорила быстро-быстро на жаргоне. Она кричала банкирше, что Бог ее накажет за гордость, что грех забывать своих братьев, что она тоже еврейка, что ангел смерти не боится высоких лестниц… И бежала в вдогонку за экипажем, выкрикивая самые ядовитые, самые исступленные ругательства. Банкирша, крепко сжав губы, пристально глядела в пространство, а мадам Пинкус все яростнее сыпала ей вслед проклятия. Эмма не

выдержала, и вынув из плюшевого мешочка кошелек – бросила его мадам Пинкус и с нервною дрожью закуталась в кружевной шарф, зажмурила глаза, лишь бы не видеть этот жалкий, жестикулирующий силуэт…

У Александры Петровны мадам Пинкус ждала новая неприятность. Не успела она раздеться, как Дуняша ее огорошила словами:

– Вы не больно тут располагайтесь. И то нам за вас штраф платить приходится. За свою же простоту и плати. Недаром пословица говорит – простота хуже воровства.

– Штраф? – испуганно пролепетала мадам Пинкус. – За что штраф?

– А за то, что людей без паспортов держим. Дворник был… Зачем, говорит, неизвестную личность укрываете? За это, говорит, и вам и нам может быть плохо.

Дуняша умолкла, удовлетворенная произведенным эффектом (мадам Пинкус побелела, как скатерть).

– Вы уж там на меня сердитесь, – начала опять Дуняша, – а только я барышне сказала. Своя рубашка ближе к телу. Сами не молоденькая. Можете понять. И то Александра Петровна из-за вас извелась. Всегда все к ней с почетом с уважением, а тут, на-ко-ся! Тому кланяйся, этого проси и отовсюду тебе отказ.

Мадам Пинкус не возражала. Это еще больше раззадорило Дуняшу.

– Стало быть, ваше такое назначение. – продолжала она. – нет вам ходу. Ну и покорись. Лбом, мол, стенку не прошибешь и против рожна прать тоже нечего. Погостили – и будет. Опять же и об мальчике надо подумать. Он об себе теперь все равно как о господском ребенке мечтает. А между прочим капиталы для него еще не припасены. Ведь вот из ваших же евреев, которые богатые – сами же вы говорили – никакого об вас попечения не имеют. Тут вы, нет вас – для них все единственно… Мадам Пинкус все время молчавшая, ошеломленная натиском Дуняши, вдруг закрыла руками лицо и громко заплакала.

У Дуняши сразу простыл гнев.

– Ну чего вы! Господь с вами… Разве я вам что в обиду… Да перестаньте вы ради Христа. Услышит Александра Петровна… такая неприятность может выйти…

Мадам Пинкус затихла, но рук от лица не отнимала, и слезы, просачиваясь между ее худыми, сжатыми пальцами, падали одна за другою скупыми, тяжелыми каплями.

– Вы говорите, – начала она, захлебываясь от подступающих рыданий, – что им, богачам нашим все равно, живем мы или умираем. Нет! они бы радовались, если бы все бедные евреи

околели, задохнулись… Они стыдятся своих братьев! Они хуже, чем отщепенцы… Будь они прокляты из рода в род… От них все наше несчастье и горе..

Последние слова вырвались из груди мадам Пинкус таким негодующим криком, что Дуняша оторопела. Она налила в стакан воды и настойчиво поднесла его к губам мадам Пинкус.

– Выпейте, выпейте, а то сердце зайдется. Грех какой… Нехорошо так завистовать. Это дело Божье. Кому много, а кому и вовсе ничего. Его воля. А роптать грех. За это и на том свете не похвалят.

Мадам Пинкус отхлебнула несколько глотков и, сделав над собою усилие, заговорила в более спокойном тоне.

– Будет, Дуняша. Извините за беспокойство. Что делать! Человек не камень, иногда вырвется лишнее. Не думайте только, что я заплачу худом за ваше добро. Таких людей, как Александра Петровна, и между святыми немного. Не будет она за меня иметь неприятности. Мы сегодня уедем… Насильно ничего нельзя получить…

Дуняша расчувствовалась. Перспектива избавления от мадам Пинкус и Яши ее обрадовала чрезвычайно. Их присутствие нарушало обычный порядок жизни. Это был чуждый, бродяжнический элемент, который действовал раздражающе на ее уравновешенную натуру. Она немедленно сообщила Александре Петровне, что мадам Пинкус и Яша отбывают на родину, и строго внушила своей хозяйке их зря не задерживать.

– Лучше ей своею волей уехать, пока полиция не пронюхала. Дворник так и сказал: “до вечера потерплю, а там, чтобы их духу в квартире не было”.

Александра Петровна понимала неотразимую силу обстоятельств, но это ее мало утешало, и когда мадам Пинкус с новым потоком слез стала благодарить ее за ласку и милосердие она закусила губы, чтобы не расплакаться.

– Ведь я же ничего, ничего не сумела для вас сделать, – бормотала она, смущенная и расстроенная. – Такая, право, неудача… просто непостижимо. Обещали, обещали и все налгали. Ах, в какое подлое время мы живем! – воскликнула она. – Одеревенели сердца у людей. Ни талантов, ни души – ничего не нужно. Зачем артисты? Есть ремесленники – и ладно. Прежде, лет 25 тому назад, у вас бы вашего мальчика с руками оторвали. А теперь кого просить! Кому дорого искусство! Нет Николая Григорьича, нет Чайковского, нет Антона Григорьича, никого нет…

Мадам Пинкус слушала, вздыхала и тихо плакала. Когда мать сказала Яше, что они уезжают в Кишинев, он категорически

заявил, что не поедет.

– Пусть мама поедет одна. – обратился он к Александре Петровне, – а я останусь с вами. Мне тут очень нравится.

Александра Петровна вздохнула.

– Ты опять приедешь ко мне, Яшенька, только после. Я скоро уезжаю и учить тебя теперь не могу. А после, осенью, я вернусь сюда и мама опять тебя привезет.

– Не хочу и не хочу, – возразил Яша.

– А разве тебе не жалко отпускать меня одну? – сказала мать. – И неужели ты не соскучишься за папой, за Идочкой?

– Я им напишу письмо, – отвечал Яша.

– Разве я могу без тебя уехать? Что ты, Яша, совсем глупый стал!

– Ты приедешь после опять. Я тебе тоже напишу письмо в конверте и с маркой.

Мадам Пинкус начала увещевать Яшу на жаргоне. По мере того, как она говорила, личико Яши вытягивалось и бледнело. Вдруг он разразился судорожным плачем, уткнулся головой в колени матери и стал кричать:

– Я боюсь, я боюсь…

– Что вы ему сказали? Зачем вы пугаете ребенка! – с упреком промолвила Александра Петровна.

– Я сказала ему правду. Если про нас узнает полиция нас посадят в острог, как воров и отправят домой с солдатами, как разбойников.

– Господь с вами! Хоть бы пожалели ребенка, чем он виноват, – возмутилась Александра Петровна. – Не бойся, Яша, не плачь! никто тебя не обидит. Мама пошутила. Я тебе обещаю, что ты скоро вернешься сюда. Я буду тебя учить петь, ты вырастешь большой и умный, будешь петь в театре. У тебя будет чудесный дом и рояль…

Яша перестал на минуту плакать и спросил:

– А лошадка тоже будет?

Александра Петровна невольно усмехнулась. – И лошадка тоже. Только будь умница. Уж я тебя не обману.

Яша понемногу угомонился, но от обильных слез лицо его осунулось и приняло прежнее пугливое, старческое выражение. После обеда, за которым почти никто не ел, мадам Пинкус отправилась к родственникам собрать свои пожитки. Александра Петровна уехала в город. Яша остался в квартире один. Это случалось и раньше, но он не скучал: пел, бегал по комнатам или наслаждался своею любимою игрой, которая состояла в том, что, усевшись на стул, он закидывал на спинку другого стула бичевку или тесемку и пускался в нескончаемые путешествия. Теперь же

он забрался с ногами в глубокое кресло Александры Петровны и, сгорбившись, как старичок, сидел тихо-тихо, как бы погруженный в глубокое раздумье. Дуняша позвала его в кухню пить чай. Он поднял на нее свои печальные глаза и отрицательно мотнул головой своим привычным жестом.

– Чего насупился, как мышь на крупу? Иди, коли зовут, я вареньица дам…

Яша опять безмолвно кивнул головой и отвернулся. Он разлюбил Дуняшу и не желал с нею пять чай.

– Ну, как знаешь, – проворчала Дуняша и ушла.

Александра Петровна вернулась, нагруженная свертками. Тут были и книжки с картинками, и кубики, и ноты, и огромная, выше Яши, лошадь-качалка, и пальто, и сапоги, и шапка. У Яши опять вспыхнули глаза и разгорелись щечки. Он с восторгом обнимал лошадь, и облачившись в пальто и шапку, ни за что не хотел снимать ни того, ни другого. Скоро появилась и мадам Пинкус. Яша показал ей свои обновки. Она рассеянно посмотрела на него, на игрушки и сказала, что пора ехать. Тогда Яша опять расплакался и, сложив руки, стал умолять Александру Петровну позволить ему и маме еще хоть одну эту ночь ночевать здесь. “А завтра мы уедем”, – говорил он.

Александра Петровна гладила его по головке, целовала, клялась, что скоро сама за ним приедет. Потом она увела к себе в спальню мадам Пинкус. Там они о чем-то спорили. Яша слышал, как мать его рыдала и отчего-то отказывалась, а Александра Петровна ее убеждала: “пожалуйста, ну прошу вас…” Когда они вернулись в столовую, у обеих были заплаканные лица. Наскоро выпили чай. На Яшу надели новое пальто и шапку. Дуняша быстро уложила в корзинку его игрушки и вещи… На вокзал они приехали за полчаса до поезда.

Александра Петровна всячески утешала мадам Пинкус, обещала ей писать, просила беречь Яшу и повторяла, что много-много через год устроит ей это возмутительное “жительство”… Мадам Пинкус благодарила, но видно было, что она не верит ни одному слову – не потому, чтобы она сомневалась в добрых намерениях Александры Петровны, а потому, что “для евреев нет правды на земле, дорогая моя госпожа профессорша”. С помощью Дуняши, храбро протолкавшейся через плотную массу пассажиров, мадам Пинкус раздобыла себе местечко у окошка. Народу в III-ем классе было видимо-невидимо. Пробил второй звонок. Александра Петровна и Дуняша стояли перед тусклым окном вагона, откуда им кланялась мадам Пинкус. Вместе с нею кланялась и ее шляпа, на которой дрожал измятый огненно-красный цветок.

– Прощай Яша, до свиданья, мой милый мальчик, не грусти, мы скоро увидимся, – кричала Александра Петровна. Яша не отвечал. Его бледные губы были печально сжаты, а в его больших, не детских глазах точно застыл упрек… Поезд загромыхал и пополз, лязгая и пыхтя всем своим длинным, неуклюжим корпусом. Александра Петровна побежала было вперед, чтобы еще помахать платком уезжающим, но ее остановила Дуняша.

– Даже совестно, – сказала она строго, – словно кровных родных провожаете.

Макарка
Эскиз (из жизни незаметных людей)

…Весна в том году наступила рано. Лужи и целые ручьи грязи, ещё недавно широкой волной заливавшие улицы, сразу высохли под палящими лучами солнца, и вместо них уже завилась столбом пыль… По одной из кривых улиц Бабьего городка за Москвой-рекой шёл, согнувшись под ранцем и опустив голову, гимназист – черноватый юноша среднего роста, лет шестнадцати-семнадцати. Он был, по-видимому, сильно удручён, то и дело вздыхал, останавливался… Постояв минуты две на одном месте, он вошёл на церковный двор и в изнеможении почти упал на скамью. Кругом было совершенно тихо. Пахло талой землёй, свежей травкой… На нераспустившейся ещё берёзе, неутомимо чирикая, прыгали воробьи. “Не допущен, – прошептал гимназист, ломая руки, – не допущен, не допущен”, – повторял он ещё и ещё раз с возрастающим отчаянием. Губы его искривились, и слезинки быстро-быстро закапали из его уже заплаканных чёрных глаз. Всё его существо наполняла лишь одна мысль – как теперь показаться домой. Эта мысль сверлила в его мозгу с того самого рокового момента, когда до ушей его долетела ужасная фраза инспектора: “не допущены: Кабалкин Макар, Гаврилов Алексей” и т. д. Он отлично знал, что ничего не придумает, что идти домой нужно, и всё-таки ни о чём, кроме этого, думать не мог. “Нечего делать” – произнёс он вслух, встал, подтянул ранец и побрёл дальше медленным шагом, словно надеясь увеличить расстояние, отделявшее его от дома. Не глядя, завернул он в грязный переулок, весь угол которого занимал неуклюжий деревянный дом с мезонином. У открытых настежь ворот стояла женщина. Увидав гимназиста, она обратила к нему своё смуглое худое лицо с тонкими чертами и проговорила певучим гортанным голосом: “Что, Макарка, выдержал?” – Макарка ограничился кивком головы и молча прошмыгнул в калитку. Добравшись до своей комнаты, он с ожесточением сбросил с себя гимназические доспехи, дал тумака визжавшим и возившимся на полу братишкам и сестрёнкам и, сорвав таким манером сердце, бросился ничком на жёсткий диван…

Отец Макарки, Абрам Маркович Кабалкин принадлежал к тому довольно многочисленному разряду столичных евреев, которые слывут зажиточными, хотя зажиточность эта весьма проблематическая. Всю жизнь эти “богачи” бегают, хлопочут, суетятся, *создают дела* и – умирают нищими. Абрам Маркович

торговал то мукой, то шерстью, то кожей, то дровами, заводил сыроварни и мыловарни, несколько раз прогорал до нитки и, точно по щучьему велению, опять всплывал на поверхность. Хитрый, пронырливый, вкрадчивый, он умел отгадывать слабые стороны нужных людей и бил на них. По роду своих занятий ему больше приходилось сталкиваться с мелким купечеством, аферистами, мещанами… Постиг он их до тонкости и презирал от всей души. При всём том ему не везло. Он часто жаловался на судьбу, и не без основания. Семья с каждым годом увеличивалась, потребности росли, и заработок поглощался с изумительною быстротой. Дома Абрам Маркович являлся безграничным самодуром и тираном. Он, казалось, хотел выместить на домашних те унижения и разочарования, которые ему приходилось выносить на рынке житейской суеты. После долголетней и упорной междоусобной войны он смирил жену, ревнивую, пылкую и очень неглупую женщину. Она опустилась, состарилась, охладела ко всему и выходила из себя только при слишком очевидной неверности супруга или особенно экстраординарных потасовках, которые он задавал детям. Сама она, впрочем, никогда не переставала бранить и щипать своих “разбойников”. Разбойники смотрели на эти проявления родительской нежности совершенно равнодушно, даже презрительно. Не то было с отцом. Его отношения к детям были чрезвычайно своеобразные. Пока они были малы – он их обожал и баловал самым бессмысленным образом; заливался от восторга, когда сынишка на его ласкательное: “ах ты, жулик”, шепелявил: “ти сам зюлик”, прославлял их необычайный ум, мечтал, что они покроют славой его имя. Но наступил школьный возраст и с ним целый ряд неудач, переэкзаменовок и всевозможных мучений. Бестолково веденные и не особенно способные дети учились вяло. Отец бил их беспощадно. Так было со старшим сыном, который, ожесточённый, сбежал из родительского дома в странствующую труппу акробатов и пропал без вести; так было со старшей дочерью, которую он безуспешно клялся “сгноить” в гимназии. Её выключили, и он в отместку выдал её замуж в захолустье за глуповатого парня, над которым, при редких посещениях, глумился всласть.

Теперь очередь была за Макаркой. Когда мальчик с грехом пополам выдержал экзамен в гимназию, отец подарил ему три рубля и заявил: “Ну, смотри у меня, умри, а будь доктором”. И потянулась для бедного Макарки целая вереница тяжёлых лет. Он был тихий, робкий, мечтательный мальчик, любил стихи, музыку, удачно подбирал на стареньком, купленном по случаю, фортепиано разные мелодии и даже решился однажды намекнуть

отцу о консерватории, но, получив лаконичный ответ, что и без него много музыкантов в Москве, больше уж не заикался об этом предмете. Существование Макарки распалось на две половины: с утра до трёх часов он трепетал в гимназии, после трёх – трепетал дома. Учение ему не давалось. Он не питал ни малейшего интереса к гимназическим наукам. Греческий язык и латынь представлялись ему карой Божией, воплощённой в образе двух извергов-учителей. Особенно ненавидел он греческого учителя – рыжего, толстого немца, безбожно коверкавшего русский язык. Этот почтенный педагог любил поострить в классе и предметом своего остроумия охотнее всего избирал жидков.

– Господин Кабалкин Мордко – вызывает он, например. – Мордко или Мошко? – переспрашивает он как бы в недоумении. Макарка, весь пунцовый, молчит – А, мошет бить, ви Хаим или Шмуль, а по-русску это выходит Евгений – продолжает глумиться учитель.

Макарка по-прежнему безмолвствует.

– Господин Мордко-Хаим Шмуль, отшего ви молшить как отравленний крыса? Ушитель с вами разговаривайт, а ви молшит? Или ви приехал вчера из Бердичев и не умейт говорит по-русску?

– Лучше вас умею! – неожиданно выпалил Макарка

Учитель подымается на кафедре, дрожа от гнева.

– Што ти сказал? Du Taugenichts![248] Што ти смел сказать? Ви не уважайт нашальство! Du Judenfratze[249]…

Вышла целая история. Учитель требовал исключения Макарки из гимназии. Когда об этом казусе узнал Абрам Маркович, он выпорол сына до крови и собственною персоною потащил его в гимназию просить прощения у разъярённого немца. Немец смиловался, но при переходе из четвёртого в пятый класс срезал Макарку на экзамене. Макарка остался на второй год. Учился он из рук вон плохо. Он просиживал целые часы над учебниками, ничего не видя, ничего не понимая, в каком-то тупом отчаянии, с тяжёлою тоской, давившей его детское сердце. Локти его как-то сами собой упирались на замасленную, загнутую по углам греческую грамматику, на эти локти опускалась черноволосая голова Макарки, и… он отдавался мечтам. Воображение уносило его далеко-далеко от окружающей действительности, в уютную, чистенькую квартирку. На окнах дешёвенькие цветы, клетка с краснозобым снегирем; на полинялом диване шитая гарусом подушка; в переднем углу образок в венке из бумажных роз. На стуле сидит женщина с добрым, преждевременно поблекшим лицом, и шьёт что-то. Иголка быстро мелькает в её проворных пальцах. Рядом с ней два

мальчика – один худой и жалкий – Макарка, другой русый и румяный – её сын – пишут, наклонившись над тетрадями.

– Дети, отдохните – говорит женщина, – ишь, заморились! Митя, прикажи самовар! Макарушка, куда ты? Погоди, с нами чаю напьёшься.

– Благодарю вас, Аксинья Ивановна, мне пора домой, – говорит Макарка, и так ему не хочется уходить из этого тёплого гнёздышка… Но он боится оставаться. Опоздаешь домой, начнётся брань: где таскался.

Ах, как Макарка любил Аксинью Ивановну, как плакал, когда она переехала в какой-то уездный город! И Митя тоже!..

Какой был славный мальчик, какой товарищ. Никогда его жидом не называл и в extemporale всегда помогал… А впрочем, ему немудрено быть хорошим – мать ласкает, ободряет… Бывало, он скажет: “Мама, ну как я срежусь?” А она ему: “Бог милостив, не срежешься, а случится грех – что же делать! Посидишь ещё годик”…

Был у Макарки ещё товарищ, или, вернее, друг, перед которым он благоговел – студент Давид Блюм. Родители Давида, богатые люди, были старинные знакомые Макаркиных родителей. Макарка с детских лет привык видеть, с каким подобострастием его отец и мать относились к Блюмам, как они готовились к их редким посещениям, что не мешало им, конечно, за глаза бранить их за непомерную гордость и важничанье. – “И чего они нос дерут? – говаривала его мать: – такие же евреи, как и мы, тоже в Шклове родились, не в Париже…” Но Макарка не верил матери. Он был влюблён в дом Блюмов, и ему казалось совершенно невероятным, чтобы джентльмен Блюм, у которого дети после обеда так чинно целуют руку, и его отец, раздающий направо и налево оплеухи – были одно и то же. Нет, Блюмы – настоящие аристократы. У них такая чудесная квартира, такая чистая, вежливая прислуга, учителя, гувернантки… Дочки, хоть и шалуньи, но такие прелестные, ласковые девочки, особенно Лина… и так хорошо говорят по-французски… Совсем, совсем не похоже на евреев… Правда, Макарка смущался, когда в детские апартаменты неожиданно входила мадам Блюм, и, поговорив с гувернанткой, скользила равнодушным взглядом по его робкой фигурке, точно он не живой мальчик, который так почтительно ей кланяется, а табурет или графин. То ли дело – Аксинья Ивановна! Всегда встречала его приветливою улыбкою: “Здравствуй, мой голубчик!..” Но ведь Аксинья Ивановна – простая акушерка, а мадам Блюм – такая важная богатая дама! Зато Давид! Макарка обожал его. Это был его идеал. Какой он умный, образованный, честный…Как он говорит! Как пишет! Какой он красавец!

Макарка гордился им, был счастлив малейшим знакам его внимания. Ни тени зависти не питал он к своему блестящему другу. О, напротив! Он отдал бы всё-всё, пожертвовал бы жизнью, чтобы видеть его на вершине славы, почестей… Особенно блаженствовал Макарка, когда, благодаря какому-нибудь торжественному событию, вроде именин, его оставляли ночевать у Блюмов. Днём он бегал по поручениям всех членов семейства, в том числе и своего друга, который гонял его за перчатками, галстуками, *духами*… Зато ночи – ночи искупали всё! Только, бывало, разъедутся гости и он с Давидом улягутся по кроватям – между ними начинались бесконечные беседы. Говорил, конечно, Давид, а Макарка внимал. Давид говорил о еврействе и о том, что молодёжь еврейская должна посвящать все силы на служение своему несчастному гонимому народу, что в эпоху народного бедствия позорно думать о личной карьере, личном счастии… и ещё много-много хорошего говорил он. Макарка был пламенный патриот. Он весь дрожал, весь горел, слушая Давида, не сводил с его лица восторженных глаз; он упивался его словами и чуть не плакал от умиления, что такой возвышенный, такой бескорыстный человек удостаивает его, бедного Макарку, своей откровенности…

И ни разу не пришло ему в голову усомниться в Давиде; ни разу не задал он себе вопроса, насколько в этих красноречивых тирадах правды и насколько они – повторение того, что он нашёптывал за ужином хорошенькой барышне; ни разу не поставил он мысленно своего героя в неблагоприятную обстановку, подобную, например, его собственной… И теперь, замечтавшись о нём, Макарка забыл своё горе, свои неудачи, забыл о надвигающейся грозе… Раздавшиеся в соседней комнате шаги заставили его разом очнуться. Это пришёл отец обедать. Макарка вспомнил, что он “не допущен”, “не допущен на второй год” – и почувствовал, как у него по спине забегали мурашки. Что сказать отцу? Соврать? Сказать, что ещё не было совета? Нет, догадается… “Эх, кабы Давид тут был, выручил бы”, – подумал он, хотя Давид никогда ни из чего его не выручал… “А вдруг отец не спросит?” – мелькнуло смутной надеждой в его душе. Он присел на кончик стула и ждал, как приговорённый, что вот сейчас, сию секунду, дверь раскроется – и его поведут на расправу…

* * *

– Макарка, обедать! – прозвучал сиплый голос матери. Он не

отозвался. Дверь скрипнула, и в отверстие просунулась взъерошенная голова семилетнего Лёвушки.

– Макарка, иди обедать – прошептал он фальцетом и скрылся.

Макарка с трудом поднялся. Семья уж была за столом. Лёвушка и Соня хлебали из одной тарелки, задевая друг друга ложками. Младшие дети сидели подле матери. Абрам Маркович углубился в еду, не обращая, по-видимому, никакого внимания на копошившуюся около него мелкоту. Макарка уселся за свой прибор и принялся машинально глотать жиденький суп. Отец бросил на него пристальный взгляд.

– Вызывали тебя сегодня? – спросил он.

– Да, – тихо ответил Макарка, не поднимая глаз.

– Из чего?

– Из математики.

– Сколько? – Тройка.

– Тройка! – презрительно повторил Абрам Маркович, – больше не мог, голова бы лопнула?

Макарка ничего не возразил, только ещё ниже наклонился над тарелкой. В эту минуту он пламенно жаждал лишь одного, чтобы обед поскорее кончился, и ему удалось улизнуть в свою комнату. Подали жаркое и кашу. Несмотря на полное отсутствие аппетита, он уписывал с таким усердием свою порцию, точно три дня голодал. Он надеялся, что так он будет менее подозрителен. И в самом деле, туча, казалось, на сегодня пройдёт мимо. У Макарки совсем уже было отлегло от сердца, он с облегчением стал оглядываться вокруг, как вдруг отец опять обратился к нему с вопросом.

– Что, Макарка, – спросил он, – перейдёшь в этом году?.. И странное дело, в суровом голосе Абрама Марковича точно дрогнула просительная нотка.

– Не знаю, папаша, – робко прошептал Макарка.

Лицо Абрама Марковича моментально приняло столь знакомое его семье деревянное выражение.

– То есть, как же это ты не знаешь? – произнёс он, отчеканивая каждое слово. – Кому же это нужно знать? Мне, что ли? Ведь я не спрашиваю у тебя, почём дрова или сколько звёзд на небе… Я спрашиваю: довольно ли для такого болвана, как ты, сидеть по два года в одном классе?

Макарка, побледневший как полотно, нервно вертел пуговицы на своём мундире и упорно глядел в пол. Отец подошёл к нему ближе.

– Ты чего молчишь, негодяй? Язык проглотил, оглох? Ты не слышишь, что я с тобой говорю?

– Слышу…

– А, слышишь? Слава Богу! Может быть, ты удостоишь ответить?

– Я не знаю, чего вы хотите, – растерянно пролепетал Макарка, озираясь как пойманный зверь

Абрам Маркович иронически засмеялся.

– Он не знает, чего я от него хочу! Слышишь, Хана, как твой милый сынок разговаривает! – обратился он к жене. – Он не знает, чего я от него хочу! Сумасшедший отец требует, чтобы он сделался профессором, а он не может! Бедняжка! – Абрам Маркович плотно придвинулся к сыну. – Я тебя в последний раз спрашиваю, – повторил он, схватив его за воротник, выдержишь ты экзамен или тебя выгонят вон?

Макарку вдруг будто толкнуло в голову и грудь. “Всё равно умирать”, – подумал он и, подняв свои чёрные глубокие глаза, казавшиеся ещё чернее на его помертвевшем лице, он тихо, но совершенно отчётливо вымолвил:

– Я не допущен.

– Что?! – вскричал Абрам Маркович, как ужаленный.

– Я не допущен, – так же тихо и так же внятно повторил Макарка.

На мгновение все застыли. Ещё мгновение, – и раздался оглушительный треск пощёчины. Дети залились плачем и прижались к матери. Она бросилась к мужу, стараясь освободить из его бешеных рук Макарку. Но он оттолкнул её одним взмахом кулака. Он бил Макарку, как исступлённый, по чём попало. Тот не издавал ни одного звука, ни одного стона, и только когда совершенно обезумевший отец стал таскать его за волосы по полу, он не выдержал мучений и, поймав его палец, впился в него зубами.

– Ах, ты щенок! Кусаться! Ах, ты мерзавец! Жена! – крикнул он, – зови дворника, мы сейчас его выпорем…

Макарка разжал зубы и одним прыжком очутился у двери.

– Ступай вон, подлец, ступай вон! – прохрипел Абрам Маркович. – Если придёшь назад, я тебе все кости переломаю.

Макарка обратил к нему своё истерзанное избитое лицо.

– Я вас ненавижу! – крикнул он надорванным, осипшим голосом и, раскрыв дверь, исчез.

Макарка бежал, точно за ним гнался легион демонов. Пробежав несколько улиц, он *очутился* в каком-то глухом переулке и, сообразив, что его здесь не поймают, остановился перевести дух. У забора какого-то строящегося дома возвышалась куча щебня. Макарка сел на эту кучу. Голова у него горела и кружилась, тело ныло от побоев. Он провёл рукой по спутанным волосам и тут только заметил, что он ушёл без шапки. Чувство

оскорбления, злобы переполняло все его существо, душило его. Он ещё не мог разобраться в хаосе волновавших его ощущений. Его охватила неудержимая, жгучая, чисто физическая потребность, в свою очередь, сделать больно, раздавить, убить, уничтожить… Кого? – отца и всех, всех… Весь мир представляется ему жестоким, неумолимым врагом, созданным на его, Макаркину, погибель. Сдавленное обидой и негодованием сердце билось и замирало в его груди, как раненая птица. “Всё кончено, всё кончено, – шептал он, – *после этого* нельзя жить”. Ему стало страшно жалко самого себя, из глаз брызнули слёзы. Всё его избитое тело заколыхалось от рыданий… Сырая вечерняя свежесть охлаждала его пылающую голову. Безвыходность положения впервые предстала перед ним, и он содрогнулся. – Куда идти?.. К кому обратиться?.. К Давиду? Нет, нет… зачем ему видеть такого несчастного… Умереть!., ничего больше не остаётся… Но как?., броситься в воду?.. Макарке вспомнился один утопленник, которого он видел, синий, распухший, с стеклянным неподвижным взором… Нет, это слишком ужасно… Отравиться? – нечем… Вдруг его точно озарило… *Простудиться*. Да… это самое *лучшее*… Он подумал ещё немного, потом встал и решительным шагом отправился обратно к дому. Ворота были отперты. Он осторожно проскользнул за дровяной сарай, где, он знал, стояла кадка с водой. Тут же рядом стояла телега. Макарка влез в неё, разулся, подобрал штаны выше колен и опустил ноги в кадку. По пяткам, потом всё выше и выше точно забегали иголки. Макарка вздрогнул, но скрепился и ещё глубже опустил ноги в воду.

“Простужусь, – думал он, – простужусь и умру”. – И злоба к отцу всё разрасталась в его душе. Отомстить ему хоть своей смертью. Пусть радуется, одного сына уже загубил, теперь другого. И зачем жить!.. Вечная ругань, никогда доброго слова не услышишь, целый день будто в котле кипишь. Учиться не могу… Будет, намучился… Одну только мать жалко, не сладко ей тоже… Ну ничего!., поплачет и забудет. Ещё ведь целая четвёрка остаётся на утешение и на съедение.

У Макарки начали неметь ноги. Он их вынул на минуту, но тут же рассердился на себя. – Струсил, подлец, – процедил он сквозь стиснутые зубы, – холодно стало, домой, на кроватку захотелось – так вот нет! Околевай, коли жить не умел… – и он с остервенением заболтал ногами в кадке. А ноги коченели всё больше. Он уже не чувствовал холода и вообще переставал чувствовать и думать о чём-либо. Бесконечная усталость сковала его члены, глаза сами собой сомкнулись… Последним проблеском воли он сделал над собой усилие, чтобы их раскрыть,

но утомление победило. Он свалился, как сноп, в телегу и моментально заснул глубоким сном.

И приснился Макарке сон. Он увидел большую, залитую огнями залу, сверкающую белыми мраморными колоннами, наполненную нарядной публикой. На обитой красным сукном эстраде разместился оркестр. Шум смолк. На эстраду вышел певец. И вот пронеслись первые звуки. О, какая чудесная мелодия! Нежная и могучая, жалобная и торжествующая… Вся зала притихла, как один человек, и жадно внимает каждому звуку, вылетающему из груди певца. И лицо у этого певца – как у Макарки, только никто его не знает… а он поёт всё лучше… Царственно-прекрасная женщина, вся в бархате, цветах и бриллиантах, и худенькая, бедная Аксинья Ивановна – прильнули друг к другу, как сёстры, и обе слушают умилённые, точно зачарованные, песню-молитву, поющую о вечной любви, для которой нет ни богатых, ни бедных. Во всей зале только одно лицо остаётся суровым и угрюмым – это лицо отца. Но Макарка теперь волшебник. Он ясно видит, как в сердце отца зияет рана, и из этой раны сочится тёплая кровь. Эта кровь сочится за потерянных детей… Он потерял всех детей, все его покинули… Он один, одинок. И Макарка запел для него одного! В песне послышался детский плач и детские ласки и смех… И рана в сердце отца стала исчезать, глубокие морщины разгладились у него на лбу, он поднял на Макарку радостные, просиявшие глаза, он узнал его и бросился к нему с восторженным криком… Но в этот миг разверзлась страшная, мрачная бездна, Макарка полетел туда с ужасной быстротой – и всё, всё пропало…

Макарку на рассвете отыскал работник, шедший за дровами в сарай. Ему почудился чей-то голос, он оглянулся и увидал Макарку, полусидевшего в телеге и оживлённо жестикулировавшего. Он подошёл к нему, заговорил с ним и, убедившись, что тот его не понимает, подумал: “уж не рехнулся ли хозяйский сын”, – и побежал будить хозяйку. Когда Хана увидела Макарку, у неё подосились колени. Он лежал, разметавшись в телеге, с голой грудью и ногами, и что-то быстро и невнятно бормотал. На его пылающих щеках виднелись следы слёз.

– Фёдор, неси его в дом, я тебе помогу, – приказала она работнику. – И один снесу, – возразил тот, взяв мальчика в охапку. – Ишь ты, как распалился, сердешный; аспид-то ваш совсем заел паренька, – прибавил он откровенно.

Хана не отвечала и вся в слезах поплелась за работником. У крыльца она наткнулась на Абрама Марковича. Он собирался уходить, но, увидев группу, невольно остановился. Жена

повернула к нему искажённое гневное лицо.

– Радуйся, – проговорила она, – довёл ребёнка до могилы.

– Ладно, не подохнет, – отрывисто ответил отец, но на суровом лице его что-то дрогнуло, когда перед его глазами промелькнули бессильно болтавшиеся Макаркины ноги.

Эти бедные голые ноги полоснули его по сердцу, как ножом. Он прошёлся несколько раз по двору; валявшиеся возле кадки с водой Макаркины сапоги объяснили ему без слов, в чём дело. Он бросился на конюшню, сам заложил лошадь в шарабан и во весь дух помчался за доктором.

У Макарки открылся тиф. Несколько дней он беспрерывно бредил, никого не узнавая. Придя в сознание, Макарка очень удивился, увидав себя в своей комнате, в кровати. На столе горела лампа под бумажным колпаком. По стенам скользили какие-то тени. Мать наклонилась над ним.

– Макарочка, тебе лучше? – проговорила она, и её сухая, загорелая от работы рука, поправила на его голове пузырь со льдом.

Он вскинул на неё удивлённый взгляд, очевидно стараясь припомнить, что такое с ним произошло. И вдруг он вспомнил… Обглоданное жаром лицо изобразило испуг.

– Отец, – пробормотал он, – я боюсь его; зачем ты меня привела домой…

– Отец не сердится, – сказала она, – он жалеет, что погорячился, он тебя ведь любит, Макарчик…

– Оставь, оставь, – прошептал он, впадая в забытье.

Прошло ещё несколько дней. Макарка больше не бредил, он был в полном сознании, но страдал больше прежнего. Тиф осложнился воспалением лёгких. Пользовавший его доктор, смущённый таким оборотом болезни, предложил созвать консилиум. Пригласили двух знаменитостей, которые, заставив домашнего врача прождать два часа сверх назначенного срока, наконец приехали. Они помяли бедного Макарку на разные лады, выстукали его, выслушали, потом немножко поспорили между собой: одна знаменитость утверждала, что у больного обыкновенная чахотка, другая настаивала на просовидной бугорчатке. Обе, однако, согласились, что субъект безнадёжен. Когда об этом объявили Абраму Марковичу, он затрясся как лист.

– Умереть… скоро? – промолвил он, глубоко переводя дух.

– Нет, он может протянуть ещё пять-шесть недель, даже два месяца, – ответил доктор, стоявший за бугорчатку, пряча в боковой карман двадцатипятирублёвую бумажку.

Абрама Марковича точно ударили обухом по голове. Он отлично слышал медицинский приговор, но не поверил ему, не

мог поверить. – Врут, врут они, – утешал он самого себя и побежал к сыну, как бы желая убедиться воочию, что доктора соврали. Макарка узнал шаги отца. У него упало сердце, и колючая боль в груди, которая его не покидала, сделалась до того невыносима, что он зажмурился и закусил губы. Отец присел на край кровати и осторожно взял его за руку. Макарка вздрогнул, раскрыл глаза и встретил прямо устремлённый на него взор отца. И столько было в нём нежности, горя, страха, что у

Макарки ещё сильнее сжалось сердце, но теперь уж от жалости к отцу. Ввалившиеся глаза налились слезами, а сухие истрескавшиеся губы прошептали:

– Простите меня, папаша.

– Не волнуйся, не волнуйся, – говорил отец, оправляя дрожащей рукою одеяло, – выздоравливай только, всё будет хорошо. Странное дело! И голос у Абрама Марковича был не тот, и лицо не то… Неужели же Макарка не знал своего отца? Неужели он ошибся? Ему вдруг представилась та минута, когда он, избитый, окровавленный крикнул отцу: “я вас ненавижу!” Где эта ненависть? Она растаяла, испарилась от одной неожиданной ласки отца. Как он благодарен ему за эту ласку. Макарка схватил его руки и покрыл их поцелуями.

– Простите меня, папаша, – зашептал он опять, – я буду учиться день и ночь, я ведь и прежде не ленился, но мне не давалось… Я попробую ещё раз…

И Макарка так горько разрыдался, что только с большим трудом удалось его успокоить.

Лето стояло в полном разгаре. Макарка лежал в своей постели и умирал – от обыкновенной чахотки или от просовидной бугорчатки – не всё ли равно… Его окружала нежность, к которой он совсем не привык. Мать не отходила от него, но особенно поражал его отец. Доктора, лекарства, лакомства, дорогие вина… Абрам Маркович ничего не жалел. Каждую свободную минуту он проводил у постели больного, разговаривал с ним, измерял температуру, и только по тому, как дрожали его руки, Макарка мог безошибочно судить, что жар увеличился… – “Вышло опять сорок” – думал он, и ему гораздо больше было жалко отца, чем себя, и всё яснее становилось ему, что он слишком поторопился его осудить…

О гимназии и обо всём, что предшествовало *той* ужасной ночи, не было помину. В доме царствовала тишина. Лёвушка и остальные дети возились в палисаднике, и никто их не бранил за бездельничайние. Иногда Макарка просил, чтобы их привели к нему. Они приходили, усаживались вокруг его кровати и боязливо глядели на него – такой он был худой и

необыкновенный. Он ласкал их, отдавал им свои лакомства, прижимал их ручки к своим багровым красным щекам. Дети молчали: им было не по себе в этой комнате, пропитанной запахом лекарств. Макарка замечал это, вздыхал и отпускал их в сад.

– Ступайте, деточки, играйте, – говорил он им с грустной и нежной улыбкой.

Никто ни разу не слыхал от него ни одного стона, ни одной жалобы.

– Тебе хуже, Макарчик, – скажет ему мать, когда, обессиленный мучительным приступом кашля, он прислонится головой к высокоподнятым подушкам.

– Нет, мамочка, ничего, не беспокойся…

– Как бы мне хотелось видеть Давида, – сказал он однажды отцу. – Ты ему не писал, что я болен?

– Я сам ездил к Блюмам. Они ведь теперь на даче; Давид был тут раз, но ты в это время спал.

– Ах, зачем, зачем меня не разбудили! – воскликнул Макарка с невыразимой тоской. – Неужели я больше его не увижу? – прибавил он и, отвернувшись к стенке, заплакал.

– Не плачь, Макарчик, я тебе сегодня же привезу твоего друга, – утешал его отец.

* * *

Красивое свежее лицо Давида Блюма изобразило сильнейшее изумление, жалость и даже страх при виде ссохшегося маленького личика Макарки, с которым от радости сделался такой припадок кашля, что он не мог вымолвить ни одного слова. Наконец он успокоился, кашель стих, он взял в обе свои худенькие влажные руки белую, выхоленную руку Давида и произнёс:

– Спасибо, что приехал. Вот друг… а то бы и не увидались.

– Не говори, голубчик, тебе вредно.

– Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне с тобой поговорить! – взмолился Макарка и значительно прибавил:

– Мне нужно с тобой поговорить

– Ведь ты задыхаешься!

– Ничего, ты только наклонись ко мне.

Давид почти приник к подушке.

– И как это ты так расхворался? – спросил он.

С остановками и перерывами Макарка рассказал историю своей болезни.

– Видишь, – закончил он тяжёлым шёпотом, – я сам во всём виноват.

– Ты?! Нет, не ты, а этот самодур, тятенька твой.

Макарка глубоко вздохнул.

– Вот, вот… я знал, что ты так скажешь, произнёс он горестно. – Я потому и хотел тебя видеть, чтобы попросить тебя… чтобы объяснить, что *он* совсем не так виноват. О, Давид! я теперь всё, всё понял… Нужно его пожалеть, а не унижать презрением. Иначе все дети погибнут! – воскликнул он.

Давиду показалось, что у Макарки начался бред.

– Бог с тобой, успокойся, какие дети?!

– Да наши! – нетерпеливо возразил Макарка. – Когда я умру, все скажут, что отец меня уморил, будут глядеть на него как на зверя… Он ещё больше ожесточится… и бедные Лёвушка, Соня, Лиза и Миша пропадут, и будет с ними то же, что и со мною. Заступиться некому, а когда они поймут, что отец не изверг, что он просто не знает, как сделать лучше – будет поздно. Я теперь всё понял. Разве он для себя желал, чтобы я был учёным? Ему хотелось, чтобы мне жилось полегче, чтобы я не гнул с утра до ночи спину, как он, чтобы какой-нибудь купчина не говорил мне, как ему: вы, жиды, с отца родного рады рубашку снять. Он мечтал, чтобы я был такой, как ты. Милый, милый! Нельзя же обвинять его в том, что он не понимает, что я тебе – не ровня, что одному Бог даёт всё, чтобы вознести его над толпой, а другой – весь век проживёт червяком… Он видел, как твой отец гордится тобой, и ему, бедному, было больно, что я такой неблестящий.

Давиду вдруг стало невыразимо стыдно перед этим умирающим мальчиком. Он вдруг вспомнил, как в течение многих лет принимал как нечто должное его беспредельную любовь, его простодушное обожание. Он вспомнил, что, в сущности, никогда не интересовался Макаркой, никогда пальцем не пошевельнул для облегчения его тяжёлой доли и любил в нём лишь терпеливого благодарного слушателя, восторженного поклонника своей особы.

Всё это разом промелькнуло перед ним.

– Макарушка! – воскликнул он, и в голосе у него послышались искренние слёзы. – Макарушка, да ты во сто раз лучше меня и целого легиона таких молодцов, как я.

– Ну, зачем, зачем ты это говоришь? – застенчиво пролепетал Макарка. – Ты – и я! – Он опять засмеялся, но сейчас же опять принял серьёзный вид. – Ах, не в этом дело! Я хочу просить тебя… Помнишь, Давид, сколько раз ты говорил о еврейском народе, о том, как он несчастен, как давят его невежество, грубость… Ты говорил, что образованная еврейская молодёжь

должна работать для всех несчастных. О, милый! – зашептал он дрожащими губами, и крупные слёзы покатились одна за другой из его прекрасных чёрных глаз, – милый, ведь мои маленькие сёстры и братья – тоже еврейский народ; не оставь их, помоги им сделаться людьми, если ты когда-нибудь меня хоть немного любил.

Голос Макарки оборвался. Он сильно закашлялся. Давид подал ему воды и успокоительных капель.

– Ещё одна просьба, – промолвил он: – приезжай вместе с сёстрами на мои похороны. Они славные девочки, и я их очень любил, особенно Линочку. Мне кажется, что я почувствую, как вы на прощание бросите горсть земли в мою могилу. И не жалейте меня: мне вовсе не страшно умирать…

Нервы Давида не выдержали.

– Праведник ты, Макарушка, мученик! – говорил он, всхлипывая и припадая к Макаркиной руке.

* * *

Макарка умер тихо, точно заснул. В доме немедленно поднялся тот шум и гам, который неизбежно сопровождает еврейские похороны. В комнате как-то удивительно скоро появились чужие люди, стали бегать, разговаривать, распоряжаться, развязно подходили к постели, где лежал, вытянувшись во весь свой небольшой рост, бедный Макарка, размахивали руками, соображали…

Безмолвный бледный мальчик точно перешёл в их собственность. Не успели оглянуться, как он уж лежал на полу, под чёрным сукном, и в изголовье его уж печально колыхалось желтоватое пламя свечи, вставленной в высокий серебряный подсвечник. Мать и отец громко плакали. Дети, прижавшись друг к другу, забились в дальний уголок и глядели оттуда, как спугнутые птички. Тот, кто лежал под чёрным сукном, внушал им какой-то таинственный ужас. Они знали, что это Макарка; но это был уж не их брат, с которым они возились, играли, дрались, который их так нежно ласкал во время своей болезни, а что-то другое, неподвижное, величавое, безучастное и… страшное.

Приехал Давид с отцом и сёстрами. Завидев их, Хана зарыдала ещё громче, как бы взывая к этим свидетелям своего горя. Старик Блюм серьёзно и сосредоточенно остановился у порога. К нему подошёл Абрам Маркович, отвёл его в другой конец комнаты и усадил в кресло. У Давида дрожали губы, он старался совладать с собою, но не смог и порывисто расплакался.

Немая фигура его скромного товарища казалась ему жертвой такой вопиющей, такой неумолимой бессмыслицы. Его сестра, высокая тоненькая девочка, в изящном чёрном платьице, видимо, не знала, что делать. И жутко ей было, и плакать хотелось. Она вынула из круглого картона огромный венок из иммортелей и белых роз и робко положила его к ногам покойника. Ей очень хотелось поглядеть на него, но она не смела. С одного бока сукно подвернулось и обнажило высохшую маленькую потемневшую руку. Девочка поглядела на неё и вспомнила, как Макарка из пятачков, которые выдавались ему на завтрак, накопил три рубля и купил ей серебряный напёрсток к именинам. Её кроткое личико затуманилось, ей вдруг стало всех ужасно жалко.

На дворе послышался стук въезжающих дрог. Лесенка вся затрещала под напором тяжёлых ног. Дверь распахнулась настежь, и два человека втащили длинный чёрный ящик – общий гроб, в котором возят на кладбище всех евреев. При виде зловещего ящика все притихли. А чужие люди делали своё дело; они подхватили Макарку за голову и за ноги, положили в ящик и прихлопнули крышкой… Всё это было так просто, так обыкновенно и так ужасно горько… Давид приподнял гроб с одного конца, с другого и по бокам стояли “священные братья”.

– Не так держите! – сердито крикнул один из них на Давида: – подымайте выше! – Наконец, гроб поставили на дроги, и печальная процессия тронулась. В наёмной карете ехала Хана с какой-то пожилой женщиной, в собственной – Блюм с дочкой. Давид и Абрам Маркович шли пешком. Было начало августа. День стоял ясный, солнечный. Путь лежал по оживлённым торговым улицам. Одни прохожие останавливались с любопытством, другие крестились и проходили мимо.

– Жида хоронят, – громко заметил какой-то разносчик.

Миновали заставу; грохоту стало меньше; показалась поросшая травой немощёная дорога…

– Нет мне счастья, – вдруг произнёс Абрам Маркович, до сих пор угрюмо молчавший.

Давид посмотрел на него.

– Нет мне счастья! – повторил: – такой сын – и умер.

– О какой он был славный мальчик! – воскликнул Давид.

– Славный! – проговорил он обиженно. – Это был гений! Его разговоры, его поведение… Душу, понимаете, душу он у меня вырвал своими разговорами.

Абрам Маркович утёр клетчатым платком слезы.

– У вас остались ещё дети, – сказал Давид, желая его утешить. Абрам Маркович махнул рукой.

– Э! – проговорил он, – какое сравнение!..

Дроги свернули на мостик, за которым виднелись белые кладбищенские ворота. Процессию встретил сторож – дюжий рыжий мужик, и помог отнести тело в домик, специально назначенный для омовения и последнего туалета усопших.

Давид с сестрой пошли бродить по могилам. На некоторых высились мраморные мавзолеи с горделивыми надписями, что тут, мол, погребен первой гильдии купец, блиставший всевозможными гражданскими доблестями, а здесь почиет надворный советник, доктор медицины… Это была кладбищенская аристократия. Она занимала центр кладбища. А там, по окраинам, тесно прижимаясь друг к другу, тесно налегая друг на друга, ютилось целое поле холмиков, осенённых серыми каменными плитами и деревянными дощечками. О, эти деревянные дощечки! Сколько пролитых слёз, сколько замученных сердец укрылось под ними, сколько скорбных повестей могли бы они поведать миру!.. Тут же неподалеку вырыли могилу и Макарке. Наскоро прочитав молитвы, опустили туда его тело, совершенно скрытое под широким белым саваном. Присутствующие бросили на него по кому земли. Всех утомила тяжёлая процедура похорон, каждый спешил поскорее уехать. Только мать, резко нагнувшись над зияющей могильной пастью, смотрела, как она пожирала её детище, и тихо стонала. Над могилой уже поднялся бугорок. Все разъехались; даже нищие, получив щедрую милостыню, разбрелись восвояси, а она всё не трогалась с места.

Абрам Маркович взял её за руку.

– Перестань, Хана, – сказал он, это грех, ты *ему* не даёшь покою.

И он почти насильно увёл её.

И остался Макарка один…

Старая расщепленная ракита склонила к нему позолоченную заходящим солнцем ветку, и птицы, слетевшись на красивый венок из иммортелей и роз, удивлённо защебетали над ним свою вечную песню.

Последняя страница (Отрывок)

Графиня Прасковья Львовна Бежецкая была в каком-то особенно раздраженном настроении. Ей казалось, что все против нее сговорились – и Надежда Алексеевна, ее demoiselle de compagnie[250], и старая горничная Ольга Ивановна, и лакей Пьер, и кучер, и кухарка, и все знакомые… Все сговорились делать ей неприятности… Даже священник русской церкви… ce cretin de pope…[251] В воскресенье, вздумал в своем sermon[252] говорить о знатных, которых так обуяла гордыня (quel style![253]) – что они даже в храме Божьем постоять не могут… Ну, конечно, это он намекал на нее, за то, что она сидит во время службы… Все это поняли, глядели в ее сторону, гримасничали… Лили Коссович фыркнула… Une vrae perruche![254] И воображает, что у нее есть голос! Ничего у нее нет, кроме молодости и толстых красных щек.

Графиня вздохнула, прошлась по длинному, узкому будуару, который она называла своей “мастерской” и остановилась у окна. Старые каштаны Champs Elyses[255] мирно грели свою только что пробившуюся зелень на коротком утреннем солнце. По широкой аллее мелькали стройные силуэты амазонок, скакали спортсмены, важные и сухопарые, как английские жокеи; по боковым дорожкам сновали пешеходы, бегали camelots[256], выкрикивая названия газет, цветочницы с корзинками через плечо предлагали пучки голубеньких фиалок… Графиня не то с укоризной, не то с завистью поглядела на уличную сутолоку и отошла в дальний угол комнаты, где в раме черного дерева, с перламутровой инкрустацией, красовалось вычурное трюмо. Зеркало отразило толстую, маленькую фигурку, с желтым одутловатым лицом. Кружевная наколка изящно оттеняла седые тщательно нагофренные волосы. Брови и ресницы были черны, как уголь… “Les yeux sont tout jennes”[257], прошептала она, широко раскрывая свои еще в самом деле прелестные темные глаза, но эти лиловые мешки… ces horribles poches[258]. “Эта американская массажистка – дура”. А со стены на графиню смотрел портрет грациозной молодой женщины, в полном блеске торжествующей красоты. Легкая ткань, точно облаком окутала покатые нежные плечи. В золотистой рамке светлых кудрей свежее личико, с горделивой улыбкой на румяных губах, глядело вперед беспечно и самоуверенно… “C'est pourtant moi”[259] – промолвила графиня живописной красавице, равнодушно взиравшей на ее морщины.

В дверь тихо постучались, и тотчас же вошла девушка, лет двадцати пяти, среднего роста, худая, черноволосая и черноглазая – в скромном сером костюме. Это была компаньонка графини Надежда Алексеевна. Окинув беглым взглядом старуху, она как бы слегка смутилась. Поза перед зеркалом и перед портретом была ей хорошо знакома и с точностью самого усовершенствованного барометра показывала: “нервы”.

– Где вы пропадали целое утро, – начала графиня, не отвечая на поклон девушки.

– По вашим поручениям ездила, графиня. Вы сами…

– Это можно было успеть в полчаса… Загоняли лошадей… теперь мне выехать нельзя.

– Я не брала лошадей…

– В наемной карете, – перебила графиня, – это невозможно! Ведь это не в Москве и не в Петербурге, где извозчик за “на чай” останавливается в двадцати местах. Вы нанимали “a l'heure”[260] или a la course?[261]

– Я ездила в омнибусе, – отчеканила Надежда Алексеевна.

Графиня покраснела и закусила нижнюю губу.

– Где же вы были? – начала она опять после небольшой паузы.

– В Лувре – купила все, что вы приказали, потом у Rordat и Labri.

Лицо графини прояснилось.

– Они будут вечером?

– Обещали.

– C'est gentil Ну… a Rordat?[262] Говорили вы с ним о моей картине? Как он ее находит?

– Он сказал, что трудно судить картину, когда она еще не окончена, – запинаясь, промолвила Надежда Алексеевна, – но он считает ее, во всяком случае, интересной.

Графиня засмеялась и захлопала в ладоши, как ребенок, которому показали игрушку.

– Да? Да? Значит я буду в Салоне!.. Ведь Rordat это может… Он знаком со всеми… Вы ему говорили, Nadine? – и она заискивающе посмотрела в глаза компаньонки.

– Он ничего не обещал положительно, графиня… но намекал, что ему неудобно настаивать… И потом, он говорит, что хотя картина ваша очень… интересна, но… новая школа французских художников придерживается другой манеры.

– Да ведь это падение искусства, эта их новая школа, – пылко воскликнула графиня. – C'est la decadence de l'art…[263] Как же вы ему это не объяснили!.. А я… я следую по стопам старых мастеров… Вглядитесь, вникните в эту фигуру…

Она схватила за руку Надежду Алексеевну и почти толкнула

ее к мольберту, на котором помещалась большая картина. Надежда Алексеевна тихонько вздохнула и покорилась своей участи.

– Смотрите, Nadine, ведь вы должны это понимать, вы были со мной во всех галереях Италии – вглядитесь в мою Шарлотту… Разве она не напоминает женщин Guido Reni! А этот пейзаж, который виден сквозь решетку окна. C'est du Perugin tout pur… Полотно графини походило на огромную палитру, случайно залитую самыми фантастическими красками; из этого пестрого моря выступал длинный женский манекен, окруженный маленькими куколками.

– Ведь нынче пишут, как маляры, – продолжала графиня. – Никакого вдохновения, никакой поэзии… Голое, бесстыдное тело… А почему?.. Знатоков нет! Но с этим нужно бороться! И маленькая горсть… les vrais inities…[264] должны держать знамя… Однако, перестанем. Я слишком волнуюсь и вечером буду не в голосе. Я разучила прелестную серенаду Гуно… Она у меня очень удачно выходит… Вы не слыхали?

– Нет, графиня, но мне Ольга Ивановна говорила, что вы пели. Надежда Алексеевна с тоской взглянула на старинные английские часы: до второго завтрака оставалось еще сорок минут.

– Когда я была молода, – говорила, между тем, графиня, не прерывая работы, – меня отвлекали от искусства светские и семейные обязанности. Но и тогда все мне твердили: у вас талант. В Риме князь Альдоберони, un connaisseur celui-la[265] – прямо мне сказал: – “Графиня, вы совмещаете в дивном аккорде madame Lebrun et la Malibran[266], не зарывайте своих талантов в землю”. И, несмотря на все препятствия, я училась, читала, стремилась… А это было нелегко! В обществе меня прозвали “красной”. Женщины мне завидовали. Еще бы! Сам Лист у меня играл два раза…

Увлеченная воспоминаниями, она немного помолчала, переменила кисти, посмотрела на свою картину сбоку и с меланхолическим вздохом промолвила:

– Ах, если бы не русская дикость – у меня был бы самый блестящий салон нашего времени. Я всегда считала себя выше предрассудков и подозрений – всегда искала необыкновенное, Le rare[267] – и была жестоко наказана. Когда все заговорили о Лассале, я решила, что он будет у меня, et un beau jour je l'ai servi…[268]Я не встречала человека более обаятельного. Красавец, любезный, умница – он очаровывал решительно всех. А какой такт! Ни слова о чернорабочих… и вот добрые друзья дали знать en haut lieu[269], что у нас собираются карбонарии[270]. Графу

пришлось оставить свой пост и он, конечно, во всем обвинил меня.

Графиня опять помолчала и задумчиво прибавила:

– Другие находят утешение хоть в детях. Mais ils sont tellement terre-a-terre, mes enfants[271]. Боря – добрый малый, но выше конюшни – для него ничего нет на свете. А дочери – des bonnes popottes…[272] Каждый год детей рожают, – пояснила графиня по-русски. – Вот как прошла моя молодость… Но теперь, теперь я, по крайней мере, хочу жить для себя… Я чувствую свою силу… le feu sacre…[273] Наконец, я вовсе не так стара… Nadine, что же вы молчите? Я говорю, говорю, а вы точно не слышите…

– Напротив, графиня, я вас слушаю с большим вниманием, – поспешила возразить Надежда Алексеевна и, чтобы дать другое направление мыслям ее сиятельства, прибавила: – я и забыла вам сказать, что встретила m-me Косович. Она вам кланяется.

– Мерси, – сухо ответила графиня, – и куда она все бегает?

– Не знаю, графиня. Она была одна. Идет такая нарядная, свежая…

– Все это в долг, та chere[274], и наряды, и свежесть. Косович старше меня. Когда меня стали вывозить – она уже сделала два сезона. Муж ее был очень богат, она его разорила – lui et bien d'autres[275]. О, она хитрая и только прикидывается институткой, потому что это идет к ее птичьему лицу. Мужчинам ведь нравятся такие genre bebete[276]…

Часы медленно загудели. В дверях появилась высокая, статная женщина, в темном шерстяном платье, длинном черном фартуке и белом кисейном чепчике на гладких седых волосах.

– Ваше сиятельство, вода готова, – доложила она.

– Хорошо, Ольга Ивановна, я сейчас.

Графиня встала, аккуратно сложила кисти и вышла вслед за Ольгой Ивановной.

Оставшись одна, Надежда Алексеевна потянулась, зевнула и, пересев на табуретку графини, стала рассматривать ее картину. Презрительная усмешка искривила ее губы. Она вспомнила, как сегодня утром упрашивала Rordat, в виду старости и положения графини, потешить ее и как-нибудь провести “Шарлотту” на выставку, говорила, что неудача может гибельно повлиять на ее здоровье… А модный художник на все эти доводы только пожимал плечами и, поглаживая свои длинные усы, повторял: – impossible, mademoiselle, c'est pas un tableau. Votre dame est une vieille folle[277]. И он весело смеялся, выставляя два ряда ослепительных зубов. Графиня вернулась. На ней был свежий кружевной воротничок и манжеты. Черномазый, бритый лакей провозгласил: M-me la comtesse est servie[278] и, почтительно

изогнувшись, распахнул перед Надеждой Алексеевной и графиней тяжелые портьеры… Столовая, большая мрачная комната, заставленная массивной мебелью, с деревянными медальонами, оленьими головами и nature morte[279] по стенам, казалась еще угрюмее от гигантского камина, в котором под грудой пепла чуть тлели угли. Стол был накрыт на два прибора. Белоснежная скатерть резко оттеняла старинное серебро, тонкие фарфоровые тарелки и прозрачный хрусталь рюмок и стаканов. Черномазый Пьер бесшумно подвинул графине кресло, похожее на готический трон и, сняв крышку с блюда, подал ей две подогретые котлеты, украшенные тощими макаронами. За котлетами следовал салат – смесь chicoree и romaine; десерт состоял из “бедных рыцарей”, т. е. хлеба, поджаренного в масле, и шпината, в котором трусливо пряталось разрезанное пополам крутое яйцо. Графиня ела медленно и молча; Надежда Алексеевна быстро, словно украдкой, и тоже безмолвно. Когда последний “рыцарь” был уничтожен, Пьер налил графине вина, которого в бутылке оказалось так мало, что его едва хватило на полрюмки.

Графиня повела бровями и недовольно заметила: “il y еп avait plus que ca hier”[280].

– C'est pourtant pas moi, qui I'ai bu[281], – с достоинством возразил лакей, – ключи у Olga-Vann, пусть графиня осведомится у нее…

– Я вчера сама сделала на бутылке пометку – вина было вдвое больше, – сказала графиня, взглянув в сторону Ольги Ивановны. Та сидела за маленьким столом в углу и приготовлялась разлить в крошечные чашки только что вскипевший на спирту кофе.

– Полноте, ваше сиятельство, – грубоватым голосом, растягивая слова на московский манер, отозвалась Ольга Ивановна. – Кому оно нужно, ваше вино!.. И напрасно вы сами себя беспокоите, отмечаете… У нас, слава Богу, воров нет…

Графиня не возражала, но ее обвислые щеки потемнели, она нетерпеливо просунула в кольцо салфетку, уронила на пол нож, вздрогнула и процедила сквозь зубы: невыносимый беспорядок! Бритое лицо Пьера осклабилось плутоватой улыбкой: он служил у графини лет десять, понимал по-русски и был очень доволен, что Olga-Vann отделала “la vieille chipie”[282].

Надежда Алексеевна, опустив глаза, по-видимому, живо заинтересовалась узором на скатерти.

Допив кофе, графиня, в сопровождении Ольги Ивановны, удалилась в свою спальню отдыхать. Надежда Алексеевна тоже ушла к себе и бросилась ничком на ситцевую жесткую кушетку. Нервы ее были подняты. Она закрыла глаза. Существование ей показалось вдруг особенно горьким. Быть на посылках у

полоумной старухи… Уйдешь от нее – надо искать другую старуху или возиться с чужими, капризными, жестокими детьми… А жизнь уходит, уходит, и ничем, никогда, ни за что ее не вернешь – ни одного мгновения…

Надежда Алексеевна крепче прижалась к маленькой сафьянной подушке и судорожно расплакалась…

– Барышня!.. Надежда Алексеевна!., о чем это вы? – с тревогой спрашивала Ольга Ивановна. – Перестаньте, матушка, стыдно, – прибавила она с ласковой укоризной и, взяв в свои мягкие, теплые руки худенькие руки девушки, стала их поглаживать.

Надежда Алексеевна подняла с подушки заплаканное лицо и постаралась улыбнуться.

– Так, Ольга Ивановна, взгрустнулось что-то… Вы не обращайте внимания… пройдет. Но жалкое выражение лица противоречило благоразумным словам. Острый подбородок Надежды Алексеевны дрогнул, она закрылась платком и несколько раз отчаянно всхлипнула.

Старушка участливо тронула ее за плечо.

– Али графиня доехала?

– Нет, право, ничего… Тянет душу, как всегда.

– Уж именно тянет. На это она у нас первая мастерица. А вы бы так: в одно ухо впустили, в другое – выпустили.

Надежда Алексеевна энергически вытерла глаза.

– Теперь мне легче, – сказала она, – право, Ольга Ивановна, совсем прошло.

– Это вы потому все к сердцу принимаете, что мало кушаете, – возразила Ольга Ивановна. – Человек молодой, пищу требует настоящую, а тут натекась: сегодня вчерашние котлеты, завтра вчерашние котлеты – поневоле взвоешь… И до чего ее жадность одолела! Над всяким куском трясется.

Надежда Алексеевна кивнула головой.

– Знаете, – начала она, глубоко переводя дух, и на глаза ее опять набежали слезы, – когда я ем, я чувствую, как она следит за каждым моим глотком.

– И пущай ее следит… на здоровье! Погляжу я на вас, барышня, – молоды вы еще! До сих пор господ не понимаете.

Да мы для них хоть разорвись – им ни по чем… Так, мол, и надо. Разве они что смыслят! И говорить-то тошно… Пойдем ко мне, – я вас чайком напою, а то лежите, я сюда велю принести.

Ольга Ивановна встала и два раза нажала пуговку воздушного звонка. Явился Пьер.

– Петруша, – сказала она, – поставь мой самоварчик, да вот тебе ключ – у меня в шкафу свежая булка лежит, ну, и вареньица

захвати, и колбаски, и сухариков, да тащи все сюда. Только не шуми, чтоб графиню не разбудить. Понял?

Пьер ухмыльнулся.

– Я все может понимать.

Он скоро вернулся с большим подносом, ловко поставил его на стол, исчез и вновь появился с небольшим медным самоваром.

– Bon appetit, m-llie, – проговорил он и фамильярно прибавил: – ne vous pressez pas. la vielle dort, vomme une souche[283].

Ольга Ивановна заварила чаю и налила сначала Надежде Алексеевне, потом себе. Некоторое время обе молча ели и пили.

– За что же она вас шпыняла? – начала Ольга Ивановна.

– Да ведь я вам говорила, что ничего особенного. Просто я сегодня очень устала, да и проголодалась, должно быть. А главное, я боюсь, как бы не вышло скандала из-за картины. Ей хочется, чтобы она попала на выставку. Самой ей неловко просить, вот она и подсылает меня. Я бегаю, кланяюсь… Графиня понимает, что надежды мало, и волнуется, сердится на Rordat, на Labri. Но им она не смеет показать свое неудовольствие и вымещает все на мне. А чем я виновата! Я бы душой рада устроить ей это, мне ее жалко, да когда я ничего не могу…

– Вот уж это, сударыня, напрасно… Чего ее жалеть! Родные дети не жалеют да и не за что, по правде сказать, а вы!.. Добро бы она из нужды металась, а то ведь все это один форс. Ей бы старые грехи замаливать, а она все мечтает, всех поразить хочет – смотрите, мол, какая я есть… В молодости-то чудила-чудила – пора бы и честь знать, а она все своего духу унять не может.

Ольга Ивановна налила еще по чашечке себе и Надежде Алексеевне и, подув на блюдечко, принялась за свой чай уже с расстановкой.

– Ведь я-то уж ее сиятельство наизусть знаю, – начала она опять. – Все ее мысли насквозь вижу. Слава Богу, немало времени с ней кружусь. Взяли меня к господам – мне двадцати лет не было, а теперь вот шестой десяток идет, а ей и все семьдесят будет. Вот и посчитай-ка, сколько мы с ней соли вместе съели… А при графе что возни было! – воскликнула Ольга Ивановна и покачала головой. Самовар порывисто взвизгнул и вдруг задребезжал, как дрожащая струна, словно напевая – помнишь, помнишь, помнишь…

Надежда Алексеевна знала, что для Ольги Ивановны вся жизнь исчерпывалась воспоминаниями о “господах” и не мешала ей отводить душу, как не мешала графине вздыхать о былых триумфах.

– Покойник, царство ему небесное, был красавец писаный,

настоящий барин, – с увлечением продолжала Ольга Ивановна, – а на жену, как на богиню какую, молился. И уж ломалась она над ним!.. Как только, бывало, затяжелеет, и пойдет дым коромыслом. Мужик, болван… Честит его на весь дом и по-французски, и по-русски. До того довела, что граф в Киев ходил к угоднику молиться, чтобы у графини детей не было. А уж на что был безбожник… И вдруг, сударыня вы моя, накрыл он ее в Биарицце с французом. И уж как она попалась – до сих пор не пойму. Сколько раз сухая из воды выходила, а тут дала маху. На грех, видно, мастера нет. Думали мы в ту пору, что убьет ее барин беспременно. Однако, нет. Только почернел весь, в неделю стариком сделался. Она уехала в Париж, гувернантку вон, чтобы лишних разговоров не было, а меня с детьми в Расею. Сам и повез. На границе встретила нас сестра графа. Уселись мы в вагон. Я смотрю, – граф стоит на платформе, как будто и не его дело. Я ему: ваше сиятельство, уж звонили! – А он мне: – Я не еду. Я собрала детей, толкнула к окошку, учу их, – дескать, проститесь с папашенькой. А он махнул рукой и говорит: – черт с вами! Я вас сдал, а теперь вы меня не знайте, и я вас не знаю.

Год целый прожили мы у тетушки. Тоже золото была! Уж кого невзлюбит, так поедом и заест. Однако, граф с графиней помирились, только он против прежнего куда к ней стал хладнокровнее. Так что она даже иногда к нему с ревностью приступала – вы, говорит, нас своими безобразиями разорите. Ну, а там барышень в институт отвезли, графчика в пажеский корпус, а сами мы, ровно окаянные, все с места на место. И где только я с ними ни перебывала! И в Вене, и в Риме, и в Константинополе, и на водах разных. А спросите, что я видела! Стыдно сказать – ничего! Прежде все с детьми – гувернантки у нас не держались, и потом все при ней, все при ней. Ну, вот и рассудите сами – стоит ли нам из-за них себя расстраивать…

Надежда Алексеевна грустно усмехнулась. Она, видимо, успокоилась, подошла к туалету, поправила сбившиеся волосы и слегка напудрила покрасневшие веки и нос. Ольга Ивановна подперла рукой щеку и несколько раз тяжело вздохнула. Она стояла перед раскрытым зеркальным шкапом, в одной нижней юбке, вся красная, без наколки, растрепанная, и трясущимися руками швыряла футляры, шкатулки, белье. Очевидно, она что-то искала и не находила. На полу валялись саше, кружевная косынка; ящики письменного стола были наполовину выдвинуты…

Увидав Ольгу Ивановну и Надежду Алексеевну, она кинулась к ним и прерывающимся голосом выговорила: – Деньги пропали… чек на пять тысяч франков – и, гневно взглянув на компаньонку,

прибавила. – Ведь я при вас его получила, вы видели… Куда же он мог деваться…

– Может быть, вы его как-нибудь обронили, графиня, – пролепетала Надежда Алексеевна, – надо скорее сообщить в банк.

– Что вы тут рассказываете, – прервала графиня, – я еще не сошла с ума… Я никуда эти дни не выезжала, следовательно, не могла обронить. Я распечатала письмо при вас, вынула чек и, помните, еще сказала: “Boris est toujours en retardi”[284]. Потом Пьер входил и Francois. Если чек не найдется, значит, его украли в доме. C'est clair, comme bon jour[285]. Я никого не обвиняю, но имею право подозревать всех…

– Не может этого быть, ваше сиятельство, – строго возразила Ольга Ивановна. – Зачем понапрасну людей обижать?.. Засунули куда-нибудь понадежнее, да и забыли… Даже очень просто… Поискать надо хорошенько.

– Я везде искала, везде.

– Вижу, что искали, только больно горячо. Так ведь и проглядеть недолго. Вы извольте-ка сесть в кресло, а мы с барышней потихонечку-полегонечку еще пошарим.

Ольга Ивановна пристально поглядела на графиню, и, под влиянием этого холодного, спокойного взгляда, графиня точно присмирела. Она покорно опустилась в кресло, сжала руки и прошептала – volee, volee!..[286]

– Барышня, – произнесла Ольга Ивановна, – вы в письменном столе ищите, а я переберу шкап.

В комнате воцарилось тяжелое молчание. Надежда Алексеевна с нахмуренным лицом, бледная, с презрительно сжатыми губами, внимательно рассматривала бумагу за бумагой, встряхивала книги, хлопала по ящикам. У шкапа, шурша вещами, возилась Ольга Ивановна. Вдруг она обернулась.

– Это что ли, – сказала она, протягивая графине тонкий листок бумаги. Та жадно схватилась за него.

– Где, где ты его нашла?

– Да вот здесь, в перчатках – на самом донышке лежал, – проговорила Ольга Ивановна, указывая на длинный плюшевый баул, переполненный перчатками всевозможных цветов и размеров.

– Я не помню, – сконфуженно бормотала графиня.

– То-то, надо бы помнить, – заметила Ольга Ивановна.

– Ты что же это – учить меня хочешь, – вспылила графиня.

– Смею ли я ваше сиятельство учить! А что, конечно, обидно на старости лет да в воровках очутиться…

– Ты лжешь… Я сказала, что никого не обвиняю. У меня сил нет выносить твою грубость.

– Что ж! Коли не угодна – разочтите… Ваша воля.

– Ступай вон!

– И вон можно. Благодарим на чести, ваше сиятельство… недаром столько лет вашей милости прослужила.

Ольга Ивановна низко поклонилась, но не выдержала характера и, уходя, яростно хлопнула дверью.

– Elle est insupportable, cette brute?[287] – всхлипывающим голосом проговорила графиня. – Я ее избаловала… облагодетельствовала… Но разве этот народ способен ценить человеческое обхождение… И вы, Nadine, я несколько раз хотела вам заметить, – напрасно обращаетесь с ней, как с равной. Фамильярность с прислугой – c'est tres mauvais genre[288].

Надежда Алексеевна не отвечала и угрюмо продолжала приводить в порядок письменный стол.

Роскошная гостиная Louis XVI, которою так гордилась графиня, мягко освещена целой батареей ламп под бледношелковыми и кружевными зонтиками. В глубине комнаты, за круглым столом, уставленным фруктами, конфектами, petit four и бисквитами, сидит Надежда Алексеевна и разливает чай из “русского” серебряного самовара.

Общество, по-видимому, оживленно беседует, шутит, смеется… Но графиня – удручена. Выходит как-то так, что она, хозяйка, в стороне… Ей почтительно кланяются, с банальным участием справляются о ее здоровье и затем к ней обращаются лишь мимоходом, словно она – докучная вещь, которую нельзя спихнуть с дороги. Особенно волнует графиню m-me Ducos. Она чувствует, как ее сердце захватывает самая постыдная зависть к этой женщине, с чертами отяжелевшей римской матроны, которая так победоносно выставляет напоказ свои жирные, набеленные плечи. Madame Ducos – знаменитость. Ее рассказы печатаются в больших газетах. Это – бойкие картинки, в которых, на фоне католицизма, бонапартизма и слащавой морали, мелькают всегда одни и те же марионетки; еврей – хищный и карикатурный барон, элегантная flirteuse[289], невинная барышня, в совершенстве владеющая жаргоном кокоток, и герой пустоголовый, но обольстительный сноб.

Madame Ducos говорит уверенно, с тем апломбом, который отличает людей успеха. Она только что произнесла речь о франко-русской дружбе, об изумительном гении русского народа, умеющего сочетать идеалы XIII века с последним словом культуры, упомянула о славянском гостеприимстве и обвела слушателей своими огромными, черными, как агат, глазами в ожидании одобрения.

– Oh les russes! – патетически воскликнул изможденный поэт,

журналист и музыкальный критик Labri. – Tolstoi est le genie litteraire de siecle[290].

– С помощью русских мы уничтожим немцев, и тогда нам никто не страшен, – подхватил художник Rordat, красивый, атлетически сложенный мужчина.

Молодой дипломат Облицын, польщенный в своей национальной гордости, поклонился с достоинством юбиляра, которому расточают комплименты.

– Notre grand Dostievsky, – начал он медленно, словно у него во рту опухоль, – notre grand Dostievsky сказал, что русский человек – “всечеловек” и что он любит, когда его бьют… II y a meme un proverbe…[291] и тут же к чему-то привел свежий анекдот об одной особе, которая на обращенную к ней просьбу лучшего друга ударила кулаком по столу и крикнула: – Вот жизнь! Поесть не *дадут* спокойно…

– Скоро ли вы кончите вашу скучную политику? Терпеть не могу философии, – капризно сказала м-м Коссович. – M-rr Rordat, попросите у m-lle Nadine для меня чашку чая и присаживайтесь к нам с Lili. Не будем мешать серьезным людям.

Красивый художник с видимым удовольствием бросился исполнять желание madame de Kossovitch, не замечая ревнивого взгляда, которым наградила его писательница. Графиня покосилась на Коссович, так бесцеремонно заполонившую художника. Ей очень хотелось как-нибудь привлечь его назад, но она не решилась покинуть m-me Ducos, восторженно передававшую Облицину и Labri свои впечатления о новой пьесе Ибсена – ce Shakespeare du Nord[292].

– Это грандиозно и ужасно… Я чувствовала, как у меня волосы становятся дыбом… C'est un visionnaire[293], – проговорила она таким загадочным тоном, что трудно было решить – похвала это или величайшее порицание “северному Шекспиру”.

– Признаюсь, я незнаком с произведениями Ибсена, – замямлил Облицын, – но вы изволили сказать – он “visionnaire”, а меня с некоторого времени весьма интересует tout ce qui a rapport aux esprits[294]. Представьте, я купил в Швейцарии виллу, и оказалось, что это une maison hantee[295]. Духи там играют на рояле, гасят свечи, колотят сторожей… Одного лакея так избили, что он захворал. Я лично поставил ему термометр. Температура оказалась неслыханная – 42 1/2 градуса. Посылаю за доктором, тот прибегает, и что же… Термометр показывает всего 37! Не правда ли, как странно.

– Очень странно, – согласился Labri и с недоумением посмотрел на графиню. Но бедной графине было не до Облицина. Все ее внимание было устремлено на m-me Коссович, Lilli и

Rorbat, которые уютной группой расположились на низеньких стульях и весело, хотя и вполголоса, болтали.

“И что он находит в этой глупой, пустой кукле!” – тоскливо думала графиня, кидая молниеносный взор на моложавую, подвижную, миниатюрную фигурку Коссович, задрапированную в какой-то необыкновенно сложный и яркий костюм.

А та, будто не замечая негодования хозяйки, щебетала без умолку, смеялась каждому слову и курила папиросу за папиросой, уверяя, что это ей помогает от “нервного кашля”.

Заметив рассеянность графини, Labri наклонился к ней и сказал: – Вы любуетесь m-elle de Kossovitch. Quelle superbe creature![296] Lili была настоящая русская красавица, белокурая с нежным румянцем во всю щеку. Синие задорные глаза, соболиные брови, вздернутый носик; из-за алых губ сверкают в откровенной улыбке крепкие, белые зубы – так и кажется, что вот-вот она подбоченится одной рученькой, возьмет в другую платочек и, будто лебедь, поплывет среди хоровода.

– Superbe, Superbe, – повторил тощий поэт, и его тусклый взор загорелся алчным блеском.

Графиня кисло заметила, что у нее была горничная, как две капли воды, похожая на Lili.

– Desole de ne Г avoir pas connue, – с комическим вздохом произнес Labri.

M-me Ducos кокетливо погрозила поэту веером. Облицын осклабил свое длинное бескровное лицо, а графиня решительно встала и громко спросила Rordat – подвигается ли его “Химера”.

– Ах, – воскликнула m-me Коссович, всплеснув руками, – мы с Lili видели эту прелесть. Maitre[297] был так мил, показал нам свой atelier[298]. Знаете, я нахожу, что “Химера” – вылитая Lili… N'est ce pas?[299] – обратилась она к художнику.

– Parfaitement, madame[300].

– En ce cas votre “Chimere” n'est pas bien chimerique[301], – колко вставила графиня.

Lili добродушно засмеялась.

– Это мамино воображение, графиня, – сказала она по-русски, – а он из любезности не противоречит.

– Ах, – вмешалась опять m-me Коссович, – какой мы там видели портрет Иветты! Совсем живая, сейчас запоет.

– А вы ее слушали? – осведомилась графиня.

– Как же! У маркизы Fabiola. Она меня поразила, очаровала. Это – артистка, артистка, великая артистка. И ничего, ничего скабрезного. Одета скромно, как пансионерка, гладко причесана – даже никаких frisettes[302], детская улыбка, ясные, невинные глаза, звонкий голос… Enfin une jenne fille de bonne maison[303].

Французы громко расхохотались, а Rordat даже стал напевать:

– Elies sont maus-s-des ge-ne-rf-le-ment,
Elies ont meme quelque chose de cas-sant…[304]

– Это “Les Vierges”, – взвизгнула m-me Коссович, – что за восторг!..

– А вы, Lili, также увлечены Иветтой, как ваша maman? Может быть, изучаете ее репертуар? – насмешливо спросила графиня.

Lili покраснела до ушей, ее верхняя, короткая губа запрыгала от сдерживаемого смеха, но она сейчас же справилась и сказала: – Нет, графиня, я пою только классические вещи.

– Ах, та chere, теперь и “Belle Helene” считается классической пьесой, – отозвалась графиня, и, не дожидаясь реплики, воскликнула: – искусство падает, падает везде и во всем.

– Но позвольте, графиня, – вежливо возразил Labri, – я не могу с вами согласиться. Посмотрите, какое необычайное разнообразие во всех областях искусства являет хотя бы Франция.

– Это промышленность, а не искусство, – сурово заметила графиня.

– De l'industrie, – возмутился живописец, – vous n'y alle pas de main morte![305] – и пошел, и пошел…

– А мы-то имеем дерзость полагать, что мы ищем новых путей в искусстве, – декламировал он, – что мы стремимся освободить человеческий гений от рутины, от вековых предрассудков касты… Для художника наших дней душа королевы и душа прачки представляют одинаковое право на интерес.

На обвислых щеках графини вспыхнули, сквозь слой румян, два багровых пятна. Ей очень хотелось выгнать вон этого нахала, и в то же время она боялась его рассердить. Она с отчаянием видела, что время идет, что скоро начнут расходиться, а о главном, о ее картине, до сих пор не удалось вставить ни слова. Она бросила взгляд на неподвижно сидевшую за самоваром Надежду Алексеевну, как бы призывая ее на помощь. Та изобразила на лице своем полную готовность ринуться, куда прикажут, но ни малейшей инициативы.

Графиня тихонько вздохнула.

– Наши споры ни к чему не ведут, – промолвила она с виноватой улыбкой. – В сущности, каждый из нас по-своему стремится к идеалу. Я не разделяю ваших воззрений, cher Maitre, но восхищаюсь вашим талантом.

Художник поклонился.

– О, это не для того, чтобы вам польстить! Я, в самом деле, очень, дорожу вашим мнением. Вот вам доказательство – я

кончила свою картину и с трепетом жду вашего приговора.

Rordat еще раз поклонился.

– Почту за особенную честь, – сказал он, – и, если позволите, зайду к вам завтра утром.

– Зачем же завтра… мы можем посмотреть ее сейчас. У меня прекрасные рефлекторы.

– Нет, графиня, я желаю смотреть ваше произведение не подкупленными глазами, а при дневном свете. Я уверен, что ваше полотно не боится солнца.

Графиня расцвела.

– Значит, завтра, завтра утром?

– C'est entendu[306].

– Можно узнать сюжет вашей картины? – спросила m-me Ducos. – “Шарлотта Кордэ перед казнью”, – сказала графиня. – Я верна своему девизу: le genre historique en peinture et la vertuosite dans le chant[307]. Из современных композиторов я отдаю предпочтение Goundon. Еще сегодня я пела его романс. Nadine, отыщите эту музыку.

Надежда Алексеевна встала, взяла с золоченной полочки заранее подготовленные ноты и положила их на раскрытый между двумя жардиньерками рояль. Но никто не попросил графиню спеть. Она опять нахмурилась и почти с ненавистью поглядела на Lili, чистившую изящным ножичком огромную грушу. Графиня тут только заметила, что вазы переполнены дорогими фруктами и подумала, что надо сделать Ольге Ивановне серьезное внушение. Примеру Lili последовали остальные гости. По ассоциации идей m-me Коссович вспомнила, как она в Москве, у богатых купцов, ела икру из большого серебряного ведра. Ужин был неописуемый, хозяева, потчевали гостей неотступно, гости ели и пили, как гомеровские герои.

На это Labri глубокомысленно заметил, что в России вообще еда – культ или, вернее, оргия.

Графиня обиделась и возразила, что это только у купцов.

– Но ведь ваши московские купцы – это какие-то сказочные набобы, – сказала m-me Ducos, – и, в противоположность ходячему мнению, они совершенно цивилизованы, говорят без акцента, знают толк в литературе, любят искусство…

– Я сам имел случай познакомиться с таким “набобом”, – заметил Rordat. – Тут был молодой Kvasskof с женой, une tres jolie femme[308], я писал с нее портрет, и он заплатил по-царски. Конечно, он немного смешон, щеголяет артистическим “argot”[309], но в общем это – меценат, а по части “шика” – c'est le dernier cri[310]. Графиня и m-me Коссович за весь вечер в первый раз обнаружили трогательное единение. “Купцы” были их

“больное место”. Они наперерыв стали объяснять французам, что купеческая цивилизация – только лоск, что на самом деле купцы хуже мужиков. Они издают журналы для рекламы, покупают картины из чванства, строят больницы, чтобы получить орден, дают тысячи на балы и штрафуют прислугу за разбитый стакан. Вся их образованность – вывеска. Это разбойники и грабители, воспользовавшиеся дворянским благородством и беспечностью. Облицин тоже оживился и рассказал об одном миллионере нового образца, который выстроил дворец в египетском стиле, и чтобы утереть нос аристократам, завел у себя музыкальные вечера. – Вот, раз играют у него trio Чайковского… известное… Гости сидят и важно одобряют. Когда артисты кончили, хозяин к ним подходит и говорит: – “Странно, я слышал это trio в симфоническом, так его там гораздо дольше играли!”… Ха, ха, ха!., вы, мол, такие сякие: взяли сто целковых, а по-настоящему не стараетесь.

Все засмеялись. Это поощрило Облицина, и он уже готовился преподнести новый анекдот, но m-me Ducos взглянула на часы и встала.

– Je me sauve[311], – сказала она и выразительно посмотрела на Rordat, Кроссовы и Облицин тоже поднялись. Графиня их не удерживала. Но когда стал раскланиваться Rordat, она взволновалась. Она надеялась, что с удалением “неприятного элемента” – в ее гостиной en petit comite[312] немедленно сделается интересно, и влиятельные артисты воздадут, наконец, ей должное.

– Пожалуйста, останьтесь, – просила она, – мы еще побеседуем, помузицируем.

Художник учтиво, но решительно отказался: он должен поспеть сегодня еще в одно место. Labri намеревался ускользнуть незаметно, но Надежда Алексеевна успела ему шепнуть: – restez… je vous supplie[313]. Он с изумлением взглянул на девушку, всегда такую сдержанную и корректную. Ему сразу стало весело. Он приосанился, погладил свои растрепанные по моде усы и как-то особенно понюхал воздух, словно почуявшая добычу гончая… Когда они остались втроем, графиня уселась в кресло с мрачным видом человека, оскорбленного в своих самых лучших чувствах.

Надежда Алексеевна, чтобы начать разговор и хоть немного успокоить хозяйку, сказала: “m-me Коссович – странная женщина”.

– Если глупость есть странность, то она действительно странная, – оборвала графиня.

Labri засмеялся. “Ситуация” начинала его интриговать, и он пожалел, что нельзя вынуть из кармана записную книжку “et

prende des notes”[314]. Labri был снедаем честолюбием. Его страстной, мучительной мечтой было создать что-нибудь из ряду вон оригинальное. “Лиловые звуки” декадентов, бутафорский мистицизм символистов – его не удовлетворяли. И потом, это уже известно, этим никого не удивишь… А ему именно хотелось удивить, ошеломить, выдумать что-нибудь такое, что приковало бы к нему взоры всего мира, то есть Парижа. И бедный Labri сгорал в этих судорожных поисках “необычайного”. “Ведь вот, оно, может быть, так и есть, – думал он; – оно, может быть, также просто, как и все великие открытия… стоит только нащупать эту никем еще незамеченную пружину. Кто знает, может быть, эта смешная старуха, эта русская grande-dame сыграет для меня роль благодетельной феи”…

Он пристально взглянул на графиню.

В муаровом серебристом платье, покрытом старинным пожелтевшим кружевом, раскрашенная, с обвислыми щеками и печально опущенными углами губ, она казалась погруженною в какую-то неотступную думу. Ее пальцы в бриллиантовых кольцах машинально перебирали ноты.

– Nadine, – промолвила она, наконец, с жалкой улыбкой, – Nadine, хотите я спою вам что-нибудь ваше любимое, русское.

И тусклые старческие глаза, готовые по-детски расплакаться, умоляюще смотрели на компаньонку.

– О, конечно, графиня, как вы добры. Позвольте я отыщу ноты. M-r Labri, будьте любезны, посветите мне. Вы никогда не слыхали, как графиня передает русскую музыку?

Labri поднял свечу над склоненной головой Надежды Алексеевны.

– Ради Бога, – шепнула она ему, – попросите ее спеть и восторгайтесь, а то с нею сделается истерика.

– Графиня, – воскликнул Labri, – я большой поклонник русской музыки и буду счастлив слышать ее в исполнении такой утонченной артистки.

Графиня моментально оживилась. С легкостью молодой девушки она подбежала к роялю и, грациозно оправив платье жестом примадонны, села, улыбаясь, на табурет. Надежда Алексеевна положила перед ней на пюпитр тетрадь нот.

– Je vous chanterai du Tchaikovsky et du Glinka[315], – промолвила графиня, откашлялась и запела.

Это было не пение, а какой-то бессильный, сердитый писк, переходивший минутами в глухое чревовещательство. Француз задыхался от смеха и лукаво подмигивал Надежде Алексеевне, которая упорно избегала его взглядов и притворялась, что внимательно слушает. А графиня пела романс за романсом, с

каким-то отчаянием напрягая непокорный голос, словно всадник, гневно пришпоривающий заморенного коня.

– “Любви роско-ошная звезда, ты за-ка-ти-и-лась…” – прохрипела она и вдруг, поникнув головой, умолкла. Labri подумал, что она сделала ему знак перевернуть страницу и стремительно исполнил требуемое. Но графиня не двигалась.

– Mademioselle, – воскликнул он, – la comtesse se trouve mal[316].

Надежда Алексеевна кинулась к графине, приподняла ее свисшую на грудь голову, стала ее тормошить, дуть ей в лицо, тереть виски. Но графиня точно окаменела.

Надежда Алексеевна неистово принялась кричать: – Ольга Ивановна! Ольга Ивановна! Labri бросился к колокольчику. Весь дом задрожал, застонал, засуетился. Сбежались люди. Ольга Ивановна притащила целую аптеку склянок. Едкий запах эфира, нашатыря и одеколона распространился по комнате.

А графиня смотрела на всех прищуренными глазами, и на ее полуоткрытых губах застыла улыбка, печальная, как слова недопетой ею песни.

– Господи помилуй! Царица небесная… – завопила, крестясь, Ольга Ивановна, – да ведь она кончилась! Ваше сиятельство, Прасковья Львовна, очнитесь, матушка, хоть одно словечко вымолвите… Господи Батюшка, Николай угодник… Не слышит, не слышит…

Пьер помчался за доктором.

Графиню перенесли на диван, расстегнули платье, разрезали корсет… Приехавший доктор послушал сердце, пощупал пульс, приказал раскрыть все окна, вынул было иглу для подкожного вспрыскивания, но раздумал и, пожав плечами, сказал: inutile – elle est morte[317].

Labri предложил растерявшимся женщинам свои услуги.

Надежда Алексеевна отправила его в посольство, а сама села писать телеграммы в Россию. Явились кухарка и вторая горничная. Покойницу как-то удивительно скоро обрядили, покрыли белым пологом и, по распоряжению Ольги Ивановны, положили на стол. Она же приладила у изголовья собственную икону в потемневшей ризе. Пьер деловито запирал шкапы, завешивал зеркала, приводил в порядок комнату, где смерть только что прервала маленькую игры суеты и тщеславия, властно напомнив легкомысленным актерам о вечности… А Ольга Ивановна, закрыв лицо фартуком, тихо всхлипывала и причитала.

После праздника (Эскиз)

Конгресс превзошел самые смелые ожидания. На всех лицах было написано торжество. Всюду слышалась разноязычная речь. Мужчины в цилиндрах и дамы, в пестрых cache – poussiere[318], с обязательной розеткой на груди, разъезжали по городу, глубокомысленно перелистывая красные гиды, чем приводили в необыкновенно веселое настроение уличных мальчишек. Знатные и всяких чинов иностранцы ели и пили, танцевали и слушали музыку, “посещали” и “внимали” – и не могли нахвалиться русским радушием. Знаменитости говорили блестящие речи, проделывали эффектные эксперименты, выражали разные pia desiderata[319] и благосклонно одобряли русских коллег.

Один из организаторов съезда, Павел Иваныч Горбов, быстро вошел в бюро и в изнеможении опустился в кресло. Он очень устал. Его затормошили со всех сторон. Сколько хлопот причинил ему один раут! Ведь это был главный “clou”[320]конгресса, на который пришлось потратить бездну ума, внимания, изобретательности, фантазии… И он удался на славу. Кажется, можно бы быть довольным, а между тем Павел Иваныч был не в духе. Его что-то грызло. Он даже знал, что именно, но обстоятельство это было настолько случайное, мимолетное… Павел Иваныч не допускал, чтобы оно само по себе могло повлиять на его настроение, и объяснял свою нервозность переутомлением. Вот и теперь его не покидает беспокойное чувство, и он в сотый раз перебирает в памяти “как было дело”… Ну да… Гости осматривали клиники… Со всех сторон несся гул похвал… Любезные хозяева не без удовольствия ухмылялись: знай, мол, наших, утерли нос вашему гнилому западу. Вдруг один из самых громкозвучных корифеев – немец, благообразный седой старик, тронул Павла Иваныча за рукав.

– Прекрасное здание, идеальное, – сказал он, – но где же больные?

– Да ведь теперь лето, – с очаровательной улыбкой возразил Павел Иваныч.

– Человечество хворает и летом, – сухо заметил немец, и поверх круглых стекол очков на Павла Иваныча сурово глянули умные, еще совсем голубые глаза.

Павел Иваныч опешил.

Он думал, что сразил немца неопровержимым аргументом… Оказывается – человечество хворает и летом… Он так и сказал:

человечество – die Menschheit, – а не люди. Маленькое слово, а Павлу Иванычу сделалось неловко, словно школьнику, которого на месте преступления застиг строгий учитель.

Собрания, обеды, ужины, тосты, в которых неизбежно приветствовалось “сердце России” и “братский обмен мысли”, встречи и проводы совсем закружили Павла Иваныча. Но странное дело! Среди целой массы ежеминутно сменяющихся впечатлений – до него нет-нет и донесется брюзжание педантичного немца. Вчера, в концерт, модная певица, вытягивая и взвизгивая по-цыгански, так задорно пела:

“Когда с то-бой в от-дель-ном ка-а-би-не-э-те”…

Публика чуть не топала от восторга, а у него в ушах, точно назойливая муха, жужжало: человечество хворает и летом… “В отдельном ка-би-не-те” и “человечество”… Черт знает что такое… Сегодня только Павел Иваныч немного развлекся. Он ездил с американкой-докторессой – покупать ей башмаки. Американка, прехорошенькая, всю дорогу без умолка щебетала, рассказывала что-то о Бостоне…

Павел Иваныч понимал лишь наполовину, но с апломбом произносил: – oh yes! и с большим удовольствием глядел на улыбающиеся пунцовые губы, за которыми так соблазнительно мелькали белые, крепкие, унаследованные от англосаксонского дедушки, зубы… Совсем было повеселел Павел Иваныч, но дома нашел кислое письмо от жены из деревни и опять впал в уныние. У его жены – особый дар понимать шиворот навыворот все, что он ни делает. И не то что она в самом деле не понимает. Вообще, она соображает очень не дурно, но ей доставляет какое-то злое наслаждение предприятия Павла Иваныча выставлять в смешном, унизительном и даже постыдном виде. Теперь она его называет “антрепренёром”. Можно подумать, что он из корысти все лето мечется, как угорелый. Ведь она же знает, должна знать, что он искренно, искренно желает придать как можно больше блеску празднику науки. Он не щадил ни сил, ни здоровья и радовался, что в нем еще не замерли молодые порывы. Он весь подбодрился, забыл про катар желудка и про печень, и когда студенты-распорядители обращались к нему, как в высшую инстанцию, или почтительно понижали голоса при его появлении – ему хотелось крикнуть им: э, полноте, господа, не стесняйтесь, я сам такой же зеленый студиозус, как и вы…

Павел Иваныч вздохнул, прошелся несколько раз по комнате и, решительно присев к столу, стал проверять толстую книгу с квитанциями железнодорожных билетов.

Вошел молоденький студент.

– Павел Иваныч, для вас тут два дня письмо лежит; простите, забыл передать.

– Откуда это?

– Из Парижа.

– Эге! Какой-нибудь запоздалый коллега хватился… давайте его сюда.

Павел Иваныч взял поданный ему студентом узкий, длинный конверт цвета “mauve”[321]. На него пахнуло тонким ароматом ириса, адрес написан по-французски незнакомой женской рукой.

– От кого бы это могло быть, – проговорил Павел Иваныч и разорвал конверт.

“Cher ami”[322], – прочел он и в недоумении перевернул последнюю страничку, чтобы взглянуть на подпись.

“Votre vieille et fidele Marie Droz”[323].

Так это от Marie, от милой Marie, – чуть не вскрикнул Павел Иваныч, и с бьющимся сердцем стал читать дальше.

“Cher ami, Вы верно очень-очень удивитесь, получив эти строки, вероятно, даже не скоро вспомните, кто это вам пишет. И не мудрено! После 15 лет разлуки самые близкие друзья становятся чужими. Вам, конечно, странно, – почему это я теперь вздумала напомнить о себе? А в сущности это очень просто. Последние дни все газеты наполнены отчетами, сообщениями и корреспонденциями о происходящем у вас конгрессе, и среди этих описаний несколько раз мелькнуло ваше имя. “Уважаемый Mr. Paul Gorbof, благодаря любезности и предупредительности Mr. Paul Gorbof, французские врачи чувствовали себя дома в гостеприимной русской столице” и т. д.

Tiens[324] – подумала я, ведь это он, милый, веселый друг моей молодости, и в моей душе вдруг всколыхнулся и ожил целый ряд воспоминаний о незабвенных, сладких, безвозвратно умчавшихся днях. Передо мной, как бы по волшебству, воскресла ваша крепкая, высокая фигура, я опять увидала вашу белокурую, кудрявую голову и серые, ласковые, наивные глаза… (то не были глаза парижанина, о нет!..) Помните, как мы встретились первый раз на вечере у профессора Марэ! Как вас смущали наши grands airs[325] и как мы потихоньку смеялись над вами вместе с Адель Марэ… Милый дикарь скоро цивилизовался и даже приобрел ту жестокость, которая неразлучна с

цивилизацией… уехал, не простившись… Это было немного обидно… Два года безоблачной нежности… и вдруг ничего… тьма… Я много, много плакала. Но, не думайте, что я хочу вас упрекать. Нет, нет! Я давно простила, забыла горечь разлуки, я помню одно хорошее и теперь, после стольких лет, протягиваю

вам руки и горячо благодарю. Вы были тот луч солнца, который скрасил мою серую долю, мне, по крайней мере, есть, чем помянуть жизнь. Совесть моя покойна: мещанская мораль ее не тревожит. Я ничего ни у кого не отняла и взяла у судьбы лишь то, на что имеет право всякое живое существо. Как бы мне хотелось вас повидать. Очень вы изменились? Женаты? Счастливы? Есть дети? О себе вам могу сказать мало. Я довольна, счастлива. Скоро семь лет, как я овдовела и вся отдалась своим детям. Альфреду 19 лет. Он прекрасно учится и такой смелый, умный, благородный мальчик. Я им очень горжусь. А помните вы мою крошку Blanche? – Этой девице уже шестнадцатый год, и вы можете мне поверить, несмотря на все мое материнское пристрастие, что это прелестная молодая особа. А я… я почти старуха, и черные локоны, которыми вы когда-то так любовались, обильно усыпаны снегом и снег этот – увы! – не тает весной. Адель Марэ (вы ее не забыли?) тоже овдовела и постарела: мы с ней по-прежнему дружны. У нее, бедняжки, нет детей. Вот и все, что я хотела вам сказать, мой друг. Если придет охота – откликнитесь. Ваше письмо будет большой радостью для вашей старой верной Marie”.

Павел Иваныч долго просидел над этим письмом. Его точно обволокла волна той щемящей грусти, которая захватывает сердце при виде дорогой, но уже давно заглохшей могилы. Он встал и, не выпуская из рук письма Marie, подошел к зеркалу. Оттуда на него печально поглядел солидный господин с большой лысиной, красноватым носом, измятым, нездоровым лицом и жидкой, бесцветной щетиной вокруг доброго, мягкого рта.

“Хорош”, – подумал Павел Иваныч, и ему захотелось прижаться к чьему-нибудь теплому плечу и заплакать.

“Человечество хворает и летом”, припомнил он опять фразу непоколебимого немца, но теперь эта фраза звучала уже не сурово, а скорбно, и Павел Иваныч мысленно прибавил: хворает и умирает… и мы с вами умрем, Herr Geheimrath. Таков неумолимый закон природы.

Эссе, воспоминания

Письма из Москвы

Письмо первое

У нас начался сезон, т. е. обыватели, как коренные, так и приставшие, давным-давно собрались в город; квартиры после летнего беспорядка прибраны, на окна навешены шторы, с картин и мебели сдернуты чехлы, газеты запестрели объявлениями студентов и учительниц, готовых распространять всевозможные науки и искусства за какую угодно цену; румянец, зажженных летним солнцем на девичьих щечках, уступил место обычной интересной бледности… Все прилизалось, подтянулось и, вздохнув, принялось за отбывание барщины обыденного существования.

Москву в последние годы как-то вообще обуяла дремота – все бродят, словно сонные. Грянет какой-нибудь скандал-монстр вроде Рыковского или Назаровского процессов, ну и москвичи встрепенутся, поахают, поволнуются, поропщут на вердикт присяжных, и опять “все задремлет, все заснет”. Появится заграничная знаменитость – Поссарт, Барнай… – глядишь, наша матушка воспрянула, ни дать ни взять – феникс из пепла. Цветы, овации, газетные дифирамбы, взаимные комплименты рецензентов противоположных лагерей, разоблачения частной жизни, привычек и слабостей “дорогих гостей”, восторженные речи, прощальные обеды и ужины, торжественные проводы на вокзал, рыданья и сувениры прекрасных поклонниц… – и снова тишь да гладь… Евреи, как народ отзывчивый, тоже вносят свою лепту в повальный восторг, хотя, конечно, в более смиренной форме. Робость и смирение – наши невольные добродетели. Мы когда и веселимся, так точно прощенья просим.

Не знаю, как в других городах, но в Москве, особенно за последнее десятилетие, евреи живут совершенно особняком, и живут томительно-скучно. Правда, местная русская интеллигенция, за исключением разве некоторых, не по разуму усердствующих газет, не накидывается на евреев с пеной у рта, не высказывает громогласно желания стереть бедный Израиль с лица земли, но зато так чистосердечно, так искренне игнорирует его существование, что даже сами евреи как бы свыклись с мыслью, что так этому и быть надлежит. Есть, конечно, единичные исключения, которые проникают всюду, на которых смотрят почти, как на “своих”, но мне кажется, что эти счастливые единицы должны чувствовать себя неловко на чужом пиру. У

таких измученных людей, как евреи, нервы очень чутки: малейшая ирония в голосе, небрежный жест, беззаботно брошенное в вашем присутствии слово “еврейчик”… и иллюзия мгновенно пропадает, сердце начинает ныть, слова замирают на губах, смех обрывается жалобной нотой, и чувствуешь, как в наболевшей груди все кричит: Ложь! ты тут не “почти свой”, а совсем, совсем чужой. Помню, как лет 10–15 тому назад я, только что выпущенный из учебного заведения птенец, мечтал вкупе с такими же птенцами о наступлении новой эры. Чем-чем только мы тогда не увлекались, даже славянофильством… Я особенно кипел жаждой “слияния”. Меня сердило всякое проявление шероховатости, грубости, вульгарности со стороны юношей-евреев, к которым я относился с преувеличенной подозрительностью и требовательностью, в то же время бессознательно закрывая глаза на крупную грубость коренных, к которым питал страстную благодарность за *ласку*. Мне все казалось, что нам нужно только еще немножко потерпеть, чтобы они могли убедиться, какие мы на самом деле, как душа наша открыта для истины, добра и красоты, и тогда… какое же сомнение, что они откроют нам братские объятия… Тогда, впрочем, и во всем обществе чувствовалось какое-то приподнятое настроение… Действительность скоро всех отрезвила, и скорее всех, конечно, нас, на которых сердце срывали и либералы, и консерваторы, и народники, и квартальные, и всякие добровольцы. Теперь и у нас, и у них все вяло, серо и донельзя шаблонно, так что в этом отношении по крайней мере нам нечему завидовать друг другу.

Казалось бы, что при таких условиях все евреи должны черпать все жизненные ресурсы у себя. Недаром же столько говорят о еврейской солидарности. Но увы, эта солидарность чисто внешняя. Конечно, евреи разговаривают, ездят в гости, сходятся преимущественно друг с другом и по виду, как будто, и вправду составляют что-то похожее на общество. Но это общество, особенно его привилегированная часть, до того лишено всякой физиономии, до того тщеславно, надуто, мелочно, что оно действует, как угар на попадающего в его среду нового, свежего человека. Настоящее убожество русской жизни охватило и нас своей мутной волной. Личная жизнь в самом узком смысле, заслонила все общепринятые интересы. Все идеалы свелись к одному: как бы поприятнее пожить; и сколько муки, сколько пыток причиняет этот упрощенный идеал, какую бездну лжи и притворства он породил. Нигде это так резко не бьет в глаза, как у нас, евреев. Вопреки ходячему мнению, будто у нас денег куры не клюют, мы – за исключением очень миниатюрной группы –

люди необеспеченные и, главное, совершенно не умеющие жить. Этот незаменимый талант, доведенный до виртуозности средним классом в Германии, Англии, Франции и лишь отчасти свойственный русским, нам, евреям, совершенно не известен. Происходит ли это от нашей вековой бродячей жизни, от нашей неуверенности в завтрашнем дне, – факт тот, что с большими средствами мы живем смешно, а с ограниченными – жалко и мучительно. Вероятнее всего, это зависит от самой обстановки нашего существования, исключающей возможность правильной распланировки общественных слоев – явление само по себе прекрасное, но у нас, к сожалению, оно как бы специально служит для подтверждения истины, что палка имеет два конца. Перемена ролей, действующих лиц и картин происходит сплошь и рядом с такой неожиданной быстротой, что мы постоянно, точно на бивуаках, нам просто некогда усвоить солидные привычки, присущие людям, у которых жизнь, может, конечно, измениться в подробностях, но главным образом все же идет по намеченной дороге. И вместе с тем, как это ни странно в обществе, которое уже просто в силу своего положения entre deux chaises[326] должно бы относиться осторожно, мягко и снисходительно к своим членам, – редко можно где встретить такую бесцеремонность обращения богатых с бедными, образованных с простыми, такое, подчас до наивности доходящее чванство, как у евреев. Комичнее всего то, что каждый в отдельности, строго порицая эти недостатки в других, совершенно не примечает их в себе. Вообще, было бы очень желательно, чтобы заносчивость, отсутствие такта и благовоспитанности встречались в нашем beau mond'e[327] пореже. Женщины, впрочем, страдают этими недостатками в меньшей степени. Но зато страшно однообразны: в них нет непосредственного изящества, высшее проявление которого есть *настоящая* простота. Когда я гляжу на еврейскую барышню, выезжающую на первый бал, я испытываю какую-то особенную скорбь. Меня не удивляет ее благоразумный вид, не восхищают ее умные, часто слишком умные, речи. Хотелось бы видеть на этом молодом лице больше живости, беспечности, беззаветного увлечения, наивной грации, наивного восторга перед раскрывающейся жизнью… Но и то сказать, откуда взять эту жизнерадостность! Едва только ребенок переступит порог родного дома, как он с первых же шагов наталкивается на враждебные лица. Его встречают в школе не как ученика и товарища, а как антагониста и узурпатора. В том возрасте, когда потеря игрушки считается большим горем, еврейской девочке, например, уже приходится считаться с обидной снисходительностью или явным презрением подруг, предубеждением учителей, высокомерием

школьного начальства. А рядом с этой, так сказать, внешней борьбой идет развитие невидимой, бесшумной и тем более тяжелой домашней драмы, от которой свободна лишь редкая семья. Жалобы, вздохи, легальные погромы, разлетающееся, подобно карточному домику, “солидное” положение, толки о выгодной партии, буржуазное самодовольство и холопская низость… минутная роскошь – бриллианты, тропические цветы, дорогие кружева, – и сейчас же следом вся проза “администрации”, “конкурса”, “аукционной продажи!., разочарование в любви, разочарование в дружбе – и надо всем, как грозный призрак, парит с каждым годом увеличивающийся умственный пролетариат.

Вот декорация еврейской жизни, сюжет с бесконечными вариациями (…)

Несколько слов о И.С. Тургеневе

Ввиду того, что так много писалось и говорилось о покойном Иване Сергеевиче Тургеневе, что живы его друзья, современники и сотрудники, близко его знавшие, я, конечно, не имею притязания сообщить что-либо новое о великом писателе, а желаю только поделиться с читателями – даже не личными впечатлениями, которые я вынесла из моего знакомства с Тургеневым, – а лишь тем, что мне удалось запомнить из моих разговоров с ним.

Зиму 1880 года я провела в Париже и в это время имела случай часто видеться с Тургеневым. Сначала я его немного дичилась. Мне казалось невозможностью, неужели я вижу его самого Ивана Сергеевича – которого в России я встречала лишь в общественных местах на эстраде, в собрании или театре, окруженным недоступным ореолом, – так близко, рядом с собой, разговаривающим так просто, добродушно и мягко. Мало-помалу, я, однако, привыкла к нему и часто проводила целые часы, заслушиваясь его рассказов, говорила сама, давая ему подробные отчеты о своих занятиях, знакомствах, развлечениях. По его просьбе, иногда даже читала ему вслух, он в шутку называл меня своей “московкой” за мой великорусский говор, резко выделявшийся среди южного, западного, поморского и всяких других акцентов большинства русской колонии.

Главной темой наших бесед была литература. Очень снисходительный к начинающим и молодым писателям, И.С., тем не менее, признавал у нас мало талантов, находил, что молодежь слишком мало обращает внимание на форму и недостаточно проникается основной идеей своих произведений.

– Такие обороты, говорил он, как – я вас люблю, подскочила она, – или: – вы правы… взялся он за шляпу – вы не найдете ни у кого из наших классиков! – так не писал ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Гончаров (о себе он скромно умолчал).

Самым выдающимся за последнее десятилетие талантом он считал В. Гаршина, и сильно порицал некоторых молодых писателей за рабское подражание приемам и языку Щедрина.

– Подражать Салтыкову, – говорил он, – всегда опасно – он слишком оригинален, и то, что у него выходит естественно, у подражателя является карикатурой.

Я как-то полюбопытствовала узнать, как он сам принимается за разработку своих произведений.

– А это довольно курьезная история, – сказал он, улыбаясь своей милой, чуть-чуть лукавой усмешкой. – Представьте, я

недавно уничтожил (о чем весьма сожалею) альбом, включавший в себя формулярные списки моих героев. Когда я писал “Отцов и детей”, я очень долго возился с Базаровым. Формулярный список его родителей, – кто они были, какого характера, где жили – меня не особенно затруднил. Но зато сам Базаров положительно преследовал меня. В гостях, в театре, в концерте, за обедом, на прогулке – я всегда был мысленно занят вопросом: что бы на это сказал, или что бы об этом подумал Базаров, и находил ответ, вносил его в свой альбом. Таким образом, я старался узнавать его мнение о женщинах, об искусстве, о политике… наконец, о том или другом кушанье. И что же по прошествии, положим, года, я мог заставить Базарова говорить о чем угодно в продолжение четырех часов. Если б кто-нибудь, например, спросил, как он относится к музыке, у меня тотчас был готов ответ. Скажу больше, тот доктор, который подал мне первую мысль написать Базарова, был черноволосый, а у меня Базаров белокурый, потому что все присущие ему черты я в жизни больше встречал у блондинов.

Я подивилась его терпению и добросовестности.

– Это, вероятно, происходит от того, что у меня нет воображения, – сказал он, – писатель, одаренный воображением, может обойтись без такой кропотливой работы.

Он много и охотно говорил об известных писателях его эпохи, отзываясь о них, большей частью, чрезвычайно тепло, – особенно о Белинском. “Вот это был святой человек”, – обыкновенно говаривал он, оканчивая о нем какой-нибудь рассказ. Выше всех как художника Тургенев ставил Льва Толстого, и в силе художественного таланта не признавал ему равного в Европе. Раз только, мне пришлось видеть Ивана Сергеевича сильно взволнованным и услышать из его уст резкий приговор.

Речь шла об одном очень известном русском поэте, теперь уже умершем. Помнится, я сказала, что в стихах названного поэта звучит такая неподдельная скорбь, такая боль за людское страданье, что нельзя придавать значения ходячим толкам о его бессердечии. Иван Сергеевич, несмотря на мучившую его в тот день подагру, даже привскочил со своего кресла.

– У него сердце! – воскликнул он. – У него! Да, полноте, разве может быть у хищного ястреба сердце. Он умен – да! А что до сердца, так он бы сам всякому под нос засмеялся, кто бы ему это сказал.

Вообще же добродушие Ивана Сергеевича доходило иногда до комизма. Помню, при мне одна дама лет 45 рассказывала ему, как она волновалась, читая на каком-то литературном вечере.

– Что значит молодость, – промолвил он, качая головой, вот

вы говорите – у вас от волнения даже круги перед глазами мелькали. Когда я был молод, со мной то же самое бывало, приедешь, например, на бал, так и кажется, что все на тебя глядят, а в сущности никто даже не замечает, тут ли ты. Читать в обществе я совершенно не мог, а теперь вот буду хорошо читать, где хотите и при ком угодно. Поживите с наше, и вы перестанете волноваться, а то – еще в вас молодое самолюбие говорит.

Я закусила губы, чтобы не рассмеяться, и только, когда дама ушла, дала волю душившему меня смеху.

– Чего вы? – удивился Тургенев.

– Да как же, Иван Сергеевич, вы верно думали о ком-нибудь другом, ведь эта дама немногим моложе вас.

– Ах вы, насмешница! – сказал он. – По-вашему, кому не двадцать лет, так тот уже и старик.

Говоря об отношении к нему некоторой части русского общества, он как-то показал мне целый пакет анонимных писем по поводу его обращения к русским почитателям Густава Флобера пожертвовать что-нибудь на памятник этому писателю. Письма, в самом деле, были очень грубы, даже наглы. Так, в одном из них о Тургеневе говорилось, как о господине, танцующем на задних лапках перед французами, простаивающем целые часы в передней V. Hugo, который на него *“плевать не хочет”* и т. п.

– Да, мы, русские, вообще не можем похвалиться большой терпимостью, – заметил Тургенев. – Помню, – продолжал он, – мы один раз сильно заспорили по этому поводу с покойным Ю.Ф. Самариным. Он говорил, что терпимее нас народа нет, а я доказывал обратное. Видя, что нам друг друга не убедить, я и говорю ему, постой, представь себе такой случай: меня, положим, требуют в суд свидетелем по какому-нибудь делу. Первый вопрос:

– Вы какого вероисповедания? Я, положим, отвечаю: никакого, что ж? Ведь меня за это сейчас в кутузку.

Юрий Федорыч ударил кулаком по столу и сердито произнес: И поделом! Я тогда очень смеялся неожиданному окончанию нашего спора.

С глубокой скорбью следил И.С. за событиями, происходившими на родине, предвидя самые печальные их последствия. Раз он даже высказался так: “Если бы самому умному и независимому человеку предложили вопрос, что нам теперь делать, он, по чести, должен бы ответить – не знаю”.

Припадки подагры повторялись у Тургенева все чаще, сильно влияя на его душевное настроение. Он выражал, впрочем, надежду, что поездка в Россию его оживит и поправит. Но поездка эта все откладывалась – сначала по его болезни, потом из-за свадьбы младшей дочери мадам Виардо.

Наконец, 17 апреля (нового стиля) я получила от него записку, в которой он уведомлял меня, что он уезжает в ближайшую субботу. Зная мое намерение возвратиться в Россию, И.С. просил меня повидаться с ним в Москве. В августе я получила от него письмо из Спасского, в котором он извещал меня, что такого-то числа будет проездом в Москве, что чувствует себя лучше и напоминал о моем обещании повидаться с ним. Я жила тогда недалеко от Москвы, на даче и в назначенный день отправилась в город. И.С. остановился на Пречистенском бульваре, в квартире своего приятеля, начальника удельной конторы Маслова. Я отдала швейцару свою карточку.

Тургенев встретил меня в дверях, весело улыбаясь и широко расставив свои большие руки.

– Как это хорошо! А я уж думал, что вы так и не дадите на себя взглянуть, – сказал он приветливо и, не выпуская моих рук, повел меня через огромное зало в гостиную, уставленную зеленой вычурной мебелью.

Тургенев, загоревший и потолстевший, со свежим румянцем на щеках и длинной гривой нестриженных волос – показался мне с виду совсем здоровым. На нем был широкий сюртук, это заставило меня улыбнуться: в последнее время в Париже я его видела всегда в вязаной английской куртке.

– Что вы так лукаво на меня глядите? – спросил он. – Да вы таким франтом стали, Иван Сергеич, и как потолстели.

– Неужели потолстел? – сказал он тревожно. – Нет, это только так кажется, потому что я, Бог знает, сколько времени не стригся, – ведь для подагриков очень вредно толстеть.

Тургенев был в духе, много рассказывал, ходя по комнате и оживленно жестикулируя, но во всем его оживлении явно звучала грустная нотка.

– Что же, понравилось вам в деревне, вам так хотелось туда, – сказала я.

– Как вам сказать, – ответил он с расстановкой, – я там испытывал очень странное чувство – чувство *веселого отвращения.*

Я поглядела на него в недоумении.

– Не понимаете? Конечно, вы слишком молоды, это чувство стариковское. Дело в том, что не та теперь деревня стала, что прежде… это – не мужики, а те же Колупаевы да Разуваевы. В подтверждении своих слов, Тургенев рассказал, что не успел он приехать в Спасское, как уж к нему явился старик один с жалобой, что года два тому назад мир ему предложил: отдай-де нам свою землю, ты сам уж работать не можешь, делай что по силам, а мир тебя будет кормить, пока не помрешь. Старик согласился. Пока силы ему не изменили, он колол дрова,

исправлял разные домашние работы, но, вот он стал слабеть, и мир, взявший его землю, без дальних церемоний отказался ему давать хлеб. – Я позвал самых важных мужиков, – заключил Тургенев, – и стал их усовещать. А они мне: “Что ж с ним делать, батюшка, работать он не работает, а помирать не помирает”. Я опять стал их уговаривать. Молчат. Что ж, говорю, и вам не стыдно будет, если я, бывший ваш барин, возьму его к себе и стану кормить. Как они загогочут: “Стыдно! Да хошь всех бери, батюшка, коли охота”.

Кончилось тем, что, кроме этого старика, Тургеневу привели на пансион еще двух баб.

– И все-таки в деревне весело, – сказал И.С. – пахнет коноплей, грибами, я сам ездил собирать грибы – знаю, что на *кухне* их и так пропасть – и все-таки радуюсь, когда удается самому найти какой-нибудь подберезовик. Что мне! Еще каких-нибудь четыре-пять лет, и я буду *один в химию*.

– Какое ужасное выраженье, Иван Сергеевич.

Он задумчиво улыбнулся.

– А знаете, Иван Сергеевич, – начала я, – я думала, что вы раньше уедете от нас, чтобы поспеть на литературный конгресс в Лондон.

Он громко засмеялся и замахал руками:

– Закаялся я ездить на эти конгрессы.

– Отчего же?

– Да вот, поехали мы – я да еще двое русских писателей – несколько лет тому назад на такой конгресс[328]. Стали к нам там приставать, чтобы у нас в России хоть что-нибудь платили авторам за право перевода их сочинений. Товарищи мои начали колебаться. Я и говорю им – что вы, ведь это значит пустить по миру половину нашей молодежи.

Понятно, мы не согласились. На меня и вскинулся за это один немец, – Шварц, кажется, – отлично говорил по-французски.

Кричит:

– Vous etes de voleurs de la pence, des brraconniers de Tintelligence[329], а я только молчу да кланяюсь на все эти любезности. Вот с тех пор и порешил – не ездить ни на какие конгрессы.

Мне пора было ехать, я взглянула на Тургенева и у меня невольно навернулись слезы при мысли, что я, вероятно, в последний раз вижу эту дорогую голову, слышу этот мягкий ласковый голос.

Он, должно быть, понял меня.

– Что делать, дитя мое? – сказал он тихо, гладя мои руки, – это неизбежно, жизнь человеческая – непрерывное прощанье:

прощаешься с надеждами, мечтаниями, идеалами, прощаешься с дорогими людьми, прощаешься с даже самыми постоянными нашими спутниками – с врагами и завистью. Храни вас Бог!.. Это, действительно, было мое последнее свидание с Тургеневым.

Глава из неизданных записок

Над литературной и личной судьбой Тургенева всегда тяготело какое-то недоразумение, что-то недоговоренное… Великий писатель, будивший самые благородные мысли, один из образованнейших людей своего времени, обаятельный собеседник, доступный, приветливый, независимый, он не пользовался той популярностью, на которую, казалось, имел все права. Было два-три момента, когда духовный подъем и праздничное настроение русского общества как будто сломили непонятное предубеждение против автора “Записок охотника”. В 1879 г. московский университет восторженно приветствовал нашего художника-гуманиста; в пушкинские дни он хотя и не был предметом истерических оваций, как Достоевский, но все взоры с любовью обращались в ту сторону, где была его прекрасная белоснежная голова. По возвращении в Париж он рассказывал, как он был умилен и взволнован проявлениями к нему общей симпатии. Особенно растрогал его следующий случай. Ему пришлось читать (кажется, в благородном собрании) стихотворения Пушкина. Он вышел на эстраду. Его встретили дружные, продолжительные аплодисменты. Воспользовавшись первой паузой, он начал: “Последняя туча рассеянной бури” – и с ужасом убедился, что забыл следующий стих. “Я еще раз пробормотал: Последняя туча рассеянной бури – рассказывал Иван Сергеевич, – и опять остановился… хотел уже повиниться в стариковском беспамятстве… Но тут публика, как один человек, мне подсказала: одна ты несешься по ясной лазури… – я благополучно кончил – и мне же хлопали”…

Но отошли пушкинские дни… Опять повеяло холодом… и в отношении общества к Тургеневу опять наступило равнодушие, за которым он всегда чувствовал глухое, затаенное раздражение. Правда, смерть Тургенева вызвала такой взрыв скорби, такую единодушную печаль, какой редко приходится быть сви-детел ем. Его похороны представляли поистине величественное зрелище. Так страна оплакивает только лучших своих детей. Но… не успели еще стихнуть боль и горечь невосполнимой утраты, как сначала во французской прессе, а затем и в русской, стали появляться довольно своеобразные “Воспоминания”. Русский автор французских воспоминаний изобразил Тургенева человеком малодушным, неискренним, который в глаза расточал комплименты, а за глаза всех высмеивал – не исключая и корифеев французской литературы, имевших наивность считать себя его приятелями. Эти разоблачения “интимного Тургенева”

произвели в парижском литературном мире сенсацию, и ближайшим их последствием явились заключительные строки в книге Alphonse Dande “30 ans de Paris”. Автор, недоумевая, зачем Тургеневу было притворяться, кривить душой – с грустью восклицает: “И этого человека я считал своим другом! Он был в моем доме желанным гостем, ласкал моих детей… О Ирония!” Русские воспоминания (гг. Виницкой и Головачевой-Панаевой, например) тоже не страдают излишней *pietcit*[330] к памяти великого писателя. Тургенев в них рисуется мелким фатом, завистником, сплетником, трусливым, тщеславным и лживым. Особенно характерны в этом смысле мемуары Г-жи Панаевой-Головачевой. Во всех ее рассказах о Тургеневе ему неизменно отводится самая жалкая, самая неприглядная роль. Как хорошо после этих развязных характеристик отдохнуть на безыскусственных, правдивых страницах г-жи Житовой! Само собой разумеется, что одинокие хулители не имеют серьезного значения. Тургенева почитали и горячо любили лучшие люди и у нас, и на Западе. Он более, чем кто-либо, жил mit den bescen seiner Zeif…[331] И, тем не менее, справедлива французская поговорка: calomniez, calomniez – il en re’e tonjours quelque cliose…[332] Это ничто, словно ядовитая поросль, вплелось в лавровый венок писателя, которому любой культурный народ отвел бы одно из первенствующих мест в своем Пантеоне. 1880 и 1881 гг. я провела в Париже и в течение этого времени – особенно весной и зимой – часто видала Ивана Сергеевича. Он помог мне разобраться в запутанной сети курсов по истории, литературе и философии, которые влекли меня в аудитории College de France и Сорбонны. Мне хотелось слушать все и всех, но Иван Сергеевич настойчиво советовал не разбрасываться, а выработать определенную программу, и сам указал мне на некоторых, по его мнению, наиболее для меня полезных профессоров. При встречах, даже мимолетных, он всегда осведомлялся о моих занятиях, а иной раз, в шутку, производил довольно придирчивый экзамен. Несмотря на необыкновенно доброе, милое и ласковое обращение со мной Тургенева, я в его присутствии испытывала такой благоговейный страх, что в первое время нашего знакомства, как только я входила в его кабинет, все предметы начинали мелькать перед моими глазами, я буквально не знала, куда сесть, что сказать…

Иван Сергеевич, конечно, замечал мое волнение и, чтобы дать мне оправиться, говорил, покачивая головой: – Опять задохнулась! Ведь я вас просил не взбегать на лестницу… и куда торопиться…

Я понемногу успокаивалась, “отходила”; а когда Иван

Сергеевич, бывало, разговорится, для меня исчезало время и пространство: слушать его можно было без конца. Он говорил очень хорошо и очень просто. Несмотря на долголетнее пребывание в Париже, речь его не напоминала блестящую causerie[333]французов. В ней была иная прелесть. Он всегда владел предметом беседы и с изысканным мастерством, не лишенным лукавства, умел располагать к откровенности и даже излияниям робких и замкнутых людей. Чего бы он ни касался в разговоре – философии, религии, искусства, политики, любви, музыки, злобы дня, личной размолвки – во всем сказывался животворящий дух его таланта, мягкость и грусть русского человека с оттенком насмешки, сомнения, уныния и надежды. Он охотно обращался к прошлому, – я много слышала от него о Достоевском, Толстом, Гончарове, Лескове, а больше всего о Белинском, о котором он всегда вспоминал с трогательной нежностью, называя его святым. В последующие годы мне приходилось встречать и слышать немало замечательных людей и на родине и за границей, но такого чарующего впечатления, как Тургенев, на меня уже никто не производил. Иногда я заставала у Ивана Сергеевича довольно разнообразное общество, большей частью русское. Его постоянно посещали находящиеся проездом в Париже соотечественники, молодые ученые, дамы, начинающие артисты, а главное – “колония”. Так называли в мое время (да кажется, и теперь) учащуюся в Париже русскую молодежь. Члены этой колонии не имели ничего общего со счастливым обладателями прекрасных отелей в Раге Monceau и rue de Grenelle St-Germain, – которых репортеры Figaro и Gil Bias удостаивают причислять к “Tout Paris”[334]. Слова “учащаяся молодежь” употреблялись больше для краткости и по привычке, ибо в состав “колонии” входили самые разнообразные элементы. Тут были и молодые, и зрелые, и старики, и младенцы, легальные и нелегальные, а больше всего сомнительные, то есть такие, которые, попав в категорию нелегальных, застыли в этом значении и приобрели его как бы в потомственное почетное гражданство.

При всем внешнем и внутреннем разнообразии своего состава, у “колонистов” была одна общая роковая черта, это – ужасающая, почти фантастическая, бедность. Сбежавшиеся по своей и чужой воле со всех концов нашего обширного отечества, многие из них на первых порах чувствовали себя в этом огромном чужом Париже совершенно потерянными. Незнакомство с языком еще больше усиливало уныние. Помню, как один молодой человек, впоследствии прекрасно овладевший языком, рассказывал, что в начале своего пребывания в Париже, он,

голодный, зашел в лавку и спросил: “Pour deux sous de Rarballle” (на две копейки луку). Лавочница расхохоталась, а он чуть не заплакал… Чтобы как-нибудь существовать, особенно семейным, приходилось пускать в ход самую невероятную изобретательность. Универсальный ресурс нашей молодежи – беготня по урокам – в Париже не имел никакого raison d'etre[335]учить “русским предметам!” было некого: в “колонии” обучение детей силой вещей было бесплатное, а в кругах, примыкавших хотя бы отдаленно к посольству, – на соотечественников, ютившихся в темных мансардах латинского квартала, – смотрели как на париев. Когда группа людей, вследствие неблагоприятных условий, бывает выброшена из течения общей жизни – всегда ведет к искусственному сплачиванию этой группы. Вынужденная вращаться в сфере одних и тех же интересов, под гнетом не терпящей отсрочки нужды, она, по наружности, принимает вид однотонной кружковой массы, а в действительности мельчает и озлобляется. Наиболее слабые, часто более впечатлительные натуры, и вовсе погибают. Нельзя к одному стволу насильственно привить ветки целого леса; может быть сбоку и вытянется какой-нибудь невиданный побег, но ветки завянут, да и ствол развалится в прах… Хроническое недоедание, страх за завтрашний день повышали нервозность и подтачивали силы этих вольных и невольных переселенцев. Инстинкт самосохранения заставлял прибегать к всевозможным ухищрениям – лишь бы уцелеть. Трудно вообразить, сколько изумительных там нарождалось проектов, какие там ежедневно, чуть ли не ежечасно, открывались дарования и таланты. Больше всего, конечно, доставалось литературе. И все алчущие и жаждущие устремлялись – официально за нелицеприятным мнением: есть ли мол талант, стоит ли продолжать, – а в сущности за одобрением и поддержкой неизменно в одно место: в rue de Douai, 50, где жил Иван Сергеевич Тургенев. Отношение “колонии” к Тургеневу и Тургенева к колонии очень любопытно и со временем, вероятно, найдет беспристрастного историка. К Тургеневу мог явиться всякий. Он ни у кого не спрашивал рекомендательных писем, ни от кого не требовал дипломов на право существования, и если бы его не охраняла строгая дисциплина дома Viardot, у него вряд ли были бы определенные часы для собственных занятий. Сколько талантов, начинающих и непризнанных, стучались в его гостеприимную дверь! А сколько находчивости, какую дипломатическую тонкость он проявлял, чтобы доставить, в ожидании будущих лавров, хоть какой-нибудь заработок новому рабу того ненасытного божества, которое зовется “свободное искусство”. К Тургеневу обращалось так много

народа, притом народа нервного, обездоленного и издерганного, с болезненной чувствительностью и непомерным самолюбием, что при всем желании он не мог удовлетворить всех. Он так чаровал своей обходительностью, что при малейшей критике или заминке в осуществлении обещаний – заминке, происходившей не по вине Тургенева – к нему начинали относиться холодно, даже враждебно, а втихомолку, случалось, и поругивали. Часто приходилось слышать: Тургенев прочитал мою повесть – и в восторге! Он дал мне самое лестное письмо в редакцию… (называлось имя журнала). Или: Тургеневу так понравилась моя картина, что он ее оставил у себя, чтобы показать… (называлось имя знаменитости в художественном мире). Протекал известный промежуток времени. Повесть возвращалась к автору с лаконичным вердиктом “не подходит”. Картина, по той же причине, не попадала на выставку… Тогда на Ивана Сергеевича выливался весь яд обманутых надежд. Он один оказывался во всем виноватым. И письмо-то он дал в редакцию не настоящее, а только, чтобы отвязаться, и картину никому не показывал, потому что у него и знакомых среди влиятельных художников нет и т. д. О “неискренности” Тургенева немало писалось, а еще больше говорилось под сурдинку. Как могло сложиться такое мнение? Очень просто. Тургенев, по мягкости своего характера, не умел отказывать. Ему стоило невероятных усилий огорчать другого, и когда это бывало неизбежно, он это делал в такой осторожной и нежной форме, что у заинтересованного человека могло получиться такое впечатление, что Тургенев – в сущности, очень доволен. Дело в том, что когда на суд Тургенева представляли вещь совсем бездарную, он, по его собственным признаниям, всегда начинал с попытки сказать автору свое настоящее впечатление. Но сплошь да рядом автор, пораженный своей неудачей, принимался доказывать, что Тургенев недостаточно вник вглубь произведения, в его психологию, и не верил, что *здесь* (т. е. в рукописи) “ничего, ничего нет”. Или же просто, без риторики, заявлял, что *это* для него “жизненный вопрос”. Испуганный Иван Сергеевич “размякал” (его слово), соглашался, что, действительно, что-то есть, и снабжал настойчивого дебютанта письмом в какую-нибудь редакцию. Само собой разумеется, вещь возвращали Тургеневу, для передачи по принадлежности. Иван Сергеевич смущенно разводил руками, говорил виноватым голосом: это моя Судьба!.. Мои рекомендации, как фальшивый пачпорт (он любил так произносить это слово) всегда имеют обратный эффект.

После такого “казуса” Тургенев долго жаловался знакомым, что вот, мол, как это неприятно вышло. Если ему замечали, что

лучше бы с самого начала не вводить человека в заблуждение, Иван Сергеевич, словно оправдываясь, возражал. Он все равно безнадежен. Никакой “суровой правдой” вы ему таланта не создадите, и ничем не убедите, что таланта у него нет. А, впрочем, кто его знает, может и нащупает что-нибудь… что я за провидец такой! пусть работает… Щепетильная деликатность Тургенева особенно сказывалась в вопросах денежных. Брали у него заимообразно, брали и “так”. Однажды пришел к нему молодой человек, бедно одетый, красивый, поразивший меня своим надменным, почти дерзким лицом. Он поздоровался с Иваном Сергеевичем, отрывисто ответил на два-три вопроса, уселся в кресло и стал курить. Просидев таким образом с четверть часа, он вдруг брякнул: – Тургенев, дайте денег. Иван Сергеевич сконфузился и увел поспешно посетителя в соседнюю комнату, притворив за собой дверь. Когда оба вернулись, у молодого человека горели щеки и глаза были потуплены. Тургенев любезно проводил его до лестницы, и затем, долго объяснял, вздыхая, что очень застенчивые и робкие люди нарочно напускают на себя ухарство, чтобы выйти из тяжелого положения.

Да как радовался и волновался Тургенев, когда ему казалось, что вот, наконец, как будто мелькнуло что-то похожее на дарование. Тут уж он не говорил любезностей, а наоборот, подвергал самой тщательной критике каждое выражение, каждое слово. Помню, как он убеждал одну совсем юную писательницу, к которой он благоволил, заменить слово “плевательница” словом “скамеечка”. Он громко прочитал страницу, в которой описывалось детство героя – печального мальчика, любившего забираться в угол на “деревянную плевательницу”. Иван Сергеевич объяснял, что добросовестная “проба пера” – есть всегда фотография, но что постепенно, с развитием опыта и вкуса, фотография должна уступить место картине. Нельзя всегда описывать себя и своих знакомых (я привожу не текстуальное выражение Тургенева, а только его смысл), но надо из себя, из своих знакомых, из своих наблюдений – уметь извлекать такие же разнообразные звуки, какие извлекают из своих инструментов музыканты. Не все поймут и оценят мельчайшие тонкости исполнения, но главный мотив почувствуют все. И чем талантливее виртуоз, тем лучше он сумеет передать свое настроение публике. Вот и ваша “мебель”, продолжал Иван Сергеевич, в большинстве квартир средней руки, которую вы описываете – есть деревянная скамеечка; мать, или старушка тетка любят стать на нее, тут же пристраивается и ребенок… Да и каждый человек это сто раз видел… Но вас поразила “реальная” плевательница и вы этой фотографической подробностью не

хотите поступиться.

Писательница энергически отстаивала свою “мебель”. Тогда Иван Сергеевич просительным тоном сказал: послушайте, подарите мне эту плевательницу! Это было так неожиданно, что все засмеялись; писательница уступила, а Иван Сергеевич торжественно зачеркнул неприятное ему слово и, надписав другое, промолвил: ну, конечно, скамеечка – гораздо удобнее. В эту же зиму Тургенев очень интересовался одним начинающим писателем N.N., которому он всячески покровительствовал. Он находил, что у N.N. тяжелый язык, что ему недостает чувства меры, но что у него есть положительная литературная способность и принимал в его судьбе (N.N. сильно бедствовал) самое живое участие. По этому поводу мне вспоминается эпизод, который может служить иллюстрацией независимости Тургенева и того, как мало он думал о личных неприятностях, когда можно было оказать услугу другому. В Париже тогда существовал клуб русских художников, учреждение, респектабельность которого была вне сомнения. Президентом его состоял, если не ошибаюсь, князь О., а вице-президентом Тургенев. Там происходили иногда литературно-музыкальные собрания, но, по естественному ходу вещей, для “колонии” доступ в это святилище считался немыслимым. И вдруг Тургенев предложил N.N., человеку в ту пору явно непривилегированному– прочесть в аристократическом клубе главу из своего романа. Автор, раньше никогда не выступавший перед публикой, колебался принять это лестное приглашение. Тогда Иван Сергеевич изъявил желание сам прочесть его произведение. О таком счастье ни одному новичку и во сне не снилось – и автор, понятно, был наверху блаженства. Известие это с быстротою молнии облетело все кружки, фракции и подфракции колонии и породило много толков и волнений. Все знали, что в музыкальном отделении вечера примут участие люди во всех смыслах обеспеченные: бывший профессор одной из наших столичных консерваторий, ученицы M-me Viardot и т. п. Но “словесники” повергли всех в изумление. Кроме романиста, должны были читать поэт и дама, ни в каких крамолах, правда, не замеченные, но с тем неуловимым оттенком завиральных “идей”, которые не одобрял еще Павел Афанасьевич Фамусов. Всех занимал вопрос: как отнесутся сильные мира к пасынкам судьбы, самое существование которых было принято считать чем-то неприличным. Многие выражали мнение, что Тургенев все это затеял “очертя голову”, иные, наиболее проницательные особы, простирали свою догадливость гораздо дальше и утверждали, что эта штука придумана “неспроста”, и что Тургенев, раскаявшись после “Нови”, ищет сближения с молодежью. Когда же узнали,

что Тургенев пригласил на вечер П.Л. Лаврова, колония возликовала и была готова окончательно принять “лояльность” Тургенева.

На самом деле все было неизмеримо проще, и Тургенев, по-видимому, даже не подозревал, какой он причинил переполох. Незадолго до вечера я получила от него записку, в которой он жаловался на подагру и просил заехать к нему. Я застала его одного. Видно было, что ему не по себе: лицо усталое и одет “по-больному” в какой-то вязаной куртке, ноги в высоких мягких сапогах и под пледом. Кабинет у Тургенева был небольшой, очень скромно обставленный. Потому ли, что кресла и стулья занимали слишком много места, или просто фигура хозяина казалась слишком громоздкой для такой маленькой комнаты, но на меня, по крайней мере, Иван Сергеевич в этом кабинете всегда производил такое впечатление, точно он не может как следует протянуться, точно ему здесь тесно, неудобно. Когда я вошла, Иван Сергеевич сидел за письменным столом и, против обыкновения, не поднялся мне навстречу, а только приподнял голову и, не выпуская из правой руки пера, протянул мне левую. – Присядьте и извините меня, – сказал он, – я скоро кончу. Почитайте пока; вон там (он указал на столик) новая книга “Вестника Европы”. Я уселась и стала потихоньку перелистывать страницы журнала, искоса поглядывая на Ивана Сергеевича. Он быстро писал, энергически вычеркивая то строчку, то слово, и приговаривал: “Этакая бессмыслица… этакая грубая безграмотная лесть… пишет, как портной Сидоров из Парижа…” Вдруг он меня позвал: “Взгляните сюда, прочтите эту страницу”.

Я стала читать и не могла удержаться от смеха. Это было полное отрицание орфографии. Можно было подумать, что автор нарочно задался целью писать все слова навыворот. Оказалось, что Иван Сергеевич исправлял “в поте лица”, как он выразился, не то отчет, не то проект какого-то знакомого ему художника – к одному весьма высокопоставленному меценату. Я предложила Ивану Сергеевичу исправить грамматические ошибки. Он видимо обрадовался, усадил меня на свое место и сказал: “Исправляйте все, я после просмотрю; главное, попроще, а то тут такие есть перлы семинарско-кадетской риторики!.. нарочно ни за что не придумать… я кое-что даже записал для памяти”. Мало-помалу Иван Сергеевич пришел в свое обычное, благодушное и милое настроение: подтрунивал над моими профессорами, удивительно похоже и смешно представлял елейно-торжественного Саго, на лекции которого съезжалось столько элегантных дам, что в его дни строгая аудитория College de France принимала вид светского салона. Я спросила Ивана Сергеевича о предстоящем

литературном вечере и можно ли будет на него попасть.

– Можете даже участвовать, – сказал он. – Хотите вместо меня читать роман N.N.?

Я возразила, что такая замена повергла бы публику в недоумение, а автора в отчаяние, – и потому предпочитаю более незаметное местечко где-нибудь в зале или на хорах. Иван Сергеевич усмехнулся и тут же подарил мне два билета на русский вечер и билет на conferences[336] Кокелена. (Я очень увлеклась французским театром. Delonay, Got, Coquelin, Madeleine Brolian – приводили меня в восторг. Тургенев меня поощрял, но настаивал, чтобы я, кроме “Comedie”, бывала и в концертах камерной музыки и в опере). Незадолго до этого я в первый раз слушала Ван-Зандт в “Миньон” (Она пела тогда в Opera Comique) и спросила Тургенева, нравится ли она ему. Он ее похвалил, и сейчас же стал вспоминать, как пела m-me Viardot в молодости. “С ней, – сказал он, – не сможет сравниться ни одна из нынешних знаменитостей. Она была и есть единственная”. Потом, по обыкновению, разговор перешел на литературу. Иван Сергеевич рассказывал о Жорж Санд, о Флобере, Эдмонде Гонкур, Золя, Додэ, об их дружеских обедах у Magny. Флобера он ставил чрезвычайно высоко, как писателя и человека, и горячо его любил. V.Hugo не нравился Ивану Сергеевичу своей ходульностью и напыщенностью, но он говорил, что нельзя не преклоняться перед этим “рыцарем пера”, который более полустолетия с таким героизмом отстаивал самые возвышенные идеалы человечества, и признавал V.Hugo наравне с Шиллером, величайшим поэтом юности. Много еще хорошего и интересного говорил Тургенев. Он был как-то в ударе и, спустя время, вставало в моей памяти сырое, с пронзительным ветром, зимнее парижское утро, путешествие в омнибусе из Auteuil, на place de Clichy, маленький кабинет с потрескивающим камином, высокий, изящный старик с седой головой и молодыми глазами, его ласковая, живая, незабвенная речь…

Настал, наконец, и возбудивший столько толков музыкально-литературный вечер. Я отправилась туда с одной знакомой. Когда мы приехали, публики уже было довольно много. Часть ее прогуливалась в передней зале, а часть разместилась в главной. Это была длинная и довольно большая комната, в конце которой возвышалась эстрада. Меня поразила резкая разница между собравшейся публикой, до того резкая, что она бросалась в глаза. В первых рядах кресел – эффектные фраки и рединготы, белые жилеты, ослепительные пластроны, прелестные дамские туалеты – ни дать ни взять симфонический концерт в московском благородном собрании. И сейчас же за ними – самая

изумительная смесь “одежд и лиц”, особенно одежд. Чего тут только не было! И пиджаки, и блузы, и летние пальто, и высокие сапоги; из-под крылатых альмавив стыдливо выглядывали косоворотки. Женщины были гораздо наряднее, хотя и тут эффект достигался малыми средствами. Ленточка, свежее кружево оживляли старенькое платье; улыбка удовольствия играла на молодых, уже отмеченных страданьем, лицах… робкая походка… неловкие движения… тихие голоса… несколько красивых головок… Наши места были в четвертом, или в пятом ряду справа. В том же ряду, что и мы, только слева, меня поразила грузная фигура старика с львиной головой. Длинные, густые, рыжеватые с сильной проседью волосы составляли точно одно с широкой, длинной бородой. Старик сидел, опершись подбородком на скрещенные кисти рук, в которых он держал массивную палку. Он медленно поворачивал то в ту, то в другую сторону свою большую голову, оглядывая поверх очков публику. Я спросила мою спутницу, не знает ли она, кто это. Она даже удивилась моему невежеству.

– Неужели вы не знаете? Это Лавров. Петр Лаврович.

До этого мне ни разу не случалось видеть знаменитого эмигранта – и я на него уставилась с понятным любопытством. Впрочем, Лавров возбудил не только мое любопытство: фешенебельные дамы и кавалеры усердно его лорнировали и перешептывались. Лавров, казалось, относился равнодушно к такому вниманию и лишь, когда мимо него пробиралась к своему месту дама, он поднимался и с отменной вежливостью давал ей дорогу. Он был высок ростом и осанку имел внушительную. Потом я его видела раза два-три у Тургенева. Иван Сергеевич, по соображениям педагогического свойства – о чем он меня предупредил – не знакомил меня с Лавровым и мы с ним только безмолвно раскланивались. Слушала я его с большим вниманием. У него были прекрасные манеры и тон хорошо воспитанного человека. А публика все прибывала. Было уже довольно поздно. Давно пора было начинать. К нам подошел один знакомый из вездесущих и всесведущих и сообщил, что ждут Тургенева. Через несколько минут он опять подошел и сообщил, что Тургенев не приедет: он только что прислал записку N.N., что над ним стряслась беда – сильнейший припадок подагры. N.N., понятно, в отчаянии – приходится читать самому, он ужасно волнуется и т. д. Главный интерес вечера, конечно, пропал и это моментально отразилось на настроении залы, словно по ней пробежала холодная струйка. Порядок программы сейчас же изменили. Первым должен был читать Тургенев. Вместо него вышел скрипач Б., превосходный виртуоз. Его встретили сдержанно; концерт

Мендельсона имел лишь sueces d'estime[337] и только после пьесы Вьетана и Венявского лед растаял. За скрипачом пели ученицы m-me Viardot. Затем на эстраду вышел господин с бантиком в петлице и объявил, что вследствие внезапной болезни Ивана Сергеевича Тургенева главу из повести (забыла название) прочтет автор. Показался и автор. Мелкими торопливыми шажками он подбежал к стулу, с шумом его отодвинул и как-то сразу на него обрушился, точно тяжелый мешок, который опустили на землю. Это был еще молодой, маленького роста, тщедушный человек, с курчавой, непропорционально большой головой, бледный, сутуловатый. Он, по-видимому, страшно волновался: читал глухим, прерывающимся голосом, перепутывал слова… Содержание рассказа я не помню (что-то жалостное: оскудевшие дворяне и баба, которая выла, как “недобитая собака”. Это единственное выражение, оставшееся у меня в памяти). Чтение длилось долго, но жестокая публика, обманутая в своем ожидании услышать Тургенева, почти не обращала внимания на автора. По всем рядам шел тихий говор. Впрочем, когда автор кончил, раздалось несколько шлепков, а из второй залы послышались крики “браво”. После романиста поэт Х. прочитал прекрасное стихотворение. К сожалению, он читал так неискусно, что вся прелесть его звучных стихов пропала.

За этим наступил перерыв, и мы побежали в курительную. Там было много народу, и шум стоял невообразимый. По комнате, словно сизая туча, медленно расползался табачный дым. Говорили все вместе и на разные лады комментировали – почему не приехал Тургенев. Одни видели в этом измену, другие трусость (увильнул в последнюю минуту), третьи уверяли, что ему уже досталось за эту “затею” – и только самые умеренные соглашались поверить, что Тургенев действительно захворал.

Меня удивило присутствие в курительной русского священника. Он внимательно прислушивался к разговорам и вдруг обратился к худенькой миловидной блондинке – моей знакомой. “Позвольте полюбопытствовать, сударыня, то стихотворение, которое читал последний поэт, было напечатано в каком-нибудь русском периодическом издании?”

– Нет, – ответила блондинка, – а вам оно разве понравилось, батюшка?

– Я плохой судья в современной поэзии, – уклончиво заметил батюшка, – но полагаю, что не быть ему напечатану во веки веков.

– По независящим от редакции обстоятельствам! – проговорила, усмехаясь, блондинка.

Батюшка промолчал. Немного погодя, он опять заговорил.

– А господин романист тоже, кажется, ненапечатанное

произведение читал?

– Право не знаю, батюшка, кажется, по рукописи.

– По рукописи, – задумчиво повторил батюшка и после небольшой паузы прибавил: – я слышал, что он protege Ивана Сергеича. Высокой души Иван Сергеич. Для здешней молодежи, можно сказать, истинный благодетель, – и выразительно поглядев на "здешнюю молодежь", батюшка меланхолически покачал головой.

Во втором отделении опять играл скрипач. За ним должна была читать дама. Я жила далеко, почти у Булонского леса, вставать приходилось рано, и, воспользовавшись коротким перерывом после скрипача, я уехала. Дома меня ждала записка от Тургенева. Он приглашал меня к себе на следующий день. Но утром у меня были две лекции Франка и Мезьера, которые я не могла пропустить, и я попала к Ивану Сергеевичу довольно поздно. Я застала у него целое общество; некоторых я знала, но одна уже пожилая дама и двое мужчин были мне незнакомы. Предметом разговора был вчерашний вечер. Тургенев, очень возбужденный, поминутно потирая больное колено, говорил быстро, высоким фальцетом, что всегда означало у него неудовольствие или волнение. Чтобы ввести меня в курс беседы, он рассказал в общих чертах, что ему дали понять, как некорректно вводить подозрительный элемент в порядочное общество, которое весьма шокировано, что под видом поэзии ему преподносят "Бог знает что".

– Скажите по совести, – обратился ко мне Иван Сергеевич, – вы ведь у нас тут "сами по себе", поучитесь и уедете – скажите откровенно – произвел на вас вчерашний вечер впечатление пропаганды?

Я ответила отрицательно.

– Читали неважно, это правда, а так – решительно ничего.

– Ну вот, – сказал Тургенев, – а меня-то обвиняют, что я надругался над самыми священными чувствами! И впридачу, объявят меня изменником отечества… А за то, что я осмелился пригласить Лаврова – меня само собой надо предать анафеме. Я, видите ли, должен извиниться за этот свой поступок.

– Не может быть, – возразил кто-то из гостей.

– Ах, батюшка, – раздражительно крикнул Тургенев. – Молоды вы еще, оттого вам и кажется, что "не может быть". Все может быть, а особенно невероятное.

– Мне интересно, – продолжал он более спокойным тоном, – что же Лавров, значит и в церковь не смеет прийти? Например, умру я. Мы с ним хоть и не близкие друзья, а все же старинные знакомые – и ни от кого я этого никогда не скрывал. Придет он в

Rue Daru на панихиду – проститься со мной… Что же? Не пускать его в церковь… вон мол!..

Все молчали.

– Нет, каково холопство, какова трусость, – воскликнул Тургенев, опять раздражаясь и на самых высоких нотах. – И добро бы это было где-нибудь на Старой Басманной… а то ведь где? В Париже? Чего, кажется, бояться… а все трепещут!..

– Неужели. Иван Сергеевич, вы будете извиняться? – спросила дама.

Тургенев обернулся к ней и не особо ласково заметил:

– Я для этого уже стар. Звание вице-президента я готов с себя сложить. Да и какой я президент! – проговорил он с добродушным смехом, и, словно желая переменить разговор, Иван Сергеевич стал рассказывать, как его однажды выбрали в почетные президенты литературного конгресса, – Ну, я открыл заседание, уселся в председательское кресло, все, как следует быть. Заговорил один. Хорошо. Потом его перебил другой. Еще лучше. Мне бы его остановить, а я сижу да слушаю. Все сейчас же смекнули, что на месте председателя сидит старая мокрая курица. Не успел я оглянуться, как поднялось Вавилонское столпотворение. Confrercbi мне шепчут: sonnez, sonnez[338], а я и колокольчика не вижу. Спасибо Etlmond About выручил – схватил колокольчик, да как затрезвонит! Мигом все пришло в порядок… Что значит настоящий-то человек!..

Тургенев смеялся, рассказывая, и всем присутствующим стало как-то легче, что он перестал хмуриться. Разговор перешел на другие предметы, но ненадолго. Тургенев опять вернулся к злополучному вечеру. Выговор “за Лаврова”, очевидно, задел его за живое.

– И кому это понадобилось докладывать о Лаврове, – сказала я. – Такая масса была народу… Кому он мог помешать!

– А это уж черта, так сказать, историческая, – возразил Тургенев. – Первое доказательство собственной благонадежности – есть донос. Словно желая подтвердить это положение, Иван Сергеевич рассказал, как много лет тому назад, проводя лето в Спасском, он узнал, что священник донес становому о том, что по соседству объявились какие-то молодые люди, читают книжки, вступают в беседу с крестьянами и, вообще, ведут себя странно.

Их, конечно, позабрали.

– Встретил я этого попа. Разговорились. Я его спросил: – Зачем вы, батюшка, становому-то их выдали? Разве нельзя было как-нибудь помягче? что же он?

– А если б, – говорит, – у вас в Спасском, Иван Сергеич, чума появилась, али холера – вы бы разве не дали знать по

начальству… То-то вот и есть…

В колонии “инцидент” Лавров-Тургенев еще долго служил предметом самых оживленных толков и самых мелодраматических гипотез. На деле, однако, вся эта история оказалась сильно преувеличенной и никаких резких последствий не имела. В начале весны Тургенева все чаще стали донимать приступы подагры, так что он почти никого не принимал. В это же время я видела его горько, безутешно плачущим. Это было в день 1 марта 1881 г. Припоминая впоследствии все, что он тогда говорил, я не могла не изумляться его пророческой проницательности. Летом он уехал в Россию. Из Спасского он писал мне несколько раз (Я проводила лето на даче около Москвы). Осенью я опять собиралась в Париж, но, по разным обстоятельствам мне приходилось отложить. Тургенев звал меня в Спасское, но это был для меня невозможно, и мы увидались только в Москве, у Ивана Ильича Маслова. Иван Сергеевич обрадовал меня своим цветущим видом. Он был чрезвычайно весел, разговорчив, строил разные планы, собирался писать новый роман, уговаривал меня скорей возвращаться в Париж… Никому из нас в голову не приходило, что мы видимся в последний раз.

Со смерти Тургенева прошло 18 лет. Срок небольшой. А между тем, как мало его читают, как мало ценят. Уродливое преподавание русского языка в нашей школе принесло свой плод. Во всех образованных странах юношество воспитывается в любви к родной литературе. Французский bachelier[339] знает наизусть В. Гюго. Немецкий гимназист гордится Гете и Шиллером. А у нас – “зрелые классики”, знакомые с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Тургеневым лишь по отрывкам – обычное явление. Тургеневу в этом отношении особенно не повезло. Молодежь apriori считает его “отсталым”, а взрослые, чтобы оправдать свое равнодушие, с апломбом восклицают: куда ему до Достоевского, до Толстого…

В “Чайке” А.П. Чехова модный писатель Тригорин, уныло говорит, что писать не стоит, ибо, что не напиши, читатель скажет: да, это очень мило, но какое же сравнение с Тургеневым[340]. Это тонкое и верное замечание. Но, если уж никак нельзя выйти из заколдованного круга сравнений, то… Тургенев так же велик, как Толстой. Оба они, хотя и разными путями, учат любить и жалеть человека, верить в добро и искать истину. Всеобъемлющая душа Тургенева жаждала гармонии. Его упрекали в политическом индифферентизме. Это неверно. У него было очень определенное политическое profession le foi[341], но он никогда не был человеком партии. Да и какая партия могла его удовлетворить! Он был художник-философ. Его интересовало все

живущее – природа, люди, наука, искусство. Он дал несравненную картину современной ему эпохи, причем сумел в самых животрепещущих явлениях фиксировать элемент вечности. Пессимизм Тургенева не есть пессимизм отчаяния. Он вытекает из самого существа жизни. Люди несчастны, но жить стоит. Рядом с эгоизмом, злобой, низостью, неиссякаемый родник любви, героизма самоотвержения, энергии… Рядом с неизбежной борьбой отцов и детей – старость без зависти приветствует расцвет молодых сил, грусть неразлучна с надеждой и человечество, спотыкаясь, блуждая, сворачивая в сторону – все-таки, несмотря ни на что, идет вперед. Тургенев поэт и учитель. Его нельзя забыть. Охлаждение к нему может быть только явлением случайным!.. Оно пройдет. К Тургеневу вернутся. Его будут читать, перечитывать и изучать с той благодарностью, какую заслуживает этот великий мастер русского слова и великий художник человеческой души.

Последние годы Н.И. Стороженко

Николай Ильич Стороженко!..

С этим именем образованное русское общество привыкло соединять представление о знаменитом московском профессоре, ученом исследователе Шекспира, глубоком знатоке литературы… Все это верно. Но ведь это только формуляр!., несколько строчек в энциклопедическом словаре. Те, кому выпало на долю счастье находиться в живом общении с Николаем Ильичом, знают, что, как ни велик его вклад в сокровищницу русской науки, значение его светлой, утешительной личности в жестокую пору нашего безвременья – зверской расправы сверху – голода снизу и трусливой растерянности в центре – было, пожалуй, еще больше. Застенчивый в толпе, уступчивый, даже бесхарактерный в липкой паутине домашнего “жития” – Николай Ильич, когда дело касалось науки, университета, студентов, или – просто человеческого горя – умел быть смелым и сильным. Он не боялся поднимать свой голос одиноко, среди общего безмолвия.

Так, в докладе, составленном комиссией, избранной Советом московского университета в 1901 г., лишь вскользь упоминалось о положении студентов-евреев. Комиссия не рассматривала вопроса по существу, а только упоминала о нем, как о второстепенной причине студенческих беспорядков.

Николаю Ильичу много – и большей частью бесплодно – приходилось хлопотать за молодых людей, перед которыми захлопывались двери учебных заведений только потому, что это были евреи. Каждый такой “случай” повергал его в глубокое уныние.

– Ну, как я “ему” (или “ей”) скажу, – говорил он, тихо вздыхая, – университет мол не для вас… Вы еврей… там дроби какой-то не хватает… Креститесь… Срам.

Николай Ильич не мог помириться с формальным отношением “Доклада” к такому больному вопросу и подал ректору в Совет отдельное мнение, к которому присоединилось еще несколько профессоров, между прочим И.М. Сеченов. Николай Ильич доказывал, что недопущение евреев в университет действует развращающим образом на студентов-христиан, приучая их пользоваться незаслуженно-привилегированным положением. Ректор заметил, что записка никакого практического значения иметь не будет.

– Будет иметь принципиальное, – спокойно возразил Николай Ильич.

– Через сто лет, – прибавил находившийся при этой беседе

другой профессор.

– Тем хуже для нас, – сказал Николай Ильич.

Эрудиция ученого в соединении с огромной – вглубь и вширь – образованностью сообщала беседе с Николаем Ильичем тем больший интерес, что она была совершенно свободна от самодовольного педантства, которым так несносны патентованные специалисты.

Скромность Николая Ильича была не внешняя, напускная скромность, за которой так часто таится ненасытное тщеславие. Она вытекала из самых корней его природы. Поэтому она не только поражала, но и заражала других, – создавая вокруг него особенное, высокое настроение – “Я рожден быть секретарем, а не президентом”, – говаривал он со своей милой, чуть-чуть иронической усмешкой: “Только захочу вознестись – а в голову, как нарочно, лезет Карлейль или Тан. Ну и готово! Садись, брат Стороженко, на свое место”…

Николай Ильич совсем не принадлежал к тому типу людей, которых можно назвать “именинниками жизни”. Он не блистал красноречием, не обворожал любезностью и был совершенно чужд тонких, дипломатических талантов, которые помогают их обладателю, не задевая сытых волков, платонически сочувствовать ободранным овцам. И, однако, не было никого, кто, случайно встретившись с ним на жизненной дороге, не отметил бы этой встречи, не почувствовал бы желание остановиться, подойти поближе и пробыть подольше возле этого, на первый взгляд несколько сурового человека, с сократовским черепом и внимательными, озаренными внутренним, тихим светом глазами. В чем же заключалась тайна обаяния и влияния Николая Ильича на людей самых разнообразных классов и видов? Его ведь любили умные и глупые, богатые и бедные (бедные больше), знатные и незаметные, прославленные знаменитости и никому не известные труженики. Мне кажется, что всех влекла к нему небывалая душевная гармония его личности, та пленительная прямота и простота, с которой он подходил к человеку, словно каждый мог его чему-нибудь научить. Он был то, что Шиллер называет eine Schone Seele[342], а Флобер – une grande nature[343]. Отличительная черта таких натур – неустанный интерес ко всему сущему и какая-то наивная беспечность, с которой они расточают свои душевные и умственные богатства. Ободрить начинающего, поднять дух неудачника, приютить, обогреть, рассмешить остроумной шуткой – на это Николай Ильич был мастер. Обыкновенно собственная печаль заслоняет от нас чужие печали, а Николай Ильич умел радоваться чужой радости и тогда, когда его собственное сердце изнывало от тоски и боли.

На пути дружеских воспоминаний о выдающемся человеке всегда лежит неуклюжий камень, о который трудно не споткнуться. Вместо того, чтобы говорить об ушедшем – “друг” невольно начинает повествовать о самом себе, а это редко бывает интересно. Когда Николая Ильича упрекали за то, что он, знавший столько замечательных людей, не пишет мемуаров, он неизменно выставлял этот аргумент – “Боюсь! Опасная штука, эти мемуары. Начнешь о знаменитом человеке и вдруг: – я мол сам тоже душка. Оглянуться не успеешь, как уж налгал или нахвастал. Вот неудачников моих пристроить – очень бы хотелось”, – прибавляет он, вздыхая и покачивая головой. Заветной мечтой Николая Ильича было написать историю русских талантливых неудачников: Прыжова, своих товарищей Рассадина и Гладкаго. В особенности же его увлекала трагическая судьба одного малороссийского народного ходока. Это был крепостной крестьянин, самоучка, который после всевозможных мытарств, в поисках “за правдой”, отправился в Петербург, дошел до Николая Павловича, очутился в Петропавловском каземате и там пропал. Получив доступ в архивы III-го Отделения, Николай Ильич совершенно случайно набрел на пожелтевшую рукопись – автобиографию злосчастного “искателя правды”, прочитал ее, умилился и стал переписывать, чтобы сохранить этот драгоценный материал. Но болезнь развеяла все планы. Поездки в Петербург становились невозможны, и мечта о “пристройстве” неудачников так и осталась неосуществленной.

Последние 9-10 лет жизнь Николая Ильича была тесно переплетена с жизнью моей семьи. Он любил нас с какой-то торопливой, трепетной нежностью, словно в предчувствии скорой и вечной разлуки… “про запас”, как он выражался. В Москве, пока недуг окончательно не приковал его к креслу – он приезжал к нам почти каждый день. Бывало иногда осенью, погода невозможная, ветер, ливень… Вдруг звонок! и появляется Николай Ильич. Его начинают осыпать упреками за неблагоразумие, за легкомыслие не по летам, а он, потирая руки, суровым голосом, которому так противоречили лукаво-смеющиеся глаза, отражает ворчливой скороговоркой наши упреки: “Верно, все верно. Не надо было ехать… не хотел… ни за что! А бес так и жужжит в ухо: поезжай, Стороженко, поезжай… Ведь с Ваганькова уже никуда не поедешь”… И, несмотря на шутливый тон, всем становилось грустно.

Мы знали, что болезнь его безнадежная, что он обречен… Особенно любил Николай Ильич гостить с Антигоночкой (так он звал свою дочь) у нас в деревне. Эти приезды были для него истинным праздником.

Тихий деревенский дом словно оживал и расцветал. Николай Ильич владел даром вносить с собой светлую, поэтическую атмосферу. Ему это не стоило никакого усилия, потому что поэзия была в нем самом.

Он вставал очень рано и сейчас же, никого не беспокоя, садился за работу. Работал он почти весь день. Зато вечера он посвящал нам. И какие это были незабвенные вечера! Николай Ильич рассказывал об эпохе бо-х годов, о людях, которых мы знали только по книгам, об американских и испанских поэтах, которых и по книгам знают лишь немногие, рассказывал о своей жизни в Англии, читал – и читал превосходно – стихи, которых он знал такое превеликое множество, что нельзя было не изумляться такой памяти. Совершенно счастлив он бывал, когда встречал у нас А.Ф. Кони, которого он очень любил и почитал. У этих двух студентов старого московского университета был неисчерпаемый источник общих воспоминаний. Перед нами, словно живые, проходили фигуры Ник. Ив. Крылова, Баршева, Кудрявцева, Буслаева, Бодянского. Николай Ильич производил по памяти целые лекции своих профессоров. Лекция Бодянского о жизни Иоанна Гуса, перемешанная в самых патетических местах филологическими и историческими комментариями, выходила у него так художественно, что я попросила его записать мне ее в альбом. Не могу не вспомнить любопытного рассказа Николая Ильича о кишиневском начальнике Пушкина, генерале Иванове, которого И.И. в ранней молодости видел в Киеве. На робкие вопросы о Пушкине почтенный генерал снисходительно отвечал: – “Да. Пушкин! Конечно… Он был поэт… острослов… Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда… ха-ха!.. А впрочем – пустой малый”…

Люди, которых профессия состоит в том, что их слушают, редко умеют слушать других. Николай Ильич не только умел, но и любил слушать. Это чувствовалось. Самые робкие, замкнутые люди беседовали с ним легко о самых сокровенных вещах. Душа его, преисполненная жалью к человеку, скорее всего отзывалась на страданье. Недаром он был историографом поэтов “нужды и горя”. Но аскетом Н.И. не был. Остроумный, находчивый, он обладал чисто малороссийским мягким и безобидным юмором. Любовь, красота, радость, смех чаровали его и в жизни, и в искусстве.

Вероятно, и Шекспир его приковывал тем, что в его необъятном творении – величество и ничтожество, радость и несчастье: все человеческое, земное, а не бесплотное.

Любовь к Шекспиру озарила вступление Н.И. на тернистый путь науки, эта же любовь блеснула ласковым лучом на его

печальный закат. Недуг, лишивший его свободы передвижения, оказался бессильным над его мыслью. Эта мысль продолжала работать и с трогательной верностью несла свои последние цветы на алтарь неизменному властителю его дум.

“Вы не знаете, как всякая работа по Шекспиру меня освежает и подвинчивает, – пишет мне Н.И. в январе 1903 г.: – Так как отношение Шекспира к своему времени и обстановке давно уже определены, то мне пришло в голову выяснить отношение Шекспира к главным умственным течениям эпохи ‘Ренессанса’ вообще – и показать, как эти течения изменились, пройдя сквозь фильтр английской жизни и собственного жизненного опыта. Как только эта мысль пришла мне в голову, я сделался ее невольником и, о чем бы я ни думал, я всегда возвращался к ней. Как видите, это ‘влеченье, род недуга’, – с которым трудно бороться. Да и зачем бороться, когда оно наполняет жизнь и помогает легче переносить тоску дней?”…

Русская действительность влила немало отравы в сердце Николая Ильича. Он не был политическим борцом ни по характеру, ни по темпераменту. Но он – был убежденный демократ, выше всего на свете ценил свободу… А между тем, на каждом шагу были расставлены рогатки, и некуда было уйти от унизительного сознания, что приходится из двух зол выбирать меньшее. “Недоразумение с моей несчастной публичной лекцией (пишет он мне в 1899 г.) наконец, разъяснилось. Попечитель требует предъявление ему рукописи лекции. По этому поводу я имел с ним продолжительное объяснение. Оказывается – все произошло от слишком эффектного заглавия моей лекции: “Апостол свободы и гуманности”. На это я возразил, что, назови я ее “Теодор Паркер”, то никто бы не пошел, потому что о Паркере никто ничего не знает. Он с этим согласился, но все-таки попросил меня прислать ему если не лекцию, то, по крайней мере, подробный конспект, прибавив с лукавой улыбкой: конечно, я уверен, что у вас ничего такого не будет, но многое, что для Америки ничего, у нас выйдет того и т. д.

Бедные лакеи! Они сами не знают, что им делать, но знают, что нужно выказать усердие и благонамеренность, и выказывают…”

Наступило незабвенное, солнечное утро 18 октября 1905 г. Москву облетела радостная весть о свободе. Я поехала поздравить Николая Ильича с началом новой русской эры. Я застала у него несколько человек гостей… Он сидел, прикрытый пледом в своем кресле, опустив голову на грудь. Выражение его лица меня поразило: такое оно было строгое, почти суровое… Но губы дрожали от волнения, а из глаз струились крупные слезы. – “Ну,

что, старик, дождались мы с тобой", – сказал М.М. Ковалевский. Слезы полились еще обильнее. Все молчали. В маленькой комнате стало тихо и торжественно.

На гипсовой колонке в углу печально белело изможденное лицо Белинского.

Со стен глядели знакомые портреты: раненый Пушкин, Шекспир, Виктор Гюго, Байрон и красивая молодая женщина с распущенными по плечам волосами.

Подали вино. Мы выпили за русскую конституцию. – "Николай Ильич, вы верите в нее?" – спросил кто-то. – "Хочу верить", – произнес он. "А как ты думаешь, могут ее взять назад?" – сказал Ковалевский. – "Всё могут", – ответил Николай Ильич…

Действительность поспешила оправдать слова Николая Ильича. Судьба не была к нему милостива. Он пережил – кровавые декабрьские дни. Какие думы посещали голову старого мечтателя под грохот дубасовских пушек – кто знает!.. Может быть, он вспоминал себе в утешение, что свобода везде добывалась кровью, что и там, в Париже.

> Aux lugubres accents des vieux canons de fonte
> La Marseillaise repondait…[344]

Русским ученым часто ставят в упрек, что они слишком разбрасываются, что они малопродуктивны, не умеют защищать свое время и дело от посягательств праздного безделья. Но известно, что "умом России не понять, аршином общим не измерить"…

Там, где элементарные принципы культурного общежития составляют неотъемлемое благо всех – там выдающиеся люди страны отдают работе все время, а часы отдыха проводят в строго ограниченном кругу своих, избранных.

Европейский писатель, профессор, художник имеет приемные часы. К нему можно явиться, лишь предварительно с ним условившись. Он будет корректен, внимателен, даже любезен к посетителю. Но посетитель будет чувствовать, что время Maitre и есть драгоценность, и отнимать у него даром лишнюю минуту этой драгоценности есть варварство.

Европеец будет польщен официальной любезностью Maitre'a, а русский уйдет от него с обидным чувством разочарования. Нам мало корректного отношения от того, кого мы считаем учителем, хотя не величаем его этим титулом ни устно, ни письменно. Нам нужно гораздо больше. Определенно формулировать, что именно – мудрено. Это нечто неуловимое, неведомое, загадочное и всеобъемлющее, – то, что русский человек выражает словом *душа.*

В огромной, нелепой, холодной тюрьме, которая называется Россией, в сущности все арестанты: и тот, кто сидит под замком, и тот, кто его сторожит. Если в этой несчастной тюрьме люди еще не задохлись, то лишь потому, что, по благости Провидения, в этом мраке никогда не угасали светильники этих божьих людей. К ним, к этим родникам духа живого, всегда тянулись жаждущие, измученные русские люди. У них они искали защиты, поддержки, надежды… Русские писатели, поэты, ученые – никогда не были самодовлеющими олимпийцами. Пушкин и Лермонтов, Гоголь, Белинский, Толстой, Тургенев, Достоевский, Герцен, Чернышевский, Грановский… Великие и смиренные, все они – мирские печальники и утешители. Дом русского писателя никогда не был каменной башней на вершине горы. Это был маяк. В беспросветной ночи его огонек мелькал то тут, то там, поддерживая в людях веру, что наступит утро. Таким приветным маяком светился и скромный домик Н.И. Стороженко. В жизни его родных и друзей стало темнее и холоднее с его уходом. Но их должно утешать сознание, что он умер не весь. Живы благородные, возвышенные мысли, рассыпанные драгоценным жемчугом в его произведениях. Живы ученики его, сеятели этих заветных мыслей по нивам родной земли.

Память сердца – самая верная память. Сердце, говорит Бэкон, не остров, оторванный от других земель, но материк, соединяющий земли и народы.

Памяти старого друга

[…] Я знала Кони, как знала его вся русская интеллигенция моей эпохи: знаменитый оратор, председатель петербургского суда, пострадавший за Веру Засулич, автор книги “Судебные речи”, которой все зачитывались…

Я даже видела его раза два случайно, но так мимолетно, что не помнила его лица… И вот, я еду к нему вроде как с “наказом” от его университетского товарища и друга.

Четверть века назад их голоса: одного – с трибуны прокурора, другого – из-за пульта защитника – провозгласили в безгласной России рождение гласного суда…

Когда-то “опальный” защитник Нечаева, Урусов давно отрезвился от иллюзий шестидесятых годов… Другое дело Кони… Обер-прокурор сената, оплот суда присяжных, всеми признанный авторитет…

Было от чего волноваться.

Урусов предупредил его письмом о моем приезде. Кони ответил, что будет меня ждать в такой-то день в и часов утра. Меня встретил в приемной человек небольшого роста, худой, державшийся очень прямо, с бледным, строгим лицом, уже тогда изрезанным характерными морщинами, с внимательным взглядом умных, холодных глаз. Одет он был в аккуратный коричневый сюртук, шею облегал аккуратный стоячий воротничок и тонкий черный галстук бантиком, блестящие манжеты с матовыми запонками, блестящие ботинки… Все такое чистенькое, аккуратное… “Какой чиновник”, – подумала я.

“Пойдемте ко мне в кабинет, там удобнее беседовать, – сказал Анатолий Федорович усталым, мягким, удивительно приятным, простым голосом и продолжал на ходу: – Вчера я был страшно занят, а сегодня освободил для вас – вот столько времени!” – Он широко расставил руки и улыбнулся. Лицо сразу помолодело, стало милое и доброе.

Кабинет говорил за хозяина. Книги в шкафах, книги на полках, книги на столах, портреты с длинными автографами, несколько картин, альбомы, юбилейные подношения, большой письменный стол, диван.

[…] “Вы позволите мне ходить? Мне так много приходится сидеть, что, шагая по комнате, я отдыхаю… Ну, давайте знакомиться”.

Он опять заговорил. Я слушала и думала только об одном, чтобы он не умолкал. Это была не речь, не беседа, а мастерская импровизация. Передо мной, точно в живой панораме, проходила

русская жизнь, русские судьбы, русская ширь и русская теснота, наше сумбурное богатство и наша дикая нищета, наша несравненная литература и варварское невежество, изысканный аристократизм и пошлое самодовольство так называемого общества. А надо всем фарисейское лицемерие, расползающееся из петербургских “сфер” и канцелярий по рабской стране. Из разных углов вдруг забили часы. Я вздрогнула.

Анатолий Федорович засмеялся. – “Испугались? У меня несколько часов, и они бьют разом. Я слежу, чтобы они не расходились… Это моя маленькая мания…”

– “А это на вас не наводит тоску, Анатолий Федорович?”

– “Нет. Я очень люблю слушать ‘шаги времени’…”.

Так началось мое знакомство с Анатолием Федоровичем, знакомство, перешедшее в дружбу, выдержавшую все, а порой довольно тяжелые “шаги времени”…

[…] Редкое имя в России – в течение более чем полувека – пользовалось такой популярностью, было окружено ореолом такого обаяния, как имя Кони. Его знали люди всякого “толка”, даже такие, которые, казалось бы, не имели ни малейшего касательства ни к какой стороне его разнообразной деятельности. Конечно, он был знаменитый юрист, оратор, писатель, один из образованнейших людей своего времени… Но ведь это еще не дает власти над сердцами… Какой же дар привлекал к нему, по выражению Владимира Соловьева, “людей всяких вер”?.. Мне кажется, что это происходило от редкого в нем сочетания противоположных сил. Обычно, в результате такого сочетания, получаются изломанные, несчастные характеры, и лишь в исключительных случаях, когда воля подчиняет себе темперамент, оно создает гармонический образ. Преобладающая сила Кони заключалась в уме, – проницательном, аналитическом, холодном, уме не следователя, а исследователя.

Но в этом же уме жил и большой художник, большой артист – и нужна была железная рука, чтобы артист и художник не опрокидывали ума “холодных наблюдений”…

Наивно было бы предполагать, что Кони был чужд “земных страстей”. Он жил на миру, окруженный соблазнами, и “ничто человеческое ему не было чуждо”. “У каждого, – говаривал он, – есть свои собаки; чтобы они не разорвали, надо их держать на цепи”… И он умел их держать. На помощь приходила выкованная в жизненной борьбе воля, огромная работоспособность и всепоглощающее чувство ответственности и долга. А главное, ему всегда было некогда. Он не мог запретить сердцу “пылать” – и оно не раз пылало, но он не позволял ему забываться…

– “Жена… Дети… – вздыхал Анатолий Федорович, шагая по

комнате и дымя сигарой. – Это так заманчиво, особенно, когда думаешь об одинокой старости… Но, с другой стороны, на какие 'концессии' – ради семьи – идут даже очень стойкие люди! Болезни, бедность, взаимное разочарование, озлобление на неудачных детей, в которых супруги обвиняют друг друга… Сколько таких 'пар' из Дантова ада мне приходилось наблюдать!.. А ведь и для них была весенняя пора Фета: 'шепот, робкое дыханье, трели соловья'…".

И все это они давно забыли под пятою будничных забот… "Нет, нет!.. Свободен только одинокий – его ошибки и грехи падают только на его голову…"

Как бы для иллюстрации такой личной независимости, мне припоминается один психологический "момент", когда даже старые друзья Кони недоумевали, почему он не подал в отставку в ответ на "немилостивые слова", обращенные к нему после его назначения обер-прокурором сената Александром III. Осуждение людей, которых он любил и уважал, его задевало и огорчало.

Он много раз и всегда с волнением возвращался к этому эпизоду.

– "Думают что я из честолюбия, ради карьеры… Однако! Что меня ждет на старости лет… Жалкая пенсия… Ведь перейти в адвокатуру и через год купить себе виллу на озере Лугано гораздо умнее… Но что-то мешает… Я долго обдумывал: что важнее? мелькать в поле зрения гатчинского глаза, прикасаясь к августейшей руке, или держать в своей руке всю русскую уголовную юстицию… Я решил дело в пользу своей законной жены, "г-жи юстиции", и махнул рукой на августейшую руку… Этот каламбур пусть останется entre nous[345]", – прибавил он смеясь. Сила и талант Кони заключались несомненно в живом слове. Он прежде всего был человек трибуны, кафедры, эстрады. Ему, как воздух, нужна была аудитория, и этим, помимо всего прочего, объясняется его любовь к студентам, к молодежи, его всегдашняя готовность, несмотря на бремя обязательных занятий, читать публичные лекции, его неизреченная щедрость, с которой он отдавал свое слабое здоровье и часы отдыха голодающим, курсисткам, врачам, бедствующим литераторам… Надо изумляться универсальности этого юриста по профессии, который в самых разнообразных областях человеческого ума вращался не как дилетант, а как мастер.

Литература и театр были его родными стихиями. Ведь он был то, что французы называют enfant de la rampe, дитя рампы. Мать его – актриса Ирина Сем. Юрьева-Сандунова, совмещала, как полагалось в ее время, амплуа ingenue[346] и певицы. Отец – Федор Алексеевич Кони, – редактор-издатель литературно-

театрального журнала “Пантеон”, был талантливый критик, поэт, автор веселых водевилей и едких куплетов, остряк, навлекший на себя гнев императора Николая Павловича. Когда разразилась Крымская война, “Пантеону” не разрешили перепечатывать из “Инвалида” телеграммы с театра военных действий. Журнал зачах. Семья Кони была разорена, и четырнадцатилетний “Толя”, вернувшись однажды из гимназии домой, нашел всю домашнюю обстановку опечатанной, так что он мог сесть только на подоконник. Чтобы продолжать свое образование после “Аннен-Шуле” во II гимназии, ему пришлось, взамен платы за учение, взять на себя обязанности репетитора в младших классах. Впоследствии на торжественных юбилеях в “Аннен-Шуле” с гордостью упоминалось, что в числе ее именитых питомцев находился Анатолий Кони. Он сам с трогательной благодарностью вспоминал свою немецкую школу, хотя вышел из ее младших классов. Затем, не кончив курса II гимназии, уже 15-летним мальчиком держал экзамен экстерном в Петербургский университет, оттуда, через год, перешел на юридический факультет Московского университета и уж никогда не порывал с ним связи…

Как, однако, ни увлекательна была наука права, пандекты[347]не могли вытеснить из его души первые впечатления “бытия” в атмосфере литературы и театра. Волшебная власть художественных образов, воплощенных в слове, приковала его к себе на всю жизнь. Вот почему он всегда был чужой среди сановников и свой среди писателей и актеров.

Перед Пушкиным он благоговел, называл его величайшим гением России, ее оправданием перед миром. Вся пушкинская плеяда легла в основу его художественной сокровищницы. Путь от Пушкина и Гоголя к Толстому и Достоевскому есть исторический путь русской культуры.

Анатолий Федорович знал лично почти всех “отцов” нашей новой литературы. Мальчиком он видал Некрасова, в доме своих родителей еще во времена “Пантеона”. Свидеться вновь со знаменитым поэтом ему пришлось в начале 70-х годов при исключительных обстоятельствах. Петербург был взволнован самоубийством атташе турецкого посольства, проигравшего огромную сумму компании слишком счастливых игроков. Городская молва называла в числе участников этого дела Некрасова. К Кони – тогда прокурору Петербургского суда – приехал Николай Алексеевич для “частной” беседы о печальном происшествии. Он обстоятельно изложил молодому прокурору свою “систему” игры, заключавшуюся отнюдь не в крапленых картах, а в большом самообладании, отсутствии нервозности и

трезвом расчете. Такая “тренировка”, по его мнению, обрекала на поражение терявшего голову и приходившего все в больший азарт противника. С тех пор и вплоть до смерти Некрасова их дружеские отношения не прерывались. Анатолий Федорович не идеализировал Некрасова, но ему нравилась своеобразная, жестковатая фигура певца порабощенного народа, создавшего “песню, подобную стону”. Он бывал у него, знал “Зину”, последнюю простодушную и бескорыстную подругу поэта, с которой он обвенчался на смертном одре и которой посвящены стихи:

Двести уж дней, двести ночей
Муки мои продолжаются,
Ночью и днем в сердце твоем
Стоны мои отзываются…

Верный писателям-“отцам”, Кони принял в свое сердце их детей и даже внуков.

Чехова он ставил необычайно высоко и страшно негодовал на петербургскую публику и Александрийский театр за провал “Чайки”… “Актеры ничего не поняли, – писал он мне, – они не сумели даже подойти к этому великолепному произведению, в котором реально отразился весь трагизм русского сумбура”… Но когда за “Чайкой”, воскресшей в Художественном театре, пришел “Дядя Ваня”, за ним “Три сестры”, и “Вишневый сад” – Анатолий Федорович был умилен.

– “Ваши московские художники – откровение, – говорил он – это рождение нового театра…”

Сбежав из Петербурга от своего, кажется, 35-летнего юбилея, он приехал в Москву и просил в гостинице не прописывать его паспорта, а друзей – скрыть его присутствие в Москве. Как раз в это время пришлось второе представление “Доктора Штокмана”. Анатолий Федорович так и загорелся. – Непременно поедемте, непременно!.. – Достать ложу было почти невозможно. Мы предлагали ему:

– “Напишите Станиславскому или Немировичу. Вас-то они наверно устроят”. – “Ни за что! Надо достать ложу. Вы все сядете впереди, а я спрячусь за вами, как за стенкой…” – Удалось купить даже две ложи – в одной поместились “старшие”, а рядом молодежь. Анатолий Федорович поместился за нами, но во время действия, когда зал погружался в темноту, мы немножко раздвигались, чтобы ему было виднее. Когда Штокман говорил свою речь перед “столпами общества”, я шепнула Анатолию Федоровичу: – “На кого похож Станиславский?” – “На Владимира

Соловьева, – тоже шепотом ответил Анатолий Федорович. – Вылитый Владимир Сергеевич, когда он летом снимал свою львиную гриву…” – и мы оба вздохнули.

В антракте Анатолий Федорович не остерегся – выглянул в зал. В театре было много адвокатов. Его узнали, газеты еще утром оповестили, что он уехал из Петербурга от юбилея. Масса биноклей устремилась на нашу ложу. Анатолий Федорович нырнул за спину Николая Ильича Стороженко, да уж было поздно. В ложу к нам вошел В. И. Немирович-Данченко и, несмотря ни на какие отговорки, увел Анатолия Федоровича за кулисы. Его звали актеры – та “побочная” его семья, права которой на себя он никогда не отрицал… С большим интересом и симпатией к его оригинальной личности Кони встретил появление Горького, но гораздо холоднее отнесся к его творчеству… Его смущала дерзкая, самодовлеющая декламация горьковских бунтарей. “Какая разница с Достоевским, – вздыхал он. – Достоевский упавшему в пропасть человеку говорит: ‘взгляни на небо, ты можешь подняться’!.. А босяк Горького говорит: ‘взгляни на небо и плюнь’!..” – Но и тут сказывалось уменье А. Ф. ценить die Sache in sich… [Вещь в себе (нем.)] Когда ему возражали: “А ‘На плотах’?., а “Скуки ради?” – Он одобрительно кивал головой с улыбкой, сразу освещавшей все его лицо: “Ну, это – hors concours”[348], “На плотах” – драгоценная жемчужина, а “Скуки ради” с гордостью мог бы подписать Мопассан“.

Бурное вторжение декадентов сначала оттолкнуло Анатолия Федоровича, прежде всего отсутствием содержания. Он, обожавший проникновенную поэзию Тютчева, просто растерялся.

“Слезы людские, о, слезы людские // Льетесь вы ранней и поздней порой…”

И вдруг, не угодно ли:

“Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Хочу одежды с тебя сорвать…”

– “Что это? – говорил он, – к чему это поведет? Неприкрытая эротика. Отныне наши лоботрясы совсем распояшутся и начнут почитать себя ‘сверхсвятыми’…”

Но первое ошеломление прошло. Кони вчитался в новую поэзию и отдал ей должное. Богатство творчества, неожиданность образов, мастерство и разнообразие ритма, смелость и динамика в самой фактуре стиха его поражали.

Да и мог разве Анатолий Федорович, любивший жизнь в ее безграничной пестроте, стать “запоздалой тенью”? Конечно, не мог. Каково бы ни было “изнеможение в кости”, он никогда не

“брел”, а шел навстречу солнцу и движению “за новым племенем”. Андрея Белого он долго не признавал. Как классический стилист, он не мог примириться с “членовредительством”, которое автор “Северной симфонии” наносил русскому языку. Но после “Серебряного голубя” и особенно после “Петербурга” он его принял и даже находил, что для “хмарного” Петербурга и язык Белого есть самый настоящий.

– “Это уже не литература, а разъятая стихия”, – говорил Анатолий Федорович. Когда я его упрекала в измене старым кумирам, он отшучивался, перефразируя стихи Баратынского: “Что делать. Грешен… грешен”, – произносил он лукавым кающимся речитативом:

Другим курю я фимиам,
Но тех ношу в святыне сердца,
Молюся новым образам,
Но с беспокойством староверца…

Кони оставил нам целую галерею незабвенных портретов. Достоевский, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Владимир Соловьев, Писемский и т. д. оживают под его пером всегда с неожиданной стороны. Тем, кто имел счастье слышать из уст Анатолия Федоровича живую повесть этих, уже сошедших с земной сцены, людей, казалось, что они видят их воочию, слышат звук их голоса. Такое счастье, да еще в простой обстановке деревенского дома, выпало на долю моей семьи. Анатолий Федорович очень любил нашу скромную усадьбу в Тверской губернии. У него было три деревенских “причала”: Ясная Поляна, которую он называл “дезинфекцией души от Петербурга”, величественный “Караул” Б. Н. Чичерина, который утешал его своим высокоевропейским укладом, и наше маленькое Катино, куда он приезжал, как к себе домой. Он проводил у нас – в продолжение длинного ряда лет – рождественские праздники, раннюю весну в пасху. Наезжал и летом, и осенью, иной раз всего на три-четыре дня, чтобы “передохнуть”.

Его приезды всегда были радостью не только для нас, но и для наших соседей. Благодушный старик-генерал с женой, которых для краткости называли “генералы”, предводитель-земец, до японской войны считавшийся “правым”, но после разочарования в Стесселе круто повернувший “налево”, мизантропка-учительница, фрондирующие доктора и фельдшерицы, всегда со всеми согласный аптекарь и никогда ни в чем с ними не согласная, обиженная на весь мир, его супруга… Компания – что греха таить – немножко “чеховская”, но и для нее

приезды Анатолия Федоровича бывали событием. Все справлялись, ждали, и когда, проезжая мимо нашей усадьбы на станцию, видели огонек, то сообщали друг другу: – “В катинской гостиной горит красная лампа должна быть, приехал ‘Златоуст’…”

Мой сын, вначале маленький гимназист, потом студент, и его товарищ – будущий защитник Фрунзе – были бессменными адъютантами Анатолия Федоровича. К тем же праздникам приноравливал свои приезды к нам Николай Ильич Стороженко, всегда почти в сопровождении своей юной дочери, которая с такой неудержимой верой и звонким смехом мчалась навстречу жизни, что это могло заразить самых мрачных скептиков. Какое оживление вносили эти старые и молодые московские студенты в наш тихий дом!

Днем каждый занимался своим делом, а по вечерам сходились вместе, слушали музыку, читали стихи и прозу, иной раз танцевали… А то Анатолий Федорович вдруг затеет шарады. В ход пускались самые примитивные средства: садовые фонари, ширмы, бельевые корзины, простыни, купальные халаты, из сундуков вытаскивали старые платья, шубы и т. п.

Но самое прекрасное бывало, когда, после какой-нибудь шумной беготни по парку, “гости” разъедутся, мы остаемся одни, и Анатолий Федорович позовет нас в библиотеку. Это была его любимая комната. В камине пылают, трещат и рассыпаются искрами толстые поленья и еловые шишки; несколько ламп без малейшего намека на “электрификацию”; на письменном столе в подсвечнике под колпаком – две свечи… В глубоком кресле Анатолий Федорович покуривает сигару а перед ним большие переплетенные тетради.

Несколько лукавых слов… – Сигара уже лежит в пепельнице и вот замелькали перевертываемые быстрыми пальцами страницы, иногда несколько зараз… Анатолий Федорович начал читать и рассказывать о своих встречах “на жизненном пути”… Многое из этих встреч теперь напечатано, многое еще ждет своей очереди, но тогда он – да и все мы – думали, что только потомки наши прочтут о них в “Русской старине”.

Юмор, находчивость, исключительное мастерство голоса и языка – от народной речи до тончайших лирических оттенков, от драматического диапазона до горбуновского гротеска, – поражали даже привычных слушателей, а новые смотрели на него во все глаза. Помню, как одна молодая женщина, долго жившая за границей, слушала, как очарованная, его рассказы в лицах о старых актерах, московских и петербургских. – “Ах, Анатолий Федорович! – воскликнула она. – Как жаль, что вы не сделались

актером”. Все рассмеялись, хотя всем стало немножко неловко. Милая женщина почувствовала, что у нее вырвалось что-то нескладное, – и страшно сконфузилась. Только Анатолий Федорович улыбнулся какой-то особенно доброй улыбкой и, вздохнув, произнес: – “Да, мой голубчик, я и сам часто думаю, что ошибся в своем призвании…”.

И, как знать, может быть, наивная слушательница была не так неправа. Кони был бы, несомненно, очень большим актером, и жизнь его потекла бы тогда по другим рельсам легче и свободнее…

Кони не был ни присяжным филологом, ни беллетристом, ни поэтом… Откуда же он почерпал свой богатейший словарь? А эта многогранная игра диалога, в которой всегда чувствовалось: “с подлинным верно…”. Все это у него было из бездонных глубин одного родника – из России… Он знал ее от курной избы до царских дворцов, от “калик перехожих” до Андрея Белого и Максимилиана Волошина.

– “Самое сложное в искусстве – да и в жизни – простота, – говаривал Анатолий Федорович, – но хороша только та простота, которая дорого стоит. Посмотрите на “мужичков” Тургенева. Иван Сергеевич завещал нам Лукерью в “Живых мощах” – этот кристалл народной красоты, но и отлично знал, что “голоплецкий Еремей” надует либералов”.

Провозглашенная “священной” мировая бойня повергла Анатолия Федоровича в полное уныние. Уже в сентябре 1914 года он пишет мне: как ужасно зрелище народа, переходящего “von Humanitat durch Nationalitat zur Bestialitat”[349]. Его пугал “рефлекс на эти гадости у нас”. Он уже видел этот рефлекс “в грубых и зловещих лубочных картинках и начинающейся травле недостаточных патриотов”.

Как Анатолий Федорович отнесся к революции? Он принял ее, как закономерное следствие затянувшейся войны, вскрывшей истлевшие устои, на которых держался импозантный фасад бывшей Российской империи.

Кони не был революционером. Он был философ-гуманист. Человеческую личность он считал величайшей ценностью […] Среди ужасов гражданской войны, под обвалом векового строя, в разгар голода, в хаосе братоубийственной ненависти – этот бывший сенатор, а теперь больной старик, со сломанной ногой, на двух костылях, появился перед только что вышедшей на свет аудиторией, настороженной и недоверчивой. Чему же он стал ее *учить?* Он стал ей рассказывать о том, что такое “этика общежития”… Его приняли вначале с осторожностью, отдаленно, а затем все ближе и дружелюбнее. Талисман, пленявший былую

молодежь, пленил ему и новую. Этот талисман – неистребимая вера в жизнь, какие бы она ни принимала формы. В 1921 году, в день его рождения, к нему пришла делегация от его новых слушателей и принесла ему… белый хлеб. “Никогда, – писал он мне, – никакие цветы так меня не трогали и не радовали”. И все эти годы, вплоть до последней болезни, он работает, приводит в порядок свои мемуары, пишет о Чехове, читает лекции на всевозможные темы. Ведь, начиная с 1918 года и до своей болезни, Анатолий Федорович, оказывается, прочитал тысячу лекций! Он не может расстаться с аудиторией, только она держит его на волнах грозного моря…

[…] Мне невольно вспомнился рассказ самого Анатолия Федоровича о его матери. Это было накануне ее смерти. Ей было 82 года, и она жаловалась, что сердце ее “не слушается”. Анатолий Федорович, чтобы ее подбодрить, сказал:

– “Это тебе кажется, мама. У тебя совсем молодые глаза”. – “Ах, мой друг, – возразила мать, – моим глазам всегда будет шестнадцать лет!”

Очевидно, мать передала свои глаза сыну.

О последних минутах Анатолия Федоровича мне пишет находившаяся при нем безотлучно Е. В. Пономарева:

“Анатолий Федорович, казавшийся уже в забытьи, вдруг воскликнул, как бы обращаясь к аудитории: – Воспитание… воспитание… это главное. Нужно перевоспитать… Человек вылощенный не то же самое, что человек воспитанный… Воспитание… глубоко… глубоко… глубоко…”.

Таковы были предсмертные слова этого учителя нравственного общежития, оставившего грядущим поколениям завет смиренного тюремного доктора и великого человеколюбца Гааза: “торопитесь делать добро!..” […]

Примечания

Повести

Не ко двору. Повесть *//Восход, 1886.; Хин Р.М. Силуэты. Повести. М.: типо-лит "Рус. т-ва печ. и изд. дела", 1894; то же [2-е изд]. М., 1895; то же [3-е изд.]. Спб., 1902.*

Четьи-Минеи – книга житий святых православной церкви, произведения церковно-исторической и духовно-учительской литературы.

"Genie du Christianisme" – произведение Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848) "Гений христианства" (1802).

"Oraisons funebres" – произведение Эсттри Флешье (1632–1710), епископа Нинского, "Похоронные мысли" (Т. 1–2)

"Cuisina Bethe" – роман Оноре де Бальзака (1799–1850) "Кузина Бетти" (1848).

"Bourgeois gentilhomme", "Mizantrope" – "Мещанин во дворянстве" (1670) и "Мизантроп" (1666), комедии Жана-Батиста Мольера (1622–1673).

"Натан Мудрый" (1778) – драма Готхольда-Эфраима Лессинга (1729–1781), ставшая проповедью веротерпимости и человечности.

Причёска la Capoul – популярная в конце XIX века мужская причёска с прямым пробором и волосами на лбу, уложенными по обе стороны от пробора в виде сегментов круга; названа в честь известного французского тенора Виктора Капуля (1839–1924).

Сципион Африканский – Публий Корнелий Сципион Африканский (ок. 234–183 до н. э), римский полководец, прославившийся многими победами в ходе Второй Пунической войны и сумевший победить самого Ганнибала.

"Нана" (1880) – роман Эмиля Золя (1840–1902).

Ein Jahrtaneusend sehon und langer Duiden wir uns bruderlich… – цитата из новеллы Генриха Гейне (1797–1856) "Бахарахский раввин" (1840).

Reveil du lion – "Пробуждение льва", – популярная фортепианная пьеса композитора и пианиста Антона Григорьевича Контского (1816–1899).

Делапорт Мария (1838–?) – французская актриса из Комеди Франсез, выступала в Петербурге на сцене Михайловского театра.

Мурильо, Бартоломе Эстебан (1617–1682) – испанский живописец "золотого века".

Роза, Сальватор (1615–1673) – итальянский живописец, гравер, поэт и музыкант.

Niemand will ihn horen Niemand sieht ihn an… – стихи

немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера (1794–1827) к песне “Leiermann” (“Шарманщик”) из цикла “Зимний путь” (1827) Франца Петера Шуберта (1797–1828).

“Жертва за жертву” (1860) – пьеса русского писателя и драматурга (написал 76 пьес) Виктора Антоновича Дьяченко (1818–1876). С успехом прошла в 1861 году в Александринском театре, а в 1862 году – в Малом театре, в бенефис актёра Сергея Шумского. Подверглась цензурным изъятиям.

Ты новые лица увидишь // И новых друзей наберёшь… – стихи Юлии Валерьяновны Жадовской (1824–1883); были положены на музыку Михаилом Глинкой.

Возьму в руки пистолет, прострелю им грудь свою… – перефразированная цитата из русской народной песни “Сторона моя, сторонка”: “Возьми в руки пистолет, // Прострели ты грудь мою”.

Иоанн Грозный Антокольского – имеется в виду статуя скульптора Марка Антокольского (1843–1902) “Иван Грозный” (1870), принесшая ему звание академика.

Сказка о принцессе Dornroshen – Сказка о принцессе “Спящая красавица” братьев Якоба (1785–1863) и Вильгельма (1786–1859) Гримм.

Лорелея – легендарная речная дева, которая прекрасным пением заманивает мореплавателей на скалы, словно сирены в древнегреческой мифологии. Самое известное художественное воплощение получила в стихотворении Генриха Гейне. На русском языке образцовым является перевод Александра Блока “Лорелея” (1909).

Одиночество // Вестник Европы, 1899; Хин Р.М. Под гору. М., 1900.

Слыхали ль вы за рощей глас ночной – из стихотворения А.С.Пушкина “Певец” (1816). Стихотворение было положено на музыку Александром Алябьевым (1787–1851) и Алексеем Верстовским (1799–1862)

Сны беззаботные, сны мимолетные снятся лишь раз – из стихотворения Николая Минского (1855–1937) ”Серенада”.

И хоть бесчувственному телу // Равно повсюду истлевать… – цитата из стихотворения А.С. Пушкина “Брожу ли я вдоль улиц шумных”.

Сарасате – Сарасате, Пабло де (1844–1908) – испанский композитор и скрипач-виртуоз, автор 54 произведений, написанных для скрипки, в частности, “Четырех тетрадей испанских танцев”.

“Кольцо Нибелунгов” (1874) – эпическая музыкальная драма Рихарда Вагнера.

“Ткачи” (1892) – пьеса Герхарта Гауптмана.

“Привидения”(1882) – пьеса Генрика Ибсена.

Берклин – Бёклин, Арнольд (1827–1901), швейцарский живописец, представитель символизма в изобразительном искусстве.

Ретте, Адольф (1863–1930) – французский поэт.

“Demi-vierges” (1894) – роман французского писателя Марселя Прево (1862–1941).

Иловайский, Дмитрий Иванович (1832–1920), русский историк, автор пятитомной “Истории России”.

Вспомните-ка Фрину перед судьями – имеется в виду суд над легендарной древнегреческой гетерой Фриной. Сюжет был весьма популярен в России. Скульптор Михаил Попов (1837–1898) вылепил статую “Фрина перед народным судом” (1876), которая доставила ему звание профессора.

Прюдом – Сюлли-Прюдом, Рене (1839–1907) – французский поэт и эссеист, первый лауреат Нобелевской премии по литературе. Между прочим, автор сборника “Одиночество” (Les Solitudes)

Штраус, Виктор (1809–1899) – немецкий писатель и политический деятель.

Ренан, Жозеф Эрнест (1823–1892) – французский философ, писатель, историк религии.

Мазини – Мазини, Анджело (1844–1926) – итальянский оперный певец (тенор).

…das Neue ist night gut und das Gute ist nicht neu – “То что хорошо, не ново, а то, что ново, не обязательно хорошо” – цитата из драмы Г.-Э. Лессинга “Натан Мудрый” (1778).

Дузе, Элеонора (1858–1924) – итальянская актриса, гастролировавшая в России в 1891–1892 гг.

Нора – имеется в виду пьеса Генрика Ибсена “Кукольный дом” (1879), с её главной героиней.

Бьёрнсон, Бьёрнстьерне Мартиниус (1832–1910) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии 1903 года.

Rosny – Рони-старший, Жозеф Анри (1856–1940) – французский писатель, автор романов “Вамирэх” (1892) и “Эйримах” (1893).

La Tour – Латур, Морис Кантен де (1704–1788) – французский портретист, работавший преимущественно пастелью.

…оперный Альмавива – имеется в виду персонаж оперы-буффа “Свадьба Фигаро” (1786), написанная на либретто Лоренцо де Понте (1749–1838) по одноименной пьесе Пьера Огюстена

Карона де Бомарше (1732–1799).

“L’autre femme” – имеется в виду роман Ж.А. Рони-старшего “Другая женщина” (1895).

Цветы последние милей // Роскошных первенцев полей – из стихотворения А.С. Пушкина.

Габорио, Эмиль (1832–1873) – французский писатель, один из основателей и мастер детективного жанра.

Панглосс – персонаж в философском романе Вольтера “Кандид или Оптимизм” (1759). Знаменует собой оголтелый беспочвенный оптимизм.

Наташа Криницкая // Русское обозрение, 1891, № 6; Хин Р.М. Силуэты. Повести. М., 1894; То же.

Миньона (фр. mignon – маленький, славный, крошечный) – персонаж романа Иоганна Вольфганга Гёте (1782–1832) “Годы учения Вильгельма Мейстера” (1795), замкнутая девушка-подросток.

Sapho – По-видимому, речь идёт о романе Альфонса Доде (1840–1897) “Сафо” (1880).

Царицу Анну из “Василисы Мелентьевой” – имеется в виду добродетельная царица Анна Васильчикова из драмы “Василиса Мелентьева” (1867) А.Н. Островского (1823–1886).

Пой пока пьется, // Все позабудь – из стихотворения Алексея Апухтина (1840–1893) “Последний романтик” (1858), положенную на музыку А. Шишкиным и другими русскими композиторами, и ставшего популярной “застольной песней”.

Danse macabre Сен-Санс – “Пляска смерти” (1874) французского композитора, органиста и дирижёра Камиля Сен-Санса (1835–1921).

Бертиниевского этюда – музыкальный этюд французского композитора Анри Жерома Бертини (1798–1876).

Дунайские волны – вальс, написанный румынским композитором, капельмейстером Иосифом (Ионом) Ивановичем.

Рассказы, очерки, эскизы

Мечтатель *// Сборник в пользу начальных еврейских школ. Спб., 1896; Хин Р.М. Под гору. М., 1900.*

Н.Е. Ауэр – Надежда Евгеньевна Ауэр (1855–1932) – близкая подруга Р. Хин, жена скрипача-виртуоза Леопольда Семеновича Ауэра (1845–1930).

Шумского – Шумский Сергей Васильевич (1820–1878) – драматический актер Малого театра, считался одним из лучших русских артистов.

Оршанский, Илья Григорьевич (1846–1875) – российский юрист и историк евреев России.

Левинзон, Исаак Бер (1788–1860) – еврейский писатель, поборник просвещения русского еврейства.

Бибер – Бубер, Соломон (1827–1906), учёный книжник, издатель древнееврейской Агады.

Гуинпленовской улыбки – Гуинплен, романтический герой романа Виктора Гюго (1802–1885) "Человек, который смеется" (1860-е гг.), который противостоит окружающему косному миру.

О политике Гладстона – Гладстон, Уильям Юарт (1809–1898) – английский государственный деятель, писатель, был премьер-министром Великобритании.

Rabbi v. Bacharach – "Бахарахский раввин" (1840), новелла Генриха Гейне.

Караимство – религиозное учение, основанное на Танахе (Ветхом Завете). В отличие от иудеев, караимы не подвергались дискриминации в Российской империи.

Устроились. Очерки из жизни незаметных людей // Вестник Европы, 1896, Сент.; Хин Р.М. Под гору. Рассказы. М.: Типолит. "Рус. т-ва печ. и изд. дела", 1900.

Сканцони – Сканцони фон Лихтенфельс (1821–1891) – выдающийся немецкий акушер и гинеколог.

Мазини, Анджело (1844–1926) – итальянский оперный певец.

Роза Сарона – упоминается в Песни Песней царя Соломона (2:1); "Я – роза Сарона, лилия долин".

Мандолината – песня.

"Priere d'une vierge" – "Молитва девы" (1856), салонная пьеса композитора Теклы Бадаржевской.

Феномен // Мир Божий, 1903, № 1.

Прерафаэлитское выражение – Прерафаэлиты, группа английских художников и писателей XIX века, избравшая идеалом “наивное” искусство Средних веков и Возрождения. Сочетали скрупулезность передачи натуры с вычурной символикой.

“Боярыне Орше” – Боярин Орша, персонаж одноименной поэмы (1835–1836 гг.) Михаила Лермонтова (1814–1841). По-видимому такое прозвище банкирша получила за свой великолепный особняк, украшенный, подобно дому боярина, “серебром и златом”.

Называли его Талейраном – Талейран-Перигор, Шарль Морис де (1754–1838) – французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режимах. Имя Талейрана стало нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности.

Нет Николая Григорьича…, нет Антона Григорьича, никого нет – имеются в виду братья Рубинштейны.

Макарка. Эскиз (из жизни незаметных людей). // Восход, № 4, 1889.; Хин Р.М. Силуэты. Повести. М., 1894; То же [2-е изд]. М., 1895; То же [3 е изд.]. Спб., 1902; В глухом местечке. Рассказ Н. Наумова. Макарка. Эскиз Р. Хин. М.: Посредник, 1895 (Для интеллигентных читателей); То же: – 2-е изд. – М.: Посредник, 1898.

Последняя страница // Хин Р.М. Под гору. М., 1900.

Guido Reni – Рени Гуидо (1575–1642) – итальянский художник болонской школы. Изображал типы чисто женской красоты, придавая своим красавицам чересчур мягкие, расплывчатые формы.

Perugin – Перуджино, Пьетро (1446–1523), итальянский живописец эпохи Возрождения.

Лист – Лист Ференц (1811–1886), венгерский композитор, пианист, дирижер и педагог.

О Лассале – Лассаль, Фердинанд (1825–1864), немецкий социалист, организатор и руководитель Всеобщего германского рабочего союза.

Lebrun – Лебрюн, Луиза Элизабет (1755–1842), французская художница.

Malibran – Малибран, Мария (1808–1836), французская певица, меццо-сопрано.

Gounod – Гуно, Шарль Франсуа (1818–1893), французский

оперный композитор и музыкальный критик.

“Belle Helena” – “Прекрасная Елена”, оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880).

“Шарлотта Корде перед казнью” – Корде, Шарлотта (1768–1793), французская дворянка, убийца Жана Поля Марата, казненная якобинцами.

Любви роскошная звезда – ария из оперы “Руслан и Людмила” (1842) Михаила Глинки (1804–1857).

После праздника // Хин Р.М. Под гору. М., 1900.

ЭССЕ' ВОСПОМИНАНИЯ

Письма из Москвы *// Недельная хроника Восхода, 1887, № 2. Печатается в сокращении.*

Письма из Москвы // Недельная хроника Восхода, 1887, № 2. Печатается в сокращении.

Поссарт, Эрнст (1841–1921) – немецкий актёр и режиссёр Мюнхенского и Берлинского театров.

Барнай, Людвиг (1842–1924) – немецкий актёр и театральный деятель; играл в пьесах У. Шекспира и Ф. Шиллера.

Несколько слов о И.С. Тургеневе // Друг женщин, 1884, № 2.

Самарин Юрий Фёдорович (1819–1876) – публицист и философ-славянофил.

…из-за свадьбы младшей дочери m-me Виардо – речь идёт о свадьбе Марианны Виардо (1854–1919) и композитора и пианиста Альфонса Дювернуа (1842–1907).

Колупаевы и Разуваевы – созданные М.Е. Салтыковым-Щедриным (“Убежище Монрепо”, 1878–1879; “За рубежом”, 1880) и ставшие нарицательными типы кулаков-мироедов.

Глава из неизданных записок. М., 1901.

Alphonse Daude – Доде, Альфонс (1840–1897) – французский писатель.

Виницкая-Будзиниак, Александра Александровна (1847–1914) – писательница и мемуаристка.

Житова, Варвара Яковлевна (1833–1893) – мемуаристка, единоутробная сестра И.С. Тургенева.

Viardot – Виардо, Полина (1821–1910), испано-французская певица, вокальный педагог и композитор, близкий друг И.С. Тургенева.

П.Л. Лавров – Лавров, Петр Лаврович (1823–1900), русский социолог, философ, публицист, революционер, один из идеологов народничества.

Caro – Каро, Эльм Мари (1826–1887), профессор философии в Сорбонне.

Delaune – Делоне, Луи-Арсен (1826–1906); Got – Гот, Франсуа Жюль Эдмон (1822–1901); Coquelin – Кокле, Бенуа Косте (1841–1909) – знаменитые французские актёры.

Madeleine Brolian – Броан, Этель Маделена (1833–1900), певица из Комеди де Франс.

Ван Зандт, Мария (1858–1919) – известная оперная певица, американское сопрано.

Auteuil, Place de Clichy – предместья современного Парижа.

Вьетан – Вьетан, Анри (1820–1881), бельгийский скрипач и композитор, один из основателей скрипичной школы.

Венявский – Венявский Генрик (1835–1880), польский скрипач и композитор.

Ивана Ильича Маслова – Маслов Иван Ильич (1817–1891), экономист, управляющий московской удельной конторой.

Последние годы Н.И. Стороженко // Памяти Н.И. Стороженко. М., 1909.

Карлейль, Томас (1795–1881) – британский писатель, историк и философ, исполненный романтического культа героев.

Тан – Тэн, Ипполит (1828–1893), французский философ-позитивист, историк, писатель.

Прыжов – Прыжов, Иван Гаврилович (1827–1885), русский публицист, революционер, историк. Р.М. Хин опубликовала “Исповедь” Ивана Прыжова (Минувшие годы, 1908, февр. Стр 51–71), рукопись которой была предоставлена ей Н.И. Стороженко.

Крылов Ник[ита] Ив[анович] (1807–1879) – профессор Московского университета по кафедре римского права.

Баршев, Яков Иванович (1807–1894) – ординарный профессор Московского университета, учёный-юрист.

Кудрявцев, Александр Алексеевич (1862–1893) – педагог, профессор кафедры истории Московского университета.

Буслаев, Фёдор Иванович (1818–1897) – филолог, глава русской мифологической школы.

Бодянский, Осип Максимович (1808–1877) – филолог, историк, археограф.

Не могу не вспомнить любопытного рассказа Николая Ильича о кишиневском начальнике Пушкина, генерале Иванове, которого Н.И. в ранней молодости видел в Киеве – на самом деле

“начальником” А.С. Пушкина был наместник Бессарабского края генерал Иван Никитич Инзов (1768–1845), которому было поручено строго наблюдать за ссыльным поэтом.

“Теодор Паркер” – Паркер, Теодор (1810–1860), американский богослов, проповедник унитарианской церкви.

Памяти старого друга // Памяти А.Ф. Кони. Л.; М., 1929. Печатается в сокращении.

Засулич, Вера Ивановна (1849–1919) – народница, террористка, оправданная судом присяжных, на который повлияла позиция председателя суда А.Ф. Кони.

Нечаев, Сергей Геннадьевич (1847–1882) – нигилист, представитель русского революционного терроризма.

Ирина Семеновна Юрьева-Сандунова – Юрьева-Сандунова, Ирина Семеновна (1811–1891), русская актриса и писательница, мать А.Ф. Кони.

…представление “Доктора Штокмана” – речь идет о драме Генрика Ибсена “Враг народа” (1882). Главный герой пьесы – доктор Штокман (Стокман), который обнаруживает в лечебных водах курортного города загрязнения и добивается их закрытия.

Пьеса в 1900 году была поставлена Константином Станиславским на сцене Московского художественного театра под названием “Доктор Штокман”.

Чичерин, Борис Николаевич (1828–1904) – правовед, один из основоположников конституционного права России.

Стессель, Анатолий Михайлович (1848–1915) – генерал-лейтенант, комендант Порт-Артура во время русско-японской войны.

…его товарищ, будущий защитник Фрунзе… – речь идёт об Александре Александровиче Эрне (1869–1931), адвокате и политическом деятеле, защищавшем в 1907 году большевика Михаила Фрунзе, обвиняемого в покушении на убийство урядника.

von Humanitat durch Nationalitat zur Bestialitat – Гуманизм, замешанный на национализме, приводит к зверству – цитата из сочинений австрийского поэта и драматурга Франца Грильпарцера (1791–1872).

Гааз – Гааз, Федор Петрович (1780–1853), врач, филантроп, известный по имени “святой доктор”, главный врач московских тюрем.

Пономарёва, Елена Васильевна (1868–?) – гражданская жена А.Ф. Кони.

notes

Примечания

1

Только в наши дни появились работы о Р.М.Хин: Balin C.B. To Reveal Our Hearts. Jewish Woman Writers in Tsarist Russia. Detroit, 2000, P. 84–123; Глейзер А. Рашель Мироновна Хин и её бегство от “торговки” // Тендерные исследования, № 9, 2003; Бердников Л.И. Рашель Хин-Гольдовская: крещение в жизни и литературе // Лехаим, № 7 (231), июль, 2011; Чайковская И.И. Забытое имя: Рашель Хин-Гольдовская // http: //www.chayka.org/; Лившиц В. “Я мысленно вхожу в Ваш кабинет…” // Заметки по еврейской истории, № 1 (171), январь, 2014. См. также наши очерки: Крещение без прощения // Новый берег, № 52, 2016; Пульс времени // Нева, № 6, 2016; “Волнует эхо здесь звучащих слов…”. Литературный салон Рашели Хин // Новый журнал, № 283, 2016; Бодрая сила // Крещатик, № 3 (73), 2016; Не ко двору // День и ночь, № 4, 2016.

2

Навязчивая мысль.

З

Дортуар – общая спальня воспитанников в учебном заведении.

4

За тобой приедут… но сейчас поздно, хотела бы ты отправиться завтра, моя малышка?

5

О, моя госпожа, за мной наверняка не приедут.

6

Блажь, слабость.

7

Что с тобой, моя девочка?

8

Нет, госпожа, все хорошо.

9

Успокойся, мое бедное дитя… ты очень бледна. Выпей-ка быстро чашку чая, и ты согреешься.

10

Чашка чая.

11

Вы хотите смеяться или думать.

12

Хорошо, мои дети.

13

В лазарете.

14

Ну, моя крошка, как мы поживаем?

15

Огромное спасибо, месье, и особенное спасибо, что пришли,

16

Вы знаете.

17

О, она мне сказала массу всего, и, прежде всего, что вы не больная, а притворяетесь.

18

У вас чувства вполне христианские.

19

Упаси Бог, дитя мое.

20

Экзальтированная особа.

21

Это проблема, которую еще нужно разрешить.

22

“В чем я кажусь вам Христианином, в том самом вы мне Евреем кажетесь!” (перевод В.С. Лихачева).

23

Хорошо, дитя мое.

24

О, в вашей стране это довольно трудно.

25

Товарок.

26

Маленькая негодяйка.

27

Входите, мадемуазель.

28

Добрый день, мое прелестное дитя, какой добрый ветер вас принес?

29

О, вам не слишком льстят по поводу вашего успеха.

30

Они не слишком приятны, ваши буржуа.

31

Чтобы преуспеть, надо ценить себя.

32

Вам не повезло?

33

Посмотрите… не надо строить из себя маленькую девочку. Жизнь не роман, с вашей фигурой можно управлять экипажем.

34

Не надо принижать себя, с вашими красивыми глазами стоит только захотеть.

35

Не забывайте вашего старого друга, мое дитя!

36

Из хорошего дома.

37

Степень отличия.

Плерезы – траурные нашивки на платье, обычно по рукавам.

39

Уже тысячу лет и дольше терпим мы друг друга, как братья:
Ты, ты терпишь, что я дышу, а я терплю твои свирепства…

Умников.

41

Я не знаю, что…

42

Бандо – пряди волос в дамском головном уборе из природных волос, закрепленных определенным образом.

43

Молодца!

Никто не хочет его слушать,
Никто на него не глядит,
И только собаки урчат
Вокруг старика.

45

Не хотите ли танцевать, кузина?

Свидетельство.

До скорого!

48

Элитная публика.

49

Вульгарная особа, а та – украшение гостиной.

50

Пенсне.

51

Вы сердитесь, признайтесь, вы уже делали ей комплимент.

52

Пускай это делают другие.

53

Компаньонка.

54

Предметы искусства.

55

Нежные поцелуи, нежная любовь.

56

Все еще.

Элита.

Вписывался в картину.

59

Забытые грезы.

Выходки, шалость.

61

С сильным характером.

62

Возмутитель спокойствия.

63

Без упоминания одиозных личностей.

Талантам.

65

Болтовня.

На закуски.

67

На танец котильон.

Закуски испортятся.

Бабушку.

На следующий день бабушку освободили.

71

Хороший конец века.

72

Полудевственницы.

73

Если намерения искренни – подумаем о жертвах.

Встречи, приемы.

Какова талия – таковы и размеры.

Несчастный ребенок, как она будет выглядеть.

77

Я вас вознагражу.

78

Нет.

К счастью, месье.

80

И вот.

81

Прилипают к телу.

Чего же вы хотите, такова жизнь.

83

“Добыча” Эмиля Золя.

Но не так глупо!

85

Новое не хорошо, а хорошее не ново.

86

Это я.

87

Ложка дегтя.

88

Подвиг, проявление силы.

89

Папье-маше.

90

Пешка.

“Кузен Понс”.

“Отец Горио”.

93

Найти счастье.

Абсолютное совершенство.

95

Всерьез.

96

Рекордная планка.

97

Все дороги ведут в Рим.

98

На веру.

99

Стать подружкой этого чудесного ребенка.

100

На благо несчастных.

101

Бравым парнем.

Вся Москва.

103

Любимца дам.

Приятелей по несчастью.

105

Симпатяга.

Изделия.

107

Редкое создание.

108

Спутника жизни.

109

Тайный советник.

110

Милостивая государыня.

111

Господин тайный советник.

112

Ну-ну! Не углубляйтесь в мысли, моя дорогая! Это не слишком разумно на курорте…

113

Отцовское сердце.

114

Счастлива сверх меры.

115

Моя дорогая госпожа.

116

Мои возлюбленные.

117

Мелочь, безделица.

118

Я должна.

119

Девушка.

120

Надо же!

121

О, фрау! Вы не имеете права грустить, вы так счастливы!

[3] Вполне нормально.

123

Пенсне.

124

Мужество.

125

Ах, какая воспитанная, какая послушная.

126

Очень хорошо.

127

Грязевые ванны.

128

На дружескую память.

129

Только не углубляйтесь в мысли.

130

Курзалы.

131

Курортная публика.

132

Соляные источники.

133

Плохая четверть часа.

134

Под сорок.

135

Войдите.

136

Я тысячу раз прошу у вас прощения, мадам.

137

Мой милый ребенок.

Без сомнения.

139

Пиявками.

Но я не переношу эту грязь.

141

з Это мой муж, которому пришла в голову идея поехать в Германию.

Правда? Мне сказали, что это средство сушит кожу.

143

Оно придает коже оттенок.

Правда?

145

Мы же соотечественники.

146

Я больше не вредничаю.

147

Должно быть, мы выглядим нелепыми.

148

Странный.

149

Нормальный.

150

Он вполне нормальный.

151

Люси, хватит дурить.

з Наши дорогие провинции, украли мои мечты.

153

Мечты порядочной женщины.

“Другая женщина”.

155

Возрождение идиллии.

156

Эстетика адюльтера.

157

Подчиняться.

з Это было крайне скучно, крайне.

159

Хорошо учат и китайский.

Да, он необычный человек.

161

Кажется, я сказал глупость.

А мне нравится.

163

Износившееся больное сердце.

164

Послушайте!

165

Прелестный принц.

Благоразумны.

167

Мы становимся гротескными и пошлыми.

В каком смысле.

Для вас это какое-то сладострастие.

170

Надо любить свою семью больше самого себя, а человечество больше своей родины.

171

Надобно заниматься нашим садом.

172

Большинство – это всегда стадо.

173

Вы не умрете завтра.

174

Нет ничего, что было бы излишним.

з Вы ко всему глухи, кроме Крейцеровой сонаты.

176

Какая глупость все красить в один цвет.

177

Педагогическое учебное заведение.

178

Неравный брак.

179

Ну вот!

180

Добродетельная молодая девушка.

181

У источников воды в Франциканбаде.

182

С пустыми руками.

183

Ты мне не нравишься, ты мне действуешь на нервы.

Нас услышат,

185

Фарс, балаган.

186

Он скучен, как дождь.

187

Я люблю вас любовью друга.

188

Предатель! Монстр!

189

Я не такая глупая.

190

Сафо.

191

Пляска смерти.

192

Тартинка – один из популярных видов бутербродов, который отличается миниатюрным размером.

193

Мизансцена.

Ерунда, мелочи.

195

Каждому свое.

196

Возмутитель спокойствия.

197

Ты искала себе роль в филантропии.

198

Я не хочу говорить глупости.

199

Дорогая маман.

200

Все хорошо, что хорошо кончается.

201

Вы наслаждаетесь, месье.

Месье генерал, сказал я ему, я видел крестьян среди принцев и принцев среди крестьян.

203

Это жестокая фраза, но вполне заслуженная.

Господин пастор.

205

Семеро в одной пасти.

Роше-де-Найе (скалы в Швейцарии).

Это будет событием.

208

Любитель.

209

Причал.

210

Держитесь очереди.

211

Эта прибывшая молодежь из пансиона мадам Шуар… бедная, у нее нет больше сил.

Достаточно моих детей, спасибо.

213

По умеренной цене.

Какое значение имеет стакан, если ты пьян.

215

Филистер – обыватель.

216

Устойчивая цена.

217

Следовательно.

218

Театральное амплуа наивной простодушной девушки.

219

Вечный двигатель.

Object d’art *{франц.)* – предмет искусства.

221

Период перехода от стиля барокко к стилю рококо во Франции XVIII века.

222

Предсказание будущего на основе наблюдений за поведением вещих птиц.

223

Студенческий гимн.

224

Красавица Пашет.

225

Печенье.

226

Киссинген – минеральная вода по названию города в Германии.

227

Господин очень корректный.

228

Званый бал.

229

Это чудо.

230

Он особенный… этот ребенок не выживет!

Топси, замолчи маленькая плутовка.

Ну, моя душечка, будь благоразумной.

233

Упрек, выговор, нагоняй.

Но вы ее терроризируете.

235

Бедная женщина будет себя плохо чувствовать.

Гонор, спесь, мелкое чванство.

Пшют *(устарев.)* – фат, хлыщ.

Это глупо, Эмма…

239

Олоферн – военачальник ассирийского царя Навуходоносора.

240

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

241

Касательно проходимцев, они не будут единственными.

Стараюсь не фрондерствовать.

243

Я бы тоже старалась обойти закон.

Посмотрим, посмотрим.

245

Я не требую большего.

Вы слишком вежливы предлагать мне.

247

Болезненная, навязчивая мысль.

Du Taugenichts! – Ты негодник!

249

Du Judenfratze… – Еврейская рожа…

250

Компаньонка.

251

Поп-идиот.

252

Проповеди.

253

Что за стиль!

254

Настоящий попугай.

255

Елисейские Поля.

256

Разносчики.

257

Глаза совсем молодые.

258

Эти ужасные кармашки.

259

Это, однако, я.

260

Почасовая оплата.

[3] Быстрая езда, гонки.

Очень мило, ну а Рордат?

Это упадок искусства.

Настоящие инсайдеры.

265

Знаток искусства.

Мадам Лебрун и Ла Малибран.

267

Редкое.

268

В один прекрасный день я приму его.

269

Место, центр.

270

Тайное политическое общество революционного оттенка.

Но они так далеки от возвышенного,

з Самые заурядные.

Священный огонь.

274

Моя дорогая.

Его и других.

Бабенки.

277

Невозможно, мадемуазель, это не картина. Ваша дама – старая дура.

Обед сервирован.

279

Натюрморт.

280

Он еще хуже, чем вчера.

Это, однако, не я, кто пил.

Старую ворчунью.

283

Приятного аппетита… не торопитесь, старуха спит.

Борис, как всегда, опаздывает.

Это ясно, как день.

Украдены, украдены!..

287

Она невыносима, эта грубиянка.

Это нечто глупое.

289

Кокетка.

290

О, русские… Толстой – это гений века.

Есть даже поговорка.

Северного Шекспира.

293

Такой фантазер.

294

Все, что связано с привидениями.

295

Это дом с привидениями.

Какое совершенное создание!

Мэтр, господин.

298

Мастерская.

299

Лили, не так ли?

Согласна, мадам.

301

з В случае, если ваша “Химера” не слишком химерна.

302

Завитки, локоны.

303

Это юная девушка из хорошего дома.

Они плохого воспитания,
Они таят что-то разрушающее.

305

Вы не отправитесь туда с пустыми руками!

306

Решено.

307

Исторический жанр в живописи и виртуозность в пении.

308

Очень красивой женщиной.

309

Жаргоном.

310

Последний крик моды.

311

Я ухожу.

312

В ее маленьком кабинете.

313

Оставайтесь, я вас умоляю.

И вести записи.

315

Я спою вам что-нибудь из Чайковского и Глинки.

316

Графине плохо.

317

Бесполезно – она мертва.

Плащах-пыльниках.

319

Пожелания.

320

Гвоздь.

321

Фиолетовый.

322

Дорогой друг.

Ваша старая и верная Мари Дроз.

324

Постой.

325

Важные дела.

326

Entre deux chaises – между двух стульев.

Beau mond'e – высшее общество.

Я забыла названный Тургеневым город *(прим. автора)*.

329

Вы – похитители мыслей, грабители интеллекта, а я только молчу да кланяюсь на все эти любезности.

330

Пиетет.

331

Жил посетителем своего времени.

332

Клевещите, клевещите, всегда можно что-либо отыскать.

333

Беседа.

Весь Париж.

335

Смысл существования, причина.

336

Представление.

337

Ограниченный успех.

338

Звоните, звоните.

339

Бакалавр.

Цитирую не подлинные слова, а смысл *(прим. автора)*.

341

Профессиональное кредо.

342

Прекрасная душа.

343

Большой (сильный) характер.

На мощные раскаты старых пушек отвечала Марсельеза…

345

Между нами.

Исполнительница роли подростков.

347

Систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью римского гражданского права.

348

Вне конкурса.

349

Гуманизм, замешанный на национализме, приводит к зверству.